Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ

ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА· 1975

Составление
И. Н. Крамова

Р2
С56

Иллюстрации
П. Карачинцева, Кукрыниксы,
А. Лурье, П. Пинкисевича,
И. Пчелко, Г. Филипповского

С $\frac{70302\text{-}309}{028(01)\text{-}75}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

ПЕЧНИКИ

О печниках, об их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством,— обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.

В местности, где я родился и рос, пользовался большой известностью печник Мишечка, как звали его, несмотря на почтенные годы, может быть, за малый рост, хотя у нас вообще были в ходу эти уменьшительные в отношении взрослых и даже стариков: Мишечка, Гришечка, Юрочка...

Мишечка, между прочим, был знаменит тем, что он ел глину. Это я видел собственными глазами, когда он перекладывал прогоревший под нашей печи. Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела, как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроважпвал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номеров не составляет для него никакого труда. Это я помню так же отчетливо, как и тот момент, когда Мишечка влезал в нашу печь и, сидя под низкими ее сводами, выкалывал особым молотком у себя между ног, раскинутых вилкой, старый кирпичный настил. Как он там помещался, хоть и малорослый, но все же не ребенок, я не мог понять: когда меня, простудившегося как-то зимой, бабка попыталась отпарить в печке, мне там показалось так тесно, жарко и жутко, что я закричал криком и рванулся наружу, чуть не скатившись с загнетки на пол.

Мне сейчас понятно, что невинный прием Мишечки с поеданием глины на глазах зрителей имел в основе стремление так или иначе подчеркнуть свою профессиональную исключительность:

смотрите, мол, не каждый это может, не каждому дано и печи класть!

Но Мишечка, подобно доброму духу старинных вымыслов, был добр, безобиден и никогда не употреблял во зло людям присущие его мастерству возможности. А были печники, причинявшие хозяевам, чем-нибудь не угодившим им, большие тревоги и неудобства. Вмазывалось, например, где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко — и печь поет на всякие унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. Или подвешивался на тонкой бечевке в известном месте кирпич, и, по расчету, бечевка выдерживала первую, пробную топку печи, все было хорошо, а на второй или третий день она перегорает, обрывается, кирпич закрывает дымоход, печь не растопишь, и понять ничего нельзя, надо ломать и класть заново.

Были и другие фокусы подобного рода. Кроме того, одинаковые по конструкции печи всегда разнились в смысле нагрева, теплоотдачи и долговечности. Поэтому печников у нас по традиции уважали, побаивались и задабривали. Надо еще учесть, какое большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с дороги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хорошей печи нет дома. И мне это досталось почувствовать в полной мере на себе, и я так много и углубленно думал до недавней поры о печках и печниках, что, кажется, мог бы написать специальное исследование на эту тему.

Мне отвели квартиру через дорогу от школы. Это крестьянская изба, подведенная под одну связь с двумя такими же избами, где жили другие преподаватели. Изба разгорожена на две комнаты, и перегородка приходится как раз посредине большой, комбинированной печи, выступающей в передней в виде кухонной плиты, а на другой половине в виде мощной голландки. Эта печь и была долгое время причиной моего крайне угнетенного настроения, тоски и порой почти что отчаяния. Стоило мне в классе на уроке или в любом ином месте, на людях или в одиночку, за любым делом вспомнить о доме, об этой печи, как я чувствовал, что мысли мои путаются, я не могу ни на чем ином сосредоточиться и становлюсь злым и несчастным.

Эту печь очень трудно, почти невозможно было затопить. Еще плита так-сяк топилась, но плита не имела для меня, живущего покамест без семьи, большого значения. Но как только отваживались затопить голландку, чтобы согреть вторую комнату, где я работал и спал, нужно было открывать форточки и двери от дыма, наполнявшего всю квартиру, как в черной бане. Поначалу,

видя растерянность сторожихи, я брался топить печку сам, но и у меня то же самое получалось. Дым валил из-за дверцы, из поддувала, сочился из незаметных щелей вверху печи и даже пробивался через конфорки плиты в передней. Всякий раз со стороны можно было подумать, что люди забывали открыть трубу.

Для растапливания этой печи было применено множество приемов и все богатство опыта и сноровки людей, имевших по должности своей дело с десятком, по крайней мере, действующих школьных печей.

Сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор Матвеев, помогавший ей, были настоящими мастерами этого дела. Притом у каждого была своя система или способ, прямо противоположные один другому, но одинаково приводившие к хорошим результатам. Коротко можно сказать, что Ивановна начинала с огня, а Матвеев — с дров. Я хорошо изучил эти два способа. Ивановна, маленькая, поворотливая, ухватистая женщина, зажигала в пустой печи трубочку бересты, горсточку стружек, обрывок газеты или несколько тонких лучинок и, добавляя по лучинке, по щепочке — что больше, то крупней,— выращивала живучий, сильный огонь, куда оставалось только подбрасывать полешко за полешком, пока дрова, изнутри прохватываемые пламенем, не подопрут под своды так, что уже и сунуть полено некуда.

Матвеев, наоборот, со свойственной ему, отчасти из-за инвалидности, медлительностью и основательностью сначала выкладывал в печи дрова, то в виде обычной клетки, то как-то крестообразно, то вертикально, шалашиком, выкладывал, пристраивал, перебирая поленья одно к одному, обдуманно, тщательно, всякий раз как бы решая некоторую конструктивную задачу. И только потом подводил под это сооружение огонь, используя ту же бересту, стружку или газетную бумагу. И получалось так же хорошо, как и у Ивановны. Печь вытапливалась быстро, дрова прогорали ровно, никогда не пахло угарным газом, и никогда печи не остывали раньше того, чем им полагалось. Но моя печь давала одинаково скверный результат при том и другом способе.

Я уже не шутя начинал думать, не устроена ли в этой печи какая-нибудь штука, вроде тех, что делали мастера в старину.

Столкнувшись с этой бедой, я постепенно вызнал всю историю злосчастной печи. Оказалось, что из-за нее никто не хотел жить в этой квартире. Помучилась, рассказывали, преподавательница истории Мария Федоровна — бежала. Летом жила математичка Ксения Аркадьевна, когда еще была не отделана соседняя квартира, но к осени перебралась туда, едва дождавшись окончания отделки.

Сложена печь была немцами-военнопленными, а потом дважды перекладывалась разными случайными печниками, но все не-

удачно. Мне было просто неловко поднимать перед директором вопрос о новой переделке печи. Но, так или иначе, ее нужно было переделать, только бы недаром, в четвертый раз.

Есть, говорили, на всю округу один человек — Егор Яковлевич,— он мог бы сложить печь с гарантией, но он последнее время редко и неохотно берется: живет на пенсии как старый железнодорожник, у него свой дом, сад, огород; «не хочу» — и все. Посылали с его внуком из четвертого класса записку — не удостоил ответом; ходил к нему сам Матвеев раз, а другой раз видел его где-то на поселке — все то болен, то взялся уже работать в другом месте, а что дальше, там, мол, видно будет.

А дальше оттягивать уже было нельзя. Прошли Октябрьские праздники, дело пододвигалось к зиме — уже на своей квартире я мог только спать по фронтовой привычке, ребячьи диктанты и сочинения я правил в учительской, когда все расходились. Вдобавок ко всему я очень опасался, что жена моя Леля, несмотря на мои решительные предупреждения, могла нагрянуть сюда с пятимесячным сыном до приведения квартиры в порядок.

Все эти соображения, решения и оттяжки совершенно изнурили меня. Меня мучила не только сама печка, но и то, что она была предметом разговоров, забот, планов и предположений всех преподавателей, директора, сторожей и, я уверен, учеников: ребята всегда все знают о нашей внешкольной жизни. Да и сейчас, когда вся эта пустяковая история с печкой давно позади, я сам чувствую, что повествую об этом не с легкостью изложения забавного случая, а с волнением и серьезностью, каких это дело, конечно, не достойно. Но спросите у любого, особенно у женщины-хозяйки, пользующейся печным отоплением, что такое дурная печь в ежедневной жизни человека, как это влияет на настроение, как отражается на работоспособности,— вам скажут, что от плохой печки можно в короткий срок постареть. А я именно смотрел на все злоключения с этой печью глазами моей жены Лели, городской, неопытной в трудном быту молодой женщины-матери, которой предстояло жить со мной в этой квартире.

В то утро, когда я проснулся ранее обычного от света, который вступал в окна от снега, выпавшего ночью, мне пришла как бы вместе с этим светом ясная, простая и, казалось, надежнейшая мысль.

Я вспомнил райвоенкома, майора, с которым познакомился и разговорился, когда приходил к нему, чтобы встать на учет как офицер запаса. Пойду, дурак, к нему, он мне поможет: стоит посмотреть по картотеке, у кого из военнообязанных в графе «специальность» указано «печник» — вот и печник.

Майор принял меня в своем крошечном, как чулан, кабинетике с тремя бревенчатыми и четвертой тесовой стенкой, отделявшей его от общей большой комнаты с деревянным барьером.

Простецкое озабоченное лицо майора с морщинами на лбу, которые подкатывались от бровей к густым темным волосам, делали его лоб низким и придавали как бы свирепое выражение, лицо это участливо вытянулось.

— Как вам сказать...— заговорил он, закуривая сигаретку.— Печник — такая профессия, что ее не всегда указывают. Сапожник, кузнец — это другое дело. А печник,— вдруг улыбнулся он, обнажая свои большие прокуренные зубы с широким краем верхних десен,— каждый солдат — сам себе печник. Сейчас посмотрим.

Оказалось, есть печники, но один из них инвалид, без руки, другой живет в самом далеком углу района, третий работает председателем большого колхоза — нечего и обращаться, четвертый — двадцать шестого года рождения; это и майор сказал, что печник должен быть постарше. Были и другие кандидатуры, отклоненные нами по тем или иным мотивам.

— Вы вот что,— посоветовал мне майор под конец, уже будучи в курсе всей моей истории,— вы сходите лично сами к этому магу и кудеснику, к Егору этому. Я тоже слышал, что мастер редкий. Сходите поговорите. А не выйдет — давайте сюда, что-нибудь придумаем,— улыбнулся он опять своей большезубой улыбкой, исподволь прикрывая рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины.

Это последнее его предложение при всей участливости майора прозвучало для меня как слово простой, ни к чему не обязывающей вежливости.

На другой день я направился к Егору Яковлевичу по грязной, скользкой обочине шоссе, вдоль которого располагается поселок. Снег, выпавший на незамерзшую землю, держался только в садиках и палисадничках, где не было ходьбы.

Было утро, на улицу еще мало кто выходил, и я этому радовался: я не хотел, чтобы все видели и знали, куда и зачем я иду. В то время у меня вообще было такое ощущение, как будто я хожу в тесных, мучающих меня сапогах, скрываю это, а все видят и знают мою беду, жалеют меня и немножко подсмеиваются надо мной. А я больше всего не терплю быть объектом жалости и насмешки. И эта чувствительность, мне кажется, особенно развилась во мне с тех пор, как я стал женатым человеком, главой семьи,— об одном самом себе такой речи не было.

А тут идешь, и тебе кажется, что все — и эта старуха в резиновых сапогах у колодца, и девочка, несущая хлеб под мышкой и жующая довесок, и два мальчика, поздоровавшиеся со мной на

перекрестке,— все не только знают, что я недавно женатый, неопытный и неуверенный в устройстве домашних дел человек, а, пожалуй, даже знают, что моя теща, городской врач, красивая и совсем еще не старая женщина, с некоторой натянутостью признающая себя бабушкой, относится ко мне не очень уважительно и что я ее не то стесняюсь, не то побаиваюсь. И что у нее в квартире мы с Лелей и ребенком помещались в меньшей, проходной комнатке, а она — в большой, отдельной.

Я мало верил в успех, заранее составив себе представление об этом человеке как обремененном стариковскими недугами и не очень заинтересованном в заработке. Хуже нет просить кого-нибудь сделать что-то, чего он не хочет делать или просто может не делать.

Свернув с наклонно натоптанной вдоль штакетника тропинки, где то и дело нужно было держаться за штакетник, чтобы не упасть, я прошел через калитку к застекленной веранде домика Егора Яковлевича.

Дверь на веранду оказалась запертой; через стекло я увидел, что там все завалено кочанами капусты, бурачками и морковью со срезанной ботвой. В одном окне дома показалось длинное строгое лицо со слабой, прозрачной бородкой, и жестом руки мне было указано, что нужно обойти кругом.

Я обошел дом, поднялся по грязным ступенькам открытого крылечка в сени и постучал для порядка в тяжелую, обитую какими-то тряпками дверь.

— Ну, ну! — отозвался изнутри хриплый, но довольно сильный голос.— На себя!

Я вошел в кухню, очень просторную, в два окна. У окна справа сидел за столом старик не старик, но уже в порядочных годах человек с длинным, строгим, нездорового, желтоватого цвета лицом и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой. На столе стоял самовар, остатки, видимо, вчерашней закуски и пустая поллитровка. Человек спокойно и, как мне показалось, с подчеркнутым невниманием ко мне нарезал яблоко кружочками в стакан — чаевничал. Это и был Егор Яковлевич.

— Не могу,— коротко и с какой-то холодной грустью сказал он, едва я начал излагать свою просьбу.

Я стоял у порога и сесть мог бы либо у самого стола на свободном стуле, если бы меня пригласили, либо устроиться почти у самой двери на деревянном диване, заставленном какими-то ящиками, валенками, цветочными горшками, хламом. Здесь я мог сесть без приглашения, хотя разговаривать отсюда было неудобно, как через улицу.

Все же я сел и стал опять ему излагать дело, стараясь, конечно, ввернуть, что наслышан о его славе мастера. Всю свою канитель с печкой я старался представить в парочито смешном виде, упирая на собственную беспомощность и наивность в этих делах.

Но все это он слушал как нечто само собой разумеющееся и ничуть не интересное ему, не прерывая меня: мол, говори себе что хочешь и сколько хочешь, мне все равно, и так и так чай пить. Он даже и не смотрел на меня, а смотрел больше в окно — на непогожую, слякотную улицу, на свои садовые кустики, на всю эту мокрядь и неприютность надворья, видеть какую даже приятно, когда сидишь за чайным столом, на привычном, излюбленном месте, в тепле, обеспеченном доброй, безотказной печкой. Да, он, видимо, знал цену этого утреннего стариковского часа с чайком и табачком, с неторопливым, небеспокойным и необременительным созерцанием и размышлением.

Я вскоре почувствовал, что в кухне очень жарко натоплено. «Реклама»,— подумал я и присовокупил к своему изложению еще одно подобострастное замечание насчет того, как тепло и как хорошо с улицы прийти в такое помещение.

— Нет, не возьмусь,— опять прервал он меня, отодвигая стакан с блюдцем и приступая к перекуру.

— Егор Яковлевич!

— Да что Егор Яковлевич, Егор Яковлевич! — вяло передразнил он, явно пренебрегая моим усердным величанием его по имени-отчеству.— Сказал — не могу. Ясно?

Я мог бы утверждать, что с такой крайней недоступностью и ленивым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий районным или областным отделом народного образования, но и любой высокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на прием. «Не могу, не возьмусь»,— и все. Самый суровый и недоступный начальник при этом все-таки должен был бы сказать мне, почему он не может удовлетворить ту или иную мою просьбу.

— Почему, Егор Яковлевич?

— А потому,— отвечал он, не повышая голоса и не меняя своей грустной и значительной интонации,— по тому самому, что Егор Яковлевич один, а людей много: тому надо и тому надо. У меня вот всего две руки,— развел он своими большими, костлявыми руками в коротких рукавах застиранной майки и коснулся высокого лба пальцами.— Две руки и одна голова, больше нету.

В этих жестах, как бы только упрощающих сущность дела применительно к уровню моего понимания, невольно виделось, что Егор Яковлевич далек от того, чтобы недооценивать свое значение.

— Но, Егор Яковлевич,— отважился я намекнуть,— вы, может быть, сомневаетесь относительно оплаты, так я хочу сказать, что я, со своей стороны...

— Да нет, что там оплата! — с небрежностью, слабо махнул он своей тяжелой, большой рукой.— Оплата моя известная, а говорю — не возьмусь. Сделаешь одну — другой придет. А лучше никому, и зато никому не обидно. Вот тоже вчера приходил человек,— указал он левой рукой, в которой держал папиросу, на пустую поллитровку,— приходил человек, так и сяк просил...

— А все-таки, Егор Яковлевич?

— Я же вам русским языком говорю,— он опять отнес свою тяжелую кисть руки к пустой поллитровке, уже почти касаясь мизинцем стекла,— вот же человек приходил...

Он с такой убежденностью указывал мне на эту пустую бутылку, как на обозначение некоего человека-просителя, что я невольно стал смотреть на нее, как бы видя уже в ней натурального человека, который так же, как и я, нуждался в добром расположении Егора Яковлевича.

И тут меня оживила простая догадка, которая должна была, подумал я, явиться мне еще раньше, с самого начала беседы.

— А что, Егор Яковлевич,— сказал я решительно, подходя к столу,— может быть, по случаю выходного дня...— Я приподнял легонько за горлышко пустую бутылку для вящей предметности.

Егор Яковлевич поднял на меня светло-голубые со стариковской краснинкой глаза, его губы чуть заметно улыбнулись.

— С утра не употребляю.— И в тоне этого отказа была уже не только недоступность, но и осуждение и назидательность.— С утра не употребляю,— еще тверже повторил он и, опершись о край стола, приподнялся, желая, очевидно, дать понять, что аудиенция окончена.— Правда, вчера был вот человек.

И я решил для себя, что я для него просто «человек», как и тот, что в образе пустой бутылки стоял на столе: нас много, а он один.

Он проводил меня до сеней и, стоя в раскрытых дверях, зачем-то сказал мне вслед, может быть, все же тронутый моей огорченностью:

— Буду мимо идти — зайду, может, как-нибудь...

— Пожалуйста,— машинально отозвался я, недоумевая, для чего, собственно, ему заходить ко мне.

От Егора Яковлевича шел я в самом тягостном настроении. Как будто я пытался сделать что-то недостойное, но был упрежден и уличен. В самом деле, зачем мне было ходить к этому Егору, просить его, заискивать перед ним, роняя свое достоинство! Пусть этим занимается кто хочет, не мое это дело. А что же было

делать! Ждать, покамест директор «лично займется этим вопросом», покамест освободятся какие-то печники на станции, покамест приедет жена, не поладив с матерью, решит, что хоть в сарае жить, только вместе, а тут ничего не готово!

Я совсем приуныл, начал представлять себе мое положение в самом наихудшем свете, и так как винить кого-нибудь одного я не мог в этом, то я начал сетовать на несовершенство нашего хозяйствования.

Строим уникальные домны, где укладываются сотни марок кирпича, возводим сооружения, назначенные увековечить наше пребывание, наш труд на земле, донести далеким потомкам образ величия наших дел и стремлений, а сложить печку, обыкновенную печку, какие, наверное, знала еще Киевская Русь, сложить это обогревательное устройство в доме работника интеллигентного труда, преподавателя родного языка и литературы,— задача неразрешимая!

Я шел и развивал все более неопровержимую аргументацию в направлении нетерпимости и ненормальности такого положения. Одна за другой складывались в моей голове фразы, то лирико-патетические, то едко-иронические, проникнутые убедительностью, пафосом правды, ясной, как день. Я уже не сам с собой разговаривал, а как бы слагал речь, которую я готовился напрямик сказать с некоей трибуны или в беседе с каким-нибудь большим, руководящим человеком. А может быть, это были строки и абзацы статьи, которая со страниц печати должна была со всей горячностью и прямотой поставить вопрос о внимании к нуждам сельской интеллигенции. Но этого мне уже было мало. Я уже затрагивал существующие формы и методы преподавания и т. д. и т. п. Постепенно, незаметно я уже оторвался от своей печки...

Мне так захотелось поговорить с кем-нибудь обо всех этих вещах, поделиться своими достовернейшими наблюдениями и неопровержимыми выводами, повторить вслух наиболее удачные места и выражения моей внутренней речи, щегольнуть цитатой, приведенной как бы между прочим, по памяти.

Я пошел к майору, не имея уже в виду его обещание «что-нибудь придумать» относительно печки, а просто так. Он жил неподалеку от райвоенкомата, в одной половине деревянного двухквартирного домика с двумя одинаковыми крылечками.

Мне сказали, что он уже в райвоенкомате, и я нашел его там, где было еще по-утреннему пустынно и тихо, в том же маленьком кабинетике. Он встал мне навстречу, быстро закрыв и сунув в стол какую-то толстую тетрадь. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны.

— Ну, как?

Я рассказал о своем визите, причем теперь мне все уже представлялось в юмористическом плане, я неожиданно для самого себя изобразил картинно, как важничал Егор Яковлевич, как он пил чай, как отказал мне. Я даже показал его жест, обращенный к бутылке: «Вот приходил человек...» Мы посмеялись вместе.

— Да. Ну что ж,— сказал майор,— придется мне самому вам печь сложить.

— То есть как!

— А так, из кирпича! — засмеялся он, показывая свои большие зубы и поднимая руку ко рту.

Я только теперь, между прочим, отметил про себя, что в этой его улыбке было что-то очень располагающее и отчасти трогательное. Она сразу преображала его озабоченное, невеселое лицо.

— Так вы лично, что ли, будете класть печку?

— Лично. Заместителю поручил бы, но он не сможет.— Майор не без удовольствия наблюдал мою растерянность.— Завтра суббота? Завтра и начнем с вечера.

Все получалось так просто и в то же время не совсем ловко: как это майору, моему в некотором смысле начальнику, подрядиться ко мне на печниковскую работу?

— Не доверяете? Вы же заходили ко мне на квартиру, видели печку? Моя. Хозяйка довольна.

— Нет, зачем же! Спасибо, конечно! Но тогда уж нужно относительно всего договориться.

— Насчет гонорара? — с веселой готовностью подсказал он.— Не беспокойтесь, сойдемся.

— А все-таки?

— А все-таки оставим этот разговор. Еще не хватало, чтоб райвоенком кладкой печей прирабатывал к основному окладу! Дойди такое до начальства — хо-хо!

— А если дойдет, что вы печи кладете?

— Это пусть доходит. В этом мне никто не указ. Я, например, сам все это шью,— он обмахнул себя рукой по кителю и брюкам,— получаю отрезы и шью. И на детей все верхнее шью. И вам мог бы сшить...

На другой день под вечер он пришел ко мне со свертком под мышкой; там были старые летние солдатские штаны и гимнастерка, а также печниковский молоток, железный складной метр, моток проволоки, какие-то бечевки.

Он осмотрел, обошел печку и плиту, потом взял стул, сел лицом к голландке посреди комнаты и стал курить, глядя на нее.

— Да-а...— сказал он после некоторого размышления.

— Что?

— Ничего. Грязи тут у вас много будет.
— Это пожалуйста. Ивановна подмоет.
— А дрова у вас есть? — спросил он.
— Дрова? Есть. А зачем?
— А вот затопить.
— Это когда вы новую печку сложите?
— Нет, сперва эту попробуем затопить.

Мне показалось, что он шутит или ничего не помнит из того, как я ему расписывал эту печку.

— Да вы же только дыму наделаете. Неужели вы мне не верите?

— Верю, верю. А надо затопить. Где дрова?

Дрова нашлись в коридоре, среди них полуобгорелые поленья, побывавшие уже в этой печи.

Майор снял китель и с такой уверенностью приступил к делу, что я уже готов был предположить, что мы с Ивановной чего-то недоглядели и потому нас всякий раз постигала неудача. И вот он сейчас затопит печь, и она окажется нормальной. Это было бы очень хорошо, но тогда вся моя история с этой печью выглядела бы совершенно смешно и нелепо.

Я просто обрадовался, когда увидел, что печь у майора задымила так же, как она дымила у Ивановны, Федора и у меня.

— Нет, товарищ майор,— сказал я.
— Что нет?
— Не горит.
— Вот и хорошо! Это нам и надо! — засмеялся он.— Как не горит, почему не горит — вот что важно.

Подтопа прогорела; крупные дрова, не занявшись, только потемнели; дыму нашло, как обычно. Майор вышел на улицу посмотреть на трубу. Я тоже вышел. Было еще светло.

Сколько раз я, затопив печку, выбегал так на улицу, напряженно всматриваясь, не покажется ли дымок из трубы! Я еще с детства помню, что если очень всматриваться, хотя бы с целью узнать, ставят ли дома самовар, то над трубой начинается некоторое дрожание воздуха, вот-вот явится дымок, и так-таки нет его.

Майор вернулся в квартиру, захватил моток бечевки с навязанной на конце тяжелой гайкой и полез по приставной лестнице на крышу. Я следил, как он, встав у трубы, начал спускать гайку в трубу и водить ею там, то опуская глубоко, с рукой, то приподнимая. Это было точь-в-точь как таскают «кошкой» ведро, оставшееся в колодце.

В это время шедший по дороге высокий мужчина в куртке с рыжим меховым воротником и косыми карманами на груди остановился и, держась левой рукой за козырек фуражки, стал смот-

реть на крышу. В правой у него была легкая палочка. Когда майор, выбрав бечеву из трубы, спустился, человек подошел поближе, и я увидел, что это Егор Яковлевич. Он кивнул мне и, обращаясь к майору, спросил:

— Ну, как?

— Черт ее знает! В трубе вроде ничего нет, а гореть не горит.

Можно было подумать, что они не только давно знают друг друга, но словно бы вместе были заняты этой незадачливой печкой. Мы вошли в квартиру, где еще было дымно, и майор с Егором Яковлевичем заговорили о печи. Они все время говорили *он,* имея в виду неизвестного мастера, клавшего печку.

— Морду ему набить,— с грустной убежденностью сказал майор.

Но старый печник примирительно возразил:

— Битьем тут не поможешь. Тут главное дело, что он не печник, а сапожник. Свести два дымохода — от плиты и от печки,— это не его ума дело.— Говоря это, Егор Яковлевич водил по корпусу печи своей палочкой, как указкой, постукивая и точно ставя какие-то знаки.— Одно слово — сапожник.

Это было сказано так же, как если бы мастерство сапожника сравнивалось с чем-нибудь неизмеримо более сложным, например, с искусством, как у Пушкина: «Картину раз высматривал сапожник...»

Печники закурили и еще долго обсуждали вопрос. Они вели себя, как доктора после осмотра больного, не стесняясь присутствием близких его, понимающих лишь с пятого на десятое их терминологию, недомолвки, пожимания плечами и загадочные начертания в воздухе.

— Не знаешь дела — не берись,— заключил Егор Яковлевич, как мне показалось, не без намека на присутствующих.

Майор безобидно пояснил:

— Я что? Я по домашности и себе печку сложил, хотя какой же я мастер! А если человек в таком затруднении,— кивнул он на меня,— надо, думаю, как-нибудь помочь.

— Конечное дело,— сказал Егор Яковлевич, довольный скромностью майора.— Помочь тоже надо, только чтобы потом еще помощи не просить.

— Егор Яковлевич! — Я вдруг вновь почувствовал в себе прилив некоторой надежды.— Егор Яковлевич, право же! А?..

Майор как нельзя лучше поддержал меня:

— А я бы уж у вас, Егор Яковлевич, за глинотопа. Мне даже не без пользы при таком мастере поработать, ей-богу так! — Он ощерил свою крупнозубую улыбку, прикрывая ее рукой с дымящейся в ней папиросой.

Нет, все-таки простые, заурядные люди в конце концов безошибочно находят пути к сердцам людей необыкновенных, с их, казалось бы, безнадежной неприступностью.

— Ну, что мне с вами делать? Надо помочь,— сказал мастер, и это «надо помочь» в точности походило на слова обычных резолюций наших начальников из района и области: «Надо помочь в части» того-то и того-то.

Егор Яковлевич сел на стул, как до него садился майор, перед печкой и, всматриваясь опять в нее, забывчиво бормотал себе под нос:

— Надо помочь, надо будет помочь...— И, взмахнув палочкой сперва в сторону майора, потом к печи, заговорил с какой-то нарочитой напевностью: — Так вот, друг милый, к завтраму ты мне эту дыру разберешь до кирпичика, и чтобы бою никакого, кирпичик к кирпичику сложишь. Понял?

Я отметил, что он говорил майору «ты», уже считая его в своем подчинении, хотя не мог не усмотреть висевший на стуле китель с майорскими погонами, и в этом он тоже походил на всякое наше начальство.

Майор сказал, что он сейчас же полезет на крышу; я, конечно, выразил готовность ему помогать, но Егор Яковлевич заявил, что на крышу лезть незачем.

— Труба ни при чем, нам и эта годится, только ее надо подвесить.

Этого не знал не только я, но и майор, как подвешивают трубы. Тогда Егор Яковлевич взял свою палочку за оба конца и разъяснил задачу с примерной популярностью, обращаясь опять-таки к одному майору:

— Возьмешь два таких брусочка, конечно, понадежнее, не меньше двух вершков. С чердака у трубы подобьешь плечики и вот так под плечики подведешь... Не только трубу, а и всю тебе печку вывесить можно. Как же ты разобрал бы печку в нижнем этаже, если во втором на ней другая? Все ломать из-за одной? Не-ет, брат...

И уже по этому первому практическому указанию я увидел, что старик не без оснований усвоил себе начальническую роль. Я так и не успел завести речь об оплате, как он одним кивком простился с нами и вышел, порядочно наследив на полу своими валенками в самодельных галошах из автомобильной камеры.

К раннему вечеру мы с майором разобрали печку, оставив нетронутой плиту и подвесив трубу указанным способом. Я лично опасался, как бы с этим подвешиванием не случилось беды, но майор справился с задачей так уверенно, как будто ему это было уже не впервые. Вообще он, как я увидел, был из тех хороших

мужчин, чаще всего военных, что умеют все и ко всякому делу приступают безбоязненно, исходя из того общеизвестного положения, что не боги горшки обжигают. Бруски, которые нам были нужны, он сделал из обрезка доски-шестидесятимиллиметровки, удачно расколов ее и выровняв топором, как фуганком. Печные дверцы, вьюшки, задвижки он с привычной сноровкой освободил из-под кирпичей и выпутал из концов проволоки, крепившей их в гнездах. Работать с ним было легко и приятно: он не угнетал неумелого и неловкого помощника своим превосходством, не раздражался и не подсмеивался, а лишь пошучивал изредка весело и необидно. Мы заготовили ящик для глины, глину, песок, чтобы все было под рукой, и, покамест умывались и переодевались, на примусе у меня закипел чайник.

— Чайку хорошо,— просто согласился майор, и мы с ним посидели в моей кухне-передней, где было почище, покурили, разговорились.

Майор посмотрел мои книги, перенесенные сюда, чтобы им не так пылиться, и, показав на растрепанный однотомник Некрасова, заметил, что его нужно переплести. И когда я сказал, что переплетчика здесь уж наверняка не найти, он вызвался переплести книгу и даже меня обучить этому делу. Конечно, без настоящего обреза под прессом не то, но все же книга будет сохраннее. Книги он любил с той нежной уважительностью и бережливостью, какая бывает только у читателей из самых простых людей. Жалкую мою библиотеку он перебрал всю, разглядывая томик за томиком, задерживаясь больше на поэзии. Я сказал, что он, наверно, любитель стихов, а это не так часто встречается среди, так сказать, неспециалистов. Он улыбнулся застенчиво и в то же время с отвагой, подчеркнутой шутливой заносчивостью тона.

— Чего же вы хотите, сам пишу стихи. И даже печатаю. Да!

— Очень хорошо,— сказал я и, не зная, что еще сказать, спросил: — Простите, а вы под псевдонимом выступаете, наверно! Я вашей фамилии что-то не встречал в печати.

— Нет, печатаю под своей фамилией, только не так часто. И потом это окружная газета, ну, еще и журнал «Советский воин», их тут вы не увидите.

С этими словами он как-то погрустнел, что заставило меня проявить больший интерес к его стихам. Я попросил его как-нибудь показать их мне. Он тотчас согласился и стал читать по памяти.

Здесь я хочу сделать оговорку, что не называю фамилии майора именно потому, что он печатается и, значит, кем-нибудь может быть установлено, что он и герой моего рассказа — одно лицо.

А этого я решительно не хотел бы допустить, так как описываю его во всех натуральных подробностях. Я пробовал назвать его в рассказе вымышленным именем, но это как-то претило и не шло к нему, и я оставляю его просто майором.

Майор прочел несколько стихотворений, я их не помню: они были очень похожи на многое множество появляющихся в газетах и журналах стихов о целинных землях, солдатской славе, борьбе за мир, гидростройках, плотинах, девушках и маленьких детях — будущих сверстниках коммунизма — и, конечно, стихов о стихах. И они были не просто похожи невольной похожестью подражания, которого автор хотел бы избежать, но казалось, что его усилия как бы к тому только и были направлены, чтобы все у него было как у людей, как полагается быть в стихах. Об этом я ему не мог сказать: уж очень он мне был по душе своей добротой, товарищеской участливостью, умелостью на все руки и не деланной, а подлинной скромностью. Я сказал что-то насчет какой-то неудачной рифмы, замечание было совсем пустяковым.

— Нет,— возразил он тихо,— рифма, что же... Рифма у меня есть...— И, поправляя стопку книг, выложенных на краю стола, повторил раздумчиво: — Рифма-то у меня есть...— В этом возражении была грустная недосказанность: он сам, может быть, что-то знал о своих стихах такое, чего я не коснулся и, как ему казалось, не понимаю. И вдруг он заговорил, точно оправдываясь и упреждая чью-то оценку и выводы относительно его стихов: — Вы знаете, я не настолько глуп, чтобы считать это уже вполне чем-то таким заслуживающим... Но я не боюсь труда, я упрям, как бык, я могу не спать, не есть и не пить, если мне нужно чего добиться... Я начал писать на войне, то есть не когда был в роте, а когда бывал ранен: как ранение, так и новая тетрадка стихов, как ранение, так и творческий отпуск.— Он засмеялся сам своей шутке и продолжал: — А мне везло: меня ранило четыре раза — и все не то чтобы легко, но и не так тяжело, как раз в меру, месяца на полтора в тыл. Попишешь, почитаешь вволю — и опять на фронт. Так и везло. Ну, и теперь у меня должность такая, что выходной день у меня всегда мой. А вечер? А ночь? Тоже мои. И откровенно сказать, я без этого не могу, я за что взялся, должен постигнуть. Я не отступлюсь, покамест не постигну. Вроде этой печки, знаете. Вы думаете, я когда-нибудь учился на печника, курсы проходил? Но мне нужно было сложить печку, нанимать некого, да и нанимать мне, сказать откровенно, не по карману: семейка, слава богу, самсемь. Так я что сделал? Я дважды складывал ее: первый раз сложил начерно, протопил, сообразил, в чем секрет, а потом разобрал, как вот мы с вами эту,— правда, та еще и не просохла,— и уже набело вывел. Топится. Может, Егор Яковлевич найдет что-нибудь,

но топится, работает.— И он опять засмеялся, но как-то надвое: тут была и некоторая похвальба своей удалью, но и готовность признать, что все это только забавно.

В разговоре выяснилось, что были мы одно время на соседних фронтах, и этот весьма условный признак соседства в прошлом еще больше сблизил нас, вроде того как сближает людей столь же условный признак отдаленного землячества. Я вышел проводить его немного, потом долго еще не мог уснуть в своей холодной и пыльной комнате с разобранной печкой. Мне приходило на мысль, что этот милый майор, занятый службой и обремененный семьей, пожалуй, не должен бы изнурять себя еще и стихами. Мне было ясно, что стихи эти не были, в сущности, выражением глубокой внутренней необходимости высказывания именно в этом роде речи. О войне он писал так, что для этого вовсе не нужно было провести четыре года на фронте и быть четырежды раненным; в стихах о некоем социалистическом ребенке полностью отсутствовал автор — отец пятерых детей; из стихов об освоении целины только и запомнилось мне, что «целина — потрясена»; наконец, и в стихах о стихах было только повторение той истины, что стихи нужны в бою и в труде.

Может быть, он и писал все это только потому, что знал за собой способность освоить всякое новое дело, не только без специальной подготовки, но и без особого к тому влечения души. Но нет, скорее всего позыв к авторству разви́лся у него уже очень сильно; можно было не сомневаться, что на этом пути его ждет еще немало разочарований и горечи...

Проснулся я от стука в окно над моей головой.

Стучали палкой, негромко, но требовательно. Это был Егор Яковлевич, хотя еще стояла настоящая темень. Я включил свет и открыл ему. Он был в той же куртке с воротником и с той же палочкой-указкой. Никакого инструмента и спецодежды с ним не было. Покамест я одевался и прибирался, он курил, кашляя, прочищал нос и плевался, разглядывая все, что было приготовлено для работы.

— Так, значит. Отдыхаем! Так,— говорил он в перерывах кашля и сморкания.

Было очевидно, что он очень доволен, застав меня в постели и придя раньше майора, за которым я уже хотел отправиться. Но майор опоздал против старика не более как минут на десять.

— Выходной же,— с улыбкой оправдывался он, развертывая свой сверток с рабочим костюмом.

— У кого выходной, а у нас с вами рабочий день,— холодно отозвался старик, назвав майора на этот раз на «вы», покамест он был еще в кителе с погонами. Но, может быть, эти слова относи-

лись и ко мне заодно с майором.— А вот что глину не замочили с вечера — это напрасно: больше месить придется. Ну, и теплой водички не мешало бы. Не из нежности рук, а чтобы раствор был вязче.— Раствор — так он и называл все время глину, размешанную с песком, приравнивая ее к цементу. Кряхтя, он присел на корточках перед фундаментом разрушенной печи, прикинул своей палочкой и сказал: — Четыре на четыре, больше не надо.

— Егор Яковлевич.— Майор протягивал ему свой складной метр.

Старик взмахнул палочкой.

— У меня вот тут все меры, какие нам нужны. А не веришь — можешь перемерить.

Но перемеривать не стали. Речь шла просто о том, что основание печи будет четыре на четыре кирпича. Егор Яковлевич переложил трость в левую руку, а правой быстро, один за одним, выложил кирпичи насухую, без глины, по намеченному квадрату, встал и показал на них палочкой:

— Вот так будешь вести.— Потом взял из ящика комок замешенной нами с майором глины, размял в руке, поморщился и бросил обратно.— Надо еще чуть песочку. Куда, куда столько! Сказано — чуть. Вот и довольно. Размешай хорошенько.

Мы приступили к работе, и с самого начала для каждого определилось его место. Я замешивал глину, подносил и подавал кирпичи, майор вел кладку, а Егор Яковлевич,— я не могу подыскать более точных слов,— возглавлял все дело и руководил им, по-прежнему действуя палочкой, как указкой, присаживаясь, вставая, покуривая и покашливая. Порой он как бы и отвлекался от печи, высказываясь подробно и назидательно о пользе раннего вставания, о необходимости строжайшего воздержания от вина перед работой, о своем кашле, который у него особенно зол бывает с ночи, о качествах кирпича различного обжига и многих других материях. Но я видел, что за работой он при этом следит так, что ни один кирпич не лег на место без его зоркого, контролирующего глаза, а порой и палочки, как бы невзначай легонько стукнувшей по нему. Егор Яковлевич был в своей теплой куртке, а мы с майором одеты по-рабочему, в одних стареньких гимнастерках, уже разогрелись и вытирали лбы и носы об рукав у предплечья — руки у нас были перемазаны; Егор Яковлевич видел это и не преминул использовать для профессионального назидания.

— Вздохни, друг, закури.— Он с коварным радушием протянул майору свою пачку «Севера». Тот выпрямился и беспомощно развел руки.— Ага! Нечем взять? Должен руки сперва помыть? Так? А это значит, что ты еще не печник, а верно что глинотоп.— Он сунул майору в рот папироску, дал прикурить и продолжал: —

Зачем у меня должны быть обе руки в растворе? Нет, только одна, правая, а левая у меня должна быть всухé. Смотри.— Он отстранил палочкой майора, положил ее в сторону и только слегка, движением рук вверх, осадив рукава куртки, взял левой рукой очередной кирпич, а правую обмакнул в ведро с водой и захватил ею небольшой шлепок глины.— Вот! Левой кладу, правой подмазываю и зачищаю. Понял? — Он быстро положил ряд кирпичей, и хотя немного запыхался, но очевидно было, что на это дело он затрачивал гораздо меньше усилий, чем майор.— Левая всегда всухé! И тут не только то, что я свободно могу закурить, и утереться, и нос оправить, но и в работе больше чистоты. Нужен тебе, например, гвоздь — берешь гвоздь, очки или что другое. Ну, расстегнуть что-нибудь, застегнуть — пожалуйста.— Он показал, как он может все это сделать левой рукой.— А ты стой, как чучело в огороде.

Мастер наконец улыбнулся, очень довольный своим уроком и потому позволяя свои последние слова считать шуткой. Я очень был рад за майора: он не только не обиделся, но с восхищенной улыбкой следил за ходом изложения и показа, заслоняя рот рукой издали, чтобы не замазаться.

Он попробовал было действовать, как Егор Яковлевич, но вскоре же ему почему-то понадобилось переложить кирпич из левой руки в правую, и он сдался.

— Нет, Егор Яковлевич, разрешите уж мне так, как могу.

— Давай, давай,— согласился старик.— Это не вдруг. А другой и мастер ничего вроде, а всю жизнь так вот, не хуже тебя...

Я уверен, что он был бы огорчен и недоволен, если бы майору удалось сразу же перенять его стиль. Пожалуй, что и майор понимал это и не стал состязаться. Затем Егор Яковлевич, видимо, разохотившись учить уму-разуму, поставил два кирпича на ребро, плотно, один к одному, и, занеся над ними руку, как бы собираясь их взять, предложил:

— Вот так, подними одной рукой.

Но майор рассмеялся и погрозил Егору Яковлевичу пальцем.

— Нет уж, это фокус старый, это я могу.

— Можешь? Ну, то-то же! А другой бьется-бьется — не может. Случалось, на пол-литра об заклад бились.

Фокус был в том, как мне показалось, что нужно было незаметно пропустить между кирпичами указательный палец, и тогда оба кирпича можно было легко поднять разом и переставить с места на место.

Упоминание о поллитровке заставило меня подумать об организации завтрака, тем более что уже совсем рассвело, было около девяти часов. Я сказал, что мне нужно ненадолго отлучиться, и

отправился на станцию, где закупил в ларьке хлеба, колбасы, консервов и водки. На обратном пути я зашел еще к Ивановне и получил от нее целую миску соленых огурцов — от них на свежем воздухе шел резкий и вкусный запах чеснока и укропа. Я был рад пройтись, распрямиться: у меня уже болела спина от работы, и я предполагал, что и майор отдохнет в мое отсутствие. Но, когда возвратился, я увидел, что работа шла без передышки, кладка уже выросла в уровень с плитой, уже были ввязаны дверцы и Егор Яковлевич был без куртки, в вязаной фуфайке, выкладывал первый полукруг сводов, а майор был вместо меня на подаче. Они работали быстро и ладно, майор едва поспевал за стариком, и притом они спорили.

— Талант должен быть у человека один,— говорил Егор Яковлевич, управляясь с делом так, что левая рука у него была «всухе́».

Туловище его, обтянутое фуфайкой, казалось чуть не тщедушным при крупных и длинных, с тяжелыми кистями руках, похожих на рачьи клешни. Спор у них, должно быть, зашел с того, о чем речь была еще при мне,— с мастерства и стиля в работе,— но он уже выходил далеко за первоначальные рамки.

— Талант должен быть один. А на что нет таланта, за то не берись. Не порти. Вот что я всегда говорю, и ты это положи себе на память.

— Но почему же один? — возражал майор спокойно и с некоторым превосходством.— А Ренессанс — эпоха Возрождения? Леонардо да Винчи?

Егор Яковлевич, очевидно, слышал эти слова впервые в жизни и сердился, что не знает их, но уступить не хотел.

— Этого мы с тобой не знаем, это нам неизвестно, что там когда было.

— Как так неизвестно, Егор Яковлевич! — изумился майор, оглядываясь на меня.— Всем известно, что Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изобретателем и писателем. Вот спросите.

Я вынужден был подтвердить, что действительно так оно и было.

— Ну, было, было,— озлился припертый к стене старик,— но было когда? До царя Гороха... Когда всяк сам себе и жнец, и швец, и в дуду игрец.

— Это вы уже в мой огород?

— Нет, я вообще. Другое развитие развивается, другая техника — все, брат, другое.

Я прямо-таки подивился историчности взглядов Егора Яковлевича и, высказав это вслух, прервал спор приглашением закусить.

За столом Егор Яковлевич наотрез отказался выпить.

— Это потом, когда затопим... Ты выпей,— обратился он к майору,— тебе ничего.

— Ну, а вы, может, все-таки?..

— А я все-таки не могу: на работе. За меня думать некому.

Майор не настаивал и не обиделся.

— Ну, так я и выпью стопочку. Ваше здоровье!

Мы выпили с майором. Разговор у нас с ним завязался опять о литературе. Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому — ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи. Майор возражал горячо и почти уже раздраженно, называя меня, хоть и в шутку, консерватором и догматиком.

Егор Яковлевич вяло ел, прихлебывая чай, курил и молчал отчужденно и горделиво, пережидая нашу беседу. «Если я этого ничего не слыхал и не знаю,— как бы говорил он всем своим видом, сопением и кряхтением,— так только потому, что все это мне без надобности и неинтересно, и наверняка пустяки какие-нибудь». Но когда мы упомянули Пушкина, он сказал:

— Пушкин — великий русский поэт.— И сказал так, как будто это он один только знает, дошел до этого своим умом и говорит первым на всем белом свете.— Великий поэт! Эх! — Он прицурился и тоже прочел с подчеркнутым выражением умиления и растроганности.

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

— Это же Лермонтов,— засмеялся майор.

Но старик только покосился в его сторону и продолжал:

Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!

— Это же Лермонтова «Бородино»! — с веселым возмущением перебивал его майор и толкал меня локтем.

Не даром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Последнее слово Егор Яковлевич произнес громко, раздельно и даже ткнул пальцем в сторону майора: я же, мол, про то самое и говорю. И решительно не давал перебить себя:

— Эх! А «Полтавский бой»? «Горит восток зарею новой...»

— Вот это Пушкин, верно,— не унимался майор.— Только это поэма целая «Полтава». А так это Пушкин.

— А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой! Нет, брат?

— Маяковского тоже нет в живых. Что бы он еще написал, неизвестно.

— Хе! — Старик с величайшим недоверием махнул своей тяжелой рукой.

— Ну и корень вы, Егор Яковлевич! — Майор озабоченно покачал головой и сдвинул морщины на лбу под самые корни густого черного бобрика.— Ох, корень!

Старику, видимо, было даже приятно слышать, что он корень, но он тотчас дал понять, что и это ему не в новинку.

— Слава богу, восьмой десяток распечатал. Поживете с мое, тогда будете говорить.— Это уже относилось не к одному майору, но и ко мне, и ко всему нашему поколению.

Но майор и на этот раз не отказал себе хоть в малом торжестве своего превосходства:

— Корень, корень! А «Бородино»-то все-таки написал Лермонтов.

Егор Яковлевич ничего не сказал и, поблагодарив, встал из-за стола заметно подавленный. Я думаю, что он сам смекнул свой промах с «Бородином», но признать это было для него нож острый, как и то, что он не слыхал про Леонардо да Винчи. Мне было его жаль, как всегда жаль старого человека, если он вынужден терпеть поражение от тех, у кого преимущества молодости, знания и памяти.

После завтрака работа пошла еще веселее. Печники оба стали на кладку: Егор Яковлевич — со стороны кухни, майор — со стороны комнаты, а я — на свое место. Но работа шла молча, если не считать односложных замечаний, относящихся только к делу. Может быть, это было следствием их недавних разногласий, в которых верх явно был за майором, но, может быть, сама кладка печи все более усложнялась: пошли разные «обороты», душники, вьюшки, подключение плиты к общему дымоходу, и это требовало особой сосредоточенности.

Я не пытался вывести мастера из этого молчания, потому что мне теперь, на подаче для двоих, было впору только поворачиваться. А когда они делали перекур, я спешил заготовить, пододвинуть все, что нужно, так, чтобы легче управляться. Корпус новой

печи уже поднимался к дыре в потолке, над которой была подвешена старая труба, и он, будучи меньше в объеме, чем прежний, выглядел как-то непривычно и даже щеголевато. Обогревательные стенки печи и зеркало были выложены в четверть кирпича, то есть в один кирпич, поставленный на ребро. Когда Егор Яковлевич начал делать из кирпичей выпуск под потолок наподобие карниза, печь стала еще красивей, я уже мысленно видел ее побеленной: она будет прямо-таки украшением комнаты, когда все приберется и с приездом Лели переставится по-новому. Только бы она топилась как следует.

Для работы вверху нужно было подмоститься, пошли в ход мои табуретки, а затем и стол, который мы кое-как накрыли газетами. Теперь там, вверху, работал уже один Егор Яковлевич, и он был королем положения.

Когда ему понадобилось для карниза несколько кирпичей с выколотой четвертью, то есть с ровно выбитым углом, он велел это сделать майору. Майор испортил одну, другую кирпичину, за третью взялся, уже покраснев и надувшись, но и ту развалил на три части. Я ожидал нетерпения и язвительных замечаний со стороны Егора Яковлевича, но он, казалось, отнесся даже сочувственно к неудачам ассистента:

— Кирпич дерьмовый. Разве это кирпич? Дай-ка сюда...

Он ловко подхватил кирпич левой рукой, которая до сих пор у него так и была «всухе́», подбросил его, укладывая на ладони, и, легонько, точно яйцом об яйцо, тюкнув по нему молотком, выколол то, что надо. Так же у него получилось и с другим, и с третьим, и со всеми кирпичами, только иные он обкалывал не с одного, а с двух и больше осторожных ударов.

— Да-а! — сказал майор.— Вот это да! Ну, черт!

Но старый мастер желал еще быть и великодушным — он отнес завидную лихость своих ударов за счет неодинакового качества кирпичей.

— Попадается, что и ничего.— Однако не удержался от хитрой улыбки.— И, гляди, подряд сколько попалось...

Мы с майором расхохотались, посмеялся и сам Егор Яковлевич, и я увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой области. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он кирпич в кирпич подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты из-под ее плечиков бруски — и ничего ужасного не произошло, и все было как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся.

Сумерки уже притемнили комнату, когда Егор Яковлевич, кряхтя, слез со своих подмостков, и наступил торжественный мо-

мент опробования новой печи. Я хотел было включить свет, но Егор Яковлевич запротестовал:

— Ни к чему. Огня не увидим, что ли?..

Он опустился перед печью, но не на корточки, а на колени, и сел на задники своих огромных валенок, как сидят обыкновенно мужики в санях, возле костров или вокруг общего котла на земле. Выложив на сырой еще решетке щепочки и легкие чурочки, он вытер спичку, но не поднес тотчас к подтопе, а зажег клок газеты и сунул его в маленькую дверцу поддувала внизу и только потом сгоревшую до самых его ногтей и загнувшуюся крючком спичку ткнул под мелкие, курчавые стружки. Газета быстро сгорела в поддувале, а в печи костерок разгорался медленно, слабо,— я боялся дышать, глядя на него,— но разгорался. В полном молчании мы все трое смотрели на него. Вот он пошел и пошел веселее, охватывая уже и щепочки покрупнее,— да, поначалу это было так у меня и в старой печке, а вот что дальше будет? Егор Яковлевич подкладывал дровишки, располагая их по методу Ивановны, огонь цеплялся за них все увереннее и живее, и дальше — больше, печь запылала ярко и весело, и это было особенно красиво и приятно в сумерках, заполнявших комнату. Егор Яковлевич тяжело поднялся с колен.

— Ну, с новой печкой вас! — сказал он и стал в рабочем ведре мыть руки.

Так вот почему он не дал мне включить свет: так огонь в печи был виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела.

Когда мы с майором умылись и переоделись, я не без тревоги приступил наконец к вопросу о том, какую оплату Егор Яковлевич желал бы получить. «Моя оплата известна»,— помнил я его слова, и был готов на все, но меня тревожило то, что я не знал, хватит ли у меня наличных денег для расчета на месте. Печка горела отлично, уже были сунуты крупные дрова, и они занялись, и все было так хорошо, что я забыл выбежать и посмотреть, идет ли дым из трубы: идет, раз печка не дымит.

— Ну, что об этом толковать,— как-то отмахнулся Егор Яковлевич от вопроса,— что об этом толковать...

— Нет, а все же, Егор Яковлевич, я вас очень прошу сказать: сколько вы должны получить?

— Ну, сколько ему, столько и мне,— опять же не то всерьез, не то так просто сказал он, показывая на майора.— Вместе работали. Да и вас еще надо в долю: помогали.

— Егор Яковлевич,— вмешался майор,— тут у нас другие совсем отношения, другие счеты, мне ничего не полагается. Я сказал наперед, что ничего не возьму, поскольку не специалист...

— А я ничего не возьму, поскольку специалист. Понятно? Есть о чем толковать! Давайте-ка лучше по случаю запуска печи... Теперь уж и я не откажусь...

Я попытался соврать, что, мол, оплата эта, в сущности, для меня ничуть не обременительна, что бóльшую часть суммы заплатит школа, но тут Егор Яковлевич прервал меня строго и обидчиво.

— Вот это вы уже совсем зря говорите, чтобы я еще со своей школы деньги взял... Не настолько я бедный, слава богу, и этого никогда не позволю...

Может быть, эта обидчивость у него явилась из досады, что майор и в этом вопросе упредил его, отказавшись от денег заранее, но так или иначе, разговор этот мне пришлось прекратить.

Майор все это слышал и, когда мы сели за стол, уставился на Егора Яковлевича каким-то странным — веселым и вместе смущенным — взглядом, посмотрел-посмотрел и вдруг спросил:

— Егор Яковлевич, ты на меня не сердит за что-нибудь? — Вопрос был необычным уже по одному тому, что майор обратился к старику на «ты».— Ну, может быть, я как-нибудь обидел тебя или что?

— Нет, почему же так? — удивился тот и, точно впервые видя его, в свою очередь, осмотрел майора в его кителе с погонами и трехэтажной колодкой орденов и медалей.

— Чем вы меня могли обидеть? Работали вместе, все хорошо, ссориться нам с вами незачем вроде...

Теперь Егор Яковлевич говорил майору «вы»: по-видимому, он считал, что тот уже не находится под его началом, как это было во время работы.

— Ну, ладно. Хороший ты человек, Егор Яковлевич, не говоря уже что мастер. Давай выпьем с тобой, будь здоров!

— Будьте здоровы!

Они чокнулись, точно между ними и впрямь что-то было и наступило примирение и взаимная радость.

Потом постучалась Ивановна — она усмотрела дым из моей трубы,— следом приволокся и сам Матвеев; они тоже выпили с нами, хвалили печку и хвалили в глаза Егора Яковлевича. Он выпил три стопки, раскраснелся, расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую русскую печку или голландку, но и шведскую, и круглую — «бурак»,— и камин, и печку с паровым отоплением, и что никто другой так, как он, не сделает, потому что у него талант, а талант — дело не частое. Пожалуй, он маленько стал нехорош, громок, но, когда я хотел налить ему еще, он решительно накрыл рукой стопку.

— Норма! — И стал прощаться.

Я вызвался было проводить его — не только из-за его заметного охмеления, но и надеясь все же сговориться с ним по дороге о какой ни есть оплате. Но он церемонно поблагодарил за угощение, нашел свою палочку и раскланялся.

— Провожать меня? Я не девка...

— Корень все-таки! — сказал вслед ему майор.

И мы еще посидели, поговорили. Ивановна принесла новых дров для завтрашней топки и стала прибирать в комнате. Печка подсохла, даже немного обогрела комнату, и на душе у меня было так хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких неприятностей и затруднений.

1953—1958

НИКИШКА БОЛТУШОК

Мне много приходится разъезжать по колхозам. Прежде, до того как подружились мы с Евсеичем, я ездил один. Теперь Евсеич нередко сопровождает меня.

А старик он такой: работает ночным сторожем, но успевает и выспаться и сбегать на охоту или на рыбалку. Иной раз он скажет:

— Давай с тобой, Владимир Акимыч, поеду. Посмотрю, что у людей добрых делается.

И тогда едем вдвоем, разговариваем в пути по душам...

Вот и сейчас мы возвращаемся домой — в колхоз «Новая жизнь». Линейка поскрипывает рессорами, рыжий меринок Ерш бежит рысцой, а Евсеич перекинул ноги на мою сторону, видимо, намереваясь вступить в длительный разговор.

Евсеич всегда весел, а рассказчик такой, что поискать. Лет ему за шестьдесят, но здоровью можно позавидовать. Бородка у него седая, остренькая — клинышком; лицо подвижное: то оно шутливо-ехидное, то вдруг серьезное, и тогда голубые глаза — внимательные и умные — смотрят на собеседника открыто и прямо; брови, будто не желая мешать глазам, выросли маленькими, но четкими, резко очерченными. На голове у Евсеича кепочка из клинышков, с пуговкой наверху.

Он любит рассказывать сказки, сочиняет шутливые небылицы, не прочь поглумиться над лодырем, а уж если про охоту начнет, то с таким упоением плетет свою складную, забавную небывальщину, что без смеха слушать невозможно. Он, впрочем, и сам на это рассчитывает. Кепку на один глаз сдвинет и почешет пальцем у виска — вот, дескать, дела-то какие смехотворные!

— Многие думают,— говорю я Евсеичу,— что быть агрономом — простое дело: ходи себе по полю, загорай, дыши свежим воздухом да смотри на волны пшеничного моря. Слов нет, и загораем,

и на волны смотрим. Хорошо, конечно. Но мало кто знает, сколько сводок, сведений, планов, отчетов, ответов на запросы и просто ненужных бумажек приходится писать агроному. Иную неделю света белого не взвидишь, а не то чтобы — поле. Сводки, сводки, сводки!..

— Бумаги-то небось сколько, батюшки мои! — восклицает Евсеич.

— Иная сводка в двести вопросов, на двенадцати листах.

— Одни вопросы читать — два самовара выпить можно.

— Раз такую сводку сложили в длину, лист за листом, три метра с чем-то вышло!

— Три метра! — качает головой Евсеич.— Ай-яй-яй! Холсты, прямо холсты!

— А сочинители этих холстов,— продолжаю я свои жалобы,— ссылаются на запросы то Министерства сельского хозяйства, то института, то от себя еще добавляют. Иначе откуда бы взяться такому вопросу: «Среднее число блох на десяти смежных растениях капусты, взятых подряд и без выбора»? Хорошо хоть, что в примечании говорится: «В целях упрощения на каждом отдельном растении блох считать не следует». Хоть за это спасибо!.. Только блохи-то — они прыгают: сосчитай-ка! Так графа и остается незаполненной.

— Ясное дело, блоха того не понимает. Прыг — и нет ее! Известно — тварь.

— Что тут поделать! Иной раз так в ответе и напишешь: «Прыгают интенсивно. Подсчет не проводился ввиду активности вредителя».

— Во! Так их! «Активность вредителя» — это правильно! — Помолчав, Евсеич сочувственно спрашивает: — А вам какую-нибудь добавку платят за эти вот самые... холсты бумажные? Или — за так?

Мой ответ, что это входит в обязанности агронома, его не удовлетворяет.

— Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут.)

— Кого?

— Да этих... как их, бюрократов... Ведь есть еще кое-где, а? Как ты думаешь?

— Наверно, есть,— подтверждаю я.

Ерш набирает рысь, помахивая головой и озираясь на шутильник. Полевая сумка у меня на коленях — пухлая, толстая, как размокшая буханка,— полна сводок и сведений. Едем мы за последними данными: число скирд сена, данные обмера каждой скирды, качество сена в каждой скирде, процент осоки, дикорасту-

щих — естественных, сеяных, однолетних, то же — многолетних, из них люцерны, эспарцета, травосмесей. В общем, последний вопрос: сколько сена?

Но кто же даст в колхозе «Новая жизнь» такие сведения? О счетоводе нечего и думать, он просто скажет: кормов столько-то, сена столько-то, яровой соломы столько-то.

— Евсеич! Кто обмерял стога сена в «Новой жизни»? — спрашиваю я.

— А что?

— Сводка.

— А! Сводка!.. Сколько вопросов?

— Восемнадцать.

— Никишка Болтушок обмерял. К нему надо... Он хоть на тыщу вопросов даст ответ.

— А как его фамилия?

— Кого?

— Да Болтушка, который обмерял сено?

— По книгам Пяткин, а по-уличному Болтушок... Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок. Только по книгам он в правлении пишется, а зовется Болтушок. Все так зовут. И ребята его Болтушковы, а жена Болтушиха.

— За что ему такое нехорошее прозвище прилепили?

— Вона! За что? Кому следует, сразу прилепят. Все как надо быть... Лучше не придумаешь, хоть век думай! Народ как дал прозвище, так и умри — не скинешь. Это ему еще с начала колхоза дали: речи сильно любит и непонятные слова.

— Ну, а как он: мужик с головой?

— Дым густой, а борщ пустой.

После этих слов он задумался и замолчал.

...Подъехали к правлению. Там, кроме сторожа, никого не оказалось — все были в поле, и мы направились к Пяткину. Он сидел на завалинке, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно курил. Евсеич перегнулся через линейку и прошипел мне на ухо по-гуснному:

— Все в поле, людей не хватает, а он сидит, как лыцарь. И так всегда... Шутильником бы вдоль хребтины!

Болтушок, не вставая, подал мне руку и произнес:

— Агрономическому персоналу, борцам за семь-восемь миллиардов, пламенный привет!

Без обиняков я изложил суть дела, по которому он мне потребовался, и объяснил, что не все материалы можно получить у счетовода. Пяткин слушал, многозначительно хмыкая и чмокая цигаркой. Лицо его очень похоже на перепелиное яичко: малепькое, конопатое. На лбу несколько подвижных морщинок: удивляется —

Юрий Нагибин. «Зимний дуб».
Художник П. Карачинцев.

морщинки вверх; напустит на себя важность — морщинки вниз; засмеется — морщинки дрожат гармошкой. Глаза малюсенькие, слегка прищуренные, с белыми ресницами; брови бесцветные: их незаметно на лице. На вид ему больше сорока, этак сорок два, сорок три.

— Значит, дебатировать будем вопрос насчет сена. Та-ак! — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за подбородок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак. Все эти вопросы мы с вами обследовать имеем полный цикл возможности, тем более я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произвести.

При этом он с достоинством поднял вверх перепелиное яичко.

— Нам не дебатировать надо,— сказал я,— а просто выяснить кое-что. Есть ли у вас записи обмера и можете ли вы сказать о качестве сена в той или иной скирде?

— Как?

Я повторил.

— Та-ак... Обмеры сдали в правление, а вопросительно качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо... Вечером заседание правления — обсудить в корне... О животноводстве будем дебатировать, так и о сене присовокупим по надобности, поскольку есть ваше требование как специалиста сельского хозяйства, к которым мы должны прислушиваться и полностью присоединяться. Что такое животноводство, если...

Я перебил его:

— Мне надо в поле, а тут данные для сводки негде взять.

Болтушок, кажется, обиделся. Его морщинки прыгнули вниз.

— Так, так...— произнес он.— Как я имею понятие, вы предъявляете требование с намерением заполнить сводку на завалинке.

— Никакого такого намерения нет. Но я должен побеседовать с членами комиссии по учету кормов.

Он, будто не слыша, продолжал:

— Пойдем в правление, сядем честь по чести и продебатируем согласно форме.

Я решил не «дебатировать» и, попрощавшись, поехал в поле.

Вечером, до начала заседания правления, мы со счетоводом ответили с горем пополам на некоторые из многочисленных вопросов о сене.

— Сколько зрящих вопросов в этой сводке! — не выдержал наконец счетовод.— Да и формы такой статистическое управление не утверждало — выдумка бюрократов.

— Да уж,— махнул я рукой,— хватает! И зрящих и бессмысленных...

Кто-то тихонько засмеялся скрипучим голоском, и из угла послышалось:

— Нездоровые в политической плоскости разговоры.

Это был Болтушок. Мы и не заметили, когда он вошел.

— При чем тут «нездоровые»,— возразил счетовод,— когда вместо этой чепухи можно просто написать: «Столько-то сена».

Болтушок подошел к нам, ехидно улыбаясь, и, навалившись животом на стол, заговорил:

— Какая же это будет сводка?.. «Столько-то сена»... Это уже не сводка по форме, это так, черт знает что, а не сводка. Сено! Великое слово — «сено»! Надо понимать корень. Я был ведь председателем колхоза два месяца и по животноводству был: соображение имеем в натуральности. Слово «сено», как я понимаю, должно войти гвоздем,— он надавил пальцем на стол,— и в сводке той углубиться и расшириться. Тогда только высшему руководящему составу можно понять корень вопроса. Кузьма Стрючков сказал: «Смотри в корень!»

— Не Стрючков, а Прутков,— поправил я.

— Прутков? — спросил он, выпрямляясь и будто вспоминая, но ничуть не смутившись.— Что-то помнится вроде Стрючков... Говорит: «Смотри в корень!» И правильно говорит. Поли-итика! — Он потряс пальцем над головой.— Не нами придумано, не нам и отдумывать назад. Сводка есть сводка, и форма есть форма. Никто не позволит, чтобы над установкой высших организаций...

— Ну, пошел, поше-ел! — проговорил кто-то в сенях из темноты.— Теперь удержу не будет: вожжа под хвост попала — телега пропала!

Болтушок покосился в сторону сеней, покачал головой.

— Темнота и есть темнота! Слышь, что Федора Карповна сказала? Одно слово — темнота! — Он махнул рукой, поправил картуз и снова уселся в угол.

Заседание правления собиралось не быстро. Те, что пришли раньше, занимали себя по-разному. Счетовод развернул газету и углубился в чтение. Три молодых парня склонились над шахматной доской, решая задачу. Один из них, подпоясанный ремнем поверх телогрейки и с кнутом в руках, Петя-ездовой, настойчиво и спокойно советовал:

— Слоном надо! Только слоном.

— Куда? — спрашивал второй.

— На дэ-семь.

— Точно... А теперь... теперь...

— Ферзем: а-четыре,— говорил все тот же Петя.

— Ничего не получается! — воскликнул третий.— Черные на эф-шесть, шах королю, и по-ошла волынка!

И снова все втроем продолжали искать решение задачи. Не утерпел и я, подсел и включился четвертым.

Вдруг за спиной раздался трескучий голос Болтушка:

— Человек с натуральным образованием, а такими пустяками занимается.

— Люблю,— ответил я, оборачиваясь.

Болтушок, ухмыляясь, сдвинул картуз на висок. Редепькие белесые волосы торчали пучком сбоку головы.

— Для этой игры ум требуется,— отозвался счетовод, не отрываясь от газеты.

— Это у Петьки-то ум! — вдруг воскликнул Болтушок, тыча пальцем в спину парня.

А тот, не отрывая глаз от шахматной доски, будто невзначай, тихо проговорил:

— Погоди, вот на этом заседании тебе пропишут ум,— и в задумчивой нерешительности взялся за головку ферзя. Болтушок для него в этот миг уже перестал существовать.

У Пети — завитки черных волос из-под кепки, широкие черные брови, загорелое румяное лицо с чуть-чуть выдающимися скулами, тихая уверенность во взгляде и недюжинная силенка. Он окончил семилетку и учится заочно в сельскохозяйственной школе. Через три года будет специалистом. И что ему сейчас Болтушок, когда «белые начинают и выигрывают»!

Из сеней вошли сразу несколько человек, и среди них Евсеич. Все были возбуждены и улыбались, а конюх Данила Васильевич Головков — широкий, грузный, с украинскими усами и густыми бровями, нависшими над глазами, в жилетке нараспашку и с уздой в руках — басил:

— Ну и Евсеич! Уморил, ей-богу, уморил!

Вошедшие шумно расселись: кто на лавках, а кто просто на корточках, прислонясь к стене спиной.

Евсеичу пришлось вскоре уйти на свой пост: и хочется побыть на заседании, но и на охрану пора.

Данила Васильевич осмотрелся кругом и сказал:

— Кажись, все налицо. Можно за Кузьмичом посылать. Коля! — обратился он к мальчику, стоявшему у стены.— Иди кличь Петра Кузьмича.

Вскоре вошел председатель колхоза Петр Кузьмич Шуров, на ходу поздоровался со всеми сразу и, не останавливаясь, прошел за стол, накрытый красной материей. Счетовод немедля присел сбоку стола с листом бумаги в руках. Болтушок уселся на переднюю скамейку.

Заседание началось. Председатель, вполголоса посоветовавшись со счетоводом, встал и объявил:

— На повестке дня два вопроса: первый — о животноводстве и второй — о колхозниках, не выработавших минимума трудодней.

По первому вопросу говорил сам Петр Кузьмич. Председателем он работает в «Новой жизни» всего лишь месяцев шесть: краткость его речей, четкость указаний, настойчивость, непримиримость к лодырям и любовь к своему делу выгодно отличают его от многочисленных предшественников. Колхозники его уважают, но бездельникам житья не стало, он безжалостно вытаскивает их напоказ всему колхозу. А посмотреть — человек с виду так себе: росту невысокого, худощав, пиджачок немудрящий, галстучек... Особого виду нет. Правда, лоб у него высокий, русые волосы, вьются, но по комплекции не вышел. И ни тебе брюшка, ни синих галифе, в которые иной председатель при желании поместил бы ползакрома пшеницы,— ничего такого нету, обыкновенный человек! Глаза у него карие, открытые и добрые. А уж если сердится, не разберешь: то ли карие, то ли еще какие, прищурит их и одними зрачками простреливает насквозь, как бы говоря взглядом: «Врешь, прощупаю!» Большие нелады пошли у него с рвачами и лодырями, нет им развороту никакого. Сколько жалоб посыпалось на него в район, в область и даже в Москву!

В своем выступлении председатель сказал так:

— Чтобы выполнить план развития животноводства, нам надо закоптрактовать у колхозников двадцать голов телят. И тогда вопрос животноводства будет разрешен. Кормов у нас достаточно. Сейчас необходимо установить цену, по которой будем контрактовать. У кого какие имеются предложения?

И все. Вопрос казался простым и ясным.

Данила Васильевич подал голос:

— Давайте платить, как и в прошлом году: центнер хлеба и сто рублей за теленка.

По всему было видно, что это предложение не встречает возражений. Но не тут-то было!

— Еще какие предложения есть? Кто желает? — спросил председатель.

Немедленно поднялся Болтушок.

— Давайте скажу я.

— Ну, поехал теперь! — сказал кто-то из заднего ряда.

Болтушок уничтожил взглядом подавшего реплику, укоризненно обернулся к председателю, будто говоря, дисциплина, мол, падает, распустил. Затем провел ладонью ото лба к затылку, отчего образовался хохолок реденьких волос, сдвинул морщины вниз, подбросил подбородок вверх и сразу стал похож на полинялого задиристого петушка с расклеванным гребешком.

— Так, товарищи! Мы сегодня собрались...— он вздохнул, сделал паузу,— на заседание правления... Да. Собрались подвести итоги животноводства прошедшего прошлогоднего года, товарищи, и наметить их на будущий год... и вступить в них с новой силой, как и полагается, и так и далее. А что мы видим, дорогие товарищи? Ни-чего не видим. Мы даже не обсуждаем. Да.

— Короче! — отрезал председатель.

Болтушок обернулся к нему, улыбнулся снисходительно и продолжал:

— Я скажу. Больной скот есть? Есть, товарищи! Где наши витинары? За что мы им деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи? Куда смотрит правление: корова сдохла! А? А вы молчите! — Его голос забирал все выше и выше.— От кого начинает вонять, товарищи? Ясно: от головы. Нету дисциплины ни у спецов, ни у колхозников. Куда мы идем, товарищи: корова сдохла!

— Да хватит тебе! — не вытерпел председатель.— Есть же акт ветеринарного врача. Давай о деле!

— А-а! А это не дело? Критику и самокритику глушишь! А я без критики и самокритики жить не могу, как политически развитой актив населенного пункта...— Он снова сделал паузу.— Что есть больной скот? С больным скотом мы должны бороться, чтобы его не было. Это надо понимать и присокупить к повседневным дням работы.

Данила Васильевич наклонился к Коле и вполголоса, но так, чтобы всем было слышно, сказал:

— Иди к Игнатьичу в шорную и скажи: мол, довязывай хомут! Болтушок говорит. А как кончит — скажем, тогда придет. Успеет хомут доделать.

Болтушок, уже войдя в роль обличителя, выкрикивал:

— Это одно! Одно, товарищи! — И тыкал пальцем вверх.— А другое — куриный вопрос.— И палец тыкался вниз.

Председатель уныло махнул рукой. Счетовод положил карандаш и взялся за газету. Данила Васильевич вынул шило и приступил к починке узды, зажав ремень между коленями.

— А другое дело — куриный вопрос! — кричал Болтушок.— Очень жгучий куриный вопрос! Курица — она тоже животная, и ее надо кормить. Кормить, товарищи! Пришел я на курятник, а она — курица старая — сидит в окошечке и на меня страшным голосом: ко-о-о! Ясно, есть хочет! А почему есть хочет? Не кормю-ют! Не кормют, товарищи! Все равно животная: что курица, что корова.

— Не все равно! — громко сказал Петя-ездовой.— Это два разных класса: класс птиц и класс млекопитающих.

— Сам ты млекопитающий! — вспылил Болтушок.— Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор лезешь. Товарищ председа-

тель! Веди заседание по форме! Что же это у нас получается? Ишь ты! Классы придумал!.. Итак, товарищи! Возьмем свиней.

Все дружно и безнадежно вздохнули.

— Возьмем свиней, товарищи! Можем ли мы так хозяевать? Нет, дорогие товарищи, не можем. Спим, товарищи! Разбудировать нас надо. Надо перестроить корень. Свинья, она животная...— Он покосился на Петю и продолжал: — Она животная приятная. Свинья должна быть правильной свиньей, а не тенью антихриста. Это — во-первых. А Пегашка хворала две недели, насилу вылечили: худая — вот и тень антихриста.

Все знали, что Пегашка хворала, что от нее не отходили дежурные круглосуточно, но Болтушок все азартнее напирал на «свиной вопрос», «будировал», «дебатировал», «перестраивал корень». Его слова уже не доходили до сознания слушателей: в ушах отдавались лишь какие-то глухие, неясные звуки.

— Следующий вопрос: о колхозниках, не выработавших минимума трудодней! — громко объявил председатель.

Это было так неожиданно, что все встрепенулись. Новый и четкий голос сразу дошел до сознания. Пока Болтушок недоумевал, разводя руками, председатель завершил:

— Проголосуем по первому вопросу: кто за предложение Головкова Данилы Васильевича, прошу поднять руки!.. Единогласно. Запишем: сто килограммов зерна и сто рублей денег за теленка.

— Ка-ак! — взвизгнул Болтушок.— Зажим критики! Кто позволит! Писать в райком буду! Завтра буду писать... В область напишу! Мы еще посмотрим. Я дойду. И спецов дойду, и тебя дойду! Глушить актив! Кто позволит?

— Следующий вопрос — о минимуме,— не обращал внимания председатель.— Три человека не выработали минимума без уважительных причин, первый из них — Пяткин Никифор: у него только шестьдесят трудодней. У нас в колхозе дети имеют по сотне трудодней, ученики школы. А Пяткин... Да что там говорить! Вот он — смотрите и решайте!

Что сделалось с Болтушком! Он то смотрел на председателя, то оборачивался к сидящим, морщины на лбу играли и замирали и наконец поднялись вверх в полном удивлении да так и остались; он провел рукой по голове от затылка ко лбу, отчего хохолок исчез, а петушиного вида как не было.

— Житья от него не стало! — говорила Федора Карповна. В накинутой на плечи клетчатой шали, высокая, крепкая, загорелая, она подошла к столу и продолжала: — Я как член правления заявляю: житья не стало! Самый разгар полки был, а он придет и два часа речь держит. А после него у Аринки голова болит: как он приходит, она аж дрожит, бедняга. Другому человеку — наплевать.

Брешет и брешет! А другому невтерпеж слушать. Факт, пормы не вырабатываем, как он агитировать приходит. Ну, пускай, ладно, пускай бы уж говорил, а ведь и работать надо. Шесть-де-сят трудодней! Срам-то какой! Аль закону на него нету?.. Я кончила.

— Закон есть,— заговорил Петя.— Что держать его в колхозе?

Лицо Болтушка вдруг резко изменилось; он шмыгнул острым носиком, глазки забегали и заблестели; озлобленный, как хорек, он выкрикнул, подняв высоко руку:

— Я в активе хожу, а вы меня компитировать! Не-ет! Не позволю! Я по займу два года работал, а...

— Вот тебе «а»! — вдруг рыкнул басом Данила Васильевич.— По за-айму! А сам не уплатил за заем и в этом году. Бессовестные глаза! Мне семьдесят лет, а у меня четыреста трудодней, а тебе сорока небось нету. Помело чертово! Тьфу! — Данила Васильевич потрясал уздой, гремя удилами, и его бас рокотал в комнате, как в большой бочке. Он плюнул и сел.— Я свое сказал... Колька! Иди к Игнатьичу, скажи: мол, Болтушок высказался. Пущай хомут бросает, если не кончил: в «разных» о сбруе поговорим... Ишь ты, акти-ив! — рявкнул он напоследок.

— Ну что ж, будем голосовать? — спросил у всех сразу председатель.— Возражений нет. Кто за то, чтобы предупредить Пяткина в последний раз?.. Единогласно!

Данила Васильевич, держа широкую ладонь над головой, успокоительно произнес:

— Болячка. Прижигать надо.

Болтушок сидел неподвижно, опустив голову и свесив ладони меж коленей. Лица его не было видно. Понял ли он, что произошло, и спрятал лицо от колхозников или обдумывал новую жалобу в область — кто его знает! Но было в нем что-то жалкое.

...С собрания я шел медленно. Ночь была теплая и тихая. Большая, глазастая луна обливала серебром деревья и траву. Невдалеке заиграла гармошка и сразу замолкла. Несколько раз подряд кувыкнул сыч и затих. Вот вспыхнул огонек у Данилы Васильевича — пришел домой. Вот еще свет в открытом окне, а оттуда женский голос:

— Что с тобой, Никифор? Аль пьян?

«Да ведь это ж хата Болтушка!» — подумал я и невольно остановился в двух-трех метрах от окна.

Болтушок сидел у стола, ничего не отвечая жене.

Против колхозного амбара окликнул меня Евсеич:

— Акимыч!

— Я.

— По походке узнал...— Он подошел, перекинул через плечо ружье, набил трубку и спросил: — Ну, как там с Болтушком решили?

— Предупредили: исключат из колхоза, если еще что...

— Ну, а он как?

— Сидит вон дома за столом сам не свой.

— Пробрало, значит. Може, дошло... Хоть бы дошло! — Он вздохнул, потянул трубку и добавил: — На недельку притихнет, ясно дело... А Петр Кузьмич опять один сидит в правлении. Вишь, огонек? Пишет...

Тишина.

За селом по обе стороны урчали два трактора. Они не нарушали привычной тишины ночи, они всегда урчат, и звука мотора никто не замечает, но если заглохнет, все услышат. Так стенные часы, остановившись, напоминают о себе... Вот она какая — тишина в деревне!..

— До свидания, Евсеич!

1953

ЗИМНИЙ ДУБ

Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову повязала легким шерстяным платком. Мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи,— и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду ее знают, ценят и называют уважительно — Анна Васильевна.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу? — с веселым испугом подумала Анна Васильевна.— На тропинке не разминешься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу». Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дороги уваровской учительнице.

Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко остриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!

Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку, хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

— Как Леша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границ,— с сознанием своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лешка у меня смирный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна снисходительно кивнула ему и пошла своей дорогой...

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе за невысокой оградой, снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступала не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих, стало слышно, как по шоссе с пробуксовкой ползет тяжелый грузовик.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи...» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке волос и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить, кто это или что это. Например: «Кто это?» — «Ученик». Или «Что это?» — «Книга...»

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы,— наверное: что она объясняет?

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица, испортившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась — то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным»,— самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор.

— Все понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!..— хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

— Кошка.

— Правильно,— сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка». И тут как прорвало:

— Окно! — Стол! — Дом! — Дорога!

— Правильно,— говорила Анна Васильевна.

Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близ-

ких, на ощупь осязаемых предметов: колесо... трактор... колодец... скворечник...

А с задней парты, где сидел толстый Васятка, тоненько и настойчиво неслось:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнес:

— Город.

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно,— сказала Анна Васильевна.— Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васятка все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб! — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце.

Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом сдерживая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и зимний дуб! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям, ничуть не тронутый грозными словами учительницы. «Трудный мальчик»,— подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался.

— Садись,— сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.

Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни: почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна.— Он по-взрослому развел руками.— Я за целый час выхожу.

Как трудно допскаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живешь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать и по шоссе не больше получаса.

— А я пе по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес,— сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

— «Напрямик», а не «напрямки»,— привычно поправила Анна Васильевна.

Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался»,— или что-нибудь такое же простое и бесхитростное, но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы все и выяснили. Чего же тебе еще от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама,— улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина — «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице,— худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми, руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот.

— Придется мне сходить к твоей матери.

— Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется!

— К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трех.

— Ну и прекрасно. Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь...

Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и

беззвучья. Сороки, вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья — то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь высоко, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы, в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошел! — словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами.— Только вы не бойтесь,— добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса.— Лось, он смирный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого? Живого? — Савушкин вздохнул.— Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки,— застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застлан толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазом живая вода.

— А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна.

— В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много! — с увлечением говорил Савушкин.— Ручей-то и под снегом живой.

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись

высоко в развилке сука, навпсшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

— Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал, вот и бегает тень.

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди, там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Совсем не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

— Вот как укутался!

Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона, ее жестко растянутая по

костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется,— засмеялся Савушкин,— будто мертвая. А дай солнышку пригреть — заскачет ой-ой как!

Он продолжал водить Анну Васильевну по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы — четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! — вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна.— Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве,— о родном языке, который так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от кощеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел: ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку.

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне.

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит. Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и «душевой пянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.

1953

ПЕРВЫЙ КОМБАТ

Памяти старшего лейтенанта Егорова

1

В июле сорок первого года, после месяца бомбежек, суматошных ночных отступлений с руганью на переправах, боязнью десантов, диверсантов, ракетчиков, окружений, короче — после первого месяца войны, наш батальон неожиданно очутился сотни за три с лишним километров от фронта, на берегу Днепра.

Здесь, вблизи маленького кудряво-зеленого городка, где, на диво всем нам, люди еще ходили по вечерам в кино, мы должны были соорудить наплавной мост через реку, довольно широкую в этом месте.

Первым делом мы все искупались. Ах, какая же это была благодать — стянуть с ног пудовую кирзу, сбросить пропотевшую гимнастерку, почерневшее нательное белье! И как мягок и чист был светлый днепровский песочек! Будто и не существовало на свете въедливой черной пыли. Будто и не было поминутного страха, криков «воздух», бредущих по обочинам раненых, горящих среди поля хлебных скирд. Будто этого всего никогда не бывало!

Батальон расположился неподалеку от берега, на пустовавшей по случаю войны лесопилке. Здесь уютно пахло прелыми сосновыми опилками; в тени у забора лежали неокоренные бревна, помеченные на потемневших серых торцах какими-то значками; на облупленном конторском домике висел вылинявший до бледно-розового цвета первомайский лозунг. В палисаднике цвели мальвы. И от всего этого вдруг сладко заныло сердце, как при воспоминании о чем-то утраченном навсегда и до боли милом.

Пока батальонные машины устраивались в просторном, заросшем травою дворе, я побродил по пустым конторским комнатам, заглянул в красный уголок. Там висела Доска почета с пожелтевшими фотографиями. Какая-то книжица, пущенная, как видно, на курево, валялась на полу.

Должно быть, я выглядел довольно нелепо, ползая на колепях и собирая ее по листику. Комбат, наскочивший на это зрелище, угостил меня выразительным взглядом.

Впрочем, такое угощение я получал уже не впервые. Комбат меня недолюбливал, я знал это. Называл он меня не иначе, как «товарищ художник». Возможно, это была обычная неприязнь кадровика к приписнику, не умеющему как следует замотать портянки и слишком часто употребляющему интеллигентные слова.

— Вот...— пробормотал я, поднимаясь,— Мопассана нашел.

— Мопассана...— угрюмо усмехнулся комбат.— Вы бы, товарищ художник, лучше маскировочкой занялись.

В мобпредписании, которое я сдал комбату месяц тому назад, значилось: «Нач. маскировочных мастерских». По идее я должен был сооружать липовые аэродромы-приманки, натягивать над армейскими командными пунктами маскировочные сети с матерчатой листвой, мастерить фальшивые артбатареи из деревянных чурбаков и прочее. Но война распорядилась по-своему, и все премудрости маскировки сводились в то время к увядшим ветвям, превращавшим колонны машин в диковинные странствующие рощи.

Я был внутренне угнетен своей полной неприменимостью, а комбат, словно понимая это, не упускал случая поддеть меня.

— Эй, маскировщик,— говорил он, переходя время от время на «ты»,— когда декорацию будешь менять?

Это значило, что ветви на машинах слишком увяли и пропылились и что пора рубить свежие.

Вот и на этот раз, сунув Мопассана в сумку от противогаза, я покорно отправился «менять декорацию». А комбат, насмешливо щурясь, долго смотрел, как я украшаю стоящие вдоль забора машины свеженарубленной зеленью.

Потом он, слава богу, исчез — должно быть, отправился уточнять с командирами рот трассу и подъезды к будущему мосту.

Я же залез в тень своей полуторки, груженной никому не нужным маскимуществом, и, сложив листок к листку драгоценную находку, принялся, лежа на траве, читать печальную повесть о безответной любви мисс Гарриет. В конце концов война не часто дарит такие минуты.

2

Однако недолго пришлось мне на этот раз наслаждаться. В предвечерней мирной тишине послышалось знакомое «везу-везу», кто-то крикнул «воздух», и мы тут же увидели девять быстро нарастающих черточек в чистом розовеющем небе.

У меня мгновенно взмокли ладони, и все горести мисс Гарриет сделались мне глубоко безразличны. Я очень боялся самолетов.

Они прошли прямо над нами, и мне, как всегда, казалось, что все бомбы предназначены для меня одного. Я испытал немалое облегчение, когда первая серия тупых, сотрясающих землю ударов донеслась со стороны реки.

— На железнодорожный кидает, гад...— сказал кто-то.

Только тут я вспомнил о другом мосте, который мы все видели во время купанья. Он стоял выше по течению — мост как мост, с полукруглыми ажурными арками на массивных серых быках. В то время я еще не привык рассматривать пейзаж со стратегической точки зрения. Но шофер моей полуторки Ткач сразу же оценил ситуацию.

— Будет нам тут веселая жизнь,— вздохнул он, глядя на тающие в небе комочки зенитных разрывов.

И верно, жизнь настала веселая. На следующий день самолеты появились ровно в восемь утра, и уже не было покоя от мутного, нудящего душу везуканья, от торопливого, отчаянного стука зениток и тяжких ударов бомб.

В общем, получалось, пожалуй, похуже, чем на фронте. Там наш батальон был всего лишь капелькой в бурлящем море. Здесь же, на тихом берегу, рядом с мостом, он стал единственной живой, прикованной к месту мишенью.

Уже не приходилось, как прежде, при первом же крике «воздух», спрыгнув с машины, ползти по полю, задыхаясь и раздвигая головой колючие жаркие колосья. Уже нельзя было залечь в кювет, вскочить в первый попавшийся погреб, скрыться под деревом, прижавшись к шершавой коре. Здесь все было как на ладони. Заякоренные баржи покачивались на воде узкой цепочкой, а на открытом песчаном берегу бойцы вязали щиты для настила и мостили подъезды рыжим сосновым кругляком.

И теперь «хейнкели» делили свой груз пополам. Сбросив серию над железнодорожным мостом, они делали круг и сыпали вторую на наш участок. Отбомбившись, они снижались и пускали в дело пулеметы. Все валилось у меня из рук от этого невыносимого хлопающего татаканья.

На третий или четвертый день после очередного налета с берега принесли сержанта Антипова. Его прошило, будто швейной

машиной, наискосок, от плеча до пояса. На пожелтевшем лице его было написано скорбное удивление. Это была первая потеря нашего батальона.

Антипова похоронили перед зданием конторы, среди цветущих мальв. Сколотили и поставили пирамидку. Среди всех прочих ненужностей на моей полуторке нашлась щетинная кисть и баночка черной краски. И я, присев на корточки, вывел на лицевой стороне пирамидки: «Сержант Антипов Иван Данилович. 1917—1941».

Краска была жидковата, и мне стоило немалых усилий писать без затеков. И все же напоследок единица потекла у меня вниз длинной черной слезой. Крякнув от неловкости, я оглянулся и увидел комбата. Он стоял сзади, глубоко засунув руки в карманы, и смотрел сквозь меня из-под низко надвинутой фуражки каким-то невидящим взглядом.

— И написать-то как положено не умеете, товарищ художник,— сказал он, усмехнувшись и все еще глядя сквозь меня, как сквозь пустое место.

И, повернувшись на каблуках, вышел из палисадника.

3

На следующее утро я потащился на берег, хотя мне там решительно нечего было делать.

Бойцы работали по пояс голые, тюкая топорами. Комбат стоял, надвинув фуражку и глубоко засунув руки в карманы. Покосившись на меня, молча перекатил изжеванную папироску из одного угла рта в другой и, как почудилось мне, усмехнулся.

Я побродил по берегу со сжатым обидой сердцем, увязая сапогами в горячем, белом от солнца песке. Неописуемо ясное, равнодушное ко всему небо висело над миром. Но вот послышалось далекое, едва уловимое жужжание, и я уже не слышал ни тюканья топоров, ни всплесков лижущей берег воды, ни человеческих голосов — ничего, кроме нарастающего с каждой минутой гуденья. Оно сверлило душу, как бормашина сверлит больной зуб, но я стоял, будто меня это вовсе не касалось, и даже не поднял головы, чтобы пересчитать приближающиеся самолеты.

Как всегда, они пошли первым заходом на железнодорожный мост. Вперебой застучали зенитки, спрятанные в прибрежном ивняке. Небо над мостом покрылось сотнями хлопающих белых комочков, и вскоре я увидел, как от головной машины отделилась черная капля. Воющая бомба врезалась в воду за мостом, подняв кверху высокий пенный столб. Зенитки мешали «хейнкелям» при-

целиться, и они ссыпали всю серию в реку. Потом пошли на второй заход.

Теперь мне предстояло кое-что доказать комбату. Сделав круг, самолеты, поблескивая на солнце, построились в длинную цепочку. Зенитки перенесли огонь, и белые облачка стали вспухать и лопаться прямо над нами. Бойцы, бросив работу, побежали от воды к зигзагообразным щелям, вырытым под кустами в зыбучем песке.

Я покосился на комбата. Широко расставив ноги и задрав голову, он глядел, прищурясь, в небо, зажав в углу рта папиросу. Потом и он, выплюнув окурок, пошел не торопясь к щели.

А я продолжал стоять, хотя каждая жилка во мне кричала: «Беги!» Неодолимо упрямое, злое, отчаянное чувство держало меня на месте.

Я видел, как головная машина клюнула, спикировав надо мной. Бомбу я не успел заметить, но я уже знал то, что знали тогда все: если сбросил прямо над тобой — не страшно. Ниспадающий от визга к свистящему низкому гулу звук прорезал воздух, и высокий пенный столб бесшумно встал посреди реки, опережая приглушенный глубиною удар. Следующая бомба не заставила себя долго ждать. Она тоже легла в воду, подняв второй столб. Крутая волна рванула скрепленные настилом баржи и выплеснулась на песок. Меня обдало брызгами, сзади что-то кричали, но я стоял, будто окаменев, до тех пор, пока третья бомба не ударила в берег метрах в пятидесяти справа. Горячий тугой воздух пополам с песком швырнул меня в сторону. Я упал лицом вниз, и тотчас же два тяжких удара один за другим обрушились на берег.

— Кончено,— подумал я, разгребая для чего-то руками ненавистный песок. Свист шестой бомбы заставил меня забыть обо всем. «Кончено, кончено, кончено...» — бормотал я, распластавшись. Стайка песчаных фонтанчиков пробежала рядом с моей головой; только потом я понял, что это была пулеметная очередь.

И вдруг все затихло — так же внезапно, как началось. Бойцы вылезали из щелей, глядя вслед удаляющимся самолетам. Я пошел им навстречу, с трудом переставляя ослабевшие в коленях ноги и выплевывая скрипевший во рту песок.

Комбат сидел под кустом, раскуривая папиросу. Пальцы его, державшие спичку, дрожали.

— Вот мазилы несчастные,— сказал я, судорожно улыбаясь.

Комбат глубоко затянулся, выпустил дым вздрагивающими ноздрями и произнес тихо, не разжимая зубов:

— Катись ты отсюда к чертовой матери...

И добавил мне в спину:

— И чтоб я вас на берегу больше не видел! Храбрец...

4

Прошло еще две недели. Наплавной мост был давно готов, и свежие доски настила успели уже потемнеть от многих сотен проехавших по ним колес. По ночам стала явственно слышаться артиллерия, и небо на западе полыхало у горизонта мрачными багровыми вспышками.

Приближение фронта ощущалось во всем, но самым зловещим признаком было то, что немцы вдруг перестали бомбить железнодорожный мост.

— Он им самим скоро нужо́н будет,— угрюмо заметил Ткач.

В последние дни он сильно загрустил и как-то признался мне, что у него дома осталась жена, с которой и записался-то он всего за день до ухода на фронт.

— В субботу оженились, а в воскресенье — на́ тебе...— сказал он, сидя на подножке машины и ковыряя прутиком землю.

Родное село его — Литвинцы — лежало километрах в шестидесяти к юго-западу, и он не переставал смотреть в ту сторону.

— Часа за три и обернулись бы, тут дорога — суше,— не выдержал он как-то.— А то ведь, чего доброго, и увидеться не доведется.

Я отмалчивался. Разрешить поездку мог только комбат, и я почти не сомневался в отказе. После истории на берегу он, кажется, еще больше невзлюбил меня и не упускал случая выразить свои чувства; называл он меня теперь уже не «товарищ художник», а «Мопассан».

Впрочем, доставалось от него не только мне одному. Едва успели закончить мост и подъезды к нему, как он принялся за оборудование территории лесопилки, будто нам предстояло прожить здесь по меньшей мере до конца войны.

Строили жилые землянки, блиндажи в три наката, рыли капониры для машин, щели для горючего, и мне наконец пришлось пустить в ход свое маскимущество, чтобы все это как следует замаскировать.

— Учитесь, товарищ Мопассан,— говорил комбат, зло усмехаясь и сверля меня взглядом из-под низко надвинутого козырька.— Может, сгодится на старости лет...

Вообще, как я заметил, учить было его страстью.

— Ты что, котлеты рубишь? — брезгливо спрашивал он у какого-нибудь новичка в саперном деле и, взяв у него топор, показывал — и, надо сказать, показывал лихо. Даже лицо его как-то добрело в эти минуты, но ненадолго.— Понял? — насмешливо спрашивал он, возвращая топор. И сам себе отвечал: — Ни-и черта ты не понял...

И уходил, глубоко засунув руки в карманы.

Прикрыв глаза, я и теперь еще вижу его коренастую, чуть ссутулившуюся фигуру в низко, по-кадровому, сдвинутых хромовых сапожках, с высоко подбритой и обветренной докрасна шеей над белой полоской подворотничка (когда он только успевал их стирать?) и с тремя «кубарями» на выгоревших петлицах.

О чем он думал в те дни, шагая взад и вперед по двору лесопилки и глядя в землю из-под низко надвинутого козырька?

Однажды в такую минуту к нему подкатился Ткач со своей просьбой.

— Через своего командира,— отчеканил, не поднимая глаз, комбат.— Устава не знаешь. Понятно?

Пришлось идти мне.

— Вояки...— процедил он, дав иссякнуть моему красноречию.— Братья приписники... туды вашу дивизию...

И ушел.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Ткач. Надежда так и светилась в его взгляде.

Я молча пожал плечами.

5

С каждым днем становилось все тревожнее. Осточертевшая «рама» часами кружилась над переправой, и теперь движение по мосту происходило главным образом ночью. Из штаба армии приехал майор с саперными топорами на петлицах. Непомерно высокий, худой, с желтым птичьим лицом и седыми висками, он заперся с утра с комбатом в красном уголке конторского домика, где помещался наш штаб.

Немного погодя и меня вызвали туда. Майор, сгорбившись, стоял, заложив руки назад, и рассматривал выцветшие фотографии на Доске почета, сжимая и разжимая за спиной длинные нервные пальцы.

— Полуторка твоя порожняя? — спросил, не глядя на меня, комбат.

— Почти,— сказал я.

— Давай заправляйся,— сказал он.— Будем ехать.

К полудню мы оказались на железнодорожной станции, сплошь изрытой глубокими воронками и усыпанной пеплом. Здание вокзала чернело пустыми оконными проемами. Комбат куда-то исчез. Через полчаса вернувшись, он подошел ко мне и сказал:

— Давай подъезжай вон к тому пульману, погрузишь мыло.

Одинокий товарный вагон стоял в дальнем тупике. Небритый старшина с перебинтованной шеей отодвинул дверь и, повернув-

шись всем туловищем, молча кивнул на стоящие стопками дощатые ящики.

— Мыло...— угрюмо проговорил Ткач, подгоняя машину к открытой двери.— Умоешься тем мылом... Не иначе — мосты будем рвать.

В другом конце станции мы взяли капсюли-детонаторы в большой картонной коробке и три бухты шнура.

— Дело ясное,— пробормотал Ткач.

На обратном пути я подпрыгивал на ящиках с толом, осторожно держа на коленях коробку с капсюлями. Казалось, дороге не будет конца. С полпути мы почему-то свернули в сторону, на обсаженное тополями узкое шоссе, и я даже не мог спросить, в чем дело. Высоко подбритый затылок комбата невозмутимо покачивался в заднем окне кабины, а из бокового окна летел и летел папиросный дымок.

В стороне, неподалеку от шоссе, показалось длинное село, растянувшееся по склонам заросшей садами балки. Мы остановились у второй с краю хаты, белевшей между вишневыми деревцами. Комбат неторопливо вылез из кабины, разминаясь.

И, только увидев счастливое лицо Ткача, я наконец понял, куда мы приехали.

6

Никогда не забыть мне того вечера и той хаты, запаха вянущей травы на чистом глиняном полу. Казалось, все довоенное, мирное, милое, уходя, навсегда прощается с нами.

Комбата усадили в красном углу, под иконами, потемневшими дочерна в своих золотых и серебряных ризах. Портрет Ильича висел рядом на голубовато-белой степе, обрамленный вышитыми рушниками.

Старый Ткач, маленький, с расчесанными желтыми усами, сидел справа от комбата в пиджаке, надетом поверх чистой ситцевой рубахи, даже будто не глядя на сына. Руки его, коричневые, с въевшейся в трещинки землей и выпуклыми белыми ногтями, чуть дрожали, когда он наполнял стоявшую перед комбатом толстую, треснутую у края чарку.

— Кушайте,— приговаривала тем временем мать,— кушайте ж, будь ласка...

Она без устали двигалась от печи к столу и обратно, неслышно переступая босыми ногами; казалось, вся ее забота была только о том, чтобы никто не забыл про шкварчащую с кусками сала глазунью и чтобы макали как следует вареники в миску со сметаной, полную до краев.

И только молодая, еще не научепная жизнью держать свое при себе, сидела потупившись, в белой крапчатой косыночке поверх темно-русых волос, и не поднимала глаз.

Комбат, видно, любил и умел выпить. Он не останавливал старика, степенно клонившего раз за разом бутылку над чаркой. Выпили за победу, и за здоровье хозяев, и за молодую (она усмехнулась и незаметно вытерла слезу уголком косынки), и вообще за то, чтобы все было хорошо.

— Чтоб вам всем до дому вернуться,— сказал старик.

— Вернемся,— сказал комбат, стараясь не встречаться со мной глазами.

— Невже ж таки допустят сюда паразита? — спросил старик.

Комбат помолчал, вертя в пальцах чарку.

— Выпьем, папаша,— сказал он погодя.

Они чокнулись.

— Ну, спасибо этому дому,— сказал комбат, поднимаясь и обдергивая гимнастерку.— Гуляй, гуляй,— сказал он Ткачу, приподнявшемуся было тоже,— а мы с младшим лейтенантом пройдемся чуток...

И пошел, не дожидаясь меня, из хаты.

Я догнал его уже за околицей, у выхода в поле. Тихое предвечернее небо простиралось над червонно-золотыми скирдами, над коричневой полоской гречихи, над дальним синеющим лесом. Комбат шагал молча, как всегда глубоко засунув руки в карманы; ветерок шевелил его светлые слежавшиеся волосы. Без фуражки он был какой-то совсем другой, лет на десять моложе. И лицо его, с чистым, белым, незагоревшим лбом, потеряло теперь всякую воинственность.

— Садитесь, что ли,— буркнул он, дойдя до скирды.

Опустившись на землю, он выдернул из колючей соломенной стены колос и растер его в ладонях.

— Уродило, как назло,— сказал он и попробовал на зуб зерно.

Потом прикусил соломинку и, привалившись к скирде, долго смотрел прищурясь на краснеющую полосу заката. Краешек солнца был еще виден, и высоко над ним горело последним светом одинокое облачко.

— Сумели б такое намалевать? — спросил он вдруг и покосился на меня, жуя соломинку.

Я молча пожал плечами.

— Навряд ли,— усмехнулся комбат.

Немного погодя он спросил:

— Вы на гражданке чего делали?

— В театре работал,— сказал я.

Он выплюнул соломинку.

— Забыл я уже, какой он... Приезжали к нам, правда, в гарнизонный ДК, да и то не пришлось посмотреть. Мы как раз на укрепрайоне сидели...

Он помолчал.

— Там нас и захватило. Чуть не в исподнем... Хотел бы я знать,— обернулся он вдруг ко мне,— кончится когда-нибудь этот драп?

И, будто осекшись, отвернулся.

В тишине послышался приглушенный далекий рокот — словно там, где догорал в чистом небе закат, собиралась гроза.

— Пошли! — рывком поднялся комбат.

На обратном пути он не промолвил ни слова. Старый Ткач сидел на завалинке, попыхивая цигарочным огоньком.

— Погуляли? — спросил он, поднимаясь.

— Поедем,— сказал комбат.— Зовите. Будет, намиловались,— усмехнулся он.— И фуражку мою пусть захватит...

7

Мы уже подъезжали к месту — оставалось километров десять, не больше,— когда полуторка резко затормозила. Я больно стукнулся в темноте спиной о кабину, чуть не уронив коробку с детонаторами.

Комбат, приоткрыв дверцу, смотрел куда-то вперед. Соскочив на землю, я увидел то, что остановило нас: впереди, за негустым леском, правее дороги, пламенело багровым светом какое-то зарево.

Черные, будто тушью вырисованные, деревья резко выделялись на этом зловещем фоне.

— Новости...— тихо проговорил комбат.

Глухой артиллерийский залп и сразу вслед за ним пулеметная очередь послышались в тишине. Комбат прислушался и отстегнул пуговку на кобуре.

— Возьми-ка винтовку,— сказал он.

Я на ощупь полез трясущимися руками в кузов.

— Ты постой здесь,— сказал комбат Ткачу.— А то еще вскочим как раз...

И мы с ним, крадучись и спотыкаясь, пошли через лесок. Подойдя к опушке, мы разом остановились. Над горизонтом вставала огромнейшая багровая луна. Никогда еще я не видел луны таких размеров. Она только всходила и, высунувшись наполовину, заняла едва ли не полнеба.

— Да-а...— протянул тихонько комбат.

Я посмотрел на его застывшую фигуру с пистолетом в руке. И тут меня вдруг затряс смех. Он гнул меня пополам, перехватывал горло, булькал в желудке. До сих пор не знаю, смех это был или плач. Казалось, все пережитое выходит из меня с этим всхлипывающим лаем.

А когда наконец это кончилось, я услышал самое длинное ругательство из всех, какие мне приходилось когда-либо слышать. Комбат вложил пистолет в кобуру.

— Сволочи,— свистящим злобным шепотом сказал он.— Перепугали они нас. С самой первой минуты перепугали... Тут не смеяться,— сорвался он вдруг и, остановившись, погрозил кулаком луне, горевшей холодным багровым заревом за черными стволами деревьев,— тут плакать надо!

8

Наутро привезенное нами «мыло» пошло в ход. Ящики прикручивали проволокой к ажурным железным аркам; вися над водой в веревочных люльках, просовывали в зазоры между каменными опорами и фермами.

Майор из штаба армии ходил по берегу как заведенный, заложив руки за спину и поигрывая желваками на худом, птичьем лице. Время от времени он останавливался, прислушиваясь. Артиллерия была уже отчетливо слышна и днем.

По наплавному мосту тянулись на восток нескончаемые колонны машин. Проехал большой штаб в пятнистых, коричнево-зеленых автобусах, прикрытых пыльными ветвями. Потом повезли раненых в крестьянских бричках, застланных соломой. Гнали мычащий скот. Круторогие серые волы протащили телегу, высоко нагруженную всякой всячиной — мешками, подушками, ведрами. Тетка, одетая во все зимнее, несмотря на жару, шла рядом с волами. Поравнявшись с комбатом, стоявшим у моста, она что-то сказала ему, горестно покачав головой; я видел, как он посмотрел ей вслед и, отвернувшись, зашагал по песку прочь, глубоко засунув руки в карманы и глядя себе под ноги.

А по железнодорожному иногда еще проходили эшелоны на запад, и в приоткрытых дверях теплушек виднелись головы в пилотках и касках.

Через два дня наш батальон спешно снимался с места. Машины одна за другой выезжали из ворот, поворачивая в сторону реки, и вскоре изрытый блиндажами, землянками и капонирами двор опустел. Только моя полуторка одиноко стояла под забором, груженная маскимуществом поверх оставшихся ящиков с толом.

— Комбат приказал твою оставить! — крикнул мне на ходу осипший, как всегда, старшина, догоняя последнюю машину.

Ткач сидел на подножке полуторки, ковыряя прутиком землю. Круглое, чуть рябоватое лицо его осунулось и потемнело. Он поднял на меня встревоженные глаза.

— А с нами как? — растерянно спросил я.

Он молча пожал плечами. Грохочущий раскат прокатился и замер вдали, и нельзя было понять — артиллерия это или гром; небо быстро заволакивало тяжелыми синеватыми тучами. Все вокруг как-то сразу померкло, и сердце у меня сжалось недобрым предчувствием. Из дома вышел комбат и пошел через двор вместе со штабным майором. На голове у того вместо фуражки была почему-то каска.

— А вы что здесь делаете? — отрывисто кинул комбат, еще не дойдя до машины.

— Приказали ведь...— начал я.

— Кто? — перебил комбат и, не дожидаясь ответа, загремел: — Мне машина нужна, а не вы. Понятно?

Будто и не было того вечера, и сидения под стогом, и всего остального. Он посверлил меня взглядом, помолчал и, усмехнувшись, сказал:

— Храбрецы... Ну ладно... только потом не жалуйся... Давай сейчас на тот берег,— неожиданно тихо закончил он.— Там, увидишь, наши энпе стоят. Выберешь местечко для машины, чтоб под рукой была. Замаскируешь как следует. Задача ясна?

— Ясна,— сказал я.

— Ну, действуй.

И он улыбнулся, взяв меня за руку повыше локтя.

Не знаю, от чего посветлело у меня на душе — от улыбки или от этого нежданно мягкого прикосновения.

НП — глубокий блиндаж в три наката — строили на гладком месте между двумя мостами. Когда мы подъехали, саперы заканчивали укреплять песчаные стенки горбылями и устраивали смотровую щель. Работало человек пять. Еще четверо тянули от мостов провода, укладывая их в прорытые канавки. С ними был лейтенант Караваев, командир роты минеров, маленький, кривоногий, неопределенного возраста, в неизвестно на чем держащейся, сбитой на ухо пилотке.

— Рванем — будь здоров,— успокоительно подмигнул он мне и повертел ручку машинки, похожей на кофейную мельничку.

— А остальные наши где? — спросил я.

— Фю-у! — свистнул Караваев и махнул мельничкой в сторону берега.

— А мы как же? — не удержался я.

— Вот рванем...— сказал Караваев.— Приказ теперь знаешь какой? — Он поднял кверху испачканный палец.— Рвать, видя глазом противника! Понял? Сильченко! — крикнул он вдруг.— Копаешься там... Давай тяни поживее! — И, повернувшись ко мне, добавил: — Вот времена настали!..

Махнув мельничкой, он нырнул в блиндаж.

— Драндулет твой в порядке? — донеслось оттуда.— А то как бы пешком не пришлось...

Удар грома заглушил его голос. Упали первые капли. Смутное, давящее чувство снова сжало мне сердце. Я постоял, глядя на быстро рябеющую воду. Комбат, наклонив голову, шел с того берега через наплавной мост вместе с штабным майором. Их зеленые плащ-палатки хлопали, раздуваясь на крепнущем ветру.

9

Лило день и ночь без роздыха, и только к утру немного распогодилось. Рваные облака неслись с запада по отсыревшему, холодному небу. В блиндаже по шелушащейся коре сосновых горбылей струйками стекала вода. Штабного майора, видимо, трясла малярия. Его желтое птичье лицо еще больше пожелтело, и седые виски казались неестественно, до голубизны белыми. Подняв воротник застегнутой доверху шинели, он глядел в смотровую щель, и худые пальцы его, придерживавшие воротник, заметно дрожали.

Ночью было тихо, и люди спали поочередно, сколько могли. А с рассвета опять началось. Часа полтора там, за высотами западного берега, бурлило и грохотало. С потолка блиндажа то и дело сыпались струйки сырого песка. Потом все прекратилось, и только глухие пулеметные очереди время от времени вспарывали недобрую тишину.

— Везет же им, подлецам,— зябким голосом проговорил штабной майор.— И природа тоже, курица ее задери... Вы подумайте только, все западные берега, как один, высокие. Вот и попробуй зацепись тут, на восточном.

— Природа...— усмехнулся комбат.

Он сидел на корточках перед поставленными в ряд четырьмя подрывными машинками-мельничками и разглядывал их, будто видел впервые.

— С колес не слезаем, вот те и вся природа...— Он придавил окурок носком сапога и поднялся.— Пешочком небось драпать труднее...

— Глупости вы говорите,— поморщился, как от боли, майор.— Это сейчас каждый ребенок понять может. Война моторов...

— Война моторов, война моторов! — вдруг весь налился кровью комбат.

Он осекся и ожесточенно сплюнул. Майор посмотрел на него округлившимися воспаленными глазами. Комбат, посапывая носом, подошел к смотровой щели.

— Вот они где, моторы,— тихо сказал он чуть погодя. И, повернувшись к майору, осторожно постучал себя кулаком по левому карману гимнастерки.

— Это своим порядком,— устало сказал майор.

Ему, видно, не хотелось спорить, малярия трясла его все сильнее, он сел на сырую соломенную подстилку и втянул голову в воротник, придерживая его у носа вздрагивающими пальцами.

Комбат глубоко засунул руки в карманы, глядя в щель и переваливаясь с носков на каблуки. Потом вдруг перестал качаться и, протянув назад руку, негромко сказал:

— Караваев! Дай-ка бинокль.

Через минуту мы все увидели, как на далеком западном берегу, вверху, на самых гребнях высот, справа и слева от железнодорожного моста поспешно занимает оборону наша пехота.

10

Это длилось еще около суток. Трижды немцы пытались прорваться к воде, и гребни высот справа и слева от моста сплошь взрывались столбами черно-желтого дыма, перемешанного с пылью и кусками деревьев. Непонятно было, что еще может держаться там.

Ночью по наплавному мосту эвакуировали раненых; колеса негромко постукивали по настилу, скрипели доски, в темноте всхрапывали кони,— должно быть, отводили артиллерию.

А наутро все началось с новой силой. В чисто промытом небе над высотками появилась девятка быстро нарастающих черточек. За ними шло еще девять и — с маленьким интервалом — еще...

Все наполнилось вибрирующим низким гулом. Я насчитал шестьдесят три и сбился. Ладони у меня взмокли, я против воли тихонько ахнул, и в ту же секунду комбат крепко взял меня за руку повыше локтя.

Не знаю, попадись ему какая-нибудь жердь, пальцы его, быть может, сжимались бы с той же силой. Но в те минуты мне казалось, что это — для меня, что он не дает и не даст мне уйти, что он навсегда уводит меня на тот берег, где «юнкерсы» превращали гребни высот в порошок и где все-таки, несмотря ни на что, держались наши.

Потом они стали скатываться оттуда, и пальцы разжались.

— Видел? — сквозь зубы шепнул он мне.— Гляди, пригодится...

На лбу у него проступили мелкие капельки пота. Наши отходили к воде короткими перебежками, отстреливаясь; песчаные фонтаны пошли вспыхивать там и сям на белеющей под солнцем береговой полосе.

— Из минометов жарит,— сообщил Караваев. Он неотрывно глядел в бинокль.

Бойцы отходили все ближе к берегу, и вскоре первый побежал, пригибаясь, по наплавному мосту. Мина шлепнулась в воду позади него, подняв пенный бурун. Вторая с негромким хлопающим звуком легла на доски настила между бегущими, свалив одного; его подхватили и понесли на руках.

Теперь бойцы бежали к железнодорожному, но и там тоже стали густо ложиться мины, взрываясь на рельсах и между фермами.

— Живьем хотят мосты взять,— процедил штабной майор.

Он стоял, вцепившись побелевшими ногтями в нижнюю кромку смотровой щели. Потом он молча взял у Караваева бинокль и припал к стеклам.

— Все,— сказал он через минуту.— Можно кончать.

И отдал бинокль комбату.

Но уже и без бинокля видна была немецкая перебежка по гребням высот, и комбат, как и все мы, смотрел туда не отрываясь, будто не веря своим глазам.

— Приготовиться...— певуче и тихо сказал он.

Караваев присел на корточки перед подрывными машинками. Длинная пулеметная очередь врезалась в минные хлопки.

— Ну!..— нетерпеливо сказал майор.— Что же вы?

— Минуточку...— сквозь зубы сказал комбат.

Караваев сидел на корточках, подняв на него глаза и держа руку на рычажке первой машинки.

— Вы что же, хотите мосты немцам отдать? — тихо спросил майор.

— Минуточку...— повторил комбат, не отрывая взгляда от дальнего берега. Пот стекал у него по лицу извилистыми струйками, исчезая в трехдневной рыжеватой щетине на щеках и подбородке.

— Слушайте, вам что, под трибунал захотелось? — шагнул к нему майор. Он побледнел зеленоватой, трупной бледностью, на худом лице его под скулами заходили желваки.

— Не пугайте,— сквозь зубы сказал комбат.— Меня вон и так уже Гитлер чуть насмерть не перепугал... Люди там еще! — крикнул он вдруг, как глухому.— Люди! Понятно?

Михаил Шолохов «Судьба человека».
Художники Кукрыниксы.

— К черту! — захрипел майор.— Под расстрел из-за вас... вся оборона к черту... с ходу на плечи сядут... Рвите! — повернулся он к Караваеву.— Я вам приказываю! Слышите?

Караваев машинально дернул рукой. Гулкий удар сотряс воздух, и облако серо-желтого дыма встало над тем местом, где только что был виден наплавной мост.

— Дальше! — просипел майор.

— Отставить!

Комбат оттолкнул Караваева и заслонил машинки. По железнодорожному мосту бежали, пригнувшись и падая в дыму и пыли минных разрывов, бойцы. Черные фигурки червями сползали по дальнему склону, строча на ходу из автоматов.

— Караваев! — бросил через плечо комбат.— Приготовиться...

Он шагнул в сторону, освобождая место у машинок. Караваев присел, глядя вверх, на его поднятую руку. Протянулась томительная минута. Последние бойцы, отстреливаясь, сбегали с моста на берег.

— Давай!

Рука опустилась резким рывком. Караваев крутнул машинку. Все подались вперед. Но взрыва не было. Не было ничего, кроме рвущего тишину треска автоматов на том берегу.

— Линию повредило,— почему-то шепотом сказал Караваев.

— Что, что, что? — торопливо переспросил майор, теребя дрожащими пальцами пуговку кобуры.

— Дублирующую давай! — крикнул комбат.

Караваев крутнул ручку последней в ряду машинки.

— Осколками перебило,— сказал он в оглушающей тишине.— Все...— Губы у него побелели.

— Вот,— прошептал майор.— Кончено.

Он поднял пистолет и приложил его к виску. На какую-то долю секунды все замерли. Комбат выбросил вперед руку, и выстрел наполнил блиндаж запахом пороха. Из расщепленной дырочки в потолке просыпалась на пол труха.

— Для Гитлера приберегли...— через силу выдохнул комбат.

Караваев молча выскочил из блиндажа, и через минуту мы увидели, как он бежит к мосту, пригибаясь и придерживая на поясе гранаты. Двое наших бойцов бежали вслед за ним, и мина настигла всех троих во втором пролете.

Я не успел заметить, как исчез из блиндажа комбат, и только минутой позднее увидел, как моя полуторка, стоявшая наготове под маскировочной сетью, вырвалась из-за блиндажа и помчалась к мосту, мотаясь и подпрыгивая от бешеной скорости.

Все последующее намертво врезалось мне в память. С какой-то невероятной отчетливостью я увидел, как полуторка остановн-

лась на самой середине моста, и как Ткач бил вдоль моста из автомата навстречу бегущим немцам, лежа животом на крыле машины. Помню, как майор вцепился в мое плечо и просипел: «Что они делают?» — и как я, словно в бреду, ответил: «Мыло».

Потом мы увидели, как комбат, отбежав, поджег спичкой шнур, и как они с Ткачом побежали, пригибаясь, и как комбат вдруг остановился, выпрямился и медленно взялся рукой за грудь.

Но Ткач не видел этого. Ткач бежал и бежал — уже по берегу, низко пригнувшись и не оглядываясь назад...

И теперь еще вблизи кудряво-зеленого городка на Днепре, рядом с новым железнодорожным мостом, можно увидеть седые, иззубренные взрывом опоры, сурово вздымающиеся над гладкой текучей водой.

1955

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону па редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный с снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров; подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой пло-

скодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели на ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в сторопе, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку на прибрежном песке лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству, и сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую, холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки:

— Какой же я старик, дядя! Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагаешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть,— я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужице бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мущинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть! Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годятся. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по поздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился, я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила!» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, попошенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе.

В голодный двадцать второй год подался на Кубань, пшачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати,— нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы! Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия! Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне хмельному

слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года́ еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил! Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным по математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо! Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе.

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто под-

рубленное дерево. И детишки ее уговаривают, и я,— ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у сам ого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья: она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручонку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбнуться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди: губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не моргнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась; руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда

оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было попачалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — трудящую женщину, как рюхой, под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза в это время был ранен, но оба раза по легкости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу: первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и сбоков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может,

погибают, а я тут чухаться буду! «Какой разговор! — отвечаю ему.— Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, говорит, дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как в этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать! Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует,— сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина вся в клочья побитая лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала,

готом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачива от с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. «Вот, думаю, и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается»,— соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу,— а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три огляпулся на меня, глазами сверкает, как волчонок злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса

вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черте насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек!» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот

что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, говорит, осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя. Я же знаю, что ты — коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, говорит, остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, думаю, не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький та-

кой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, говорю, держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!

До того мне стало нехорошо после этого и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили: кто коммунисты, командиры, комиссары,— но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому и спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи»,— и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не представился мне подходящий случай. А в познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров,— сам не знаю. Только ничего у

меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался я, в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетела клочьями. Голого, всего в крови привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать.

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до

войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и костито свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую, землю просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горлапят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что досмерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только учился этому ремеслу! Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли,— идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, ду-

рак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет,— уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, говорит, я глаза закрою и вроде в Москве на Зацепе в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенькие, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными сапогами щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, говорю, герр комендант, много».— «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься».— «Воля ваша»,— говорю ему. Он посто-

ял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова,— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью»,— говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь, перед тем как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван! Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, и потому я великодушно дарю тебе жизнь.

Ступай в свой блок, а это тебе за смелость»,— и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился я в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну»,— говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь,— только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца, инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый, и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстющих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало — в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает: когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Припе на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за город с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, думаю, ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял по дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем, как распрощаться с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул, и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце в груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья; телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход,

чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками машут, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам,— посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно взволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором.

И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июле сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в тот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их: дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал!!!»

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик.— Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты в математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямотаки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Глядь, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов»,— а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной».

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно

помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению,— он когда-то приглашал меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную, перехватить что-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут!» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался, и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело! Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте».— «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали».— «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого».— «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка, родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они оба, мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как гляпула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня, и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и — бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, говорит, с ума спятил — в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, и через час моему Вапюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Пред рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его, сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечении хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось»,— говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался».— «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаешь с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем,— он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером,— и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска не дает мне на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти,— сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь — и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким, человек поднялся, протянул бо́льшую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956

УХАБЫ

1

Сонные тучи придавили маленький городок Густой Бор. Шумит ветер мокрой листвой деревьев, мокро блестят старые железные крыши домов, мокрые бревенчатые стены черны,— и сам город, и земля, на которой он стоит, и воздух — все, все обильно пропитано влагой.

Такому городку, отброшенному на пятьдесят километров в сторону от железной дороги, затяжные дожди причиняют великие неудобства: в магазинах исчезает соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать новые кинокартины, письма и газеты приходят с запозданием, так как почту доставляют с оказией, на лошадях. Густой Бор в эти дни наполовину отрезан от остального мира.

В райпотребсоюз пришла телеграмма: на железнодорожную станцию прибыла партия копченой сельди. В другое время на нее не обратили бы особого внимания — вывезти, распределить по магазинам, продать. Но теперь председатель райпотребсоюза Ларион Афанасьевич Сямжин, человек с больным сердцем, не любящий волноваться по пустякам, засуетился:

— Как же быть? На станции-то нет холодильников. Попортится! Ох, не ко времени! Ох, наказание!.. Васю ко мне. Быстро! Чтоб одна нога здесь, другая — там!

Шофер Вася Дергачев собирался в село Заустьянское, где вот уж без малого месяц обивал порог у библиотекарши Груни Быстряк. Явился он к Сямжину в синем плаще, коверкотовая фуражка заломлена на затылок,— по одежде праздничный, а лицо тоскливое.

— Опять в рейс? — спросил он, сумрачно разглядывая свои хромовые, с голенищами в гармошку сапоги, втиснутые в новенькие, чуть тронутые грязью калоши.

— На тебя надежда, Василий, только на тебя. Развезло. Другому по улице не проехать, в первой же луже сядет. А ты ведь не просто шофер, ты, без прикрас скажу, божьей милостью водитель. Талант!

— Эх, жизнь собачья! Есть путь, нет пути — все одно гонят.

— Да никто тебя не гонит. Тебя просят, братец.

— А откажусь — небось против воли пошлете?

— Пошлю, голубчик, пошлю, но бью на сознательность. Хочу, чтоб прочувствовал.

— Уж ладно... Выписывайте накладные.

Через двадцать минут он, в старой кепчонке, в кожаной куртке, донельзя вытертой, хлябая ногами в непомерно широких голенищах кирзовых сапог, с какой-то шоферской вдумчивой раскачкой ходил вокруг своей полуторки.

Возраст автомашины измеряют не годами, а километрами. Тридцать тысяч на спидометре — считай, юность, начало жизни. А полуторка Васи Дергачева выглядела старухой: помятые крылья, расхлябанные, обшарпанные борта, погнут буфер, на выхлопе вылетает дымок со зловещей синевой: верный признак — страдает машина обычной автомобильной одышкой, сносились кольца. Укатали сивку крутые горки густоборовских дорог. Сейчас стоит она, постукивает моторами и мелко трясется всем своим многотерпеливым корпусом, словно страшится нового тяжкого испытания.

Вася закрутил проволокой запор у левого борта,— на всякий случай, вдруг да на толчке отвалится, не оберешься греха, сел в кабину.

Он не сразу взял курс через плотину районной ГЭС на станцию, а повернул к чайной. Какой шофер упустит случай, чтоб не «наловить лещей».

2

«Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. Для шофера, ведущего машину, есть только один грозный судья — представитель автоинспекции. Но такие представители редко заглядывали на здешние глухие дороги. Поэтому густоборовский шофер, выехав из гаража, оторвавшись от организации, в которой он работает, сразу же оказывается в стороне от всяких законов. Он становится единственным владыкой, царьком крошечного государ-

ства — кузова автомашины. И каждый, кто попал туда, обязан платить дань.

Правда, три года назад председатель райисполкома Зундышев попробовал было начать войну против шоферского племени, безнаказанно собирающего дань на дорогах. Для этого между городом Густой Бор и станцией поставили шлагбаумы в трех местах, где никак нельзя свернуть в объезд. План был таков: шофер сажает пассажиров, но миновать шлагбаума не может, у шлагбаума же стоит контролер и продает пассажирам самые законные билеты. Все деньги идут не в шоферский засаленный карман, а на ремонт дорог. Так должна была благоустраиваться жизнь Густоборовского района, таков был план. Но получилось иначе...

Шоферы, как обычно, «ловили лещей». Каждый из них, не доезжая до шлагбаума, останавливал машину и держал короткую речь:

— Вылезайте граждане, идите пешком. Я вперед поеду, за шлагбаумом буду ждать. Там снова сядете. Тяжелые вещи — чемоданы там, мешки — оставляйте в кузове. Кто не согласен, того не держу. Пусть ищет другую машину, а еще лучше — идет пешком.

К шлагбауму подходила пустая машина. Недоверчивый контролер заглядывал в кузов, спрашивал:

— Пассажиров куда, молодец, спрятал?

— В карман положил, да повытрусились.

— Шуточки все, а чемоданы тут, мешки, ась?

— Теща в гости приехала. Багаж вот на станции оставила. Везу...

— Теща? Гм... Богата она, видать, у тебя. Ишь сколько чемоданов.

И рад бы контролер уличить, но как?.. Шофер спокоен: курит, независимо сплевывает, он знает — комар носу не подточит.

«Лещи»-пассажиры дружной кучкой, обсуждая шоферские доходы, идут пешком километра два-три, находят дожидающуюся за поворотом машину, влезают в кузов, едут до следующего шлагбаума.

Контролерам скоро была дана отставка. А шлагбаумы, задранные вверх, долго еще торчали у дороги, взывая к шоферской совести, пока их не растащили на дрова.

Вася Дергачев, как и все шоферы, считал, что брать дань с пассажиров — это его прямое право, это законная награда за тяжелую дружбу с густоборовскими дорогами.

Самое удобное место, где хорошо «клюют лещи», была чайная. К чайной сходятся из деревень желающие попасть к поезду, в чайной дежурят приезжие из соседнего района, к чайной бегают

справляться местные жители: «Не пойдет ли машина?» Чайная — это станция, где можно ждать, убивая время за кружкой пива, за стаканом чаю.

Из-за дождей машины теперь почти не ходят, и наверняка от «лещей» не будет отбоя.

Вася остановил полуторку под окнами чайной, не успел выйти из кабины, как с высокого крыльца его окликнули:

— Эй, Дергачев!

Вперевалочку, не спеша, припечатывая к мокрым ступенькам каблуки сапог, спустился знакомый Васе директор Утряховской МТС Княжев. Подошел, протянул руку:

— Сямжин пообещал, что ты меня подкинешь до дому.

Из-под распахнутого плаща выпирает широкая пухлая грудь, лицо Княжева полное, мягкое, бабье, губы в оборочку, говорит сипловатой фистулой:

— Свою машину угробил, как сюда ехал. Придется весь задний мост перебирать. Вот подсохнет — перетащу в Утряхово.

К его голосу не подходит по-мужски осанистая фигура и твердый крючковатый нос на рыхловатом лице.

— В кабине-то место свободно? — кивает он.

— Свободно. Один еду.

Словно из-под колес, вынырнула маленькая старушка с огромной корзиной, завязанной вылинявшим платком. Она цепко схватила Васю за рукав кожаной куртки, запела с причитанием:

— Выручи, кормилец. Третий день ловлю машину. Третий день никак не уеду. Не бросай ты меня, старую, непутевую. Приткни, Христа ради, в уголок куда. Век буду бога молить.

С плаксиво сморщенного лица хитро, молодо и настойчиво щупали Василия маленькие, бойкие глазки.

— Сидела бы дома, бабка!

— Уж рада бы сидеть, сокол. Ра-ада. Не такие мои годы, чтоб в ящике-то трястись. Да сына, вишь ли, поглядеть охота. Старшой мой на железной дороге начальством служит. Внучатам яичек вот сотенку везу.

— Расколотит тебя вместе с твоими яичками. Ладно, лезь в кузов, садись ближе к кабине.

— Ой, спасибо, родной! Ой, выручил старую! Подсадите, люди добрые, толкните кто...

За борт сначала опускается корзина, за ней, кряхтя, охая, благодаря господа бога и осторожно подталкивающего под зад Василия, перевалилась старуха.

С другой стороны в кузов падают два новеньких, сверкающих никелированными замками чемодана. Их хозяин, на вид такой же новенький, так же сверкающий погонами и начищенными пугови-

цами младший лейтенант, сдвинув твердую фуражку на одно ухо, подходит к Васе, щелкает портсигаром:

— Закуривай, друг. Занимаю два места — я и жена.

Он не высок, все в нем — от пуговиц, от мягких сапожек до маленьких белых рук и мальчишеского лица с точеным носиком,— все аккуратно, все подогнано.

— Наташа, иди сюда. Вот наш шофер. Теперь-то наконец поедем. Никак не вырвешься, черт возьми, из этой дыры! Я, брат, родом из Большезерска, в сорока километрах отсюда. В отпуск приезжал и вот женился. Наташа! Что ты там машину сторожишь? Без нас не уйдет. Иди сюда... Пока до этого городишка добирались — душу вытрясло. А мне еще ехать и ехать. В Прибалтике служу. В самом центре Европы. Наташа, иди сюда!

Оттого, что он в военной форме с блестящими погонами, что со стороны за ним следит молодая жена, лейтенант расправлял плечи, поигрывал портсигаром, небрежно перекидывал из одного угла рта в другой папиросу. Но Вася отвернулся. Пусть он сейчас в замасленной, затертой куртке, в покоробившихся от грязи огромных сапогах, пусть он неказист с виду — нос пуговицей, на лоб спадает челка, черная, словно напомаженная мазутом,— но он сейчас здесь первое лицо. Даже директор МТС Княжев, тот, кто распоряжается сотнями машин, смотрит на него, шофера Василия Дергачева, с уважением. Не всякий-то решится ехать в такую погоду по размытой дороге. Поэтому пусть этот лейтенантик особо не фасонит, стоит только захотеть, и он останется мокнуть под дождем здесь, у чайной, вместе со своими чемоданами и красивой женой.

...В кузове устраивались. Рядом со старушкой сел какой-то тщедушный, неприметный человек, то ли заготовитель из конторы «Живсырье», то ли агент по страховке. В грубом брезентовом плаще, в котором утонул он, можно бы упрятать трех таких заготовителей. Из-под капюшона выглядывали лишь острый нос и сонные глазки. Бабка пристраивала у себя на коленях корзину с яйцами, бесцеремонно толкала соседа:

— Эко растопоршился! Сам тощой, а места занял, как баба откормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушка.

Заготовитель покорно шевелился в своем просторном плаще.

Четыре девушки, едущие поступать в ремесленное училище, расположились среди узелков и авосек, сосали леденцы. Лейтенант топтался посреди кузова, ворочал свои новенькие чемоданы, старался удобнее устроить жену.

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, нет, давай сядем так... Чемоданы поставим на попа.

А Наташа, с добрым, простеньким и усталым лицом, послушно поднималась с места, следила из-под ресниц внимательно и терпеливо за мужем.

Влезли три колхозницы с мальчуганом, у которого просторная кепка держалась на торчащих ушах, постоянно сваливалась козырьком на нос, и тоже с шумом начали пристраивать свои узлы и корзины.

К машине подбежала женщина с младенцем на руках, затопталась у борта, присматриваясь, как бы влезть в кузов. Но Вася остановил ее:

— Эй, мать, не вертись. Все равно не возьму.

— Миленький! Да тут еще есть местечко.

— Не возьму с ребенком.

— Ведь я не так, я уплачу. Я же не задаром...

Она, потеребив зубами узелок платка, вытащила скомканную бумажку, начала совать Василию.

— Возьми-ко, возьми. Не отворачивайся. Мне к вечеру на станции быть нужно.

— Не возьму с ребенком. Да ты, тетка, с ума спятила! В такую дорогу и с младенцем. А вдруг да тряхнет, стукнешь ребенка — кто ответит?

— Ты не бойся, с рук не спущу.

— Не возьму — и шабаш! В другой раз уедешь.

— Никак нельзя в другой-то раз. Разве без нужды я б поехала. Да провались езда эта... Ты возьми-ко, возьми, я прибавлю еще. Тут четвертной.

Она снова попыталась всунуть потную бумажку.

— Отстань! — сердито крикнул Василий.

В это время парень с белесым чубом из-под фуражки, в сапогах с отворотами размашистым шагом подошел к машине, не спрашивая разрешения перемахнул через борт, втиснулся между сидевшими, с трудом повернув в тесном вороте рубахи крепкую шею, раздвинул в улыбке крупные белые зубы:

— Не спеши, дождик пройдет, пообветреет, тогда и покатаешься.

— У-у, оскалился! Этому жеребцу только бы и бегать пешком. Глаза твои бесстыжие! — набросилась на парня женщина.— А ты не думай,— обернулась она к Василию,— не больно-то он раскошелится. Такие-то на дармовщинку ездят.

Василий покосился на парня: что верно, то верно — «лещ» не из надежных, на каком-нибудь отвороте к деревне Концово или Комариный Плёс выскочит на ходу, только его и видели. Дело не новое. Но, измерив взглядом широкие плечи своего пассажира,

решил: «Черт с ним. Сила, должно быть, медвежья, машина застрянет — поможет вытаскивать».

Суровым взглядом окинул тесно набитый кузов:

— Все умостились? Едем! Коль застрянем где — помогать.

Он сел в кабину рядом с изнывающим от ожидания директором Княжевым, нажал на стартер. Разбрызгивая лужи, перетряхивая на колдобинах пассажиров, полуторка, оставив чайную, стала выбираться на прямой путь к станции.

3

Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колеи, ни дать ни взять ущелья среди грязи, лужи-озерца с коварными ловушками под мутной водой,— километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами,— наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густоборовского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи.

Есть в Густом Бору специальная организация — дорожный отдел. Есть в нем заведующий — Гаврила Ануфриевич Пыпин. Он немного стыдится своей должности и, знакомясь с приезжими, прячет смущение под горькой шуточкой. «Зав бездорожьем»,— рекомендуется он, протягивая лодочкой руку.

Но что может сделать Гаврила Пыпин, когда в прошлом году на ремонт дорог отпустили всего пять тысяч. Пять тысяч на эту пятидесятикилометровую стихию!

Единственное, что мог сделать Пыпин,— вымостить булыжником улицу перед райисполкомом и заменить упавшие верстовые столбы новыми — километровыми.

Сейчас от города Густой Бор до самой станции стоят они, эти столбы, в черную полосу по свежеоструганному дереву, точно отмечая километр за километром куски шоферской муки.

Ох, дорога! — каждый метр с боя.

Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, безобидную, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее нужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая, выбрасывая из-под колес ошметки

грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на дифер.

Перед деревней Низовка разлилась широченная лужа. Страшен ее вид — там и сям из воды вздыбились слеги, торчит пучками облепленный грязью хворост. Шоферы прозвали эту лужу «Чертов пруд». Через нее надо ехать только по правой стороне, да и то не слишком-то надейся на удачу.

После Низовки, не доезжая соснового бора, дорога так избита, что лучше свернуть в сторону, проехать по кромке поля вновь пробитой колеей. Зато дальше, пока не кончится сосновый бор,— песок. Дожди не размывают его, прибивают, делают плотным. Можно включить третью скорость, облегченно откинуться на сиденье, дать газ... Какое наслаждение следить, как надвигаются и проносятся мимо сосны! Но только три километра душевного облегчения, несколько минут отдыха — и снова колдобины, до краев заполненные водой, снова врытые глубоко в землю колеи, снова коварные лужи.

На ветровом стекле брызги жидкой грязи. Сквозь стекло видно, как навстречу, словно медлительная ленивая река, течет дорога. Вася Дергачев, вытянув шею, в кепке, съехавшей на затылок, настороженно впился в дорогу глазами. Она враг — хитрый, неожиданный, беспощадный. От нее каждую секунду нужно ждать пакости. Вася с ожесточением воюет, от напряжения ему жарко, волосы прилипли ко лбу.

Рулевая баранка, рычаг скоростей, педали — вот оно, оружие, с помощью которого вырывается у дороги метр за метром...

Впереди зализанный, осклизлый склон. В другое время не стоило бы на него обращать внимания. Тяжелый сапог давит на газ. Взвыл мотор. Сотрясая кабину, машина набирает скорость: давай, давай, старушка! Начало склона близко. Начало склона перед самыми колесами. Газ! Тяжелый сапог давит до отказа: газ! газ! Радиатор поднимается в небо. А в небе, затянутом ровными серыми облаками, равнодушно машет крыльями ворона...

С разгона машина проскочила до середины скользкого склона, и вот — секунда, частичка секунды, когда чувствуется, что она должна остановиться... Если это случится, не помогут и тормоза,— как неуклюжие салазки, сползет грузовик вниз, а уж во второй раз так просто не выползешь.

Секунда, частичка секунды,— педаль сцепления, рычаг скоростей на себя и газ, газ, газ! Машина остервенело воет, дребезжат стекла кабины, медленно, медленно, с натугой, по вершку, по сантиметру вперед, вперед, вперед! Выкатилась... Уф!.. Василий расслабил сведенные на руле руки.

Качается кабина, директор МТС Княжев сонно кивает на каждом толчке головой. Окруженные придорожным мокрым кустарни-

ком, время от времени выдвигаются, проползают мимо километровые столбы, новенькие, не успевшие еще по-настоящему обветриться.

Первый раз застряли на десятом километре. Объезжая разбитый путь, Вася никак не мог выбраться на дорогу, задние колеса буксовали в затянутом травой кювете. Из кабинки вылез Княжев, из кузова выскочили парень в сапогах с отворотами и путающийся в широком плаще заготовитель. Лейтенант, жалея свои хромовые сапожки, командовал сверху, перегнувшись через борт:

— Лопату возьмите! Где лопата?.. Подрыть надо. Эй, кто там! Под колесами подройте!

Подрыли, подложили пару камней, покрикивая для бодрости, вытолкнули на дорогу.

Второй раз прочно сели в «Чертовом пруду» — место законное для задержки. Парень в сапогах с отворотами оказался находкой для Васи. Откуда-то притащил сосновый кряж, бесстрашно шагая по луже, пристроил его под колеса, подровнял лопатой грунт. Веселый, с облепленными грязью ручищами и грязью крапленным, потным лицом, он шумливо отвечал всем.

— Ладно, ладно! Командуй! — кричал на лейтенанта.— Как бы самому кителек запачкать не пришлось. Эй, шофер! Лезь в кабину, трогай не ходко! Я подтолкну... А вы, товарищ начальник, не мутите зазря воду у кабины, садитесь на свое место. Как-нибудь управимся...

Директор Княжев послушно усаживался рядом с Васей, смущенно улыбаясь, качал головой:

— Шустрый малый. Силенка так и прет, хоть запрягай в машину заместо тягача.

Проехали Низовку, прокатили по сосновому бору...

У километрового столба с цифрой 20 Василий остановил машину, вылез, своей шоферской вдумчивой походкой враскачку обошел кругом, озабоченно попинал скаты, поднял взгляд на сидящих в кузове:

— Ну, братцы, сейчас Тыркина гора. Коль на нее выползем, считайте — приехали на станцию. Дальше-то как-нибудь промучаемся.— И, влезая в кабину, вздохнул: — Эх, место, богом проклятое!

Машина тронулась, огибая тесно сбившийся в кучу придорожный ельник.

Впереди показался кособокий холм. Правая его сторона, кудрявясь мелким березнячком, круто сбегала вниз. К вершине, по самому краю склона, к выщипанному кустарнику, маячившему на фоне серого неба, ползла вверх жирной виляющей лентой черная дорога.

Машина приближалась к Тыркиной горе.

4

Откинувшись на спинку сиденья, с бесстрастно суровым лицом, Василий наметанным взглядом выбирал более удобный путь на расхлюстанной дороге. Его руки скупо, расчетливо, лишь более порывисто, чем всегда, крутили баранку.

Княжев, до сих пор равнодушно клевавший носом, встряхивавшийся только на сильных толчках, теперь подался вперед, наморщил страдальчески лоб, собрал в тугой узелок губы, всем своим видом выражая такое напряжение, словно сам помогал машине взбираться на тяжелый подъем, вчуже изнемогая от усилий.

Машина басовито, на одной ноте завывая мотором, с боязливой осторожностью ползла вверх.

С краю у дороги торчат невысокие темные столбики. Они поставлены оберегать машины от несчастья. Впрочем, пролеты между этими спасительными столбиками достаточно широки, чтоб пропустить, не задев, любой грузовик, да и стоят они давно, изрядно подгнили, многие сбиты неосторожными водителями, торчат скорей для очистки совести, на всякий случай.

Василий изредка бросал взгляды в сторону и видел, как внизу ширится простор. Мелкий, мокрый березнячок оседает, своими верхушками уже не закрывает тускло поблескивающую воду узенькой речки, бегущей внизу, под склоном. Сразу за речкой — ядовито-зеленое поле льна, еще дальше — матовые овсы, средь них деревенька — горсточка серых избушек, а совсем далеко, в сырой мгле, мутным, темным разливом раскинулся большой хвойный лес.

Как всегда в такие минуты особо трудного пути, Василий чувствовал спиной сидящих в кузове пассажиров. Чувствовал, как они все до единого тянутся со своих мест вперед, каждый душевным усилием, помимо желания, пытается помочь машине; также с необъяснимым беспокойством следят они, как открывается внизу простор: тусклая речка в зеленых берегах, поля, деревенька, мутный лес.

У всякой дороги, поднимающейся в гору, есть хорошо знакомая шоферам критическая полоса. Обычно она расположена недалеко от вершины, там, где основная крутизна кончается и подъем становится положе. На подходе к этой полосе машина должна выжать из себя все, на что способна, здесь она сдает трудный экзамен на силу.

Выщипанные кустики, которые были видны на вершине при подъезде к Тыркиной горе, теперь, вблизи, оказались средней высоты ольховыми деревьями. Среди них белел километровый столб — двадцать первый километр, проклятый шоферами.

До него оставалось метров сто семьдесят. Из них добрая половина была исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь иссечена рваными колеями, как поле битвы костями, усеяна жердями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно срубленных березок. Это и есть критическая полоса Тыркиной горы, тяжелый перевал. Редкая машина не сидела здесь по целым суткам, во всей округе нет такого шофера, который бы не обложил это место крепкими словами, вкладывая в них всю свою душевную ярость и отчаяние.

Меньше всего был разбит кусок дороги, тянувшийся возле самого ската. Есть слабая надежда, что только здесь, и нигде больше, можно проползти, не застряв.

Василий стал прижимать машину к самому краю, повел, едва не задевая колесами темные столбики на обочине.

Сверху от ольховых деревьев, почтительно обступивших километровый столб, прямо на радиатор медленно, с натугой надвигалась дорога — широкая река густо замешанной, скользкой глины. Княжев также тянулся с сиденья вперед, еще туже сводил свои оборчатые губы в узелок. Василий по-прежнему, откинувшись на спинку сиденья, вытянув шею, с окаменевшим лицом уставился вперед немигающими глазами.

Кто б мог подумать, что он в эту минуту мечтал. Да, мечтал! Он представлял себе, как его полуторка мало-помалу приблизится вон к тому камню, замшелой тушей вросшему в обочину, как там он повернет налево, постепенно набавляя газ, пересечет дорогу, как на правой стороне вывернет... А там в кювете растет крошечный, жалкий, всегда густо заляпанный грязью можжевеловый кустик. Он дорог Васе. Около этого кустика кончатся мучения, мотор застучит ровнее, без надсадного завывания, машина, словно стряхнув груз, покатится легче. Не доезжая километрового столба, можно уже включить вторую скорость... Он мечтал, как ощутит привычную усталость во всем теле и вместе с этим какую-то радостную, горделивую легкость в душе: знай наших, черт ногу сломит, а мы проехали. Чтоб чем-то отметить эту победу, он обязательно остановит машину, выскочит из кабинки и заявит весело:

— Что ж, братцы, сотворим перекур.

А из кузова благодарно и радостно будут ему улыбаться пассажиры.

...Камень, старый, тупо лобастый, весь в лишаях зеленого мха, скрылся за радиатором. Сейчас он должен находиться как раз напротив переднего колеса. Вася резко крутанул баранку и вдруг почувствовал что-то неладное. Что? Он не сразу понял. Медленное, натужное движение машины не приостановилось, но она не послушалась руля... продолжала двигаться как-то косо.

«Задние колеса сползают!» — догадался Василий и похолодел. Бессознательно нажал газ. Взвыл мотор, машина остановилась, подалась чуть-чуть назад, начала оседать. Вцепившись потными руками в рулевую баранку, с потным, окаменевшим лицом Василий давил на газ. Машина оседала, задирая вверх радиатор. Из кузова резанул истошный женский визг.

— Ну, что сидишь? Смерти хочешь?! Прыгай! — остервенело крикнул Василий съежившемуся от ужаса Княжеву.

Тот заворочался, стал слепо хватать руками ручку дверцы, но было уже поздно...

В ветровом стекле исчезла земля, поплыло в сторону серое небо, по нему, как гигантская метла, промела зеленая верхушка березы. Тяжелая туша Княжева навалилась на Василия, но сразу же освободила. Василия больно стукнуло головой о потолок кабинки, бросило грудью на руль, он навалился на Княжева. Раздался треск, зазвенели стекла... Все стихло.

Шумело в голове от удара, ныла грудь. Внизу, под Василием, зашевелился Княжев, закряхтел.

— Кажись, живы.

Вдавливая коленями мягкое тело кряхтящего Княжева, Василий приподнялся, стал шарить по дверце, нашел ручку, надавил, толкнул дверцу головой.

— Сейчас вылезу, вам помогу,— сообщил Княжеву.

«Кого могло убить?..— думал он, выталкивая себя вверх.— Молодые-то, должно, выскочили, а вот старуха с корзиной... Эх, да конец один — хватит, погонял по знакомым дорожкам, Василий Терентьич, теперь найдут место — отдохнешь от хлопот».

5

Но старуха была жива. Она первая бросилась в глаза Васе: со сбившимся на затылок платком, седые волосы падают на лоб, расставив ноги, огорченно хлопая себя по бокам, причитала над корзиной:

— Исусе Христе! По яичку копила, себя не баловала, все внукам, все внукам! И с чем я, старая, к ним покажусь? Какие гостинцы привезу?

Высокая, простоволосая женщина, не стесняясь, вздернув юбку, растирала ушибленное колено. Она сердито оборвала старуху:

— Буде ныть-то. Спасибо скажи, что цела осталась.

— Ох, верно, матушка, верно. Не допустил господь. Спас от погибели.

Мальчуган, задрав вверх подбородок, из-под наползавшей на глаза кепки внимательно изучал лежавшую на боку, бесстыдно выставившую напоказ свой грязный живот машину.

Девчушки, ехавшие в ремесленное, сбились тесной кучкой, со страхом уставились на вылезших из кабины Василия и Княжева. У директора МТС был потерян картуз, со лба по щеке багровая ссадина.

Какое-то белье, мужские сорочки, цветные женские платья, валялись на траве, висели по мокрым кустам. Крошечную, сердито топорщащуюся елочку нежно обняли голубые трикотажные кальсоны. Один из объемистых новеньких чемоданов младшего лейтенанта лежал на полпути от дороги к машине раскрытым. Около него согнулись сам лейтенант и его жена.

Наверху, на обочине дороги, торчала фигура, полная недоумения и растерянности,— заготовитель в своем широком, чуть шевелящемся на ветру плаще.

Пестрота раскиданной кругом одежды, неожиданное многолюдье среди покойно шелестящих листьями невысоких березок и кустов казались Васе чем-то диковинным, не настоящим, картиной не от мира сего. Ведь всего минуту назад ничего этого не существовало,— была лишь тесная кабина, забрызганное грязью ветровое стекло, медленно плывущая навстречу дорога...

Он провел по волосам, почувствовал от прикосновения руки боль в темени, опомнился и спросил в пространство:

— Все живы?

На его голос обернулся младший лейтенант. Он резко разогнулся над чемоданом, зло вонзая каблуки своих сапожек в травянистую землю склона, без фуражки, в косо сидящем кителе, подбежал к Василию.

— Кто вам доверил возить людей?! — закричал он тенорком.— Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине!

— Э-э, друг, чего кричать,— попробовал было остановить лейтенанта Княжев, с боязливой лаской ощупывая ссадину на щеке.— Парню и без тебя на орехи достанется.

— Нет, вы поймите! Здесь были дети, женщины, могло кончиться убийством!..

Жена лейтенанта, оставив раскрытый чемодан, бросилась к мужу:

— Митя, полно! Ведь он же не нарочно. Зачем кричать? Митя!

— Мало его судить. Надо судить тех, кто дает таким олухам права!

— Митя, стыдно же...

— Наташа, ты ничего не понимаешь!

— А офицерик-то за свои чемоданы обиделся,— вставила со стороны женщина.

Жена Мити вспыхнула, схватила мужа за рукав:

— Несчастье случилось! Как тебе не совестно? Все молчат, один ты набросился. Мне за тебя стыдно. Мне!

В это время за опрокинутой машиной из-под накренившейся, сломанной ударом кузова березы донесся сдавленный стон: «И-и-и!..» Старуха, все еще стоявшая над своей корзиной, проворно полезла через кусты, зачастила оттуда скороговоркой:

— Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло. Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, лежи, не понужай себя... Люди добрые, да скореича идите!

Василий, отталкивая всех с дороги, бросился за машину.

Голова в кустах, ноги в тяжелых грязных сапогах с затертыми отворотами раскинуты в сторону, схватившись руками за живот, лежал парень, который помогал Василию выбираться из «Чертова пруда».

Когда Василий услышал стон и вслед за ним причитания старухи, он испугался и первой его мыслью была мысль о себе: «Смертный случай! Теперь-то уж не мановать, теперь засудят...» Но едва он, бросившись на колени, нагнулся, отвел ветви куста и увидел изменившееся лицо парня,— нежно-розовое, с мелкими бисеринками пота на лбу, ввалившимися висками и мутными, непонимающими глазами,— то сразу же забыл свой испуг, мысли о том, что его засудят, вылетели из головы.

Чужая, не совсем еще понятная, но наверняка страшная беда в упор глядела на него мутным взглядом.

Не жалость, это слишком легкое слово, скорей отчаяние, болезненное, острое, охватило Василия,— что он наделал?!

С минуту, не меньше, Василий бессмысленно смотрел, не зная, как поступить, чем помочь. А помочь чем-то нужно.

Силу б свою выпуть, боль на себя принять, но как?.. Что делать?

— Любушки! Ведь мать же у него есть! Чья-то кровиночка... Вот оно, горюшко-то, не знамо, когда придет! — разливалась старуха.

Темные на странно розовом лице губы парня дернулись, обнажив стиснутые белые, крупные зубы. Парень процедил:

— По-моги... подняться...

Василий рванулся к нему, обнял одной рукой за плечо, другую попробовал просунуть под спину. Но парень, изогнувшись, громко застонал. Василий растерянно выпустил его.

— Ничего, ничего. Жив же,— раздался над его головой трезвый голос Княжева.— Надо доставить как-то в больницу. Хотя бы к нам, в село, в фельдшерский пункт.

Василий вскочил на ноги, оглядел умоляющими глазами стоящих степой пассажиров:

— Ребята! Товарищ Княжев! Помогите мне. Сделаем носилки...

— Что мы, чурбаны бесчувственные? Поможем.— Княжев оглядел присутствующих.— Жаль, мужиков средь нас маловато.

— Вот видите, до чего доводит безалаберность! — снова загорячился лейтенант.— Человека покалечили!

— Митя, зачем же кричать об этом,— со вспыхнувшими щеками, стараясь ни на кого не глядеть, начала успокаивать жена.— Криком делу не поможешь.

— Нет, это безобразие! Равнодушно относиться к преступнику!

— Митя! Прошу!

Василий сорвался с места, царапаясь о кусты, спотыкаясь, скатился вниз, к берегу реки, вынул из изгороди две жерди, притащил их на плече к машине. Заготовитель торопливо скинул свой широкий брезентовый плащ, представ перед всеми в каком-то полудетском, даже по его тщедушной фигурке тесном, порыжевшем пиджачишке. Жерди просунули в вывернутые внутрь рукава плаща, сам плащ застегнули на все крючки. На плащ еще накинули старый, пахнущий бензином кусок брезента, валявшийся в кузове. Все это сооружение кое-где прихватили веревками... Получились громоздкие, неуклюжие носилки.

Василий и Княжев, приговаривая ласково: «Потерпи, потерпи, браток...» — насколько это было можно, с осторожностью, один — под мышки, другой — придерживая грязные сапоги, переложили парня на носилки. Он не застонал, не крикнул, только с шумом втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы.

— Значит, как условимся?.. — Княжев оглядел столпившихся вокруг носилок людей.— Надо, чтоб силы были равны. Я понесу, ну, скажем, с Сергеем Евдокимовичем.— Княжев указал на съежившегося в своем кургузом пиджачишке заготовителя. Тот в ответ покорно кивнул головой.— Ты, Дергачев, понесешь на пару с лейтенантом.

— А я считаю... — отчеканил младший лейтенант,— мы не должны никуда нести! Надо немедленно вызвать *сюда* врача и участкового милиционера.

В первый раз за все время Василий угрюмо возразил:

— Не сбегу, не беспокойтесь... А гонять туда да обратно — времени нет.

— Для суда важно, чтоб все осталось на месте, как есть.

— Митя, глупо же! Боже мой, как глупо и стыдно!

— Наташа, ты не понимаешь!

Женщины, до сих пор лишь соболезнующе вздыхавшие, шумно заговорили:

— Нести лень голубчику.

— Сапожки испачкать не хочет.

— Тут человек при смерти, а он...

— А что ж, бабоньки, дивитесь — в чужом рту зуб не болит.

— Образованный, молодой...

— У молодежи-то ныне всей совести с маково зернышко.

— Митя, ты понесешь! — Острые плечи вздернуты, руки нервно теребят на груди концы шелковой косынки, рваный зеленый листочек застрял в завитых волосах, на белом виске, как родинка, засохла капелька грязи, по милому, простоватому лицу — красные пятна, на глазах — детских, серых, откровенных — слезы, они просят.

— Митя, ты понесешь! Ты не откажешься.

— Наташа, ты не понимаешь...

— Нет, я все понимаю, все! Митя! Ты понесешь! Или!..

— Что — «или»?

— Или я уеду обратно домой. Не буду жить с тобой! Не смогу! Какой ты! Какой ты нехороший!

— Наташа!

Наташа прижала к глазам крепко сжатые кулачки, из одного из них недоуменным заячьим ушком торчал конец косынки.

— Наташа...

Она отдернула плечо от его руки.

— Не тронь меня! Не-на-ви-жу! Не хочу видеть! Ка-кой ты!.. — Оторвав руки от лица, прижав их к груди вместе с измятой косынкой, она шагнула к Княжеву: — Я понесу! Я! Не бойтесь, я сильная. Я смогу... Только не просите больше его! Не надо! Не просите! Какой он! Какой он!

Княжев с виновато растерянным лицом ощупывал ссадину на щеке, а Василий, стоявший рядом, сморщился. В эти минуты у него все вызывало острую боль.

Между женщинами снова пробежал глухой шепоток:

— Нарвалась девонька...

— Век-вековечный красней за идола.

Младший лейтенант стоял перед людьми, в кителе, на котором две пуговицы были вырваны с мясом, остальные, начищенные, продолжали мокро сиять. Его уши, по-мальчишески упрямо оттопыренные, багрово горели, как прихваченные осенними заморозками кленовые листья.

— Что тут разговаривать,— решительно произнес Василий.— Справимся,— и нагнулся к носилкам.

Княжев взялся с другого конца, удивился:

— Ого! Тяжеленек малый!

Раненый застонал.

Боком, шажок за шажком, стараясь не зацепить носилками за кусты, не тряхнуть, вытащили на дорогу.

За носилками тронулись заготовитель и жена лейтенанта, горестно сморкающаяся в концы косынки. Женщины пошептались между собой, покачали головами, крикнули:

— Нам-то помочь, что ли?

— Оставайтесь, донесем! — с усилием ответил Княжев.

— Вот приберемся тут, может, и догоним.

Лейтенант продолжал стоять у запрокинутой набок машины, смотрел вниз, ковыряя носком сапога землю.

Маленькая процессия, отдохнув на обочине, медленно пошла по верху склона. Сначала травянистая бровка их скрыла по пояс, потом по плечи, наконец вовсе исчезли... Лишь темный камень тупым выступом торчал на сером небе.

Начинало заметно вечереть. С реки налетел сырой ветерок, шевелил листьями. Женщины вытаскивали вещи, переговаривались негромко, не обращая внимания на ковырявшего землю лейтенанта.

Вдруг тот поднял голову, оглядел раскиданное по траве и кустам белье и нервно завертелся, ища что-то вокруг себя, должно быть, фуражку. Не нашел, махнул рукой, бросился к дороге. На склоне перед самой дорогой споткнулся, вскочил, прихрамывая, бегом бросился в ту сторону, куда ушли с носилками.

— Проняло субчика.

— Совесть заговорила.

— Девка-то душевная ему попалась.

— Этакие хлюсты всегда сливки снимают.

Старушка, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!..

6

Ноги расползаются на скользкой грязи. И хоть Василий выбрал для носилок самые тонкие жерди, но все же их концы толсты, трудно держать, пальцы не могут обхватить. Раненый грузен. На самых легких толчках он вскрикивает.

После двадцати шагов Василий, шагавший в голове, почувствовал, что если сейчас не остановится, то не удержит концы жердей, раненый упадет в грязь.

— Николай Егорович,— обессиленно окликнул он Княжева,— давай в сторонку. Мочи нет. Боюсь — не удержу.

Осторожно опустили носилки на обочину, прямо на мокрую примятую траву. Княжев перевел дыхание:

— Тяжел добрый молодец. Сзади шел, одни сапоги, считай, нес и то умаялся.

Василий разминал сведенные кисти рук.

Парень лежал на спине, чуть согнув ноги в колепях, держась руками за живот, лицо у него было по-прежнему розовое, как у человека, только что попарившегося в бане.

Заготовитель с нескрываемой жалостью на остроносом, с мелкими чертами, небритом лице рассматривал раненого быстро бегающими черными глазками.

— По двое никак не унесем,— сказал он.— Давайте вчетвером.

— А где четвертый-то? — спросил Василий.— Девушку не заставишь.

— Нет, нет, я смогу. Понесемте, прошу вас.

— Еще чего! Авось руки не отвалятся.— Василий нагнулся было к носилкам, чтобы снова ухватиться за концы жердей.

— Не дури, Дергачев. Человек дело советует,— остановил его Княжев.— Ты, знаем, готов надорваться теперь. Ну-ко, девонька, возьмись за один конец у ног... За правый, за правый — там способнее держать. Я — в голову, вместе с Василием. Сергей Евдокимович, чего ждешь? Ну-ко, разом!.. Подпяли... Осторожно, осторожно... Ничего, малый, терпи, как-нибудь доставим к месту. Пошли в ногу...

Но четверым в ногу по скользкой дороге нести было труднее. На первых же шагах носилки качнуло, больной охнул.

— Осторожнее! Не напирайте сзади!

Двадцать первый километровый столб начинал приближаться, на нем можно было рассмотреть уже цифру.

Неожиданно у носилок появился прихрамывающий лейтенант. Секунду он молча шагал рядом с женой. Та, старательно схватившись руками за конец жерди, с трудом вытаскивала из грязи резиновые ботики, склонив низко голову, не замечала мужа.

— Наташа, дай мне...

Наташа не отвечала.

— Слышишь? Дай, я понесу. Тебе же тяжело. Ну...

— Не мешай.

— Я погорячился... Ну, дай возьму.

Лейтенант ухватился за конец жерди. Носилки дрогнули, больной застонал.

— Отойди! И здесь мешаешь.

— Наташа...

— Эй, кто там толкает? Отступись! — не оборачиваясь, крикнул Княжев.

— Товарищи, товарищи! — заспешил вперед лейтенант.— Остановимся на минутку. Я понесу.

— Иди, иди,— сердито огрызнулся Василий.— Крутишься тут под ногами.

— С тобой не разговариваю!

— Не разговариваешь, так и не лезь.

Четверо несущих сосредоточенно, угрюмо месили грязь ногами. Лейтенант, всклокоченный, в своем косо сидящем кителе, с расстроенным лицом, попадая в лужи, прихрамывал сбоку, не спуская взгляда с жены.

— Наташа... Я же виноват. Я, честное слово, хотел... Наташенька, мне же стыдно. Ну, прости. Слышишь, прости...

Наташа не отвечала, ей было не до того: мятая косыночка висела на одном плече, глаза напряженно округлились, уставились в сведенные на конце жерди руки. Впереди мерно покачивались поднятые к небу колени раненого.

— Наташенька, ну, дай же понесу. Я виноват, кругом виноват.

— Чего меня-то просишь? Ты у них... Перед всеми виноват.

— Виноват. Да, да, виноват,— обрадованно затоптался лейтенант около жены.

Та не отвечала. Тогда лейтенант бросился к голове носилок, забежав вперед, заглядывая то в лицо Княжеву, то в лицо Василию, заговорил:

— Ребята, извините... Ну, черт-те что вышло... Остановитесь, ребята. Ну, прошу... На минутку только. Дайте мне понести.

— Ладно уж,— согласился Княжев и потянул носилки в сторону.

Больного положили под километровым столбом.

Наташа облегченно разогнулась, стала поправлять спадающие на лоб волосы.

— Ну, бери, что ли! — сердито приказал Василий лейтенанту.— Через каждые пять шагов остановка. Так и к утру до Утрясова не дотянем.

— Да, да, надо быстрей. Сейчас, сейчас... Тут ведь недалеко. Нас теперь четверо,— благодарно засуетился лейтенант и вдруг, снизу вверх глянув на Василия, попросил: — Слышь, друг,

прости меня. Честное слово — дурак я. Дай в голову встану. Ну, дай.

— Ладно, ладно, смени жену лучше,— уже без обиды ответил Василий.

— Нет, право. Ты устал. Я — в голову, ты — на место Наташи.

— Хватит торговаться. Становись на свое место,— резко приказал Княжев.

Лейтенант стал в пару с заготовителем.

Снова закачались носилки над размытой дорогой. Четыре пары сапог: одни — хлюпающие широкими кирзовыми голенищами — Василия, другие — яловые, добротные — Княжева, старенькие, морщинисто-мятые — заготовителя и щегольские, плотно облегающие икры ног — лейтенантовы,— с медлительным упрямством снова принялись месить грязь. Наташа шла сбоку, на ходу повязывая на голову косынку. В движениях ее рук, расслабленных, неторопливых, чувствовалась какая-то покойная усталость, душевное облегчение.

От столба, оставшегося за спиною, до села Утряхово, где есть фельдшерский пункт, девять километров.

Кусты в стороне от дороги уже трудно было отличить от земли. Однообразно серое, низкое небо стало еще более сумеречным. Потемнела и сама дорога. Лишь тусклыми пятнами выделялись свинцовые лужи.

7

Сквозь тюлевые занавески, сквозь слезящиеся стекла, обдавая сырую тьму ночи теплом обжитых комнат, падал из окна желтый свет. В нем бесновато плясала серебристая пыль — нудная морось.

Там, в комнатах, все покойно, все привычно: люди в одних нательных рубахах, скинув сапоги, ходят по сухим крашеным половицам, садясь ужинать, говорят о перерастающих травах, о погоде, о мелких хозяйских заботах: несушка перестала нестись, плетень подмыло... Там обычная жизнь, только со стороны, в несчастье, понимаешь ее прелесть.

Четыре человека, спотыкаясь от усталости, изредка бросая вялые, бесцветные ругательства, медленно несли тяжелые носилки по селу Утряхово, мимо уютно светящихся окон. Жена лейтенанта, получив подробное объяснение, где живет фельдшерица, убежала предупредить ее.

Впереди, на холме, как бы владычествуя над скупо разбросанными огоньками сельских домишек, сияла огражденная огнями МТС.

— Вон к тому дому... Заворачивай не круто,— указал Княжев.

На крыльце, приподняв на уровень глаз керосиновую лампу, в накинутом на плечи пальто, их встретила девушка. Из-за ее плеча в открытых дверях выглядывала Наташа.

Мокрые, грязные, молчаливые, при тусклом свете керосиновой лампы темноликие и страшные, сосредоточенно сопя, четверо носильщиков поднялись на крыльцо, неосторожно задели концом жерди о дверь, и больной простился сдавленным стоном с темной, слякотной ночью.

В комнате, до боли в глазах ярко освещенной стосвечовой лампой, пахло медикаментами, в шкафчике за стеклом блестели пузырьки и никелированные коробочки. Вдоль стены — белая широкая медицинская скамья. И во всей этой сверкающей белизне грязные, мокрые, с неровно торчащими концами грубо обтесанных жердей носилки вместе с больным казались куском, вырванным из тела обезображенной дороги.

Носильщики, промокшие до нитки, залепленные грязью, с осунувшимися, угрюмыми лицами, подавленные чистотой, стояли каждый на своем месте, не шевелились, боялись неосторожным движением что-либо запачкать. Фельдшерица, молоденькая девушка с некрасивым круглым лицом, густо усеянным крупными веснушками, с сочными, яркими губами, которые сейчас испуганно кривились, попросила несмело:

— Выйдите все, пожалуйста. Тут негде повернуться. Я осмотреть хочу... А девушка пусть останется, поможет мне.

Высоко поднимая ноги, словно не по полу, а по траве, с которой боязно стряхнуть росу, один за другим все четверо вышли в просторный коридор, где на скамье тускло горела керосиновая лампа.

Княжев вынул пачку папирос и выругался, скомкав, сунул в карман,— папиросы были мокрыми. Лейтенант поспешно достал свой портсигар.

— Возьмите. У меня сухие.

В его портсигаре было только две папиросы. Одну взял Княжев, другую лейтенант протянул Василию.

— Да ты сам кури. Ведь больше-то нет,— отказался тот.

— Я нисколько не хочу курить. Нисколько. Прошу.

С улицы донеслись металлические удары — один, другой, третий, четвертый... Отбивали часы. Княжев поспешно отвернул мокрый рукав плаща:

— Вот как — одиннадцать... А меня, наверно, ждут. Из района специально звонил, чтоб бригадиры остались. Думал, часам к

шести-семи подъеду. Извините, ребята, пойду. Теперь без меня все уладится.

Пожимая директору МТС руку, Василий, заглядывая в глаза, растроганно говорил:

— Спасибо вам, Николай Егорович. Спасибо.

— Это за что же?..

— Да как же, помогли... Спасибо.

— Ну, ну, заладил. За такие вещи спасибо не говорят.

После ухода директора Василий почувствовал тоскливое одиночество. Ушел человек — его советчик, его опора, ни с лейтенантом, ни с заготовителем так быстро не сговоришься. Скоро и они уйдут... Тогда — совсем один. Делай что хочешь, поступай, как сам знаешь. «Участкового милиционера искать надо...»

Василий задумчиво мял в руках окурок. Лейтенант нетерпеливо поглядывал на дверь фельдшерской комнаты. Заготовитель сидел на краешке скамейки, церемонно положив руки на колени, словно ждал приема у начальства. Наконец дверь открылась, вышла фельдшерица, на ходу снимая с себя халат.

— Надо его немедленно доставить в Густой Бор к хирургу,— сказала она убито.— Сильное внутреннее кровоизлияние. Надеюсь, печень не повреждена. До живота нельзя дотронуться, бледнеет от боли. Хирург у нас хороший, он все сделает. Только бы доставить.

От волнения и растерянности девушка заливалась краской, ее веснушки тонули на лице.

— А на чем же? — спросил после общего молчания Василий.— На чем доставить? Днем не сумели на машине проехать, а ночью и подавно не продерешься.

— На лошади тоже нельзя. Растрясет, на полпути может скончаться.

— На руках можно девять километров протащить, а не тридцать.

— Так как же быть? — заволновался лейтенант.— Умирать человеку? Мы его спасали, тащили, он умрет. Хирурга вызвать сюда! Это легче, чем везти больного. Пусть выезжает немедленно. Понимаете, девушка, надо спасти этого человека.

— Хорошо, я вызову. Но лучше бы в больницу, там все условия. У меня здесь ничего не приспособлено для сложных операций.

— Ответственности боитесь! — загорячился лейтенант.— Условия не подходящие? Раз другого выхода нет, пусть едет, пусть спасает жизнь!

— А на чем хирург выедет? — спросил Василий.— Ты не подумал?

— В районе достанут машину. Достанут!

— Слушай, друг, я шофер бывалый, ты моему слову верь: ночью ни одна машина не пройдет. Ни одна!

— До утра скончаться может,— уныло вставила фельдшерица.

— Верхом! Пусть лошадь достанет!

— Верхом? Что вы! — девушка слабо махнула рукой.— Тридцать километров проехать верхом — надо быть кавалеристом. А Виктор Иванович и в жизни, наверное, в седле не сидел. Даже смешно об этом думать.

Замолчали. Разглядывали при свете стоящей на скамье лампы высокие, неуклюжие тени на бревенчатых стенах. Вдруг Василий хлопнул себя по лбу:

— Есть! Доставим! Будет транспорт!

— Какой?.. Где?..

— Трактор! Побегу сейчас в МТС, пока Княжев не ушел. Попрошу его дать трактор с тракторными санями. Трактору что? Он легко пройдет. А уж на санях не растрясет, как в люльке доставим. Я — в МТС!

— А я тем временем на почту сбегаю. Позвоню в больницу, хирурга вызову к телефону.

— Я тоже в МТС,— обрадовался лейтенант.— Вместе разыщем Княжева.

Заготовитель, все время сидевший в стороне на скамье, во время разговора не проронивший ни слова, сейчас пошевелился, скупо сказал:

— Не даст.

— Что не даст? — повернулся к нему Василий.

— Княжев трактор не даст.

— Это почему?

— Я его знаю. Не даст.

— Ну, брат, молчал, молчал, да сказал, что рублем одарил. Как же он не даст, когда сам, вместе с нами, на горбу носилки тащил. Не тот человек Николай Егорович, чтоб в помощи отказать. Пошли, лейтенант.

— Дай бог, чтоб я ошибся.

Быстрым шагом, подпрыгивая от нетерпения, шли они вдвоем к холму, где цепочкой горели огни МТС.

Лейтенант зябко запахивал на груди китель, ежился, забегал вперед, странно поглядывал на Василия. Видно было, ему что-то хочется сказать — и не решается. Василий ждал, что вот-вот он начнет, но лейтенант так и молчал до конторы МТС, лишь на крыльце перед дверью вздохнул:

— Стыдно... Черт возьми! Стыдно!

8

Директор МТС Княжев еще не ушел домой. Из-за двери кабинета было слышно, как он своей сипловатой фистулой сердито выговаривает кому-то:

— Тоже мне добрый дядя! У нас есть договор, документ законный, обе стороны подписали, печати пришлепнули. Нет, я через него прыгать не собираюсь. Мало на меня в районе собак навешали... А-а, ребята! Что стряслось?

Княжев поднялся из-за стола. Он был в той же гимнастерке, в которой нес больного, мокрый и грязный плащ висел за спиной, на стене.

Сидевший возле стола мужчина с жесткими рыжими усами и надвинутыми на глаза тяжелыми надбровьями поднял голову, с интересом уставился на вошедших,— должно быть, уже слышал о несчастье, случившемся на двадцать первом километре, и догадывался, кто пришел.

— Николай Егорович,— заговорил Василий,— плохо дело. Надо срочно отправлять парня в густоборовскую больницу на операцию. Фельдшерка побежала звонить хирургу.

Княжев сожалеюще причмокнул, но ничего не ответил.

Неизвестно почему, но Василию в эту минуту показалось, что он сказал не так, как хотелось, вяло, не горячо, его слова почти не задели Княжева, вызвали в нем лишь легкое сочувствие. И сам Княжев показался ему не тем, который плечо в плечо тащил по грязной дороге неуклюжие носилки. Он возвышался над столом, с выпирающей под гимнастеркой пухлой грудью, на лице что-то хозяйское, властное, недоступное.

— Николай Егорович,— еще нерешительней повторил Василий,— как-то надо отправить.

— Вот беда, как же это сделать?.. Задачка... На фельдшерском пункте лошадь есть.

— Нельзя на лошади, растрясет, умрет по дороге.

— За-адачка.

Василий почувствовал неловкость не за себя, за Княжева. Тот хмурился, прятал глаза.

— Трактор дайте. Единственный выход,— решительно сказал за спиной Василия лейтенант.

— Трактор?.. М-да-а... Трактор-то, ребятки, не транспортная машина, а рабочая. Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению.

— Николай Егорович! — Василий почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.— Человек же умирает! Не мне вам это

рассказывать. Нужен трактор с прицепом. Ежели вы его не дадите, ведь умрет же...

— В том-то и дело, что ни объяснять мне, ни агитировать меня не надо. Я все сделал, что от меня лично зависело.— Княжев осторожно тронул пальцами засохшую ссадину на щеке.— Если б тракторы были мои собственные...

— Выходит: пусть человек умирает! Да как вам не стыдно, товарищ директор! — Лейтенант, бледнея, подался вперед.

Княжев покосился на него и усмехнулся:

— Ты, дорогой мой, вроде не так давно тем же голосом другую песню пел.

Лейтенант вспыхнул, сжал кулаки.

— Да, пел. Да, я был подлецом, эгоистом! Назовите как хотите. Плевать на это! Но дайте трактор. Вы не имеете права не дать. Слышите! Не имеете права!

— Вот именно — не имею права,— ответил директор.— Раз такой горячий разговор, то придется вам кой-чего показать...

Княжев выдвинул ящик стола, согнувшись, порылся в нем, вытащил бумагу, протянул:

— Читайте.

Василий взял бумагу, лейтенант, шумно дыша над ухом, тоже потянулся к ней.

«Во многих колхозах в зонах Утряховской и Густоборовской МТС наблюдается невыполнение плана по подъему паров. Тракторы на пахоте простаивают. Часто они используются не по назначению. Вместо того чтобы работать на полях, возят кирпич и лес. Напоминаем, что решением исполкома райсовета от 17 июня сего года всем директорам МТС категорически запрещается использовать тракторы как транспортные машины.

Председатель Густоборовского райисполкома

А. Зундышев».

— Вот как обстоит дело, дорогие друзья. Я в МТС не удельный князь, а всего-навсего директор.— Княжев забрал бумагу.— И, как директор, я обязан подчиняться распоряжениям вышестоящих организаций.

— Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться.— Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека?

— Упрекнут, да еще как. Ты вот можешь поручиться, что

этот трактор не сломается на такой чертовой дороге? Нет, не можешь. А трактор ждут, скажем, в колхозе «Передовик». Позвонят оттуда в райисполком или в райком, пожалуются — давай объяснения, оправдывайся.

— Ну и объясняйтесь, оправдывайтесь, неужели это в тягость, когда речь идет о спасении человеческой жизни? — заговорил снова лейтенант. Но Княжев пропустил его слова мимо ушей.

— Не могу рисковать. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не гладят.

Сидевший молча мужчина с рыжими усами поднял голову, взглянул на Княжева из-под тяжелых надбровий, произнес:

— Мало ли мы, Николай Егорович, срываем график по пустякам? Всегда у нас так: прогораем на ворохах, выжимаем на крохах. Что уж, выкрутимся. Зато человек будет к месту доставлен.

Мягкое, без намека на скулы лицо Княжева с коршуньим носом побагровело, сипловатая фистула стала тоньше:

— Дерьмовый ты, Никита, бригадир. У тебя интересу к МТС нисколько не больше, чем у Настасьи-уборщицы. Потому и срываем планы, потому и работаем плохо, что добры без меры, встречному-поперечному угодить рады. Мало мне в прошлый раз накостыляли за то, что колхозу «Пятилетка» два трактора выделил на подвозку камней к плотине. Нашлись добрые люди, в райком нажаловались. Хватил горя. А все оттого, что отказать не мог.

— Слушайте, товарищ директор! — лейтенант боком, выставив плечо, потеснив в сторону Василия, надвинулся на стол.— Если вы не дадите сейчас трактор!.. Слышите: если вы не дадите, я вернусь обратно в районный центр, я пойду к секретарю райкома, пойду к тому же председателю Зундышеву, я не уеду до тех пор, пока вас не привлекут к ответственности. Отказать в помощи человеку, лежащему при смерти,— преступление! Слышите: умирающему помощь нужна!

— Гляди ты, каким сознательным стал. Прежде-то со-овсем другим был, добрый молодец, вспомни-ка! — Но Княжева, видимо, задели слова лейтенанта, он говорил, и его небольшие серые глазки на мягком, по-бабьему добром лице перебрасывались то на Василия, то на сидящего рыжеусого мужчину, надеясь найти в них хоть каплю сочувствия. Но рыжеусый угрюмо опустил голову, а Василий глядел с жадной мольбой.

— Иль я не человек, иль во мне души нет? Я же первый слово сказал — парня до места надо доставить, первый же в носилки запрягся. Попросите для больного кровь — отдам, попросите для него рубаху — сниму. Но тут не мое, тут не я распоряжаюсь. Ладно, ребята, не будем зря ругаться. Попробую согласовать, отка-

жут — не невольте. У меня и без этого грешков достаточно по работе набралось. Еще раз подставлять голову, чтобы по ней сверху стукнули, желания нет.

Княжев сел за телефон, принялся вызывать Густой Бор:

— Барышня! Ало!.. Барышня! Соедини, милая, меня с Фомичевым. Это Княжев из Утряхова по срочному делу рвется... Как с каким Фомичевым? Не знаешь? Со вторым секретарем райкома. Первый-то в области... Как нет телефона? А в кабинет ежели брякнуть? Эх, несчастье... На работе нет, ушел домой, а дома телефон не поставлен,— сообщил Княжев, прикрывая рукой трубку.— Барышня, а, барышня! Ало! Ало!.. Как бы мне, детка, Зундышева...

Василий следил, как крупная, белая с плоскими ногтями рука Княжева медленно и вяло распутывала скрученный телефонный шнур. Василий почувствовал ненависть к ней. В каждом ее движении — непростительная медлительность. Рука забыла о времени. Все нервы, каждая жилка натянуты до предела: там лежит раненый, в любую минуту он может умереть, время идет, надо спешить, спешить, спешить, чтоб спасти! А рука нерешительно ощупывает пальцами непослушные изгибы шнура. Невольно хочется ударить по ней.

— Ну что за наказание! — Княжев бросил трубку, сердито проговорил: — Зундышев верхом, на ночь глядя, в колхоз поскакал.

С минуту Княжев сидел откинувшись, играл на животе сцепленными пальцами, тонкие губы собрались в сухую оборочку, глаза уперлись в лист бумаги, подписанный председателем райисполкома Зундышевым.

Василий и лейтенант, впившись глазами в лицо Княжева, ждали, что скажет. Директор пошевелился, глубоко-глубоко вздохнул, уставился мимо Василия куда-то в дверь своего кабинета, произнес:

— Не могу. Не будем больше уговаривать друг друга. Не могу!

— Николай Егорович!

— Не будем уговаривать!

Княжев встал, выставил грудь, нелюдимыми, холодными глазами уставился на Василия и лейтенанта. Те переглянулись, поняли, что разговор кончен, директор ничего не сделает.

— Пошли,— сказал Василий.

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил.

Василий обернулся у дверей:

— Чего там! Молчали бы лучше!

Лейтенант глухо добавил:

— А я свое сделаю: припеку тебя, бумажная крыса!

Хлопнула дверь...

На улице они, не сознавая, куда торопятся, что будут делать дальше, бросились опрометью бежать от МТС.

— Ничего не понимаю, ничего! Зачем он тогда нес? Зачем? — бормотал на ходу Василий.

Лейтенант схватился за голову:

— Что за люди! Что за люди живут! Бывают же такие на свете! Я бы этого гада без суда... Какой подлец! Ка-кой подлец!

— А куда мы бежим? — спросил Василий.

Оба остановились.

Дождь перестал, но воздух был переполнен влагой. Сырую тьму, накрывшую село, кое-где прокалывали желтые, тепленькие огоньки. Люди ложились спать. Для них всех кончился день, вместе с ним на время отошли заботы.

— Куда мы?..— Василий растерянно глядел на лейтенанта.

Что-то надо было делать, как-то нужно было помочь, помочь немедленно, не теряя времени. Прийти к больному и над его головой беспомощно развести руками — невозможно.

— Есть же здесь какое-нибудь начальство.

— Председатель сельсовета есть. Вот и все начальство.

— Пошли! Найдем его. Он здесь советскую власть представляет. Так и скажем: прикажи именем советской власти!

Чавкая по грязи, они бросились в темноту, к сельскому совету. Лейтенант бормотал на ходу:

— Именем советской власти... Вот так-то! Именем...

И от этих слов у Василия росла уверенность — пусть-ко попробует Княжев отказать, пусть-ко отвернется, святые слова, против них не попрешь. Только бы отыскать председателя, только бы он, как районное начальство, не уехал куда-нибудь!

9

Оказалось, что председателя сельсовета не надо было искать. Он с семьей жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, и вышел при первом же стуке.

— Чего на мокроте-то толковать? Пойдемте под крышу,— пригласил он.

Два стола по разным углам, облезлый шкаф, широкий, как печь, телефон на стене в окружении старых плакатов о яровизации, крепко затоптанный за день пол и казенный запах чернил...

Но Василию на минуту эта компата показалась уютной — тепло, сухо, можно бы опуститься на стул, всласть посидеть, расправив ноющие ноги. На минуту он почувствовал страшную усталость, но сразу же забыл ее.

Председатель сельсовета, долговязый, узкогрудый человек, с крупной, никнущей к полу головой, в седой небритости на впавшей щеке зацепилась белая пушинка (верно, уже успел приложиться к подушке), серьезно выслушал, вздохнул:

— Эко ведь оказия какая... Прямо беда с нашими дорогами, прямо беда... Только чего вы от меня хотите, никак не пойму?

Лейтенанта, минут пять до этого сердито и крикливо объяснявшего, передернуло:

— Трактор помогите вырвать у этого остолопа! Трактор! Не на закорках же тащить больного!

— У Николая Егоровича... Эко! Да ведь я же ему не указчик. Он району подчиняется. Станет ли меня слушать...

— Вы здесь представитель советской власти. Пойдемте вместе с нами, скажите как официальное лицо: именем советской власти требую спасти человека! Спасти!

— Эх, дорогие товарищи,— председатель скорбно покачал головой.— Ну, скажу, а он мне: в районе тоже, мол, советская власть, и покруппее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут, коль есть указание из райисполкома.— В нижней рубахе навыпуск, сквозь расстегнутый ворот видна костлявая, обтянутая серой кожей грудь, всклокоченная голова опущена: вся долговязая фигура председателя выражала сейчас покорную безнадежность.

— Ежели б лошадь... Я бы мигом сбегал...

— На кой черт нам лошадь! Это и сами достанем. Трактор нужен. Ты обязан помочь больному. Вот и доставай, не отвиливай.

— Вы ж взрослые люди. Не турецким языком объясняю: Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся. Только район указание ему дать может. Ежели б лошадь, это я разом... Над председателями колхозов и я начальство.

— Неужели здесь нет управы на Княжева? — в голосе лейтенанта зазвенело отчаянье.

— Вот если б Куманьков...

— Куманьков?.. Кто такой Куманьков?

— Да зональный секретарь райкома...

— Ах да, ведь и зональный секретарь есть... Сколько начальства кругом, а никого не раскачаешь! — Лейтенант оживился.— Где этот, как его... Куманьков?

— То-то и оно,— с прежним унынием произнес председатель сельсовета.— Кумапьков живет в Густом Бору, там у него дом свой, семья, а сюда ездит то на недельку, то дней на пять, ночует в соседней комнате, в кабинете моем. Там диванчик, так на этом диванчике и спит... Все на клопов жалуется...

Василий, подчинившийся энергии лейтенанта, молча переживал за его спиной, но сейчас он вдруг оттолкнул товарища, шагнул на председателя:

— Человека-то надо спасти или нет? — закричал он придушенным, стонущим голосом.— Вы все здесь бревна или люди? По-вашему, пусть сдыхает!

И этот стонущий голос, землистое от усталости, сведенное судорогой лицо, протянутые в темных ссадинах руки подействовали на председателя сельсовета больше, чем выкрики и угрозы лейтенанта. Без того покатые, узкие плечи опустились еще ниже, длинный, нескладный, с нечесаной головой, он как-то обмяк, на небритом лице, как в зеркале, отразилась точно такая же гримаса боли и отчаяния, какая была у Василия.

— Милые вы мои,— заговорил он проникновенно, крупной костлявой рукой пытаясь поймать пуговицу на распахнутом вороте рубахи.— Милые мои, да я бы разом в колхоз слетал... Сапоги натяну да плащ на плечи наброшу — минутное дело. Тут рядом председатель-то колхоза живет. И на лошади парня выручим. Ребят крепких подберем, где нужно — на руках понесем. Сам до Густого Бора провожу... А с Княжевым мне толковать — лишнюю муть разводить. Бог с ним. Мне через голову Николая Егоровича трактор не достать, не под силу... На лошади давайте...

У Василия ослабли ноги. Под сердцем у него что-то натягивалось, натягивалось и теперь лопнуло. Исчезло желание просить, умолять, доказывать.

— Пошли, лейтенант. Чего уж...— сказал он невнятно, словно поворочал языком камень во рту.

Но лейтенант обеими руками вцепился в плечи председателя, маленький, напряженно вытянувшийся, глядя снизу вверх бешеными глазами, стал трясти:

— Нет, ты не за лошадью пойдешь. Ты пойдешь вместе с нами к участковому милиционеру. Пусть он силой вырвет трактор у Княжева. Слышишь ты, хоть оружием, да спасет человека!

Председатель, покорно качая головой от лейтенантовых трясков, лишь устало обронил:

— Дураки вы, ребята...

Разбрызгивая лужи, оступаясь в грязь, они снова бросились бежать по ночному селу. А вслед им с крыльца сельсовета долго маячила белая рубаха председателя. Когда Василий обернулся,

что-то виноватое, тоскливое и в то же время укоряющее почудилось ему в этом смутно белеющем пятне. Лейтенант решил сам поднять на ноги участкового милиционера.

— Разве законно оставлять на смерть человека? Незаконно!.. Так будь другом, прикажи, раз ты блюститель законов. Под дулом пистолета прикажи, коли словом не прошибешь дубовую башку...— разговаривал он на бегу.— Который же это дом?.. Третий пробежали, четвертый... Вот этот, кажется... Стучи, не жалей кулаков... Ишь ведь, все спать поукладывались!

На стук четырех кулаков долго не было ответа. Наконец за дверью с грохотом что-то упало, послышалась сердитая ругань, вслед за ней сильный голос спросил:

— Кто шумит? Чего надо?

— Участковый здесь живет?.. Человек при смерти, спасайте!..

— Так.

Это «так» было похоже на смачный удар топора в мясистое дерево, в нем чувствовалось не удивление и не огорчение, а решительная готовность спасать, действовать. Щелкнула задвижка, распахнулась дверь, кто-то большой, неуклюжий шагнул в темноту, снова что-то уронил на пути, объявил:

— Обмундируюсь вмиг. Законный порядочек на себя наведу... А вы зайдите, что ли...

Пока, натыкаясь в темноте на кадушки, на грабли, влезая руками в развешанные по стене сети, лейтенант и Василий пробрались через сенцы, шагнули в освещенную комнату, участковый был уже облачен в свой милицейский китель и фуражку, нагнувшись, с налитой кровью могучей шеей, искал под лавкой сапоги.

— Куда их девала глупая баба?.. Дуся! Эй! Ты сапоги куда поставила?

— Да в сенцах сохнут. Вымыла. Изгваздал так, что в руки не возьмешь,— раздался из-за перегородки сонный женский голос.

— Встань-ко да принеси. А то у тебя в сенцах сам сатана вывеску своротит... Я вас слушаю, товарищи: что, где, какое происшествие — по порядочку.

В распахнутом кителе, в фуражке, лихо съехавшей на одно ухо, крепко поставив на половике босые ноги с болтающимися завязками галифе, сам рослый, красный, на зависть здоровый, участковый начальнически оглядел простоволосого, растерзанного лейтенанта, на Василия же не обратил внимания.

— Вот у него сорвалась под откос машина...— вновь принялся горячо объяснять лейтенант.

Сонная, недовольная, жидкие сухие волосы рассыпаны по плечам, не взглянув на незваных гостей, прошла через комнату жена участкового.

— ...Закон не может допустить, чтоб человек умер без врачебной помощи. Вы должны потребовать от Княжева трактор. Приказать ему...

— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта.— Объясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано. Ежели бы капитан Пичугин, начальник густоборовского отделения милиции, нарисовал распоряжение: так и так, товарищу Копылову, мне то есть, вменяется в обязанность конфисковать на энное количество времени трактор, я бы...

— Пошли, лейтенант,— сердито произнес Василий.

— Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными. Так!

— Пошли,— согласился лейтенант.

— Нет, обождите! Тут надо еще разобраться, раскрыть виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойненько, пункт за пунктом, нарисовать протокол...

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии... Протокол важен, а не человек... Пошли!

Растерзанный ли вид лейтенанта, его ли глухое бешенство или же просто отсутствие сапог на ногах участкового милиционера, но так или иначе тот не остановил ни лейтенанта, ни Василия, не стал их преследовать.

По-прежнему сырая ночь висела над селом. Как прежде, кое-где прокалывали тьму тепленькие огоньки, только заметно стало их меньше. Как прежде, на бугре светились фонари МТС. Василий и лейтенант топтались посреди грязной улицы: куда идти, кому пожаловаться — не придумаешь.

Вдруг словно какая-то громадная ладошка бесшумно накрыла село. Без того густая темнота стала вязкой до удушья. И фонари в МТС, и редкие желтенькие огоньки в окнах домов — все, все до единого разом потухли. За тридцать километров отсюда районная ГЭС в Густом Бору кончила свою работу до следующего вечера. Это значит, во всем селе, кроме фельдшерского пункта да, верно, еще телефонисток на почте, нет ни одного человека, который бы не лег спать. Кто-то мирно похрапывает, кто-то пускает в подушку сладкую слюну, кто-то, быть может, ворочается, перебирает озабоченно в уме: не скошен лужок за домом, свалилась изгородь...

Как можно?! Такой же, как все лежащие сейчас в теплых постелях, человек, быть может, не увидит завтрашнего дня! Нельзя допустить этого! Нельзя не помочь!.. А все спят...

Высоко над грязной улицей пробежал ветерок, шевельнул оторванным железным листом на крыше, смолк... Тишина и темень без просвета, без единой светленькой точки. Мертво кругом...

Василий и лейтенант, не сказав ни слова друг другу, сорвались с места и побежали.

Больной ждал, больной с минуты на минуту мог умереть. Надо спасти! Надо что-то сделать! И скорей, только скорей!

10

Фельдшерица сообщила, что хирург выехал навстречу в райисполкомовском «газике», но не ручается, что доберется до места, наказал — любыми средствами вывозить раненого навстречу.

Раненый лежал на скамье боком, поджав ноги, часто мигая, глядел в угол. Лицо его сильно осунулось, крупные скулы выдались вперед, обметанные губы были плотно сжаты. Он не стонал. Рядом с ним сидели жена лейтенанта и заготовитель, что-то утешающе рассказывавший:

— ...Шибко кричал, метался, память терял. А теперь Игнат Ануфриевич как новенький полтинничек, десятником на сплаве работает. Такие бревна ворочает — глядеть страшно.

Сообщение, что директор Княжев не дал трактора, не возмутило заготовителя. Он лишь повторил с безнадежной покорностью:

— Я его знаю. Уж он такой... Аккуратный мужик...

В сенях, собравшись возле покойно горящей на скамье лампы, снова стали вполголоса советоваться.

— Лучше бы уж ехал хирург на подводе, хоть медленно, но верно,— произнес Василий.— А так — застрянет. В райисполкоме шофером Пашка Кривцов, десять лет в городе по асфальту гонял, привык, чтоб дорожка для него была, как скатерка. Не зря же Зундышев на верховой лошади по колхозам скачет.

— Что об этом говорить,— вздохнула фельдшерица.— Уже выехали, не позвонишь теперь, не посоветуешь... Может, еще раз попробовать уговорить Княжева.

— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокурору! — вскипел лейтенант.

— Мертвое дело. Не прошибешь. Давайте думать, как самим вывезти.

— Что думать? — Фельдшерица безнадежно уставилась на язычок лампы.— На машине нельзя... Да и за машиной-то к тому

же Княжеву иди кланяйся. Один выход: попробуем на лошади. Боюсь я этого — растрясет. Мука мученическая для человека.

Решили везти больного на подводе.

Сонный, суровым баском покашливающий дядя Данила (как его называла фельдшерица), без шапки, в пальто, из-под которого выглядывали белые подштанники, тонущие в голенищах резиновых сапог, вывел брюхастую лошаденку, запряг в телегу. Набросали сена, укрыли сено холстинным половичком. Фельдшерица принесла из своей комнаты две подушки. С помощью дяди Данилы вынесли на брезенте парня. Когда укладывали, больной стонал, скрежетал зубами.

— Потерпи, дорогой, будь умницей. Потерпи,— уговаривала его фельдшерица, укрывая одеялом.— Вот видишь, славно тебя пристроили. Тепло будет.

— Одеться мне, Константиновна? Помочь везти-то? — спросил дядя Данила.

— Не надо. Иди спать. Со мной вон шофер поедет. Да и лейтенант с женой собираются проводить,— ответила девушка.

Заготовитель, вновь облаченный в свой обширный, стоящий коробом плащ, прощался.

— Ты, парень, не бойся. В случае чего, судить будут, мы за тебя слово скажем,— утешал он Василия.— А вы, гражданин военный, как свои вещички отыщете, возвращайтесь сюда и стучитесь, по этому порядку пятый дом. Там у меня сноха живет. Переночуете. Ну, счастливо вам довезти человека. Счастливо...

Василий взял в руки вожжи. Жена лейтенанта и фельдшерица с минуту поспорили, кому ехать в ногах у больного, уступали друг другу это право. Тронулись... При первом же толчке парень застонал.

Кое-как дотянули только до маленькой деревеньки Башьяновки, лежащей на дороге в четырех километрах от села. Василий обессилел от криков раненого. Парень умолял хриплым голосом:

— Остановитесь! Все одно мне помирать!.. Остановитесь!.. Прошу!.. Умру, так в покое! Ой, мочи нет! Ой, стойте же!

В Башьяновке привернули к первому же дому. Василий утер рукавом лицо:

— Сил нет больше слушать.

Женщины, всю дорогу утешавшие, теперь подавленно молчали. Лейтенант подошел к жене:

— Наташа, жди меня здесь. Я пойду.

— Куда?

— Обратно в село. Я этого подлеца вытащу! Я вырву у него трактор. Если не даст, в каждый дом стучать буду. Весь народ на ноги подниму. Бунт устрою! Вырву трактор!

Он бросился в темноту.

— Я с ним пойду,— рванулся Василий.

— Нет-нет, случись что — мы одни,— остановила фельдшерица.— Он добьется...— Помолчав, спросила жену лейтенанта.— Давно вы замужем?

— Третьего дня расписались.

— Счастливая...

Жена лейтенанта промолчала. Василий не увидел, но почувствовал, как она боязливо покосилась на него — не возразит ли. А Василию почему-то припомнилась Груня Быстряк, библиотекарша в селе Заустьянском: крупное белое лицо, брови чуть-чуть намечены, если глядеть сбоку, золотятся, только коротенькие ресницы темные. Другие ребята говорят: ничего особенного, а ему нравится. Умная... И то, у реки жить да не знать, как плавать,— среди книг сидит. От этого воспоминания тоска сжала сердце: арестуют, судить будут. И так-то он ей не пара: шофер, семилетку не кончил, одна наука — крути баранку. Теперь и вовсе отвернется — какой девке охота ждать осужденного. Мечтал тайком о жене, о своем доме, надеялся, жил, как умел, и вот сегодня все к черту, жизнь колесом, перекалечило ее. Не смей мечтать, не смей надеяться. Тяжело и жутко заглядывать в завтрашний день.

Девушка-фельдшерица, привалившись грудью к грядке телеги, говорила задумчиво:

— Да, счастливая... Все девчата знакомые скрывают, что им замуж охота. А зачем скрывать? Найти хорошего человека и прожить с ним спокойно, без ссор, умно — это разве не счастье? А кто от счастья отказывается?

— Вы не замужем? — спросила жена лейтенанта.

— Нет.

— Значит, найдете человека.

— Где мне! Я некрасивая, я конопатая и скучная, наверное. Присватывается ко мне тракторист Пашка Мигушин, так это находка небольшая: слова без чего-нибудь пакостного не скажет, да и выпивает частенько. Как заявится, гопю от себя... Ой, да вы устали, еле на ногах стоите! Пойдемте в избу, я провожу. Идемте, идемте, что зря торчать в этой сырости.

Женщины ушли. Василий остался один.

Только сейчас он заметил, что погода разгуливается: упрямо дует ровный, напористый ветерок — от него холодно во влажной одежде; тучи на небе прорвались, сквозь прорывы видны крупные, водянисто расплывшиеся звезды. На окраине деревеньки — глухая тишина, ни скрипа, ни шороха, только, когда с напряжением вслушиваешься, со всех сторон доносятся непонятные звуки — тяжелые ли капли падают с крыш, лопаются ли пузыри на лужах,

Сергей Антонов «Тетя Луша»
Художник И. Пчелко.

располагается ли земля от обилия воды... Василий, закинув голову, смотрел на звезды, слушал эти звуки всеобъемлющей сырости и думал о чем-то большом, неясном, о таком, которое никак бы не смог рассказать словами.

Много пассажиров перевез Василий на своей машине от Густого Бора до станции и обратно. Для чего он их возил? Чтобы вышибить деньгу. Считал — так и должно быть. Сейчас хотелось сделать что-то большое, чем-то хорошим удивить людей. Что сделать? Как удивить? Он не знал. Было лишь желание — непонятное, незнакомое, тревожащее.

— Друг...— слабо позвал раненый, и Василий вздрогнул.— Должно, каюк мне.

— Ты брось дурить. Вот сейчас трактор придет. Лейтенант побежал доставать. Парень пробивной — достанет.

— Нутро разрывает...

— А ты лежи, не шевелись... Думай о чем-нибудь. Старайся забыть о болезни, думай, легче переносить-то... Эх, как это ты не сумел? Старухи выскочили, а ты сплоховал.

— Там борт был проволокой прикручен... Голенищем зацепил... Замешкался...

— За проволоку? Эх!

Разговаривал с Княжевым, помогал запрягать лошадь, вез по разбитой дороге кричащего раненого — все это время ни на минуту не покидало Василия лихорадочное беспокойство: скорей, только скорей! Оставшись один, глядя на размытые звезды, на расплывшиеся в ночной тьме деревья, он забылся, успокоился... Сейчас же, наклонившись над парнем, всматриваясь в темное лицо на белой подушке, улавливая сухой, болезненный блеск его глаз, Василий почувствовал, как с новой силой заметалась в тревоге изболевшаяся душа: «Ждем! Стоим! Время идет!.. Где же трактор? Эх, этот Княжев! Будь он проклят!»

Лошадь, дремавшая в оглоблях, потянулась вперед, лениво захрупала сеном. Тихо кругом, спят люди. Нет другого выхода, как только ждать, ждать, ждать! А ждать тяжело! Ждать невыносимо!

Где-то по знакомой Василию дороге едет теперь человек, он могущественный, он сильный, он один, только он может помочь этому парню. Вместе с болью за свою беспомощность появилась благоговейная зависть к тому неизвестному, наделенному дерзким умом человеку. Он может отогнать смерть! Вот бы стать таким, жизни бы своей не жалел, покоя не знал, ходил бы от больного к больному, приносил здоровье. Недоступное, великое счастье! Из дому вышла фельдшерица, приблизилась к телеге, спросила, пригибаясь:

— Как наш больной?

— Мучается.

— Трактора что-то долго нет.

Василий застыл на секунду, с напряжением вслушался — а вдруг да как раз в эту минуту донесется стук мотора. Но лишь лошадь шелестела сеном да воздух был заполнен таинственными звуками залитой дождями земли. Василий ответил:

— Будет трактор.

— Конечно, будет.

От девушки, побывшей в избе, шел какой-то теплый, чуть кисловатый домашний запах. Платок ее сбился на затылок, открыл густые волосы, черты лица расплылись в темноте. Она, невысокая, чем-то уютная, успокаивающая, и своим видом, и ровным голосом стала близка Василию: желания у них одни, боль одинаковая, понимают друг друга с полуслова, даже удивительно, что всего каких-нибудь четыре часа назад они не были знакомы.

— Вы много спасли больных?

Девушка подумала и ответила:

— Да ни одного.

— Как это? — тайком обиделся Василий.

— Ко мне все с пустяками приходят: гриппом заболеют или же бабка Казачиха с ревматизмом своим заглянет. Выпишешь рецепт на порошки, на бутылку скипидара — какая уж тут спасительница.

— Ну, а хирург?..

— Виктор-то Иванович? Он многих спас. Знаете такого Леснякова Федора Ефимовича? На ссыпном пункте работает. Умирал от язвы желудка... Что это?..— Девушка замолчала, прислушалась.

Но все было по-прежнему, лишь от слабого ветерка тронулись шелестом деревья и стихли.

Тянулось время. На небе стали отчетливо заметны рваные облака, на грязной дороге можно было различить рваные вмятины, комковатые выступы, а на стенах избы — каждое бревно: светлело...

Василий первый уловил еле слышный стук мотора.

Подошел трактор, и сразу стало шумно на окраине маленькой спящей деревеньки. Сильный свет фар уходил в глубину пустынной улицы, стучал бодро и решительно мотор. С тяжелых и широких, как железнодорожная платформа, саней соскочили два человека — лейтенант и какой-то незнакомый, узкоплечий, гибкий, чернявый, в коротеньком городском плаще.

— Наделали шуму! Я, брат, разузнал, где секретарь парторганизации живет. Я всех эмтээсовских коммунистов поднял. То-то

Княжев будет чесаться! Раньше бы нам побегать,— лейтенант говорил возбужденно, не без хвастовства. Он потащил Василия к чернявому.— Спасибо ему скажи. Иван Афанасьевич мне помог...

Но Иван Афанасьевич подошел к телеге, заглянул к больному:

— Жив?.. Э-э, да что это он? Бормочет что-то...

Фельдшерица подошла, пригнулась, сообщила:

— Бредить начал. Надо ехать скорей.

С трактора слез знакомый уже Василию рыжеусый бригадир, закуривая, обронил:

— Хорошо, что жив еще. А то пока с Княжевым кашу сваришь...

— Где Наташа? — спросил лейтенант, оглядываясь.

— В избе она. Спит. Устала.

— Вы поезжайте. Я подожду здесь, пока она не проснется. Лошадь-то оставьте, мы чемоданы свои привезем в село. Старушку эту с корзиной встретил, в деревню, говорит, чемоданы снесли. Как ее, Ольховка, что ли?..

Василий хотел проститься с лейтенантом, поблагодарить его, но тот поспешил к избе. Так и исчез этот человек, даже не бросив обычное «до свидания».

Выгребли из-под больного сено, разостлали на платформе саней. Больной не очнулся, бормотал в бреду:

— Ребята, заходи с мережей... Под берег, под берег заводи...

Василий и девушка уселись в ногах у больного. Чернявый Иван Афанасьевич сделал последние наставления рыжеусому:

— Никита, как довезешь, не задерживайся там. Сразу обратно. Слышь? И осторожно, смотри, не бревна везешь. Трогай... Ну, ребята, счастливого вам пути!

Трактор осторожно сдвинул сани. Они, громоздкие, тяжелые, мягко заскользили бревенчатыми полозьями по податливой, как масло, дорожной грязи.

11

Чем больше светлело, тем становилось понятней, что на землю навалился густой туман. Сначала этот туман казался серым, каким-то немытым.

Трактор уперся радиатором в глухую мутную стену, казалось, стоял, не подвигаясь вперед, и только гусеницы его сосредоточенно пережевывали грязную дорогу.

Скоро мертвенная мгла стала оживать. Медленно, робко сбоку от дороги начал просачиваться пятнами тусклый лиловый свет.

Он ширился, расплывался, смывал бесцветную муть. И вот торжественный, сияющий океан окружил трясущийся от напряжения трактор и неуклюжие сани. Где-то, невидимое, взошло солнце, жидким светом растворилось в тумане.

Земля, в течение многих дней прозябавшая в дождях и слякоти, с облегчением освобождалась от влаги. С восходом солнца туман, казалось, стал еще плотней.

Трактор трудился. Сани скользили, лишь кое-где мягко оседая то на один, то на другой бок. Дорога, вчера хитрый, опасный враг, дорога, изматывающая силы, теперь покорилась. Ни капризных колдобин, ни коварных ловушек. Гусеницы трактора с равнодушной методичностью заведенной машины кромсали эту смирившуюся дорогу, направляли ее под тяжелые бревенчатые полозья, те утюжили, приглаживали...

А Василий казнился. Он не мог глядеть на облепленные крутой грязью гусеницы, ему казалось, что трактор еле-еле ползет, что рыжеусый бригадир, сидящий за рычагами, преступно осторожничает. Пытка сидеть над больным и видеть ленивое движение гусениц! Василий не выдержал, соскочил с саней, догнал трактор, крикнул:

— Ты, дорогой, поднажал бы! А то ползем, как вошь по бороде.

— Раньше надо было спешить. Не докричал на Княжева, так теперь молчи,— сердито огрызнулся бригадир.— Это тебе не «скорая помощь».

Трактор не пошел быстрее, гусеницы с прежней медлительностью пережевывали грязь. Василий старался не глядеть на них.

Раненый с минуты на минуту чувствовал себя все хуже. Он метался, дико вскрикивал, и эти вскрики, едва отлетев от саней, как в вате, глохли в тумане. Фельдшерица попросила на минутку остановить трактор, суетливо порывшись в чемоданчике, достала несколько флакончиков и шприц, с помощью робеющего от своей неуклюжести Василия сделала укол.

Больной на время успокоился. Он лежал на боку, подтянув к животу колени, закрыв глаза. На скулах двумя круглыми пятнами пунцовел румянец.

Василий и фельдшерица сидели рядышком, не говорили ни о чем, лишь изредка обменивались взглядами, вместе устало вздыхали. Теперь, с рассветом, девушка казалась Василию новой, не такой знакомой. Темные, с рыжим отливом волосы упрямой волной выбились из-под платка, расплывчатые, бесхитростные черты лица и широкий, мягкий нос нельзя представить без густых веснушек. Некоторые из веснушек, казалось, даже попали на губы,

по-детски вытянутые вперед, яркие. В платке, в мужском плаще с подвернутыми вверх клетчатой подкладкой рукавами, она, нахохленная, задумчивая, бледная от усталости, покачивалась на мягких толчках. Василий же испытывал к ней благодарность за то, что она беспокоится о больном, за то, что она больше него понимает в болезни, просто за то, что сидит рядом.

Раненый пошевелился, застонал, откинув в сторону руку. Она упала на разостланный на грязных досках половичок — широкая, костистая, в узловатых суставах, похудевшая, какая-то старческая. На лбу под всклокоченным сухим, соломенным чубом снова обильно выступил пот.

— Плохо наше дело,— произнесла девушка.— Даже укол не помог... Не довезем.

Василий глядел на больного и думал о том, что этот совсем незнакомый парень дорог ему сейчас, как брат, даже больше брата. Он самый близкий человек. Какая бы удача ни случилась — пусть простили бы разбитую машину, не передали бы в суд, оставили на прежней работе,— все равно не будет радости, если умрет этот парень. Не должен он умереть! Не должен! Если б Княжев сразу дал трактор, давно были бы в Густом Бору, парень лежал бы на операционном столе... Будь проклят этот Княжев, взваливший на него, Василия, нескончаемую, страшную пытку!

Раненый вдруг резко вытянулся, оскалился, с силой втиснув в подушки голову, изогнулся, вцепился руками в живот.

— Милый! Милый! Да что с тобой?.. Ляг спокойно, ляг...— засуетилась испуганно девушка.

Василий с отчаянной беспомощностью зашевелился.

— О-о-о! — выдохнул больной и обмяк.

Лицо его, посиневшее во время порыва, стало медленно заливаться зеленоватой бледностью. Сведенные на животе руки ослабли, стали сползать, пока не уперлись локтями в подстилку. Голова свалилась набок, из-под белесых ресниц водянистым голубым прищуром уставились мимо Василия глаза.

Фельдшерица, сама мертвенно-бледная, нервно заворачивая сползавший рукав плаща, схватила вялую, податливую руку парня, стала нащупывать пульс. В эти минуты ее веснушчатое лицо, направленное куда-то в затянутое туманом пространство, было решительным, строгим, почти красивым. Василий затаил дыхание, ждал...

Трактор, однообразно стуча мотором, вертел густо облепленными грязью гусеницами. Железный трос от трактора к саням мелко дрожал от напряжения. Мимо призрачными тенями ползли закрытые туманом кусты и деревья.

Девушка бережно опустила руку больного.

— Как? — тихо спросил Василий.

— Плохо дело. Не довезем.

Больше больной не стонал. Ему уложили голову на подушку, подоткнули с боков сено. Неподвижный, с выставленным вверх квадратным подбородком, он глядел в обложивший землю туман загадочно прищуренными глазами. Он пока дышал...

В туманном море, залившем землю, исчезло всякое понятие о расстоянии и о времени. Даже километровые столбы проходили мимо, где-то стороной, не останавливая внимания.

Василий потом не мог вспомнить — долго ли они так ехали. Его внимание привлекла рука парня, вцепившаяся в половичок. В скрюченных пальцах, сжавших толстый, потертый холст, было что-то каменное, суставы на пальцах побелели, на коже с тыльной стороны ощущалась неживая восковая желтизна.

Василий тронул фельдшерицу за плечо, указал глазами на руку. Она подсела к раненому, положила на грудь голову, на минутку застыла, словно задремала на груди парня, разогнулась, оттянула ему веки, тихо, тихо сообщила:

— Все.

Остановили трактор. К саням подошел рыжеусый бригадир, мельком покосился на умершего, осторожно поправил ему откинувшийся борт пиджака, произнес:

— Так... Не довезли...

Василий стоял у саней, тупо разглядывал парня. У того под сухим чубом, на окостеневшем лбу еще видны были капельки пота, как роса на камне. Фельдшерица сидела на своем обычном месте, беспомощно сложив на коленях руки, вскидывая и сразу же опуская жалостливые, горестные глаза.

— Что теперь делать? Везти-то к хирургу вроде уж незачем? — спросил бригадир.

— На вскрытие надо... Поехали...— слабо произнесла девушка.

Бригадир послушно направился к трактору.

Туман медленно рассеивался. Из него выползли кусты, уселись на обочине дороги. Солнце висело красноватым кругом. На лице и руках чувствовалось тепло его лучей. Неожиданно трактор снова остановился. Впереди показалась высокая фигура, осторожно ступая по скользкой грязи, стала приближаться.

— Виктор Иванович! — слабо воскликнула фельдшерица.— Пешком идет...

В шляпе, сбитой на затылок, с маленьким чемоданчиком, в засученных брюках,— на палке, переброшенной через плечо, болтаются туфли,— оскальзываясь босыми ногами, подошел хирург, снял шляпу, вытер платком лоб, лысеющую голову.

— Опоздал? — спросил он, кидая взгляд на тело, лежащее посреди сапей.— Долго же вы... У меня машина застряла сразу же за городом. Пешком-то быстро не прискачешь. Дайте-ка руку, молодой человек. Так!..

С помощью Василия хирург влез на сапи. В шляпе, узколицый, с костистыми скулами, умной, ехидной складкой тонкого рта, этот высокий, нескладный интеллигентный человек выглядел сейчас странно со своими босыми ногами, до белых немощных икр заляпанными грязью.

Сдвинув на затылок шляпу, он приподнял на животе умершего рубашку, внимательно оглядел, ощупал рукой. А парень, задрав вверх упрямый подбородок, казалось, сосредоточенно прислушивается к тому, что делает с ним доктор.

— Камфару впрыскивали? Сколько? — бросал отрывистые вопросы девушке.

Наконец он сел, махнул рукой трактористу: поезжай.

Трактор снова начал свою несложную работу — бесконечной грязной лентой потекли вверх гусеницы, задрожал трос...

— Доктор, хрипло обратился Василий,— если бы раньше привезти, вы бы спасли его?

— Возможно,— ответил тот.— Вполне возможно. Что-то медленно вы, друзья, собирались. Преступно медленно! Надо было не забывать, что на вашей совести лежала человеческая жизнь. Э-э, да что с вами, молодой человек? Это еще что за фокусы?..

Судорога прошла по лицу Василия. И угрызения совести, и жалость, и бессонная ночь, нервное напряжение, и усталость — все вместе лишило сил. По обветренным щекам потекли слезы, редкие, крупные, мучительные — слезы человека, не привыкшего плакать.

— Боже мой, да что это вы? Успокойтесь... Вам прилечь надо.— Девушка забрала грубую руку Василия в свои мягкие, теплые ладони, сама глядела блестящими от сдерживаемых слез глазами.— Он измучился, Виктор Иванович. Все бегал, хлопотал. Тут на такое наткнулись... И она, переводя взгляд то на Василия, то на хирурга, принялась торопливо, нескладно рассказывать о том, как Княжев отказал дать трактор. Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчав, и повторил: — До убийцы выросший бюрократ! — Повернувшись к Василию, указывая глазами на мертвого, спросил: — Ваш знакомый?

— Нет.

Василий вытер рукавом куртки глаза и отвернулся, подавив тяжелый вздох.

Туман исчезал. Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом, радостно топорщились зеленой листвой. В них пересвистывались птицы. Ласточки, должно быть, брачная пара, словно родившись из мутновато-голубого неба, появились над головами, сверкнули белыми грудками и умчались, растаяли, оставив о себе лишь воспоминание — два крошечных, упругих комочка, воплощение силы, ловкости, бодрости...

Трактор добросовестно тянул широкие сани по густо замешанной грязи, по лужам.

1956

ТЕТЯ ЛУША

Наташе

После долгого отсутствия в колхоз воротились Гавриловы. Приехали они всей семьей: сам Гаврилов, жена, две дочери и неженатый сын Саша. В первый же вечер Саша Гаврилов прогуливался вдоль деревни дачником: в пиджаке, без галстука, в штиблетах на босу ногу, и любопытные женщины украдкой разглядывали его из-за занавесок.

На другой день девчата устроили вечеринку в избе веселой разведенки Катерины Валаховой. Народа набилось много. Ребятишки Катерины путались под ногами. Она кричала на них и называла их «самоделки». Погулять она любила и, немного выпив, всегда пела песенку о том, что если станет тоскливо, то надо пойти в лес, стукнуть веточкой о пенек, и выйдет славный паренек. Девчата смеялись, но в веселье Катерины было что-то горькое, отчаянное.

На вечеринку пришел Саша — снова без галстука и в штиблетах на босу ногу. Только на пиджак приколол значок Сельскохозяйственной выставки, чтобы все видели, что он побывал в Москве.

Зашла и Лукерья Ивановна, председатель колхоза, ладная, стройная женщина со смелым взглядом умных, темно-карих, как крепкий чай, глаз. Ходила она в ватной теплушке, надетой по-мужски небрежно, с расстегнутым воротом и в кирзовых сапогах с железными подковками. Она умела водить машины, тракторы, класть печи, рубить в лапу углы и играть на гармошке. К концу войны ей было двадцать лет. Мужчин в то время в деревне не осталось, и Лушу выбрали председателем. С тех пор она десять лет вела колхозное хозяйство.

К Валаховой Луша ходить не любила и зашла для дела: поглядеть, что за новый работник приехал в деревню.

Сашу она помнила школьником, тогда он был тихий, застенчивый. А теперь задается, делает вид, что ему скучно, разговаривает через силу. Только Катерина сумела расшевелить его своими вольными разговорами.

И когда начались танцы, Саша выбрал Катерину.

Луше стало обидно за девчат, особенно за Настеньку. Настеньке Саша определенно нравился. Она весь день готовилась к вечеру, бегала по избам, брала под залог пластинки, принесла патефон, надела длинное платье с бантиком. Она стояла, вся, как натянутая струна, тугая и крепкая, с замиранием сердца ожидая, когда Саша заметит ее и увидит, какая она. Но Саша танцевал с Катериной, а Настеньке оставалось только менять пластинки. Иногда он подходил, чтобы сказать, какой танец ставить, но от этих слов Настенька вспыхивала ярким румянцем.

«Этакая лампочка»,— ласково подумала Луша. И, выбрав минуту, попрекнула Катерину:

— Что ты на нем повисла? Дай другим потанцевать.

Катерина поняла ее слова по-своему, отошла к Саше, пошепталась с ним, и, когда заиграли краковяк, он пригласил Лушу. Пришлось идти.

Саша плясал неумело, но лихо. Уверенный, что ему все простится, он вел себя развязно, бесцеремонно, а женщины понимали, что сами виноваты в этом, и не порицали его.

— Ты с Катериной не очень,— сказала ему Луша.— Гляди, шофера ноги переломают.

— А что мне Катерина,— отвечал Саша.— Что я, не видал таких, что ли...

«Теленок еще»,— подумала Луша. Но танцевать ей нравилось. Саша крепко держал ее, и она не противилась. Она совсем забыла о Настеньке и танцевала один танец за другим. У нее кружилась голова, она чувствовала спиной беспокойную мужскую руку, и ей казалось, что между ними идет какой-то молчаливый заговор, и была рада этому и не рада.

Но когда вечер кончился и Саша предложил проводить ее, она отказалась наотрез. Она пошла одна, недовольная собой, стыдясь себя и своего поведения.

Стояла ясная ночь. Месяц светил в полную силу. Тихое небо, скромно мерцающее звездами, и неподвижные рябины с черной листвой и еще более черными гроздьями ягод, и белые, словно меловые, тропки, пересеченные прозрачными, нежными лунными тенями, и полосатый туман вдали, за овинами,— все было спокойно, бесстрастно, словно ничего не случилось.

И, шагая домой по уснувшей деревне, Луша думала, что утро вечера мудреней, что завтра все забудется и жизнь потечет по-прежнему. И постепенно успокаивалась.

Деревня стояла на столбовом шоссе. Машины ходили часто, давили кур. Вечерами проезжие шоферы бродили по избам — просились переночевать. Некоторые, кто посмелей, иногда увязывались и за Лушей, когда она, вот так же, как сейчас, шагала по шоссе широким, солдатским шагом, плотно засунув руки в карманы теплушки: набивались на ночевку.

— Дома небось жена дожидается, а ты — ночевать...— обыкновенно отвечала Луша спокойно-дружелюбным тоном, и почему-то именно этот тон лишал смельчаков всякой надежды.

Луше не пришлось выйти замуж. Жила она в своей избе одна.

На полпути Луша увидела Настеньку.

Настенька шла другой, неудобной стороной деревни, бесшумно, быстро, чтобы никто не заметил, и несла патефон и чемодан с пластинками.

«Эх, ярочка-доярочка,— подумала Луша,— так и не поплясала ни разу».

Она догнала девушку, взялась за чемодан.

— Давай донесу.

— Да ладно, тетя Луша. Я сама.

— Давай.

— Да ладно. Уже близко.

Луша понимала, что Настенька сердится на нее, но все-таки отобрала чемодан и донесла до ворот.

А потом вернулась домой, в свою пустую, не прибранную с утра избу, легла и стала думать. По шоссе изредка пробегали машины, и тогда в избе дребезжали стекла, тихонько, словно кто-то придерживал их ладонью, и серебристый след освещенных фарами окон медленно проползал по стене наискосок сверху вниз и угасал на полу. Луша думала, как это так: машина идет по ровной дороге, а след ползет сверху вниз. Так и заснула, не понимая, почему это.

Дня через два Саша поругался с проезжими шоферами. Луша первая увидела из окна — назревает драка. Она выбежала на улицу и схватила Сашу за руку. Он был выпивши.

Пьяная ругань и грубости не пугали Лушу. При ней часто ругались кто как умел, и она не обращала на это внимания. Но Саша не стал ругаться. Он притих, смутился и послушно

пошел в избу. И Луша подумала, что из него может получиться хороший мужик, если он попадет в настоящие женские руки.

— Вот что, Саша,— сказала она.— Давай-ка определяйся. Хватит болтаться без дела.

— Мне положен месяц отпуска. Могу погулять.

— На гулянку, значит, приехал?

— От семьи не хотел отламываться, вот и приехал. Что я, в городе не заработал бы, что ли? Я, если хочешь знать, вдвое против тебя заработаю.

Он сидел, развалясь на стуле, и Луше было жалко его.

— Чаю хочешь? — спросила она.

— Что я, не видал чаю, что ли?

Потом он пил чай, а она смотрела на его русый вихор, торчащий на затылке. И вдруг ей до того захотелось пригладить этот вихор, что она испугалась и сказала быстро:

— Ну, допивай да ступай себе.

После этого он заходил еще раза два-три, уже трезвый, но так же долго пил чай и хвастался.

В деревне говорили: привораживает Луша парня. Считали годы — ему двадцать второй, ей — тридцатый. Сомнительно покачивали головами. А старик Гаврилов, видимо, на правах будущего свекра, перестал выходить на работу.

«Сама виновата,— грустно думала Луша.— Надо отваживать его».

И вскоре для этого представился случай.

Неожиданно приехал вновь назначенный главный инженер МТС с семьей. Квартиру подготовить еще не успели, и Луша предложила свою избу.

— Я домой только ночевать хожу,— сказала она.— Хозяйствуйте.

Инженер и жена его были люди пожилые, а сынок у них был четырехлетний — Светик.

В первый же вечер, придя домой, Луша не узнала своей горницы. Все переставлено, перепутано, стол застлан чужой скатертью, чужие вещи стояли на комоде.

Пришлось привыкать жить в собственном доме. Пришлось думать, где переодеваться, куда прятать от мужских глаз кое-какую одежду. Но эти неудобства не были неприятны Луше. Хоть ненадолго, а в доме появился хозяин.

Жене инженера было трудно. Она никогда не жила в деревне и боялась коров.

Кое-как приготовив обед, она садилась у окна и говорила устало:

— Хоть бы Филипп скорей приходил.

Когда приходил муж, она паливала ему суп, а сама садилась напротив и молча смотрела, как он ел. И Луша вспоминала, что совершенно так же смотрела на Сашу, когда он пил чай.

После обеда супруги разговаривали. Муж обычно был чем-нибудь недоволен и капризничал по пустякам.

Чтобы не мешать, Луша уходила к себе за перегородку, и ей казалось, что не у пее живут люди, а она снимает у них угол.

Саша заходить перестал, Луша видела его редко. Говорили, что он пытается ухаживать за Настенькой, но та не хочет встречаться с ним якобы потому, что боится Лушу. Впрочем, Луша обращала мало внимания на такие разговоры. Незаметно она втянулась в чужую семейную жизнь, заразилась чужими заботами, подружилась со Светиком и каждое утро приглаживала его жесткий вихор на затылке. Она любила стирать его одежду — маленькие штанишки, маленькие чулочки с петельками, маленькие лифчики — и обижалась, если мать стирала сама.

А когда у Светика заболел живот, обе женщины сбились с ног.

Мать чаще прежнего смотрела в окно и говорила:

— Хоть бы Филипп скорей приходил.

И Луша вторила:

— Хотя бы Филипп Васильевич скорей приходил.

Вечером на эмтээсовском «газике» приезжал инженер, и хотя от него решительно никакой помощи не было, в избе становилось спокойней.

Недели через две на усадьбе МТС приготовили квартиру, и инженер уехал.

Луша пришла в опустевшую избу, вымыла блюдце, которое стояло вместо пепельницы, села на стул и заплакала громко, навзрыд, так что было слышно на улице.

Утром, проходя мимо риги, она увидела пухлого соседского мальчонку.

Сама не понимая, что с ней, она бросилась к нему и стала целовать до боли. Он заорал благим матом, вырвался и убежал.

Придя в себя, Луша испуганно оглянулась. Вокруг никого не было. Тогда она подумала, что мальчишка может рассказать родителям, и испугалась еще больше.

Днем в контору пришла мать пухлого мальчонки.

— Что же это! — закричала она.— Моего мужика в эмтээс не отпускаешь, а другие идут?!

У Луши отлегло от сердца.

— Кто идет? — спросила она.

— Да ты что, не знаешь? Сашка Гаврилов наниматься собрался.

На другой день Луша вызвала Сашу в правление.

— Ты что, в эмтээс хочешь подаваться? — спросила она.

— Еще не обдумал. Погляжу.

— Значит, так у тебя: только на родину вернулся — и снова бежать? Не пустим. Мужчины нам самим нужны,— и Луша внезапно покраснела. С ней этого давно не бывало, она удивилась и покраснела еще больше.

Саша внимательно смотрел на нее.

— Пиши заявление,— продолжала Луша, сторонясь его взгляда.— В колхоз примем. Строительной бригадой будешь заправлять.

— А что делать?

— Дел хватит. Вон скотный двор в Поповке весь в дырьях.

— Надо поглядеть, что за скотный двор.

— Была бы охота. Пойдем хоть сейчас, покажу.

— А может, вечером?

— Давай вечером. А то и мне недосуг: в Вознесенское надо, молотилку принимать... А когда вечером? — спросила Луша и снова покраснела.

— Часов эдак в семь.

— Давай в семь,— быстро согласилась она, со смятением чувствуя, что деловой разговор, помимо ее воли, превращается в назначение свидания.

— К тебе приходить? — спросил Саша.

— Зачем ко мне? — Луша строго сдвинула брови.— Я буду здесь, в правлении.

— Как хочешь,— согласился Саша.

— А то давай так: выходи на развилок и жди. Я пойду из Вознесенского прямо в Поповку. На развилке и встретимся. Чего мне попусту сюда заходить.

— Что за развилка?

— Не знаешь, что ли? Где лес горел.

— Ладно. На развилке так на развилке,— сказал Саша и, уходя, добавил: — Только без опоздания. В семь так в семь.

У Луши пылали щеки. Нагнувшись над бумагами, она посмотрела по сторонам, стараясь угадать, не понял ли кто-нибудь скрытого смысла ее разговора. Старый бухгалтер сосредоточенно заполнял ведомость, а девушка-делопроизводитель, повернувшись к окну, наливала чернила из бутылки в чернильницу, и лица ее не было видно.

— Если будут звонить, я в Вознесенском,— сказала Луша и вышла.

И когда она проходила мимо окна, ей показалось, что девушка смеется.

До Вознесенского было около пяти километров. Луша шла лесной дорогой. Высоко в небе висело маленькое солнце. Белые березки-сестренки росли парами, из одного корня, и в их чистой зелени, как ранняя проседь, мелькали твердые желтые листочки. Луша дошла до развилки, той самой, где через четыре часа была назначена встреча с Сашей. Здесь дорога раздваивалась: налево — на Поповку, направо — на Вознесенское. Кругом виднелись черные пни, обгорелые стволы берез и осинок. И только островки молодого подлеска оживляли это глухое, скучное место. «Что здесь случится через четыре часа? — подумала Луша, и сердце ее сжалось.— Может, не приходить? Может, лучше оставаться по-прежнему — без радости, зато и без горя? А приду, не совладаю с собой... Вот и гляди сама, как лучше».

Лес кончился. Открылось широкое поле, свежая стерня, приземистые суслоны ржи, тучи воробьев над ними. На стерне, как на ладошке, стали видны все огрехи сеяльщиков, а воробьи лучше агрономов предупреждали, что зерно осыпается, давно пора молотить. В другое время Луша обязательно заметила бы это и встревожилась, но сейчас шла, ничего не видя, и твердила про себя: «Вот и смотри сама, что лучше».

Жниво кончилось, началось клеверище, потом снова стерня: показались крыши Вознесенского, а Луша так и не решила, что лучше.

Издали она заметила, что молотилки еще нет.

— Да что они, очумели? — сказала она вслух и прибавила шагу.

Колхозники, наряженные для молотьбы, сидели. Делать было нечего: место для молотилки подготовлено, четырехугольная площадка очищена от дерна, весы привезены.

— Если Настька этак будет привередничать,— слышался пронзительный голос Катерины,— так в девках и останется.

— Надо приглядеться,— возражал кто-то.— Вон Василиса выскочила замуж, а что за мужик? Седой, как луна, светит, а не греет.

— Какой ни на есть, а все-таки муж. Дешевле мужниного хлеба не найдешь.

Шел обычный женский разговор. Обсуждали, стоит ли выходить Настеньке за Сашу, обсуждали горячо, будто это от них только зависело.

Другой на месте Луши сорвал бы досаду на первом попавшемся: «Хлеб-то чей — ваш или не ваш? Ночью дождь хлынет — все пропадет! Пришли бы сказали, что молотилки нет, чем языками трепать».

Но она ничем не выдала своего волнения: спросила только, не приезжал ли машиновед, не было ли эмтээсовского начальства. Сказали, что не было.

И Луша пошла обратно, репетируя по пути суровый телефонный разговор с директором МТС. О свидании, назначенном в семь часов, она забыла и только у развилки вспомнила на минуту Сашу, девушку, которая смеялась за окном, подивилась на свои недавние душевные муки и сказала вслух:

— Это не беда, что она смеялась. Беда, что ты, милая, над собой не смеешься.

Она решила известить Сашу, что сегодня ей некогда. Пусть приходит в Поповку завтра, фермач все расскажет. «А можно и не извещать,— подумала Луша. Пусть прогуляется. Посидит, посидит и вернется. Небось волки не заедят».

У крыльца правления стоял эмтээсовский «газик».

Луша вошла в контору, увидела Филиппа Васильевича и дала волю негодованию. Что это такое? Приезжают каждый день, ругают, попрекают, а чтобы помочь, так и нет никого. Хлеб молотить надо, а чем молотить? По-дедовски, цепами? Соседнему колхозу еще когда молотилку пригнали: там председатель — мужик, его вокруг пальца не обернешь, а тут женщина, значит, колхоз обижать можно. С утра обещали молотилку, вот уже шесть часов, а ее нет. Бригада целый день бездельничает. Что это такое?

Филипп Васильевич сидел за Лушиным столом, под ходиками, и терпеливо слушал. Когда она кончила говорить, он объяснил, что в соседнем колхозе затянули молотьбу и в данный момент домолачивают последние центнеры. Он только что был там и дал указание, чтобы агрегат самое позднее через час был переброшен в Вознесенское. Потом он достал залистанную записную книжку, нашел табличку и стал упрекать Лушу за медленную вывозку зерна на элеватор.

— И вам не совестно? — сказала Луша.— Молотилку не даете, а зерно требуете.

— Я же информировал, что молотилка через час будет,— отвечал Филипп Васильевич.— А график надо нагонять. Придется вам мобилизоваться и вдвое увеличить вывозку.

Ходики показывали половину седьмого. Саша, наверное, уже собирается.

— Машины каждый день возят, а больше у нас транспорта нет. На велосипеде не повезешь,— сказала Луша.

Филипп Васильевич посчитал расстояния и центнеры, и его удивило, что машины делают мало рейсов. Он достал карту, стал

смотреть маршрут. Машины петляли через Поповку, и рейс удлинялся чуть ли не на десять километров. Филипп Васильевич спросил, почему не используется прямая дорога.

— А вы бы сами разок проехали по этой дороге,— сказала Луша.— Там ни одного живого мостика нет.

На ходиках было без пятнадцати семь. Саша, наверное, уже идет на развилку. «Хоть бы уезжал скорей»,— подумала Луша об инженере.

Но Филипп Васильевич завел воспитательный разговор о председателях колхозов, которые заблаговременно не думают об осени и не чинят дороги. Видимо, у него было много свободного времени.

— А кто будет чинить? — оборвала его Луша.— Наши бабы еще не научились мосты уделывать, а мужиков-плотников у нас нет. И потом, извините, Филипп Васильевич, мне некогда.

Она попрощалась с удивленным инженером и выбежала на улицу. Было без десяти семь.

«Куда это я?» — подумала Луша просто так, для вида, чтобы хоть на минуту обмануть себя.

Она быстро шла вдоль деревни, и лицо у нее было красивое и злое.

На пути ее остановила Настя.

— Чего тебе? — спросила Луша, не сбавляя шага.

— Опять стадо на болотину погнали. Там одна осока. Ее посолишь, и то через силу коровы едят, а так и вовсе не едят. С такой пастьбой разве план надоишь?

— Бери коня, езжай к пастухам. Скажи, чтобы перегнали. А в Вознесенском погляди, пришла ли молотилка.

— А ты куда, тетя Луша?

— Какая я тебе тетя! Сказано — и ступай.

Настя отстала.

Луша вышла на околицу и направилась к лесу. Солнце садилось. Было оно раза в два больше, чем днем, и заливало небеса холодным малиновым светом. Притихший лес дожидался ночи. Изъезженный проселок спускался под изволок, и шагать было неприятно легко, словно кто-то против воли тянул вперед и вперед. И Луша шла, всем своим существом ощущая эту насильную легкость, и на душе ее было невесело.

«Да что такое в самом деле,— рассердилась она.— Что я, рябая? Что я, не заработала права душу свою отогреть? Десять лет тащу такое хозяйство, недоедаю, недосыпаю, два раза на день через три деревни по кругу бегаю».

«А что с твоих трудов? — возражал ей какой-то внутренний голос.— Если бы ты колхоз как следует подняла, тогда другой раз-

говор. А пока за десять-то лет одни Гавриловы вернулись. Один парень приехал, и того хочешь к рукам прибрать. А ты председатель, ты за все в ответе. И за хомуты, и за ломаные печи, и за то, что мужиков мало. Перед всеми женщинами в ответе: и перед Катериной и перед Настей. Смотри. Не похвалят тебя бабы... Тебя поставили о людях думать».

«А о себе когда!» — чуть не крикнула Луша, но вовремя опомнилась. Начинался горелый лес, и развилка была близко.

Через минуту она увидела Сашу. Он сидел на пеньке спиной к дороге и играл веточкой. Луше почему-то вспомнилась песенка Катерины: «Только стукни о пенек, выйдет славный паренек». Она поморщилась и остановилась.

Саша не замечал ее.

«Сейчас подойду,— быстро думала Луша,— а он спросит: «Ну, куда пойдем?» — и посмотрит на меня со значением, как тогда в конторе... А я скажу спокойно: «Что у тебя, память отшибло? Скотный двор поглядим — и домой». И все... И все... И чтобы никаких глупостей».

Она сошла с дороги и остановилась перед ним.

— Чего же опаздываешь? — спросил Саша.

Она стояла молча, опустив голову.

— А я уж домой собрался.

Она все стояла, не поднимая глаз.

— Ну пошли, что ли...— сказал Саша.— Поглядим поскорей, да мне назад надо. Батька сегодня именины отмечает.

Он поднялся, отряхнул брюки и пошел, играя веточкой.

И Луша внезапно поняла, что он и не думал ни о каком свидании, когда разговаривал в конторе, да и не знал, наверное, никогда, что тут встречаются с ухажерами колхозные девчата. Просто собрался человек смотреть скотный двор с председателем колхоза, только и всего. А танцы у Катерины и чаепитие — все это просто так, глупости.

Указывая дорогу, Луша молча прошла лес и направилась к Поповке напрямик — поляной.

Блекнут к осени деревенские полянки. Летом они щедро разукрашены цветами, алыми, бирюзовыми, белыми, и густой, тяжелый от медовых запахов воздух недвижно стоит над землей. А сейчас все потускнело — и цветы и травы. Редко где задумчиво клонит помятые головки бледно-голубой, словно выцветший за лето колокольчик, да прячется в тени застенчивая незабудка, да

отцветают бело-розовые, грязноватые кашки, лаская вечерний воздух еле слышным прощальным запахом.

Скотный двор был пуст. Луша вошла вслед за Сашей и стала объяснять, что в первую очередь надо делать строительной бригаде. Она показала, где перестлать полы, где поправить рамы, сказала, что надо добавить вытяжные стояки, потому что каждая корова испаряет дыханием десять килограммов воды в сутки и зимой стоит такой туман, что не видать ничего.

— У вас тут за год всего не переделаешь. В эмтээсе, наверное, легче,— заметил Саша.

А она говорила, говорила, и в глазах у нее стояли слезы. Было темно, и она думала, что Саша не заметит. Но он заметил. Он взял ее под руку и повел к окну, ближе к свету.

— Что ты? — спросил он.

Она не отвечала.

— Лушенька, что ты? — повторил он испуганно.

Луша длинно вздохнула и уронила голову на его плечо.

Он стоял озадаченный, обнимал ее и чувствовал, как вся она с головы до ног вздрагивает от бесшумных рыданий. Было тихо, только где-то далеко-далеко в лесу слышался тупой, ритмический стук, похожий на тюканье топора.

— Думаешь, я правда в эмтээс подамся? — говорил Саша.— Это я так. Я не пойду в эмтээс.

Звук приближался. Стало ясно, что скачет лошадь. Луша отпрянула к стене. Лошадь затопала рядом, послышался голос: «Стой, леший!» — и в воротах появилась Настя.

— Тетя Луша! — крикнула она в темноту.

— Ну что тебе опять? — спросила Луша неестественно спокойно, как в конторе, когда ее отрывали от дел.

— В Вознесенском подвод не хватает. Снопы не поспевают к молотилке подвозить. Машиновед ругается.

— Я сейчас.— Луша насухо, до боли утерла глаза и щеки, туго повязала платок и вышла.

— Там Саша,— сказала она.— Разъясни ему, что уделывать. Ты доярка, твоя и забота.

Настя стояла в нерешительности.

— Иди, не бойся. Он изображает только из себя. А парень хороший.

Луша взлетела в седло и тронула коня каблуками. Конь всхрапнул и помчался напрямик по поляне, прибивая к земле редкие кашки и колокольчики.

1956

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Секретарь райкома второй раз напоминал мне:

— Ты что же?.. Ты бы поторопился с поездкой в тот аул. Не понимаю, чего тут тянуть!

В его голосе звучало беспокойство, и я не стал оправдываться. Он без того знал, что меня держат занятия, которые я веду в Боровском лесном техникуме. Знал — и все же настаивал.

Месяца четыре назад на самой окраине района шесть или семь аулов объединились и стали называться — *колхоз*. Слово было новое. И у нашего секретаря никак не укладывалось в голове, почему все там против — принять своих соседей из аула Жанбырши. Тем более что «тот аул», как мы называли его между собой, владел лучшими землями.

По рассказам выходило, что его обитатели тоже не проявляют особого нетерпения и пока не собираются увеличивать процент коллективизации в районе. Может быть, дошли до них разговоры о колхозе, где все люди должны носить одинаковую одежду, должны спать под общим одеялом, укладываться и вставать одновременно, по команде... Очевидно, если бы исключить из этого перечня слово «вставать», то именно такая жизнь больше всего и устраивала бы жанбыршинцев. Но что же все-таки удерживало их? Хоть бы жили богато, тогда бы все можно понять! Но инструктор, ездивший к ним, застал там многослойную нищету — и все равно ничего не добился. На его увещевания в ответ раздавалось: «Да свершится то, что предначертано аллахом».

Рассчитывать на аллаха секретарь райкома не мог, и поэтому мне пришлось прервать лекции.

От Борового до Жанбырши — путь не близкий. Я решил, что удобнее проделать его не верхом, а в телеге, на мягком сене. Но тут была одна загвоздка. Не так давно я не удержался и купил вороного мерина, четырехлетку: голова серпом, горбоносый. Под седлом

шел легко и проворно, а со стороны взглянуть — было в нем то изящество, которое без всяких слов отличает хорошего коня от жалкой посредственности. Меня даже не остановило, что у него была короста. Я рассчитывал ее вылечить.

Настоящий степной конь — к седлу приучен, но стоило заложить его в упряжку, он мгновенно начинал пятиться назад и как-то ухитрялся в оглоблях кружиться на месте, словно больной вертячкой. В поездке я надеялся отучить его от дурной привычки. Одному сделать это было трудно, и я пригласил с собой двух ребят — студентов техникума.

Намучились мы порядком, но все же трое молодых парней оказались умнее и сильнее своенравного мерина. Солнце пошло на закат, когда появились угодья аула Жанбырши, и я убедился: утверждение, что этот аул владеет лучшими землями,— не пустые слова.

Малонаезженная дорога вела по густым ковылям. После жаркого дня их влажное дыхание приятно холодило лицо. Вдали полукольцом синели рощи, оберегая от суховея все урочище. По пути попадались озера, и тогда ветер, дувший в спину, запутывался и утихал в сплошной стене камыша. Казалось, этот уголок нарочно был создан для того, чтобы лишний раз подчеркнуть неповторимость, красоту и приволье нашей степи.

Впереди я увидел сильно поредевшую березовую рощу. Издали казалось, что вплотную к деревьям подступили несметные полчища тли. Но стоило подъехать ближе, и взгляду предстало то, что там было на самом деле: приземистые землянки, оплывшие от дождей и потревоженные ветрами.

Зимовка аула Жанбырши встретила нас полной тишиной и безлюдьем, и мы отправились дальше. Вскоре открылся просторный лог. В буйной зелени чернели юрты, десятка полтора. По дороге стали попадаться редкие лошади, коровы паслись по две, по три, кучками разбрелись овцы и козы. Первое, что бросалось в глаза,— как же они отощали! Какие-то живые скелеты, обтянутые кожей... А ведь минувшая зима была милостива к скотоводам. Их табуны, стада и отары вышли на весенние пастбища в хорошем состоянии.

Мы въехали в небольшой аул, продолжая удивляться и строить разные предположения, почему же здешний скот выглядит так, словно едва уцелел после жестокого джута.

Одни девчонки, прислонившись к войлочным стенам юрт, с полным безразличием наблюдали за нашим приближением. Та из них, что была постарше, лениво зевнула и босой ногой почесала щиколотку другой ноги. Не было тут ни одного мальчишки, который бы непременно попытался прицепиться сзади к телеге и которому пришлось бы пригрозить кнутом.

На пригорке посередине аула неподвижно сидели мужчины, человек восемь или десять. Неподалеку от них я и натянул вожжи, и мерин, порядком уставший от борьбы, которая велась с самого утра, покорно стал.

День был по-настоящему теплый, но все мужчины сидели, нахлобучив тымаки — зимние шапки, покрывавшие голову и плечи. Из тымаков клочьями торчала шерсть.

Мужчины давно заметили появление чьей-то чужой телеги, но по-прежнему хранили гордое, независимое молчание, только чуть повернули головы в нашу сторону.

Несмотря на все их высокомерие, надо было начинать знакомство. Я подошел и протянул руку первому с краю.

— Нет, нет, дорогой! — запротестовал он и еще глубже засунул руки в рукава оборванного халата.— Не со мной... Сперва полагается поздороваться с нашим аксакалом! — И он кивнул в сторону старика, который беззвучно шевелил впалым ртом,— казалось, слова застревают у него в бороде, наполовину седой, наполовину рыжей.

— Ассалаум агалейкум...— повернулся я к нему.

Старик, исполненный собственного достоинства, поднял голову мне навстречу:

— Уагалейкум ашшалям!..

И снова замолк. Старику, как видно, не приходило в голову, что его надменная осанка не вяжется с беспомощным шепелявым «уагалейкум ашшалям», с дырявыми юртами, с тощим скотом, который мы встретили, подъезжая к аулу.

Надо было здороваться дальше, и я повернулся влево, но моя протянутая рука повисла в воздухе.

— Нет, поздоровайтесь с тем, кто сидит справа от уважаемого Атеке...

Сообразив, что рыжебородый и есть Атеке, я подал руку бородатому человеку — бородатому, но безусому. Он звучным голосом, раскатистым, как у муллы, привыкшего нараспев выкрикивать молитвы, ответил мне:

— Уа-га-лей-кум, ас-са-лям!

Я хотел было продолжить в этом же направлении, и опять невпопад.

— Не туда, не туда,— поправил меня распорядитель.— Теперь — по старшинству — надлежит подать руку тому, кто слева сидит от Атеке...

Я пересекал круг, соблюдая строгую очередность в приветствиях, и, пока я это делал, прошло столько времени, что его вполне бы хватило целому аулу собраться в дальнюю перекочевку.

Наконец все руки были пожаты, и Атеке прошамкал:

— Кораш, ты потеснись... Для молодого гостя это место будет самое подходящее.

Кораш недовольно поморщился, но ослушаться не смел и немного подвинулся — ровно настолько, чтобы я мог втиснуться рядом с ним.

О аллах всемогущий! Смешно и грустно было видеть этих надутых спесью людей, которые даже здесь, под вольным весенним небом, чванились и не позволяли ни себе, ни другим сесть свободно. О таком неукоснительном — к месту и не к месту — соблюдении древних обычаев я знал только по рассказам, а в жизни не встречал — ни раньше, ни позже.

— Пусть счастлив будет твой путь, юноша, твой и твоих достойных товарищей,— обратился ко мне аксакал.

— Да сбудутся ваши пожелания,— почтительно наклонил я голову, приложил руку к сердцу и робко начал: — Мы приехали в ваш аул, чтобы...

Но Атеке не дал мне договорить:

— Пока достаточно и того, что ты сказал: «Да сбудутся ваши пожелания». Об остальном ты расскажешь нам, когда наступит для этого время.

Мне оставалось только еще раз покорно наклонить голову и еще раз почтительно приложить руку к сердцу.

Атеке уселся поудобнее и начал расспросы, с которых обычно начинается в степи всякое знакомство.

— Скажи нам, а какого ты рода и племени?

— Я — керей.

— Из каких кереев?

— Из кзыл-жарских, Атеке.

— Все ли в порядке у вас? Не терпите ли бедствия или нужды в чем-либо?

— Когда мы выезжали, все было благополучно.

— Слава аллаху, всеблагому и всемилостивому,— добавил он за меня.— А выехали вы сегодня откуда?

— Из Борового.

— А-а, из Бурабая,— поправил он.— И где же кончается ваш путь?

— Здесь, в вашем ауле, Атеке.

Старик неторопливо обвел взглядом всех собравшихся мужчин, ни одного не пропустил. Он советовался с ними, как поступить, и, видимо, прочел согласие в их ответных взглядах.

— Есенгельды! — обратился он к тому, с кем я по своему неразумению хотел поздороваться первым.— Отведи приезжих юношей в большую юрту для почетных гостей. Их место — там...

Его поддержал безусый бородач, тот, что сидел справа:

— Верно говорит наш Атеке... Если они ехали к нам, то место их только в большой юрте.

Но и при его словах Есенгельды не поднялся с места. Видно, полагалось, чтобы еще кто-то что-то сказал.

Я не ошибся.

— Наш Атеке прав. Отведи приезжих юношей в большую юрту... Их место там.

Распоряжение старика слово в слово повторил мрачный густобородый мужчина, глаза у него расставлены были так широко, что казалось, будто они смотрят с висков. Он произнес это и снова застыл, как изваяние.

Но, по всей вероятности, его голос имел решающее значение, потому что Есенгельды тотчас поднялся и торжественно изрек:

— Молодые друзья! Пойдемте, я провожу вас в большую юрту, туда, где мы принимаем почетных гостей.

Мы последовали за ним — все трое. Мои молодые смешливые ребята еле удерживались, чтобы не расхохотаться во весь голос. А мне приходилось еще труднее, чем им. Улыбнись я — хотя бы чуть-чуть, хотя бы уголками губ,— и они бы разошлись вовсю, и наше дело оказалось бы безнадежно испорченным.

Чтобы этого не случилось, я завел серьезный разговор с нашим провожатым.

— Есеке! Время еще раннее. Нам бы хотелось сегодня поговорить о деле, которое привело нас к вам, в Жанбырши. Как вы думаете, когда мы сумеем это сделать?

— На все установлен свой порядок,— отозвался он.— У нас в Жанбырши Атеке сам позаботится о ваших делах. Он спросит: «А с чем вы пришли к нам?» Тогда и расскажете.

Оставалось одно: подчиниться этим незыблемым правилам и следовать за Есенгельды. Вид у него был важный, словно он являлся посланником какого-нибудь султана! Есенгельды, как, впрочем, и остальных его сородичей, ничуть не смущало, что он мало подходит для этой роли. Из его старой шапки — на забаву ветру — клочьями торчит верблюжья шерсть, а черная юрта, к которой он нас вел, обтянута ветхой кошмой.

Он намеревался широко распахнуть перед нами дверь. Но дверь висела на одной ветхой петле и подалась с тягучим скрипом, подрыв при этом землю у входа.

— Добро пожаловать! — сказал Есенгельды и уставился на меня немигающими глазами.

Смесь былого величия и крайнего оскудения — вот что я увидел внутри. Начать с того, что вся юрта светилась. У самого последнего пастуха мне не приходилось встречать такой кружевной кош-

мы. Руки его жены давно бы наложили заплаты на все эти зияющие дыры.

Пять или шесть ууков, в ладонь толщиной, еще носили следы искусной резьбы. Все остальные были самодельные: одни толстые, другие — как прутики, а несколько штук — ровные, без обязательного изгиба, копьями вонзались в купол.

На деревянной кровати с причудливо изогнутой спинкой валялось одеяло, сшитое из лоскутьев, а поверх него — какое-то жалкое тряпье.

Есенгельды величественным жестом указал нам занять почетные места. В центре корчились плохо выделанные шкуры — одна козлиная, две телячьих и еще — конская, но небольшая, снятая, должно быть, со стригунка.

— Отдыхайте,— сказал наш провожатый и вышел.

А мы трое, не в силах больше сдерживаться, с выпученными глазами катались по полу, зажимая ладонями рты, и уже слезы у нас катились от хохота, и мускулы животов болели, а мы все не могли остановиться.

Когда прошел этот неудержимый приступ, мои ребята отправились распрячь присмиревшего мерина. А я от нечего делать снова принялся рассматривать юрту.

Первое впечатление не было обманчивым: былой уверенный достаток уступил место самой убогой нищете. Справа у входа на низкой деревянной подставке покоился старинный сундук, окованный железом. Рядом с ним — кебеже, большой ящик для хранения посуды и всякой утвари. Кебеже был тоже старинный, местами сохранились следы костяной инкрустации.

Я не удержался, заглянул внутрь. Ящик был пуст.

На решетчатой стене висело седло. Его передняя лука, покрытая темным лаком, в серебряных разводах, напоминала утиную голову. Такое седло когда-то стоило очень дорого. А сейчас... Если бы кому-нибудь, не дай бог, взбрело в голову затянуть подпругу или сунуть ноги в массивные стремена, то полуистлевшие ремни расползлись бы от малейшего прикосновения.

Вернулись студенты. Они принесли наши вещи. Жесткие шкуры пришлось застелить черным одеялом, которое мы захватили с собой из техникумовского общежития.

— Хорошо... Мы так и будем одни? А где же хозяева этого дома? — спросил один из них.

Другой ответил:

— А вот... Видишь?

Лохматый пестрый пес нахально просунул морду в одну из дыр и, нимало не смущаясь нашим присутствием, собрался уже протиснуться сюда.

— Пошел! — прогнал я его.

Мы условились с ребятами: поменьше разговаривать и стараться не высказывать своего отношения к тому, что происходит на наших глазах. Только так удастся получше разузнать, что же из себя представляет аул Жанбырши.

Снаружи донесся голос Есенгельды. Он кричал кому-то:

— Карашаш! Эй, Карашаш!.. В большой юрте у нас сегодня гости. Слышишь? Атеке велел, чтобы ты их обслуживала!

— Какие еще гости? Откуда они взялись? — послышался ему в ответ густой женский голос.

Мы с опаской переглянулись. Что-то еще нам предстоит перенести?.. Но ничего другого не оставалось — только ждать.

Возле юрты послышались шаги, заскрипела дверь. Но это опять был Есенгельды.

— В ауле, куда привела вас ваша дорога,— наставительно сказал он,— не принято, чтобы гости распрягали своих лошадей. Это — забота хозяев.

— Спасибо. Не беспокойтесь,— почти подобострастно ответил я, стараясь приладиться к их нравам.— Мы — люди молодые, как видите, мы и сами посмотрим за нашим мерином.

Есенгельды тоном, не терпящим возражений, повторил:

— В этом ауле, который зовется Жанбырши, не принято, чтобы гости сами распрягали своих лошадей и ухаживали за ними.

Он удалился, и мы бы, конечно, снова залились смехом, но нас удержало появление пожилой женщины. Она переступила порог тотчас вслед за тем, как юрту покинул Есенгельды.

Карашаш приветливо поздоровалась с нами — с приезжими молодыми людьми, каждый из которых годился ей в сыновья.

— Слава аллаху, я не жалуюсь на жизнь,— сказала она и тут же добавила: — Должно быть, привыкла... А потом — жалуйся не жалуйся, все равно ничего для меня не изменится. Но вы-то какими судьбами попали на это кладбище?

Как видно, Карашаш, в отличие от нас, не собиралась скрывать своего отношения к жителям аула Жанбырши, к укладу их жизни. И я понял: вот женщина, единственная, у кого можно поподробнее разузнать все, ради чего и предпринималась эта неблизкая поездка.

Ей даже намекать не пришлось, что нас интересует. Карашаш долго копила раздражение, и ей надо было выговориться.

— Не знаю, вы слыхали или нет?..— начала она.— В Жанбырши с древних пор живут торе... Это их земля. Но сами они рукой не пошевелят, чтобы хоть царапнуть ее плугом. Считают, что и счастье, и достаток, и удача — все им от бога, свыше дано! Прежде тут с ними жили толенгиты. Тридцать семейств толенгитов.

Они-то все и делали. А потом, вскоре после того как переменилась власть, они все ушли. Стали жить отдельно. Колхоз у них... Вчера я ходила пригнать коров и видела: поля у них вспаханы, сеять начали. Разве плохо им? А наши!..— Она безнадежно махнула рукой.— Из десяти мужчин ни одного нет, кто бы стал седлать своего собственного коня! Я уж не говорю — привезти дров, сена на зиму накосить... Руки не поднимут паршивую овцу зарезать. Даже если брюхо от голода совсем подведет! Все я делаю. Я дочь толенгита. Вот осталась с ними, с этими живыми мертвецами.

Рассказывая это, Карашаш несколько раз выходила — она ставила самовар — и снова возвращалась. Я и раньше слышал о жанбыршинских торе, но не мог себе представить, что́ тут у них происходит теперь.

В окрестностях многие урочища принадлежали им. Но на этих землях и колышка не было вбито их руками. Знатным людям не приличествовало трудиться. Все заботы брали на себя толенгиты. Они пасли скот и косили для него сено, они сеяли пшеницу и овес. И коней седлали они, когда кто-то из хозяев собирался поехать на охоту, в гости или по делу. От былого благополучия и величия осталась драная кошма. Но потомственная спесь — в крови у них...

Карашаш внесла огнедышащий самовар.

— Вскипел вот...— сказала она и, стараясь не встречаться с нами взглядом, предупредила: — Только угощать вас придется забеленным кипятком. Молока-то я найду, а вот чаю — поверьте, во всем ауле заварки нет.

Заварка была у нас. Узнав об этом, Карашаш повеселела и отправилась разыскивать чайник.

Чайник оказался под стать рваной кошме, ветхому седлу: по фарфору расползались черные трещины, его стягивали жестяные полоски, и жестяная трубочка была приделана вверху отбитого носика. Десяток пиал разного цвета и разной величины. Ясно, собирали по юртам.

Карашаш расстелила залатанную скатерть, а мы — поверх — кинули свое полотенце. Хорошо еще, что догадались захватить с собой хлеб, масло и сахар.

И вот, как только мы собрались не то пообедать, не то поужинать, дверь отодвинулась, и в юрту вошли мужчины. Входили они гуськом, соблюдая старшинство. Первым — Атеке. Он остановился возле меня с гордо поднятой головой, и по выражению его лица я понял, что опять занимаю не свое место.

Я тотчас приподнялся, чтобы пересесть, но старик движением своей сизой бороденки остановил меня:

— Так далеко не надо... Место рядом со мной принадлежит старшему из гостей.

Я остался. Зато мои ребята после всех перемещений очутились довольно далеко от меня. И — что важнее — далеко от хлеба и масла.

Отсутствие зубов не мешало Атеке: масло вообще не надо жевать, а кусочки хлеба он отламывал и быстро отправлял в рот, делая всем телом глотательные движения. Все остальные аксакалы не уступали ему в проворстве, стараясь опередить один другого.

Мы трое выпили по пиале чаю, и на скатерти не осталось ни куска. А когда все исчезло, словно корова языком слизнула, Атеке нарушил молчание:

— Я должен сказать, что масло было свежее... Есть можно.

И опять — слово в слово — посыпались те же подтверждения, как будто ни у кого из них не было ни единой своей мысли, а все ждали, что изречет их аксакал.

— Атеке сказал правильно,— подхватил безусый, который устроился рядом со мной, только с другой стороны.— Масло было свежее. Есть можно.

Я подумал: я сам и мои студентики — единственные, кому не пришлось в этом убедиться. Я подумал еще: а что же будет дальше, но как-то не сообразил, что кусочки колотого сахара сиротливо разбрелись по скатерти.

— Грех на душе у того, кто, насыщаясь, забывает про детей и внуков, плоть от плоти своей,— сказал Атеке.— Побалую-ка я свою крошку...— Узловатыми черными пальцами он прихватил со скатерти три-четыре куска и сунул в карман.

— Атеке прав, как всегда,— согласился с ним безусый и тоже потянулся за сахаром.— Грех тому, кто, насыщаясь, забывает про детей и внуков, плоть от плоти своей.

Их примеру последовали и все остальные — и Есенгельды, и Караш, и тот, у которого глаза заскочили на самые виски.

Скатерть опустела. Держа пиалы на самых кончиках пальцев, торе стали шумно потягивать пустой чай. Одна только Карашаш, устроившаяся у самовара, испытывала неловкость от того, что гости остались голодными.

Несколько раз я порывался выйти к своему коню, но меня останавливал знаток и хранитель обычаев — Есенгельды, он повторял, что забота о лошадях гостей в их ауле всегда лежит на хозяевах. И я вынужден был опять садиться, хотя мой вороной по-прежнему стоял на привязи, голодный, как мы. А Атеке, которому надлежало меня расспросить, с чем я приехал в аул, тоже молчал, прислушиваясь к бурчанию в животе.

Карашаш зажгла лампу. Стекла не было, и фитиль тускло чадил. Ветерок, доносившийся в юрту сквозь бесчисленные дыры,

время от времени пригибал пламя, и тогда становилось совсем темно. Огонек выпрямлялся снова и бросал неспокойные блики на лица хозяев. Они казались мне неживыми.

Да, их вполне можно было принять за мертвецов, тем более что ни один не произносил ни звука, и в юрте стояла могильная тишина. Мне стало не по себе, как в страшной сказке.

Но тут Атеке поднял голову и откашлялся.

— Время идет,— сказал он.— Для гостей, которых мы сегодня принимаем в большой юрте, надо бы заколоть барана.

— Как всегда, прав мудрый Атеке и, как всегда, он самый верный хранитель законов гостеприимства, доставшихся нам в наследство от славных предков,— поддержал его безусый.— Для гостей, которых мы сегодня принимаем в большой юрте, надо бы заколоть барана.

Эту же мысль повторил и тот, с глазами на висках, чье слово звучало как призыв к действию.

Я попытался возразить — зачем лишние расходы... Но никто не посчитал нужным обратить внимание на мой робкий протест. И я замолчал, соображая, что поесть мяса — совсем не плохо. Утром, собираясь в дорогу, мы завтракали наспех.

Но до ужина было далеко, как до Борового. Все мужчины снова замерли, исполненные чувства собственного достоинства. Они были просто набиты этим самым достоинством.

Но если нам — гостям — ничего не оставалось, кроме как терпеть, то Карашаш прямо-таки кипела, и наконец ее прорвало.

— Если уж решили колоть, то почему они медлят? — сказала она, ни к кому не обращаясь впрямую.— Сказать сказали, а сами сидят, будто задами приросли к земле. О аллах! Аллах всемилостивый! Ты видишь?.. Избавишь ли ты когда-нибудь их от проклятых привычек?! Ведь живые же люди все-таки, а не мертвецы!

Она вскочила и вышла из юрты. Следом за Карашаш выскочил и пестрый пес, который отирался тут же в юрте, без всякой надежды чем-нибудь поживиться.

Но несдержанность женщины не могла поколебать достойного спокойствия мужчин. Атеке выждал еще какое-то время, прежде чем вымолвил свое решение.

— Я вижу смысл в словах Карашаш, хоть она и сказала их сгоряча. Время идет... Если уж надумали колоть, то надо колоть.

Как эхо в горах, откликнулись двое из наиболее почитаемых аксакалов. Но никто и не подумал сдвинуться с места, чтобы совершить намеченное.

Карашаш знала, что делать: она принесла и бросила возле очага охапку дров, во второй раз появился закопченный казан, в

третий — треножник. А между делом она продолжала тормошить своих хозяев.

— Ну, скоро ли?.. Чью овцу будете колоть? Надо же еще пригнать ее,— говорила она, а стоило ей выйти наружу, как оттуда доносились ее причитания и брань.

Но решить — чью, было не так-то просто.

— Есенгельды! — повелительно сказал Атеке.— Что же ты молчишь? У вашей бабушки есть овца, серая... По-моему, эту серую овцу и надо пустить в казан.

Дважды повторяются — справа и слева — его слова, и Есенгельды молча поднимается со своего места и выходит. В юрте снова тишина — тишина ожидания. С улицы доносится жалобное ржание моего бедного вороного, который, видимо, уже совсем отчаялся получить хоть бы клок сена, не говоря уже о торбе овса.

Вернулся Есенгельды. Он опустился на колени и только тогда обратился к Атеке.

— Айша-келин[1] говорит: серая овца вот-вот должна принести ягненка... И грех совершит всякий, кто поднимет нож на такую овцу, в такое время.

— Айша-келин знает,— подтвердил Атеке.— Это действительно грех. Не сегодня, так завтра серая овца должна окотиться.

Приятная возможность полакомиться свежим мясом все же оживила хранителей древних устоев. Очевидно, поэтому Атеке значительно сократил время мудрых размышлений.

— Сделаем так: приведи черного ягненка из дома Канши-женгей[2]. Ягненок этот — из самых ранних, его вполне можно пускать под нож.

Нетерпение, наверное, овладело и Есенгельды. Он поднялся, не дожидаясь, пока безусый и глазастый подтвердят мудрость Атеке, и их слова раздались, когда он переступил порог юрты. И вернулся значительно быстрее, чем в первый свой уход.

Но и сейчас поход оказался безуспешным. Есенгельды мрачно сказал:

— Айжан-келин меня встретила... Она говорит — в пятницу исполняется ровно год со дня смерти Канши-женгей. Айжан бережет барашка, чтобы было чем помянуть достойную женщину.

— Да, да,— сокрушенно сказал Атеке.— Айжан права...

Он снова задумался, но голодный желудок, только раздраженный нашим хлебом и нашим маслом, заставил его мысль работать отчетливее и быстрее. Атеке тут же сообразил, кого можно принести в жертву гостеприимству.

---

[1] Келин — невестка; молодая замужняя женщина.

[2] Женгей — тетка.

— Хватит пустых разговоров! — решительно сказал он.— От разговоров наш казан не наполнится! Есенгельды, приведи нам серого козла, который принадлежит Кареке.

Время перевалило за полночь, когда снаружи дурным голосом закричал упиравшийся козел. Но Есенгельды был полон решимости, и, кажется, наш ужин из мечты становился действительностью.

Козел этот, которого я не мог видеть, густым тяжелым запахом дал знать о своем приближении. Значит — невыхолощенный... Производитель. Простой смертный мог бы задохнуться, что со мной чуть и не случилось. Другое дело — потомки ханов. Ноздри их, надо полагать, были устроены как-то по-другому. На запах они не обращали никакого внимания, утешаясь, должно быть, тем, что в котле запах исчезнет. Глаза у них горели, они шумно проглатывали слюну. Дай сейчас каждому из них по козлу, и они справятся с ним живьем, и костей не останется.

Возникла еще одна помеха. Ни у кого не оказалось достаточно острого, надежного ножа. Атеке хорошо помнил, в каком доме есть такой нож, но посланный Есенгельды вернулся ни с чем.

Один из моих товарищей по несчастью, выведенный из себя долгим нудным сидением, голодом, зловонием, исходившим от козла, быстро вскочил с места, выхватил нож и ткнул им в сторону Есенгельды.

— Вот, возьмите,— вежливо сказал он, хотя по его глазам я видел, с каким бы наслаждением он послал всех торе к шайтану, а сам поскорей бы исчез из аула Жанбырши.

Только под утро серый козел вновь явился к нам, но уже в сваренном виде, в корыте. И тут же следом вошли женщины — их было не меньше десяти.

Каждая из них вела с собой девочку. Да, почти все дети у них были девочки. Я заметил только двух мальчишек. Разбуженные среди ночи, дети зевали, терли глаза. Вид у них был хилый. Тот же древний закон, которого так строго придерживались в Жанбарши, повелевал хранить чистоту знатного рода, и потому браки здесь заключались почти всегда между близкими родственниками. На детей жалко было смотреть.

Женщины с вожделением принюхивались к запаху мяса. Но ведь козел, как известно, своими размерами значительно уступает быку... Вряд ли одним козлом накормишь такую ораву.

По праву старшего Атеке взял голову, отрезал одно ухо и передал его мне, а голову положил перед собой. Безусый бородач отрезал с тазовой кости небольшой кусочек мяса — для меня, а всю кость оставил тоже себе. Остальные — тоже хватали куски, подобающие им по положению. Остатки мяса крошились над

корытом, но как-то не успевали туда попасть. Они на лету кем-то подхватывались и тут же безвозвратно исчезали.

Угощение проходило с такой быстротой, что времени оно заняло немного. Наши хозяева запили козлиное мясо сурпой [1], передали детям обглоданные кости и, пожелав нам спокойной ночи, разошлись по домам.

Юрта опустела.

Мы еще немного побеседовали с Карашаш. Добрая женщина сокрушалась, что мы ляжем спать голодными.

Но мы вовсе не собирались ложиться спать. Не дожидаясь, когда сам Атеке сочтет возможным поговорить с нами о деле, и нарушая обычай, по которому гости в Жанбырши не могут сами заниматься своими лошадьми, мы пошли запрягать вороного мерина.

Мы не просто уехали. Мы бежали. Бежали на простор степи из этого аула, превратившегося в живое кладбище, бежали от высокомерия и тупости этих людей.

— А сколько же времени нужно, чтобы в этом ауле произнесли хоть одно дельное слово?! — воскликнул один из моих парней.

— Это еще что! — добавил второй.— А сколько времени пройдет, пока слово, сказанное с такой важностью, превратится в дело?..

Я молча слушал их. Я возмущался несправедливостью истории. Сколько же веков, сколько бесплодных веков потеряли мы, казахи, пока такие торе правили нами?

...Сообщение, которое я на следующий день сделал секретарю райкома, было предельно кратким.

Я сказал:

— Аул Жанбырши владеет землей, на которой свободно разместятся четыре колхоза. Но в самом ауле Жанбырши есть только один человек, который может пригодиться в колхозе. Это женщина по имени Карашаш, дочь толенгита.

— Вот как? А куда же мы денем остальных?

Я был молод тогда и скор на решения. Я ответил:

— Там есть только один, один человек, который может пригодиться в колхозе...

Секретарь райкома задумался.

1956

---

[1] Сурпа — бульон.

Фридеберт Туглас. «Царский повар».
Художник Г. Филипповский

САНИ

Когда в один прекрасный день высох старый орех возле крыльца, дед Михаил достал из сеней свою палку, надвинул шляпу на глаза и стал прогуливаться вокруг дерева, будто подсчитывал ветки на нем. Долго прикидывал, обмерял вершками, содрал полоску толстой коры, взвесил ее на ладони и только к вечеру, когда сапоги снова показались ему тяжелыми, отнес палку на место, надел шляпу как следует и сказал про себя:

«Вот теперь-то я сделаю сани».

Сани... Великое это дело — сани! Застелешь их ковриком, на всякий случай покажешь лошадкам, что не забыл дома кнут,— и поехал, да так поехал, что солнце еле поспевает за тобой. И только тогда забудется счет всем прожитым годам, только тогда увидишь старого друга, которого увели другие дороги, и по свежему следу твоих саней многие найдут свою дорогу, свою деревню, свой дом.

Одни только сани нужны человеку — и снова он человек. Только сделай ему те самые сани, которые снились всем плотникам на свете, сколько их там было; сделай такие сани, которые бы двадцать собак стерегли и все-таки бы не устерегли; сделай сани, чтобы сохли они по дороге, а дорога сохла бы по ним.

— Сани — великое это дело!

Так рассуждал старик сам с собою, но тут заметила старуха, что он стоит задумавшись, и, опасаясь, как бы не заржавел топор у них в хозяйстве, послала наколоть щепок. Потом ей понадобилась новая кочерга, ведро свежей воды,— старик вздохнул и занялся хозяйством. И снова побежали друг за дружкой дни,— на этот раз бежали быстро, будто краденые.

Обычно просыпался старик чуть свет — любил одеваться в темноте, зажечь трубку угольком, оставшимся с вечера в печке. Выходил на улицу, присматривал за соседскими садами, чтобы не случилось чего, пока хозяева спят. И когда просыпалась деревня,

он уже перебрасывал топор из правой руки в левую. Потом до самого вечера ходил по двору с засученными рукавами, с потухшей трубкой в зубах. Казалось, он забыл и об орехе и о санях. Только вечером, когда наконец находил спички в кармане, вгонял топор в какое-нибудь бревно и задумывался.

Потом, день за днем, все чаще останавливался он посреди двора, дымил трубкой и вглядывался в мутную даль, будто пришла еще одна весна в этом году и он ждал прилета журавлей.

Но и это было до поры до времени — пока не заметила старуха, что лезвие топора в самом деле почернело. Вышла из дома и начала его стыдить — кричала громко, чтобы и соседям слышно было. Дед поправил ей криво завязанный платок — старуха любила, чтоб за ней ухаживали. Потом подошел к ореху, прислонил к нему топор и сказал вполголоса:

— А что, и в самом деле сделаю сани!

Значит, решено. А раз решено, считай, что и сделано. Хотя, по правде, решал он чрезвычайно редко — не было у него глупой привычки спешить, и в своей жизни никогда не делал три шага там, где можно было сделать только два.

Скажем, начинает созревать виноград. Прежде всего исчезает из деревни детвора — редко, раз в три дня, увидишь мальчонку, да и у того синие от винограда щеки. Потом на перекрестках собираются вечерами парни и печальными голосами поют до третьих петухов одну и ту же песню. Наконец и старики начинают вспоминать, в каком году брали они штыком австрияка, и становятся такими болтливыми, что если встретишь — не отвяжешься.

И у деда Михаила есть около сотни кустов винограда, но старик спокоен, как будто это бузина созрела у него в саду, а не виноград. Старуха не дает ему прохода:

— Михалуц, а сегодня пойдем собирать?

Старик занимается молча своим делом, не обращая на нее внимания,— кажется, он и слова свои сперва обтесывает, примеряет, и если они ладно пригнаны одно к другому, достает трубку из кармана:

— Пусть созревает. У солнца все равно другого дела нет.

А осень уходит. Опустели поля, на кустах остались одни только листья... Еще вчера выглядывали то тут, то там забытые гроздья, но вспомнили дети о них. Только в саду у деда Михаила гроздья висят по-прежнему. Ягоды сморщились, падают, и, чтобы не пропал труд, старик приносит мешок капустных листьев и расстилает их под каждым кустом, словно большие зеленые тарелки.

И только когда на гроздьях почти ничего не остается, дед входит в избу, долго смотрит на свою старушку, как бы стараясь припомнить, где это он ее раньше видел, потом достает трубку.

— А ведь виноград-то наш уже созрел.

Соберут виноград, потом он закрывается в своей каморке, и недели на две остается старуха вдовой. А когда двор застилают первые снежные хлопья, старик уже что-то мастерит в каморке — долго целится и редко бьет, так что курицам во всей магале и не подремать, и не проснуться никак.

И только в разгаре зимы выходит он к воротам и останавливает первого прохожего:

— Не сможете ли вы оказать мне одолжение? Открыл сегодня бочонок. Если не примете мои слова за обиду...

Принять за обиду! Прохожий, бедняжка, забыл на радостях снять шапку в избе, берет стакан, не снимая варежек, потому что времени нет. Тает язык от звучного бульканья кувшина, а в стакане прыгают золотистые блохи — до самого потолка прыгают, черти!

Ну и что удивительного в том, что нет в деревне свадьбы, на которую бы не пригласили старика, нет хозяина, который бы не приподнимал шапку, проходя мимо его избы, и нет пьяницы, который бы не подпирал его ворота с осени до самой весны.

Так, значит, старик решил смастерить сани.

С неделю он приглядывался к кроне ореха, прикидывая, какие у него корни, покопал в одном месте лопатой, проверяя, все ли так, как он рассчитал, и однажды за обедом, когда понравились ему щи, сообщил старухе:

— Думаю сделать сани из этого ореха.

Судьба наделила его проницательной старушкой. Она сразу уловила суть:

— Конечно, сделай! Твои сани сразу купят, а мне нужен новый зипун. Этот уже старый и залатанный.

Улыбнулся старик — знал он толк в глупостях, чего-чего только не наслушался на своем веку.

— Ты чего зубы скалишь? Или хочешь сделать из меня посмешище, чтоб и дети показывали на меня пальцем?

— Возьми мой кожух. Он нелатаный.

Потом, одно за другим, отдал ей сапоги, телогрейку, шарф. Когда дело дошло до шапки, пришлось выкопать орех. И не потому, что он уж очень дорожил своей шапкой,— нет, была поздняя осень, и орех стал по ночам сухо скрипеть ветками. Выкопал, обрезал крону, лишние корни и запрятал его на зиму под навес.

И день за днем, чем бы старик ни занимался — укрывал ли виноградник, чинил ли забор,— все время он думал только о своих санях. Иногда ему уже казалось, что он видит перед собой что-то стройное, белое, красивое, что-то промелькнувшее перед его глазами давно, когда ему было лет десять и он впервые взял топор в

руки. И всю жизнь, что бы он ни тесал, всегда мелькало перед ним это «что-то» — стройное, белое и красивое. И вот теперь, на старости, он вдруг понял: это были сани. Но только не такие сани, которые зимой сеют солому на дорогах, а летом даже собака не может найти под ними холодок. Это должны быть особенные сани — такие, что у деда дух захватывало, когда он долго думал о них.

Зимой, когда кончились большие морозы и можно было выходить в одной телогрейке, старик зашел под навес, ударил обухом топора по стволу ореха и долго прислушивался к его холодному, глухому звону. Старуха, завидев его возле ореха с топором в руках, мигом выскочила из избы:

— Начинаешь, Михалуц?

Старик молча отнес топор на место и пошел было к дому, но, видя, что старуха смотрит на него с большим недоумением, объяснил:

— Зелен еще.

Думал, что останется без телогрейки, но ничего, обошлось. Зато на следующее утро не нашел сапог под лавкой, куда обычно ставил их. И старухи не было дома,— а если она сама взяла сапоги, что в этом удивительного, почему бы ей, собственно, и не брать их?

Работал целый день в избе — сколачивал бочонок. Строгал сидя, не спеша, и время от времени вокруг его коротких рыжих усов собирались морщинки — дед улыбался. Он уже видел перед собой сани — и, господи, что за сани он видел! И это ведь не пустая затея, вон там, под навесом, лежит орех. Лежит он — а сколько таких орехов пропадает на белом свете! В избе старик мастерит бочонок, чтоб не донимала его старуха, а вот скоро, скоро возьмется он за свои сани. Взглянешь — глаз не оторвешь и не поверишь, когда он скажет, из чего они сделаны. Ей-ей, есть еще сила в старых руках, и много топоров, попав в его хозяйство, расплавят свою сталь на щепках!

С трудом приходила весна — казалось, заблудилась где-то. Но, вероятно, пашлась добрая душа, показала ей дорогу, потому что в конце концов зазеленело все во дворе старика, и он был очень рад, что перезимовали они благополучно — и он, и его сани.

Летом старик несколько раз переносил орех с места на место. Когда пекло солнце, выносил его на середину двора, куда днем никогда не добиралась тень, когда хмурилось — прислонял его к воротам, где вольнее было ветрам. И так привык к нему, что знал на нем все сучки наперечет, все выступы, все наросты и, когда ложился по ночам в саду на сколоченную возле старой груши кровать, мысленно начинал его тесать. И все тесал и строгал, пока не

засыпали все собаки в деревне, пока не прилетала каждая птичка в свое гнездо, пока не доносил ветер с поля сухой, таинственный шелест кукурузы. Потом начинал все связывать, и к утру ему уже казалось, что видит рядом с собой сани, приросшие и полозьями, и всем своим деревянным сердцем к земле, видит их белые, девственные крылья и слышит, как звенят они на ветру.

И дед Михаил уже видел, как полетят они, стройные, по деревне, проложат много дорог и много прохожих остановится, чтоб полюбоваться ими. Может, не будет уже в живых ни его, ни его старухи, а сани все будут летать по дорогам, и многие невесты сядут в них и уедут, чтоб уже не возвращаться в родительский дом. И, может, какой-нибудь старичок вспомнит, поеживаясь от холода, что это сани Михаила, и помянет его добрым словом.

К осени, когда работа в хозяйстве почти вышла, старуха начала все чаще поглядывать за ним, но, видя, что он и не думает браться за сани, прямо сживала его со света.

— И сегодня не начнешь?

— Нет, не высох еще орех.

— Как хочешь, но чтобы у меня завтра была новая шаль.

— Есть же у тебя платки!

— Это у тебя платок? Вот что, Михалуц. Если к Новому году не закончишь сани — уйду от тебя.

Это не сильно испугало старика — лет сорок она все пугала его таким манером.

Когда стало холодно и люди, здороваясь, уже перестали снимать шапки, старик пошел в свою каморку и начал не спеша готовить инструмент. Наточил большие и малые топоры, стамески, фуганки — так наточил, что поднесешь волосок к лезвию, подуешь чуток — и волосок разлетится надвое. Потом перенес орех в каморку и этим вконец разозлил старушку — она стала наведываться по вечерам в каморку и, видя, что орех еще цел, варила ему такие щи, что больше одной ложки не проглотишь.

До Нового года старик успел только распилить орех пополам, еще не начал даже обтесывать, когда зашел к нему Никулаеш, маленький зажиточный мужичок с принципами.

— Это сани?

— Пока орех, но, кажется, пойдет на полозья.

— В две недели будут с дышлом?

Старик посмотрел на него, удивляясь, когда он успел напиться с утра.

— Разопьете вы еще целый бочонок, пока мои сани будут готовы.

— Но зима ведь пройдет. Вот-вот весна, а летом ты и пучок зеленого лука не получишь за свои сани!

Улыбнулся старик — блажен, кто мыслит шляпой!

Когда на улице завыли метели, дед успел сделать только полозья, зато это были полозья, каких еще никто не видывал в этой деревне,— легкие, гладкие и блестящие, такие, что можно было бриться, глядя в них.

Никулаеш целый день подпирал стенки его каморки — давал за полозья, сколько запросит, остальное, мол, сделает у другого мастера. Но старику уже мерещились сани — целую жизнь тесал он бревна, окоченели все суставы, каждый палец в десятый раз обрастал мясом. Нет, он плотник, он видел уже свои сани, видел запряженную тройку, видел лица, улыбающиеся холодному вихрю, и смеялся, когда Никулаеш звенел монетами, перекладывая их из кармана в карман.

Ну, полозья... Да разве в санях одни полозья? За ними появились четыре копылы, такие гладкие и ровные, что соседские дети приходили играть ими. Потом — две березовые грядки, чуть вогнутые, и никто, кроме него, не подозревал, что именно они сделают сани такими стройными. И оставалось уже не бог весть сколько, да только чем ближе был он к своему чуду, тем больше донимала его старуха.

Чтоб не отравлять друг другу жизнь, старик сколотил себе кровать в каморке, смастерил печку, и теперь редко кто его видел. Степенный, молчаливый, он целыми днями стоял возле своего верстака и строгал, и тесал, и разговаривал со своими санями, и напевал им старые песни. И были во всем мире только он и его сани, и совершал старик величайшее таинство — таинство труда. А поздней ночью он подносил к висящему на потолке фонарю кусок отделанного ореха, и прожитый день казался ему таким же гладким, блестящим и весомым.

Со временем он даже счет потерял дням — ложился, когда руки коченели до самых ключиц, потом сразу просыпался, разглядывая ожидавшие его сани,— никогда в его плотничьей жизни щепки не летели так далеко. А когда снег перестал хрустеть под ногами прохожих, когда стреха каморки стала обрастать сосульками, дед начал высчитывать, когда он будет работать только обухом топора, собирая сани. Оставалось, по его расчетам, совсем мало, когда в один прекрасный день кто-то постучался к нему. Старик открыл. Вошла старуха. Возле ворот стояла гнедая лошадка, запряженная в ручные санки, и какая-то женщина выносила из их дома разный скарб и складывала в санки.

— Я ухожу.

Старик не понял. Сказал, разбирая фуганок:

— Только не потеряй ключи.

Но старуха не двинулась с места.

— Я совсем ухожу. Буду жить у сестры.

Упал с громким стуком неразобранный фуганок. Старик подошел, вгляделся в лицо, которое видел вот уже сорок лет ежедневно. Ужаснулся. Пустая, бессмысленная жизнь ждала его без этого лица, без этих рук. Потом посмотрел на незаконченные сани. Сани ждали его. Понял старик, что без старухи будет жизнь пуста,— без саней даже пустой не будет. И сказал старик ласково, тем мягким голосом, который бывал у него, только когда он говорил со своими санями:

— Я скоро кончу. Может, даже очень скоро.

— Нет, я ухожу.

В тот день старик не работал. Лег раньше обычного, но чуть свет уже стоял возле своего верстака и строгал при свете фонаря как ни в чем не бывало. Только к обеду вспомнил, что остался один.

— Ну и бог с ней...

Ушла, когда пришло время, и эта зима. Двор высох, и по обеим сторонам забора стали пробираться к свету тоненькие зеленые зубки подорожника. Вынес старик все заготовки и начал собирать сани. Работал будто в тумане. Часто пересыхало во рту — вероятно, давно не ел. Тогда он брал кувшинчик. Два-три глотка вина — и снова звонко стучит топор.

Впервые прочно легли полозья, потом, после каждого удара, сани все больше походили на те, давно задуманные, но старик старался не глядеть на них — этот миг он берег, им он должен был завершить все дело.

К обеду сани были готовы. Старик собрал стружку, отнес инструмент и разложил все по полочкам. Потом закурил трубку, вышел на порог, прислонился к косяку и посмотрел на сани. Красивые, стройные сани стояли у него во дворе, купалось в них солнце, и казалось, что над землею в этот весенний день пролилась еще одна капля света.

— Красивы, черти... Очень красивы!

И сел на порог — стар уж стал, нет мочи. Осмотрелся кругом — пустой, заброшенный двор. Сломал ветер черешню возле ворот, кошка выбралась через дымоход из избы и теперь, черная от сажи, голодная, ходит по крыше и, завидя прохожего, жалобно мяукает.

Поднялся с трудом, занялся хозяйством. Несколько прохожих остановились возле его ворот.

— Что это там?

— Сани. И хорошие сани. Вещь!

— Что толку в них! К чему они весной?!

Улыбнулся старик — блажен, кто мыслит шляпой!

К вечеру подмел сад, собрал сухие листья, поджег их. И, когда разгребал палкой жар, вдруг снова мелькнуло перед ним то белое, стройное и красивое,— то, что померещилось когда-то в детстве. Вздрогнул старик.

— А ведь это были не сани!

И снова стал крепок старик — сильный, каким и в двадцать пять лет не помнил себя. Потом, собирая палкой листья вокруг костра, долго обдумывал что-то, обтесывая, складывая и подгоняя слова. Сказал:

— Если это не сани, то, должно быть, телега. Телега — это великая вещь! Настоящей телеги еще никто не делал!

Когда сгорели все листья, старик поднялся и пошел в избу.

— А старуха вернется. Если, конечно, не вышла замуж.

1956

ЦАРСКИЙ ПОВАР

1

В первый день троицы ресторан был закрыт, и Метслов оказался совершенно свободен. Таких дней в году насчитывалось немного — всего два-три. И как в остальное время Метслов обязан был тянуть лямку, так в эти исключительные дни он обязан был отдыхать. И то и другое, в сущности, одинаково тяготило его: за свою жизнь он не научился использовать такой принудительный отдых. И от сегодняшнего дня тоже не ждал настоящей радости.

Правда, он поспал часов до девяти. Потом попытался посвятить свое время семье. Но сын и дочь уже успели уйти из дому, а жена умела только ворчать. В квартире было жарко и скучно до одури. Даже мухи казались особенно злыми и надоедливыми, несмотря на ранний час.

И Метслова охватил внезапный порыв гнева. Гнев этот уже давно копился в нем. Причиной тому была его физическая и духовная усталость. Теперь подспудный гнев этот мог легко прорваться наружу.

Он перестал отвечать жене и вынул из шкафа свой воскресный костюм. Метслову редко приходилось надевать его, он был еще не изношен, и потому не было надобности заводить новый. Костюм вышел из моды и стал ему тесен. Визитка с закругленными сзади фалдами обтягивала живот, непомерно высокий воротничок давил шею. Да и панама не отличалась свежестью. И только палка с серебряным набалдашником подходила к любому времени года и к любому возрасту.

Оснащенный таким образом, он молча вышел из дому.

Дойдя до конца своей улицы, он медленно пересек безлюдный парк и по склону холма спустился к центру города. Это был его

ежедневный маршрут. Этой дорогой он по утрам спешил на работу, а поздно ночью домой. Сейчас спешить было некуда, прогулка его не имела определенной цели.

Метслову хотелось лишь очутиться среди людей, которые не напоминали бы ему будничной обстановки. Хотелось увидеть движение, не похожее на ежедневное топтанье между кухонным столом и плитой. Хотелось попросту забыться.

Солнце заливало полуденным светом просторную площадь перед ратушей, небо над островерхими крышами сияло ослепительно. Но улицы были пусты, магазины закрыты, весь город словно вымер. Все, и стар и мал, выехали на реку, за город или даже подальше, в деревню. Жизнь сохранилась, быть может, только на окраинах — в грязных дворах, на болотистых огородах. А здесь, в центре, лишь изредка попадался одинокий прохожий, да и тот спешил уйти подальше.

Выходя на прогулку, Метслов не учел настроения сегодняшнего особенного дня. Не учел, что оно относится не только к нему, но и к другим. И его охватила вдруг гнетущая скука.

Как одинок, как покинут может быть человек, как мало у него родных и друзей! Среди будничной суеты он этого не замечает в такой мере, как в свободный день, когда времени девать некуда. Он не знает, что делать, за что взяться, особенно если он уже не молод и его не привлекают загородные места увеселений и чужие женские лица. Нет, полупьяное веселье Метслов и так каждый день видит. А женщины — их время давно миновало. Хотелось бы встретить человека, друга, товарища по несчастью среди скуки бытия... Но именно такого и не находилось...

Он все же совершил прогулку вдоль берега реки, от одного моста до другого. За бетонной стеной, окаймлявшей реку, прямо из воды подымались сочные кусты ивы и черемухи. На противоположном берегу виднелась такая же пышная кайма зелени. И в рамке этой зелени под ярким солнцем медленно текла река. Как все здесь разрослось с тех пор, как Метслов в последний раз видел все это! И как красиво трепетали серебристые листья на фоне темного блеска воды!

Но эта красота почему-то вызывала грусть и еще более острое ощущение одиночества.

Дойдя до нового моста, Метслов по внутренней аллее парка повернул назад. Под высокими деревьями навстречу попадались лишь редкие прохожие: старуха с детской колясочкой, мальчик с удочкой, девочка, продававшая букетики фиалок. «Но кому их тут предложишь? — сочувственно подумал Метслов.— Здесь и себя-то некому навязать в собеседники. А если и встречался кто-либо, пропадала охота к этому».

По аллее, вертя солидной палкой и надвинув шляпу на глаза, приближался человек в коричневом костюме. Метслов знал этого человека — это был служащий уголовной полиции, часто посещавший их ресторан. Поравнявшись, оба приподняли шляпы.

Но и этот человек, видимо, испытывал скуку. И Метслов удивился: неужели и для него этот день особенный, с его точки зрения — лишенный содержания, бесцельный? Неужели в этот день вдруг перестали проявлять себя инстинкты человеческого эгоизма, зла и преступности? Но это так же невозможно, как если бы во вселенной перестали действовать законы физики...

Когда-то Метслов слышал, как его подручные шептались: говорят, у этого полицейского в палке спрятана обоюдоострая шашка; в случае нужды он вытаскивает ее и колет! Если так, то за этой соломенной шляпой и скукой все же кроется что-то более глубокое... И Метслов желчно усмехнулся.

Через некоторое время мимо прошел еще один знакомый. Это был журналист из местной газеты. Сразу видно, что человек провел беспокойную ночь: походка неверная, глаза стеклянные. Бог знает в какой дыре он пьянствовал. А теперь, в этот праздничный день, все питейные заведения закрыты и опохмелиться негде!

Метслов инстинктивно презирал подобных типов. Вот оно — их образование, умение разбираться в политике, их литературные таланты! За всеми их мудрыми передовицами кроется одна только мысль: как бы надраться пьяным! И Метслов отвернулся, чтобы журналист не заметил его и не стал просить денег взаймы.

Но еще и третьего знакомого суждено было ему встретить. Его оборванная фигура металась от одного кустарника к другому. Он присаживался на корточки, отгибал ветки, внимательно вглядывался, вздыхал и шел дальше. О, этого человечка Метслов знал особенно хорошо. Он работал когда-то тачечником в их заведении, потом начал задумываться над сложными вопросами жизни и вот до чего теперь докатился. «Йонас, чего ты ищешь?» — спрашивали у него. «Ищу самого себя»,— отвечал он озабоченно. «И не находишь?» — «Не нахожу! Только что был здесь, а теперь не нахожу!»

Плечи Метслова вздрогнули от отвращения. Он вышел на площадь между полицейским управлением и банком. Что еще говорит о действительности так реально, ощутимо, как эти учреждения! Но именно под их стенами бродит человек и ищет самого себя...

Метслову надоело даже гулять. Встретившиеся контрасты раздражали, утомляли. Хотелось спрятаться от настроений этого особенного дня. По-настоящему побыть одному.

Он дошел как раз до своего ресторана, расположенного в переулке, и на минуту остановился тут. Вход с улицы был заперт,

окна закрыты ставнями. Но Метслов вошел в ворота и пересек двор. Круглые булыжники двора даже в такой теплый день выдыхали сырую прохладу. Окружающие двор высокие стены были грязны, а окна тускло безжизненны, словно закрытые бельмами. Дойдя до конца двора, он отпер дверь кухни своим ключом и снова запер ее за собой.

2

Будь сейчас утро рабочего дня, ему сразу же пришлось бы надеть поварской колпак, халат и приступить к работе. Он сразу растворился бы в этом шуме и шипении, работая сам и командуя другими.

Сейчас и здесь царила тишина нынешнего особенного дня. Лишь на свисавшей с потолка липкой бумажке жужжала муха и из крана капала вода. Плита остыла, и почти выветрились приторные кухонные запахи.

Метслов прислушался к мушиному жужжанию и капанью воды. Потом бросил шляпу и палку на стол и, словно ища кого-то, заглянул в другие помещения.

Напротив, через коридор, за пыльными портьерами находился большой общий зал. Сквозь закрытые ставни и выгоревшие шторы кое-где пробивались лучи света, дрожавшие на паркете. Стулья ножками кверху были нагромождены на столах. И весь зал со своими золочеными стенами и потолком имел сейчас запущенный вид.

Как быстро некоторые помещения теряют запах живой жизни! Еще только вчера здесь царили болтовня, тщеславие, наглость, погоня за деньгами и жажда забвения. А проходит немного времени — и зал этот становится похожим на склеп Тутанхамона, простоявший замурованным сотни лет...

В одном конце зала была тоже отгороженная портьерами буфетная со своими запертыми шкафами и витринами. А в другом находились подмостки для музыкантов, с еле различимыми пюпитрами и прислоненным к стене футляром от контрабаса. А дальше — выходящие в узкий коридор отдельные кабинеты, сейчас совершенно темные.

Да, этот коридор — словно линия окопов между двумя фронтами. По одну сторону ресторан, с его хотя и фальшивой, но все же внушительной роскошью. По другую — кухонный мирок, живущий своей особой жизнью.

Их можно, пожалуй, сравнить со сценой и зрительным залом, подумал Метслов. На одной стороне создавали и сервировали пищу, чтобы было аппетитно, на другой — вкушали и переваривали ее. Коридор между ними — словно рампа.

«Какой из этих миров важней?» — спросил себя Метслов. Это зависит от того, с чьей точки зрения смотришь, сам же ответил он.

Конечно, эти господа там, в зале, считали себя неизмеримо более важными. Ведь для них и за их счет и существовало это заведение. Это были хозяева жизни, а те, что за портьерой,— только безымянные илоты, которым лишь отдавали приказания. К их личности никто не испытывал интереса.

Но если взглянуть со стороны кухни, то население зала казалось полупьяным скопищем чудаков. Если они не знали кухонных обитателей, то там, в кухне, их самих знали прекрасно. Перед ними сгибались в поклоне и их надували при всяком удобном случае.

Гримаса досады пробежала по лицу Метслова. Уж раз ты сам винтик этого механизма, ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, про себя можно покритиковать его и дать ему оценку. Оценку невысокую.

Он вернулся на кухню, раздраженно сорвал с себя воротничок и опустился в кресло, стоявшее у стола.

Кресло это целый век красовалось в одном из кабинетов. Но, когда плюш уже безнадежно вытерся и одна из ручек сломалась, оно в конце концов попало в кухню. Метслов привык отдыхать в нем, когда ноги чересчур уставали. Отсюда можно было обозревать всю кухню и даже бросить взгляд во двор. Так Метслов уселся и сейчас.

Вокруг было его царство: прямо перед ним — ряд плит с артиллерией котлов, сковородок и вертелов, справа и слева — столы для сервировки, посудные полки, тазы для мытья посуды. И как Метслов ни требовал чистоты, все же картина была достаточно неприглядной; ее дополняли неистребимые, вызывавшие тошноту запахи.

Здесь в обычные дни суетилось несколько помощников повара, несколько судомоек и, мешая всем, болтался глупый поваренок. Мелькая фрачными фалдами, входили и выходили кельнеры со своими подносами. Их Метслов не особенно жаловал. На той половине они приучены были вести себя смиренно, здесь же давали волю жульнической наглости. Впрочем, тут же подумал Метслов, в этом театре требуются и такие актеры.

Тишина праздничного дня действовала расслабляюще, и Метслов протяжно зевнул. Вода продолжала монотонно капать, а муха жужжать на липучке. Метслов встал, убил муху и крепче завернул кран. Потом снова уселся, опершись на сохранившуюся ручку кресла, и закрыл глаза.

Но он все же не заснул, а лишь как бы перенесся в другую явь. Вместо всей этой кухонной реальности перед ним возникла вся его связанная с кухней жизнь.

Кто-то недавно искал самого себя. До такой глупости он, Метслов, не доходил. Но это не значило, что он действительно обрел себя. Глядя со стороны, подчас ясно видишь другого человека, но с самим собой дело обстоит далеко не так просто...

3

Жизнь Метслова и его взгляд на жизнь вовсе не ограничивались грязной кухней за стенами кабака. Нет, хотя вокруг толкался всевозможный человеческий сброд, но он жил среди всего этого собственной жизнью. На своем веку он повидал немножко больше, чем все эти люди, и даже по-своему участвовал в событиях мировой истории. Но именно это и усиливало в нем чувство одиночества и пессимизм.

«Бывший царский повар» — так рекламировали его здесь. Пускай, он ничего не имел против. Под этим предлогом его и держали здесь, и даже платили больше жалованья. В этом была его рекламная ценность — с точки зрения ресторана. Но и сам он, Метслов, и его брюзга-хозяин, такой же оптант, как и он, знали, что основа этой рекламы несколько фальшива. Метслов никогда не был поваром у самого царя. Скорее можно было сказать про него: повар великого князя или, еще вернее, любовницы великого князя. У нее он действительно служил в поварах. И эта любовница проживала, конечно, не в царском дворце, а в гораздо более скромном частном особняке. Но когда им там, в больших дворцах, надоедали их трапезы, они в иную безумную ночь прикатывали к той любовнице. Иногда и сам царь вместе с другими. Он заглядывал тогда на кухню и говорил, подмигивая: «Послушай, братец, а не соорудить ли нам печеной картошки с селедкой? Сделай одолжение!»

Конечно, о таких вещах здесь вспоминать не стоит. Лучше приосаниться и вести разговор совсем в ином духе. И как бы мимоходом пожалеть, что множество орденов и медалей, которые сам царь после особенно удачных парадных обедов собственноручно прикалывал к его груди, пришлось оставить *там*. (Ну, кое-какие медалишки у него и вправду имелись!)

Нет, и тех господ он отнюдь не переоценивал. Но царя не стало, великого князя не стало, любовницы — тоже. Уже десять лет назад. И он не бросит им вслед камень. Ведь он — один из тех немногих, кто все еще живет за счет осколков их величия.

Именно сравнивая нынешних господ с прежними, он ясно видел всю значимость совершившегося исторического перелома.

Эти здешние выскочки выросли на салаке, толокне и овсянном киселе. Им и сейчас следовало бы подавать кровяную колбасу

и суп с клецками. Но куда там! Как-никак это была новая аристократия! Кроме студентов и всякой богемы, сюда заходили и крупные коммерсанты, депутаты парламента, а подчас заглядывал и какой-либо министр. Ресторан находился, правда, не в самом центре, но у него была своя слава. Опять же: царский повар! В этом и заключалась смехотворность положения.

Он наблюдал иногда из коридора, как они входили со своими дамами, как заказывали кушанья и как ели. Они считали себя такими важными, такими богачами, этакими светскими львами... Тогда Метслову хотелось швырнуть им на стол все равно какую стряпню. А они бы только причмокивали да хвалили: ведь блюдо приготовлено царским поваром и название у него французское.

Вкусы их, как и их образ мыслей, раздваивались. С одной стороны, это были заядлые националисты — подавай им чисто национальные блюда: шницель по Нуустаку, котлеты по Каркси-Нуйа... Но тут же этакому господину вдруг покажется гораздо шикарнее, если какую-нибудь дрянь назовешь по-французски. Дашь ей название, которого сам черт не разберет. И тогда жесткая говядина сразу покажется нежной, словно ангельская плоть.

Но для Метслова все эти границы были тесны — и национальные и прочие. Его мечты неслись дальше. Он ведь был мечтателем, сочинителем, поэтом у плиты. Поэтом в подлинном смысле этого слова.

Те, кто видел его бледное, одутловатое от кухонного воздуха лицо и располневшую к старости фигуру,— что знали они о его душе? Для этого им самим надо было бы подняться до его уровня.

Музыка — вот, пожалуй, наиболее близкая ему область. Но профессия его не давала возможности посещать концерты. До поздней ночи слышал он лишь доносящиеся из зала сентиментально-ноющие звуки кабацкой музыки... В иное счастливое утро ему удавалось почитать. Правда, случайно и отрывочно, но и этого было достаточно, чтобы освежиться духовно. Он читал главным образом стихи. За свою долгую жизнь он, учась самоучкой, дошел до этого. Он дошел до настоящей, высшей поэзии, до понимания ее сущности. Кусочек отсюда, кусочек оттуда, добытые словно нечаянно,— и все же они освещали его мир, где шипели сковороды и булькали супы в котлах. Это помогало ему понять самого себя.

Метслову хотелось и свою жизнь сделать произведением искусства — с поварской точки зрения. Создать нечто непревзойденное, нечто такое, что сохранится навеки, хотя и давно съеденное. Увековечить свое имя в гастрософии, как Брилла-Саварэн, как Гримо де ла Ренье, Дюма-старший или лорд Сэндвич (о, он знал их!). В своей области творить историю! «Но для кого?» — спросил он себя опять. Не стбят этого ни те, что остались в прошлом, ни эти,

нынешние. Это сознание усиливало у Метслова апатию. И, кто знает, может быть и у того пьяницы-журналиста стремление забыться вырастало из такого же чувства. Он не хочет и не может предпринять что-либо другое. Но если это так, то и осуждать его особенно строго нельзя.

В этой палке, что зовется поваром Метсловым, тоже скрывается свое оружие. Но никто этого не замечает и, вероятно, никогда не заметит...

Воюя так со своими мыслями, Метслов вдруг почувствовал приближение старости. Коварно, исподтишка подкралась она к порогу кухни. Еще ничего не замечаешь, и вдруг чувствуешь, что начинаешь пригорать. Все больше и больше. И в конце концов от тебя ничего не останется, кроме чада в воздухе. И величайшее творение твоей жизни так и не будет создано!..

Солнце уже повернуло и опустилось низко. Лучи его поверх ворот заглянули в окно кухни. Помещение наполнилось желтым переливчатым светом.

Метслов все еще сидел за столом и следил за игрой лучей на поверхности большого медного котла. Там словно разгорался пожар: сначала зажглась лишь маленькая точка, постепенно разрастаясь, она превратилась в огненный круг, отбрасывавший острые трепетные лучи, потом все слилось в сплошном ярком пламени... и снова стало бледнеть, погружаясь в сумерки.

Подходил к концу и этот особенный, небудничный день.

1957

ИВАН

1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться...— Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении.— Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку,— у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему.— Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет,— клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев,— произнес он тихо и с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла.— Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки.— Ну, а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый.

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вэ-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я.— Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти — одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я.— А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял.— Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него.— Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь,— упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен,— сказал я раздраженно.— И, пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?..— с трудом сдерживаясь, спросил я.— Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил.— А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему, а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает.— Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?..— переспросил Маслов удивленно.— Какой Бондарев? Майор из оперативного, поверяющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет,— невольно улыбаясь, сказал я.— Это мальчик, понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов.— Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела.— Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво.— И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял...— Я на мгновение замялся.— Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»,— передразнил Маслов.— На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он.— И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому,— вдруг решительно и громко произнес мальчик,— он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились

иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе,— я доложил! Приказано посадить тебя в землянку,— приврал я,— и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню.— Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь,— не ответив, потребовал мальчишка,— или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать,— твердо заявил я, стараясь подавить волнение.— Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, докладывай,— с каким-то безразличием сказал Маслов.— Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Не солидно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно,— прервал меня Дунаев.— Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой? Говорите с «Волгой»,— сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно.— Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке.— Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом,— промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть,— поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2 ...4, 5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода,— не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан,— а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послюнив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру,— не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть,— и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим, только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего доппайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично,— как говорил наш командир полка, «для профилактики»,— каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может, решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть,— в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже +15, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом, разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил стоя у пулемета и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночку последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде,— подтвердил другой не очень уверенно.— Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок,— неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами).— У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует бедолага,— понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет цигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо.— Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так,— мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я,— глухим голосом упрямо объявил Юрлов.— И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь спрашивает, как с подчиненного,— усмехнулся пожилой.— Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает.

Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел,— сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас не знаю. Нервность во мне какая-то,— огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый, темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей,— несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь,— сказал мальчик, виновато улыбаясь.— Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что, вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, про-

сто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу,— мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько,— только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство.— Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьицем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался,— задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтоб ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик.— А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу,— вздохнул мальчик.— Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат,— отказался Холин.— После водки не в цвет.

— Тогда поехали,— вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол.— Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем,— с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место.— Сейчас поедем,— повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал,— словно оправдываясь, пояснил Холин.— Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения.— Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество,— отшутился Холин.— И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!..— снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов,— тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.— Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя,— заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромен, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя,— может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они запились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП и оказывать содействие.

— К вам,— говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь.— Немца бы посмотреть.

— Ну что ж... посмотри,— помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий,

кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз,— не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на мине, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы...— закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то? — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой.— Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся — и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз.— Вздохнув, Катасонов смот-

рит на часы и спохватывается.— Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль,— наказывает Холин.— И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба; но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает.— Посмотрите все хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежеотрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда с небольшого пригорка видно все как на ладошке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом.— А-а, Иван!.. Много будешь знать, скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и кажется, конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи; верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт,— угрюмо повторяет Чупахин.— Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно.— На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне

боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я.— А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь и не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами,— понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер,— погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах,— все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать», а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь»,— заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству,— я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия,— группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру.

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла». Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходящая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться.— Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи,— советует он,— авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев,— благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь.— Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется.— Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом.— Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх, и ночка будет — как на заказ!.. Все же господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго.— Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка темна,
А я боюся,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван!..

— Я,— слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь, отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное,— говорит мне Холин.— Журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан.

Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уго-

варивали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне: «Клевые тузики!» — шепчет он.

Вот черти — пронюхали! В батальоне пять рыбачьих плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь,— замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу,— улыбаюсь я.— А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда — пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться,— говорит мне Холин,— ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали,— кивает на меня Холин,— охотничек! А зачем тебе на тот берег?..— И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? По вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять,— говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время.— Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!..— раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите,— указывает на меня Холин,— завелся с полоборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам,— вступается мальчик примиряюще.— Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется,— натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин.— А ты здесь побудь,— говорит он мальчику.— Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются.— Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте; вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки,

когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек,— прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю,— обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза.— Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев,— бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова.— Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож,— обещает ему Катасонов, осмотрев финку.— Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я.— А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж,— соглашается наконец мальчик обидчивым голосом.— А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож и идем,— торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я.— Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем,— подталкивает меня Холин.— Я тебя возьму,— обещает он.— Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось,— шепчет Холин.— Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рас-

сказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку,— трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его.

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял,— шепчет Холин, вздыхая,— да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борты. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четырех человек, не более.

— Вериги эти ни к чему.— Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо.— Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин.— Подайте!..

Мы «подаем», он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня,— разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что, того и гляди, зальется вода; потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет,— соглашается Холин.— Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берет! Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку,— шепелявя, усмехается Катасонов.— Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом под утро ребят вытащим,— нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин,— пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет.— Холин указывает рукой вниз по течению.— Если

при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем,— об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно.— Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся.— Он похлопывает меня по плечу.— Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись,— просит меня мальчик.— Я нечаянно, честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же,— отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах.

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я.— А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то,— соглашаюсь я.— Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?!

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно.— Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается.— Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно.— Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь,— недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок.— От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин.— Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель,

выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо приподнимается.— Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге,— объясняет Холин.— Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг...— обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы, что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами,— быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят,— заявляет Холин.— Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаясь собраться с мыслями.— Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно,— говорит Холин задумчиво.— Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два,— уверяет Холин.— Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне,

конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита. Колбасова,— подумав, говорю я.— Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный; того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься,— поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху.— Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабе! Решил осчастливить какую-нибудь дуреху,— ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два, ну, максимум через три часа,— подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку,— объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня,— отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометных и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела.

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плот-

па? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением.— Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки колометров,— невесело вздыхает Холин.— Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел,— с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю,— шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит.— Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время,— взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего,— ободряет он.— Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие, все штопаные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовый, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола,— говорит он.— Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали,— говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится матерный шепот — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвуют около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удив-

ляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай,— предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то,— тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека.— Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат наизготовку.

— Садись ровнее,— шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой.— Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся команди-

ры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край,— вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахару и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34,— шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко,— еле слышно признается он.— Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух, и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай,— вспомнив, шепчу я,— у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та, не знаю, где сейчас...— Голос его дрогнул.— И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега.

Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле, еще миг — и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку,— ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно,— отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежа его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков»,— догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы,— быстро шепчет Холин и увлекает его вперед.— Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают,— с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса.

Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он заметен на песке метрах в трех вправо от нас,— очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду,— чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя,— вдруг шепчет Холин.— По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик.— Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу,— упрашивает Холин шепотом.— Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик.— Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи,— помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его.— Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи,— обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания!», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так, что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!..[1]

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в редепькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедля убить их! Я завалю

---

[1] — Проклятая погода! И какого черта...
— Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. *(нем.)*

их как миленьких одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он, словно тисками, сжал мне предплечье — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать,— после короткой паузы снова зашептал я встревоженно.— Если они обнаружат лодку...

— Если!..— в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить.— А если застукают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак,— подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник,— произнес Холин раздумчиво.— Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог,— вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин.— Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохранятся, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокойство: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно, услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно.— Мне вот лично к мамке хочется. Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом — мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел,— наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу,— подтвердил я дрожащим голосом.— А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки,— заметил я не совсем уверенно.— Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев,— вдруг прошептал Холин,— но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный.— Садись с кормы,— взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин.— Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно, желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го,— выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел,— наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а язык где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой язык?

— Так, говорят, вы за языком отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник? — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать.

— Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он.— И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за языком! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рас-

сматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь.— И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа,— и все было тихо.

— Что прошел? — спросил Холин с раздражением.— Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!..— Он убрал карту со стола.— Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем,— взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч...— вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?..— спросил он, закуривая.— И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин.— Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила,— мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.» Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды, в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое, мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я.— Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив,— здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черпыми хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить,— расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику.— Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю,— вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее.— Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам.

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое.

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего, к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник — я, понятно, не мог. И, не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

9

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал второго мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр», относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков,

Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт,— вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№... гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал

яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

... установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Клямм и фельдфебелем Штамер «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

Октябрь — декабрь 1957 г.

НАСТИНЫ ДЕТИ

1

Федор идет по раскисшей колее, тяжёло перебрасывая длинные ноги в высоких валенках с калошами, размахивая руками. Полушубок расстегнут, промасленная фуфайка обвисла у ворота, открывая темную от металлической пыли шею. Впереди, за поворотом,— село. Длинная россыпь изб с заснеженными крышами, над каждой трубой колеблется розовый в заходящем солнце дым. Сегодня суббота. Ветер, сильный, сырой, так и толкает встречь, мешает идти. Ноги устали месить раскисшую бурую кашу — талый снег пополам с глиной, валенки промокли, ноют пальцы. И все-таки хорошо! Федор оглядывается по сторонам, на обледенелые, мокро и розово блестящие поля, улыбается. Сейчас помыться, переодеться, а там можно и в клуб сходить.

Он взбегает на крылечко крайней неказистой избы с крытым двором, паскоро шаркает калошами о веник, проходит в избу.

В избе — жаркий парной воздух, в закутке между окном и печью дымится корыто с намоченным бельем, возле, на полу, еще огромный ворох пеленок, мужских рубах, цветных наволочек, исподних юбок. Мерно покачивается раскрашенная, как деревянная ложка, зыбка; в ней спит, открыв крошечный бледный ротик, трехмесячная Маша. На длинном сундуке, застланном лоскутным одеялом, Настя одевает полуторагодовалого Леньку и толкает изредка зыбку. Ленька молча сопит, вырываясь из рук матери, трясет взъерошенными прядками волос. Услышав, что хлопнула дверь, Настя оглядывается.

— Батя пришел! — говорит она. Надевает на Леньку длинную, сшитую, как платьице, бумазейную рубаху, сует в одну руку

сушку, в другую — зеленепькое деревяпное яичко, приговаривает: — А вот Ленечке папы дали, кушай, батюшка! А вот Ленечке яичко дали, он играть станет...

Ленька сжимает сушку и яичко, внимательно, почти не моргая, смотрит на высокого чумазого человека. За неделю он отвыкает от отца, тем более что Федор и в эти-то малые часы, что бывает дома, почти не занимается с ним. Не умеет он, да и неохота.

Насте едва исполнилось девятнадцать лет, поженились же они, когда Федору шел двадцатый год, а ей не было и семнадцати. Мать Федора вздыхала, глядя на них: дети малые, несмышленые... Федор почти не изменился за эти два с половиной года: все та же юношеская припухлость в уголках губ, мальчишеский хитроватый и горячий взгляд светлых глаз, а про Настю сразу скажешь: женщина, детная. Мягкие тонкие губы озабоченно сжаты, лицо с выступающими скулами и желтыми пятнами между бровей и над верхней губой спокойно и деловито. Беленькие, мокрые после бани волосы прилизаны, заплетены в косички и заколоты.

— В баню пойдешь?

Федор кивнул, продолжая стоять посреди избы в полушубке и калошах, словно чужой. Он не любил попадать домой во время уборки, стирки, вообще каких-то домашних дел, которые время от времени затевала Настя.

— Раздевайся, сейчас маманя вернется, и пойдешь. Я покуда белье соберу.

Вошла мать Федора, высокая, как и сын, крепкая старуха с черными усиками над верхней морщинистой губой. Узелок с грязным бельем она бросила в общую кучу к корыту, произнесла коротко:

— Постираешь.

Сняла платок и перед длинным темным зеркалом, висевшим на стене, начала раздирать гребешком жидкие волосы.

Федор париться не любил, вымылся быстро. Когда он вернулся, на столе уже стояли кринка с молоком, большая миска со щами и каша, запеченная в глиняной плошке. Мать сидела прямо, черпала деревянной ложкой щи, громко хлебала. Настя, видно, уже наспех поела и возилась у корыта. Голова ее повязана теперь, как и у свекрови, платочком, концами назад, одета она в темную ситцевую кофточку с завернутыми выше локтей рукавами и кубовую, еще из материного приданого, длинную юбку. Она быстро перебирала белье в корыте красными руками, низко склоняя маленькое скуластое лицо.

Мать подняла с сундука Леньку и, посадив на колени, принялась кормить щами. Федор неловко ткнул сына пальцем в бок

и улыбнулся ему, когда тот, закинув голову, начал снова глазеть на отца.

— Не ко времю игрушки затеял,— сердито оттолкнула его мать.— Дай поесть парнишке.

— Пущай поест,— равнодушно согласился Федор, похлебал щей и поднялся. Он достал новую шелковую рубашку, наглаженные брюки, снял с зеркала галстук.

— Куда? — настораживаясь, спросила мать.

— В клуб.

— Не пойдешь!

Федор молчал, тщательно зачесывая назад волосы, глядя в темное кривое зеркало, где расплылось широкое румяное лицо.

— Не пойдешь! — повторила мать, снимая с колен Леньку.— Настька, возьми мало́го!

Настя, вытерев руки, подошла и, крепко прижав к себе сына, сумрачно глядела на Федора.

— Не пойдешь! — крикнула мать снова и рванула из рук Федора галстук.— Хватит мне сраму от людей! Не парень ведь уже, кобелина этакий. Ивушка-то Сысов ноги обещал поломать тебе за Веруньку.

Федор оперся плечом о стену, сунул руки в карманы брюк и глядел на жену и мать, сердито и смущенно улыбаясь.

— Молодой я еще, не нагулялся! — сказал он.— Вот тридцать годов сравнятся — и сам никуда не пойду. А покуда дома ты меня, маманя, не удержишь, хоть розорвись!

— Розорвись? — крикнула мать.— Не удержишь? А эти? Эти? — Она вскочила, вырвала из рук Насти Леньку, стала совать его Федору.

Заколыхалась люлька, раздались сиплые, поскрипывающие звуки. Настя затрясла зыбку, быстренько запела что-то, однако маленькое тельце недовольно корчилось, выдирались из свивальника ручки, широко раскрывался ревущий рот.

Федор слышал грубый голос матери, шепоток жены, плач ребенка. «Зачем женился?» — в который раз тоскливо подумал он, оглядывая избу и этих трех совсем лишних здесь — женщину, чужую ему сейчас, и маленьких, надоедных...

— Уйду! — глухо выдавил он из себя.— Тошно, заели вы меня совсем! Ни дыхнуть, ни охнуть...— Он пошел к двери, схватил шапку, полушубок, начал торопясь совать ноги в валенки.

Настя выпрямилась, сразу покруглели и стали заметными на маленьком личике светлые глаза.

— Феденька!..— побледневшими губами попросила она.— Феденька, родимый, не уходи-и! — заголосила она совсем по-детски жалко и бросилась к нему, цепляясь за воротник полушубка.

— Уйди, зануда! — зло выкрикнул Федор и с силой оттолкнул ее.

Выскочил на улицу. В сердце мешались раскаяние, жалость, злость.

В лесу за линией болезненно белели редкие березы, небо тяжело навалилось на черные голые ветви, воздух был густой и сырой, дышалось с трудом.

Федор постоял, тиская в руке стянутую с головы шапку, кусая губы.

— Эх, жизнь! — простонал он.

2

Шел октябрь. Порошистый снег уже прикрыл жесткую, как проволока, траву. Ковш экскаватора, пошаркав по земле, зацепил зубьями под корни ближний кедр. Некоторое время и кедр и рукоять экскаватора дрожали в напряжении, испытывая, чья возьмет, потом что-то хрястнуло, кедр качнулся и, разрывая корнями мерзлую дернину, продрался ветвями сквозь гущу других и рухнул. Перед кабиной экскаватора поднялся, заслонив на мгновение свет, мелкий снежок, из рваной, в полметра глубиной, ямы пошел пар.

Трактором оттащили кедр в сторону, стрела экскаватора закачалась над следующим.

Работали, пока было светло, пробили небольшой коридор, метров сто в длину и метра четыре шириной. Ночевали у костра. Варили кашу с салом, пили спирт, закусывая черствым хлебом и кусками соленого омуля.

Федор полулежал на полушубке, брошенном на землю, подвинув ближе к огню длинные ноги в замасленных ватных штанах. На голове грязная шапчонка блином, из-под которой вихрами торчат по бокам русые волосы. Лицо его огрубело, но по-прежнему красиво.

Прошло почти шесть лет с тех пор, как неожиданно, от сердечного приступа, умерла мать Федора. Он продал дом, забрал жену, детей и уехал. Первые два года хватался то за одно, то за другое и наконец вот попал в тайгу на строительство железной дороги. Уже три года работает он здесь в мехколонне экскаваторщиком. Семья его живет километрах в двадцати от места работы, в поселке. Они поставили свой домик, завели корову, полгода назад у них родился еще сын. Настя мечтает остаться тут навсегда. Федору же работа здесь нравится тем, что он снова чувствует себя совсем свободным. У него много приятелей, по воскресеньям они

уходят в тайгу, охотятся. Домой он заглядывает не часто, дети и жена привыкли к этому и приходы его воспринимают как нечто необычное, даже нежелательное: трезвым дома Федор бывает редко.

На следующий день начали работать еще затемно. До обеда перед глазами Федора монотонно перевертывалась земля, падали деревья, летел снег, и все звуки заглушало неторопливое потрескивание выхлопов и лязг ковша. В обед все стихло, и тишина казалась ему непривычной и утомительной.

Неожиданно далеко-далеко, там, где кончалась проезжая дорога и начиналась просека, послышалось тарахтение машины. Скоро на просеке показались двое. Федор узнал их: один был сосед его по поселку шофер Иван Павлович, другой — экскаваторщик, работавший раньше на отсыпке земляного полотна неподалеку от поселка.

Иван Павлович еще издали кричал, чтобы помогли тащить мешок с хлебом. Федор пошел навстречу, принял мешок, отнес к месту стоянки. Иван Павлович, свернув «козью ножку», закурил.

— Собирайся,— кивнул он Федору.— Настя твоя захворала, в больницу отвезли. Вот мужик сменит тебя.

Федор не сразу понял, чего он от него хочет, когда же понял, пожал плечами:

— А я что? Не врач... Заболела, небось вылечат.

— Так ребятишки ведь остались одне... Меньшой орет круглы сутки. Леньку измучил. Моя Галина к ним захаживат, да все не свой глаз.— Иван Павлович помолчал, потом, понизив голос, сообщил: — Помират Настя-то. Рак у ей...

Федор медленно прислонился к гусенице бульдозера.

— Вот оно что...

Приехали в поселок. Иван Павлович пошел в контору, Федор двинулся к дому. Постоял, держась за шаткий, из длинных жердей (не мужскими руками связанный!) загород, вошел в сени. С улицы в нос ударил влажный запах картошки, рассыпанной для просушки; на столике — кринки с молоком, аккуратно обвязанные чистой марлей, на полу валяется красный с разводами Настин платок. Со слабой надеждой Федор открыл дверь в избу.

— А-а, а-а! — устало и безнадежно плакал в зыбке меньшой.

Возле сидел семилетний Ленька и тряс зыбку. На широком, чисто застланном деревянном топчане спала, свесив руку, Маша. Рыжие жиденькие волосенки растрепались по подушке, на щеках грязные разводы от слез.

Услышав шаги, Ленька вскинулся, маленькое измученное лицо осветилось потом потухло. Ничего не сказав отцу, он опустил голову и снова принялся трясти зыбку.

Федор медленно обшаркал ноги о чистую дерюжку возле двери, ступил на белые, скобленые половицы. Он отвел Ленькину руку и, остановив зыбку, разглядывал сжимающееся в усталых судорогах тельце. Глаза сожмурены, рот равномерно хватает воздух, издает хриплые звуки, кулачки сжаты и поднимаются и опускаются в такт с дыханием.

— Чего орет? — хмуро спросил Федор.

— Сиську выплакивает,— серьезно объяснил Ленька.— Мал еще. Не отняла его мамка-то.

— Не желат коровьего молока. Живот ему, видать, с него пучит,— сказала неслышно вошедшая соседка, тетя Галя.— Еще не подкармливала его Настя...

Она помолчала, послушала, как, задыхаясь, кричит в зыбке младенец, и равнодушно сказала:

— Видать, помрет. Мал еще, куда он без матери!

Губы Леньки скривились, он посмотрел на отца расширенными, заблестевшими глазами, как будто сейчас только понял, что отец все-таки близкий человек, обязанный защищать их и отвечать за них. Федор молча принял этот детский взгляд и, неловко вынув младенца из мокрых тряпок, поднял на воздух, оглянулся, ища, во что бы завернуть. Сдернул со стены чистый утиральник, накинул на голые скрюченные ножки. Распахнул пропахшую соляркой телогрейку, сунул обмякшее тельце к теплу, к груди. Ребенок замолк и начал жадно искать ртом, выворачивая голову.

— Дай-кося бутылку ему,— прошипела тетя Галя и сунула четвертинку с молоком Федору.— Может, поест, болезный.

Маленькие полопавшиеся губы нашли соску и брезгливо вытолкнули ее, потом нашли еще раз, потянули, потянули снова. Молоко в четвертинке булькало, убывая, крошечные пальцы шарили по рубахе.

— А ты расстегни, расстегни рубаху-то,— тем же свистящим шепотом посоветовала тетя Галя.— Пущай он за голо тело подержится. Соскучал небось.

Федор расстегнул рубаху, мокрые холодные пальчики скользнули по груди, ощупали гладкое безволосое тело и успокоились, доверчиво прижавшись, обманывая себя. Губы все еще сосали, а глаза уже были плотно закрыты — он спал, посасывая, всхлипывая и вздрагивая во сне.

— Вот что,— сказал Федор, хмуро взглянув на Леньку и почему-то избегая называть сына по имени.— Собери какие есть тряпки да молока литру поставь в сумку. Я к матери поеду, его с собой возьму... Да мне, если есть, кусок хлеба сунь,— добавил он, помолчав.

Ленька вышел во двор, принес сухие пеленки, погрел одну у плиты и протянул отцу:

— Заверни. Не то мамка ругать за утиральник будет.

— Не заругат! — отмахнулся Федор.— Давай складывай все поскореича. А ты, тетя Галя, пригляди за ними и за коровой. Я заплачу...

— Пригляжу,— без охоты согласилась тетя Галя.— Только у тебя Ленька — хозяин. Справится.

Федор зашел в контору мехколонны, взял аванс сто рублей. Двадцать рублей попросил передать тете Гале для ребят, остальные взял с собой, потому что в городе он намеревался задержаться и денег на лечение Насти не жалеть.

Несколько часов он ехал в кабине грузовика до ближайшей железнодорожной станции, потом более суток ехал в поезде.

Соседи по вагону поглядывали на него с удивлением, даже с опаской: здоровый молодой мужик, весь пропитанный запахом солярки,— и ребенок... Но видя, что Федор совсем беспомощен, сначала одна женщина подошла с расспросами, потом другая. Кто-то запеленал малыша, кто-то дал несколько кусков сахару и велел намять его в чистую тряпочку с хлебом и давать сосать, кто-то посоветовал давать сладкого чая.

В больницу их пустили сразу. То, что Настя при смерти, Федор понял, даже если бы его не предупредил врач. Лицо у нее было желтое, взрослое, глаза смотрели строго и спокойно. Федор привык считать ее все той же девчонкой, какой она была восемь лет назад, когда выходила за него замуж. Хлопотливая, хозяйственная, жалостливая до детей, но все это выходило у нее как-то по-детски, несерьезно. Может, поэтому Федор не стеснялся ее обижать. А теперь вот сразу постарела, будто за четыре дня пробежала свое, что было отпущено ей.

— Ваня! — позвала вдруг Настя громко.— Ваня!

— Не тревожь, он спит,— сказал Федор, потом вспомнил, что она последний раз видит сына, расстегнул телогрейку и подал. Ребенок заплакал, отталкивая холодные руки матери.

— Держи... Я думала, не помер ли: тихо спит очень, будто и не дышит.— Она отвернулась.

— Не бойсь. Выкормлю,— негромко пообещал Федор.

С минуту они молчали, потом Настя медленно повернула голову.

— Не надо... Лучше в детдом отдай. Себя только замучаешь и их.

— Не отдам,— возразил Федор, но подумал, что, пожалуй, лучше и легче отдать ребятишек в детский дом.

Настя следила за тем, как он меняет Ванятке мокрые пелен-

ки, все тем же тяжелым, спокойным взглядом и не подсказывала ему ничего, а когда он все-таки с грехом пополам завернул мальчишку,— как бы подводя итог, опять произнесла:

— И отдай. Так лучше.

Федор поднялся, чувствуя, что второй раз прийти сюда он будет не в силах. Он взял безвольную, сыроватую руку жены, подержал ее в своей.

— Прости, если можешь,— неловко выговорил он.

Настя не ответила.

Она умерла через три дня.

В комнате не было никого. Ребенок лежал на кровати и играл руками, поднося их ко рту и неверными, трепещущими движениями раскачивая перед лицом. Федор ходил между койками, на сердце было пусто, тяжело, беспросветно.

Подошел к кровати и остановился, разглядывая сына с жалостью и недоумением. Ребенок, почувствовав, что на него смотрят, перестал качать руками, затих, потом закинул голову и, найдя знакомое лицо, улыбнулся.

Улыбнулся в ответ и Федор, спазма сдавила ему горло.

— Милый ты мой! — прошептал он, чувствуя, как непривычно влажнеют глаза.— Милый ты мой...— повторил он слова, которые, пожалуй, всерьез произносил впервые в жизни. Опустился на колени рядом с кроватью, положил голову на шерстяное, пахнущее пылью одеяло.

3

В день похорон, сидя на грузовике рядом с Настиным гробом, Федор неотступно думал, как жить дальше, что делать с ребятами. Если бы не Вапятка, то он напился бы, хотя с горя не пил еще ни разу.

Домой он приехал на другой день. В сенях картошка была уже убрана, пол чисто вымыт. На столе стояла кринка с теплым еще молоком. Настина косынка лежала рядом, аккуратно свернутая. У Федора больно кольнуло сердце.

Вышел Ленька в лыжном костюме, вытертом на локтях и коленках, волосы у него были почему-то влажные; большие, оттопыренные уши жарко краснели. Он внимательно посмотрел на отца, опустил голову и, положив на край стола большую, не по росту, кисть руки, затеребил косынку.

— Чего не уберешь ее? — так же опуская глаза, спросил Федор.— Убрал бы в комод...

— Я корову в ней дою. Не подпускат так-ту. Умерла мамка? — спросил он погодя, с робкой надеждой в голосе.

— Умерла...

Они долго молчали, стоя друг против друга. Федор слышал, как часто стучит сердечко спящего у него под телогрейкой Вани. Первым шевельнулся Ленька.

— В плиту пойду подброшу. Прогорит.

Федор вошел в избу вслед за ним. Маша стояла на коленях на табуретке и чистила, склонившись над столом, картошку. Ленька начал подкладывать в плиту дрова.

Все было прибрано, уютно, так же, как при Насте. В зыбке, куда Федор положил спящего Ванятку, все тряпки были просушены, свежо пахли, поверх клеенки горкой сложены высохшие подстилки.

— К вам тетя Галя часто ходит? — строго спросил Федор. Его удивили Ленькины слова, что он доит корову.

— Когда заходит,— тоненьким голоском отвечала Маша.— Хлеба с магазина принесет, масла, сахару... Завчора пряников принесла.

— Готовит она вам?

— Не, мы с Ленькой сами. Вот я картошки почищу, сварим. Омуль у нас есть. Пообедашь с нами?

— Если хозяйка приглашат, отчего же не пообедать! — почти весело произнес Федор. Он пристально разглядывал то маленькие, вымазанные картофельной землей руки, то рыженькие, перепутанные волосы, то веснушчатое белое личико.

Под его взглядом Маша застеснялась, опустила голову и, закрыв лицо грязными ладошками, захихикала, вздрагивая плечами.

«Ишь, овца! Туда же, понимат!» — усмехнулся про себя Федор и добродушно потрепал дочь по голове.

— Ну, чисти! Сейчас мы с вами такую похлебку сварганим!..— начал было он и осекся. Он услышал, как Ленька сыро шмыгнул носом раз, потом еще раз. Федор повернулся к плите. Ленька поднялся и вышел за дверь.

Федор сел на лавку и закурил.

Маша начистила полную кастрюльку картошки, помыла ее, затем достала из стола кусок соленой свинины и луковицу, накрошила их в картошку, сунула на плиту. Закипел чайник. Маша схватила тряпку, потом крикнула:

— Ленька! Чайник скипел!

— Я сыму! Не кричи, Ванятку разбудишь.— Федор снял чайник и поставил на пол.

— Что ты, батя! — Маша укоризненно всплеснула руками.— Заткнешься, ноги сваришь. Вона подставка на столе.

В избе было тепло, пахло смоляным дымком: дрова были лиственничные, горели жарко. Маша залезла с ногами на кровать и

оттуда украдкой разглядывала отца. Раньше он приходил домой выпивши, пел песни, пугал мать. Сейчас он сидел тихий, то и дело хмурился и вздыхал, видно, сам не замечая этого. Таким он Маше не понравился, но все же, когда он молчал, был лучше, чем когда пел. Ей стало скучно, она тихонько сползла с кровати и включила радио.

И были три свидетеля —
Река голубоглазая...—

тянул высокий женский голос. Маша послушала эту песню молча, зато вторую, которую они обычно пели вместе с мамкой, стала напевать. Без мотива, так, как она пела все песни: просто произносила нараспев знакомые слова. Но ей казалось, что она хорошо поет, и было весело:

А парень с милой девушкой
На лавочке прощается...

— Выключи радио! — вдруг грубо крикнул отец.— Слышишь?

Она испуганно повернула выключатель не в ту сторону — приемник рявкнул, она стала крутить обратно и никак не могла повернуть так, чтобы щелкнуло. Подошел отец, оттолкнул ее руку, выключил приемник. Она испугалась, что он ударит ее, и сжалась, зажмурила глаза.

— Ты чего напугалась? — тихо и удивленно спросил Федор.— Эх ты, овца!

Он поднял дочь и отнес на постель, мельком подумав, что, пожалуй, первый раз держит ее на руках, и она длинная, тяжелая, ноги болтаются ниже его колен.

Пришел Лепька, пряча заплаканные глаза, заглянул в плиту.

— Чего пропустили-то? — сердито спросил он.— Уж и отойти нельзя...

К вечеру в избе собрались соседи. Первыми зашли Иван Павлович с тетей Галей и дочь их Василиса — простоватая, смешливая девушка лет девятнадцати, работавшая в мехколонне разнорабочей.

— Лепечка, дай лепешечку!— начала она, посмеиваясь, донимать Леньку.— Он у вас хорошие лепешки печет, Федор Демидыч.

— Замолчи! — оборвала ее тетя Галя.— Нашла время смешки рассыпать!

Василиса замолчала, но спустя немного подошла к Ваняткe, взяла его на руки и начала потихоньку тетешкать, рассмеивать, тыкаясь лбом ему в живот. Мальчишка, закатываясь, хохотал.

Тетя Галя хотела было прогнать ее, но Федор махнул рукой:

— Не трог, потешится!

Подошли еще соседи, и начался серьезный разговор о том, как Федору жить дальше. Соседи судили и рядили, а Федор сидел, опустив голову, и молчал. О Насте, будто сговорившись, не вспоминали. Раз только тетя Галя произнесла:

— Дробная была бабеночка, тонкая... А быстрая, старательная — чуть что, раз-раз, совьется и понеслась...— Она всхлипнула.

Завздыхали-завсхлипывали и другие женщины, но в голос плакать никто не решался: жалели детей.

— Ну, неча им сердце надрывать! — махнул рукой бригадир Павел Степаныч.— Вот что, Федя. Маленьких у нас нету, баба моя молодая. Отдай нам Ванятку! Сын будет мне, пестовать лучшей родного стану. А со старшими тебе легше: хошь в детдом отдай, хошь оставь при себе.

Федор молчал.

— Нам отдай меньшого,— погодя произнесла Надежда, жена соседа-экскаваторщика.— Ежели ты боишься, что у Павла своих не было, не умеет с маленькими вестись, так у меня, сам знаешь, трое. Вырастет с ними, как грыбок. Отдай, Феденька, мало́го не поднять тебе.

— Он их всех в детдом сдасть.— Иван Павлович сделал рукой широкий округляющий жест, потом начал вертеть цигарку.— Станет он их по одному рассовывать... Опять же рядом вы тут — детишкам расстройство. А так — с глаз долой, из сердца вон.

— Батя! — вдруг громко вскрикнула Маша.— Батя, миленький! Не отдавай Ванятку, мало́й он! И нас не отдавай! — Она кинулась к Федору и обхватила его за шею.

— Ну, хватит! — Федор поднялся, поддерживая дочь рукой.— Поговорили, и будет. Ребятам, чай, спать пора, устали.— Он помолчал и добавил: — Кому я их отдам? Мои — со мной и будут.

— Няньку тебе надо,— сказал Павел Степаныч.— Я поговорю в конторе, найдем.

Мало-помалу соседи все же разошлись.

Стали укладываться спать. Федору не хотелось вытаскивать из сеней второй тюфяк, решили ложиться на одной постели, благо была широкая.

Улеглись, потушили свет, но Ванятка, привыкший спать с отцом, решил, должно быть, что от такой привычки не следует отказываться. Он сел в зыбке и сначала удивленно спрашивал:

— А? Ха?

Потом темнота и молчание подействовали на него, и он заплакал. Пришлось встать и взять его к себе. Надели на него старые Машины штаны с резинками, и он скоро заснул, прижавшись к

отцу, перебирая во сне пальчиками на его груди. Маша тоже несмело придвинулась лбом к плечу отца, а когда заснула, закинула на него ноги. Только Ленька лежал, отвернувшись, на самом краешке постели, и Федор чувствовал, что он не спит. Сам Федор тоже долго не мог заснуть.

Первый раз он проснулся еще затемно. В окно постучали, тетя Галя крикнула:

— Ленька! Корову!

Ленька сполз на пол, неверными движениями рук долго натягивал штаны, рубаху, потом вышел. Вернулся он минут через сорок, поставил на стол кринку с молоком, молча залез на постель, задев холодными ногами Федора, и тут же заснул.

Просыпаясь второй раз, Федор вспомнил, что он весь облеплен спящими детьми, и поэтому не шевельнулся, не дернулся, только открыл глаза и скосил их на Ванятку. Тот, закинув головку, пялился на солнечный зайчик. Почувствовав, что отец не спит, он быстро перевернулся на живот и, покачиваясь на выпрямленных ручках, внимательно заглянул ему в лицо. Потом счастливо ахнул, зажмурился и, припав губами к щеке Федора, жадно зачмокал.

«Поесть захотел!» — Федор, как был в нижнем белье, сел к столу и, намяв в чашке молока с хлебом, стал с ложечки кормить сына.

После завтрака Федор пошел на базар. Он ходил между длинными рядами полупустых столов и, рассеянно глядя на куски мяса, кучки яиц, бидоны с молоком, размышлял. Вчера, в горячке, он сказал соседям, что ребята останутся с ним. Но как все это получится на деле, он не представлял себе ни тогда, ни сейчас. Пожалуй, зря соседи ввязались — один на один с собой он решил бы все это спокойней. И, может, на самом деле, лучше было бы отдать ребят в детский дом, с отцом им будет трудно, очень трудно...

Федор ушел с рынка, так ничего и не купив, сел на заляпанную грязью подножку какой-то машины, закурил. Все надо было обдумать сейчас, до прихода домой: там ничего решать невозможно.

Он прислонился спиной к дверце машины и вытянул ногу, рассеянно ковыряя носком сапога землю. Его румяное лицо с пушистыми темными бровями и глубокими складками на щеках было грустно. Может быть, поэтому на него и засмотрелась высокая плечистая женщина в городском пальто с каракулевым воротником. Она смотрела на него довольно долго, но Федор не замечал ее. Только когда его окликнул Павел Степаныч, он поднял голову.

— Вот, Федя, и нянька тебе,— сказал Павел Степаныч.— Погляди, как понравится. Степанидой Николавной звать.

4

Рукавицы, пропитанные соляркой, совсем не греют, а мороз за сорок градусов. Недолго и отморозить руки — чем тогда будешь кормить троих детей и самого себя?

Федор сходит с тропы, сбрасывает рукавицы и, намочив руки, густо обваливает их в снегу. Скоро рукам, окутанным снеговой варежкой, становится тепло, даже жарко. Федор догоняет товарищей.

Просека, которую расчищают экскаваторщики, уже протянулась далеко за перевал. В логу меж двух сопок, в затишье, они поставили палатку. Там запасы продовольствия, цистерна с соляркой, бочки с солидолом. Однако просека ушла на несколько километров вперед от лагеря, в палатку возвращаются только те экскаваторщики, которые расчищают в логу место под поселок, прочие же берут с собой горючее и еду и ночуют в тайге.

Вечером, после работы, разведут огромный костер, варят похлебку, кипятят чай, а когда прогорит, насыпают в ведро из-под солярки мороженую, стукающую, как камни, картошку. Разгребут жар и ставят ведро в костер вверх дном. Через час откроешь — из ведра валит пар, а картошка, потерявшая приморожениую сладость, рассыпчата и вкусна, как всякая печеная картошка. Потом сметают угли в сторону, настилают на выжженное место пихтовых лап — и до самого утра снизу греет, как на русской печке.

Но сегодня кончились провиант и горючее, люди идут в лагерь. Завтра воскресенье. Почти целый месяц работали без выходных. Кое-кто рассчитывает, что завтра придет машина из-за перевала, кассир привезет получку, можно будет съездить в поселок дня на два, помыться, почиститься, проведать своих, сходить в клуб развлечься.

В палатке уже тепло, на железной печке кипит чай, рядом оттаивает замерзший хлеб. Вновь прибывших встречают шуточками, смехом. Федор садится между экскаваторщиками, берет кружку со сладким чаем, ломоть хлеба, кусок колбасы — ужинает. Потом стаскивает валенки, кладет их рядом с другими возле печки, чтобы просохли, вешает портянки, телогрейку, ватные штаны — их там уже висит пар тридцать. Воздух в палатке тяжел и густ, пропитан запахом солярки, сырой заношенной одежды. Пробежав на цыпочках по холодному земляному полу, Федор ложится на свою койку. К утру, когда прогорают последние дрова, в палатке трещит мороз, примерзают к подушке намокшие от дыхания волосы, но Федор, как и остальные, мало обращает внимания на эти житейские неудобства. Он считает их неизбежными. Федора мучает другое: мысли. Он скучает по Ване, ночью ему кажется

иногда, что в живот и грудь его упирается теплое и мокрое тельце, сучат маленькие кривые ножки.

О старших вспоминает он реже, но все-таки вспоминает. Както он обнаружил, что Ленька не только знает буквы, но даже довольно бегло читает; те немногие обрывки книжек, какие были в доме, он перечитал уже по нескольку раз. Федор помнил, что сам он пошел в школу, зная только две буквы «А» и «О», да и сейчас читает книги от случая к случаю. «Видно, умный будет...» — думал он о сыне. Иногда, встречая пристальный взгляд Ленькиных не по годам серьезных глаз, Федор чувствовал себя неловко: казалось, что сын слишком много знает про него. Припоминая все это теперь, Федор испытывал сложное чувство неприязни, любопытства и уважения.

Когда Федор думал о дочери, лицо его морщила немножко лукавая, горделивая усмешка. Странное дело! Из всех детей только она, как портрет, удалась в отца. Лицом, повадками, будущей, уже ясной, статью. «Красуля будет, не гляди, что рыжая!» — думал он. Несмотря на малый возраст, дочь оказалась заядлой киношницей и каждый раз, как в поселок привозили новую картину, пропадала в клубе все те два или три сеанса, что ее крутили. На следующий день она пересказывала содержание картины отцу, поясняя события всегда неожиданно, со своеобразной логикой шестилетнего ребенка.

Нянька, которую подобрал Павел Степаныч из приехавших по новому набору, показалась Федору женщиной прижимистой, строгой. Было ей лет сорок. Недели две Федор прожил в семье, приглядываясь, так ли все делает Степанида. Вести хозяйство она умела. Везде успевала, в избе сразу завела свой порядок: кое-что переставила, повесила вышитые салфеточки, тюлевые занавески. Прибила на стену зеркало, под ним — полочку, на полочке уставлены китайская пестрая птичка и пустой флакон из-под духов «Кремль». Перестала брать в магазине хлеб, непропеченный и невкусный, а добилась где-то полмешка муки и пекла свой. В избе теперь уютно пахло теплым хлебом. Со старшими ребятами Степанида была ровна, а с Ваней даже ласкова, только называла его почему-то не Ваней, а Едиком. Но в это Федор вмешиваться не стал, тем более что на Едика Ваня не отзывался.

Убедившись, что дом на Степаниду оставить можно, Федор уехал в тайгу и вот уже больше месяца не был в поселке. Нужно было отрабатывать деньги, которые он задолжал мехколонне, нужны были деньги семье.

Раздалось дребезжащее треньканье, и вслед за этим кто-то лениво и длинно выругался. Федор усмехнулся. Молодые ребята — помощники экскаваторщиков, трактористы — придумали себе за-

баву: где-то раздобыли головку от патефона, укрепили ее на толстом суку, а концы его стянули струной наподобие лука. Игла упиралась острием в струну, и на этом музыкальном инструменте можно было исполнять всевозможные мелодии. Вечерами, когда все ложились спать, кто-нибудь из ребят брал лук и начинал тренькать, заранее зная, что никому не захочется подняться и пройтись босиком по земле, чтобы отыскать нарушителя спокойствия.

На этот раз весельчак угомонился быстро. Но Федор долго не мог заснуть. Он думал о том, что совсем недавно так же, как эти парни, был беззаботен и он, а ведь многие из них женаты не первый год, ребятишек имеют. Но мысли у них еще холостяцкие. У иных до поры, а иные отцы семейств так и умирают холостяками.

Потом он подумал, что на том месте, где стоит палатка, через год раскинется поселок, пройдет железная дорога. Поселок с каждым годом будет расти, и через какое-то время встанет тут молодой город. Люди будут жить в удобных теплых домах, спать на теплых постелях, смотреть на своих детей. И никто не вспомнит об этой первой палатке. Будто бы ее и не было...

На другой день часов в одиннадцать приехал бригадир Павел Степаныч, привез кассира, стали выдавать получку. Федор оставил доверенность Степаниде, так что получать ему было нечего. Правда, Насте доверенность он никогда не оставлял, деньги получал сам, а ей выдавал столько, сколько считал нужным. Но сейчас он думал лишь о том, чтобы хорошо было ребятам, а Степаниде велел кормить их как можно лучше, не жалеть денег...

Павел Степаныч подсел к Федору.

— Мы поговорили в конторе и решили перевесть тебя на отсыпку полотна. Хошь и не заработаешь там столь, а все к дому ближе... Ежели ты не против.— Он заглянул ему в лицо.— А то, видишь ли, нянька — не мать. Свой глаз нужен.

— А что? — внешне спокойно спросил Федор, а у самого тревожно застучало сердце.

— Да говорить не стану, ничего не видел. Народ же, бывает, зря языком болтает. Поезжай погляди. Ну?

— Хозяин приехал, наконец-то! — обрадовалась Степанида, поднимаясь навстречу Федору.— Будет, вижу, на тебя управа, разбойник! — погрозила она пальцем Леньке; потом, очевидно, чтобы усилить впечатление, легонько ткнула его в лоб.

Ленька не ответил ничего, только взглянул хмуро сначала на Степаниду, затем на отца и снова опустил голову.

После обеда Степанида принялась отчитываться в том, что сделано. Не стесняясь, перечисляла она, сколько дырок на ребячьих чулках заштопала, сколько заплат поставила, и Федор, как ни мало понимал в хозяйстве, снова убеждался, что хозяйка Степанида хорошая. Она засолила на зиму две кадки капусты, купила по случаю кабанчика и тоже засолила. Сшила ребятам по паре рубах, все перечинила — в общем, придраться было не к чему.

Ваня в ней души не чаял, к Федору от нее не пошел, он теперь с охотой отзывался на Едика, впрочем, так же, как и на Ваню; Маша тоже ластилась к ней. Только отношения Степаниды с Ленькой Федору не нравились. Хмурый, упрямый мальчишка иногда раздражал и его самого, но ведь он-то сдерживался!

В мехколонне отпустили Федора на три дня, и по просьбе Степаниды он залатывал в хозяйстве дыры. Починил ступени в сенях, поправил завалинку, забил щели в коровнике. Весь следующий день они с Ленькой пилили дрова, и Федор, приглядываясь к сыну, вдруг подумал, что Ленька обыкновенный мальчишка и никакой не судья отцу,— все это он сам себе выдумал. Просто жизнь слишком рано сделала его старшим в семье, вот и хмурятся у него брови, и взгляд невесел. И нечего Федору с ним серьезничать. Откуда это он взял, что сын первый должен сделать шаг ему навстречу?..

— Ты что, с ребятами ни с кем дружбу не водишь? — спросил Федор.

— Вожу,— коротко сказал Ленька, потягивая пилу на себя.— Вон Васька да Колька соседские... да Митька... В поселке много пацапов.

— Играть-то тебе с ними мало приходится?.. Хватит.— Федор принял пилу и, подняв полено, швырнул его на другое. Полено расскочилось на три части. Федор присел на комель большого кедра и закурил.

Ленька пилил сносно, видно было, что не первый раз держит пилу в руках. Но очень уж громоздки были дрова — огромные, иной раз больше обхвата, раскряжеванные стволы лиственниц, кедров. Федор выбирал потоньше, рассчитывая на большие пригласить кого-нибудь из соседей.

— Да нет, ничего...— Ленька подпрыгнул и сел на козлы, сколоченные вчера Федором. И Федор понял, что, если бы он ушел, Ленька, пожалуй, как в свое время сам Федор, вволю бы наигрался с козлами. Покатался бы верхом, как на лошади, попрыгал через них, упираясь ладонью в связку. Да мало ли что можно придумать с такой полезной вещью, как козлы!

— Теперь играю,— продолжал Ленька, похлопывая рукой по связке.— Пускат Степанида-то. Говорит: «Иди с глаз на ули-

цу».— Ленька помолчал, очевидно, раздумывая, стоит ли высказывать отцу все, потом добавил, понизив голос: — Только не больно хожу я...

— Что же?

— Не люблю я, когда она Ванятку Едиком зовет! — быстро сказал Ленька, низко опустил голову и покраснел.

Раньше бы Федору ни к чему, а сейчас вот понял. Вечером, послушав, как щебечет Степанида с Ваняткой, негромко, но веско произнес:

— Не зовите больше мальчишку собачьим именем. Назвала его покойница Иваном, не нам перезывать.

Степанида ничего не сказала, только метнула на Леньку злой взгляд: твоя работа, паскуденыш! Бросила мальчишку в зыбку, пошла к двери.

— Покачай! — велела Леньке.— Я к Николаю схожу, жена его платье мне шьет.

Вышла, а Федор, стеснявшийся при ней, подошел к зыбке и сел, двинув табуреткой, уперев в колени руки.

— Сынок! — позвал он тихо.— Ванятка!

Ваня замер, уцепившись за край зыбки, и глядел на отца с таким напряжением, что откинутая голова покачивалась. Наконец он улыбнулся, показав четыре белых зубика — два сверху и два снизу, вопросительно сказал:

— Ха?

— Не узнал небось? — смущенно полуспросил Федор.

— Узнал.— Ленька подошел к зыбке и, поглаживая Ваню по большой, с двумя макушками, голове, удовлетворенно сказал: — Все понимат... А ее он и не любит вовсе, так, занимается...— добавил он погодя.

Как всегда, без стука, вошла тетя Галя, постояла у дверей, посмотрела, как Федор возится с Ваняткой, потом заговорила быстрым шепотком:

— Хорошо, парень, дома сам будешь. Все не так вольничать твоя хозяйка-то станет. А то — что хочу, то ворочу!

— По-моему, она неплохо хозяеват,— спокойно заметил Федор.— И ребят жалет.

— Жалет! — Тетя Галя презрительно сморщила лицо.— Вон спроси-ка Леньку, как она его жалет! И то ей не так и это не эдак. Давеча у соседей полдня проторчала. А Ванятка дома орал некормленый.

— Так уж и некормленый! Небось Ленька накормил.

— То-то, что Ленька! А деньги откуда у ней, спрашиватся? «Я, говорит, сама не без копейки приехала». А известно, какие копейки: хозяин отчета не спрашиват.— Тетя Галя передохну-

ла.— Я ей говорю: когда, мол, еще дешевую шерсть забросят — возьми Маньке на платьице,— ни грамма не взяла! А себе на три платья отхватила.

— Купим! — Федор махнул рукой.— Ты, тетя Галя, вот что своему хозяину передай. Я у него в сарае маленькие лыжи видел, так пусть он мне либо продаст их, либо так даст пока. Мы с Ленькой на охоту собираемся.

Степанида пришла поздно. Федор велел ей уложить в мешок булку хлеба, кусок сала, сахару, котелок и сказал, что завтра они с Ленькой уходят на целый день.

— Обморозится! Куда его тащить! — запротестовала Степанида.— И мне от мальчишки без него не отойти. Чего выдумал!

— Один день обойдешься.

Федор осмотрел и смазал лыжи, принесенные тетей Галей, и спросил Леньку, случалось ли ему когда ходить на лыжах.

Ленька, с тревогой прислушивающийся к препираниям Степаниды с отцом, торопливо ответил:

— Ходил, ходил. На Васькиных ходил. Я даже с горки могу.

Едва Федор встал утром и, осторожно перешагнув через детей, начал одеваться, поднялась Ленькина голова.

— Мне вставать?

— А то что? — Федор усмехнулся про себя.— Ясно, вставай.

Они вышли из поселка, перевалили через сопочку и часа через полтора были в местах, где леспромхозовские тракторы еще не успели искорежить землю и покалечить тайгу.

Хотя Ленька и хвастал вчера, что даже с горки умеет, ходил он на лыжах плохо. Федор, щадя его силы и самолюбие, шел еле-еле, но даже на такой скорости Ленька скоро выдохся. Однако виду не подавал, и когда Федор оглядывался, то видел красное, упрямо опущенное лицо, руки, крепко сжимающие палки.

В полдень они расположились на берегу таежной речки, не замерзающей даже в сильные морозы. Федор развел костерик, зачерпнул воды в котелок и, наладив его над огнем, задумался, глядя, как стремительно несется вниз мимо него дымящаяся вода.

До чего же строптивый характер у этой речки! Недаром и зовут ее Тузахсу — «спутанная». Не течет она, а рвется, летит вниз к Томи, и, насколько видит глаз, образуется у нее какое-то встречное супротивное течение. Зеленая малопрозрачная вода гудит, всплескивает, дымится, едва просвечивают на дне синие и красные валуны. А белые растрепанные гребни возникают то тут, то там, пытаются перебороть речку, хоть немного, да пробежать против течения, но слабеют, опадают. На той стороне две березки согнулись, опустили тонкие ветви в воду, подрагивают, позвякивают

тяжелыми гроздьями белого льда. Наклонился над рекой и кедр. Придет весна — и он упадет, перегородив собой реку, выворотив добрых два кубометра земли.

«Конечно, это известно, так уж устроено: одно родится, другое умирает,— думает Федор.— Но вот кедр. Еще совсем молодой, годов пятьдесят ему, не больше, весной умрет. А вон дальше, в тайге, сколько хочешь их к небу тянется, и до того стоят, пока от старости не иструхлявеют... А все потому, что те на удобном месте пристроились, а этого на берегу угораздило вырасти. Это так. Но ведь и река не рада, что подмыла кедр. Упадет он ей поперек пути, тяжелей дальше течь будет...»

Федор наливает себе и Леньке кипящего сладкого чая, отрезает по ломтю дымящегося хлеба — оттаивал его над котелком, настругивает розовое замерзшее сало. «Казалось бы,— живи! И достаток есть, и работа хорошая, и места кругом хорошие. Дети... И откуда они такие завелись только? Будто нарочно мне на укор... Да. Все хорошо, да не все. Конечно, Степаниде Ленька не по нраву, забижат она его. Конечно, может, и какую копейку утаит, не без этого. Так ведь не жена она, не мать! Чего же ей о чужом пуще, чем о себе, радеть, как же ее заставишь чужого мальчишку, как своего, жалеть?..»

Хмурится Федор, не ест, смотрит в одну точку. А Ленька берет кусок за куском, глотает, едва успев разжевать, обжигаясь, пьет сладкий чай. Лицо у него нестерпимо раскраснелось, глаза смотрят счастливо и сонно — после всего поспать бы ему часика два!

Федор переводит на него взгляд и улыбается.

— Ишь какой у тебя аппетит знатный! Дома ты так никогда не обедашь. Это, видать, на пользу тебе тайга пошла. Вот я тебе лыжи эти откуплю у дяди Ивана, налажу еще лучшей, будем с тобой кажное воскресенье в тайгу уходить. Я теперь рядом с поселком работать буду, так можно. И увидишь: сразу зачнешь ты силу набирать! А то хилой ты, скушный, как старичок... Ружье тебе куплю после,— мечтает вслух Федор.

У Леньки медленно опускается рука с кружкой, он смотрит на отца, и губы его шевелятся, будто он повторяет про себя каждое слово, которое произносит отец. Федор замолкает. Ленька тоже с минуту сидит молча, потом вдруг хватает отца за рукав и с силой притягивает к себе.

— Батя, батя,— со страстью шепчет он, и Федор сжавшимся сердцем отмечает, что сын в первый раз назвал его так.— Батя, прогони Степаниду! Нам без нее как будет хорошо! Я сам все делать стану, и за Ваняткой, и корову, и печку. Я, когда мамка болела, делал все. Батя, прогони ее, мы уж так славно заживем!

Федор кладет ладонь на Ленькин затылок и прижимает разгоряченное лицо мальчишки к своей телогрейке...

Вернулись домой они поздно. Ленька заснул, едва добрался до постели. Федор же сел ужинать. Степанида поставила перед ним тарелку пахнущих томленой капустой жирных щей, нарезала хлеба и села напротив, искоса наблюдая за ним.

В избе было жарко натоплено. Федор сидел в чистой нижней рубахе, свободно облегавшей широкие плечи. Светлые вьющиеся волосы были зачесаны назад, открывая розовый, в капельках пота, лоб, усы он подбривал, оставляя неширокую полоску над крепкими темными губами. Лицо его похудело, складки на щеках стали глубже, глаза смотрели серьезно.

Он поел, отодвинул миску и сладко потянулся, ощутив, как затрещали кости, предвкушая хороший, крепкий сон. Первый раз, пожалуй, за долгое время на душе его было легко.

Случайно посмотрев на Степаниду, он увидел, что та наблюдает за ним каким-то странным взглядом. Федор, чуть нахмурившись, облокотился на стол, выжидая.

— Хороший ты мужик,— заговорила Степанида с ноткой сожаления.— Все при тебе: характер, и собой красавец, и работник. Старше я тебя, конечно, да не то беда: беда твои дети. К младшенькому-то я привыкла, Машутка тоже ничего, а вот старшого... Я ведь и шла к тебе в няньки, думала, хозяйкой буду, а так не пошла бы. Лучше уж скалу ломом ковырять, чем за чужими детьми лужи вытирать.— Степанида пересела ближе к Федору и заговорила быстро и решительно: — Как хочешь, Федор Демидыч, век вдовому тебе не жить, а хозяйки тебе лучшей меня не найти. Только с Ленькой как быть — думай.

Федор курил, хмуро сдвинув брови, глядя мимо нее.

— Все? — спросил он, когда Степанида замолчала.

— Все.— Степанида смотрела на него, медленно меняясь в лице.— Так... Ну только в нянька́х я у тебя жить не стану.

— Это как хочешь.

На другой день Степанида забрала свои вещи. Сначала работала она подсобной у штукатуров, потом, видно, уехала куда-то. Федор ее больше не видел.

Пока няньки у них не было, Ленька старался, как мог, чтобы доказать отцу, что и без посторонней женщины им будет «вот как славно житься». И действительно, порядок в доме держался не хуже, чем при Степаниде, а белье им согласилась стирать за недорогую плату тети Галина Василиса. Но долго так продолжаться не могло, и Федор напомипал в конторе, чтобы подыскивали няньку.

Как-то в воскресенье Федор колол дрова, заготавливая запас на неделю. Морозы установились крепкие, топить приходилось

каждый день, но к утру в щели все равно выдувало. Наколов порядочную поленницу, Федор принялся затыкать сухим мхом щели под окнами. В калитку вошла Василиса, важная, в воскресном бордовом пальто со складками сзади, как у ямщика. Она несла узел с бельем.

Федор поздоровался и кивнул на дверь.

— Ступай, положь в избу. Там ребята дома.

Он возился во дворе еще около часу, потом почувствовал, что хочет есть, и пошел домой. В сенях из приоткрытой двери до него донесся голос Василисы:

— А мамка у нас на сметане тертые печет. Больно хороши! Однако и твои тоже вкусные. Ты где дрожжи берешь?

— В пекарне дядя Леша дает, когда попрошу. Он мамку шибко жалел всегда, так и меня жалет...

— Тертые на сметане больно хороши,— повторила Василиса.

— Сметана и так хорошая,— усмехнувшись по-взрослому, возразил Ленька.— Мы с вершков масло пахтаем,— добавил он.

Федор, вешая на гвоздь телогрейку, смутно ощущал, что в избе что-то изменилось.

На оконных стеклах обтаивали наросты льда, что намерзли за ночь. Постель, которую Ленька последнее время просто закидывал сверху серым суконным одеялом, была взбита, жестяно топорщились на подушках цветастые наволочки. В воздухе стоял синеватый чадный дымок; на большой чугунной сковороде трещала подмазка. Ленька зачерпнул деревянной ложкой теста и вылил на сковороду молочно-белый расплывающийся кружок, подмазка затрещала еще сильней, так, будто вот-вот расколется сковорода.

Возле плиты на табуретке сидела Василиса, рядом с ней, прямо на полу, примостилась Машенька — они в четыре руки чистили картошку. На колене у Василисы сидел Вапятка. Она ловко, будто всю жизнь ей приходилось одновременно делать что-то и нянчить малыша, поддерживала его сгибом руки. Вапятка то хватался за стеклянные бусы на шее Василисы, то вдруг припикал лицом и всем телом к мягко подающейся под ситцевой кофточкой груди, то принимался хлопать руками и смеяться...

Василиса посмотрела на Федора, неловко улыбнулась и, вытерев пальцы о тряпку, припялась одергивать кофточку. Вапятку перевернула спиной к себе.

— Не трог, потешится! — усмехнулся Федор.— Чай, не убудет, не жалей.

Он помыл руки над ведром, сел за стол.

— Ну, поедим? — спросил он.— И ты, Васка, садись с нами. Заработала!

Ленька поставил на стол большую миску с разогретыми вчерашними щами, оладьи, кастрюлю с горячим молоком, положил ложки.

Василиса села и принялась есть, ложка ее то и дело сталкивалась в миске с ложкой Федора.

— Федор Демидыч, я вымою у вас пол? — спросила она.— Леньке трудно, однако.

— Вымой.— Федор пожал плечами. Я заплачу.

— Да я так.— Василиса махнула рукой.— Чай, мне жаль сироток-то, не бессердечная я.

— А коли жаль, так шла бы в няньки к нам. Плохо без бабы в доме, Ленька замучился,— серьезно сказал Федор.— Платить я тебе хорошо буду, да ты и сама себя не обижай: все деньги в твоих руках, хозяевай только хорошо.

Василиса отложила ложку и, разглаживая на коленях юбку, оглядела исподлобья избу, плиту, ребят, дольше ее взгляд задержался на Федоре.

— Мамку спрошу,— нерешительно сказала она.— А я что? Я б пошла. Чай, вы меня не забидите...

— Не забижу,— пообещал Федор.

После обеда Василиса побежала домой советоваться с матерью, а вечером уже мыла пол у Федора, считая, что с этого дня началась ее рабочая жизнь в его доме.

Прошло восемь месяцев. Осенью Ленька начал ходить в школу. У отца с сыном пошли новые разговоры, и Федор, вспоминая их днем на работе, подумывал, что года через три-четыре уже не сможет ответить Леньке на многие вопросы. Пожалуй, неплохо было бы пойти учиться и самому, но ни школы взрослых, ни каких-нибудь курсов в поселке пока не было.

Василиса теперь жила в доме на правах жены. Федор решил, что так будет лучше для него и для детей. Правда, она была не ахти как расторопна, но о ребятах заботилась, и это казалось Федору ценней, чем Степанидина хозяйственная сметка.

Вот уже два дня Федор сидел дома: упавшее дерево придавило ему ногу. Кость, правда, осталась цела, но ушиб был сильный. Федор полулежал на полу, на расстеленном старом одеяле, и играл с Ваняткой, вырезал скуки ради ему из дерева игрушки. Тот уже довольно сносно ходил, совался везде, и Федор опасался, что беспечная Василиса ненароком обварит его.

— Ну куда ты сунула чайник? — сердито говорил он.— Подойдет малой и обварится. Подыми на стол.

— Я и то хотела,— оправдывалась Василиса.— Да вон молоко побежало, я его на минуточку на пол и поставила.

— Ваня, поди сюда,— подзывал Федор сына.— Гляди, мамка тебя ошпарит.

Тот шариком на кривых и толстых ногах подкатывался к нему, садился и, схватив смоляную стружку, тащил в рот.

— Я не для чего тебя ругаю,— сердясь, объяснил Федор.— Ты старайся делать все как лучше, дети глядят на тебя! Манька вырастет, такой же растяпой будет.— Он замолчал, прислушиваясь, как тупо стучит кровь в больной ноге.— Ходи вон к Ольге, учись хозяевать. Баба ты хорошая,— уже мягче продолжал он.— Руки только к делу у тебя не шибко приспособлены.

Василиса укачала Ванятку, ушла к корове. Маша гуляла где-то, Ленька был в школе.

Федор перебрался на постель и лег, заложив руки под голову. Неплохо было бы уснуть, но он знал, что уснуть не сможет. Он достал из кармана квадратную, обтянутую синей кожей коробочку и открыл ее.

Еще осенью, когда Василиса, проветривая зимние вещи, разбирала сундук, Ленька в самом углу, под тряпкой, устилавшей дно, нашел эту коробку и подал отцу.

— Батя, это чье?

Федор открыл коробку и недоуменно поднял брови, пытаясь припомнить, где же, на ком он видел эти бирюзовые, с тонкими золотыми стебельками-подвесками, серьги. И вдруг воспоминание горько обожгло его: Настя!.. Ну да, это был его свадебный подарок. Она надела их наутро после свадьбы, и тогда он вдруг заметил, что у нее голубые глаза, такие же, как эти бирюзовые капельки в ушах... Первые полгода Настя часто надевала их то вечером к его приходу, то в воскресенье, когда они ходили в клуб. Но после он как будто бы не видел их на ней. Да, не видел. Голова ее почти все время была покрыта платком, и серых выцветших глаз не подголубили бы бирюзовые сережки.

Федор задумчиво разглядывал спокойно голубеющие камешки, потом тронул их пальцем. Серьги с тонким звоном высыпались ему на грудь. Федор вздрогнул.

Медленно и осторожно, будто они могли хрупнуть под нажимом пальцев, поднял он их и уложил в футляр.

«Васке отдать? — подумал он, и какое-то беспокойное, томящее чувство охватило его.— Нет... не отдам. Пущай другие купит. У ней и глаза черные, эти ей не личат... Вот Манька подрастет, заневестится, отдам ей. Будет носить, коли матери не пришлось...»

Он зажал коробку в кулаке и закрыл глаза.

Распахнулась дверь, в избу влетела Машенька. Разрумянившееся с холода лицо ее светилось, рыженькие волосы вылезли из-под лихо сбитой набок Ленькиной ушанки.

«Боевая будет,— подумал Федор.— В обиду не дастся».

Машенька быстро оглядела избу и, увидев, что отец и Ванятка спят, сразу посерьезнела. Она неслышно разделась у двери, подошла к зыбке, поправила там что-то, потом на цыпочках подкралась к отцу и накинула на него старый ватник. Федор открыл глаза.

— Спи, спи,— как взрослая, сказала ему дочь, и в ее озабоченном личике со сжатыми тонкими губами Федору почудилось что-то далекое, знакомое.

1957

ОГУРЕЧНЫЙ АГРОНОМ

1

Года два назад фельдшер-акушер Сорокин вошел к врачу, Климу Абрамовичу, которого в селе звали Килограммычем, и тот, по своей близорукости не заметив смятенного вида гостя, встретил его радушными словами:

— А-а-а, милости просим. У меня, голубчик, такие рыжички есть — с пуговицу. Ну прямо — подлецы, а не рыжички.

— Какие тут рыжички, Килограммыч,— страдальчески морщась, сказал Сорокин.— Жена у меня помирает. Сам ничего не могу, ничего не понимаю, совсем потерялся.

Пользуясь добротой и застенчивостью Килограммыча, его часто вызывали на дом по всякому пустячному поводу, но он каждый раз, спеша к больному, волновался до дрожи в руках, и на лице его было выражение ужаса, сомнения, негодования, словно он не мог примириться с мыслью о том, что у представителя рода человеческого смеет что-нибудь болеть. И на этот раз он выронил из дрогнувших рук очки, схватил чемоданишко и без шапки побежал за Сорокиным. Лишь перед дверью больной ему, как обычно, удалось справиться со своим волнением, и к ее кровати он подошел с таким видом, который как бы говорил: «Э, да тут нет ничего серьезного. Я тебя, голубушка, быстро на ноги поставлю!»

Но ободрительный прием Килограммыча пропал впустую. Жена Сорокина была совсем плоха, и даже в том, что ее немедленно отправили на машине в областную больницу, где она умерла, не было, по сути дела, никакого смысла.

Отчего она занемогла? Сорокин думал об этом по пути из города в скрипучем промерзшем автобусе, а через несколько дней, обсуждая тот же вопрос с Килограммычем, сказал:

— От жадности.

И потом, не желая никак объяснить свои странные слова, долго глядел в окно на толстую мартовскую сосульку, истекавшую прозрачными слезами.

2

Вместе с женой избу фельдшера покинул привычный запах парного молока, печеного хлеба, анисовых яблок, и сразу появилось много лишних вещей, которым фельдшер не мог найти применения, и дел, которые при жене, казалось, делались сами собой. Да и вся его жизнь, на взгляд односельчан, пошла как-то набекрень. Он почти безвозмездно, за литр молока в день, отдал свою корову на колхозную ферму, перерезал всех кур, продал овец и на вырученные деньги купил радиоприемник, и в пыльной, запахшей мышами избе его стала играть тихая, красивая музыка.

— Напрасно ты, Матвей Ильич, хозяйство рушишь,— пенял ему в дружеской беседе Килограммыч.— А надо тебе, голубчик, погодя приличное время, опять жениться, потому что без женщины любой дом — сарай, да и сам запсеешь.

— А я и женюсь, не спеши,— спокойно возразил ему на это фельдшер.— Ведь я не парень с гармонью. В пятьдесят-то не скоро женишься. Ну, а хозяйство — им я сейчас заниматься не могу. Я двадцать семь лет с женой каждый день только о хозяйстве и говорил, облызло оно сверх всякой меры.

С тех пор прошло два года; Сорокин не «запсел», как предрекал ему Килограммыч, а наоборот — помолодцевел: подстриг усы, купил соломенную шляпу и стал ходить на вызовы пешком, говоря, что это полезно для здоровья.

Как-то шел он из дальней деревни от роженицы, прилег под стогом и нечаянно заснул, сморенный жарой и усталостью. Когда солнце, обойдя вокруг стога, осветило и припекло спящего фельдшера, он заметался, тихо вскрикнул и сел, озираясь по сторонам.

Звенящая сушь стояла над лугами. Воздух плавился, плыл, и казалось, что земля источает какое-то мглистое испарение, поволакивая дальний горизонт сиреневой дымкой.

«Жара, жара...— думал фельдшер, нащупывая рукой шляпу.— А что же мне снилось такое? Ах, боже ты мой, хорошее что-то и страшное, а припомнить не могу».

Он отыскал наконец в сене шляпу и поднялся на ноги. «Что же мне все-таки снилось?» — напрягал он свою память, шагая по дороге и рассеянно следя за полетом ястреба в белесом небе.

Сон, оставивший по себе какое-то странное, томящее ощущение не до конца испитого блаженства, словно таял, растворялся в текущем по горизонту воздухе, но чем туманней и расплывчивей становился, тем сильней хотелось фельдшеру вспомнить его.

Когда дорога ушла в сыроватую погребную прохладу сврага, фельдшер почувствовал, что хочет пить. Он свернул на пружинистую овражную тропу, прошел, распугивая желтеньких лягушек, к ручью и, увидев воду, вспомнил, что пить ему хотелось еще во сне.

«Да, да, хотелось пить...» — соображал он, морща лоб, и вдруг облегченно, радостно вздохнул, сразу припомнив весь сон.

3

Снилось Сорокину, что шел он какими-то деревнями с серыми избами, с ивовыми плетнями, от которых тянуло жаркой, сухой горечью, шел по растрескавшейся земле без травы и все искал, где бы утолить мучительную, до боли иссушившую рот жажду. Потом он очутился в просторных сенях какого-то дома, и высокая девушка, в длинной, по самые икры, юбке вынесла ему арбуз. «Постой, не ешь,— сказала появившаяся откуда-то старуха.— Ведь мы староверы». И тогда девушка стала сыпать ему на голову из большой деревянной плошки пшеницу. «А теперь сядь за стол, скрести ноги и ешь»,— опять сказала старуха. И он жадно ел холодный арбуз кусок за куском, пока девушка вдруг не обвила его шею руками и не стала долго-долго целовать в губы прохладными твердыми губами. И была это уже не просто девушка, а агроном Людмила Петровна... Та самая Людмила Петровна, которую звали огуречным агрономом, потому что в колхозе был еще один агроном — полевод.

«Ерунда, ерунда,— думал теперь фельдшер.— Какие-то староверы, пшеница... И все это от проклятой жары, от того, что надышался сеном...»

Он давно уже решил жениться на Людмиле Петровне, но полагал, что эта женитьба произойдет без всяких душевных смут, по доброму и разумному согласию, и теперь был немножко обескуражен тем, что ему могло причудиться такое — ведь давным-давно минуло время, когда, по его собственному выражению, он «ржал весной на сирень и хныкал осенью над опавшими листочками».

Эммануил Казакевич. «При свете дня»
Художник И. Пчелко.

«А в стога, должно быть, того... понагребли багульника из болота, неряхи. Надышался. Ишь какие туманы-то плавают в голове»,— думал фельдшер.

И, словно пытаясь смыть глупую, смущенную улыбку, усердно мочил лицо и голову ручейной водой.

4

Он и дальше шел все с теми же туманами в голове.

Полуденное оцепенение разливалось над лугами; с далекого гречишного поля вялый ветерок доносил запах меда; ястреб, кося крылом, еще кружил в вышине; звенели в траве кузнечики; и фельдшер, непонятным образом взволнованный всем этим — в сущности, таким обыденным для него и привычным,— продолжал смущенно улыбаться.

Вскоре он дошел до закрайка поля. Здесь росла кучка высоких тонких берез, гнувшихся под тяжестью своей листвы; в тени их, поближе к гречу, стояли ульи колхозной пасеки. Навстречу Сорокину из шалаша вышел сторож — длинный, худой старик по прозвищу Тулуп Берданкин,— закивал, заулыбался, попросил закурить.

— Скучаешь, Тулупушка? — ласково сказал фельдшер, сворачивая с дороги.— Ведь ты не куришь.

— Ну ин так носиди, Матвей Ильич, поговорим с тобой, как два хороших человека.

После такого вступления сторож обычно замолкал и уже прочно молчал до ухода собеседника.

Фельдшер пожевал сотового меда, запил теплой водой из бутылки и растянулся на траве. Верхушки берез медленно кружились у него в глазах.

— Тулупушка! — позвал он.

— Ай!

— Женюсь я. Понимаешь, какое дело...

— И то пора, Матвей Ильич. Кого сватаешь-то? Не потай.

— Людмилу Петровну, агронома. Знаешь?

— Как не знать! На что ж тебе хромая баба-то? — простодушно изумился сторож.

— А что мне — призы на ней брать, что ли,— усмехнулся Сорокин.

Он закрыл глаза и вспомнил, как лет десять назад впервые увидел Людмилу Петровну на станции. Ничто не может нагнать на человека тоску с большим успехом, чем вид наших маленьких вокзалов, выкрашенных в какой-то глиняный цвет, с их оцинкованными баками для питья, старыми плакатами ко Дню железно-

дорожника, с окошечком кассы, заделанным решеткой тюремной надежности. И лицо Людмилы Петровны — большеглазое, бледное лицо — выражало именно эту тоску, сиротскую заброшенность, когда она сидела посреди грязного зальчика на своем чемодане. Потом, в машине, куда набились председатель, фельдшер, его жена, корреспондент из районной газеты, Сорокин все глядел на нее и думал:

«Ну в чем будет здесь твое счастье? Хиленькая ты, некрасивая, одинокая...»

А его жена, со свойственной этой бабище нетактичностью, спросила:

— Ногу-то тебе где покалечило?

И Людмила Петровна, заставив фельдшера еще больше пожалеть ее, тихо ответила:

— При бомбежке, в детстве.

Но к концу пути она освоилась, стала смело зыркать на всех своими глазищами и все расспрашивала председателя о колхозе, о парниках, о библиотеке и даже спросила, есть ли в клубе рояль.

«На черта ей рояль?» — думал фельдшер, с любопытством вглядываясь в ее прозрачное, маленькое, как у белки, лицо.

Потом он узнал, что она отлично играет на этом инструменте. Рояля в клубе не было, но он был в школе, и Людмила Петровна часто играла там по вечерам, когда кончались занятия. Ее слушали и дети, и учителя, и уборщицы. Приходил слушать и фельдшер. А потом долго не мог уснуть, слонялся в лунную ночь туда-сюда под окнами своей избы и скрипел на морозе валенками.

Людмила Петровна легко и быстро прижилась в селе; председатель выделил ей с конного двора лошадь, которую она назвала Сиренью, и целыми днями тряслась в легкой плетушке по огуречным полям, протяжно покрикивая:

— О-о-о! О-о-о, Сирень!

И казалось, что она живет здесь давным-давно, всех знает, и ее тоже знают все от мала до велика.

Как-то в серенький, влажный денек нынешнего лета Людмила Петровна догнала Сорокина на дороге и посадила к себе в плетушку. Она была в косынке, завязанной на затылке, в клетчатой мужской рубашке с засученными рукавами, загорелая, веселая и особенно задорно кричала:

— О-о-о, Сирень!

Когда проезжали мимо сквозного лесочка, Сорокин заметил в мокрой траве шляпку белого гриба. Они выскочили из плетушки и вдруг увидели у себя под ногами десятков семь-восемь ядреных крутобоких грибов. А Сирень тем временем, взяв сразу с места легкой трусцой, пустилась по дороге.

— В конюшню отправилась,— спокойно сказала Людмила

Петровна, очевидно, привыкшая к таким вероломным выходкам своей кобылки.

Собрав грибы в плащ Сорокина, они двинулись к селу пешим ходом. Шли мимо нежно голубеющего льняного поля, и Людмила Петровна задумчиво говорила:

— Случилось, Сирень бросила меня вот так же километров за десять от села. И шла я пешком целый день, злая, усталая. Думаю, уеду отсюда, уеду... Потом села на кочку клевера поплакать и уснула. А проснулась уже вечером. Знаете, бывает такое коротькое-короткое время летних сумерек, когда солнце уже зашло, но небо без единой звезды еще прозрачно и светло. Гляжу вокруг и сама не знаю, почему в душе у меня словно белые цветы распускаются. Думаю, ничего радостного в тот день не было — моталась по бригадам, ругалась с председателем, Сирень меня бросила,— так почему же меня радость-то словно на крыльях несет? Нет, думаю, не уеду я никуда. На минуту подумала: отними у меня эти поля, луга, отними дело мое... И даже сердце защемило, так я напугала себя этой мыслью. Как же все это останется без меня? Как я-то буду без этого?

Людмила Петровна остановилась и широким жестом руки обвела голубое поле льна под серебьким мохнатым небом.

Вернувшись тогда домой, Сорокин включил свой приемник, сел у окна и, слушая музыку, думал о Людмиле Петровне:

«Вот на ней и надо жениться. За красотой где уж тянуться, а она будет рада, ей ведь тоже, поди, хочется прислониться куда-нибудь...»

Его воспоминания прервал Тулуп Бердапкин. Показывая на мглистый горизонт, где рокотал гром, он говорил:

— Я не гоню, Матвей Ильич, а только надо тебе поспешать. Как бы дождя не напарило.

Фельдшер тряхнул головой и ловко вскочил на ноги.

5

Туча прошла, уронив редкий, крупный дождь, покрывший дорогу темной рябью. В широком проеме сельской улицы, за густыми вязами, медленно сгорала ясная заря; над лугами повис туман, и с выгопа, сыто, протяжно ревя, потянулось стадо. Сидя у окна, фельдшер глядел на улицу. Там, у своих ворот, хозяйки поджидали коров и громко судачили о всяких пустяках.

«Вот разойдутся, я и пойду»,— думал фельдшер.

Уже совсем стемнело, когда он пересек улицу и постучал в дверь избы, где квартировала Людмила Петровна. Ему открыла хозяйка.

— Ну-ка, тетя Мотря, ступай проведай скотину,— сказал фельдшер, шагнув через порог и снимая шляпу.— Мне с Людмилой Петровной поговорить надо.

— Да я все одно недослышу, хоть кричите,— махнула рукой хозяйка, но все-таки взяла ведро и вышла.

Людмила Петровна, сидя за кухонным столом, спокойно смотрела на фельдшера своими огромными глазищами. Он не смутился. Все для него было решено и наперед известно.

— Я, Людмила Петровна, к вам по личному делу,— обстоятельно начал он.— Как видите, я не молодой человек, ухаживать мне вроде уж поздно, поэтому я к вам попросту, с открытой душой. Выходите за меня замуж. Вы одна на свете, я тоже один. Два сапога — пара. Ну? Смеяться надо мной не будете?

Людмила Петровна поднялась. Она еще молчала, но фельдшер вдруг почувствовал, что она ответит отказом. Он и сам не мог сказать, откуда взялась у него такая уверенность, но уже наверняка знал, что будет именно так. Почему с первой же встречи вообразил он, что она нуждается в жалости, что обездолена чем-то и несчастна? Почему? Перед ним стояла совсем не та Людмила Петровна, какою он привык считать ее. Тонкая, с высокой грудью, с тугой глянцевитой косой, она прямо смотрела ему в глаза, и по особому взмаху ресниц — медленно и сдержанно страстному — в ней угадывалась женщина в лучшей своей поре.

— Ох, Матвей Ильич,— грустно и ласково сказала она,— не по сделке семья строится. А вы мне сделку предлагаете. Мы ведь не сапоги, а люди. Люди!

— Вот и надо по-людски рассуждать,— сердясь на себя, сказал фельдшер.— Время-то старит и меня и вас. Чего ждать?

— Я знаю чего. И буду ждать, сколько придется, хоть несчастной, хоть безответной, хоть короткой любви... А вы-то мне милостыню подать хотели.

«Стыдно, стыдно»,— подумал фельдшер.

— Я уважаю вас, Людмила Петровна,— глухо сказал он.

И вышел, задев плечом за косяк.

6

В эти ночи полоска зари не гасла на горизонте, сообщая небу тусклое зеленоватое сияние, в котором звезды казались какими-то жидкими, точно льющимися.

Фельдшер медленно шел к своей избе. Он уже не чувствовал прежнего стыда и думал не о Людмиле Петровне. Тяжелое, как глиняный ком, сознание, что он обокрал себя, вытравил из своей

жизни радость, придавило, ссутулило его, и думал он сейчас о себе, о том, чего уже не вернуть никакой ценой и никаким чудом. Людмила Петровна ждала любви и смело пошла бы навстречу ей, а он свою любовь обежал стороной, как лесной тать людское жилье.

Было это давным-давно, когда на сельской колокольне висели колокола, когда крестьяне объединялись в коммуну и единственный трактор марки «фордзон» был у кулака Проньки Лысого. В те времена скончалась в одночасье вдова Ульяна. Муж ее погиб на гражданской войне, а сама она умерла, подпирая колом увязший в грязи воз сена.

До той поры красивая и своевольная дочь ее Наталья слыла у сельских парней недотрогой, но в горе легко ответила на ласку одного, потом, обманутая им, доверчиво метнулась ко второму, а там, обозленная, подавленная и еще более одинокая, пропала из села. Говорили, что она работает «торфушкой» на болоте, но к зиме Наталья опять вдруг объявилась в селе и не одна, а с маленьким сыном, завернутым в какое-то больничное, проштампованное черными печатями одеяло.

Жила она нелюдимо. И когда выходила к обледенелому колодцу, то смотрела на встречных таким тяжелым, несгибаемым взглядом, что все спешили отвернуться или опустить глаза.

Продышав в замерзшем окне дырочку, фельдшер украдкой следил за ней.

Потом набрался смелости, постучался как-то у ее дверей, но получил отпор.

— Что, цветик! — крикнула ему в лицо Наталья.— Весной пахнуло? Бесишься?

Снега рухнули тогда сразу. Всего одну ночь трудолюбиво, без грозовой шумихи постарался весенний дождь-работяга и погнал из-под сугробов мутные снеговые ручьи, повесил над полями теплый туман, опушил краснотал желтыми барашками.

Фельдшер опять зашел к Наталье. Стоя посреди раскрытого двора и глядя, как она дергает из крыши последние пучки соломы на истопливо, он участливо спросил:

— Как жить-то будешь? Все уж добришко-то проела, что ли?

— А брошу ребеночка в колодец и уйду на все четыре стороны,— насмешливо ответила Наталья.

— Что ты! Этого нельзя! — испугался Сорокин.

— Всему веришь, как маленький...

Чем тронули ее слова фельдшера? Или не было уж сил у нее крепиться более, но только, сев вдруг на ворох надерганной из-под стрехи соломы, она заплакала.

Впервые фельдшер отважился прикоснуться к ней. Он подошел и легонько погладил ее по волосам.

— Ну! Тоже жалельщик нашелся,— мотнула головой Наталья.— Чай, плетут по селу-то, что ты за мной вяжешься, а?

— Пусть плетут. Я ведь не просто так...

— Полно, дурачок миленький,— усмехнулась Наталья.— Иди уж сюда, ладно... Ласковый ты, видно...

И завертела с тех пор фельдшера какая-то бешеная струя. Желанной и непонятной была для него Наталья. Жила то озорно, весело, то плакала о чем-то и целовала его неистово, словно расставалась на веки вечные. Просыпаясь по ночам на теплом плече своей подруги, фельдшер встречал ее лихорадочно горевший взгляд и слышал шепот:

— Женись на мне, цветик. Любить буду — никакая девка тебя так не полюбит. Только прошлым не кори и сына не обижай...

А он, наголодавшийся в крутые годы учебы, назябшийся за зиму в пустой неотопленной больнице, где жил тогда, думал:

«Сам гол как сокол. Куда ж мне еще такую обузу!..»

И тяжело, угрюмо отмалчивался.

Женился он на дочери мельника, домовитой и жадноватой девке, которая умерла-то, как он утверждал перед Килограммычем, от жадности: поехала зимой торговать на городском базаре в истертом пальтишке, пожалев новую шубу, и, простудившись, занемогла...

А жизнь прожита уже!

Фельдшер опустился на свое крыльцо и долго смотрел на зеленое небо, на льющиеся, зыбкие звезды.

Где-то в этом мире развеена его любовь, и осталось лишь жалеть о скользнувших в вечность годах, не озаренных ею...

1959

ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоменный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый

раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрит в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленяя коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он.— Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накипутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и, когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед,— упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И, когда она с ним, Егор небрежен и на-

смешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив.— Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и топенько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-ася и дядя ...е-едя...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор..: иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, лепив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гуденье гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными

закатами вполнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый,— через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий.— Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий.— Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И, когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недольют. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба,— говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая,— у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос,— но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал,— не моргнув глазом, отвечает Егор, и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением,— он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов,— быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— ЛМ-1,— отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он.— У Славки — болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил.

Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой,— он секунду думает, стекленея глазами,— триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор.— А кто может скласть? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склади, полтораста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его.— Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет,— поет он на старинный русский манер, врастяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бескопечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать, и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами,

предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку копей, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все, видел он это в кино,— лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затяпет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуетом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуета», он встает, печесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках.

И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай, смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...
Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушкой...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах, да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизый орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

1959

ВЫСОТА

Я долго тогда выспрашивал у них, как все это было и что они испытывали... Но так и не смог занести в мою записную книжку ничего, кроме их имен да кратких биографий.

Разве вот это: что на площади у канала они были впереди пехоты на тридцать метров, а в рейхстаге, когда разыскивали ход наверх, с ними был замкомбата Берест. И еще: что поставили во столько-то часов. Только это... Подробности, по-видимому, казались им вроде бы ненужными, неуместными и как бы несовместимыми с торжественным актом установления Знамени Победы.

Но, может быть, я теперь расскажу все это за них.

Они были в здании, где еще сражались. И вверху, над ними, и внизу, на первом этаже, все еще шел бой... Ориентироваться было трудно. Окна замурованы. Темень! И нельзя разобрать в темноте, куда какой ход ведет и куда ставить. Никто им этого не сказал... Ведь надо не просто куда-нибудь, а повыше. Чтоб далеко было видно всем.

Но вот она, лестница. Как раз то, что им нужно! А рядом, с площадки, еще одна. Эта выводит прямо на крышу. Как светло еще здесь! Они думали, что давно уже глубокая ночь! Хорошо, что крыша плоская... Куда же привязать? Над карнизом — бронзовое изваяние. Всадник. Нет, над всадником нельзя. Получится, что это он держит знамя... Опять гремят по крыше осколки. Надо поторапливаться! А что, если туда, на купол... Как редки эти железные ребра! И лестница перебита и оторвана, надо карабкаться по каркасу... И непрочные и уж очень ржавые переплеты. Но лучше не смотреть вниз. Там провал зала, висишь, как над ущельем. Только холодок у сердца... И — что это? — вроде цел, не ранен, а из-под

ног уходит крыша... С купола — на площадку. Еще лезть! Кружится голова (какие они верхолазы!). Вот и площадка. Да! Только не смотреть вниз... Привязали, притянули. Привязали ремнем, притянули чехлом. Всё молча. Только теперь они посмотрели на него. С каким грохотом оно развертывалось там вверху, над ними. Каким сразу оно стало сильным. Теперь им надо быстрей пробраться к своим.

А они и не знали, что ставят Знамя Победы.

1960

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

1

Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок — старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове — обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая,— была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами — из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.

Хотя человек был несомненно нездешний — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности: военная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым: «Здравствуйте».

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким

оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь — он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов,— сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и

вязала чулок. Нехитрое и древнее ее занятие живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:

— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

— Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрустнев и подобрев, сказала:

— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.

2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.

— Стало быть, я Андрей Слепцов,— сказал он наконец. Его голос заметно дрожал.— Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

— Тебя Юрой зовут?

— Да,— сказал мальчик, удивившись.

— Да, Юрой,— уже веселее заговорил Слепцов.— Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел.— Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: — Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

— Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской.

Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стыл стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюдце кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

— Мама ушла на службу.

— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал.— Так, так... Ну что ж, придется подождать.— Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

— Ничего.— Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.

— Понятно,— сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно.— И добавил: — Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать — советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата — в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно,— глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение, и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное, во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время.

А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит,— все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден,— размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с лепивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

— Кем ты желаешь быть? — И тоном всесильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребите-

лем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые — доброго, богатые — бедного, многие — одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.

— Нет, я во второй смене,— ответил мальчик.— Мне нужно уроки доделать.

— Правильно,— согласился Слепцов.— Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена цигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.

3

Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что́ именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что́ должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленький городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газе-

той, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук— одна ладонь под головкой, другая под попкой — и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

— Издалека, что ли?

— Издалека,— ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?

— Не пойму. Уж и так и этак...

— Может, есть хочет?

— Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глазами — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

— Пойдешь ко мне? — спросил Слепцов.— А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльце, закутала девочку, снова

уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

— Тебя бы няней. Ишь как смеется!

— У меня на детей приворотное слово есть,— деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

— Ну? Врешь.

— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

— Вижу будто.

— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дите всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

— Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.

Вдруг она всплеснула руками:

— Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все сéше, хéше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

Анадысь на дворе
Чтой-то грохотало,
А как вышел я на двор —
Оно перестало...
У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков,— у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

— Какая ты будешь? — спросил Слепцов.— Скажи, пожалуйста.— Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: — Вот такая, как эта? — Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: — Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

— Вот и мамка твоя,— сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга Петровна Нечаева — рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать — рука была занята, кресло было низкое и глубокое,— Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.

4

Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец — односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

— Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

— Мамка ее? — переспросил он.— Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

— Как читала? Где читала? — недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

— Я по поручению моего командира, Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, оберпулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг — вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.

— Садитесь, садитесь,— сказала она.— Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

— Да, да. Кормлю ребенка,— сказала она.— Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудо вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

— Садитесь,— сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: — Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

— Да, мы тут вместе с Юрой,— пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

— Да,— сказал он.— Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата — солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра,— между девочкой и солдатом,— положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

— Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довезти до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас

Владимир Лидин. «Прилет птиц».
Художник Г. Филипповский.

все любили, и солдаты и офицера́. Командир дивизии тоже: чуть что, как важное задание — сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже — а умер он, вы, наверно, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник,— денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате — может, пенсия будет поболе... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать — то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус — человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент,— говорит он ему,— ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты думаешь — хвалю...» Оба они были интересные, как сойдутся — такое наговорят.

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела — как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тарыбары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

— Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

— Продолжайте,— повторила Ольга Петровна, но, когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала: — Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

5

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки

в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он, инвалидами, — в колхозной чайной.

Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз,— начал Слепцов свой рассказ,— еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка огрызались, как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант — не наш, а попутчик,— курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего эта кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: пойдемте, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам

(он так иногда говорил, и мы все тоже приучились так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова — связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева — даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера́. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика. И весь шалею: никак, Маршал Советского Союза! Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так

пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» — «Не знаю»,— отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»

И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашлось. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить, в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса...»

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».

И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу!

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.

6

Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее,— где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его

жалко стало».— «Кого жалко?» — «Маршала жалко».— «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «горький рот» — я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке — товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать, что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме — невдалеке, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И вот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучили?» А он засмеялся: «Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит, какую карьеру сделал: неделю назад — техник-лейтенант, сего-

дня — командир полка... А завтра...» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались середь камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать».

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять,— холмик с редкими березками,— и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку,— в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:

— Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.

Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было неспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака,— стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым

и командиром батальона — тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: «Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где он умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь,—

настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко,— все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: «Мне стало его жалко»,— Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и ясными мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, вставший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна,— рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в преизбытке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается, курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась

ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес...»

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать,— не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова,— что она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни,— тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет — три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях; жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятьем, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством, тоже

являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широкообразованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания: она была для него тогда женой Нечаева, и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например, к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата.— Он не смел вводить меня в заблуждение...» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.

8

— Не думал я, не гадал,— продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания,— что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете — такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы

кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже»,— любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет, не стесняясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит, на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал он моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости

господи... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этакую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов — а их в телефоне было звон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может, помните?» — «Не помню!» — «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году, под Ельней».— «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым.— «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время, что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть приедет». Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката — ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем оно дело. «Думаете много,— сказал тот солдат,— а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали...»

И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна,— и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку...»

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. «Понравилось»,— говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посытнее.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот — ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет — река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны, как морские, ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит

на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу».— «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»... Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя... Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать.)

«Превосходно! Вот мы и покажем пример»,— говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты — стыдно им стало! — кто на чем.

Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.

9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то. Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с

совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он, и никто другой, заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь — уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.

Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав — ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию,— услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела

пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нытье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»

Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

10

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и таинственной, как речное дно. Оттого что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончили, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то — очевидно, свою фамилию,— затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов,— солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

— И последние его слова,— продолжал Слепцов,— и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало: просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть, на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок,

что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и, только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную,— может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась, и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти всё сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу,— молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял отпуск — и вот...

11

Последние слова Слепцов, превозмогая свою антипатию, сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело вставшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

— Пора обедать,— сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

— Вот так, гражданин... мм...

— Ростислав Иванович,— буркнул мужчина.

— Вот так, Вячеслав Иванович,— продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя.— Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песни... Такого человека потерять...

— Да,— сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил также односложно:

— Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками и расставила их на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

— Все плачет, Ольга Петровна...— и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «се́ше, хе́ше»...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

— Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец, смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узе-

лок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

— Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:

— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку... Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите, без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто закоченели на своих местах — от всего, что

происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

— Это верно,— подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу.— У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно,— Сибирь велика...

— Да,— сказал Слепцов,— Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания, гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... только сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности — впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично, этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах,— все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать,— Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть.— Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

— Да, вы правы,— сказала она медленно, почти спокойно.— Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и запла-

кала.— Он бы никогда... никогда... никогда...— произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

— Да, да,— сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленный Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было. Накрапывал дождик.

— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух: «Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов»,— дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат — благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже *его* не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

— Прости меня,— сказал он.

— Ты был прав,— сказала она.— Но пойми...

— Да, да, конечно...

— Я ведь...

— Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

— Обедать пора,— сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат,— «советским».

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему — не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

13

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накрапывал дождик. Значит, прошел весь день — с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого стран-

ного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаз воспринял вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне,— говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею и пятьдесят во всем доме — обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас — огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что́ именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке:

он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

1960

КУСОК СТЕКЛА

1

Петя Углов, молодой ученый, занимающийся сложными вопросами физиологии, в которых, кроме него, кое-что понимали только три человека в мире — негр и два австралийца,— влез на верхнюю полку, стараясь не задеть длинными ногами соседей, и заснул, едва поезд отошел от Перми. Он всегда спал без снов, но на этот раз ему приснился молочно-белый кувшин, сквозь который он старался рассмотреть идущих ему навстречу беспечно посвистывающих людей. Там, за стеклом, был Ленинград. Петя радостно вздохнул, не просыпаясь.

Он никогда не был в Ленинграде, хотя знал и любил его давно. Он прочел о нем все, что можно было,— и не только по-русски. Он ходил на все картины «Лепфильма», потому что действие в них часто происходило на улицах Ленинграда. Время от времени он покупал (хотя у него не было лишних денег) старые гравюры и подолгу рассматривал темно-белые, цвета дыма, здания вдоль берегов Невы, вырезанные тонкими штрихами.

Наконец повезло: ему предложили командировку, и, согласившись с радостью, он в мыслях отдал делу полдня, а остальные два с половиной — Эрмитажу, Сенатской площади, Островам.

Он поедет в Пушкин, разумеется, с Валькой. А вечерами — театр Акимова и балет «Спартак». Тоже с Валькой. Ну и, пожалуй, с Тамарой.

Валька был самый близкий друг с третьего класса, а Тамара — Валькина жена.

Петя немного огорчился, что номер, который он достал с трудом, выходил на узкий двор, в котором виднелись лишь крыши грязных сараев. Но даже в стенах, составлявших узкий колодец двора, было — так он решил — что-то ленинградское. И, полюбовавшись ими, он позвонил в Институт стекла и условился о встрече.

2

Дело, по которому он приехал, было простое: несколько лет тому назад академик Часовщиков изобрел стекло, без которого Петя не мог закончить свой аппарат. Никто не заинтересовался свойствами этого стекла, и Часовщиков перестал заниматься им, напечатав тридцать строк в специальном журнале. Потом Часовщиков умер, и хотя ему было уже за девяносто, все же этот поступок выглядел предательством по отношению к Пете. Насколько все было бы проще, если бы академик протянул еще хоть полгода!

Теперь Петя сидел у Круазе, научного руководителя института, и внимательно слушал, втянув в плечи голову с плоскими волосами, которых оставалось уже немного. Круазе был из обрусевших французов, высокий, сильного сложения, но, по-видимому, много болевший — на лице был заметен отпечаток страданий. Он был лыс, с венчиком седых волос вокруг красивой головы, в галстуке бабочкой. Цветной платок свисал из наружного кармана. В Круазе было что-то романтическое, театральное. «Однако дело знает»,— подумал Петя, слушая Круазе, который, мигом подхватив его мысль, ловко развил ее в другом направлении.

Он не только одобрил намерения Пети, но даже предложил варианты — где и как еще стоило бы воспользоваться стеклом Часовщикова. Варианты, с Петиной точки зрения, были сомнительными, но все равно было приятно, что этот представительный мужчина и, по-видимому, знаток своего дела так охотно вошел в его интересы. Раза два что-то прошло по лицу Круазе, точно надобность в этом стекле, о котором давно все забыли, попала в строй его прежних мыслей или возбудила новые, не относящиеся к Петиному приходу. Они перешли к практической стороне, и вот тут оказалось, что все далеко не так просто, как решил было обнадеженный Петя.

Стекло Часовщикова существовало только теоретически, если не считать единственного образца, хранившегося в кабинете Евлахова, ученика и близкого друга Часовщикова. Нужно было сделать это стекло, и он, Круазе, конечно, может распорядиться, чтобы оно было сделано, но без Евлахова это неудобно и даже по многим соображениям невозможно. Правда, он, Круазе, может просто позвонить Евлахову, но лучше, если Петя пойдет к нему, тем более что Евлахов участвовал в создании стекла. И новая оценка действительно необыкновенных свойств этого стекла будет ему только приятна.

— А вы вообще-то слышали о Евлахове?

— Нет.

— Стало быть, вам и невдомек, что история русского стекла вся лежит между Ломоносовым и Евлаховым?

Возможно, что это было сказано с оттенком иронии, относившейся, разумеется, не к Пете, а к Евлахову, который, по-видимому, именно так представлял себе эту историю.

— Признаться, да.

— Вот она, специализация! — сказал Круазе и с комическим отчаянием всплеснул руками.

Из стопки, лежавшей на столе, он вытянул лист бумаги и разделил его продольной чертой — на глаз, но удивительно ровно. «Евлахов» — четко написал он над левой стороной, а над правой — «Углов».

— Полезная вещь — план разговора. Начинает он: «Чем могу служить?» Не пугайтесь, это прозвучит сухо. Вы расскажете ему то, что я услышал от вас, но вдвое короче. Он спросит: «Прекрасно, но при чем же тут я?» Вы ответите, что не представляете себе этой работы без его участия или по меньшей мере согласия. Он пробурчит «ерунда» или что-нибудь в этом роде. Не сдавайтесь. Повторите: «Не представляю себе» — и сразу же к общим выводам, отнюдь не стараясь быть популярным.

Петя слушал, крепко засунув между коленями длинные руки. Он любил ясность, а в этом плане, вопреки полной определенности, было что-то неясное.

Приятно, конечно, что Круазе так заинтересовался Петиными делами, но как-то и неожиданно: с чего бы? Ведь дело-то было хотя и важное для Пети, но для Института стекла пустяковое. Если Круазе может приказать, чтобы стекло было сделано, зачем идти к Евлахову, будь он хоть семи пядей во лбу? Нет, тут было что-то постороннее, ничем не связанное с Петей и его аппаратом. Что-то скользнувшее и скрывшееся — хотя бы в ту минуту, когда Круазе вдруг задумался: а может быть, не стоит упоминать, что, прежде чем зайти к Евлахову, Петя был у него, Круазе? Тут же он решил, что стóит, но тогда с тем, чтобы Петя тщательно (хотя опять-таки кратко) передал их разговор.

«А как насчет истории стекла от Ломоносова до Евлахова?» — с иронией подумал Петя.

Несмотря на эти загадки, до которых ему, впрочем, не было дела, Круазе очень понравился Пете. Видно было, что это человек оригинальный, умный, а может быть, даже блестящий.

И Петя понравился Круазе. «Экий штатив!» — добродушно подумал он, когда, простившись слишком решительно, как это бывает с застенчивыми людьми, Петя вышел из кабинета.

3

Все утро, сперва с вокзала, потом из гостиницы, теперь, выйдя от Круазе, он звонил Вальке. Никто не подходил. Наконец незнакомый женский голос отозвался сердито:

— Да? Колосковы? Нет дома, он — в командировке, а она — на работе.

— В командировке? — упавшим голосом переспросил Петя.— А когда вернется?

— Не знаю.

Черт возьми! Вот почему Валька его не встретил. Расстроенный, даже слегка побледневший от огорчения, Петя отправился к Евлахову. «Как же так? Ведь мы списались. Ну да, уехал неожиданно, не успел предупредить. Какая досада!»

Евлахов был занят, и Петя долго ждал, не замечая времени и все думая о Вальке: «Может быть, еще вернется, пока я в Ленинграде? Вечером позвоню Тамаре».

Евлахов был выше среднего роста, с круглым, начинающим набрякать лицом, с торчащими по-мальчишески на макушке волосами, которые он время от времени начинал торопливо наглаживать, как будто только что снял шапку. Лицо было саркастическое, хотя это проглядывалось и не сразу. Он говорил хрипловатым голосом, без всякого выражения и встретил Петю равнодушно, как будто подчеркивая, что совершенно не интересовался, зачем он пришел.

Нельзя сказать, что намеченный Круазе план разговора осуществился — разве что в единственном пункте. Евлахов действительно спросил: «Чем могу служить?» Дальнейшие предсказания не оправдались. Впрочем, Петя сразу же забыл этот план. Теперь он изложил свою мысль с большей энергией. Хотя Евлахов был далеко не так радушен, как Круазе, разговаривать с ним было почему-то интереснее. Сперва он молчал, только серые глаза иронически поблескивали, потом стал сбивать Петю неожиданными вопросами. «Как на экзамене»,— с досадой подумал Петя и, в свою очередь, задал вопрос, на который Евлахов, помолчав, ответил неверно.

— Вот стекло Часовщикова,— сказал он, небрежно показав рукой на маленький, стоявший между окнами стенд.

— Можно посмотреть?

— Пожалуйста.

Стекло Часовщикова было такое же, как другие.

— Н-да. Ну что ж, как говорится, с богом,— сказал Евлахов, когда Петя вернулся.— Не вижу только, чем, собственно, я могу быть полезен.

Петя смутно чувствовал, что перед ним человек, которому не следует врать. Самое верное было бы откровенно сказать, что он и сам не знает, зачем пришел к Евлахову, и что это нужно, по-видимому, Круазе, а вовсе не ему, Пете Углову. Но вместо этого Петя, сильно покраснев, произнес подсказанную фальшивую фразу, которая даже и не вязалась с тоном их разговора.

— Трудно представить себе эту работу без вашего участия или по меньшей мере согласия.

Евлахов сморщился.

— Это что же, щепетильность? — спросил он с бо́льшим количеством шипящих, чем требовалось для этого слова.

Петя замолчал. Несмотря на всю видимость решительности, он действовал ощупью, почти наугад. «Ох, не сказать бы еще и насчет Ломоносова»,— подумал он, чувствуя, что Евлахов на глазах, как Райкин, уходит куда-то, чтобы через несколько секунд вернуться совершенно другим. Так же, как это было с Круазе, что-то постороннее вошло в строй его мыслей, не совпадавшее с прежними мыслями, а, напротив, мгновенно разрушившее этот строй.

— Игорь Лаврентьевич сказал, что без вашего согласия...

— Он ошибается,— сухо возразил другой Евлахов. От прежнего осталось только торопливое движение, которым он наглаживал топорщившуюся макушку.— Вполне достаточно *его* согласия. Состав опубликован. В чем же дело?

Теперь он следил за каждым словом, в то время как только что говорил с Петей совершенно свободно. Почти детская неумелость почудилась Пете в этой неожиданной перемене. Казалось, Евлахов нехотя заставлял себя становиться другим. «Они в ссоре, черт побери!» — подумал Петя.

Надо было как-то выходить из положения, а он как раз не отличался психологической ловкостью, которая одна, кажется, могла бы исправить дело. Выходы из подобных положений он придумывал потом, дымя папиросой на институтской лестнице или лежа дома, под одеялом.

Евлахов пожал плечами.

— Игорь Лаврентьевич полагает, что без меня нельзя изготовить стекло? Лестно, но не соответствует действительности. Так что извините...

Разговор, по-видимому, был кончен, но Петя не вставал. Насупившись, он раздумывал, как всегда в подобных случаях, особенно неторопливо. Найти выход он не мог, но еще менее мог заставить себя уйти от Евлахова, не добившись толку.

— Извините,— еще раз нетерпеливо повторил тот, быть может, почувствовав железную хватку в этом молодом человеке, уставившемся на него упрямыми глазами.— Имею честь...

Евлахов был одним из счастливцев, на всю жизнь сохраняющих ощущение молодости с ее энергией, неосторожностью, самонадеянностью, быстрыми решениями, небоязнью смерти. Между окружающим миром и его чувствами не лежали годы, они прошли, почти не изменив остроты этих чувств. Неожиданные повороты мысли ставили в тупик собеседника, не сумевшего разглядеть насмешку в озорных, серых, немного навыкате, глазах. Он и был озорником, любившим оживить скучное заседание шуткой, анекдотом, которые он рассказывал мастерски, с неподвижным лицом.

Удивительные превращения, происходящие в наши дни со стеклом, почти все были предложены или подсказаны им и, разумеется, Часовщиковым, которого он, впрочем, обогнал еще в сороковых годах.

В течение многих лет дружбы с Круазе он не замечал или не думал о тех чертах его характера, которые встали теперь между ними. Им равно посчастливилось учиться, а потом работать у Часовщикова; оба ценили его школу, его традиции, с той только разницей, что Евлахов молчал о них, а Круазе говорил — и много. Они привыкли считаться с несходством друг друга. Круазе прощал Евлахову его себялюбие, его резкое, подчас пристрастное отношение к людям, его упрямство, хвастовство, особенно неприятное, когда тот начинал хвастаться своей прямотой. В свою очередь, Евлахов прощал Круазе его высокопарность, любовь к представительству, фразе, его мелочность, преувеличенную осторожность, никогда, впрочем, не переходящую в трусость.

Отношения были старые — несколько сносившиеся, но дорогие хотя бы воспоминаниями о молодости, бросавшими теплый свет на жизнь, прошедшую бок о бок.

Теперь отношения рухнули, и, как рассказали Пете в Институте стекла, это была не просто ссора, а глубокий, болезненный разрыв, сделавший их чужими людьми.

История будто бы началась с того, что начальник главка, мечтавший об ученой степени, выпустил довольно бесцветную книгу, основанную на устаревших мыслях, но претендующую на глубину. Специальный журнал напечатал одобрительную статью. Всесоюзная аттестационная комиссия прислала книгу на отзыв в Институт стекла, и обойти ее, как рассчитывали Евлахов и Круазе, стало невозможным. Оба они были возмущены не столько самой книгой, сколько тем, что она была принята как руководство. В этом смысле она была уже далеко не безразлична, против нее необходимо было выступить, потому что возникающий спор ка-

сался вопроса о направлении, о том, куда должно пойти дело, состоявшее из сотен огромных самостоятельных дел — заводов, институтов, лабораторий, работавших вровень с техническим прогрессом страны.

Евлахов написал отрицательный отзыв, Круазе посоветовал смягчить резкие выражения и, когда это было сделано, одобрил, не подписав только потому, что это было не нужно. Готовилась конференция, оба намеревались выступить, и можно было не сомневаться в том, что их авторитетное мнение будет поддержано лучшими специалистами лучшего в Советском Союзе Института стекла.

Вечером накануне конференции оба ученых написали вчерне докладную записку правительству — по некоторым признакам это могло оказаться необходимым. Но необходимым — по меньшей мере для Круазе — оказалось другое: наутро он выступил против Евлахова, с горячей защитой книги. Больше того, в длинной, обдуманной речи, которую невозможно было подготовить и написать в одну ночь, он доказывал, что противники этой значительной книги фактически срывают перспективный план и, следовательно, мешают размаху семилетки. Конечно, они делают это невольно, сами того не желая, но это не меняет дела.

Ничего особенного не произошло в результате этого столкновения: прошло полгода, книга была признана плохой и забыта. Но отношения рухнули, и, по-видимому, навсегда.

5

Петя не попал на балет «Спартак» — к счастью, потому что, вернувшись в гостиницу, он узнал, что ему звонили из Перми. У него был нетерпеливый шеф, любивший, чтобы то, что задумано, было сделано немедленно, и Петя ждал его звонка, хотя и не так скоро.

В Пермь можно было звонить только после полуночи, и он решил съездить к Тамаре. Надо было все-таки выяснить, куда же уехал Валька и когда вернется. Добрый час он тащился на трамвае по скучным улицам Выборгской стороны, вдоль старых однообразных кирпичных зданий, вовсе не характерных, как ему показалось, для Ленинграда.

Тамара была дома. Да, Валя уехал в Москву. Надолго ли? Неизвестно. Зачем? Тоже неизвестно, что-нибудь насчет новой ракеты. Он ведь теперь связан с этим делом. Разве Петя не знал?

— Давно?

— Не очень.

Он слушал с восторгом. Все, что думал, делал и говорил Валька, было правильно, умно и в высшей степени интересно. По-видимому, правильно было и то, что он женился на этой худенькой, бледной, с короткими соломенными, зачесанными по-мальчишески волосами, незаметной девушке, говорившей с длинными паузами и только когда это было действительно необходимо.

В десятом часу он вернулся в гостипицу — вовремя, потому что беспокойный шеф позвонил снова. Петя рассказал, как обстоит дело. Шеф, покричав на него для острастки, велел купить еще три осциллографа, хотя даже и один, как это успел узнать Петя, купить было невозможно. Причина, по которой шеф всегда сердился на Петю, заключалась в том, что он давно занимался другим вопросом и чувствовал себя неуверенно в кругу Петиных интересов.

Потом вдруг позвонили от Круазе: Игорь Лаврентьевич интересуется результатами переговоров с Евлаховым. Ах, отказался? Немного подробнее, если можно. Не видит необходимости? Пауза. Несколько невнятных фраз, очевидно, поверх трубки, закрытой ладонью. Снова пауза. Вы слушаете? Игорь Лаврентьевич просит вас заглянуть к нему завтра в половине двенадцатого. До свидания.

Это был странный звонок, несколько озадачивший Петю: снова неясность, из которой можно было, кажется, заключить, что не только Круазе нужен Пете, но зачем-то и он, Петя, нужен Круазе. Тем лучше!

6

На этот раз разговор состоял в том, что Петя настаивал на приказе, а Круазе, как будто не замечая, уходил от этого решения, ища более удобного, причем удобство по-прежнему определялось участием Евлахова или по меньшей мере его согласием.

— А вы не можете позвонить ему? — потеряв терпение, напрямик спросил Петя.

— Да, в самом деле,— просто сказал Круазе.

Возможно, что это был мираж, но Пете показалось, что рука Круазе, державшая трубку, немного дрожала.

— Не отвечает. Еще не пришел. Вот что я придумал,— весело сказал Круазе.— Отправлю-ка я вас к Оганезову. Во-первых, вы все равно должны познакомиться с ним, потому что стекло, как известно, делается руками, а он — наши руки. А во-вторых, Оганезов — это, так сказать, alter ego Ивана Павловича. Уж ему-то он, во всяком случае, не откажет. Вы небось не знаете, что такое alter ego?

— Второе я,— отозвался Петя.

— Ого! А я-то думал, что латынь для нашей молодежи... Арам Ильич,— сказал Круазе, соединившись с Оганезовым,— у меня сейчас сидит Углов из Перми. Физиолог. Приехал он к нам по делу, которое можно и должно уладить. Просьба к вам: покажите-ка ему наш институт.— Он помедлил.— А сегодня нельзя? Пожалуйста. Да, из Перми. Вот спасибо. Отлично... Нельзя доставить Араму Ильичу большего удовольствия,— положив трубку и улыбаясь, сказал он.

— Я могу сказать ему, что вы согласны?

— О, без сомнения!

Круазе потянул из ящика стола листок бумаги. «Снова план?» — подумал Петя.

Он был недоволен. Посмотреть институт — это, конечно, недурно, но по сегодняшнему Круазе, который был столь же обходителен, быстр и красноречив, все-таки было видно, что у него что-то не вышло относительно встречи Евлахова с Петей. Он как бы охладел, перешагнув какую-то возможность, ставшую теперь вчерашним днем — в буквальном и переносном смысле слова.

Оказалось, что Круазе действительно набросал план, но не разговора, а девятого этажа, на котором найти Оганезова было трудно или даже почти невозможно.

— Так вы сегодня отдадите приказ?

Круазе засмеялся по-прежнему весело, но с легким оттенком раздражения:

— Будет сделано.

Он отпустил Петю совершенно так же, как накануне, улыбаясь и доброжелательно пожав руку. Но улыбка уже была как бы для всех, а не только для Пети, и доброжелательство — тоже. Он отпустил Петю, давая понять, что в новой встрече нет необходимости и что он, Круазе, сделав для молодого человека все, что было в его силах, больше не может, к сожалению, уделить ему ни времени, ни внимания.

7

Как большинство молодых людей, Петя плохо знал себя и никогда не задумывался над этим. Узнавание себя — это обычно медленный, подчас растягивающийся на десятилетия процесс, связанный и даже в известной мере обусловленный узнаванием других, то есть жизненным опытом, который приходит не скоро. То, что должно было произойти само собой и на что Петя заранее отвел три-четыре часа, оказалось бесконечно сложнее, и он не знал, как вести себя в подобных обстоятельствах, с которыми

встретился впервые. Тем не менее он знал, что все равно не уедет из Ленинграда без стекла,— в этом смысле собственный характер был ему достаточно известен. Поэтому, разыскивая Оганезова, он пытался найти хорошую сторону в создавшемся положении. Он глубоко мыслил в физиологии, но это не мешало ему любить и понимать прибор, как таковой, как умное орудие, без которого нечего делать в науке. А в Институте стекла были приборы, только что построенные и еще никому во всем мире не известные.

По-видимому, Оганезов сразу почувствовал в Пете этот интерес, потому что, хмуро встретив его, вскоре оживился и стал с азартом показывать институт.

Он слишком быстро говорил — так и сыпал! — и Петя не сразу приспособился, а переспрашивать незнакомого человека стеснялся.

Оганезов был маленький, худой, даже какой-то вогнутый, с горбатым носом и торчащими серо-седыми волосами. Подобный цвет определяется обыкновенно, как соль с перцем. Но соли было уже много больше, чем перцу. Вопреки своей внешности — у него были острые, торчащие из-под небрежно завернутых рукавов ковбойской рубашки локти, о которые можно было, кажется, уколоться,— Оганезов был добрый и отзывчивый человек. Быстрый ум, схватывающий с полуслова, чувствовался сразу. Он был начитан, отнюдь не только в специальной литературе, так что Петя, который тоже много читал, несколько раз был поставлен в тупик — к полному добродушному удовольствию Оганезова. Казалось немного странным, что этот крошечный, худенький человек руководил работой множества сложных аппаратов и был, по-видимому, душой огромного института. Его маленькие цепкие руки не оставались в покое, едва он начинал объяснять, и по этим рукам, по серо-седому хохлу, вставшему над лбом, как у филина-пугача, по большому азартному носу видно было, что Оганезов не только дотошен, но и дьявольски, сверхъестественно терпелив — все почтенные качества, которые нравились Пете. Но в Оганезове чувствовалось и какое-то беспокойство: в каждой комнате он прежде всего искал телефонный аппарат. Можно было подумать, что ему до зарезу нужно кому-то позвонить и он то решается, то вновь начинает колебаться. По своей экспансивности он не мог скрыть ни того, что он сердится на себя, ни того, что ему мешает эта тревога.

Петя не знал, что Оганезов, преодолевший и продолжающий преодолевать тысячи препятствий в своей жизни, прочно связанной с Институтом стекла, находился в полной растерянности перед новым препятствием, которое казалось ему действительно непреодолимым: его восемнадцатилетняя дочь, только что окончившая школу, влюбилась в пятидесятитрехлетнего артиста и твердо

решила выйти за него замуж. Артист был вполне порядочный человек, но при одной мысли, что его дочь, быстрая, гибкая, с большими нежными глазами, красавица, точно сошедшая с картин Гудиашвили, станет женой развязного, румяного, похожего на ямщика человека, который был уже трижды женат,— при одной этой мысли у Оганезова глаза наливались кровью.

Наконец он не выдержал, позвонил и вернулся расстроенный: дочери не было дома.

Он показал Пете свой прибор и немного утешился, когда Петя сказал:

— Красиво.

Действительно, прибор был хорош. Петя вздохнул, подумав о скромных возможностях своего института. Но точность прибора, которой похвастался Оганезов, можно было, пожалуй, и увеличить, если попробовать... И Петя рассказал Оганезову об одной новости, которую шведы недавно удачно применили в медицинской аппаратуре.

Это было некстати, если вспомнить, что деловой разговор еще, в сущности, не начинался. Оганезов нахмурился и заговорил так быстро, что понять его стало уже решительно невозможно. Заметный армянский акцент прорезался в его речи, ручки пошли в ход с удвоенной быстротой. Он не знал этой новости и говорил вздор, так что Пете пришлось поправить его, хотя он чувствовал, что этого-то уже, во всяком случае, не стоило делать. Спор сразу же попал, что называется, не в фокус, и Петя пожалел, что затеял его, потому что Оганезов не то чтобы рассердился, но, кажется, стал менее радушен, чем в начале их разговора.

Зато получилось очень естественно, когда от его прибора Петя перешел к своему, сказав, что у него не только задуманная точность, но вообще ничего не вышло и что он приехал в Ленинград именно по этой причине. Оганезов знал о стекле Часовщикова, и Петина мысль показалась ему остроумной.

— Какой может быть вопрос? Сделаем, конечно! — быстро сказал он.— Вы видели Круазе?

На этот раз Петя решил быть откровенным, тем более что оттенок сдержанной неприязни скользнул по лицу Оганезова, когда он произнес эту фамилию.

— Был-то я был и даже, кажется, договорился. Да видите ли, в чем дело...

И он напрямик сказал, что по совету Круазе был у Евлахова и что тот отказал. Правда, Круазе сказал, что практически согласие Евлахова никакого значения не имеет...

— Не понимаю,— немного покраснев, перебил Оганезов.— Как не имеет?

— Я хочу сказать, практически.

— Что значит — практически? — спросил Оганезов так громко, что обогнавшая их сотрудница испуганно обернулась.— Все, что делает Иван Павлович Евлахов, значение имеет!

— Извините,— сказал Петя, чувствуя, что он снова нечаянно попал на больное место.— Я здесь посторонний человек и, естественно, не знаю ваших отношений. Мне кажется, что они не должны касаться существа дела. Если вы, так же как товарищ Круазе, считаете, что без согласия Евлахова не обойтись, может быть, вы будете добры сами поговорить с ним об этом?

Возможно, что, если бы Петя, решив говорить откровенно, взял другой тон, Оганезов понял бы его и помог, потому что он чувствовал растерянность, в которой находился посторонний человек, попавший в совершенно чуждые ему отношения. Но ему показалось, что Петя упомянул о Евлахове без уважения. Этого было достаточно, чтобы Оганезов взорвался. Хохол его задрожал, и каждую фразу он теперь начинал возмущенным «что значит».

Петя молча слушал его. Он был несколько флегматичен, но в редких случаях взрывался и он. Надо было постараться, чтобы этого не случилось.

— Вы меня не поняли,— тоже сердито, хотя и сдержанно сказал он.— Думаю, что мне лучше вернуться к Игорю Лаврентьевичу и узнать, распорядился ли он насчет приказа. Спасибо за то, что вы показали мне институт. До свидания.

Круазе не принял его. Он ждал чешскую делегацию. Искусно причесанная, вежливая секретарша была на этот раз не очень любезна. Она вскочила на звонок, и за распахнувшейся дверью Петя увидел Круазе — улыбающегося, красивого, с белым сияющим венчиком вокруг головы. Он был, что называется, «в полете».

8

Петя поехал искать осциллографы, не нашел их и огорчился, хотя заранее был уверен, что не найдет. За обедом, который был одновременно и ужином, он обдумывал свой разговор с шефом. Объяснить путаницу, с которой Петя встретился в Институте стекла, да еще по телефону, было невозможно. И он решил сказать: «Все в порядке». Он был почти уверен, что в конечном счете все действительно будет в порядке.

Он достал билет, но не на «Спартак» и не в Театр комедии, а в Большой драматический на пьесу, о которой он слышал что-то хорошее. Но Тамара, которой он позвонил, сказала, что, очевидно,

что-то хорошее он слышал о другой пьесе, потому что эта — очень плохая.

— От Вальки есть что-нибудь?

— Нет.

— Хоть бы позвонил, скотина!

— Да,— безропотно отозвалась Тамара.

Петя решил отдохнуть, а потом пройтись по вечернему Невскому — и, успув, вскочил в два часа почи. Расстроенный, он долго сидел у окна, глядя на залатанные крыши сараев. Как это с ним часто случалось, он думал во сне — на этот раз о приборе Оганезова. Теперь, проснувшись, он продолжал думать: конечно, можно достигнуть большей точности! Он сделал чертежик, потом смял его и, бросив в корзину для бумаг, снова завалился, на этот раз до утра.

9

Утром, еще голый, он достал чертежик и, разгладив его на колене, перебелил с поправками, которые пришли ему в голову неизвестно когда: во сне или когда он рассматривал свои голенастые, как у страуса, некрасивые ноги.

Ехать в институт ему не хотелось, как не хочется лезть в холодную воду, чтобы отцепить запутавшийся среди водорослей рыболовный крючок. Но делать было нечего. Он сел в трамвай и через полчаса поднимался в лифте на девятый этаж, разыскивая Оганезова.

— Здравствуйте, я на минуту. Дело в том, что вы все-таки...

Оганезов не сразу понял, что речь идет о его приборе. Он сожалел, что вчера накричал на Петю, у него был смущенный вид, и сперва он думал лишь о том, как бы наименее обидным для себя способом выйти из неловкого положения. Но когда он понял, что этот незнакомый человек, на которого он незаслуженно обрушился, уйдя от него, стал заниматься не своими, а его, Оганезова, делами, он радостно захохотал, открыв рот, как ребенок.

— Это смешно! — с восторгом сказал он.— Не важно: точность, не точность... Вы такой человек, да? Как ваша фамилия?

— Углов. Как это не важно? Вы меня не поняли.

Оганезов слушал, отогнув длинное морщинистое ухо.

— Феноменально! — сказал он. И через несколько минут: — Не выйдет.

Петя снова стал терпеливо объяснять.

Оганезов вдруг толкнул его и, сказав «молчи» почему-то на «ты», взволнованно зашагал по лаборатории. «Дошло»,— подумал с удовольствием Петя.

Они проговорили бы до вечера, если бы Оганезов, спохватившись, не вспомнил о Петином деле.

— Вы были у Круазе? — спросил он, произнося эту фамилию так же легко, как любую другую, но одновременно как бы вспоминая, что именно так ее и надо произносить.

— Сегодня? Нет еще.

— И не ходите. Вот что мы сделаем: возьмем за бока Скачкова.

— Кто это?

— Я вчера не показал вам Скачкова?

— Нет.

— Скачков — это человек, который чувствует стекло, как музыку! Вы понимаете? Пошли!

Но Скачков, чувствовавший стекло, как музыку, не показал подобной тонкости в разговоре с Петей.

— Прикажут — сделаем,— вздохнув, сказал он.— Вообще-то Игорь Лаврентьевич мне звонил.

— Звонил?! — переспросили одновременно Оганезов и Петя.

— Да. Сколько вам нужно?

Скачков был квадратный пожилой человек в топорщившемся от чистоты халате. Седые волосы были начесаны на толстый низкий лоб. Он говорил с Петей скучным голосом, но не потому, что мало интересовался стеклом Часовщикова, а потому, что Круазе говорил с ним об этом деле неопределенно и, во всяком случае, без малейшего воодушевления.

— Сколько нужно? — Петя подумал.— Хорошо бы около килограмма.

Скачков засмеялся.

— Вы шутите,— сказал он.— Около килограмма? А как вы его купите?

— То есть?

— Такое количество вам бухгалтерия не выпишет.

— Мало?

— Разумеется. Арам Ильич, вы объяснили товарищу?

Пока Петя раздумывал, что делать с новой заботой, Оганезов налетел на Скачкова:

— Почему же не выпишет? Состав известен. Сегодня килограмм, завтра двадцать. Приказ есть приказ!..— И так далее.

— Приказа-то, собственно, еще нет,— почесавшись, сказал Скачков.— Да мне что, пожалуйста. Вот что, товарищ,— сказал он, оживившись и, по-видимому, искренне желая помочь Пете.— Поговорите-ка с Евлаховым. Может быть, он в своей лаборатории согласится сделать вам около килограмма.

10

Петя знал, что он плохо воспитан и что некоторые неудачи в его жизни произошли именно по этой причине. Застенчивость, постоянно тяготившая его, тоже произошла оттого, что никто не учил его держаться естественно и свободно. Он был вежлив, но инстинктивно, а иногда и невежлив, потому что свойственные ему скромность и душевная расположенность к людям не могли подсказать, должен ли он, например, первым протянуть руку человеку, который был старше его лет на тридцать и сделал в тридцать раз больше, чем он. Он даже научился пользоваться своей невоспитанностью, заметив, что этот недостаток подчас принимают за прямодушие, за неумение хитрить. Тогда-то он как раз и начинал хитрить. Подчас, когда мысль и чувства не совпадали, он видел себя со стороны и не обманывался, потому что по отношению к себе был, в сущности, беспощаден. Но это случалось редко. Семнадцатилетним юношей, уйдя с головой в науку, он достиг глубины, которая обещала многое, и многое действительно успел, хотя был еще молод. Он так тонко понимал науку, что и людей-то научился понимать главным образом по их отношению к науке. Так, для него, например, были ясны типы людей науки, их тактика и стратегия, их пристрастия и пороки. Но мир живых, обыкновенных, не связанных с профессией чувств был все-таки чужд Пете Углову, как большинству его сверстников, оставшихся элементарно неразвитыми в искусстве человеческих отношений, в любви, в способности ценить прекрасное, в умении восхищаться.

Плохо зная себя, он все-таки догадывался, что правда, пусть даже и неуместная, подчас оказывается волшебным ключом, открывающим в людях все лучшее, чем они обладают. Так было, например, с Оганезовым. Возможно, что так же было бы и с Евлаховым, если бы он, Петя, не стал притворяться.

В холодном настроении, овладевавшем Петей постоянно, когда его намерения упорно не осуществлялись, он постучал к Евлахову. Не ответили. Он приоткрыл дверь. В кабинете было пусто. Неужели уехал? Белый халат был небрежно брошен на кресло. Петя вздохнул. «Подожду»,— решил он. Впрочем, больше ничего и не оставалось. Он подошел к стенду и стал рассматривать стекло Часовщикова. Одна из ниточек, которыми матовый кружок был прикреплен к бархату стенда, оборвалась. Петя поднял крышку, осторожно достал стекло и подошел к окну. Стекло как стекло: матовый кружок, чуть отливавший перламутром. «Неужели эта поверхность, которая ничем, кажется, не отличается от поверхности любого стекла, действительно способна...»

Дверь скрипнула. Вошел Евлахов, и Петя, испуганно обернувшись, сунул стекло в карман. Движение было непроизвольное. Так, с детства, застигнутый строгим отцом, запрещавшим ему курить, он совал в карман горящий окурок. Евлахов вошел раздраженный, читая на ходу какое-то письмо.

— А, это вы? — спросил он, откровенно поморщившись, и бросил письмо на стол.— Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Садитесь.

Петя застыл, вытаращив глаза, и мгновение, когда все еще могло разъясниться, прошло. Чувствуя в кармане стекло, что было физически невозможно, потому что оно весило не больше, чем стекло карманных часов, он подошел к столу, но не сел, а почему-то встал, крепко взявшись обеими руками за кресло.

Евлахов тоже не сел, должно быть, рассчитывая, что Петя скорее уйдет, если они будут разговаривать стоя. Он еще косился на письмо, которое рассердило его, потому что оно касалось все той же геометрической бессмыслицы, вследствие которой в Институте стекла (если представить его в виде окружности) было два центра: психологический и административный. Не зная этого, автор письма обратился к Евлахову по крайне важному вопросу, который мог решить только Круазе,— то есть не решить по существу, а приказать, чтобы решили другие.

— Если не ошибаюсь, мы уже выяснили, что я не имею отношения...— не дождавшись, что Петя заговорит, начал Евлахов.— Или вы по другому делу? Тогда, может быть...

Петя покачал головой. Только в детстве находили на него подобные минуты оцепенения.

— Господи боже ты мой! — с тоской сказал Евлахов.— Зачем вы пришли? Если у вас есть дело — говорите, если нет — уходите. Черт знает что! — продолжал он.— Ну что вы молчите? Оганезов говорил мне о вас, и мне не понравилось то, что он говорил, хотя вы и оказали ему какую-то там услугу. И Скачков говорил. Все какие-то окольные пути, все со стороны. Услуга! Почему, скажите, ради аллаха, должен я заниматься вашими, а не своими делами? Еще если бы было в вас хоть что-нибудь... ну, располагающее, что ли. Так ведь нет! Только одно: взять за горло, добиться своего. А свое — еще одна диссертация, которых написаны уже несметные сотни.

Он сильно потер лоб. Волосы смешно торчали на макушке. Наговорив неприятностей, он подобрел и тут же рассердился на себя за то, что подобрел.

— А знаете, что я сделал бы на вашем месте! — вдруг снова взорвался он, побагровев и уставившись на Петю бешеными

глазами.— Не стал бы три дня подряд выпрашивать это стекло, а взял да и украл бы его, если на то пошло,— и концы в воду.

Возможно, что если бы Петя, хотя и нечаянно, не поступил именно так, как советовал ему Евлахов, он нашел бы, что ответить на его пристрастную речь. Но вместо ответа он только вынул из кармана стекло и сам же уставился на него с растерянным выражением.

— Что там у вас? — сердито спросил Евлахов.

Он плохо видел и сильно двинулся вперед, чтобы разглядеть матовый кружок, лежавший на Петиной необъятной ладони. Петя тоже почему-то двинулся, и они чуть не столкнулись лбами.

— Да вот... стекло...— неопределенно ответил Петя.

Евлахов посмотрел на стекло, на Петю, опять на стекло и пискнул.

Петя испуганно втянул голову в плечи. Но Евлахов пискнул не от негодования, а, по-видимому, от восторга. Сорвавшись с места, он подбежал к степду, заглянул и, хлопнув ладонями по коленям, закатился долгим, хриплым, заразительным смехом. Петя тоже робко засмеялся.

— Стащил?!

— Честное слово, нечаянно.

— Врете!

— Вы вошли неожиданно, а я рассматривал... ну и как-то сунул в карман. Честное слово, нечаянно.

— Ну да, как бы не так! Знаем мы...— говорил Евлахов.

И прежде в нем мелькало что-то мальчишеское, а теперь и вовсе легко стало представить себе, на какие отчаянные шалости пускался он в детстве. Глаза заблестели, брови высоко, смешливо поднялись, волосы в беспорядке, но с какой-то лихостью упали на лоб. В него можно было влюбиться.

— Так-с, теперь поговорим,— успокоившись, сказал он, точно это была единственная возможность — стащить стекло, чтобы серьезный разговор наконец состоялся.— Ну-ка, еще раз: зачем вам нужно стекло?

Петя рассказал — на этот раз с вдохновением.

— Так. И сколько вам его нужно?

— Я просил около килограмма.

— Почему?

Петя осторожно положил стекло на стол. В самом деле — почему? Мысль, которая давно, сразу же после разговора со Скачковым, бродила невесть где, теперь высунулась краешком, как будто нарочно, чтобы его подразнить.

— Я не знаю технологии...— неуверенно сказал он.— Но если бы оказалось, что поверхность... То есть если бы можно было... ведь тогда даже и тончайшая пленка...

Это была мысль, ничуть не странная по отношению к живой природе, которой занимался Петя. Но по отношению к мертвой, то есть к стеклу, это была не только странная, но почти фантастическая мысль. Евлахов слушал его, смешно моргая.

— А кристаллизация? — спросил он и стал слушать еще внимательнее, когда Петя с маху шагнул через кристаллизацию, которую можно было преодолеть, просидев в лаборатории не менее полугода.

— Ну-с, так,— сказал Евлахов, подводя итог не столько Петиным соображениям, сколько собственной недогадливости, заставившей его так сильно в нем ошибаться.— Любопытно. А теперь поехали.

— Куда?

— Ко мне.

— Зачем?

— Обедать.

11

Петя вернулся в гостиницу в том размягченном, нежном настроении, которое всегда овладевало им, когда ему случалось побывать в хорошей, дружной семье. Ему все понравились: хозяйка, маленькая, быстрая, сохранившая изящество, хотя и сверстница мужа, дети — сын лет тридцати пяти, океанолог, недавно вернувшийся из Антарктиды, и дочь с мужем, врачи. Это был дом, в котором умели радоваться всему хорошему — малому и большому. А хорошее на этот раз заключалось в том, что Евлахов привез к обеду Петю и рассказал, хохоча, о том, как было «украдено» стекло Часовщикова.

«А как видно, что они любят друг друга,— продолжал думать Петя.— И как убедительно доказал Евлахов, что десятой доли стекла, которое Петя стащил, вполне достаточно для его прибора».

Пете было так приятно думать об этом семействе, так весело и грустно, что он даже забыл о том, что, лишь заглянув в гостиницу, собирался сразу же отправиться на Сенатскую площадь. Он был холост, хотя и полагал, что жениться, по-видимому, необходимо. Но ему казалось, что жена изменит весь уклад его жизни. Уклада никакого не было, а была комната, хотя и очень хорошая, но полупустая, а в ней горы разного назначения и происхождения: горы окурков, горы книг на полу, на окне, на диване. Уклад фактически заключался в том, что, придя с работы, Петя *уклады-*

вался на диван, курил и думал. Но как раз именно это-то и могло не понравиться супруге. Думая о женитьбе, он начинал жалеть себя, что, вообще говоря, случалось с ним очень редко.

...Секретарша Круазе позвонила, вернув его из коридора: Игорь Лаврентьевич очень сожалеет, что не мог принять товарища Углова. («Ясно. Уже доложили, что я был у Евлахова».) Что поделаешь, иностранная делегация. Как дела? Немного подробнее, если можно. Пауза. Игорь Лаврентьевич просит заглянуть к нему. Пауза. Ну, хотя бы завтра в двенадцать.

— К сожалению, я сегодня уезжаю,— сказал Петя.— Поблагодарите, пожалуйста, Игоря Лаврентьевича. До свидания.— Он показал невидимому Круазе длинный, как у муравьеда, язык и весело прошелся по номеру.

— Что, взял?

Постучали. Он не расслышал, и Колосков вошел, когда Петя торжествовал победу над Круазе, выкидывая перед зеркалом длинные ноги.

— Пляшешь?

— Валька! Приехал все-таки!

Обниматься — это у них было не принято, и они, улыбаясь, только молча крепко пожали друг другу руки. В противоположность Пете, которого можно было нарисовать одной ломаной линией, Колосков был довольно толст, с большой головой, на которую трудно было найти подходящую шапку. У крупных людей с годами вырабатывается осторожность в движениях — он был еще стремителен, порывист и постоянно что-нибудь бил и ломал. Стулья разваливались под ним, посуда летела. У него было круглое спокойное лицо, одновременно грубое и тонкое, с лысым лбом и нервными губами. Он был похож на ребенка, но на ребенка из свифтовской страны великанов, не подозревающего, как он толст и высок.

С тех пор как Колосков уехал из Перми, они редко встречались, но уж если встречались — могли проговорить всю ночь напролет — Тамара в этих случаях умела стушевываться до почти полного исчезновения.

На этот раз, увы, у них было только несколько часов. Пермский поезд уходил в десять сорок.

— Такая жалость, черт побери! Так хотелось посмотреть Ленинград! Не успел.

— Почему? У тебя же было уйма времени.

— Было-то было!

И Петя рассказал, с каким трудом он добился толку, попав в сложные и неясные отношения между Круазе и Евлаховым.

— Мне кажется, отчасти я и сам в чем-то был виноват.

— Старики, брат, девятнадцатый век! — сказал Колосков поучительно.— Сальеризм и прочее. Пошли.

— Куда?

— Смотреть Ленинград. Конечно, ты виноват,— сказал он, когда они спускались по лестнице.— Нельзя же вести себя так, как будто ты не знаешь, что будешь делать в следующую минуту.

12

Они пошли пешком, и то, о чем они говорили, несомненно, принадлежало к двадцатому веку, и даже к его последней, еще не наставшей трети. Шел несильный дождь, который они заметили, лишь остановившись на Петроградской набережной, там, где Нева сливалась с Большой Невкой. Напротив, по ту сторону реки, навечно пришвартовалась «Аврора». Колосков хотел показать Пете необыкновенный вид, открывавшийся с этого места. Но хотя вид был действительно необыкновенный, показать его не удалось, потому что даже «Аврора» едва проглядывалась в графитных линиях дождя, переходившего над Невой в моросящий туман.

Впрочем, Петя скоро забыл о своей досаде на дурную погоду. Почти невидимый, Ленинград был все-таки где-то близко, рядом. Он как будто проплывал в глубине сознания, всецело погруженного в то, что Петя слышал от друга.

Они шли по Дворцовому мосту.

— Вообще-то говоря, история характерная.

— Какая история?

— Да вот что ты рассказал. Насчет стариков. Смотри, дубина: Академия наук, университет. Он же — Двенадцать коллегий.

Все было как за толстым запотевшим стеклом — затушевано, стерто.

— Да, черт, не повезло,— вздохнув, сказал Петя.— Так что ты говоришь? Ах да! Старики!

— Я говорю, что эта история — отражение той борьбы, которая ни на один день не прекращается в науке. Формы, конечно, разные. Приобретатели и изобретатели, например. Твой случай.

— Сложнее.

— Может быть. Но, в сущности, не все ли равно, почему Круазе выпал из науки? Для нас с тобой эта форма интересна только в одном отношении: она показывает высокий класс происков и интриг — работенка, о которой мы не имеем понятия.

Сфинксы, голые и мокрые, покорно лежали в бесчисленных сверкающих пылинках тумана.

— И очень хорошо, что мы не имеем о ней никакого понятия.

— Еще бы! Но она связана с умением вести себя, а вот этому нам с тобой не мешало бы поучиться.

— То есть?

— Да что! Ни ты, ни я не умеем ни войти в дом, ни выйти, ни поздороваться по-человечески, ни поддержать разговор.

— Ерунда.

— Нет, брат, не ерунда,— серьезно сказал Колосков.— На все хватает времени, а на вежливость — нет.

Теперь они были на мосту Лейтенанта Шмидта — в этом, кажется, можно было не сомневаться. Зато все остальное было непрочно, неопределенно, шатко и появлялось, кажется, только для того, чтобы тут же растаять в тумане. Где-то близко — или далеко? — были — или не были? — Медный всадник, Адмиралтейство, Сенат.

Они повернули на набережную, и Медный всадник нашелся наконец. Под осторожным светом прожектора он блестел в разорванных клочьях тумана. У него был озабоченный вид человека, спешащего куда-то в дурную погоду по неотложному делу.

— Я ехал сюда в компании архитекторов,— сказал Петя.— Все молодые, вроде нас с тобой. Так и они в один голос: старики поперек дороги. Бонзы — слыхал такое словечко?

— Еще бы!

Петя посмотрел на часы.

— Пора?

— Да.

Они взяли такси.

— А по-моему, дело не в бонзах,— сказал Петя.— И даже не в традиционной формуле «отцы и дети». Если говорить об этой формуле, так в другом разрезе, не горизонтальном — наверху отцы, внизу дети,— а в вертикальном.

— То есть?

— Во времени. Одни живут интересами завтрашнего дня в науке, а другие никак не могут расстаться со вчерашним.

— Да. Эх, брат! Перебрался бы ты в Ленинград! А?

— Не выйдет.

— А ты не можешь зимой взять в счет отпуска дней хоть шесть — восемь? Съездили бы в Выборг, прошлись бы на лыжах...

— Едва ли...

Они зашли в гостиницу за вещами и поехали на Московский вокзал.

Пете не хотелось сразу же после встречи с Колосковым долго разговаривать с соседями по вагону, и, обменяв свое удобное нижнее место, он полез на полку, едва поезд отошел от перрона.

Ночью он проснулся и стал вспоминать не сон, а странное ощущение, которое только что испытал в длинном перепутанном сне. Это было ощущение пустоты. Что-то непременно должно было случиться, прежде чем кончится сон, и оборвалось, не случилось. Но эта пустота относилась не к Ленинграду, а к удалявшейся фигуре друга, стоящего с поднятой рукой на медленно уходившем перроне.

Петя зажег ночную лампочку и бережно вынул стекло Часовщикова из чемодана. Оно было холодное, с дрожавшей в глубине перламутровой точкой света. Три дня тому назад это был просто кусок стекла, обладавший свойствами, необходимыми для Петиного прибора. Теперь он был связан в его сознании с множеством впечатлений и размышлений. И это были новые для него впечатления и размышления. Так и не увидев Ленинграда, он все-таки увозил с собой город Евлахова и его детей с их скрытой нежностью друг к другу, город маленького прямодушного Оганезова, поднявшего на своих узких, как у мальчика, плечах громадное дело, город Вали Колоскова, глядевшего в будущее с тем выражением спокойной уверенности, которое было памятно Пете еще с третьего класса.

Но как будто и в себе самом Петя открыл что-то новое за эти три промелькнувших дня. Кто знает, что это было? Уж не догадка ли о том, что он и в самом деле плохо знает себя? А ведь для того, что задумано в жизни, недурно бы, пожалуй, узнать себя несколько лучше!

Впрочем, обо всем этом он думал недолго. Мысль, на которую он наткнулся в разговоре с Евлаховым, могла кое-что изменить в его аппарате. Это тоже была новинка. И, согнувшись в три погибели, поджав под себя жесткие, костлявые ноги, Петя на обороте папиросной коробки принялся прилаживать эту новинку к прежней схеме, настолько знакомой, что уже давно он обозначал ее понятной только ему одному закорючкой.

1960

ПРИЛЕТ ПТИЦ

На войне медицинская сестра Лариса Васильевна Вальцева потеряла слух — не совсем, но так, что приходилось подставлять левое ухо, и то если собеседник говорил громко. Это было тягостно, сразу как-то перепутало годы, как перемешивают костяшки перед игрой в домино, и после войны оказалось, что многие из сверстников, с кем Лариса Васильевна кончала школу, погибли, погиб и Миша Неустроев, которого она любила.

Многое изменилось и в доме, где Лариса Васильевна жила с матерью: одни уехали в эвакуацию и так и остались работать где-нибудь в Алма-Ате или Бийске, а в иных семьях все так переместилось, что и не поймешь, кто успел жениться или выйти замуж; просто выросли дети, выросли столь быстро, словно война и погнала их в рост, ускорила время, смешала сроки, и вот ей, недавней десятикласснице Ларисе Вальцевой, уже за тридцать, и в ее жизни все так смутно, так неустроенно, что начинаешь страшиться одиночества.

Зеркалам веришь, пока молод, а потом зеркала начинают фальшивить, они лгут, и притом грубо и безжалостно. Конечно, она никогда не была красивой, Лариса Васильевна знала это; в молодости, однако, все сглаживается. Но после войны пришло с глухотой уныние, от которого обычно так вянут черты лица, и Лариса Васильевна чувствовала, что она и душевно вянет, окружающий мир становился все глуше и дальше, а плохо слышащий человек всегда углублен в себя, и это невольно его старит.

Мать, Валентина Игнатьевна, долго болела сердцем, с войной ее сердечная болезнь обострилась, и Лариса Васильевна проводила и мать и осталась совсем одна на белом свете. На похороны матери приехала из Калуги двоюродная сестра Ларисы Васильевны,

Глаша, и, когда они остались вдвоем в опустевшей после матери комнате, Глаша, напрягая голос, спросила:

— Как ты теперь будешь жить, Ларочка?

Лариса Васильевна печально и покорно посмотрела на нее.

— Как-нибудь буду жить, Глаша,— ответила она.— Ведь надо как-нибудь жить.

Но это было так неопределенно, что Глаша, рослая, деловая, работавшая бухгалтером на спичечной фабрике, предложила решительно:

— Знаешь что, бросай Москву... будем жить вместе. Калуга — хороший город, тебе понравится. Найдем тебе какую-нибудь работу полегче.

Лариса Васильевна не расслышала, и Глаша повторила все, только громче.

— Нет, Глашенька, я в Москве родилась и училась, жила с мамой, и в школе у меня такие хорошие товарищи были... многих из них уже нет, всё война, я что-нибудь в Москве буду делать.

Ее всегда тяготило, что надо признаваться, как она плохо слышит, как мир все дальше становится от нее, и некоторые из соседей старались только поздороваться и пройти мимо, чтобы не кричать ей на ухо и не обижать ее этим.

Она сказала еще:

— Война... ах, страшное это дело, Глаша.

Ей казалось, что она говорит громко, но она сказала это так тихо, что Глаша не расслышала и только утвердительно кивнула головой, чтобы не переспрашивать.

Глаша уехала в Калугу, и Лариса Васильевна осталась одна в комнате, где все было еще полно матерью. Стояла швейная ручная машина матери, в резной шкатулке лежало начатое рукоделье, на стене висели большие портреты отца и матери, когда они были молодыми, и мать казалась такой красивой со своими уложенными короной волосами, и отец был красивый и сильный, с черными усами и высоким лбом. Первый месяц после смерти матери Лариса Васильевна никуда не выходила, приводила в порядок вещи матери, нашла пачку писем отца к ней, когда он был женихом, письма были полны любви и нежности, и надо было, чтобы они не попали кому-нибудь постороннему в руки: ведь она осталась совсем одна на белом свете, и мало ли что может случиться с ней. Она сложила письма в пакет и написала на нем: «Сжечь»,— это значило, что если с ней случится что-нибудь, то письма нужно сжечь, не читая их.

В квартире этажом выше жила старая корректорша Людмила Петровна Волжина, работавшая несколько десятилетий кряду в одном и том же издательстве. Людмила Петровна была совсем ма-

ленькая, совсем седая старушка, давно могла уйти на пенсию, но не уходила и только чаще брала теперь работу на дом; глаза у нее были молодые, блестящие, и когда она во время работы надевала очки, то глаза становились совсем круглыми и даже чуть озорными, как у подростка. Людмила Петровна была всегда быстрая и оживленная, словно в ней работал моторчик, и ни минуты не оставалась без дела. Она зашла раз к Ларисе Васильевне, торопливая и энергичная, и энергичным звонким голосом прокричала ей в ухо:

— Что вы, милая моя, совсем скуксились... все мы не вечны, а ваша мама уже старенькая была. Хотите помогать мне по сверке... вы будете читать вслух оригинал, а я сверять по верстке, и у меня дело пойдет скорее, и вы начнете подрабатывать, да ведь и литература — это целый мир, а для начала почитаем один роман из шахтерской жизни. Автор сам бывший шахтер и очень хорошо описывает, как шахтеры в наше время свет увидели и шахта перестала быть для них преисподней, а прежде именно преисподней была.

— Я бы с удовольствием,— отозвалась Лариса Васильевна, услышав каждое слово, звонко произнесенное Волжиной,— только не знаю, справлюсь ли с этим.

— Еще как справитесь... положитесь на меня,— сказала Волжина уверенно.— Вы пока почитайте сама, а завтра мы с вами начнем работать.

Она оставила верстку, и Лариса Васильевна принялась читать роман о шахтерах; он начинался с детства героя, с давних времен, когда шахты были для горняков преисподней.

— Вы только не торопитесь, милая... читайте не спеша, как вы когда-то вашей маме читали,— сказала Волжина на другой день, когда они сели за работу.

Лариса Васильевна стала читать своим тихим, ровным голосом, а Волжина по временам останавливала ее и вносила в верстку поправки.

— Видите,— сказала она довольно,— видите, как у нас с вами хорошо получается. А литература — добрая вещь, она украшает жизнь человека, она будит его мысль, а уж вернее, чем книга, друга и не найдешь.

Они сверили роман о шахтерах, некоторое время спустя Волжина принесла другую верстку, это была повесть из военных лет, и Лариса Васильевна потихоньку от Волжиной купила толковый словарь русского языка, так как встречались слова, которых она не знала.

— Жизнь человека богата возможностью делать добро,— звонко сказала ей в ухо Волжина,— возможность эта беспредель-

на. А где одно добро, там и другое, это как прилет птиц: где одна птица, там и целая стая.

Лариса Васильевна слышала каждое слово, Волжина говорила с ней так, не повышая голоса, что всегда можно было услышать каждое слово.

— Спасибо вам, Людмила Петровна,— сказала Лариса Васильевна тихо,— мне так приятно, что я хоть чем-то могу быть для вас полезной.

— А уйду на пенсию, передам вас другим корректорам, так что вы теперь с литературой будете связаны. Вы теперь литературу полюбите... конечно, попадаются и неважные книги, но ведь учишься все же на лучших.

Потом Волжина повела раз Ларису Васильевну в издательство, там в корректорской сидело много женщин, все были склонены над корректурами, и некоторые шевелили губами, видимо, читая про себя текст. Заведующая корректорской, низенькая, полная Розалия Яковлевна, с черными усиками и мягкими добрыми глазами, сказала:

— Мне Людмила Петровна говорила о вас... пожалуйста, всегда для вас найдется работа, так что имейте это в виду.

Она говорила очень тихо, так как в корректорской вообще говорят только шепотом, и Лариса Васильевна лишь по выражению ее глаз поняла, что та говорит что-то доброе, и благодарно пожала ей руку.

Теперь в ее комнате всегда лежали пухлые листы верстки, иногда еще совсем влажные, и Лариса Васпльевна научилась уже и корректорским знакам, похожим ипогда на клинопись, и нередко сама ставила их на полях, чтобы обратить внимание Волжиной на ошибку.

Как-то, когда она несла очередную верстку, ее встретил на лестнице преподаватель русского языка Павел Николаевич Устиев. Устиев был высокий, уже начавший сильно седеть, но все еще красивый, с правильными чертами печального лица. Год назад у него умерла жена, он жил теперь один, очень неустроенно, и Лариса Васильевна встречала его не раз то в овощном магазине, то в молочной, то в булочной, и всегда можно было почувствовать, что он теряет время, нужное ему, наверное, для проверки письменных работ или подготовки к очередному занятию.

— Я давно хотел зайти к вам как-нибудь, Лариса Васильевна,— сказал он,— но не решался. Может быть, вы заглянули бы ко мне... пожалуйста. У меня есть к вам одно дело.

Он говорил раздельно и четко, и Лариса Васильевна все услышала.

— Хорошо,— сказала она,— когда вам удобно?

Они условились, что она зайдет завтра после шести, когда Устиев вернется с работы.

В его маленькой двухкомнатной квартирке было неприбранно, видно было, что у него не хватает времени для уборки, и на газовой плите в кухне стояли невымытые кастрюльки.

— Не знаю, Лариса Васильевна, как вы отнесетесь к этому,— сказал Устиев стеснительно.— Но, может быть, у вас нашлось бы время немножко помогать мне по хозяйству... я так занят, помимо школы читаю еще лекции по литературе на вечерних курсах. А просьба моя такая: будете покупать себе на обед, купите и мне что-нибудь, а будете себе готовить — и для меня уделите. Это была бы такая помощь, что и не скажешь... конечно, при условии, что вас это никак не стеснит. Я не привереда, всем буду доволен. А условия такие: все, что на обоих нас купите,— мое, ваш только труд, ну и еще столько, сколько скажете.

Он был все же смущен и ерошил время от времени свои уже начавшие белеть волосы.

— Что ж,— сказала Лариса Васильевна,— разве я не вижу, как вам трудно одному... разве я не вижу, как вы то в молочной, то в булочной, а откуда вам взять время? Я, по правде говоря, сама как-то подумывала предложить вам: буду себе покупать, куплю и для вас, для меня ведь это никакого труда не составит.

— Это было бы просто чудесно,— вздохнул Устиев,— я только потому и решился обратиться к вам, что вашу душу сразу почувствуешь. И мама ваша такая же была, я очень ее уважал.

Теперь в жизни Ларисы Васильевны прибавилось еще нечто обязывающее, это требовало почти такого же внимания и понимания, как верстка, в которой дышит литература, а литература ведь всегда говорит о людях с их чувствами и делами. Уже не хотелось покупать наспех и без выбора, как она обычно покупала для себя, и Лариса Васильевна выискивала что-нибудь повкуснее, иногда шла на рынок, и когда Устиев возвращался домой, то на его газовой плите все стояло готовое, и оставалось только разогреть. Ему не надо было заходить после занятий в магазин или булочную, и он сразу же, пообедав и отдохнув, мог садиться за тетрадки с письменными работами или за конспекты лекций.

Однажды Лариса Васильевна нашла в кухне две его скомканные рубахи, выстирала и выгладила их, и, когда он вернулся, они лежали на столе пухлые и еще чуть теплые от утюга. В этот раз Устиев сам зашел к ней, когда Лариса Васильевна сидела над верстской.

— Извините меня, Лариса Васильевна,— сказал он очень серьезно.— Я, конечно, тронут вашим вниманием, но прошу вас — никогда больше не делайте этого, иначе мне придется отказаться

от вашей помощи. А мне это было бы сейчас не только трудно, но если признаться, то и больно.

— Что такое? — встревожилась Лариса Васильевна.— Что такое я сделала?

— Знаете ли, я, так сказать, по-товарищески просил вас помогать мне немного по хозяйству, но уж никак не заниматься такими делами, как стирка.

— Разве я плохо выстирала? — спросила она.

— Дело не в этом... просто впредь не делайте этого никогда, пожалуйста.

— Но почему же? Конечно, если бы мне это было трудно или неприятно, я бы не сделала этого.

— Вы удивительная,— сказал Устиев,— вы совсем как ваша мать.

Но этого Лариса Васильевна не расслышала, он произнес это тихо, может быть, только для самого себя.

— Знаете,— сказала однажды Людмила Петровна Волжина звонко,— знаете, Ларисочка, в литературе так часто рассказывается о добре, о хорошем... разве это не было бы добрым и хорошим, если бы Павел Николаевич Устиев оценил бы, какое вы золото и какое у вас сердце, и вам обоим не было бы так одиноко.

— Что вы,— отозвалась Лариса Васильевна испуганно,— что вы говорите, Людмила Петровна, ведь я просто от души отношусь к нему так, и ничего другого быть не может. Ах, зачем вы говорите так!

Но Людмила Петровна обняла ее, она была ниже, и ее круглые блестящие глаза смотрели снизу, она взяла ее обеими руками за голову, наклонила и поцеловала в обе щеки.

— Ничего-то вы не понимаете,— сказала она только.— А женщина должна за собой следить, и причесываетесь вы бог знает как, не идет вам эта прическа, зачем вы так плоско приглаживаете волосы?

Все зеркала, когда молодость постепенно уходит, фальшивят, но все же, когда Лариса Васильевна зашла раз в парикмахерскую и парикмахер долго примерял, какая прическа пойдет ей лучше,— все же зеркало сделало на этот раз поблажку: так, со взбитыми волосами, собранными сзади в тугой узел, она выглядела моложе, а если думать о хорошем, то и лицо оживляется, оно не кажется вялым, хорошее расправляет его... Все же и Людмила Петровна, уже научившая ее, как править корректуру,— такое хорошее и доброе в ее жизни, и печальный стеснительный Устиев — тоже доброе, и не только доброе, а может быть, и большее, но об этом не нужно думать, пусть это останется глубоко в душе,

пусть никто никогда не узнает об этом, даже зоркая Людмила Петровна.

Был уже конец мая, на рынке появились первые овощи, привезенные с юга, появилась вдруг цветная капуста, и Лариса Васильевна купила два кочана, развела масло с сухарями, все стояло готовое на плите, и Устиеву оставалось только разогреть, когда он вернется.

Устиев вернулся после шести, а Лариса Васильевна сидела в своей комнате над версткой и представляла себе, как он зажжет газ, удивится цветной капусте и, наверно, покачает головой: где только она достает это? Майские сумерки пришли поздно, и это были даже не сумерки, а просто нежный голубоватый дымок, слабо прилипающий к окнам. Когда Лариса Васильевна понесла Волжиной вычитанную верстку, она встретила на лестнице Устиева. Ей показалось, однако, что он никуда не уходит и ниоткуда не возвращается, а стоит на лестнице, словно дожидаясь кого-то.

— Вот уже и лето,— сказал он, когда она поднялась на площадку, на которой он стоял.— Через месяц у меня отпуск... поеду куда-нибудь к морю, поеду куда-нибудь на Балтику или на Белое море.

— Вам нужно отдохнуть, Павел Николаевич,— отозвалась она.— Ведь вы даже по вечерам заняты... прямо не представишь себе, как у вас хватает сил для вечерних курсов.

Она хотела было спросить, понравилась ли ему цветная капуста, но он сказал сам:

— Избаловали вы меня, Лариса Васильевна... так избаловали, что не знаю теперь, как мне и жить. Знаете, когда встречаешь человеческую душу, в которой заключено столько добра, то просто пугаешься, что можешь утратить это.

— Поезжайте все-таки лучше на Балтику,— сказала она, недослышав.— Все-таки нужно тепло, зима у нас долгая.

Она пошла наверх по лестнице, а он остался стоять на площадке. Людмила Петровна открыла ей дверь и взяла из ее рук верстку.

— Что же,— сказала она, просматривая листы,— вот вы и научились ставить корректурные знаки, хорошо замечаете ошибки и опечатки... теперь вам остается научиться еще одному искусству.

Лариса Васильевна вопросительно посмотрела на нее.

— Научиться и в жизни находить все погрешности и опечатки и стараться по возможности исправлять их.

Она говорила чуть загадочно своим отчетливым голосом,— может быть, она знала, что Павел Николаевич Устиев стоял на площадке лестницы, может быть, она знала то, о чем никто не

должен был знать, даже она, Людмила Петровна, с ее сочувственной душой.

— Ах, какая это прекрасная вещь — жизнь, моя милая,— сказала она,— и ни один писатель не описал еще как следует, какая это прекрасная вещь, да этого, впрочем, никогда и не напишешь!

Лариса Васильевна взяла следующие листы верстки и понесла их к себе. Ей показалось странным, что Устиев все еще стоит на площадке темнеющей лестницы.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он, словно она никуда не уходила,— пожалуй, вы правы...— На Балтике все-таки потеплее, чем на Белом море.

И Лариса Васильевна сама не поняла, почему не занесла домой верстку, а спустилась вместе с Устиевым по лестнице, и они вышли вместе и пошли в глубину майских сумерек. Но самое для нее непонятное было то, что она все слышит, слышит весь мир с его запахами и красками, и ни краскам, ни запахам не нужно напрягать голоса, чтобы она услышала их.

1962

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА

Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось спять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.

На второй день мира, за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.

Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сде-

лал с ним, заставив воевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась, перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: «Ты — солдат и я — солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все». Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.

Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал «герра официра». Вначале — от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как «герр официр» кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегает, звенит эмалированным подойником жена. В восемнадцать лет она уже родила ему сына, и теперь, в тридцать два, никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака.

В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты... Чтобы у меня не возникало сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.

Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про казака, ускакавшего на вийоньку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.

Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать «герра официра», она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики, она бегала из коровника в дом, из дома — в коровник, обдавая запахом хлева, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки

по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву, и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка.

Вот так и в это утро он сидел у стола, пока я завтракал, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его.

Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить.

У нее был муж. Коммунист. Его убили на митинге пожом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвертом году на фронте.

Заспанный командир отделения разведчиков Маргослин, в гимнастерке без ремня, босиком, подошел к ней, взялся за кадку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук, и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули кадку каждый к себе. Потом Маргослин легко понес ее на плече, а Магда шла сзади с темным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем.

Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь: ни хозяйке, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишке. Единственная, кого они жалели, не умея это даже объяснить, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели.

Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимися на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел

портупею — хозяин почтительно присутствовал при этом,— затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый мускул, с особенным удовольствием ощущая тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в двадцать два года, в сущности, остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца.

После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился иссиня-черной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведенного мотора, я вывел его со двора и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мной, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба, и это была правда, что кончилась война и мы в Германии. За всех, кто не дошел сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и нетающий холодок под сердцем — острый холодок жизни.

За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему в лесу, с занемевшими от усилий икрами ног я взобрался на перевал и оттуда, с оглушительным треском, стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники — сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы.

Впереди — развилка улиц, куча булыжника посредине. К Яковенко — направо. И в тот момент, когда я уже поворачивал, накренясь вместе с мотоциклом, из-за дома выскочил щенок. Прямо под колесо. Все произошло мгновенно, руки сработали быстрей сознания. Я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о землю и еще волокло по пыли, а я хватался за нее ладонями.

Вгорячах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка. Он не убегал, только с ужасом смотрел на меня круглыми глазами и изо всех сил прижимал щенка к себе.

От удара о землю у меня лопнули галифе на коленях, сквозь пыль на обожженных ладонях проступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо его крутилось. Я сел на камень. Ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль: «Вот так разбиться мог. После войны...» От Яковенко уже бежали сюда разведчики. Они доставили меня в дом по частям: отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы.

Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке.

— Пей,— говорил он.— Кости целы? Как, ребята, целы кости?

И пальцами щупал мне голову:

— Терпишь? А здесь? Цела! Значит, можно, пей!

Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой.

— Знаешь,— сказал он,— я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился. В трех километрах отсюда. Я вчера ездил туда.

Он вытер ладонью лоб.

Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил только передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеяться ли, верить?

С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда: вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда.

Вчера впервые увидел он наконец немецкий концлагерь. Тем же путем, от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавшей их кровь. Он уже знал, что, если и был среди них навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом.

— Там канава такая. За крематорием.— Он вдруг сильно побледнел.— Мухи над ней. Зеленые... Я не сразу понял... Только вдруг страшно стало. Запах, наверное... Там человеческий жир, в канаве. Людей сжигали, и стекало туда...

Он раскачивался, сутуло сжав коленями руки.

— Знаешь,— сказал он,— я на одно надеюсь: отец комиссар был. А комиссаров ведь в плен не брали... И потом, этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев. Не Яковенко, а Яковлев. Может, спутал с кем-нибудь? Мать его больше ни разу не видела.

Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть и даже наверное, и лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорывались из окружения...

Яковенко сидел, покачиваясь, глаза его были закрыты, лицо от скул бледно, а на порозовевших висках и на лбу выступил пот.

Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на потолке широкую тень: плечи во весь потолок и втянутую в них голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом, две свечи

в блюдечке снизу освещали его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках на босу ногу, в галифе, в распоясанной гимнастерке пересел ко мне на кровать.

— Мне там сказали, пепел... пепел сожженных людей на дороги вывозили. Поля удобряли пеплом.

Он потер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший.

— Я вернулся, спрашиваю их: «Знали про все это?» — «Никс, никс!» Не знали, говорят. Так идите смотреть! — Расширившаяся шея его налилась кровью.— Не идут. Не хотят идти. Понял? Рядом людей жгли. Пеплом удобряли землю. А они теперь хлеб жрут.

Он встал, огни свечей заколебались, тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещицу, Яковенко повернул ее клеймом к свету: «Видишь?» Клеймо было французское. В колеблющемся свете глядели на нас со стен, с полок вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, быть может, теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании. И в нескольких километрах отсюда — концлагерь.

Я не мог на следующий день смотреть на поля. «Пеплом удобряли землю...» Я не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все. И те, кто знал, и те, кто только догадывался, и даже те, кто не одобрял.

Мы спускались под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой, пепельно-серой земле — молодой, чуть припыленный хлеб. Он сочно лоснился, набирая силу. Я не мог смотреть и на эту землю, и на этот хлеб.

В голубом идиллическом небе Германии плыли чистые, сверкающей белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливцам — встречать похороненных.

Мы въехали в улицу, развернулись у двора, и разведчик погнал коней обратно — он торопился,— а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было, хозяева же, едва только завидели меня, скрылись в коровнике и там быстро шептались. Несколько раз оттуда выглядывали их взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло.

Я сел на лавку, вытянув ногу, которую больно было сгибать, хотел закурить. Но на мне были синие галифе Яковенко, а я забыл переложить в них свою зажигалку. Хозяин уже шел сюда. Я намочил палец и стал слюнявить сцарапанный на боку ремень.

Хозяин был еще приветливей, чем всегда. Увидев в руках моих сигарету, сразу же, но без торопливости, как доброму знакомому, поднес огонь прикурить. После этого тоже сел на лавочку — мужчина с мужчиной.

Еще прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у нее было гневное и вместе с тем испуганное, как бы готовое к унижению. Хозяин ничего этого не замечал. Он курил трубку, и солнце освещало нас обоих на лавочке под окном. А тем временем к нам шел его сын с записной книжкой и карандашом в руках. Он остановился передо мной, держа раскрытую книжку перед глазами, словно собираясь петь, прокашлялся. Я смотрел на него снизу. Когда он заговорил, плечи его опустились, шея от волнения вытянулась. Он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. Но он настойчиво повторял снова и снова, и я разобрал наконец. Оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью.

— Эршос, эршос! — повторял он, показывая, как это было сделано.

Через двор, блестя новой кожаной курткой, прошел враскачку Маргослип. На разведку вышел, а потому держался независимо. Мальчишка не видел его. С пятнами волнения на лице он говорил:

— Это была хорошая свинья. Она имела тридцать килограммов веса и еще могла расти. Но это уже были тридцать килограммов полноценного свиного мяса. И каждый килограмм стоит...

Он уже несколько раз сказал «костен». С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал стишок: «Гутен таг, фрау Майер! Вас костен ди айер? Ахт пфенниг. Ахт пфенниг? Дас ист цу тоер!..»

В эту войну был эсэсовский генерал Майер, палач и садист.

Подтянув ноги под лавку, упираясь в нее по сторонам тела ладонями, хозяин слегка покачивался. Костлявые плечи его поднялись, голова ушла в них. За все время он не сказал ни слова, он слушал и с закрытыми глазами кивал дымившейся трубкой. Я почему-то глянул на его рабочие руки. В их морщины и вокруг больших ногтей въелось что-то черное. Земля? А быть может, пепел?

Немец кивал дымящейся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было ими подсчитано всей семьей. Я должен был убедиться и сам увидеть, что меня здесь не обманывают, что за хорошее свиное мясо с меня возьмут по умеренной цене.

У него побледнел нос, и движения рук были торопливые. Близко поднеся записную книжку к глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: «Зольдат Макару́шка». И посмотрел на меня. Я не сразу понял, что это, выговоренное с трудностями, чужое на слух «зольдат Макару́шка» и есть Макарушка, самый молодой из моих разведчиков.

Он пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Босой, одичавший и — по глазам было видно — очень голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. В селе этом его никто не знал, он появился здесь весной, когда еще не сошел снег, и был тоже бос, а сквозь рваные штаны виднелись синие от холода колени. Женщины считали его придурковатым, жалея, изредка кормили его. По той же самой причине, что укрепилась за ним слава блаженного, он не был угнан в Германию.

Он сразу привык к разведчикам, но долго еще, рассказывая что-либо, называл нас «русские», как называли нашу армию немцы, а от них — жители оккупированных областей. Был он тихий, безобидный и теперь, когда отъелся, очень сильный физически. Не помню уже, кто первый окрестил его Макарушкой, но имя это удивительно подошло к нему, здоровому, кроткому парню, и все так звали его, а настоящего имени его никто не помнил. Однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жителей согнали в школу, забили двери и здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там, в огне, погибла его мать. И все же, как ни внезапна была облава, многие матери успели спрятать детей. И спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках двухлетнюю сестренку. У оврага всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себе: что в этот последний момент держал сестренку на руках.

— Мне б ее на землю поставить. Маленькая, затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Ночь ведь. А она испугалась вся, держится за меня, не оторвать. Ноготочки у нее были, так впились вот сюда мне.— Он показал себе на шею. И я подумал тогда: сколько ни проживет он на свете, всегда будет он ощущать эти впившиеся в него ноготки двухлетней девочки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть.

«Она еще могла расти...» — сказал молодой немец о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и ни-

Чингиз Айтматов. «Верблюжий глаз».
Художник А Лурье.

кто не имел права безнаказанно стрелять в нее. И отец, сидя на скамейке в домашних туфлях, кивал дымящейся трубкой: он был доволен сыном.

Я смотрел снизу на молодого немца. Ему четырнадцать лет, и голос у него еще ломается, не отвердел еще. Ему столько же, сколько было Макарушке, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом, почью, выполз из общей могилы и уполз в лес и там один, как зверь, травами залечивал раны.

Этот в четырнадцать лет еще не изведал, почем фунт лиха, но он уже хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счетом в руках стоит передо мной, уверенный в своем праве предъявлять нам счет.

Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час, ушли, очень недовольные нами. В глаза они не смотрели, щеки хозяйки были воспалены от высохших слез. Только сын, молодой управляющий, все еще хлопотал по хозяйству.

За фермой, позади маленьких ухоженных полей, садилось в тесноте солнце, обламывая лучи об острокопечные крыши. Яркий закатный свет дрожал в прозрачном воздухе, а в комнате был уже сумрак.

Я услышал, как стукнула калитка. Потом — незнакомые, шаркающие шаги. В окно мне косо видна была часть двора. Я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, волочил ногу, но по двору шел так, что я почувствовал: он когда-то уже бывал здесь. Дойдя до ворот свинарника, он заглянул в его темную глубину. Он не видел, что из-за поленницы дров за ним наблюдает сын хозяина. А тот выступил вперед, готовый грозно окликнуть, но тут что-то изменилось в его лице: он узнал этого человека.

Шаги слышны были уже по крыльцу. Занавеска на окне отрезала туловище, и я видел только ноги в стоптанных туфлях, подымавшиеся по ступеням. Человеку больно было наступать на правую ногу, едва наступив на нее, он перескакивал на здоровую, а больную плашмя волочил за собой вверх.

Он не сразу нашел ручку двери, и некоторое время я слышал его тяжелое дыхание с той строны. Наконец дверь открылась, он ступил через порог. Это был старик в серой, не имевшей цвета и, видимо, не своей одежде: она вся висела на нем. Он оглядел комнату, и опять мне показалось, что он уже бывал здесь когда-то.

— Здравствуйте! — сказал я из темноты простенка.

Он вздрогнул, быстро обернулся с каким-то страшным выражением глаз. Но это не был испуг. Разглядев, кто перед ним, он сдернул с головы круглую лагерную шапку:

— Дзень добжий, пан товажищ!

И, обведя рукой комнату, помогая себе этим жестом, не сразу находя русские слова, спросил:

— Той... пан Рашке есть дома? Нах хауз?

— Дома, дома. Сейчас его нет,— говорил я, тоже помогая себе жестами рук и отчего-то громко, словно от этого русский язык становился ему понятней.— Но вообще он здесь. Хиер.

— Хиер...— повторил человек, успокаиваясь, и поблагодарил: — Дзенькую. Спасибо, товажищ.

Я выдвинул ему тяжелый дубовый стул.

— Вы садитесь.

— Дзенькую бардзо. Мне тшеба пана Рашке зобачить.

Он сел, остро обозначились худые колени. Теперь видно было вблизи, что это не старик, а очень замученный человек с провалившимися висками и серым бескровным лицом.

— Он придет.

Макарушка внес сковородку. В ней — свинина, жаренная куском, и жаренная в свином сале картошка. Все это было горячее, шипело, сильно пахло, и запах этот раздражал голодного человека.

Я отпустил Макарушку, выложил со сковородки половину мяса и картошки на тарелку, подвинул ему. И увидел ужас в его глазах, глянувших на свинину.

— Ниц! Ниц! — он тряс головой.

— Да ешьте, ешьте,— настаивал я.— Мне сейчас еще принесут.

Но он слабой рукой упирался в тарелку. И я уступил, ничего не понимая. От неловкости я налил ему вина. Он поблагодарил глазами и пил жадно: ему хотелось пить. Виски его то надувались, то западали, на руке, державшей стакан, отчетливо видно было запястье — браслет из сухожилий — и кости, лучами идущие к пальцам. На заросший, большой от худобы кадык, двигавшийся вверх-вниз, смотреть было страшно.

Он закашлялся, не допив, и кашлял долго, мучительно, до спазмы налившись кровью. Потом, обессиленный, с выступившими слезами, долго не мог отдышаться, руки его тряслись.

— Вы здесь жили раньше? — спросил я, чувствуя, как ему неловко за свою слабость.— Вы знаете этот дом?

Он смотрел тем взглядом, каким смотрят глухонемые, по губам стараясь понять, что им говорят.

— Вы не понимаете по-русски?

— Так, так,— кивал он.— Розумию. Помалу.

— Я говорю, вы здесь жили? Я вижу, вы знаете этот дом.

— Так,— сказал он. И отрицательно покачал головой.

Мне вдруг показалось, что он не вполне разумен: такие у него были глаза. Он опять оглядел комнату.

— Пóляк,— сказал он. И посмотрел на меня. Потом повторил: — Пóляк,— объясняя этим свое положение здесь, положение человека, силой угнанного в Германию.

— Моя жена... Ма женка була тутай. Тут.— Он указал в окно на коровник. Подымать руку ему стоило усилий.— И сын муй... Когда сын уродзил и закричал, жена заслонила ему уста. Так,— он зажал себе рот рукой. И, когда худая рука его закрыла половину лица, глаза стали больше, в них было страдание.— Чтоб нищ не слухал! Але сховать можна тылько мартвего. Тылько мартвего... Раз она кормила его грудью, млеким... До обора,— он показал на коровник,— туда, до обора вшед нимець. Ниц не жекл. Ниц не говори! Тулько посмотржел на дзецко, на сына, як его карми млеким. Вона не могла ми объянить, як посмотржел, тылько плакала и держала, когда то мовила. Цо моглем зробиц? Працовалем у нимца о там, в тамтей деревни, але цо моглем зробиц? Былем бессильны...

Серые сухие губы его, словно занемевшие от холода, шевелились медленно. В ранних сумерках свет окна стеклянно блестел в его остановившихся глазах, взгляд их был обращен внутрь.

— Теперь я вижу, як он посмотржел. Он, господаж, давал ей есць, цоб могла працовать, а хлопчик брал ее сил... Одтого, после того она ховала хлопчика, як шла в поле. Муви, цо услыхала його кжик... крик. Але я мыслю, тот кжик она всякий час мала в сердце. Она бегла с поля и слухала, як хлопчик дзецко кжичало. Нимце во дворе запрягал коней. И свинарник,— он показал рукой, не найдя слова.— Доска... Понимаешь?

— Закрыт снаружи? Доской приперт?

— Так. Она чула, она бросилась туда. Когда распихала свиней, увидзела нашего хлопчика. От того часу видзела тылько то. Когда зовсим разум ее помешался и больше не могла працовать, нимець взял ее за руку и одпровадзил в гору до обзу... До лагерю, понимаешь? Там було крематориум. Не ведзала, докуд ее проводзоно... Докуд ее ведут, и то було ее счанстье.

В сумерках лицо его было почти неразличимо, только тени вместо щек и блестели глаза в глубоких глазницах. Слышно было, как во дворе на два голоса тихо поют разведчики.

— Полтора роки былем в лагерю и дожил. Абы прийти тутай...

Я вспомнил, как мальчишка, сын хозяина, смотрел на поляка из-за дров. Я подошел к окну, крикнул Маргослина. Песня оборвалась, слышно было, как, приближаясь, скрипела кожаная куртка. Маргослин остановился под окном, подняв лицо вверх.

— Приведи сюда мальчишку,— сказал я.

Опять заскрипела в сумерках кожаная куртка. Слышны стали голоса, шаги во дворе, за сараями, вокруг дома.

Было уже совсем темно в комнате, только светились два окна в стенах и в темном углу — зеркало.

— Там комора. Така велька комора. Вот этими руками зроблена.

Он показал свои руки и сам посмотрел на них.

— Туда людзей загоняли. И жены, и деци. Деци с забавками... З игрушками... Им говорили — там есть баня. И людзи шли. И деци. Там,— он показал вверх, на потолок,— тако окопко. Туда пускали газ. Газ... И моя Катажина. Не ведзала, докуд ее ведут, и то було ее счанстье... Така молода. Она тут. И татем. В той земле. Везде.

И я опять увидел мелькнувшую в его глазах искорку безумия. И в то же время он был в полном рассудке, я знал это.

На всякий случай я спросил его, знает ли он деревню, куда уходит почевать хозяин, и сможет ли идти с нами. И теперь мы сидели молча.

Наконец вернулся Маргослин. Мальчишки нигде не было, как я и ожидал.

Вчетвером — поляк, Маргослин, Макарушка и я — шли мы через лес. Луна, поднявшись наполовину, никак не могла вырваться из расщелины горы. Она была огромная, медно-оранжевая, а гора перед ней — черная. Наконец, оторвавшись и всплыв, она быстро начала подыматься вверх, вправо, все уменьшаясь. И когда стояла высоко, в белом свете ее, таинственно изменившем ночной мир, увидели мы деревню: синеватые стены домов, мокрый скат черепичных крыш, в темных окнах — переливающиеся стекла.

Мы шли задами. От дворов тянуло сонным, застойным теплом хлева, мочой, а снизу — свежей сыростью: там, под нависшими кустами, блестел по камням черный ручей. К нему вели вниз мокрые от росы каменные ступени.

Двое взяли дом и сарай под наблюдение, двое тихо вошли во двор, пустой и словно выметенный под луной. По деревянной лестнице мы поднялись на сеновал; собака внизу, охрипнув от лая, кидалась с цепи, валившей ее на спину. Но ни в одном окне не зажегся свет, ни одна дверь не открылась.

На сене, белея в темноте, лежали рядом две перины. В них еще оставались вмятые следы тел. Мы ощупали светом фонариков все углы наверху в сарае, в доме, во дворе. Тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было и назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на Запад. Все трое.

Жители говорили, что это были очень нехорошие люди. Некоторые говорили даже, что он был нацист. Или брат его был нацист. Все это они говорили теперь.

— Чего же вы раньше молчали?

Они пожимали плечами.

— Мы боялись...

Одна только Магда не говорила ни хорошего, ни плохого. Она вообще не разговаривала. Еще несколько дней она приходила, как всегда, рано утром, задавала корм свиньям, подметала двор, доила коров — несла свои обязанности. Перед бывшими хозяевами? Перед оставленными животными? Исполнение этих обязанностей механически привязывало ее к жизни. И надоенное молоко стояло во всех бидонах и кисло.

Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни, как черные дни своей жизни. Тогда мальчишке было четырнадцать лет, и голос у него еще ломался. У многих тогда ломался голос. Сейчас он окреп.

А в те первые, считанные дни мира стоял передо мной четырнадцатилетний худой мальчишка со счетом в руках. Я вижу его и сейчас — с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нем знать, он хотел получить за свинину. И был уверен в своем праве предъявлять нам счет.

1962

ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ

1

Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:

— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!

Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали академиком. Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду,— это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен я доставлять для них на этой вот одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь пашу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»

А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что

не столько я сам виноват в этом, сколько наш учитель истории Алдияров. Краевед! Попаслушался я нашего краеведа, а теперь вот расплачиваюсь...

Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.

Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабине — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.

Я подстегнул лошадь. Вода из бочки выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.

Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие поехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают, да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми нами — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в Анархайской степи, может, удастся разрешить.

Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и те, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится... Потому нас всего-то здесь по пальцам перечесть: два тракториста, два прицепщика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.

Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками не тронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства...» Ну и так далее, в том же духе...

Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь? С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую

водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне паша Альдей, заваливаюсь в юрте спать и сплю мертвецким сном.

Но что Анархай — роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.

Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если бы я знал, что́ меня здесь ждет... Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди...

Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.

Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь... А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Столько шуму было тогда на собрании! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся? Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.

Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний, легендарный Анархай! Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волглом воздухе уже различим был молодой, горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.

И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской вол-

ной, с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда...

Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становился все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.

Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...

В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:

— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?

Сорокин собирался куда-то ехать.

— Должно быть, калмыки,— сказал он, садясь в седло, и уехал.

Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:

— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору Великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тяньшаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые, светлоглазые люди.

Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.

— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд.— Больно ты ученый. Пойди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.

Оказывается, я принес ему шприц с солидолом.

— Эх ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими в красных прожилках глазами.— Лекции читаешь нам, неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.

Отсюда и пошло — «академик».

Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.

— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет!

Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступается за меня:

— Ну, успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга.— Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор.— Он и без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай...

— А мне-то что! — огрызается Абакир.— Сидел бы дома да книжки свои читал.

— Ну, перестань! — уговаривает его Калипа.— Сколько в тебе зла. Нехорошо так, Абакир.

— Все прощать да спускать этаким вот — задарма помрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый олух!

Далась же ему моя ученость! Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?

Я стараюсь побыстрей уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист — Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.

Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакиров тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злюцим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешневатые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что — наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем.

Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от

вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.

Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.

Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.

Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала квелым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные желтые, как чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.

Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял окурок и бросил его в золу.

— Ты бы поосторожней,— проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву.— Трудно, что ли, с места подняться?

— А что стряслось? — вызывающе вскинул голову Абакир.

— Кошма загорелась.

— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся.— Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!

— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.

— Знаю, что не у себя дома! У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархае, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!

Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.

— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша.— А все другие анархайцы, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.

Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и вобрал голову в плечи, готовясь к удару.

Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.

— Не надо, Абакир! — кинулся я к ним.— Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.

Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперив друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатились по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и наконец, схватив его, выбежал из юрты.

— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой.— Живее, живее! Дерутся они, убьют...

Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садабек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.

— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрянь поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!

Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:

— А ну тронь, попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!

Садабек спокойно взял жену за руку.

— Не надо, Альдей. Он того не стоит...

Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в сумятохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и припрятал его возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилась на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто не единым звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело...

Вот так я и живу в этой самой роскошной полынной степи... Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.

— А ну, Серко, шевелись! Пожнвей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет.

2

Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов надо доказать, что я ничем не хуже других.

Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова не теряя ни минуты возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.

Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выгляпуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.

О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века и что ждет тебя впереди?

Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей, и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут,— это всего лишь начало начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побежит вода в прохладных арыках и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.

И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!..

Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай!..

Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.

День начинался неплохо. По крайней мере, моторы не глохли — я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко...

В одну из своих ездок я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там, за двуглавым холмом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой китаянки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтому, наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.

Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, наполняя свою бочку.

Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила:

— А как называется этот родник?

Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.

— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.

— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась.— Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый...

Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай. Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, а теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.

— У нас на кошаре колодезная вода соленая,— говорила девушка.— А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет...

— Я тоже со временем думаю учиться,— сказал я.— Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так...— показал я на бочку.— Временно помогаю... Должны прислать другого водовоза...

Ну, это уже я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.

— Э-эй, акаде-емик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.

— Ох, и заболтался же я!

— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.

— Да так,— пробормотал я, краснея.— Воду надо везти.

Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.

— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.

Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли! Не могу я больше терпеть такие издевательства!

Абакир спрыгнул с кабины и, как в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь.

— Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!

Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом.

— Без тебя, сопливого академика, был Анархай и теперь не провалится, чтоб ему сгореть! Валяй катись отсюда восвояси! Тоже еще огрызаться вздумал, голоштанный студент!

Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор и зашагал прочь.

— Стой, Кемель! Нельзя так! Куда ты, остановись! — закричала мне вслед Калипа.

Но это только подстегнуло меня, и я зашагал еще быстрее.

— Не задерживай, пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакара.— Обойдемся!

— Изверг ты, зверь, а не человек, что ты наделал! — стыдила его Калипа.

Я еще долго слышал, как они там кричали и ругались.

Не замедляя шага, я уходил все дальше и дальше. Мне было все равно, куда идти. Никого, ни единой души не было вокруг, и пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком, там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века.

Я шел, ни о чем не думая. У меня было только одно желание: уйти, уйти отсюда как можно быстрее, и пусть этот проклятый Анархай любуется моим затылком.

Пусто, бесстрастно стлалась передо мной степь. Все пригорки, увалы, лощины — все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему

я, оскорбленный и униженный, должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни? Куда ни глянь — всюду бездыханная пустыня. И что, спрашивается, надо здесь человеку? Разве мало ему места на земле? Мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми.

«Вот тебе и роскошная полынная степь, вот тебе и страна Анархай!» — высмеивал я сам себя, ощущая всем существом своим собственное бессилие, бесприютность и подавленность.

Надо мной было высокое-высокое небо, вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечком в стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной, выцветшей кепчонке.

Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи,— думал я,— пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарняку. Уеду к людям...»

Когда у меня за спиной раздался топот копыт и фырканье лошади, я даже не оглянулся. Это Сорокин. Кроме него некому. Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но — к чертям! — не вернусь, даже и не подумаю.

— Остановись! — негромко окликнул меня Сорокин.

Я остановился. Сорокин подъехал на вспотевшей лошади. Молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцветших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок — мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда.

— На, это нельзя оставлять,— спокойно протянул он мне путевку.

Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладонью утомленное, заросшее рыжеватой щетиной лицо.

— Если на разъезд — держи правее, вон по-над той ложбиной,— показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад.

Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обругал меня, почему не стал уговаривать? Почему он так устало сидит на своей понурой лошади? Семья — жена и дети — где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек, что держит его в пустынном Анархае?

Сам не понимаю почему, но я медленно побрел за ним.

Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще

не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.

— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.

— А что, на Анархай потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.

При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было, но раздумал и остался.

Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.

Абакиру никто не ответил.

— А что тут думать? — добавил он.— Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.

— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на него.— Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.

— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир.— Судьба таких академиков давно решена, пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой.— Ну, сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет... Почему же это я должен отдуваться за него! На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов! А с делом не справляется. Раз так, значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкалываю без сменщика и никому спуску не дам. А не угоден — завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда буду говорить: я бы всех этих академиков...

— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него.— Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?

Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось, как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или уж такой тупица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решитель-

но не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину как можно спокойнее:

— Я приехал сюда работать прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.

— Другой работы у нас нет,— сказал Сорокин.

— Значит, мне надо уходить,— заключил я.

Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.

— Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама бы села на водовозку, но ведь ты не пойдешь...

Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость,— потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:

— Пойду!

В юрте стало совсем тихо. Только костер потрескивал с тонким посвистом. Все недоумевая смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь? Получилось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.

— Это точно? — коротко спросил он.

— Да.

— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер.— Но предупреждаю: чуть что — надаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.

— А что — чуть что? Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчавший Эсиркеп.— Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.

— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу...

— Прекрати! — снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу.— Он поднялся и шагнул к выходу.— А теперь отдыхать пора...

В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу — и по уходу

за машиной, и по ремонту. Попробуй подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку или там еще что...

Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.

— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему...

— А я не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.

— Ну, гляди, тебе виднее,— тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.

3

Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.

— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду! — бросил он единственную фразу перед началом пахоты.

Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.

Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.

Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или пока он не убедится, что я выстою. И, возможно, нарочно, он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга,— вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказаний Абакира.

— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклонясь к лемехам, он ощупал острия ножей.— Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.

— Ладно,— ответил я.— Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.

Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь сам-то он тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец!

Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.

Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было рассиживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.

— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.

— Надо. Лемеха буду менять.

— Да что ж это такое, куда это годится! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру.— Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой.

— А мне что, не позволяй! — огрызнулся Абакир, укладываясь спать.

— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену.— У Кемеля своя голова на плечах.

— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эспркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.

— Не надо,— сказал я.— Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.

С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.

Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?

Добравшись до плуга, я, не мешкая, взялся за дело. Поднят лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное,

несподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных позах. Костер то и дело угасал. Я, словно уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал костер. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все пожи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне исцарапанные руки.

Рано утром меня разбудила Калина. Она приехала с водовозкой.

— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель,— позвала она меня,— я полью тебе.

Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.

Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.

Но в этот день я уже сидел за плугом увереннo. Я повеселел в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!

Передо мной, в окошке кабины, маячил все тот же упрямый тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем, шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.

В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.

— Слезай,— сказал он.— Перерыв.

Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир курил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое разомлевшее лицо.

— Почеши спину! — приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.

Я промолчал.

— Слышишь? — Он грозно передернул плечами, не поднимая головы.

— Не буду!

— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках.— Ну, долго я буду ждать?

Я немного отодвинулся от него.

— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий! Я всех и вся кормлю... Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.

— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно щелкнул меня по носу.

Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени и не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног.

— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.

Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.

Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крякнув, как мясник, сплеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губы, чтобы не издать ни единого стона.

— Лежишь, академик! Ну-ка, понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ.— Это тебе не лекции читать про каменных идолов.

Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться, с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой...

Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я отдышался, пришел в себя. Когда он завел мотор, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.

Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый, тугой затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.

4

В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах парокопную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек — ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, а мы с Абакиром продолжали пахать.

И еще одна очень важная новость.

Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу.

Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.

— Айда, не задерживай,— недовольно приказал он.

Я побежал к девушке, и она пошла навстречу мне, оставив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы поспеть к началу работы. Я остановился.

— Здравствуйте! — крикнул я.

— Здравствуйте! — ответила она и тоже остановилась.

Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать.

— Почему вас не было видно с водовозкой, где вы теперь?

— Я теперь на тракторе! — не без гордости прокричал я в ответ.— Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!

— Бегите, бегите! — Она помахала мне.

Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка не останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи...

На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.

В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.

— Чего это она зачастила? — спросил Абакир.

— Не знаю.

— А как ее звать?

— Тоже не знаю.

— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону.— А девка сочная.

Я глянул на него со злостью.

— Иди садись на место! — рявкнул он, и мы двинулись дальше.

Девушка тем временем перегнала овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку.

Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.

— Закрепи рычаг! Иди сюда!

Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.

— Садись.— Он уступил мне свое место.— Учись управлять!

Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал. Что произошло с Абакиром, неужели он подобрел ко мне? Однако, не долго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.

— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционов...

Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.

Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархае! Зато я научусь водить трактор!

Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.

— Не дрейфь, академик! — крикнул мне в ухо Абакир.— Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..

Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманщице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.

Абакир стоял возле девушки и беспечно разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать.

Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построже быть с ним...

Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо.

— Айда, академик, на свое место! — Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.

Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.

Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.

«Как бы предупредить ее? — думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону.— Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело...»

На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убегала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая,— мысленно посылал я ей свои извинения.— Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой... Я ведь не знаю даже твоего имени...»

Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но и я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.

Как раз в эти дни нас застиг в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактора. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.

Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Наверно, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие невпроворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалясь у себя в кабине, наверно, ожидая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.

Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я

вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых, тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.

И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова:

Лежит за Курдайским нагорьем
Веками нехоженый край,
Провьюженный зноем метельным,
Иссушенный зноем предельным —
Далекий степной Анархай.
Но быть суждено, я-то знаю —
Тот день недалек, он в пути,—
Роскошной страной Анархаю,
Просторам полынной степи!

Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчало другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.

— Любовные писульки сочиняешь! — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону.— Хочешь девку стихами пронять?

— Отдай! — подскочил я к нему в негодовании.— Нехорошо читать чужое!

— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!

— Ах, так! — Я подбежал к трактору и схватил отвертку.

— Ну-ну! — пригрозил мне Абакир.— На, ерунда какая-то.— Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь.— Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких именно, как ты, и надо пригонять сюда, чтобы вы узнали, что почем!.. Выдумал — страна Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна. Останься тут на зиму — по-другому запоешь...

— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе подумай!

— А что мне думать? — Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня.— Моя думка со мной. Я везде свое возьму.— Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом: — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай... Пришибу.

— Это мы еще посмотрим!

— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел!

Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал ему спокойно:

— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.

Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу...

С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.

Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.

Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе, и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.

Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя ночную затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои

волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом.

Где она сейчас, знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет,— засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.

Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались всему, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.

Взошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны — степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинула легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила развороти.а землю?»

Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный отсвет лунного серебра.

Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.

И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.

— Ну, перестань, хватит,— сонно пробормотал Абакир.— Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два... Чего зря убиваться?

Калипа ответила с горечью:

— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю... За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла? Не пойму... Хоть что-нибудь хорошее сделал ты людям? Нет же, как собака привязалась...

— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.

— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться...

— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то намочила вон всю подушку.

Я укрылся с головой. Хотелось поскорее заснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.

5

Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаще стал наведываться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.

Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.

Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.

Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чабанам, в урочище за холмом, и разыщу там девушку с челочкой.

В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в школе я любил писать с новой строки, на новой, чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.

Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду. Настойчиво врезаясь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.

Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем в зеркале лемеха и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:

— Золото!

Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.

— Ты что там нашел?

— Золото! Смотри, Абакир, золото!

Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.

— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав.— Да откуда ему быть здесь, золоту?— проговорил он подавленным голосом, бледнея при этом, как от внезапно нахлынувшего страха.— Не может быть,— с усилием усмехнулся он, выколупывая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок.

— А почему бы нет! — запальчиво возразил я.— Смотри, какой тяжелый, в нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда! — Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира.— Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — увидишь, как удобно держать.

Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке.

— Хоть и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу! — Он положил обломок в карман.— Ты его можешь выронить с плуга-то. Пусть у меня полежит.

— Ну ладно,— согласился я.

Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.

Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу свою находку учителю Алдиярову, на память. У него собрано много таких вещиц. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня

допимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.

Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.

— Иди сюда! — Он махнул мне рукой.

Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:

— Докричаться не было сил. Ты иди, установи рычаги, а потом возвращайся, садись, поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройдусь по воздуху, может, полегчает...

— Иди, иди! — ответил я.

Пока я сбегал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно ссутулившись.

«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверно, неладно, вон как схватило»,— подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.

Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, и надо включать фары»,— подумал я, вглядываясь вперед. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.

— Абаки-ир! — крикнул я.— Абаки-ир!

Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.

— Абаки-ир! Где ты? Отзовись! — кричал я в степь.

Но затененные предвечерние увалы молчали.

А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.

— Абакир! Куда ты? — кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.

Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.

Я шел смятенный и растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял... Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми перессорился, передрался. А Калина? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беременная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так что ему — вчера получил денежки, и немалые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе,— значит, задарма немного поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом...

Мои думы прервал голос Калины:

— Абаки-ир! Кемель! Где вы?

Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.

— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калина.— Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!

Что было мне ответить ей? Сказал правду:

— Абакир ушел. Бросил работу.

— А... почему... зачем? — запинаясь, спросила она.

— Не знаю.

Про золото я умолчал, мне было стыдно за Абакира.

— Значит, ушел? — Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю.— Зачем же вожу я эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Я понес бидон к радиатору, а Калина прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.

Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.

— Может, еще вернется,— неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калине.

— Да не о нем я,— всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо.— Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо.— Думала, парень работящий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить...

Александр Яшин. «Угощаю рябиной».
Художник П Карачинцев

Лошадь тоже работает, а только человек — он и есть человек, душа в нем прежде всего... Тогда и работа в счастье, тогда и делу есть смысл... А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох, как обидно!

Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека... Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.

Калипа села в повозку и молча уехала.

Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся...

Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая почную тьму. Я сел в кабину и включил фары.

Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.

1962

ПЕНЕЛОПА

Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Лобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрой мины: да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план... или наоборот, если начальство насядет, жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.

Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно: все-таки день получки. Наверно, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он чего-нибудь не знает, и тогда из дверей, какихнибудь из многих этих черных дверей, выходит начальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: а вы почему тут? Не знали? Лобышев прошел мимо большого дивана, дальше были две самые опасные двери друг против друга: из любой могло выскочить по начальнику,— но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору, мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных,— но как будто бы никого не было,— мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов «М» и «Ж», мимо... но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал тоже потому, что вдруг на изломе марша, на площадке,— начальник: здравствуйте, товарищ Лобышев; пожмет руку; а вы куда?.. Покурить, только лишь покурить, вот видите: и не бежал вовсе, а шел не спеша,— люблю, знаете ли, покурить на воздухе, когда время терпит. Но он уже был на улице, и тут — только бы этот узкий закоулок пройти: там уже вряд ли кого встретишь...

И он не встретил.

Он шел по Невскому, и совсем было хорошо. Было солнце. И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский, хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было — по Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что он дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке, но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело, и подумал-то так же: что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем.

Тут, конечно же, ходили женщины и девушки, на них можно было посмотреть. Это смотрение тоже было моторным до странности. То есть не как в семнадцать, когда каждая — тайна и каждая может быть твоей. Тут уж, к черту, знаешь ведь, что, может, и каждая... да ведь это невозможно хотя бы потому, что ты один и тебе не семнадцать. Да ведь если не миллион, то не все ли равно одна или десять. Тогда уж одна. Об этом он тоже подумал вскользь, вроде бы и не подумал. Так себе, шел и смотрел на женщин и девушек, как привык смотреть: просто так. Да их и было не так уж много: все-таки будний день и время рабочее.

В общем-то, он очень здорово себя ощущал, когда шел вот так по Невскому, по любимому осеннему Невскому, и смотрел по сторонам — воздух-то какой! Свободно и просторно было ему, когда он так шел. Он было подумал, что непонятно, с чего бы это у него такое прекрасное самоощущение, вроде бы никаких оснований: все равно через три часа надо возвращаться в контору, а после этого ехать опять в свою тьмутаракань, в свой отряд, раздавать рабочим деньги и волноваться из-за отсутствия, к примеру, ключа на девятнадцать, из-за которого — тьфу, гадость-то какая! — не отвернуть каких-то там форсунок, без отворачивания которых, в свою очередь...— но думать об этом было противоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал, он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь: и воспоминания, и мысль, и мысль о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо,— он вроде бы вовсе и не подумал об этом. А думал он теперь о том, что вот, хотя никакого возбуждения или тяги знакомиться с кем-нибудь у него сейчас нет, но одетым стоило бы быть получше, потому что он, как приехал из

деревни, в куртке и сапогах, домой не заезжал, и теперь на него и не смотрят — только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться; домой же тем не менее заезжать не хотелось, потому что — все-таки взрослый человек — глуповато заезжать переодеваться и через три часа снова заезжать переодеваться, чтобы возвращаться в деревню,— и все это только из-за того, чтобы на тебя кое-кто просто так посмотрел. Во всяком случае, провинциалом он не выглядит, а что незаметен, то, господи, ерунда какая! Об этом обо всем тоже можно было подумать, но, перейдя Фонтанку, и эти мысли оказались слишком критическими, чтобы задержаться, и потом эти-то, об одежде, были действительно малыми, чтобы на них еще и задерживаться.

Во всяком случае, и здесь я буду точен, перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал, хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких «вроде»,— он не думал, не вспоминал, и его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский, и шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало.

Но так тоже долго не проходишь. Полчаса от силы. Что-нибудь да зашевелится, суета какая-нибудь. Надо понимать... Все-таки времени как-никак почти три часа куда-то деть надо. При том, что идти, в общем, некуда. И домой тоже — не к кому и незачем. Да и что там делать, дома? И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска — «Колизей», что ли, широкоэкранное кино. А в нем «Одиссей», странствия, что ли, этого Одиссея. Гомер там, Илиада. Никогда не читал. Софокл. Эврипид. Гераклит. Геродот. Демосфен. Бочка. Спартак Джованьоли. Ромул и Рем. Гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали, а имя всякий знает. А то еще: читали, а имени можем и не знать. Негениальные люди. А гениальных мы не читаем. Об этом обо всем тоже можно подумать — вскользь.

И к этому времени Лобышев уже взял билет. Один. Это же чертовское удовольствие — взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время.

Позвонил домой: мама? Да вот, приходится тут в конторе ждать... вряд ли сегодня удастся... да, придется ехать сразу... ну, конечно... буду, буду... да нет, не холодно, здоров...

Когда Лобышев вышел из темных касс снова на Невский — даже зажмурился: такой свет и воздух. Глуповато, подумал, идти в кино в такую погоду, куда лучше пойти в сад какой-нибудь, в тот же Летний хотя бы или Михайловский. Но тут опять, где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает, что в саду сидеть и думать хорошие, быть может, вещи, но потом —

вставать и идти и забывать хорошие вещи. Бесцельно это как-то и все-таки нагрузочка — сидеть и размышлять какие бы то ни было прекрасные вещи, само собой, без удовлетворения в конце концов размышлять. Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Лобышева, как змея, не оставив следа, бесшумно. И Лобышев покидает Невский, такой солнечный и осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит в темную подворотню кинотеатра, широкоэкранного. «Колизей», что ли?

Да, еще он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Сначала он надеялся, что это так себе, название такое про Одиссея, а на самом деле это вовсе какой-нибудь итальянский крестьянин, или американский коммивояжер, или французский бедный мальчик, и это именно он, крестьянин, комми, мальчик, странствует и вроде как бы Одиссей, а на самом деле наше время, машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков, но только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике,— все стало ясно, что это не словно бы Одиссей, а и на самом деле Одиссей, во всей, так сказать, своей древней полуодежде, цветной к тому же фильм,— и у него даже во рту кисло стало от того, какая это будет лажа. Но, в конце концов, все равно бы он пошел в кино. И все равно он получит удовольствие, как бы ни плевался потом. Потому что эти гады умеют как-то что-то такое в тебе задеть так, что ты только с виду, чтобы поддержать свой вкус, будешь плеваться, а на самом деле получишь удовольствие. Потому что есть же и это пошленькое, на что они, гады, и бьют. Есть у каждого. Об этом-то как раз он думал четче всего. Он и до этого не раз так же думал, и, если бы был кто-нибудь рядом, кто мог понять, то он бы сейчас об этом ему и говорил. Об этом он думал как раз, когда проползала та неуловимая мысль о саде, что не стоит все-таки в нем, в этом саду, сидеть. Та самая змея, что изложена выше.

И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, который я собираюсь писать. И теперь наконец я начинаю с нее ради еще одной, единственной, которую я знаю и которая должна быть чуть ли не в самом конце. Так вот я приступаю к началу рассказа, и если мне до того уж не стыдно, то меня охватывает дрожь, потому что я приступаю. Он проходит и не думает ни о чем, потому что о саде он вроде бы и не думал, а о картине уже все передумал до этого.

Лобышев прошел в подворотню кинотеатра вместе с кое-какой толпою. Потому что оставалось пять или десять минут, и уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз

перешагивал линию раздела, а тело его уже было в тени, как услышал — и за это я могу поручиться, что он услышал именно это,— он услышал, как за его спиной, за его левым, то есть правым его плечом, кто-то сказал, чей-то голос сказал:

— Скоты! Ах, скоты!

Лобышев не обернулся и, собственно даже, не расслышал, только понял, что справа сзади женский голос, молодой.

Этот голос повторил:

— Ах, скоты! Скоты!..

Лобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светлокрашеную прическу и молодое, ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним, и он, слегка обернувшись, сказал совершенно моторно, не задумываясь:

— Это вы мне?

Получилось почему-то не про себя, а вслух, и так громко, что девушка услышала, непроизвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось, как это у него получилось. Такие штуки редко у него получались. Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда они у него не получались, такие штуки.

Девушка взглянула на него. Тут не было ни возмущения, ни желания пройти мимо в этом взгляде, что тоже не могло его не удивить. Девушка сказала:

— Нет, что вы!

Лобышев приотстал на шаг и очутился рядом с нею. Особенно разглядывать ее он не мог; впрочем, ничего неприятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать потому, что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора, что с его, лобышевской, грацией было сделать не трудно. И он сказал:

— А то я думал, это вы мне...

И засмеялся непринужденно. Засмеялся не то слово — так, полухмыкнул.

— Ну, что вы!.. — ласково сказала девушка. И он был бы вынужден повторить: «А я-то подумал, что вы мне!..» — потому что совершенно ничего другого не было в его голове, и так бы он и сказал, если бы девушка не прибавила:

— Что вы?.. Такому симпатичному...

Тут уже все поворачивалось по-новому. Этого он не ожидал. И это же его окрылило, и он сказал:

— Бывает, и симпатичный — а скот.

И вот он, такой высокий и широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову, такой маленькой и ладной, и улыбнувшись широко, но светски, добавил с легкой иронией в голосе, которая

должна была означать, что он-то знает, и еще должна была означать некую посвященность обеих сторон: мол, они оба знают,— и вот, со всем этим в голосе, он добавил:

— Или так не бывает?

Но надо сказать, что в это самое время, когда он уже сказал «бывает, и симпатичный — а скот» и у него уже было готово продолжение и интонация этого продолжения, разве что он еще не успел продолжить,— они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Лобышеву непривычным или неприличным, но он еще не мог сказать четко что. Но он уже не мог не сказать: «Или так не бывает?» — он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его.

Словно почувствовав это, девушка сказала:

— Разве может быть,— тут она сделала паузу,— с такими-то глазами?.. — и заглянула на него и преданно и восхищенно, можно сказать любовно или призывно... черт знает как она на него взглянула.

Тут уже Лобышева стало раздирать на две половины: одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел, а другая уже упиралась и отставала, на эту другую смотрели во все глаза люди, много людей, они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали, этой второй половине было стыдно и неловко, она хотела стушеваться, исчезнуть.

Но они уже проходили контроль. Он, как и положено, впрочем, пропустил ее вперед — даме, так сказать, честь и проход,— девушка сунула свой билет билетерше, а он, как бы пропустив ее вперед, уже готов был удрать с билетом — ну ее к черту, эту картину,— а пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад, и он даже остановился у дверей контроля в неуверенности, но сзади его подтолкнули, потому что всем надо в кинотеатр, а девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что в фойе прошла вообще уж спиной — деться тут было некуда, вышло так, что он только замешкался почему-то, ну как вроде ища билет, который сунул неизвестно куда,— он был в кулаке, этот билет,— и вот ему оторвали корешок, и вот он стоит в фойе рядом с девушкой, ярко освещенный и у всех на виду.

Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов. Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, а оказывается, что ты без штанов. В ватнике, к примеру, а без штанов. Тут наверняка было что-то от этого, тем более что есть же что-то и сладостное в этом сне. И тут тоже было: почему-то ведь он все-таки и не удрал от девушки и вот стоит с ней рядом, разглядел теперь все — а не уходит. А идет себе без штанов по автобусу.

А разглядел он, что короткая ее прическа — и не прическа вроде, а недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что задрипанный, в обтяжку, вроде бы мужской пиджак с загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, а под пиджаком ковбойка, тоже вроде бы мужская и давно не стиранная, ну юбка-то, конечно, юбка, но на ногах что-то невозможное: стоптанное, бесформенное, и чулок нет. Это ведь, конечно, кто же скажет... И он стоит с ней рядом, и никто не поймет в том смысле, что случайно он тут оказался и просто так себе стоит,— так она на него смотрит. Да ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит:

— Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?

— А как же их еще назвать! Скоты и есть. Совсем бедная женщина, старушка, в очереди, а у нее деньги украли, двадцать рублей. Хоть бы знали, у кого крадут... А то старушка, бедная, в очереди...

— Ну да,— сказал он,— понимаю. Действительно. В очереди...

Ну что это я? Господи! — мучительно подумал он. Что-то извивалось внутри от неудобства.— Старушка... Кретин. Откуда ни глянь — кретин.

Девушка же испытывала другое неудобство. Как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой, и сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак и, придерживая то, во что вцепилась, перекручивалась всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места. До следующего раза. От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Лобышев. Так оно, конечно, и было. И надо было в конце концов, уж если не расходиться вовсе, то куда-либо скрыться с глаз, а там, в кино, когда уже погасят свет, думал Лобышев, все будет уже ничего.

Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку. Крепенько так взяла, ощутимо. Показался буфет. Там уже сидели и пили свой лимонад и пиво разные люди. Зрители. И это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Лобышев. «Зрители...» — подумал он ядовито. Но девушка уже сказала следующее:

— Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала.

Но тут уж, слава богу, были и обстоятельства: у Лобышева действительно был только рубль. Тут уж он мог такое сказать — были бы деньги, то и не смог,— но тут он сказал с облегчением:

— У меня, как назло, денег нет.

— У меня есть,— сказала она.— На бутерброд.

И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать. Потому что все мог сейчас проделать Лобышев — одного он не мог: показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему, бесконечно долго. И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы, были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что, по крайней мере, не приходилось уже сомневаться в их существовании: были они или не были. Были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет, и как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем себя перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Лобышев. Это-то ладно, но то, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило его еще сильнее.

— Надо же, как неудачно,— сказал он.— Как раз сегодня у меня получка. Но вот получка через два часа, и много будет денег, а сейчас — нет.

«Зачем это я?» — мелькнуло у него. А девушка спросила:

— А кем вы работаете?

Лобышев запнулся, ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал.

— Я начальник отряда... в экспедиции,— сказал он, понял, что хвастается, и добавил: — Денег хватает,— хотел еще что-то добавить, но тут уж смог остановиться и только повторил: — А вот сегодня нет. Вы уж меня извините.

— Мы съедим пополам,— сказала девушка.

— Да нет,— сказал он,— рубль-то у меня найдется.

— Тогда-то что,— сказала девушка.

А уж если так, вдруг уничижающе подумал он, то тем более — сволочь... Ведь вот для нее рубль, может, целый день житья. На эту свою мысль он совсем уж рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовав хамство такой мысли, несовременное причем хамство.

Они сидели за столиком. Девушке вышло даже два бутерброда. И еще по бутылке пива. Пока девушка ела и молчала, Лобышеву становилось вовсе не по себе — уж лучше бы они говорили,— а так было совершенно непонятно, почему он сидит вот тут с ней и чем-то уже связан: уйти не может,— неотвязность сна. Теперь он подумал: раз уж он сидит с ней, то должен быть в этом человек. Человека же он в себе сейчас не находил. И тогда его бесило: от кого же и от чего же он сейчас зависит, что так скован? Неужели из-за этих, за столиками? А почему, собственно? Тогда он начинал понимать, насколько же он не властен в каждом шаге, дви-

жении и слове, хотя вот ведь день за днем живет в уверенности, что все-таки передвигается, говорит и делает сам — а нет, не сам. И тогда становилось понятно, что это, по-видимому, целая жизнь у него такая, что он сегодня так не властен. И где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново, чтобы иметь сейчас свободу. Эта мысль кружила над ним, но девушка все съела, засмеялась и, потягивая пиво, сказала:

— Вот вы меня и устроите на работу. Ведь вы можете?

Лобышев охотно отпустил мысль, отвлекся, так сказать, и с какой-то даже серьезностью и убедительностью, которых бы не смог объяснить, если бы их осознал, сказал:

— Отчего же, могу. Но только стряпухой. Стряпуха нам нужна.

— Так мне хоть кем,— сказала девушка,— лишь бы на работу.

Что это я? Так же нельзя...— спохватился Лобышев.

— Тридцать рублей всего,— сказал он, отступая.

— Это все равно,— сказала девушка.— Мне лишь бы на работу.— Она положила руку ему на колено и, так опираясь, наклонилась к нему:

— Устроишь?

— Отчего же,— замялся Лобышев.— А какая у тебя вообще-то специальность? — Даже с ней переход на «ты» был для Лобышева, как на американских горах: перехватило дух.

— У,— сказала она,— специальностей у меня хватит! Я могу быть токарем, маляром, поварихой и,— она все не снимала руку с лобышевского колена,— женщиной...— Она засмеялась.

Лобышев тоже засмеялся. Уж теперь-то точно встал в автобусе, оказался без штанов и идет по проходу. Так и замерло. И почему-то стало легче. Девушка смотрела на него и не снимала руку с его колена. А какой-то чертик все раскисал в Лобышеве. Он вроде бы ничего и не видел. А только приговаривал:

— Это сначала надо проверить... — и смеялся гаденько, так гаденько, что уже не мог бы заметить этого, потому что заметить это было бы слишком для него тяжело.— Это сначала надо проверить,— говорил он.

— Так возьмешь? — сказала девушка.

— Это можно,— сказал он и хотел что-то спросить, или добавить, или подумать,— но тут прозвенел звонок. Девушка встала, взяла его за руку, вытянула, смеясь, со стула, и они направились в зал.

Места у них были разные. Они стояли в проходе, выжидая, когда все рассядутся. Она держала его за руку и не выпускала. А ему опять стало несносно. Он, как ему казалось, изрешеченный

взглядами всего зала, все порывался сесть на свое место: все равно, мол, свободных мест не будет,— а представить, что ему придется кого-то просить пересесть и при этом все станут разглядывать друг друга, было страшно. Но она удерживала его, люди рассаживались, а они стояли в проходе.

Им удалось сесть вместе, когда погас свет. Вернее, ей. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы. Очень много китайских ваз. Он чувствовал себя наконец спокойно, почти хорошо. Потому что они не стояли больше в проходе, было темно и никто не мог его, Лобышева, видеть. Ему, в общем, было приятно, как она обращалась с ним в темноте. И вазы ему нравились.

— Правда, красивая,— сказала она.

— Правда.

— Ты бы хотел иметь такую дома,— сказала она.

— За такую вазу можно жизнь не работать... — сказал он внезапно для себя и, пока говорил, уже испытывал противность, но выговорил до конца. Такого он за собой не любил: говорить чужие слова, в тон. Но тут и она сказала кое-что для равновесия:

— А как ты относишься к абстрактной живописи?

Он несколько обалдел. Посмотрел искоса.

— Ничего отношусь,— сказал он. Боже, подумал он, ведь до чего дошли... Что же это за жуткий опыт такой она приобрела, что со мной про абстрактную живопись заговаривает?..

— У меня был один знакомый...— сказала она и пожала ему руку.

Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с мест, и опять начнется то же, и они будут торчать в проходе. Только бы без перерыва, думал он. Тогда не сгонят. Только бы не зажигали свет. Иногда не зажигают.

Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали.

— Придется идти на свои места,— сказал он.

— Пойдем,— сказала она. И повела его за руку к своему месту.

Все места рядом были заняты.

— Ну вот, видишь, только одно,— сказал он.

— Мы сядем на одно,— сказала девушка. И она действительно села и подвинулась, освобождая часть стула. Она тянула его за руку, а у нее были соседи слева и справа. Они смотрели, и хуже Лобышеву не бывало.

— Нет,— сказал он,— так я не сяду.

— Ты хорошо поместишься,— сказала она.

— Нет,— сказал он,— так нельзя.

Свет погас.

— Садись же...— громко прошептала девушка.

Парень рядом встал. «Скандал начинается»,— уже равнодушно подумал Лобышев.

— Садитесь на мое,— сказал парень.— А я сяду на ваше.

Они обменялись билетами, и хороший парень ушел.

Лобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую и следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж, она ждала Одиссея. Девушка положила руку Лобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя неприлично, не совсем, впрочем, понятно почему. Они обижали сына Одиссея и Пенелопы, скромного мальчика. Появлялся утконосый Антипой и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть. Душка. Сильная такая душка. Символизировал собою соблазн. Девушка гладила себя рукой Лобышева. Наконец появлялся и сам Одиссей, рыжий супермен, жидковатый, впрочем, для супермена. Но мужчина.

Картина между тем начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Лобышева переставало интересовать колено девушки. Хотя Пенелопа и не была уж так поразительно хороша. Но это ведь только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Для жизни Пенелопа была очень даже ничего. А когда она изменила цвет волос и стала Цирцеей, так просто, можно сказать, похорошела необычайно. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Они с Лобышевым как-то согласно отпустили, освободили друг друга.

И Лобышев смотрел и думал о разных вещах. Как ни бездарно, по-школьному старательно, делали этот боевик, все-таки Гомер, наверно, недаром прославился. Взять хотя бы сюжет: за ним вставало многое. Хотя никак не отделаться от безобразности всего этого с точки зрения чисто человеческой. И до странности кое-что схоже. Недаром же мы живем в эпическое время. Только не помпезность мера эпичности. А вот это хамство и предательство хитроумного Одиссея. Совершенно ведь игровой современный парень. Максимум самоотверженности — привязать себя к мачте, чтобы послушать сирен. Самоотверженность эта — не больше жажды острых ощущений: наслаждение то есть. Привязать-то себя попросил... Так что, в конечном счете, выиграл. Ну и сирен, конечно, бездарно сделали: ясно, что дальше электрогитары пойти не могли. И вот Одиссей совсем уж нечеловеком становится, когда говорит этой молоденькой девочке, дочке какого-то царя: я все вспомнил, я ухожу и унесу эти ваши слезы. Кетч в Древней Греции — это еще ничего. Вино для этого одноглазого черта Полифема тоже месят неплохо. Только жалко его, беднягу, что глаз ему выжгли и

он не передавил героев. Но вот это уж вовсе бездарно, как они сделали представителей из царства мертвых. Гениальное же дело, когда выходит вот такой мертвяк и говорит, что там хуже плохого, в этом царстве. Больше ничего не говорит, говорит только, что там очень плохо. Эта-то вот вроде бы беспомощность средств, никаких там устрашающих описаний — это же действительно страшно. Это-то, наверно, Гомер придумал. А тут — напустили какого-то холодного пару, подзеленили лица... Но, в общем-то, скотское время эта Эллада. Сильные людишки. Человеков нет. У нас хоть, от нашего-то эпоса, какая-то человечность очевидной стать может. Чаплин, к примеру. А тут — словно так и надо, будто это-то и есть что-то лучшее в людях — их сила. Слабаки, в сущности, они чрезвычайные.

А потом пошло уж вовсе безобразие. С этим луком. Вроде бы Одиссей что-то понять должен, когда он нищий и в него вином женихи плескаются. Нет, оказывается. Просто он дожидается момента, чтобы с ними получше расправиться, чтобы вроде оправдание иметь своей жестокости через их свинство, не больше. А сам был хамом — хамом и остался. Только Одиссей — хам-герой, он — наверху, оправдан, ему симпатизирует гениальный слепой Гомер. Вот как.

А в общем, и не так. Смотришь. И чувствуешь себя Одиссеем. Таким же сильным, и храбрым, и красивым. Он не тонет и не гибнет. Его любят бабы. Они любят тебя в образе Одиссея. И все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая обкрай не наставила тебе рогов. И зажигается свет. И надо выходить из кинотеатра. В твою обыденно-эпическую действительность.

Лобышев очень удивился, когда обнаружил девушку рядом с собой. Странными тенями замелькало в его мозгу воспоминание о ней. Казалось далеким. И когда он выходил на свет и затягивался сигаретой, и выходили прочие люди — они шли рядом, но это дурной сон,— он боялся взглянуть на нее, чтобы она не стала явью. Не Пенелопа. Ты-то все-таки немножко Одиссей, выходя из кинотеатра.

На этом мучительном свету он не знал, что же теперь делать. Но идти с девушкой рядом и выходить вот сейчас на солнечный Невский он не мог. Господи, кто же это тянул его за язык!

Девушка посмотрела на Лобышева, как-то просто она это сделала, без вызова, и под руку его не взяла. Они прошли в тот же туннель подворотни, где впервые увидели друг друга. Девушка шла сбоку и заглядывала сбоку. Она словно поняла, что Лобышев отдаляется совсем, но еще надеялась... Лобышев шел рядом, каменный.

— Ну как тебе понравилась картина? — сказала она, заглянув сбоку.

— Ничего,— процедил он.

— А женщина?

— Какая женщина?...

— Пенелопа?

— ...Н-ничего...

— А ты бы хотел иметь такую женщину, как Пенелопа?

Лобышеву стало плохо и жалостливо, он даже неуверенно тронул ее за руку. Но движение так и осталось непонятым, смазанным, незавершенным. Девушка заглядывала сбоку, чего-то ждущая...

Но солнечный свет ударил в глаза.

Они вышли на Невский. Шли нарядные люди. Женщины среди прочих. Девочки. Лобышев остановился. И она рядом, маленькая и задрипанная. Кто-то на них посмотрел. Кто-то, наверно, что-то сказал. Он сам-то не расслышал. Но наверняка кто-то что-то сказал.

— Что? — сказал он машинально, все еще не понимая, что же ему делать, и как-то остро взглянул на девушку.

Она озиралась, словно бы не понимая, куда попала. Что-то детское было сейчас в ее лице, растерянное и пронзительное. Казалось, она стыдилась себя и чувствовала виноватой — такое было лицо. Все эти люди, прохожие, и он, Лобышев, были правы, а она — нет. И мир выталкивал ее из себя — такое было лицо. И если бы не он, Лобышев,— такого бы не было у нее лица. Все это, только в едином ощущении, увидел сейчас Лобышев. Но это было слишком грандиозно для лобышевского сознания — врывалось и опрокидывало. И главным все-таки оставалось то, что ему стыдно стоять с ней сейчас на Невском. И, когда и то и это смешалось вместе, Лобышеву стало страшно.

Он увидел тогда в ее руке что-то, чего раньше не видел. Зеленую тряпицу. Откуда бы она ее достала, подумал он. Тряпица была вязаной шапочкой. В шапке были бигуди. Девушка доставала бигуди из шапки и рассовывала их по карманам. Пиджак был в обтяжку, и карманы уродливо оттопыривались. Когда шапочка опустела, девушка натянула ее себе на голову и старательно спрятала под нее короткие свои волосы. Трудно было представить, где она это сокровище откопала. Страшно было смотреть. Лобышев не знал, куда деться. Рядом, в парадной, он увидел телефон-автомат и, промычав что-то неясное, юркнул туда.

Девушки отсюда видно не было. Задыхаясь, он опустил монетку. Монетка провалилась. Снова опустил. Искоса поглядывал в дверь: девушки видно не было. Монетка снова провалилась. Сзади остановились две совсем юные девочки, одна хорошенькая. Стояли

ждали, когда он позвонит. Девушки видно не было. Лобышев отошел от автомата. Девочки заняли его место, щебеча. Выходить на Невский не было сил. Он отошел в глубь парадной. Обернулся — в дверях был солнечный прямоугольник Невского. Шли люди. Стоял напротив дом. И проезжали машины. И вдруг посредине прямоугольника, как в раме, как в кадре, появилась девушка. Она-то была очень хорошо видна, освещенная. Он был в тени. Она меня не видит, подумал Лобышев. Но это было ясно, что она его тоже видела. Иначе бы она так не смотрела. Как-то очень спокойно, очень понимающе и без вызова смотрела она. Выйти на Невский он был не в силах. Он поманил ее в парадную. Пальцем. Судорожно как-то, тайком — словно бы и не поманил: просто почему-то непонятно двинул рукой. Девочки все еще звонили по автомату. А она стояла в своей раме и не двигалась. Лобышев покосился на девочек и отступил еще вглубь. Она не двигалась — смотрела. «В чем дело? В чем дело?..» — подумал Лобышев и еще раз поманил четче. Девочки выпорхнули на Невский. Она словно бы помедлила и прошла.

— Ну что? — сказала она. Что-то скованное и опущенное стало в ее фигуре.

Он молчал словно бы в сосредоточенности.

— Как же нам с тобой быть? — сказал он.

— Ну, это вам виднее,— сказала она равнодушно.

— Как же нам все-таки с тобой быть?.. — говорил он, словно бы в раздумье растирая лоб. Господи, думал он, неужто это никогда не кончится?.. Ведь она же ни о чем не заикалась уже, почему же я снова взялся за это? Как же мне теперь-то быть... Ведь я же ничего, ничего не стану делать для нее, даже если бы мог!

— Что же нам с тобой делать?

Надо это как-то кончать. Сказать просто: извини, это свинство, конечно, но это все был трен. Я ничем не могу тебе помочь.

— Я попытаюсь,— сказал он.— Без паспорта это, конечно, очень трудно, но я попытаюсь.

Какой же я стал свиньей! — безнадежно подумал он.

— А как же я вас найду? — спросила она в той же грустной деревянности и чуждости.

Господи, черт! помоги мне, подумал он и сказал:

— Я сегодня выезжаю на место работ. Меня тут не будет. Вот что, ты приезжай прямо к нам. Это пятьдесят третий километр. Станция так и называется. Там спросишь нашу базу. Всякий скажет.

— ...Когда же? Когда же тебе приехать? — Он тер себе подбородок.— Надо в течение рабочего дня. До пяти. Приезжай в четверг. Я буду на базе.

Девушка словно что-то поняла. Лоб ее разгладился.

— А ведь я приеду,— сказала она.

— Приезжай,— уже с трудом и тихо, глотая концы слов, говорил.— Я не ручаюсь, но попробовать можно. Ну, ты иди, иди. Мне еще надо позвонить.— И он стал рассматривать половицу. По-прежнему тер подбородок.

Девушка взглянула на него удивленно.

— До свиданья,— как-то странно, полувопросительно и словно уже издалека прозвучал ее голос.

Лобышев поднял глаза — она удалялась. Тысячу лет она удалялась. Коротенькая, в пиджачке и шапочке, она чернела, подходя к дверям. Она все время была в этой солнечной раме, пока уходила,— там был Невский, шли люди, стоял напротив дом и проезжали машины. Девушка уходила и не оборачивалась. Вроде она должна была бы обернуться. Она не оборачивалась. Надо было крикнуть, остановить — но такого Лобышев даже представить был не в состоянии. Как же... как же я буду с этим жить? — мучительно думал он и в то же время ждал — скорее, скорее бы она наконец ушла из этой парадной. И все бы кончилось. А она все шла в этом прямоугольнике, чернела, подходя к дверям, и вдруг исчезла, ушла.

Лобышев еще постоял в парадной. Выждал. Вышел на Невский. Солнце. Девушки не было. Ему вдруг стало так пусто и легко, словно он взлетит сейчас в воздух, как отпущенный шарик. Он почти подавился — так сильно, со свистом, глотнул этот прекрасный осенний воздух. Страх прошел. Это он понял вдруг, что его нету, и тогда же он понял, что только что этот страх был. Волнами все стало возвращаться к нему. И тогда ему стало тошно. Ничему и ничем уже нельзя было помочь. Где она, эта платформа 53-го километра, на которой он и не был ни разу?.. Поняла она или не поняла? Он вспомнил ее последнее лицо и подумал, что поняла. Это его не успокаивало. Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано.

...Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но каждый день, думал Лобышев.

И как давно забытое ощущение было, что думал не вскользь, не как бы, не вроде, не забывая, не в полусне.

1962

ЛЮДИ С ТОГО БЕРЕГА

На рассвете над Волгой туман. Тихо, как в зимний день, и мутно вокруг. Не летают чайки, молчат пароходы, и вода, отразившая утренний, затуманный свет неба, подступает к ногам белой невесомостью. Из бели этой торчат у берега синие от росы, холодные листья камышей, и чудится, будто вода утратила плотность, и пар над ней — последнее дыхание тающего неба или тающей воды... Ни течения, ни морщинки. И глаз устает вглядываться в границы зыбкости и плоти. Не верится, что где-то есть берега, ширь реки, где-то стоят белые пароходы и ночуют на отмелях и на бакенах хмурые чайки.

Маленький, крошечный мир под ногами: грань воды и топкого берега и двугорбое сооружение, сдвоенные шалаши, в которых жили когда-то косари.

То розовые, то желтые, то голубые, белые пары перемещаются, текут, клубятся, густеют, проваливаются, распахивают вдруг мутные врата в голубизну и ясность, копошатся над головой огромными и неживыми материями. И странной кажется тишина. И ждешь чего-то, и томишься в борении разума и чувств, реальности и миража.

Твердь под ногами как остров, небо вокруг — безбрежная топь. И пахнет все это холодным предбанником.

Туман собирался еще с вечера.

Я усталый тащился по берегу, рассчитывая заночевать в какой-нибудь копенке. Но все сено уже вывезли, и луга простирались голые.

В долгих сумерках я разглядел наконец непричесанную, рыхлую копну впереди, над которой висела тоже рыхлая, желтая, ущербная луна в сизом небе, подошел ближе и увидел, что это шалаши. Они были большие и сделаны были крепко. У входа в один

из них валялся старый брезентовый наколенник, чернело пятно кострища, и когда я вполз в сенное нутро, рукой нащупал грабли, забытые косарями.

В ольшанике за лугом я наломал сухостоя, костерик полыхнул порохом, сумерки надвинулись, разомлевшая за день Волга подернулась паром, дали замутнели — стало совсем тихо, и запах ольхового дыма, прозрачного и вкусного, вплелся в сложный запах заболоченных берегов, сена и туманных сумерек.

И когда я так сидел в задумчивости и усталости, слыша в потемневшем небе вкрадчивые посвисты, слыша далекие, «тукающие» выстрелы не в меру страстных охотников, которые стреляли уже только на свист утиных крыльев,— со стороны Волги донеслись всплески весел, попискивание уключин и глухой за туманом говор. Я долго прислушивался к этим звукам. То мне казалось, что лодка проплывала мимо, и я облегченно тогда вздыхал, то вдруг все замирало, и я тогда думал, что все это почудилось мне, послышалось в тишине, а то снова явственно слышал лодку, которая, как я понял, плыла ко мне из тумана.

Потом кто-то совсем близко сказал:

— Вот теперь опусти руку... Чуешь течение? Ну? С какого борта? Дурочка... Скоро берег.

И женский голос с зябким придыханием ответил:

— А я думала, нас несет.

Я видел, как зачернела в тумане лодка и причалила мягко, как один спрыгнул с носа на берег, втянул лодку и подал руку женщине. Я слышал их дыхание, какую-то их возню, слышал, как что-то тихо лязгало, мягко стукалось об лодку, позванивало и дребезжало и как знобко посмеивалась женщина в светлом и легком платье. Она озябла, и смех ее казался судорожным и тихим даже в этой тишине. Мягкие их шаги, шорох скошенной травы... Я понял, что люди идут ко мне и катят за руль вздрагивающий на кочках, позванивающий велосипед.

— А ты меня чуть с курса не сбила...— сказал парень.— Сделаешь по-бабьи, а потом хлопот полон рот.

Женщина опять засмеялась неясным шепотком и проговорила ласково:

— Ну, уж нет, Коленька, нет... Нечего на нас напраслину-то возводить. И слова этого не люблю. Вот услышу, что ты меня с товарищами своими бабой называешь, обижусь.

Мне чертовски хотелось стать мышью и, незамеченной, юркнуть куда-нибудь, забиться и пропасть, потому что, улыбаясь глупо, я понял по голосам людей, по нескрываемой женской нежности и открытости души, что идут ко мне, в мохнатые эти шалаши, влюбленные. Меня они не видели, хотя сами видны были довольно

отчетливо на фоне реки, и, когда они, не ведая обо мне, открыто и доверчиво, как муж с женой, стали говорить о тайном, я предупредительно кашлянул и загремел в кармане спичками.

Женщина ойкнула и, обомлев, схватила парня за руку.

— Ктой-то? — спросила она боязливо.

Парень хохотнул и сказал:

— Да этот, наверно, ха! Наверно, этот... Костер вот... погас уже. Ну? — спросил он.— Чего ты?

— Не пойду,— сказала шепотом женщина.— Петю...

Они были смущены не меньше меня, стояли поблизости в нерешительности, и женщина, оправившись от испуга, прошептала в отчаянии и в стыде:

— Ой, мамоньки,— и засмеялась вдруг, пряча лицо в ладонях.

А парень, бубня, говорил ей с грубоватой откровенностью, ведя велосипед к шалашам:

— Вот дурочка-то. Что ж он, охотник-то, съест тебя?.. Что ж он, не понимает, что ль? Деваться-то все одно некуда... Ну как охота? — спросил он у меня.

Я ответил, что я не охотник, а ищу геодезическую партию, которая где-то в этом районе должна снимать местность, что вот, дескать, выехать из города вместе с партией опоздал, а теперь никак не могу найти. И спросил тоже:

— А далеко ли отсюда до Ртищева?

— До Ртищева-то? Да не сказать, что близко,— ответил парень.— Нюр,— позвал он,— иди сюда. Оказывается, он не охотник. А этот... как его... землемер, можно сказать. Топограф.

— Геодезист,— сказал я.

— Вот... Спрашивает, далеко ли до Ртищева. А что-то мне не приходилось слыхать...

— До Ртищева-то? — пропела Нюра.— Далеко. Верст никак десять.

Она разглядела меня и опять, спрятавшись в ладони, тихо засмеялась, хоронясь в темноте за шалашами.

Обрубленная луна, поднявшись над лугом и Волгой, посветлела, стала похожа на лопату, и в смутном ее свете я видел лицо парня, широко раскрытые его глаза, вперившиеся и как будто не видящие меня, и видел я еще, как закусывал он губу, поглядывая на свою Нюру.

— А вы ночевать тут? — спросил он с хрипотцой в голосе и как бы ненароком.

Я стал глупо оправдываться, объяснять стал ему, как долго я шел, как устал, а он слушал меня рассеянно, кивал головой, а потом сказал с сожалением:

— Что ж тут поделаешь... Будем соседями.

Еще я ему сказал, что усну как убитый, лишь заберусь в шалаш, и мне показалось, что парень оживился сразу, услышав про это, затоптался странно как-то на месте, приваливая расхлябанный велосипед к соседнему шалашу, и стал звать Нюру, которая никак не хотела выходить.

На нем был темный, ни разу, наверное, не глаженный костюмчик. Брюки были коротки, распухшие на коленях, а из-под брюк белели шерстяные, домашней вязки, толстые носки. Видно, не случайно он их надел, собираясь сюда на всю ночь... Ночи-то нетеплые стали, лето уже кончалось.

— Спокойной ночи,— сказал я.— А сами-то вы откуда?

Он махнул в сторону Волги.

— А все одно не знаете. Есть тут один населенный пункт. Вам, стало быть, тоже спокойно поспать,— сказал он с заботливой торопцой.— Погрызите-ка вот яблочко. Не вполне они созрели, конечно, но сахар уже дали. Анисовые у нас они называются... Анис.

Я взял гладкое, согретое в его кармане яблоко и пополз на коленях в свой шалаш.

И наступила ночь. Душно и сладко пахло в шалаше увядшей осокой, шуршало что-то у меня под щекой. Я лежал с открытыми глазами, было темно, и лишь входной проем лохматым сизым пологом молча глядел на меня. Все молчало. И в этом онемевшем мире чудилось, будто я не на сене и не в сенном шалаше, не укрыт мохнатым настилом, а лежу в небывалой тьме, один на один с молчаливо наблюдающим за мной великим существом, которое заглядывает в меня, в мою душу, туманным своим, дымчатым глазом. И ворожит это странное существо, и сладко цепенеют мои мысли, и сонная немощь радует своей легкостью, и туман клубится... и не знаю уже, сплю я или не сплю, вижу ли этот туман или в мою душу, нарушая границы разума, входит клубящийся туман.

...Голуби сизой копошащейся кучей цепляются за подоконник, взмахивают косыми крыльями, стучат в стекло, царапаются когтями, шуршат и нудно и томно стенают у меня над головой, и глухое их воркованье сливается в жалобный и страстный стон, и стон этот растет в моей душе и с мерным каким-то вздохом, последним и как будто предсмертным, разливается сладостью в сердце и замирает навеки... Слышу я, как толкутся на ржавом подоконнике, копошатся умолкшие голуби, вздыхают и шепчутся, задевая крыльями стекла, шушукаются и царапают когтями жесть... Но знаю, что не голуби постукивают своими коготками и не сизые

крылья задевают стекло, а сизая тучка затянула небо и падают тяжелые капли на подоконник из тучки и с крыши... И ветер бросает эти капли, и они торопливой россыпью барабанят у меня над головой... Но и не дождь это, а сердце мое стучит в тишине, и не ветер, а сено шуршит у меня под щекой. И пахнет ночным, холодным туманом. Тишина бездонная. В тишине этой люди, приплывшие из тумана, и я, потерявший границы яви и сна... Твержу я мысленно о белых слонах, лишь вспомню о людях в соседнем шалаше: «Один белый слон, второй белый слон, третий белый слон...» Сон опять смотрит в меня туманным оком, и снова я слышу голубиные стоны, мучительные и сладкие, замирающие вдруг и вкрадчиво рождающиеся, крепнущие, торопящиеся. Твержу я бессмысленно: «Один белый слон, второй белый слон...» И никак не могу увидеть, представить белых этих слонов... Мерещатся мне автомобили, пластмассовые роскошные рули и отблески солнца в хроме и эмали. Жаркая улица. Дождь. Запах теплого, намокшего асфальта и пыли... Бог ты мой, как прекрасна жизнь! И опять прилетают на драный мой подоконник голуби. Стонут безумно. Слышу я опять тяжкое их стенание... А может быть, это не голуби, а дождь на рассвете будит меня своим шорохом, может быть, ветер... «Один белый слон...» И снова вижу блестящие автомобили, слышу дыхание улицы, нарастающие шумы моторов и опять тишину. Она бесконечна и пугающа, эта тишина, обложившая мир. Я понимаю, как она велика. Вслушиваюсь и не могу постигнуть молчания, которое вдруг рухнуло на землю...

Лежал я, подтянув колени к животу, рука моя под щекой затекла, ноги ныли. Хотелось укрыться от холода. Повернуться хотелось на другой бок и забыться опять во сне, но в глаза мои вкрался свет.

Жилище выглядело просторным и холодным на свету. Осочное сено свешивалось лохмотьями, и белый свет проникал сквозь крышу.

Снаружи доносились голоса. Пахло ольховым дымом.

Я в ознобе выполз из шалаша и увидел парня, который с заспанным серым лицом на корточках сидел над костериком и грел руки.

Нюра его сидела на сене при входе в шалаш. На ногах ее вздыбились редкие волосы, и лицо тоже было обметано какой-то серой зябкостью. Она улыбнулась мне косо на мое приветствие и опустила глаза. А я смотрел с неизъяснимым удивлением и робостью на косынку ее розовую, из-под которой выбились на лоб спутанные черные волосы, на ореховые глаза и брови галочкой. Она порой трудно и вяло взглядывала, мерила меня с тягостным каким-то любопытством, приноравливалась ко мне, гасила взглядами этими

свой стыд передо мной — и столько гордыни было в этих нелегких взглядах, в медлительных поворотах шеи, в неторопливости век, которые прятали от меня коричневый взгляд этой очень молодой женщины, столько красоты было в ее движениях, что я еще больше озяб от волнения и бессовестным образом дрожал, как промерзшая собака, всем телом. И костерик меня не выручал; легким и сухим было его живое тепло, а меня оно не согревало.

Парень разглядывал меня молча, усмехался тупо, тер ладонь об ладонь над огнем, и казалось, будто он точил на наждаке нож... Был он белес и губаст, а глаза его играли мрачноватой хитростью, наглой, пьяной насмешинкой.

Недолюбливал я и побаивался людей с такими глазами: видно, когда-то, может быть, в детстве, в забытой давным-давно давности, меня обманул или обидел человек с такими глазами... И предчувствовал я недоброе. Подумал случайно, что на месте Нюры не поехал бы с ним в эти брошенные шалаши, не называл бы его Коленькой — уж очень он весь ненадежный какой-то был. С вечера-то я не разглядел, а теперь и не рад был, что увидел его, потому что, не видя, представлял его иным, сотворил, как говорится, доброго себе молодца с красной девицей. И поговорка вспоминалась о шалашах...

Так мы сидели в напряженном молчании и грелись у огня. Я не выдержал и сказал:

— В таком тумане заблудиться можно.

Женщина вздохнула и поднялась с сена, сказав парню:

— Отряхни-ка меня.

Тот посмотрел на нее и не шевельнулся.

— Чего отряхивать,— сказал.— И так хороша. Тащи-ка лучше велосипед в лодку, пора нам.

Она провела руками по груди, по бедрам, улыбнулась незнамо чему: радости ли тайной своей или тому, что вот поедут они опять сейчас с Коленькой в кромешный туман, в котором заблудиться можно.

Не попрощавшись со мной, она повела велосипед к лодке. Лодка тенью возвышалась в белом хаосе пара, и такой же призрачной тенью стала скоро милая эта, неслая женщина с глазами дикой утицы. Тени шевелились, покачивались, велосипед звонко дребезжал, стукался с резиновой мягкостью о днище лодки, о борта. Но все утихло, женщина уселась в лодке и замерла в ожидании. Клок густого тумана наплыл на лодку, и она скрылась из глаз, словно ее и не было у берега.

— Красивая,— сказал я парню с добром.

Он покосился на меня, и лицо его сморщилось в улыбке, расплылось, покоробилось все, глаза затекли, и он странно засмеялся.

«Тхе-тхе-тхе»,— отрывисто выговаривал он в странной своей смешливости.

Я смутился и спросил:

— Жена, что ль? Или так?..

«Тхеканье» его стало громче и отрывистей, парень закашлялся и незнакомым, грубым голосом сказал мне:

— Малый ты не дурак, да и дурак немалый... Когда ж это было, чтоб в шалаши с женой... В дурдоме я не жил.— И опять засмеялся: «Тхе-тхе...»

— В каком дурдоме? — спросил я.

Так же недобро и мрачно он покосился на меня, будто я обидел его и сказал тихо и наставительно:

— Где сумасшедшие. Не слыхал? А таких жен, как она, теперь много. Жена! Мне еще пожить хотца! А тебе понравилась? Тхе! Вот уеду, можешь попользоваться. В отпуску я здесь. Гуляю тут. А до Ртищева тебе...

Он сначала опешил, когда я сказал ему брезгливо:

— Иди-ка ты отсюда. А то я сейчас тебя побью.

Я сказал ему это со всей той ненавистью, на которую был способен, и, говоря, знал, что при случае справлюсь с ним и действительно побью. Ему, видно, страшно было услышать это презрительное «побью», он поднялся и спросил, прищурившись:

— За чтой-то?

Я промолчал.

— Видал я таких фраеров,— сказал он блатным говорком, напрягаясь весь, и стоял на полусогнутых, подрубленных как будто ногах.

Молчание бесило его, неподвижность моя и расслабленность наддавала ему злобы, он долго и гнусно ругался, стоя за моей спиной, и с руганью этой, с угрозами ушел к лодке, спихнул ее в воду, вскарабкался на нос и вместе с лодкой исчез в тумане.

Мне было тоскливо. Туман не рассеивался, а нужно было спешить. Но идти я не мог, не зная дороги, и вынужден был ожидать.

Слои пара, подсвеченные вставшим солнцем, все чаще распахиваются, открывая Волгу, потяжелевшую глянцевитую громаду воды. Желтый этот, светящийся пар уже не в силах закрыть голубизну в зените, уже не спокоен он, стремительно рушится вдруг желто-серыми пологами, клочья его стелются над водой, силятся подняться опять, застлать разжиженную ясность и простор. И вот уже виден в мутных коридорах рыжий берег... Но снова пар душит просветы над водой, густеет, сереет с небывалой силой и уже кучевыми облаками вздымается ввысь, кружится упруго, золотясь на

солнце волнующимися низкими очертаниями, уплывает прочь, и неведомо откуда приходят другие рваные клочья, табунятся над Волгой, обметывают ее... Но далеко уже видно вокруг, уже не в силах туман закрыть другой берег Волги, песчаные отмели и разбел полированной глади, которая отразила уже своей тяжестью солнечные лучи.

И раскрывается ясный мир. В голубом небе низко и быстро текут в воздушных потоках облака поднявшегося тумана, плотные, четко очерченные и величавые, как высокие их братья... И пустынна река.

1964

КОНЬ

Веселый, огромный, занимающий почти полнеба конь стоял у меня под окном. Я давно любовался им, но долгое время не хотел этого показывать. Все мне чудилось — узнают люди, что конь живет только в моем воображении, посмеются.

Особенно побаивался я одного соседа по дому, старика. Его окна тоже были нацелены прямо в мохнатое облако ракиты, в который раз и навсегда нежданно-негаданно пригрезились мне черты красавца коня — точь-в-точь как тот, что запомнился мне с самого детства. Орёлик его звали.

Как-то я заметил, однако, что и старик сидит, уставившись слезящимися, очевидно, ничего уже не различающими глазами в серебристо-зеленые ракитовые ветви, и думает, думает о чем-то своем, заветном. О чем? Может, тоже молодость вспоминает? Может, сквозь шелест листвы слышатся и ему голоса далекого детства?..

А конь все стоял и стоял, все рыл копытами землю, которая, впрочем, тоже была скорее плодом моей фантазии: не слышно и не видно ее много лет под сплошным серым асфальтом нашей улицы.

И все-таки конь был великолепен! Ветер расчесывал его волнистую гриву, солнце сияло на его крутых, чуть подрагивавших боках, глаза улыбались, губы двигались — ну совершеннейший Орёлик!

Мне было сладко следить за тем, как задумчиво и лениво жевал он облака и звезды, звезды и облака...

Дня не проходило, чтобы не полюбовался я сказочным конем, не провел с ним наедине хоть несколько коротких минут.

За этим занятием и застал меня как-то человек, которого я больше всего боялся. Подошел ко мне на улице неслышным стари-

ковским шагом, когда я думал, что никого поблизости нет, и спросил:

— Вздыхаешь?

Я вздрогнул от неожиданности.

— Нет... Не вздыхаю, а что?

— Да так, ничего. А я вот вздыхаю и день и ночь.

— Что такое? Обидел кто-нибудь?

— Никто меня не обидел. На ракитку эту вот гляну — душа аж займется.

Я не знал, что ответить, как поступить.

— А ты ничего не заметил? Признавайся.

— Нет,— солгал почему-то я.— А вы?

— А я, как бы тебе сказать, молодые годы свои вспомнил. Эскадрон свой, буланого своего. Одним словом, не дерево — конь у меня под окном! Понял? Приглядись-ка! И ушами прядет, и губой шевелит, настоящий Турчак, и только!

Я поглядел на дерево, покрутил головой, будто выбирая лучший угол зрения. Наконец воскликнул:

— А ведь верно, конь! Ишь ты — и морда, и грива, и вообще... Как, вы говорите, его звать-то?

— Турчак.

— Турчак? Очень странное имя.

Старик рассердился:

— Да что ты понимаешь в настоящих конях? Запомни, мил человек: в настоящих!

Именно с этого дня стал разглядывать я своего Орёлика уже без всякой утайки. Люди, сотни людей шли мимо, а я стоял и глядел, сколько душа запросит.

Тем более что у моего Орёлика появился напарник — Турчак. Они теперь двое поджидали меня под окном.

Задумчиво плыли над ними облака и звезды. Но уже не только звезды и облака моего детства — тревожное, наискось раскроенное саблями небо Каховки и Перекопа полыхало над моей головой, когда я глядел на развевавшуюся по ветру серебристо-зеленую гриву ракиты.

1965

«ПОБЕДА»

Рассказ с преувеличениями

В купе скорого поезда гроссмейстер играл в шахматы со случайным спутником.

Этот человек сразу узнал гроссмейстера, когда тот вошел в купе, и сразу загорелся немыслимым желанием немыслимой победы над гроссмейстером. «Мало ли что,— думал он, бросая на гроссмейстера лукавые узнающие взгляды,— мало ли что, подумаешь, хиляк какой-то».

Гроссмейстер сразу понял, что его узнали, и с тоской смирился: двух партий, по крайней мере, не избежать. Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из окон Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы таких людей.

Когда поезд тронулся, спутник гроссмейстера с наивной хитростью потянулся и равнодушно спросил:

— В шахматишки, что ли, сыграем, товарищ?

— Да, пожалуй,— пробормотал гроссмейстер.

Спутник высунулся из купе, кликнул проводницу, появились шахматы, он схватил их слишком поспешно для своего равнодушия, высыпал, взял две пешки, зажал их в кулаки и кулаки показал гроссмейстеру. На выпуклости между большим и указательным пальцами левого кулака татуировкой было обозначено «Г. О.».

— Левая,— сказал гроссмейстер и чуть поморщился, вообразив удары этих кулаков, левого или правого.

Ему достались белые.

— Время-то надо убить, правда? В дороге шахматы — милое дело,— добродушно приговаривал Г. О., расставляя фигуры.

Они быстро разыграли северный гамбит, потом все запуталось. Гроссмейстер внимательно глядел на доску, делая мелкие, незначи-

тельные ходы. Несколько раз перед его глазами молниями возникали возможные матовые трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки и подчиняясь слабо гудящей внутри занудливой жалостливой ноте, похожей на жужжание комара.

— «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...» — на той же ноте тянул Г. О.

Гроссмейстер был воплощенная аккуратность, воплощенная строгость одежды и манер, столь свойственная людям, неуверенным в себе и легкоранимым. Он был молод, одет в серый костюм, светлую рубашку и простой галстук. Никто, кроме самого гроссмейстера, не знал, что его простые галстуки помечены фирменным знаком «Дом Диора». Эта маленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодого и молчаливого гроссмейстера. Очки также довольно часто выручали его, скрывая от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он сетовал на свои губы, которым свойственно было растягиваться в жалкой улыбочке или вздрагивать. Он охотно закрыл бы от посторонних глаз свои губы, но это, к сожалению, пока не было принято в обществе.

Игра Г. О. поражала и огорчала гроссмейстера. На левом фланге фигуры столпились таким образом, что образовался клубок шарлатанских кабалистических знаков. Весь левый фланг пропах уборной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на кухне, а также тянуло из раннего детства касторкой и поносом.

— Ведь вы гроссмейстер такой-то? — спросил Г. О.

— Да,— подтвердил гроссмейстер.

— Ха-ха-ха, какое совпадение! — воскликнул Г. О.

«Какое совпадение? О каком совпадении он говорит? Это что-то немыслимое! Могло ли такое случиться? Я отказываюсь, примите мой отказ»,— панически быстро подумал гроссмейстер, потом догадался, в чем дело, и улыбнулся.

— Да, конечно, конечно.

— Вот вы гроссмейстер, а я вам ставлю вилку на ферзя и ладью,— сказал Г. О. Он поднял руку. Конь-провокатор повис над доской.

«Вилка в зад,— подумал гроссмейстер.— Вот так вилочка! У дедушки была своя вилка, он никому не разрешал ею пользоваться. Собственность. Личная вилка, ложка и нож, личные тарелки и пузырек для мокроты. Также вспоминается «лирная» шуба, тяжелая шуба на «лирном» меху, она висела у входа, дед почти не выходил на улицу. Вилка на дедушку и бабушку. Жалко терять стариков».

Пока конь висел над доской, перед глазами гроссмейстера вновь замелькали светящиеся линии и точки возможных предма-

товых рейдов и жертв. Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен, что гроссмейстер пожал плечами.

— Отдаете ладью? — спросил Г. О.

— Что поделаешь.

— Жертвуете ладью ради атаки? Угадал? — спросил Г. О., все еще не решаясь поставить коня на желанное поле.

— Просто спасаю ферзя,— пробормотал гроссмейстер.

— Вы меня не подлавливаете? — спросил Г. О.

— Нет, что вы, вы сильный игрок.

Г. О. сделал свою заветную «вилку». Гроссмейстер спрятал ферзя в укромный угол за террасой, за полуразвалившейся каменной террасой с резными подгнившими столбиками, где осенью остро пахло прелыми кленовыми листьями. Здесь можно отсидеться в удобной позе, на корточках. Здесь хорошо; во всяком случае, самолюбие не страдает. На секунду привстав и выглянув из-за террасы, он увидел, что Г. О. снял ладью.

Внедрение черного коня в бессмысленную толпу на левом фланге, занятие им поля в4, во всяком случае, уже наводило на размышления.

Гроссмейстер понял, что в этом варианте, в этот весенний зеленый вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят славные дурачки — юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мэри и Нелли, и бригантина поднимает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле в4. Предстояла борьба, сложная, тонкая, увлекательная, расчетливая. Впереди была жизнь.

Гроссмейстер выиграл пешку, достал платок и высморкался. Несколько мгновений в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком, настроили его на банально-философский лад. «Вот так добиваешься чего-нибудь,— думал он,— а что дальше? Всю жизнь добиваешься чего-нибудь; приходит к тебе победа, а радости от нее нет. Вот, например, город Гонконг, далекий и весьма загадочный, а я в нем уже был. Я везде уже был».

Потеря пешки мало огорчила Г. О., ведь он только что выиграл ладью. Он ответил гроссмейстеру ходом ферзя, вызвавшим изжогу и минутный приступ головной боли.

Гроссмейстер сообразил, что кое-какие радости еще остались у него в запасе. Например, радость длинных, по всей диагонали, ходов слона. Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света в тень, из тени в свет. Гроссмейстер почувствовал непреодолимое, страстное желание захватить поле н8, ибо оно было полем любви, бугорком любви, над которым висели прозрачные стрекозы.

— Ловко вы у меня отыграли ладью, а я прохлопал,— пробасил Г. О., лишь последним словом выдав свое раздражение.

— Простите,— тихо сказал гроссмейстер.— Может быть, вернете ходы?

— Нет-нет,— сказал Г. О.,— никаких поблажек, очень вас умоляю.

— «Дам кинжал, дам коня, дам винтовку свою...» — затянул он, погружаясь в стратегические размышления.

Бурный летний праздник любви на поле не радовал и вместе с тем тревожил гроссмейстера. Он чувствовал, что вскоре в центре произойдет накопление внешне логичных, но внутренне абсурдных сил. Опять послышится какофония и запахнет хлоркой, как в тех далеких проклятой памяти коридорах на левом фланге.

— Вот интересно: почему все шахматисты — евреи? — спросил Г. О.

— Почему же все? — сказал гроссмейстер.— Вот я, например, не еврей.

— Правда? — удивился Г. О. и добавил: — Да вы не думайте, что я это так. У меня никаких предрассудков на этот счет нет. Просто любопытно.

— Ну, вот вы, например,— сказал гроссмейстер,— ведь вы не еврей.

— Где уж мне! — пробормотал Г. О. и снова погрузился в свои секретные планы.

«Если я его так, то он меня так,— думал Г. О.— Если я сниму здесь, он снимет там, потом я хожу сюда, он отвечает так... Все равно я его добью, все равно доломаю. Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила еще у тебя тонкая против меня. Знаю я ваши чемпионаты: договариваетесь заранее. Все равно я тебя задавлю, хоть кровь из носа!»

— Да-а, качество я потерял,— сказал он гроссмейстеру,— но ничего, еще не вечер.

Он начал атаку в центре, и, конечно, как и предполагалось, центр сразу превратился в поле бессмысленных и ужасных действий. Это была не-любовь, не-встреча, не-надежда, не-привет, не-жизнь. Гриппозный озноб и опять желтый снег, послевоенный неуют, все тело чешется. Черный ферзь в центре каркал, как влюбленная ворона, воронья любовь, кроме того, у соседей скребли ножом оловянную миску. Ничто так определенно не доказывало бессмысленность и призрачность жизни, как эта позиция в центре. Пора кончать игру.

«Нет,— подумал гроссмейстер,— ведь есть еще кое-что, кроме этого». Он поставил большую бобину с фортепьянными пьесами Баха, успокоил сердце чистыми и однообразными, как плеск волн,

звуками, потом вышел из дачи и пошел к морю. Над ним шумели сосны, а под босыми ногами был скользкий и пружинящий хвойный паст.

Вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизировать ее. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская coda, наступил мат черным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завершенная, как яйцо. Гроссмейстер посмотрел на Г. О. Тот молчал, набычившись, глядя в самые глубокие тылы гроссмейстера. Мата своему королю он не заметил. Гроссмейстер молчал, боясь нарушить очарование этой минуты.

— Шах,— тихо и осторожно сказал Г. О., двигая своего коня. Он еле сдерживал внутренний рев.

...Гроссмейстер вскрикнул и бросился бежать. За ним, топоча и свистя, побежали хозяин дачи, кучер Еврипид и Нина Кузьминична. Обгоняя их, настигала гроссмейстера спущенная с цепи собака Ночка.

— Шах,— еще раз сказал Г. О., переставляя своего коня, и с мучительным вожделением глотнул воздух.

...Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей толпы. Идущий сзади чуть касался его спины каким-то твердым предметом. Человек в черной шинели с эсэсовскими молниями на петлицах ждал его впереди. Шаг — полсекунды, еще шаг — секунда, еще шаг — полторы, еще шаг — две... Ступеньки вверх. Почему вверх? Такие вещи следует делать в яме. Нужно быть мужественным. Это обязательно? Сколько времени занимает надевание на голову вонючего мешка из рогожи? Итак, стало совсем темно и трудно дышать, и только где-то очень далеко оркестр бравурно играл «Хас-Булат удалой».

— Мат! — как медная труба вскрикнул Г. О.

— Ну вот видите,— пробормотал гроссмейстер,— поздравляю!

— Уф,— сказал Г. О.,— уф, ух, прямо запарился, прямо невероятно, надо же, черт возьми! Невероятно, залепил мат гроссмейстеру! Невероятно, но факт! — захохотал он.— Ай да я! — Он шутливо погладил себя по голове.— Эх, гроссмейстер вы мой, гроссмейстер,— зажужжал он, положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал,— милый вы мой молодой человек... Нервишки не выдержали, да? Сознайтесь!

— Да-да, я сорвался,— торопливо подтвердил гроссмейстер.

Г. О. широким, свободным жестом смел фигуры с доски. Доска была старая, щербленая, кое-где поверхностный полированный слой отодрался, обнажена была желтая, измученная древесина, кое-где имелись фрагменты круглых пятен от поставленных в былые времена стаканов железнодорожного чая.

Гроссмейстер смотрел на пустую доску, на шестьдесят четыре абсолютно бесстрастных поля, способных вместить не только его собственную жизнь, но бесконечное число жизней, и это бесконечное чередование светлых и темных полей наполнило его благоговением и тихой радостью. «Кажется,— подумал он,— никаких крупных подлостей в своей жизни я не совершал».

— А ведь так вот расскажешь, и никто не поверит,— огорченно вздохнул Г. О.

— Почему же не поверят? Что же в этом невероятного? Вы сильный, волевой игрок,— сказал гроссмейстер.

— Никто не поверит,— повторил Г. О.,— скажут, что брешу. Какие у меня доказательства?

— Позвольте,— чуть обиделся гроссмейстер, глядя на розовый крутой лоб Г. О.,— я дам вам убедительное доказательство. Я знал, что я вас встречу.

Он открыл свой портфель и вынул оттуда крупный, с ладонь величиной, золотой жетон, на котором было красиво выгравировано: «Податель сего выиграл у меня партию в шахматы. Гроссмейстер такой-то».

— Остается только проставить число,— сказал он, извлек из портфеля гравировальные принадлежности и красиво выгравировал число в углу жетона.— Это чистое золото,— сказал он, вручая жетон.

— Без обмана? — спросил Г. О.

— Абсолютно чистое золото,— сказал гроссмейстер.— Я заказал уже много таких жетонов и постоянно буду пополнять запасы.

Февраль 1965 г.

ЛОШАДЬ ДЯДИ КЯЗЫМА

У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла.

Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии,— чераз.

Суть чераза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжения. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след.

Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать, особенно ценно.

Я не буду перечислять ее стати, тем более что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине.

Внешность Куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, все-таки отличалась, раз брала призы и была всем известна.

Днем она паслась в котловине Сабида или в ее окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом и выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами.

Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы.

Тетка Маница, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетка Маница слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина.

Иногда Кукла не возвращалась из котловины Сабида, и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо и уходил искать. Бывало, возвратится поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, главное дело сделано — Кукла найдена.

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал лошадь со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репьи и всякую труху.

— Мухи заедают,— бормотал он и соскребал с ее живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух.

В воде Кукла вела себя более покорно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать.

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом, костистом теле прокатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье.

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, брал в руки поводья, и мы подымались наверх, к дому. Тропинка была очень крутая, я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, и я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку, и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, праздничпо возбужденный оттого, что катался на ней, и еще больше оттого, что теперь целый и невредимый стою на земле.

Однажды мы так же подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился наш сосед, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону.

— Пошел! Пошел! — закричал дядя, но было уже поздно.— Держи! — он метнул мне поводья.

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья изо всей силы и понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдержать ее. Но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратимо увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье недалеко от дяди и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него Кукла остановилась как вкопанная, и я, перелетев через ее голову, упал на землю.

Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы, даже после того как упал.

С тех пор дядя меня на Куклу больше не сажал, да и я не просился. Я все же не только не охладел к ней, но, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться — она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина.

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и наконец вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают улья.

Обычно, когда дядя подходил к ней, Кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, готовая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину.

Иногда днем, когда мы ходили в котловину Сабида за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах.

Бывало, окликнешь ее: «Кукла, Кукла!» — она остановится и смотрит долгим, удивленным лошадиным взглядом. Если пыта-

лись подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала.

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденея от страха, ждем: вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, проносится мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт.

— Куклу не видели? — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины Сабида.

— Видели,— отвечали мы хором.

— Вот и молодцы,— говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине Сабида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит.

Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечерами, когда она стояла у ворот, только заслышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит...

Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на ней, сидя боком — ноги на одну сторону. У него это получалось как-то лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице.

Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал Куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетка Маница начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя.

И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито, или забытая вязанка хвороста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего — мы не знаем.

...Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои, и, если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин.

Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сна-

чата забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома.

Накануне вечером дядя загнал Куклу во двор, а утром ее уже не выпустили.

В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадник Мустафа. Это был человек небольшого роста с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза.

Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол алычовую водку.

— Про меблизацию, конечно, знаешь? — спросил он, принимаясь за еду.

— Конечно,— ответил дядя.

— Как решил? — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку.

— Сам видишь,— дядя кивнул во двор,— придется отдать.

— Дурное дело,— сказал лошадник — и без всякого перехода: — За твой дом, за старых и за малых, за всю семью!..

— Спасибо...

Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины.

— Знаю, что дурость, но куда податься...

— Сегодня же найду тебе — сдай другую...

— Неудобно, все знают мою Куклу...

— Не мне тебя учить, но...

— За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись! — Дядя кивнул в сторону перевала.

— Спасибо, Кязым. Судьба — вернутся. Нет — что поделаешь...

Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челюстями.

— Учти, что, если лошадь и вернется, это будет не та лошадь.

— Что поделаешь — меблизация, азакуан.

— Меблизация, азакуан, я знаю, но где ты слыхал, чтоб они понимали наших лошадей. Они и своих лошадей не понимают.

— Что поделаешь...

— Азакуан требует лошадь, а не Куклу...

— Но люди знают...

— Хлеб-соль прикроет любой рот.

— Мустафа, ты это видишь? — Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру.

— Вижу,— сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились.

— Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем?

— Ну и что?

— И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. Так и это, Мустафа.

— Говоришь, как мулла, а лошадь губишь.

— Знаю, но так лучше.— И вдруг неожиданно горько добавил: — В этой чертовой жаровне наши мальчики стоят по колено в огне, а что лошадь... Лучше выпьем за них.

— Конечно, выпьем, но азакуан что говорит? Он говорит...

Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало, редко улыбался, но улыбнется, и радость вспыхнет, как спичка в темноте.

Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом лошадник, маленький и бодрый, с крепким красным затылком.

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал подымать ее переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал: тут она ему отомстит за его нахальство, но она почему-то его не лягнула. Даже когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала.

— Стоит перебить передние,— сказал он, вставая,— сам знаешь, дорога на Марух...

Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную душу лошадника.

Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы.

— Что у вас за мухи, мою лошадь загрызли,— сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь.

— Это у нас от коз,— сказал дедушка. Он подошел помогать.

Дядя держал Куклу, коротко взяв ее под уздцы. Маленький лошадник ловко стал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их от-

туда по одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади. После каждого удара Кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в нее швырнуть камень.

— Кукла-а,— приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается.

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой, из дядиного ящика. Пока он возился, Кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидая от нее такого ребячества.

— Теперь хоть к самому дьяволу скачи! — сказал он и, бросив молоток в ящик, выпрямился.

Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы.

Снятая подкова заблестела, как серебряная, я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к порогу — на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени блестела, как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье.

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал ему лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер.

— Может, переседлаем,— сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину.

С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилось. Кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди в зарослях сорняка.

— Не стоит, Мустафа,— сказал дядя Кязым, подумав.

Мустафа вскочил на свою лошадь.

— Всего,— сказал он и тронул ее камчой.

— Хорошей дороги,— сказал дядя и отпустил поводья только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя.

Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблока там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я про-

гнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно.

Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал, как опрокинутый. Тетка Маница не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, все такой же длинный, опрокинутый.

— Что он там делает? — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню.

— Ничего, только курит,— говорили мы.

— Ну, ничего, пусть курит,— отвечала она и, быстро скрутив длинную тонкую цигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед.

К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял Куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, словно молча втолковывал нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщипнет для себя самого.

Как только он вышел со двора, мы побежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на шею лошади. Кукла взвилась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят.

— Меблизация! — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров.

Мы постояли еще немного, покамест не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор.

Через несколько дней после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине Сабида медведь зарезал соседскую корову. Она долго ревела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. Больше

часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был еще страшнее, чем рев. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное — не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война.

Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, ревела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились.

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся.

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет: «Скучает наш хозяин».

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне приметил на дереве несколько плодов пижира, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам: у ворот стоит лошадь.

— Кукла! — закричал я, замирая.

— Не может быть! — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа.

Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам.

Через минуту взрослые и дети столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он не спеша прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и усталая. Когда она сошла с места, рой мух, злобно гудя, слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая карликовых стервятников. Спина лошади оказалась стертой.

— Кто ее знает, что она там перевидала,— прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь.

— Чоу! — Взмахнув рукой, дядя согнал ее с места.

Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла и вдруг оглянулась на дядю.

— Чоу! — Снова взмахнув рукой, он согнал ее с места и посмотрел ей вслед. Рану на спине он презрительно не замечал, словно то, к чему он приглядывался и прислушивался, было куда важнее всяких ран.

Кукла опять сделала несколько шагов и нерешительно остановилась. Все молчали, и, словно испугавшись общего молчания, лошадь снова оглянулась на хозяина.

— Чоу! — прикрикнул он на нее еще раз, и она опять сошла с места, сделала несколько шагов и обреченно остановилась.

Больше она не оглядывалась. Мухи снова слетели с ее спины и снова уселись на рану, но дядя эту рану еще более презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось.

— Перестань,— тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал.

— Порченая,— устало ответил дядя,— надорвалась...— Он повернулся и пошел в дом.

Я не понимал, что значит порченая, но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому.

— Разве рана не заживет? — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу.

Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину.

— Не в этом дело,— сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетенье и, сообразив, как идти дальше, добавил: — У ней гордость убили.

— Какую гордость? — спросил я.

— Ясно какую, лошадиную,— ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтоб уплотнить плетенье, как стягивают подпругой лошадиный живот.

— Но она же отдохнет,— напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду.

— Ей теперь все равно, в ней игры нет,— сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежевыструганную ореховую планку. Что-то непристойное, нестариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с такой же жадностью.

Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников — извлекать удовольствие из са-

мой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за Куклу.

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше.

Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее.

— Какой ты жестокий,— сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне,— подошел бы хоть раз, приласкал бы...

— Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я,— сказал он насмешливо и, сунув цигарку в огонь, прикурил.

Осенью Куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы — слишком много едоков собралось в доме дяди.

Больше мы Куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин ее приехал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до предела и Кукла услышала гул толпы, запах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то.

Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стременами под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга.

После Куклы дядя Кязым не заводил лошадей. Видимо, возраст уже был не тот, да и время не то.

1965

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные, красные ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть смор-

щлись, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь, и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной

бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы»,— у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И, может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он.— Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он.— У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хле-

бом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какпето... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Иваповича,— живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у Вас ЗИМ!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится,— с удовлетворением подумал я.— Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много, и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь,— и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал,— ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочий.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело, если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она.— Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток,— вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и кап-

ли красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом, завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем

пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: тончаем, тонеем, утончаемся? (Начались муки слова!) Нет! Утончаемся сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебиваем его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов.— Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей!

Только ведь осенью опять в школу надо...

1965

В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ

1

Кузница стояла у обочины полевого поселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с голубооким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распалясь, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатили новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негадапно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой топкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов попятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском, и заливистым подголоском. Праздник, да и только, в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не присга-

вили к Захару какого-нибудь смышленого мальца, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...

2

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощипывали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услыхали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услыхал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении, упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили квадратно-гнездовым, или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласье вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу — смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубахе, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат вошел и затянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

— Да россошинский «Верный путь»,— отложил газету Денис Иванович.— По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронуто. А вот поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал,— вставил Квадрат.— И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я ж говорю,— поспешно согласился Квадрат.— К ученой голове еще должон быть порядочный доклад от себя лично. Не та шпнель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

— Гм...— кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи, не прорежены бегами да вербовками,— продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте.— Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу,— сказал Денис Иванович.— У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как лепарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовестился.

— Окражу, ей-бо, окражу,— заморгал бесцветными веками Квадрат.— Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя...— поморщился Денис Иванович.— Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу,— кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне.— Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

— Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором.

Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем, доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

— С-слышь? — навострился дедок и поднял палец.

Постояли, послушали: из-за темных окостенелых осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это...— определил Квадрат.

— Какого лешего...— возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью, да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт тя дери! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает...— понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает...

— Спятил ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер,— сказал Денис Иванович.

— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

— Однако ты хватил сегодня,— сказал с досадливой укоризной Денис Иванович.— Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась. Никакого ни стука, ни грюка не слыхать. Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

— Ну это ты... того...— буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм,— сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: — А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович,— позвал он.— А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликая:

— Идешь, Денис Иваныч?

— Да иду. Где ты там?

— Я к тому, что... Идешь ли?

3

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнущими в темноте теплыми, настоянными хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинст-

венное «дон-дон-дилинь...». Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис...— негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угораздил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

— Затихло что-то...— сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Гля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли,— твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вослед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь

который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иваныч...— окликнул из-за створки ворот дедок.

— Ну?

— Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжая вертеть в руках поковку.

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку.

В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

— У-у... у-у...— пропзнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика.— У-у...

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я...— захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашки сорванец! — тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат.— Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирий подштанниковый. Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка.— Я только мехи качал... Это все Аполошка...

— Я и Аполошке уши накручу!

— Погоди ты,— отпихнул дедка Денис Иванович.— Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

— Вылазь немедля! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я...— глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислоплечий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыгивая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— Погоди, не лотоши,— поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной на паковальне железякой:

— Ты ковал?

— Я...— отворачиваясь, сознался Аполошка.

— Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

— Это дышляк,— сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит,— быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами.— Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тута дырку заклепаем, и котел будеть... А тут колеса... Пар сначала пойдет здеся, потом здеся и здеся...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм...— пожевал губами Денис Иванович.— Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

4

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бугристый лоб — все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные, в сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок, а поди ж ты! Но скорее всего оттого завороженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на

то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, примай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчинясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здесь?» — и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременное для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеарново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжко сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливосуров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или на четыре угла? — обернулся он погодя к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт...— сказал он.

— Нарезать? — спросил Аполошка.

— Не надо. Верю.— И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой:

Юрий Рытхэу. «Пусть уходит лед»
Художник А. Лурье.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрев болт делал,— сказал Аполошка, глядя куда-то в угол.— А я два раза грел...

— Ишь ты... какой,— покосился на него Денис Иванович.— А колесо ошинуешь?

— Ошиную.

— А концы сваришь?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай попробуем,— сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнецкой работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

— Попщи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души.. окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли, и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было подумал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан перенялась... Поросло семя...

5

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всенощная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубахе... Перемазался — ужасть... Денис

Иванович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке: «А это сделаешь?» — «Сделаю».— «А это?» — «Сделаю»... Аполошка не сдается ни в какую. Все экзамены повыдержал. Сколь всего понаковали — ужасть!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку.— Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец.— Скажите ей: мол, пекогда... Послали за водой. И за куревом.

1965

ЧТО-ТО БУДЕТ

Весь день обмазывали стены внутри нового дома, возили, месили и подтаскивали на носилках глину. Из недостроенных комнат с пустыми прорезями окон слышались шлепки и женские голоса. Молодая семья доканчивала постройку нового дома, пригласила в помощники соседей.

Не заметили, как солнце понизилось и засветило через широкую лощину с пологой горы. Уже к шести часам хозяйка Валя бросила работу, растопила во дворе времянку, села чистить на ужин картошку.

В восемь кончили обмазку и остальные. Мужчины задымили, а женщины пошли умываться.

— Можно считать, кончили,— сказала слегка раскосая Зина, подруга хозяйки.— Валь, а ну слей на меня из ведерка.— Она смело стянула с себя старую мужскую рубашку.

— Ты хоть за сарай зайди,— постыдила ее Валя,— кругом мужики.

— То ли они смотрят. Они вон курят себе.

— Ну все-таки. Ты теперь не очень.

— Боюсь я кого! — сказала Зина и отошла за сарай в огород.— Я сама себе хозяйка.

— Ты, я вижу, веселая сегодня.

— А что мне — плакать? Помаленьку лей.

Она умылась. Валя ей вынесла чистое, спросила:

— Сегодня будет картина?

— Ездил, говорят, механик. Как будто привез.

— Комедию бы он привез, а то крутят одно и то же. Механик у нас какой-то.

Вскоре подоспел ужин. Зина села с краю, и Валин муж, здоровый и заросший, тотчас подвинулся к ней.

— Я уж поближе к молоденьким.

— Опа у нас молодец,— похвалил кто-то.— По нынешним временам таких мало.

— Ты что ж нам ложки не подала? — вскрикнул на Валю муж.

— Ой, я замоталась и забыла.

— Да по стаканчику бы поднесла.

— Завтра,— пообещала Валя.— Потерпите. Завтра уж кончим — тогда все вам будет.

Ужинали медленно, обсуждая работу, шутили. Час спустя, когда соседки, жалуясь на брошенное дома хозяйство, засуетились вставать, Зину окрикнул с улицы детский голосок. Она вышла и с кем-то пошепталась. Потом вдруг громко, раздраженно ответила:

— Нету, скажи, ее! Ушла куда-то!

— Кто там? — спросила Валя.

Зина недовольно махнула рукой.

— Да! Делать нечего.

Стемнело, по улице уже не носились дети и невдалеке покрикивала на корову женщина. Начиналась осенняя кубанская ночь. Малое время спустя парнишка прискакал второй раз:

— Зин! Иди, что ли, тебя там ждут. Что я, нанялся бегать за тобой?

— Нету ее, скажи! — прогнала Зина парнишку.— Нету, и не приставай.

— Что, уже поругались? — тихо спросила Валя.

— Тебе обязательно знать?

Зина нервно дернулась с лавки и пропала в огороде.

— Пора и нам,— грузно отлегая от стола, сказала соседка.— Спасибо.

— Вам спасибо. За помощь.

— Ой, и мне надо, однако...— сказала другая.— Я как побросала, так, видно, и лежит. Известное дело, без бабы.

— Ну, пошли, живы будем — завтра докончим.

Валя проводила их, вернулась и вспомнила о подруге. Зина была в конце огорода.

— А я ее ищу! — весело воскликнула Валя.— Ты что это? — Ей почудилось, что подруга чуть ли не плачет.— Что с тобой?

Зина согнула голову и молчала.

— Ну, скажи, от кого ты таишься-то?

— Это я так...

— Тю-ю, дурочка. Сама не знаешь, чего тебе хочется.

— Пошли,— сказала Зина, вытирая глаза.— Уже все. Проводи меня.

Валя вывела ее за ограду.

— Посидела бы еще.

— Завтра мазать, устала.

— Ну, смотри. А то ночуй у нас.

— Ладно, пойду.

Над хутором близко сверкали звезды. Если б кто знал, как неохота возвращаться к себе. Отомкнешь — и никто тебе не откликнется, только щелкают часы на столе. С каких-то пор невзлюбила она вечера и ночи, не знала, кого пригласить из подруг, чтоб время бежало быстрее. А последние две недели куда ни пойдешь, всякий тебя допрашивает: «Ты чего одна? Поругались?»

Правая сторона улицы была выше, уютные окна желтели над головой. За первым рядом домов чернел в отдаленности деревянный клуб, из отворенной двери доносился стрекот аппарата. Запоздавшая парочка спешила на сеанс. У Зины забилось сердце. Еще немного ей лет, но с каждой осенью все ближе ее судьба, ее черта, за которой все в жизни сложнее, и когда она встречает кого-то вдвоем, горше думается о себе, о том, что пора и ей о ком-то заботиться, вскакивать и собирать на работу.

У самого края, где за кустами понижается дорожка в поле, стояла ее белая хата. У двери кто-то сидел и курил. Зина догадалась.

— Кого это ты караулишь? — строго сказала она.

Парень с грубым скуластым лицом, в солдатских брюках и расстегнутой рубашке привстал и пьяно загородил ей вход.

— Чего это ты? — вспылила Зина.— Вот еще новости!

Он небрежно повалился к ней, протягивая руки.

— Не лезь. Даже и не думай.

— А что я?

— То ты не знаешь. Прикидываешься дурачком. Ты прикидывайся знаешь перед кем?

— Перед кем?

— У-у, еще и смеешься. Так бы и заехала.

— Заедь.

— Ладно уж. Нарвешься — пусть другая заедет.

Он бесцеремонно зажал ее руками.

Вырываясь, ударяя его кулаком в грудь, Зина крикнула:

— Пусти! Тебе только это и нужно. Пусти, закричу.

— Кричи. Себя же опозоришь. Ну, кричи!

— Бе-ессовестный,— только и сказала она, и он отпустил ее.

Она прошла в комнату и засветила лампу. Парень обнял ее сзади.

— Колька! Даже и не думай,— сказала она твердо.— Даже и не пытайся. Я тебе все уже сказала, и торчать здесь да пацанов за мной слать нечего.

— Забудем это.

— Эх ты,— вздохнула она.— Если ты с этих пор так повел себя, что ж с тебя дальше-то будет?

— А что особенного?

— Не хочется, я б тебе сказала.

— Что?

— Все.

— А-а, все.

— Да, все! Уходи! Уходи и уходи! Не трогай меня. Выпил — так стой хоть хорошо.

— Стою,— тупо сказал он.

Когда он посылал парнишку, а потом сидел здесь под дверью, он был уверен: сейчас она придет, поломается, может, и перепла-чет, он прижмет ее — и она сдастся. Теперь он даже растерялся.

— Я тебя столько ждала,— заговорила Зина.— Ты что мне писал из армии? Забыл? А, скоро оно у вас забывается.

— Заладила.

— Когда тебя провожали, вспомни, как ты божился мне: «Зи-почка, миленькая, приду из армии — распишемся, не вздумай вы-ходить». Ладно, что ж, и без уговоров ясно. Какой парень наби-вался, а я все, дура,— голос ее стал высок, она заплакала,— все, дура, ждала. Думаешь, не обидно? Если б я знала, что так полу-чится...

Она горько пожалела о времени, о парне, который перегляды-вался с ней и не смел подойти. Ждала, писала, и что же теперь?

Николай пробовал бурчать что-то ласковое, стесняясь своих слов, но она сказала:

— Иди, иди. Пойми, это уже не жизнь будет. Если человек замышляет что-то серьезное, а не так чтобы — переспал и даль-ше,— он себя так не ведет. Не трогай меня, иди куда надумал.

Николай больше не цеплялся к ней и не успокаивал. Ничего он к ней не испытывал, было лишь неприятно, что его прогоняют. Они стояли, и каждый думал о своем. Зина вспоминала прошлые дни, первое знакомство, вечера, надежды, три года одиночества; как звали ее девчата в станичный клуб погулять с морячками и она отказывалась, как всюду и везде — в дожди и весной, в клубе и в компании — она была одна, ждала его писем, а парень-кино-механик нравился ей все больше и больше, и она временами дума-ла, что, если бы не Николай, она бы дала себе волю.

А Николай? Он опускал ей письмо и шел в увольнение на тан-цы, выбирал девчонку попроще.

— Давай я тебя провожу,— сказала она.— И больше ко мне не приходи.

Они подошли к полю и стали на ветерке.

— Хочешь, завтра распишемся? — сказал Николай, пытаясь вернуть ее в дом.

— Нет уж, спасибо.

— Одна будешь жить?

— Поживу одна. А попадется человек — хороший, конечно,— что ж... не хуже других, выйду. Теперь уж дурой не буду.

Была полночь, хоть бы кто-нибудь стукнул, вскрикнул или вздохнул — нет, все счастливо спали, и Зина с обидой подумала: «Приду, завалюсь на постель, паревусь и никто даже не узнает».

— Пошла я. Там свет горит, все пораскрыто.

Она ушла.

Николай потоптался, пошарил в кармане — папиросы все кончились, и он выругался.

«Подумаешь! С этих пор да расстраиваться. Почешу-ка я на ферму».

И, забываясь, вообразил, как он минует сейчас темное поле, взберется на гору и через каких-то полчаса окажется на травяном склоне со стойлами, телегами и выгоном возле леса, возле домика, где уже крепко спят доярки. Он подкрадется, влезет в крайнее окно, на цыпочках пробредет к Нюське, тронет за теплое плечо: она вздрогнет, и охнет со сна, и не узнает сперва, потом подвинется, пустит к себе. И рано-рано, когда еще холодно и росно, она разбудит его, чтоб не увидали подруги, и выпроводит на горизонт, ежась от тумана и мокрой травы, приятно ворча, что опять недоспала из-за него...

«Оно так правильней будет,— обрадовался Николай.— Сразу надо было. А вообще разбаловался я. На одну посмотришь, а всех жалко».

Хутор был все так же темен, и все так же серой полоской мерцало от звезд по горизонту. А впереди, на дороге из станицы, медленно передвигался во тьме огонек. Кто-то курил.

В эту теплую и темную ночь в хутор шел Василий Козырев. Вышел он из станицы с первыми сумерками. Торопиться ему не хотелось, хотя до хутора было не так уж мало. Дорога жалась к подножью холмов, то припадала, то лезла вверх, и с возвышений, как ни было темно и далеко, различались на левой стороне скупые очертания дубов на горе, и за ними, где обычно висела ранняя луна, скрывался на поляне хутор, в котором Василий жил два года назад всего одну зиму.

Он работал в клубе киномехаником, ездил по этой дороге в станицу за пленками, в дожди же ходил пешком, проклиная погоду, местное начальство и все на свете. Плохо ли, хорошо, но в этих

местах была у него какая-то жизнь, и совсем не лишне было повидаться с людьми, передохнуть после городской суеты: ведь была осень, а осенью там все рыжело, осыпалось, становилось прохладней, свежей даже днем, а уж о вечерах и говорить нечего — вечера переворачивали душу...

В станице Василий пробыл два дня. До обеда устраивал свои командировочные дела на почте, болтал с телефонисткой, а потом шел в столовую и был свободен до вечера. Все было ему знакомо в этой станице. Так же свозили на телегах арбузы, повсюду катили велосипеды, в киоске выгорали и пылились нераспроданные журналы, в магазинах было пусто, и продавщицы закрывали и открывали, когда им вздумается. Он побрился в парикмахерской все с тем же щербатым порогом и железной скобкой для ног, с тем же мастером в углу, бравшим тупой бритвой и неприятно касавшимся лица потными пальцами. В буфете около хозяйственного магазина перемывала посуду та же миловидная черноглазая женщина и, отпуская пиво и воду, поглядывала на дорогу, где ругались два пьяных станичника. Все те же белые-белые хатки с садами, сумеречно-голубая дымка далеких горных холмов, пыль, сорные от листьев дворы, и сразу же за последним огородом — ровная тишина и ветерок в поле.

Командировочное ему заверили с запасом на один день. Он вышел к вечеру за станицу, увидал пыль за последней машиной на хутор, подумал-подумал и решился идти на хутор пешком.

Стемнялось очень быстро. На половине пути круто на запад поворачивала тропа к ферме, белела и обрывалась на высоком горизонте. Василий бросил папиросу.

— Э-э, подожди,— послышалось ему с поля, слева, с той дорожки, которая бежала наискосок к хутору, поднималась вверх между дубами и через кусты выбиралась в переулок. Этим путем было ближе, но в такой темноте легко сбиться, попасть в заросли, исцарапаться. Василий стоял и все еще не видел кричавшего. Наконец из темноты возник высокий парень, подошел, близко подсунул лицо, угадывая, кто это. Запахло водкой.

— Что-то незнакомый,— сказал парень.— Напугал, наверно? Извини. Ты к нам идешь? Извини меня, конечно, но ты не дашь закурить? Кончилось. От бабы иду. Извини, конечно.

— Ничего, бывает.— Василий достал пачку, вытряхнул папиросу и дал спички. При свете он увидел сытое лицо и хмельные навыкате глаза.

— Тебя как зовут?

— Василий.

— Николай! — Он сам нащупал руку Василия и крепко дернул в пожатии.— Ты на меня не обижаешься? Если обиделся,

скажи. Я тебя задерживаю, ты, наверно, по бабам отправился?

— Да нет.

— Брось скрывать! — Парень запросто стукнул его по плечу.— От кого скрываешь, я, думаешь, не такой? Все мы такие. Пошли со мной? На ферму к дояркам, а?

Он показал рукой наверх, где белела и обрывалась на горизонте тропа. Горизонт был близок и высок, чисто сверкали звезды у самой кромки, и Василий припомнил широкий травяной склон, телеги, выгон возле леса, возле дома, где бродят в полночь лошади, и девчат-доярок, которые уже спят или громко смеются в постели.

— Знаешь, какие доярки! — снова заговорил парень.— У-ух, ты меня извини! Извини подвинься. Нет, в натуре! Молоденькие, горячие, им так и хочется, чтоб пощипали. Ну? Никто и знать не будет.

— Пойду я.

— Сиди! Ты меня извини, конечно. Я выпил. А то бы пошли, правда, а? Побазарили. Я люблю базарить. У меня в армии любимая песня была: «Люблю, друзья, три слова я: «отбой», «кино», «столовая». Люблю я в увольнение ходить. И где-нибудь украдкою, с притиркою, с оглядкою грамм двести или триста заложить». Нравится? А девок любишь? Я вижу, ты скромнючий парень. Книжек, наверно, много читал. Я за всю жизнь две книжки прочел: «Родную речь» и рассказы Мопассана. И ничего, живу. Даже выпиваю. И вспомнить есть что. А что вспомнит тот, кто ничего не видел в молодости, кроме книг? Абсолютно ничего! Ноль! Так что я советую тебе не теряться. Ты надолго?

Бывают же люди, которые думают, что ты дурнее их. Начинают учить тебя жизни. Василий ушел бы, да не хотелось подниматься: было тепло и темно, и он подумал, что ему уже немало лет (двадцать пять), а никого у него нет, и вот так, чтобы ехать куда или идти и знать, что тебя где-то ждут,— этого тоже нет, всегда один, всегда был вял и равнодушен к девчатам, к вечеринкам и танцам, надеялся на какое-то позднее время, когда ему найдется простая, хорошая девушка, созданная исключительно для него.

— Так идем? — предложил опять парень.— Я тебя познакомлю, правда, там есть такие... строят из себя,— он обозвал их плохим словом,— но я знаю из личного опыта: когда раскусишь девчонку, она в душе еще нахальнее мужчины. Точно ведь?

— Не знаю.

— Только она умеет сдерживать себя. Вот заметь: бабы, допустим, живут между собой, как кошки с собакой, готовы друг дружке глаза повыцарапать, а спросишь у нее: «Люсь, ну как с Веркой, можно?» — «Хорошая девочка, честная». Какая бы ни

была — все равно честная. Потому что они скрытные. И моя баба — я ее бросил! — думаешь, не такая? Да к ней завтра приди кто-нибудь, хоть ты, например, и она даст обжиматься. Я изучил их психологию. Мне двадцать четвертый год, и заметь: чем лучше к ней относишься, тем с ней чежельше. Ну что далеко ходить: я про себя могу. Я некрасивый, сам видишь. Не безобразный, но и не красивый. Средний! Но-о у меня были девчонки. Я в армии с одной гулял, так я такую политику повел: она никак не поймет — люблю я ее или нет. Э, в том-то все и дело! А если ее на руках носить: мурочка, конфеточка,— она тебе на шею сядет. Или с другим пойдет. Я вот свою бросил, она поисихует и сама прибежит. А я теперь могу водку пить, баб водить — все простит. Понял? Дай закурить.

— Мне пора идти.

— Ты идешь со мной?

— Нет, мне в хутор.

— Накормит, напоит, еще, может, и пол-литру поставит. А? Ты на меня не обиделся? Честно?

— Иди, иди...

— Ну, тогда дай мне на дорожку парочку. Не обижайся. Запоминай мои слова, еще поблагодаришь и пол-литру поставишь, если встренемся. Тебя как зовут?

— Ладно, слушай, отстань. Надо меру знать,— сказал Василий, еле сдерживаясь.

В конце пути, где приходилось сворачивать влево и идти через лощину на гору, начинался другой хутор, всегда темный и рано засыпающий. Василий вспомнил, перебираясь по шаткому мостику над сухим руслом, как часто он спускался сюда за молоком, подолгу стоял перед закатом напротив низенького побеленного клуба и шел к себе.

Хозяйка, у которой он тогда снимал комнату, уже легла спать. Он постучался, она ему обрадовалась. Сели, поужинали, расспросили друг про друга и заснули уже в третьем часу ночи. Она снова ушла рано, просила Василия закрыть дверь и запести ключ, когда будет идти мимо.

До обеда он плутал по лесу. В лесу поспевал кизил, среди опавших листьев валялись жердели, сухо шуршало под ногами. С высоты широко открывалась в просветах лощина, похожая на неглубокое ровное дно реки. По дороге, на которой он вчера разговаривал с парнем, изредка пробегали в станицу машины.

Походив, повидав знакомых, Василий надумал уезжать.

Хозяйка мазала у кого-то поблизости дом. К дому подвозили на подводе глину, в комнатах мелькали женские руки, платки. Он через изгородь поздоровался с Валей.

— Ой, боже, какими путями? — чуть не запричитала Валя и выбежала навстречу.— Опять работать?

Подошли еще несколько человек, обступили, стали расспрашивать.

— Как?

— Да ничего. А вы как?

— Да слава богу. Где работаешь? Не женился еще? Ну и правильно, еще успеешь. И уже идешь, так скоро, на какой же ты автобус, на шестичасовой?

Из глубины комнаты сквозь пустые окна смотрела на него Зина, была и удивлена и смущена, вся переменилась, а Василий тотчас потерял интерес к разговору и поспешил закурить. Зина вышла, вяло толкнула дверцу калитки, подала ему испачканную руку. Она была такая же: чуть косящие глаза, сухие твердые губы, худая и на этот раз какая-то жалкая.

— Как это вы к нам...— сказала она тихо, растерянно пряча глаза.

Василий тоже не мог долго смотреть на нее, как будто все что-то знали о них, как будто он приехал специально к ней и теперь вызвал на людях. «Что-то было у нас»,— подумал он, соображая, как бы отозвать ее в сторону, боясь, что сейчас она уйдет и окликнуть ее будет трудно. Когда она вслед за другими стала медленно отворачиваться, потихоньку от всех кидая взгляды на Василия, как бы говоря: «Ну ладно, что ж... что ж сделаешь, раз помешали нам люди»,— он позвал ее глазами. Она подошла и стыдливо, опять с каким-то намеком на воспоминание, с ожиданием, заранее ей известным, глянула на него.

— Что? — спросила она шепотом, таясь и близко подаваясь к нему.

Василий сказал еще тише:

— Скоро закончишь?

— Да часикам к восьми должна. Уже четыре.

— Бросай. Приходи сейчас.

— Хорошо,— пообещала она шепотом.— Куда?

— Через огород. Спустись в поле. Я буду ждать у кустов.

— Ладно, я сейчас докончу и приду.

— Смотри, я жду. Бросай, и быстрей!

Он пожал ее руку и, отойдя, крикнул, как бы уже прощаясь совсем и чтобы слышали во дворе:

— Привет там передавай.

Она оглянулась, и он ласково ответил ей улыбкой.

«Значит, что-то было между нами тогда,— опять подумалось ему, и вспомнились разные дни и вечера, как переглядывались и не смели.— Значит, и тогда у нее было что-то не ладно. Замужем

она или нет? Ах, скорей бы пришла! Сам был виноват. Женщина первой не подойдет, я должен был начать. А сегодня встретил, и один взгляд ее чего стоит, и придет, ах, скорей бы уж!»

Солнце стояло еще высоко.

Василий томился. Он сидел в траве у кустов и думал о ней. Как она выйдет с огорода и появится между тополями, потом незаметно или в открытую будет переходить поле. Он привстанет и позовет ее рукой. Она осмелеет, заспешит к нему и притихнет наедине, стыдясь своего быстрого согласия на это свидание. Он сожмет ее руку, спрячет за кусты и поцелует, и она ни слова не скажет против, потому что знала и раньше, зачем шла. Вверху на улице будут подвозить, ссыпать и месить глину, шлепать раствором по стенам, разговаривать, а Зина утаится с ним здесь, и не скоро ее хватятся. Всякую минуту любой платок он принимал за ее платок, и сердце билось. «Я люблю ее,— думал он,— точно, это я влюбился, увидел и влюбился. Может быть, я ее и раньше любил, только почему-то не вспоминал в городе, как-то забыл о ней, ни с кем не ходил, все намечались дела: то экзамены в техникум, то с работой, то с квартирой. А теперь увидел ее и...»

Прошел час. Солнце уже прилегало к горе. Ее все не было и не было. Что же она там делает? Она должна уже вымыть руки и переодеться. Василий впервые почувствовал, что такое ждать женщину. Он нетерпеливо вставал, курил, вглядывался через поле и, как только между деревьями мелькало по тропе что-то женское, весь застывал: это уже она, ее походка, ее платок. Но женщина шла с ведрами, что-то выливала и уходила. Василий снова присаживался, закуривал и с еще большим волнением воображал, как она теперь идет к нему через поле, все ближе и ближе, все откровенней в движениях, торопясь, а потом с виноватостью встречаясь глазами, как бы говоря: «Ну что? Пришла я... Что теперь делать будем?» — и в то же время все, все понимая, поддаваясь его взгляду. И пусть пропадет еще один день, он не уедет и завтра, зато вечер они посидят в тишине, вдали от хутора, и он скажет ей такие слова, каких никогда никому не говорил, и она будет благодарна, радостна и счастлива с ним. В полночь она проводит его по глухой дороге к автобусу, они пойдут по рассвету в обнимку, пропустят утренний автобус, поскитаются за переправой и перед его отъездом что-нибудь придумают.

Прошел еще час. Ее все не было.

«Боится, что заметят. Да и неудобно бросать работу при всех».

И еще час прошел.

Солнце чуть брезжило из-за горы, когда он поднялся и пошел через поле к дому, где она мазала. Она по-прежнему шлепала ладошкой по стенке и кого-то добродушно ругала. Он подошел бли-

же. Она заметила. Как только из комнаты кто-то вышел во двор, прыгнула из окна в огород к нему, и они укрылись в тени за деревьями.

— Ну что? — сказал Василий недовольно.

— Что, что! Видишь, еще не управились. Никак нельзя уйти. Еще часок подожди.

— Бросай, бросай все! — повторял Василий, злясь, что получается не по его и эти разговоры, лишние ожидания перебьют то неожиданно тайное, о чем он думал недавно внизу.— Что они, без тебя не справятся?! Бросай, слышь?

— Сейчас.

— Не забыла, куда приходить?

— А куда?

— Прямо вниз, я тебя позову. С огорода и прямо вниз. Через поле.

— Ну иди, а то заметят.

И еще прошел час.

Стало совсем темно, над хутором мягко светлела полоска звезд. Василий то бродил от куста к кусту, то выходил на середину поля и жег спички, чтобы Зина издалека заметила место и не повернула назад. Пока он ходил по полю, ему показалось, что она уже там и ждет его, вдруг да и прошла стороной! Сердце его стучало, он так ждал ее, такая была темная и теплая ночь, и оставаться в ней одному было обидно.

«Она меня не найдет! — испугался Василий.— Не найдет, ляжет спать, и я так и не увижусь с ней. А домой к ней стучаться неудобно, да и вдруг она уже замужем, чего бы иначе таиться?»

Он загрустил, потом всколыхнулся, побежал наверх в хутор, надеясь отыскать ее. На улице играли ребятишки. Василий не знал, где она сейчас живет.

— Мальчик! — окликнул Василий.— Иди сюда. Где тетя Зина живет?

— Какая?

— Тетя Зина, не знаешь? Она дом купила.

— А-а! В конце. Спуститесь вдоль горки — и крайний дом ее, пониже.

Окна ее дома были завешены тряпицами, на дверях чернел замок.

«Значит, она все еще там или уже пришла, ждет в поле».

Он снова побежал в поле, царапаясь о ветки и чуть не падая от путавшейся в ногах ботвы. Нигде ее не было. Он хотел крикнуть и не крикнул: «Зинка, милая... где же ты?»

— Мальчик! — снова обратился он в хуторе.— Ты не видел, тетя Зина не проходила?

— Она мажет.

— Позови ее, будь добр.

— Ой, замучился я с вамп. Вчера позови, сегодня позови.

«Бегаю, как дурак, а у нее, наверно, кто-то есть. Что ж, так и ждала, что ли... подумаешь, переглядывались... больше ничего такого и не было».

Мальчишка убежал вверх по улице. Василий прислонился к ограде под ветвями и ждал его вместе с ней.

— Нету ее! — прибежал мальчишка.

— Где же? Ты спросил, где она?

— Ушла.

— А не врешь?

— Хм...— засмеялся мальчишка.— Надо мне врать еще.

«Нету...— отчаянно и как-то слабо подумал Василий.— Где же она? А вдруг в поле? А вдруг она обманула, посмеялась надо мной? — И вспомнил ее заговорчивые глаза и шепот у дома.— Неужели у нее кто-то есть? Ничего не пойму. Как она смотрела, а! И что-то пережила она за это время. Что ж ты не пришла, а? Ну где ты сейчас? В поле, в поле!»

Впотьмах, не разбирая дороги, запинаясь, он перебежал огород, зажег папиросу, ходил по полю и кричал несколько раз:

— Зи-ина-а!

Как хотелось найти ее!

— Зи-ина-а-а!

Нет. Не слышит. Хоть бы шорох. Хоть бы смутная тень.

Нет. Никого. Крикнуть еще? Бесполезно.

— Зи-ина-а-а!

Нет. Никого. Только поле во тьме, высокие горки и хутор, реденький отблеск огней по низкому небу.

Он еще несколько раз был у ее дома, сидел под яблоней во дворе, все крепче тосковал по ней и, устав, разозлившись, пошел ночевать к хозяйке, выдумывая по пути причину задержки. Хозяйка еще не вернулась, а ключ он отдал ей в обед, пришлось ждать на порожке. Наконец она пришла, удивилась, накормила его.

— Не проспать бы на автобус,— сказал Василий.

Она разбудила его ровно в три. За пятнадцать минут он оделся, выпил чаю и распрощался. Ночь была темная, как зимой в дожди. На душе было досадно от вчерашнего. Все прошло, успокоилось, и была только досада. «Зачем я бегал? Почему-то прятался. Бегал, кричал, а она, может быть, принимала другого. Теперь спит»,— подумал он равнодушно.

На бугре он остановился, посмотрел на белые стены ее хаты, представил ее спящей и разволновался.

«Как же я уеду? — подумал он и подошел к низким окошкам.— Разбужу ее, теперь уж нам никто не помешает».

Откликнулась она не сразу и недовольно:

— Кто еще там?

— Я.

— А кто это?

— Да я, я!

— Подожди, оденусь.

«Наверное, мы вчера разминулись»,— подумал Василий и решил, что сегодня, пожалуй, он не поедет. Ему показалось, что она ему рада, и стало жалко вчерашнего пропавшего вечера.

Она скинула крючок, раскрыла и молча ступила на порог. Когда она впускала его, касаясь грудью, у него захватило дыхание. Он тихонько обнял ее левой рукой и придержал. Она как бы нечаянно оторвалась и проскочила вперед, сказала:

— Темно... ничего не найдешь... Что-то второй день света не дают.

— Где ты? Я тут разобью что-нибудь... в потемках.

— Вот я...— Она протянула теплую руку.

Он приблизил ее к себе, она отодвинулась.

— Подожди...— сказала осторожно,— я лампу зажгу.

— Постоим так.

— Ну-у...— сказала она, чиркая спичками. Прижгла фитиль, поднесла стекло, но Василий успел сдуть пламя.

— Не балуйся,— сказала она мирно. Василий держал ее за плечи. Она снова зажгла, вправила стекло, села на стул и задумалась.

— Идешь на автобус?

— На автобус.

Зина глянула на будильник.

«Жалеет»,— подумал он.

— Не опоздаешь?

— Успею.

Она провела ладонями по лицу и зевнула:

— Ой, так спать хочу. Сон мне весь перебил.

— Надо раньше ложиться. Загуляла где-то вчера. Почему ты не пришла?

— Так.

— Все-таки?

— Тебе интересно?

— Да.

— Опоздала.

— А домой когда пришла?

— В час, кажется.

«В половине первого я еще сидел в ее дворе. Не дождался!»

— Кончили — Валька на стол собрала, выпили, засиделись.

— Тебя вызывал мальчишка?

— Вызывал. Я хотела прийти, но... подумала, подумала...

— Что?

— Темно... да и уходить неудобно,— сказала она, и Василий ей не поверил.— Поздно уже...

«Как будто ничего и не было. А я-то думал... носился, с ума сходил. Зашел. Сидит, зевает, а как смотрела вчера у дома!»

— Как ты поживаешь?

— Потихоньку.

— Одна?

— Как видишь. А ты как сюда попал?

— В командировку. Заехал. На тебя посмотреть,— добавил он нарочно и обнял ее за талию.

Она отвела руку и усмехнулась.

— Чтоб потом в поле позвать? — И зевнула, укрылась ладошкой.— Ой, спать хочу.

— Хату давно купила?

— Перед весной. Ой, что это я раззевалась?

Они помолчали. Василий не ожидал такой встречи. Как будто ничего и не было между ними. Как будто не было вчерашнего шепота у дома, тайных взглядов и стыдливого обещания. Он хотел и не мог обнять ее.

— Ты уже пойдешь? Тебе на автобус.

— Сейчас. Сейчас пойду.

— Давай я тебя провожу,— сказала Зина и встала.

Они вышли. Василий никак не мог прижечь папиросу.

— Ты еще не женился? — спросила Зина, взяла его под руку.

— Нет.

— Пора бы уже.

— Торопиться некуда.

— Тоже правда. Чего доброго, а с этим успеешь. Это нам плохо засиживаться.

Вышли книзу, пусто чернело поле, надо было что-то говорить на прощанье. Он приостановил ее, без прежней стеснительности притянул к себе. Сначала робко, но потом все сильней и ближе она приникла к нему и положила ему руки на плечи.

— Ты не подумай только...

— А вдруг я уже подумал?

— Ой, не знаю. Ничего пока не знаю.

Василий держал ее за талию, она, отогнувшись назад, колыхалась, касаясь его коленками. Так они простояли долго. Временами глаза ее оплывали, и она не стирала слез, они высыхали сами.

— Все-таки скажи мне, почему ты не пришла?
— А зачем? Все равно ты уедешь.
— Ты бываешь в городе?
— Вот свеклу выберем — поеду.
— Заходи. Я дам тебе адрес. Зайдешь?
— Ты с матерью живешь?
— На квартире. Таманская, шестьдесят один. Заходи, в музкомедию сходим.
— Попробую.
На высоте, в просвете между акациями, желтело ее окошко.
— Забыла потушить,— сказала Зина.— Иди, опоздаешь.
— Проводи меня еще.
— Нет, я там побросала все раскрытым. Лампа горит.
— Сходим потушим?
— Ишь ты... чего захотел.
— И сразу вернемся, проводишь меня.
— Светло уже.
Поцеловала она его коротко, три раза, словно благословляя.
— Написать тебе?
— Не знаю.
— А ты ответишь?
Она пожала плечами.
Пока она удалялась вверх, поднимаясь головой к первой полоске света над черными изгибами горок, он стоял, ожидая, когда она скроется. «Что ж это со мной? — волновался Василий.— Жил, не вспоминал, случайно заехал, увидел, и...»
Снизу ему было видно, как Зина вошла в комнату, напилась, подсела к столу и задумалась.
Потом дунула на лампу.

1965

АЛХО

— Да ведь я сам в горы собрался, Гикор...

— Собрался в горы? — будто бы смутился Гикор.— Как же быть тогда? — Он постоял, будто бы смущенный, и вдруг повеселел, будто бы выход нашел.— А ты на моей лошади поезжай. Тебе же дрова везти. Сильная лошадь — грузи сколько хочешь. Правда, шарахается, не любит чужих,— засомневался Гикор.

— Лошади семь-восемь лет — не жеребенок, чего шарахаться,— засмеялся Андро.

— От мужского в нем осталось, нет-нет да и ударит в башку,— объяснил лисица Гикор. И, потому что он так серьезно объяснил, Андро поинтересовался тоже всерьез:

— Холощеный он у тебя, говоришь?

— Нет, внутрь все запихано. Пчела у тебя хорошо ходит,— похвалил Гикор.— Айта [1], даешь или нет?

— А разница какая-нибудь есть?

— Говорят, что нет, но у моего вот есть. Хочешь выхолостить — выхолости, а то внутрь загонять — это еще что за мода? Когда это было — вчера, что ли, Сона спускалась с гор — взбесился, все с себя сбросил...

— Седло в хлеву лежит, в сенях,— сказал Андро,— лошадь в овраге. Много не нагружай, Гикор, а то знаю я твои пуды.

Гикор по-стариковски небыстро зашагал к дверям хлева и, как истинный хозяин, выругал про себя Андро: «Слабак несчастный, раз уж ты так хорошо знаешь мои пуды, что ж ты мне лошадь свою даешь... На его седло полюбуйтесь, да какое это твое дело — лошадь держать».

---

[1] Айта — «Эй, парень».

А Андро показалось — он обидел старика, потому что тот какой-то расстроенный вернулся из хлева, и Андро захотел смягчить свои недостойные слова.

— Да шучу ведь я все, Гикор, шучу,— сказал Андро,— спустишься в ущелье, не пугайся, в воде белый буйвол сидит.

— Ну да,— не поверил Гикор.— Сам видел?

— Лошадь перегонял — увидел.

— Ты молодой, ты такое увидишь! — Ему не понравилось расположение ульев у Андро — он рассердился, и груша у этого человека портилась — тут уж он совсем рассердился: — Ты буйволов ходи разглядывай, а у тебя груша гниет,— сказал он и, как в председательские свои времена, быстро распорядился: — Бочку намочишь в ручье, дашь хорошенько отмокнуть. Завтра чтобы ни одной груши на дереве не было. У него тыща из-под носа уплывает, а он себе спит средь бела дня...

Когда он был над самым уже ущельем, Андро окликнул его:

— Дядька Гикор... Через горы пойдешь?

— Там видно будет.

— Если через горы, скажи Ашхен, денька через два приду... дров подвезу...

— Андраник...

— Что тебе?

— Ты кому это лошадь отдал?

— Гикору.

— Для чего ему?..

«Да тебе-то, спрашивается, что за дело?»

— Не слышу, милый!..

— В Касах поедет.

— А не жалко скотину?..

— А что, спина у нее сломается, что ли?..

— Да, милый...

В ущелье на берегу реки стоял Алхо и был печален. Гикор, улыбаясь и покачивая головой, подошел к нему.

— Подыхаешь от безделья,— сказал он Алхо.— Дорогу в Касах помнишь? Не забыл еще?

Алхо в полудреме принял седло, принял удила, бесчувственно дал оседлать себя и пошел, закачался между камнями. Камешек ушел у него из-под ног, и он ударился брюхом о землю.

«Но-о-о...» — удила врезались в старые раны, мягкий прут больно прошелся под брюхом, и Алхо узнал лисицу Гикора. Это означало стеснение в легких, духоту, и долгий путь, и фальшь сладких, ободряющих, неискренних слов. И тяжелый груз.

Алхо вздохнул и захотел пойти рысью, но уздцы тут же врезались в губы, требуя подтянутости и медленного хода. «Припомнил,

говоришь, меня?..» Уздцы оказались правы, потому что сразу же перед Алхо взметнулся подъем, и, если бы он шел рысью, передние ноги у него подкосились бы и морда была бы разбита о землю.

Когда они одолели подъем и вышли на дорогу, завидпелась тропинка к дому Андро. Алхо наивно так захотел обмануть лисицу Гикора. Захотел сделать вид, что это обычный день, и он из ущелья поднялся, и вот по дороге и по тропинке идет к себе домой. Алхо замедлил шаг, потом разом свернул на тропинку, но тут же натянулись удила, а стремена врезались в старые шрамы.

— На лисицу эту поглядите, на лисицу,— сказал лисица Гикор и повел его по дороге в село.

Из зарослей фасоли выскочила остромордая рыжая сука. Алхо устало и раздраженно лягнул ее и понял, что дорога будет та — под нестерпимо тяжелым грузом с бесконечной жаркой сдавленностью в легких,— и Алхо устало и брезгливо лягнул суку. И почувствовал, как копыто вошло во что-то мягкое и вышло.

— Нельзя ли, чтобы ты своей дорогой шел к своему дому! — вспылил с порога своего особняка директор школы Рубен.

— Моя дорога эта, свою суку на привязи держи,— огрызнулся Гикор.

— На чужой лошади сидит, чужую собаку убивает.

— Беги жаловаться в сельсовет,— сказал Гикор, но гибкий прут все-таки снова обжег брюхо Алхо.

Остромордая сука, известно, злая, обязательно наскочит на тебя, и надо ее лягнуть, чтобы на минуту у нее сперло дыхание и чтобы потом она заскулила, а люди бы стали из-за этого браниться,— все это было понятно, но прута на этот раз Алхо совсем не ожидал. Потому-то и мир людей казался ему запутанным и непостижимым. Вот уже двадцать лет он возит людей и их поклажу, двадцать лет под этой ношей он думает о них, но ничего не понимает, ничего. И не по той причине, что он, Алхо, лошадь, а потому что люди не постоянны в своих действиях; они понимают вчерашние свои поступки и даже похваляются ими; сегодняшнее — нет, сегодняшнее им самим непонятно, но что самое странное — от этого они ничуть не страдают, нет.

Гикор привел его к кузнице. Острый запах горячего металла был знаком Алхо и связывался с сильным и ласковым кузнецом былых дней, который не вышел им сейчас навстречу и не погладил глаза лошади. Молодой человек в запачканном, прокопченном переднике с папиросой во рту подошел, подогнул ему ногу — чхк-чхк. И пошел обратно в кузницу. На дорогах, которыми пользуются люди, только и можно продержаться благодаря ими же придуманным подковам, за это Алхо был благодарен им — дороги

твердые, грубые. Да, но ведь гвоздь вошел криво, в нерв попал, а другая подкова жала. Алхо смертельно обиделся.

— Айта, а не криво забил гвоздь? — сказал Гикор, прислушиваясь к голосам кузницы.

— Жарко, слышишь, жарко,— отозвался кузнец изнутри и рассмеялся.— Трудодень, слышишь, трудодень. Не золото идет — трудодень.

Алхо пошел, хромая на обе ноги и осторожно, как больной. Нерв болел.

— Ну ладно, не умирай,— сказал всадник,— разойдется.

Алхо от боли забыл про всадника, про прут и про неприятную рыжую собаку. Про то, что он был оседлан, что предстояла какая-то дорога. Алхо стал, но удила встряхнули его голову и прут еще раз просвистел под брюхом. «Но-о-о-о»,— и Алхо снова понял, что таким безжалостным, таким неспокойным и таким небрежным мог быть только лисица Гикор. «Интересно, куда пойдем...»

Плетень перед ними распахнулся, пропустил и снова сошелся, наседка с цыплятами перешла дорогу.

«Интересно, куда пойдем». Алхо услышал звон цепи и увидел черную облысевшую собаку. Это была вшивая и от вшей нервная собака, всегда на цепи, которая свободно ходила по проволоке, протянутой через весь двор,— целый день, не останавливаясь, собака бежала вдоль этой проволоки от хлева к дому, от дома к хлеву. Сейчас она остановилась на секунду и, брызгаясь слюной, залилась лаем. И тут Алхо окончательно понял, что попал в лапы лисицы Гикора, и вспомнил жаркие дороги, вспомнил шмелей, отвратительную застоявшуюся воду, непонятно коварную змею — короткую и жилистую, которая целый час непрерывно скользила, и вилась, и пряталась около него, пока про нее не забыли, и вдруг метнулась — ударилась — ужалила. Ногу остро закололо, потом как будто ничего не было, а потом нога разгорелась, онемела, и стало сладко подташнивать. И голова тоже разгорелась и словно не своя была. И его, полуоглохшего, в забытьи, все навьючивали и навьючивали. А ему самому ничего не хотелось — воспоминания и желания мешались, ускользали, и это было приятно: шмелей не было, груза не было, Гикора не стало, и хорошо бы, если бы их вообще никогда не было. Ужалила бы его змея на каком-нибудь пустыре, и он бы спокойно встретил свою смерть. Но они поняли его:

— Змея ужалила коня, Гикор.

— Ну-у? Сдохнет теперь? Оскандалимся перед Андро.

— Нет,— сказали люди,— погоняй его, чтоб вспотел, погоняй хорошенько.

Сухая и гибкая плетка снова вернула его к действительности и напомнила о дороге, о грузе. О сочной траве в горах и холодных

ключах. О трудности начатого пути и легкости в конце его. О неприятной обязанности плестись на станцию и радости возвращения. О мурашках при подковывании и наивной гордости уже подкованного. О тоске по кобыле и об ужасе перед жеребцом. О неодолимом желании кобылы и чудовищном бешенстве жеребца. О безразличии к грузу, к воле, к работе, к Гикору и к тесной неудобной подкове. Его снова сделали владельцем потрепанного костлявого тела, его опять вернули к нескончаемым дорогам, которым нет конца, нет конца. Которые начинаются широкими, потом делаются узкими, сворачивают, сходят на нет, снова расширяются, у которых нет конца. Однажды самодовольный бог призвал к себе отца отца отца отца Алхо и сказал: «Вот, прапрадед Алхо, я создал тебя стройным и разумным, я разостлал зеленый луг для тебя, придумал волков, чтобы тебе было от кого бежать, чтобы ты всегда оставался стройным, и человека над тобой поставил,— вот, лошадь, теперь скажи мне: сколько лет жизни хочешь?» И задумался дед деда Алхо, и, потому что бог его умным-разумным создал, снова подумал, и ответил продуманно: «Двадцать лет жизни, создатель». И господу богу понравился его ответ, и он отпустил ему двадцать лет жизни. И человек и бог подмигнули друг дружке. Да зачем тебе, дед, зачем тебе, спрашивается, были нужны эти двадцать лет, на что тебе они, мне они на что...

— Эта лошадь отчего грустная, Гикор? — спросила у Гикора его мать.

— Ты знай свое дело делай. Где мешки?

— С больной лошадью в Касах поедешь, Гикор?

— Не сдохнет, ты будь здорова.

— Эта лошадь с гвоздем, Гикор.

— Оф!.. Ну раз ты столь понимаешь, найди щипцы.

Через отверстие от вынутого гвоздя боль вытекала медленно, как мед, и Алхо была приятна эта уже покалывающая и отходящая боль и то, что снова стал ощущаться перехват стремени, грубость удил, слюнявый лай паршивой черной собаки.

Дорога вела в горы... Посвистывание ветерка в ушах и бесконечно вкусная трава... Алхо пошел веселее. И дорогп-то оставалось на один час, на одном дыхании можно было дойти... и началась бы вкусная нескончающаяся трава.

— Думаешь?..— сказал Гикор и повернул его. Он повел его по тропинке к колхозным садам.— Эй, хозяин! — позвал лисица Гикор.

Сторож в нижней рубахе косил траву под деревьями. Он пошел им навстречу, привязал по пути собаку, и Гикор, подтягивая Алхо, подошел к нему, и они о чем-то поговорили. Сторож как будто остался недоволен разговором, но груз Алхо увеличился яблоками и грушами.

— Огурцов нет?.. Ну ладно, ладно. Если затрудняешься, не надо... Что из Касаха тебе привезти?

Сторож из Касаха ничего не хотел, а огурцы оказались еще тяжелее, чем яблоки и груши.

— Н-но-о-о... чертова дохлятина... груза ты еще настоящего не видала... генеральская лошадь какая нашлась... всего-навсего кляча Андро...

Гикор вывел его по тропинке обратно и шел так до тех пор, пока не перестала быть слышной собака сторожа; тогда Гикор крепко потянул за правое удило. Алхо обернулся — ну конечно, справа было поспевшее поле, он помнил. Стремя приказывало идти, голос приказывал идти, но ведь впереди было поле,— Алхо попятился. Но стремя, голос, прут и плетка разом погнали его в это поле, и Алхо пришлось повиноваться. Странный народ эти люди, подумал Алхо, одну и ту же вещь одни разрешают, другие запрещают. Он один ни за что бы не стал заходить в поле, потому что он знал — выйдет однорукий сторож полей и, ругаясь, запрет его в грязном мокром хлеву, а ему не хочется в грязный хлев. Нет, непонятный народ эти люди, определенно. Но когда Гикор молча перевел его через ручей, вошел в лес и объехал скошенную поляну, Алхо понял, что Гикор его на воровство ведет. Дальше начинались картофельные поля. Картошку будет воровать, решил Алхо и остановился.

— Молодец! — удивился лисица Гикор.— Пасись,— сказал он льстиво,— тебе-то и пастись.

Пастись было негде, и груз был нелегкий,— Алхо остановился и подождал.

Деревья не качались, стебли не качались, неподвижно стояли раскрывшиеся цветы — каждый под солнцем ждал своей участи — беззлобно, как Алхо, в неопределенной спокойной грусти. Алхо, вытянув уши в струнку, подождал, что будет еще. Над картошкой, присев на корточки, как собака, притаился Гикор, и стоял неподалеку сторож, опираясь подбородком на черенок лопаты. Гикор копал картошку руками, а сторож, взяв лопату наперевес, неслышно ступая, побежал вдруг в лес. Гикор, припав к земле, выкапывал картошку. Алхо поглядел в сторону леса, поглядел на Гикора и опять подождал, что будет.

— Что, человека увидал? — повернул голову Гикор.— Не можешь спокойно стоять?

И вдруг краем глаза Алхо увидел, как отделился от ближайшего дерева сторож с лопатой наперевес. Алхо знал этого сторожа. Алхо возил ему его картофель, на трудодни. Это был спокойный старик, никогда не бил, не разговаривал, не понукал — давал идти своей дорогой, как хочется. Алхо хотел выразить радость

встречи с ним, по сторож приложил палец к губам — тише. А Гикор копал себе картошку. И сторож и Алхо, не вникая, следили за движениями Гикора, не воспринимая, что тот делает, глядели на его единственно подвижную спину в этом безмолвном притихшем мире. А Гикор оторвался от земли, когда мешок был полон доверху. Он встал, разогнул спину и тут только приметил сторожа.

— Ха-ха-ха-ха-ха,— засмеялся Гикор, и его смех очень напоминал лошадиное ржание.

— Ты что же это делаешь? — спросил сторож.

— Ха-ха-ха-ха, а я говорю, заметит или нет...

— А для чего же меня тут поставили?

— Август, думаю, на дворе, не иначе, думаю, Адам траву косит. Зимой, кажется, твое сено раньше всех кончилось?

— Санасар не разрешает косить.

— Санасар и должен не разрешать, а ты коси.

— Связываться неохота.

— И то верно. Но смотри, как бы зимой опять туго не пришлось,— сказал Гикор.— Помоги мешок приладить.

— Нагрузил-то как, не жалко скотину?

— А что с ней сделается, на то и скотина, чтобы грузить.

— Уходишь уже,— грустно поглядел им вслед старик,— остался бы, поговорили.

— Ночью в Касах идти, спешу очень. Из Касаха что тебе привезти?

— Свое здоровье.

Потом горы задышали легкостью и холодом. Горный ветерок защекотал в ушах и под брюхом, забрался под груз и под седло, высушил пот, поиграл в ноздрях и заколыхался вместе с золотисто-рыжей гривой. В сумерках на горизонте табун вспыхивал оранжевыми искрами, ветер уносил ржание, и табун казался далеко-далеко, потом ржание раздавалось рядом... Алхо, задрав голову, тоже заржал, давая знать, что он тут, поблизости, что он не забыл, помнит их и их свободный вольный бег и себя вместе с ними. Алхо пошел быстрее, и Гикор усмехнулся. «Молодец! — и остановил его, и пристроился на седле между грузами.— Теперь беги...»

Напротив, на небольшом кургане, курился летний выгон Цмакута. Дорога стала петлять, выгон несколько раз пропадал из виду и показывался, а дорога то шла вниз, то взлетала вверх, вниз-вверх, вниз-вверх, и они вышли прямо к выгону, к самым палаткам. Бесшумно и холодно качались в воздухе огни пастушьих костров, отары уже затихли в загонах, собаки улеглись, коровы от сытости пускали слюну, молоденький жеребенок без причины, без-

заботно и глупо заржал где-то рядом, и хриплый и костлявый Алхо захотел возвестить о своем вступлении в страну кочующих туманов и влажных гор. Но Гикор зазвенел шпорами, и ржание Алхо прошло незамеченным.

— Андро? — В темноте кто-то курил.

— Месроп?

— Гикор, ты? Голос Андроевой лошади вроде.

— Ну да, Алхо со мной.

— И нагрузил-то как.

На тропинке, руки под передником, склонив голову, стояла Андроева Ашхен. Спокойная, тихая, безответная...

— Дядя Гикор? — сказала она.

— Здравствуй, Ашхен.

— Это не наша лошадь?

— Ну да, Алхо.

— Дядя Гикор, Андро должен был прийти, что не пришел?

— Сказал, завтра-послезавтра придет, жди.

— Масло у меня портится, дядя Гикор, что сегодня не явился?

— Про это уж он сам тебе расскажет. Почем мне знать, Ашхен, почему твой муж не явился...

— Да...— согласилась Ашхен.— И нагрузил-то ты как его...

— Чего там нагрузил: мешок картошки, яблок несколько штук.

— Нет, я ничего...

Ашхен только констатировала. Ашхен пошла к своей палатке, Ашхен женщина; мужчина в доме Андро. Ашхен не вмешивается в дела мужчин. Они сами свое дело знают. А Ашхен женщина — она коров доит, овец доит и ждет, чтобы Андро дров подвез. Лошадь — это уже по части Андро... Андро не идет с дровами. Ашхен, склонив голову, подождет. Масло тухнет, а лошадь отправляют в Касах,— Ашхен молча подождет.

— Мешок картошки, говоришь?

Гикор слегка обернулся, Ашхен стояла, уперев руки в бока. Гикор явно превирал ее.

— Колхоз развалил, теперь людей пошел разорять?.. Податливого человека нашел? У самого лошадь — у других берешь? Свою лошадь жалеешь, чужих погоняешь? Ну, отвечай же, куда прячешься?..

— Не болтай глупостей,— сказал Гикор, разгружая Алхо,— занялась бы своими женскими делами.

— Ты тут народ будешь грабить, а меня к моим женским делам отсылаешь? Старая ты лиса!

— Фу!..

Гикор снял поклажу с Алхо, сказал что-то своей старухе и занес мешки в палатку, а Ашхен все еще говорила, и тогда Гикор не выдержал, рассердился:

— Хватит тебе глупости молоть, копчай!

— О себе подумала, так и глупой стала?

И Гикор сказал — не Ашхен сказал, не выгону и не то чтобы своей жене, а самому себе, но потому, что палатки были разбиты близко друг от друга, и стояла ночная тишина, и войлочные стенки у палаток были тонкие,— он сказал всем:

— Ее бездельник, оставив колхозные дела, неизвестно чем там занят с другими женщинами. Она тут думает, Гикор виноват, что ее масло тухнет.

Его старуха постояла с минуту, поднеся руку ко рту, потом спросила деланно — будто бы пугаясь и будто бы в удивлении,— с любопытством былых дней:

— С какими еще женщинами, Гикор?

— В Касах иду — все приготовила, что надо? С какими женщинами,— заорал Гикор,— с Мариам, или как там ее еще! Кур привяжи покрепче!

Потом опять была тишина, курил в темноте конюх, мычали сытые коровы, помаргивали огоньки у пастухов, и пастухи вспоминали, какая Мариам тощая — одна кожа да кости, но кто поймет этот мир, может, и есть в ней что-то... Алхо отдыхал, подогнув одну ногу, и в своей палатке молча исходила злобой Ашхен.

Под звездным небом дремали в загоне теплые кобылы, над прижатыми друг к другу крупами высоко выделялась крутая шея жеребца, в темноте прокричали встревоженно куры, и Алхо почувствовал, что к седлу привязали сонных, отяжелевших кур и рядом с курами приладили мокрые мешочки с мацуном.

— Целую неделю знала, что в Касах поеду, не могла мацун вовремя отжать!

— В дороге вся вода и отойдет, чего злиться-то.

Вода из мешочка потекла, пощипывая, по бокам Алхо, куры тут же нагадили на Алхо и замахали крыльями, потом поверх всего этого был разостлан брезент и на брезент взгромоздился сам Гикор.

И перед Гикором уютно замаячила, закачалась ночь, и жизнь показалась ему хорошо устроенной — потому что в Касахе его дожидалась красная пшеница, и мацун сам собой отжимался, а сам он сидел на брезенте, и было под ним сухо и удобно.

«Для вас мацун привез с гор...», «Для вас самый натуральный сыр привез, в горах делали, своими руками...», «Кур для вас привез, прямо с гор...» Ах, в долине жара стоит, дохнуть нечем, а в горах ветерок гуляет, свежо, и жителям низины кажется, что

в руках этих та прохлада еще держится, что в горах. Нет, нет, Гикор все это отлично знал, он так и говорил — «для вас», «с гор». В селе думают, что он комиссию по пенсиям подкупил, бог знает сколько денег ухлопал. Даже старуха собственная и та так думает. Дурачье, не понимают ничего. Просто председатель комиссии родом из Цахкута. Он, Гикор, пошел к нему, взял с собой мацун в мешочке. «Цахкутский,— сказал,— мацун, для тебя нес, наши горы с цахкутскими рядом, соседи...» А в городе жара была, на улицах, в деревьях, в парадных — во всех дырах затаилась духотища, и в вентиляторах болтался горячий воздух. «Цахкут рядом с нашими горами... под самыми небесами... для тебя мацун вез...»

Они проехали рядом с водопоем. Близко в кустарнике прокричала птица. Стало тихо. Потом дорогу им перебежал то ли волк, то ли заяц, то ли сам черт. В тысяча... девятьсот... восемнадцатом... или девятнадцатом? — осенью несоевского Аршака как раз в этом месте нашли. А гнедую кобылу его спустя пять лет кто-то видел в Кировакане. Хозяин ее новый сказал — в Касахе купил, а когда у него стали допытываться, когда, мол, и при каких обстоятельствах,— помалкивайте, сказал, идите своей дорогой, ясно?..

Подошли к развилке. Та тропа, что налево сворачивала, вела в горы. Она обвивала все плато, связывая родники с родниками, выгоны с выгонами и табуны с табунами. Она проходила рядом с облаками, это была прекрасная дорога — Алхо помедлил секунду и разом метнулся к ней — подался влево.

— Н-но-о-о...

Удила поранили губы, шею заломило, а Алхо все еще рвался к той тропе — в горы. Уздцы натянулись еще крепче, губам стало еще больнее, но ноги Алхо несли его влево.

— Р-ры-и-и... Озверела, проклятая...

Дышать стало трудно, звезды показались Алхо совсем близко — рукой подать, но ноги Алхо упирались в твердую-претвердую сухую землю. Ноги искали пропасть, ущелье, яму бездонную на этой земле, чтобы послать к черту это старое костлявое тело, которое неизвестно зачем все держится и держится, глупое. Алхо хотелось умереть. Но всадник натянул поводья снова, на этот раз с одной только стороны. Он покрутил, покрутил Алхо на одном месте, потом стегнул его что было силы и отпустил уздцы. Алхо пошел по склону без дороги, вдохнул всей грудью воздух, и ни с чем не сравнимый ночной свежий воздух обласкал его загрубевшие легкие.

— Совсем одурел... чертов мерин...

Потом они стояли над кручей. Куры утихомирились, угомонились под брезентом, не царапались больше, из сыра и мацуна тек-

ла соленая жидкость, обжигая старые и новые раны Алхо, а внизу расстилался городок, молча вырисовывался в полутьме. Это был знакомый городок, знакомая круча, и боль в теле тоже была знакомая.

— Пришли...

И когда Алхо увидел в городе молоденького жеребенка, навьюченного, как он, который упирался всеми четырьмя ногами, не хотел идти и дрожал: «Иди,— сказал Алхо,— зря не упрямься, глупо это».

Под ногами гулко стучал асфальт, с шумом проносились машины, иногда слышалось фырканье реки, и это было что-то свое, родное, но бедного жеребенка не вели вброд через реку, а тянули на мост, били, умоляли, толкали. А жеребенок, привыкший к мягким и упругим горам, напуганный и ошалевший, не шел, дрожал.

Алхо подошел к ним поближе, дал приглядеться к себе и сказал жеребенку: «Не бойся, не пропасть это — мост... иди... это они так устроили — на вид шатко, но прочно, иди, не околеешь... а ежели и околеешь, не велика беда, ничего не потеряешь... Иди...»

И жеребенок поверил ему, пошел, а сам он был безучастен и к мосту и к реву машин, потому что наполовину был глух уже, и наполовину был слеп, и шкура его была дубленая-передубленая. Жеребенок шел, прижимаясь к Алхо, но возле базара их разлучили, жеребенка привязали к воротам и оставили один на один с его отвращением ко всему вокруг, среди пыли и грязи под солнцем. Так он должен был стоять, пока не распродалось бы все масло до последнего грамма, пока не были бы сделаны все необходимые покупки в магазинах — ситец, хлеб, обувь.

Машины пролетали рядом с Алхо, проехали веселые велосипедисты, посмеялись над Гикором и его лошадью, проехали экскурсанты в автобусе, бросили букет к ногам Алхо, помахали руками, уехали. Алхо остался один.

Потом Гикор завтракал, рядом был родник, овечий сыр с хлебом был вкусен, а вода в роднике — холодна, слава богу. Снова проехали велосипедисты, те же самые, обратно поехали, и были они крепкие все и радостные, велосипеды их хорошо были смазаны, легко скользили по асфальту, и сами они казались такими же ладными, ловкими, совершенными, как их машины. Они должны были завтра косить траву, но сегодня они забавлялись этими игрушками, и Гикор подумал вслед им: «Нагрузить бы вас, поглядел бы я, как вы заскользите...» Потом он с удовольствием подумал о том, что завтра он со своей красной пшеницей будет дома уже и пшеницы этой хватит на четыре года за глаза... Говорят, Америка Франции ноту какую-то послала... И Гикор сказал Алхо:

— Хорошо отдохнул? Пошли дальше...

И шоссе перешло снова в тропу, лес превратился в кустарники, потом остались позади и эти кустарники, река раздалась, побежала рядом, замутнилась, последний родник был какой-то тухлый, с теплой гнилой водой, потекла однообразная рыжая, глухая и душная дорога.

Была бы на свете зеленая долина, в ней родник. Знать не знал бы Андро про эту долину. И паслась бы в этой зеленой долине возле родника белая лошадь. Никто бы не знал, что эта лошадь — Алхо. Но это был бы Алхо. Он кружил бы по своей долине, воду бы пил из родника, отгонял бы хвостом двух-трех мух, севших на него, думал бы себе, гулял бы он так, гулял бы, потом бы лег на солнце, растянулся бы, а лисица бы подумала — лошадь сдохла, и села бы огненная лисица поодаль, глядела бы на него в сомнении и облизывалась бы, а Алхо бы вдруг так фыркнул, так фыркнул — лисицы и след бы простыл. Ох, вскочил бы весело Алхо на ноги и увидел бы на другом конце долины кобылу — большезадую, темно-красную кобылу на зеленом лужке. Была бы на свете долина, вся зеленая, на ней Алхо — белый — и темно-красная кобыла рядом. Кружил бы Алхо по зеленому лугу, ложился бы в зеленые травы, вверху бы проплывали белейшие облака, было бы красиво и печально все. И пускай бы потом пришли волки: сытый и добрый Алхо их не мучил бы и сам не мучился, отдал бы себя на съедение, пусть жрут.

К вечеру дорога оживилась. В скошенном поле мягко прокричала перепелка, красный камень вдалеке превратился в красную собаку, которая залилась лаем, завидев их. Здешние собаки такие же злые, как здешние змеи. Гикор слез с Алхо и попробовал было унять собаку — ничего не вышло, та кидалась ему чуть не в лицо. Тогда Гикор хлестнул ее плеткой и делано засмеялся, чтобы хозяин не обиделся, если поблизости. Собака вроде отстала, но, когда Алхо с Гикором отъехали немного, неслышно вцепилась лошади в хвост. Как ни шпынял ее Гикор — не отцеплялась. Алхо потерял терпение, помчался, не разбирая дороги, но спасения от собаки не было никакого — так и мелькала красным пятном перед глазами.

Даже волки здешние бесстыдные — как пристанут, не найти избавления. Прошлой зимой киномеханик районный всю ночь на телеграфном столбе просидел. Хорошо сказать еще — просидел... И Алхо понесся...

...Сначала Гикор нашел мешочек с мацуном, потом нащупал под ногами брезент. Вдалеке маячила красная собака, а Алхо не было нигде. Вышедшая навстречу старуха сказала, что да, видела лошадь, синюю, и куры были на ней переброшены, но потом выяс-

нилось — вчера видела. Гикор поглядел кругом — не было Алхо. Обратно идти Гикор не решался, боялся нарваться на красную собаку. Он вдруг вспомнил, как много лет назад, молодыми еще были, приехали они в эти края пшеницу покупать. На рассвете спешились — передохнуть немного. Слезли с лошади, и вдруг Акоп говорит: змея! Вскочил Гикор на лошадь, только и видели его. Потом остановился перевести дух — оглянулся, стоят друзья, за животы держатся, хохочут. Прозвали его тогда Всадником. Потом, во время войны, когда он словчил — сына от армии освободил, женщины прозвали его лисицей. Лисица Гикор.

С низким ревом пролетел самолет. Говорят, за два часа долетает до Москвы. А в тридцать девятом они с Левоном шесть суток в поезде ехали. Как сегодня помнит, Левон в Кремле подошел к колоколу, Царь-колокол назывался, большой, потрогал его, поглядел на блестящие купола и говорит: «А ведь неделю назад в Цмакуте были, Гикор».

...Алхо все не было. Быстро надвигались сумерки. Гикор решил: одну из коров, всех овец и лошадь продает, выручку и те, что в сберкассе лежат, дает живущему в Кировакане сыну своему Геприку, тот строит за год дом для отца с матерью, и переезжает Гикор в Ки-ро-ва-кан... «Плевать на деревню, хватит...» Гикор нагнулся — поднял мешок с сыром,— да, сыр изрядно помялся, покрошился, черт. И когда он снова стал выглядывать в темноте Алхо, не решаясь идти обратно, перед ним вырос Симон, тот самый, у которого Гикор должен был взять пшеницу. Симон стоял в поле перед Гикором и смеялся.

— Айта... Айта, а я думаю, куда человек задевался, сбросила его с себя лошадь, думаю... Ты что, заснул на ней, что ли... а-ха-а...

— Пришла лошадь?

— Да давно уже.

— Прямо к тебе?

— Ну да, пришла и стала во дворе. А мы-то думаем, чья лошадь, потом смотрим, нет, не уходит — к нам пришла, вспомнили, что ты раз на ней приезжал, а-ха-ха...

— Понеслась, окаянная, от собаки побежала... Сыр весь побился... А куры на ней были?

— Были, были.

— Для вас привез, с гор. Хлеб, я вижу, в этом году хороший у вас.

— Да, хлеба — хоть завались.

— Для вас мацун привез с гор. Значит, говоришь, пришла и стала во дворе?

— Будто гвоздем прибили — стала и стоит.

— Обязанность у нее такая,— засмеялся Гикор.— Сколько хочешь грузи и отпускай — сама придет в Цмакут, прямиком ко мне...

В первую зиму войны Гикор прокормил картофелем жену и пятерых ребятишек Симона, в сарае у него жили. И еще одни жили, в подвале, теперь говорят, в Ереване, большую должность занимают, дочка их вроде бы доцент в институте. Стоит их как-нибудь разыскать, пригодится.

Да, село здесь большое и тесное, дома чуть не друг на друге сидят. Тут если приусадебный участок 1300 метров, то столько он и занимает площади, и ничуть не больше. Сельсовет здесь истинно сельсовет. Споры разрешает, тяжбы; девушки тут, случается, беременеют до свадьбы,— нет, сельсовет тут на месте. Парни тут, наверное, умеют косить, но не косят; надевают новые, из магазина, костюмы, стоят возле клуба, переглядываются, покуривают. А председатель на них не покрикивает, потому что в крике есть какая-то домашность, что ли, а тут слишком большое село для этого. В годы войны голод первым делом в такое село приходит, потом уже в город, потому что здесь не существует того порядка и дисциплины, что в городе, и нет того изобилия, которое в маленьком селе. Да, это именно так, на улицах здесь можно увидеть толстых мужчин — сидят играют в нарды, дождь пойдет — домой переходят, там игру продолжают. А в Цмакуте с дождем вместе поднимается тревога за сено. Гикор решил — нет, не переедет в город,— ночью под окном у тебя будет петь пьяный сапожник с ножом в руках, а утром узнаешь, что зарезали ночного сторожа на соседней улице. И жить-то осталось каких-нибудь десять — пятнадцать лет. Гикор проживет их в Цмакуте, умрет — похоронят рядом с Адамом, Мовсесом, дедом Гикором, Сааком, обок с Ладо.

В селе говорил громкоговоритель.

— Спокойный у вас народ,— сказал лисица Гикор.

— Чего же ему неспокойным быть?

— Я не про то,— Гикор даже остановился,— в нарды вон играете.

Возле клуба, магазина и конторы было столько народу, что не понять было, кто тут главный, а кто — так. И одеты все были — выряжены.

Громкоговоритель висел над конторой. Но сказать, чтобы эти люди концерт слушали,— нет, нельзя было. Может быть, они стояли вот так и раздумывали над чем-то? Но нет же, не очень-то тутошний народ любит думать. Гикор узнал их за войну, хорошо узнал, изучил прямо. Да и изучать-то там было нечего, все и так было ясно. Эти люди всю войну так провели: ели картошку —

ложились, спали. Была картошка — ели, не бывало картошки — сидели ждали, пока будет. А откуда она, эта картошка, и как она достается — это их не касалось, нет. Мир большой, бог подаст.

— Симон...— сказал Гикор,— у вас правда с хлебом хорошо или ты шутки шутишь?

— У меня одного только тонны три найдется.

— Слушай, да кто же это ваши поля косит, не пойму я.

— Комбайн.

И Гикор усмехнулся:

— Ай да комбайн! Молодец комбайн!

Мимо них промчался-протрещал мотоцикл, три мрачных парня на седле.

— Жизнь изменилась,— сказал Гикор,— раньше десять пудов зерна были десять пудов зерна, и ни подарить ты их не мог, ни принять. Но вот,— защебетал Гикор,— что уж тут поделаешь, что у нас плохой хлеб родится, а ваш до того хорош, что попробуешь раз — другого в рот не возьмешь.

Навстречу им шла девушка, по виду городская, серьезная, и ты тут же думал, что под мышкой у тебя грязный брезент, а в руках мокрый вонючий мешок. Но промчался снова мотоцикл с парнями. И самый крайний из них перевесился и шлепнул девушку по заду. И они уехали, не засмеялись даже сами. А девушка не разгневалась, не возмутилась. Да, господи, не удивилась! И Симон тоже шел, как будто ничего и не случилось.

— Вуэй...— И Гикор понял, что в городе его сын Генрик тоже может...— Вуэ-э-эй...— Город полон женщин, ты их всех не знаешь, не знаешь, кто чья дочка, чья жена, и раз ты всего этого не знаешь, пропадает стыд, ясное дело.— Айта,— сказал Гикор,— Симон, неработающих вроде прибавляется в народе, и вроде бы это на хлебе должно отразиться, а жизнь чем дальше — легче становится, не удивляешься?

— У Симона на доме вырос второй этаж.

— Смотри-ка,— пробормотал Гикор.

Алхо стоял в темноте возле хлева. Не ел ничего, что-то перед ним было брошено наподобие сена, но Алхо вроде был печален. Меньшой симоновский отпрыск, мальчишка лет тринадцати, стоял рядом с Алхо и зажигал и гасил карманный фонарик. Радио громко пело, и никто не выключал его. С треском проехал снова мотоцикл.

«Укусила, наверное, собака Алхо, потому грустный»,— подумал Гикор.

— Ты кем работаешь? — спросил он у Симона.

— Да кем приходится. Механизатор я.

— То есть как это механизатор? Тракторист?

Виктор Астафьев «Ясным ли днем»
Художник И. Пчелко.

— Ну да, так примерно, могу трактористом, могу комбайнером...

— А не врешь?

Симон пожал плечами: мол, зачем мне врать тебе? А сын его зажигал в это время фонарик свой в руках, гасил, зажигал-гасил.

— А корова у тебя есть?

— На что мне?

— И в самом деле... лишняя морока...— «Конечно, тебе не хватало еще коровы»...— А масло, а сыр — как с этим?

— Да находится...

— Ну, раз находится...— «Ну и неряшливый народ, ну и народец... И зачем я на тебя во время войны столько картофеля извел, не пойму... «Могу трактористом, комбайнером»... Болтун несчастный!.. Корова ему не нужна...» — Эй, парень, не порть вещь, положи на место!

Сынишка Симона посмотрел на него равнодушно, потом отвернулся и снова стал играть своим фонариком.

— Он что, обижен, бил ты его, что ли? — спросил Гикор у Симона.

— Нет, не бил.

— Ведет себя на манер обиженного, а?

— Мои такие — каждый сам по себе.

— Нехорошо,— сказал Гикор.

— А мне что, они у меня хлеба не просят.

— Не просят? — спросил Гикор.

— Кормлю я их, конечно, но они свое дело сами знают, самостоятельный народ.

Красная собака изловчилась, сука, укусила-таки Алхо в шею. Гикор попросил вскипятить воды.

Его сын Генрик в городе, конечно, тоже шляется по этим самым... в городе много женщин... Еще бы не шляться, столько свободного времени — на работе сидит пять-шесть часов, с начальством в ладах, выпивают вместе, что же ему еще делать... ясное дело... То-то он такой чистенький, все на нем по-городскому сидит... и галстук — нет, тут явно женская рука чувствуется, он сам не смог бы. Да, тут, без сомнения, женщина замешана... И когда в деревню приезжает, не выдерживает и трех дней. Приехал. «Здрасте, здрасте...» Потом зевать начинает, глядишь, вещи собрал. «Ты куда?» — «До свиданья».— «Да ты что, с ума сошел?!» — «На работу надо». А картофель ему нужен. Картофель. Капуста. Масло. Сыр. Фрукты. Овощи. Нет, он не против, все это ему нужно, только, ради бога, увольте, он с собой не повезет — пришлите с оказией. И ты бегай, высунув язык, упрашивай-умоляй водителей, а потом, уговорив кое-как, грузи мешки на маши-

ну, торопись, в спешке еще стукнись головой о притолоку, хи-хи-хи — засмейся водителю... «Сейчас-сейчас, еще минуточку... капуста осталась...» Потом погрузи, наконец, капусту тоже — и пот со лба утри и вздохни, переведи дух, что все удачно так получилось. А потом в каждом письме проси обратно мешки, да для него же самого. Ты проси, а они делай вид, что не слышат, заняты очень. А чем, спрашивается, заняты? Со шлюхами развлекаются.

Когда вода, по его мнению, должна была уже вскипеть, выяснилось, что его просьбы никто не слышал. Он попросил снова. И тогда Симон сказал:

— Да ну, лошадь ведь, что с ней случится.

И Гикор понял, что единственно близкое ему существо здесь — Алхо. И горько усмехнулся:

— Конечно, лошадь не трактор... и не комбайн.— Но потом Гикор испугался, как бы Симон не подумал, что он над ним издевается.— Чужая лошадь, не моя.

— Может, йод сгодится?

‹ Ах, ты еще и поддеваешь меня?!»

— Скажи, пусть принесут...— «Как же, ты скажешь, тебе принесут, да что ты за мужчина, твой сопляк, от горшка два вершка, будет фонариком играть, а ты сам пойдешь за йодом...» — Давай...

Когда закладывали в рану вату, лошадь дрожала, и пот ее прошиб в минуту. Она прижалась к Гикору, и Гикор подумал, что он купит у Андро эту лошадь, даст, сколько тот попросит, будет ходить за ней, вместе и доживут каждый свой век. Потом он снял, почистил седло. «И как это мы с тобой осилим подъем тот, а, лошадь? Ты старая, и я старый, а?» Он снова выругал Андро за то, что тот дает лошадь всем, кто ни попросит. Такую лошадь. Он захотел пойти и тут же выкупать Алхо. Или хотя бы просто напоить.

— Ребенок сделает,— остановил его Симон.— Макбет!

— Ну да, он лучше нашего даже сделает,— посмеялся Гикор, но холодные голубые глаза ребенка не понравились ему. И главное, он не переставая гасил-зажигал свой фонарик, гасил-зажигал.

— Эй, Макбет, давай наперегонки.— На улице затрещал мотоцикл.

Они сидели за столом и пили чай, и хлеб их был вкусен, и на столе стояло варенье из инжира. Их красный хлеб был очень вкусен. Они пообещали ему дать, сколько он увезет с собой. «У меня и денежки припрятаны, уплачу...» — сказал он, но хозяева только махнули рукой, какие деньги, закрома лопаются. Да, да, все у них в Цмакуте хорошо, кроме хлеба, все родится, а хлеб неважный вот... не хватает даже. «Государственный потребляете?» — «Государст-

венный. Зерном берем и мукой, ну, да все равно невкусный...» А старуха его совсем старухой заделалась, мать и та крепче... Хотела она им маслица прислать, да побоялась — протухнет по дороге, жаркая дорога, асфальт... Все это время Гикор прислушивался к голосам на улице — мальчик не вел Алхо обратно, что-то они задерживались.

— Сын твой не идет что-то,— сказал Гикор.

— Да нет, ничего не сделается,— успокоил его Симон.

— В школе как учится — хорошо?

— Хорошо, хорошо, только вот трактор его очень интересует.

— Мне он... мне он что-то не таким показался, а?

— Верно, верно заметил,— засмеялся родитель.— На экзаменах телефон устроили, подсказывали друг дружке.

— Молодец,— кисло сказал Гикор.

Они не стали бить Алхо. Они привели его к роднику и смотрели, как он пьет воду и как у него надувается от этого брюхо. Потом им показалось — слишком много он пьет, и они оттащили его от воды, но один из ребят сказал, что он заметил, как лошадь, не разжимая губ, пила воду; пошли проверять — в самом деле, Алхо пил воду плотно сомкнутыми губами: чтобы песок и грязь в рот не попали. Потом они вывели его за село и пустили по дороге.

Алхо боялся тринадцати-пятнадцатилетних ребят. Он предпочитал скорее груз непосильный, дорогу на станцию, остромордую суку, и красную суку, и вшивого пса — всех псов, вместе взятых, и змею в придачу, и шмелей,— там он, по крайней мере, знал, что будет. А эти ведут по дороге, а Алхо ждет пропасти. Алхо ждал пропасти под ногой, но пропасти не было, только сзади ехал мотоцикл. Но Алхо все равно не верил им, даже когда они поили его — Алхо не верил им.

А они вели его, вели и вдруг остановили, поспорили, кому садиться, потом их трое уселось на Алхо, и Алхо побежал. Неудобно ему было, но ничего, выдержать можно. Но когда за ним погнался мотоцикл — началась пытка: мотоцикл возникал сзади, спереди, сбоку, путался в ногах, Алхо думал, что уж лучше бы они его избили и на этом покончили.

— Ладно, устал уже, пусть отдохнет...

— Эй, Макбет, горючее у него кончилось, слышишь...

Они поспорили, что лучше: лошадь или мотоцикл. Потом мотоцикла не было, но они стали дурака валять с его хвостом, они приказывали ему идти, а сами держали за хвост, хвост чуть не отрывался. Не отрывался, конечно, но это было больно. Лучше бы раз навсегда оторвали его ему. Когда они приладили карманный

фонарик ему на лоб, его чуть не передернуло от отвращения, а они вдобавок вздумали вдруг кормить его.

— А теперь пасись,— сказал один.

— Пасись,— сказал другой и пригнул его голову к земле.

А третий сунул ему под нос какой-то цветок:

— Ешь цветок, тебе дают.

— Не понимает.

— Темно, не видит, наверное.

Луна обливала землю молочным светом, ее молчаливый большой круг спокойно сеял этот свет над землей. Помаргивали звезды. Из звезд только половина — звезды. Другая половина — планеты, такие же, как наши. На планетах, наверное, живут люди. Люди с планет, наверное, смотрят сейчас на землю в большие бинокли и видят скошенное поле, детей, лошадь и странный печальный свет фонарика, прилаженного ко лбу этой лошади. Печальный и смешной.

Когда Гикор с Симоном приблизились к ним, луна все так же проливала свой молочно-белый свет на поле, качались тени от лошади, тихо угасали серые падающие звезды и, вытаращив глаза, сосредоточенно и безмолвно глядели на лошадь с фонарем смуглые темноглазые мальчишки.

— Гипноз делаем.

Гикор не стал их бить, чужие были все-таки. И Симон не рассердился на сына, он подумал, что раз мальчишки не бегут, значит, никаких беспорядков тут не было. Гикор молча снял фонарик, сунул к себе в карман — не посмеют попросить, себе возьмет. Словом, будет фонарь в Цмакуте — это уж точно.

Может, не нагружать Алхо до смерти, а? Не голод же в конце концов, не засуха? А эти-то, хозяева, хоть бы они заступились за лошадь, но нет, боятся скупыми показаться, ах ты! Алхо принял весь груз, и его словно не стало. Словно умер Алхо.

— Айта, вроде много получается...

В Англии или где там, говорят, сыновья, когда уезжают жить в другой город, каждый месяц шлют домой письмо, так и так, мол, жив-здоров, чего и вам желаю. И деньги посылают — аккуратно, каждый месяц, черти. Свой сыновний долг. Ну, да Англия страна что надо, там порядок знают... Алхо не дойдет, наверное... И вдруг Гикор сам почувствовал усталость, почувствовал все свои шестьдесят пять лет и почувствовал смутную тревогу.

— Алхо...

Он поправил ему удила, седло, стремя.

— Алхо...

По Алхо шел — с глухим, едва слышным стоном. Алхо шел — наперекор грузу, наперекор жизни своей шел. Интересно знать,

зачем убили несоевского Аршака? Кажется, деньги вез, так, гроши какие-то, масло в городе продал, копейки.

— Как-то мы с тобой доберемся, Алхо?..

И он понял, что постарел, что дорога эта его утомила. Он вспомнил утренний веселый автобус и выругался:

— Безмозглые дураки, чтоб вас!..

Но автобус тут же забылся, и перед ним встал Андро, у телеги, с ослиным своим лицом.

— Тряпка, из-за баб готов на все...

И вспомнилась ему Ашхен, но ее он не выругал. И с отвращением и брезгливостью он вспомнил красные губы сына. И вспомнил речку, Алхо на берегу, девочек и выругал разомлевшую на солнце великаншу, представил сына рядом с ней и выругался еще раз; его сын Генрик был рядом с ней маленьким, щуплым, и это ему очень не понравилось, потому что великанша могла схватить Генрика за белый нос, и у него бы перехватило дыхание... «С восьмого класса курит, сукин сын»,— подумал он и вспомнил прокуренную комнату в райкоме, где бюро исключало его из партии и снимало с председательства. А он и тогда был нагруженной лошадкой — он думал о сене, его исключали из партии, а он беспокоился, как там в Цмакуте картошка, не попортилась бы. И тревожился впрок — за все возможные голодные годы, за все засухи, которые будут и которых не будет. Гикор вспомнил зерно в амбаре и пшеничное поле и понял, что как этот Алхо прикован к своему грузу, так и он, Гикор, намертво прибит к этим полям и этим амбарам, будь они свои или чужие, были бы в Цмакуте. Он выругал пекаря Ваго за то, что тот печет невкусный хлеб, и заставил себя подумать, как он все имущество свое продаст и переедет жить в город. Но он и минуты не смог прожить в этом воображаемом городе, сердце у него чуть не разорвалось.

— Алхо, Алхо мой...

Он вспомнил сына своего Генрика, вспомнил, как приехал к нему с барашком, как сын привел своих сослуживцев и секретаршу с длинными ногами, как он, Гикор, с невесткой готовили шашлык, дым выел им глаза, все кончено было наконец, и Гикор, войдя в комнату, увидел напившихся-наевшихся осоловелых гостей сына: «Не стали тебя ждать, отец, шашлык надо горячим кушать, выпей за нас...» Он вспомнил свою глупую гордость, неизвестно откуда всплывшую, вспомнил, как ему тогда захотелось рассказать про свою с Левоном поездку в Москву и как никто его не стал тогда слушать... И вспомнил, как сын стеснялся его и своей деревенской жены... Ах ты, боже мой... И тогда Гикор подумал, сколько дармоедов на этой земле, и подумал, что и государст-

во-то стоит пожалеть, столько дармоедов, только и знают баклуши бить.

— Алхо, родной... Нет, я ничего. Ну раз встал, давай я тебе поправлю тут... Так... так лучше?

— Накрой мешки брезентом,— сказал Гикор жене.— Лошадь как следует вытри, войлоком накрой, чтоб не простыла. Свиней прогони — я спать ложусь. Да не греми ты своими кастрюльками! — заорал Гикор...— Из Касаха иду, чтоб тебя с твоим мацуном...— пробормотал он уже во сне.

А потом, потом реял ветерок, какой только в горах бывает, реял от вершины к вершине, чуть трепля облака, заведующий фермой Левон ругался с конюхом Месропом, женщины доили овец, лаяли проголодавшиеся псы, вдали подал голос оранжевый табун, жена Гикора зарезала курицу, и тихо-тихо дремал Алхо.

Овцы ушли пастись, собаки, сытые уже, не желали их сопровождать, но все же двинулись вслед нехотя. Алхо отдыхал стоя.

Гикор вышел из палатки, сел у входа и зевнул, мрачный-премрачный. Пришла Ашхен, сказала: «И нагрузил же ты...» Гикор сказал: «Пошла, не твоего ума дело». Пастухи отогнали от стада чужого телка, и двадцать раз мелькнула под носом у собак лиса и двадцать раз скрылась, окруженная собаками. Гикор спустился к оврагу. Левон колол дрова для фермы. Месроп направлялся к табуну, а Алхо пощипывал траву.

— Ешь,— сказал ему Гикор.

Утром Гикор спросил его:

— Все еще пасешься? Хорошо делаешь, молодец. Пасись.

Реял ветерок, какой только в горах бывает, реял от вершины к вершине, чуть трепля облака, женщины доили овец, и подал голос оранжевый табун. Алхо вскинул голову — широкозадые кобылы источали там аромат и сулили сладкую усталость, не такую, какая бывает от груза. Алхо негромко заржал и пошел к ним. Из табуна метнулся, поглядел на него с минуту и бросился на него жеребец. Отшвырнул Алхо, подмял под себя и, похрапывая, умчался. Вернулся к табуну. И поглядел оттуда злыми презрительными глазами: где-то там это жалкое ничтожество, осмелившееся подступиться к табуну?

Алхо сел, потом поднялся на ноги, поглядел на табун — кобылы источали тепло и запах цветов. Алхо заржал. Жеребец обошел свой табун легкой поступью и снова бросился на Алхо — подмял его снова и, победный и злой, вернулся к кобылам.

По небу плыли клочки облаков, маячил среди зелени оранжевый табун, скулили и выли проголодавшиеся собаки. Алхо поднялся, встал на дрожащих ногах, поднял голову — кобылы источали запах цветов и тепло. Алхо заржал и двинулся к табуну.

— Гикор! Лошадь убивают... Гикор...

— Гикор! Отойди, Гикор, задавит, отойди, ради Христа!..

С вилами в руках Гикор пошел навстречу жеребцу.

— Бездельник, собака, кишки тебе выпущу, стерва...

Гикора собаки спасли, окружили жеребца и оттеснили его от Гикора и Алхо. А Алхо все рвался к оранжевому табуну, все шел к нему и не видел Гикора. И Алхо пошел — пошел, подминая под собой Гикора.

А оранжевый жеребец вырвался из кольца собак, ударил, укусил Алхо, распростер его по земле и ушел к своему табуну, разметав огненную гриву. И от самого табуна огляпулся и увидел, как Алхо в который раз уже встал, постоял секунду и пошел за Гикором. Пошел по дороге, ведущей к последующим грузам, пошел через село на станцию.

— Спасибочки,— сказано было Андро,— спасибочки тебе! Как Гикору надо бывает в Касах, Алхо тут как тут, а ребенок два дня болтается на станции, так Алхо устал, спасибочки...

— Андраник...— позвала бабка, мать Андро.

— Да с тобой-то что приключилось, мать, что — Андраник?!

— Сын твоего брата на станции сидит, Андраник...

— А я что, виноват, что ли, что он на станции сидит, я что — виноват?..

1965

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

1

Он лежит на скамье в простенке между двумя окнами, с безжизненным восковым лицом, на котором уже ни движения, ни мысли, только какая-то неопределенная тупая гримаса. Эта гримаса, совершенно не свойственная человеку при жизни, делает его лицо почти неузнаваемым. Такие же омертвевшие в своей неподвижности руки его сложены кистями на животе поверх неподпоясанной суконной гимнастерки с двумя эмалевыми шпалами в полевых петлицах. Ордена с гимнастерки уже отвинчены, и на груди заметны две маленькие дырочки с ржавчиной по краям, которые издали кажутся пятнами крови. Слегка раздвинутые ноги в аккуратно натянутых шерстяных носках выглядят не по-мужски маленькими.

— Ну, посмотрел? — поворачивается к порогу впустивший меня сюда старшина комендантского взвода, давая понять, что пора уходить. Насунув на голову шапку, я осторожно, стараясь не нарушить тишины этой хаты, открываю дверь. Закрыть ее с моей раненой, подвешенной на груди рукой не очень удобно, и старшина закрывает дверь сам.

На дворе морозно и солнечно. Над леском за деревней валит в небо сизый дым от пожара, в отдалении погрохатывают разрывы мин, забравшись в самую высь, с утра нудно гудит немецкая «рама». Но это все там, на передовой за лесом, здесь же, в полуразрушенной прифронтовой деревушке, в общем, тихо и спокойно. На улицу с какой-то поклажей под брезентом въехало несколько повозок, и обозники, видно, в поисках пристанища, бегают по дворам. В этот двор они только заглядывают через ограду и пробегают мимо — этот двор им не нравится, как не нравится он и мне, да, наверно, и вот этим бойцам из комендантского взвода, что, при-

строившись подле сарая, сколачивают гроб. Бойцы молодые, видно, впервые взялись за такое не очень привычное даже на войне дело, и работа у них явно не спорится. Я не знаю, куда идти дальше, и, остановившись поодаль, отчужденно наблюдаю за их работой.

— Да держи ты! Безрукий, что ли! — нервно пинает один из них короткий обрезок доски, в который он намеревается забить гвоздь.

— Держу! Не разевайся, крикун!

Гвозди, наверное, из проволоки, они гнутся под молотком и не лезут в сучковатое дерево. Крикун, стоя на коленях, кое-как приколачивает доску и, отложив молоток, озабоченно осматривает свою работу.

— Ну вот! А ширины такой хватит? — спокойнее спрашивает он и исподлобья бросает примирительный взгляд на своего напарника.

— Померить бы надо,— говорит напарник, белобрысый и синеглазый, в шапке с растопыренными наушниками, с которых свисают тесемки завязок. Однако идти в избу, где лежит убитый, никому из них, видно, не хочется, и крикун машет рукой. Поднявшись на ноги, он скидывает с себя телогрейку и неловко примащивается в мелком, без одной стенки гробу.

— Ну-ка гляди. Хорош?

— Хорош. Будто широковат даже.

— А ты пометь. Зачем лишнее?

Светлоглазый деловито отмечает на торце место для боковых досок, а я уже не могу тут оставаться. Мне все время хочется куда-то идти. Конечно, надо добираться в санбат, но машины будут еще не скоро: только что отправили тяжелых, а легко раненным, видно, придется подождать до обеда.

Не находя чем занять себя и желая как-нибудь скоротать время, я медленно бреду по деревенской улице к школе, где роют могилу. Мне одиноко и горестно, очень болит рука. После бессонной ночи временами познабливает, и в глазах неотвязно мелькают обрывки вчерашних событий, звучат голоса людей, которых уже нет и никогда больше не будет.

Да, вчера все было иначе...

2

Под вечер взвод автоматчиков занял хутор.

Занял легко, с ходу, почти без боя: несколько немцев, кажется, ни разу не выстрелив, убежали по санной дороге в село, и мы, постреляв по ним больше для острастки, чем с надеждой попасть

(было далеко), разошлись в цепь и легли на снегу за изгородью в пятидесяти шагах от хаты с сараями.

Мы не стали наступать дальше, потому что и без того здорово вырвались из боевых порядков полка, бой — слышно было — шел сзади, справа и слева. Тяжелые немецкие мины, с тугим воем проносясь над головами, перепахивали там снег с землей, иногда слышалось ослабленное расстоянием, какое-то неуверенное «ура», но пулеметно-ружейная трескотня заглушала его, и крики совсем пропадали. Не надо было обладать большим опытом, чтобы понять, какой ценой доставались полку высоты. Нам же тут, под носом у немцев, как это ни странно, было спокойно.

Я лежал на снегу с внутренней стороны изгороди за опрокинутым кузовом пароконной немецкой повозки и, возбужденный еще не остывшей радостью сравнительно легкого успеха, чувствовал себя почти счастливым. Выглядывая из-за засыпанного снегом ящика и вслушиваясь в грохот недалекого боя, я старался заметить в нем хоть какой-нибудь признак того, что немцы отходят, но ничего заметить не мог. Тогда появилось предположение, что, может, так еще и лучше — держаться тут на этом мыску, в общем, было нетрудно, и в то же время это был мысок, глубоко вдававшийся в оборону противника, что уже само по себе свидетельствовало об исключительности нашей позиции. Шло время, у нас было спокойно, и честолюбивые видения все настойчивее стали занимать мое воображение. Я представлял себе, как на НП всегда злой, раздраженный боем командир полка говорит начальнику штаба: «Молодец этот автоматчик, вишь, вклинился куда!» Или, может, даже покрикивает в трубку на нашего соседа комбата-три: «Что там топчешься! Вон автоматчики хутор взяли. На них равняйся!» Впрочем, я был бы доволен, если бы он даже не сказал, а хотя бы подумал про меня что-нибудь вроде: «Молодец младшой! Не из трусливого десятка!»

Храбрый я или трус — это мне еще и самому было неведомо. За крайне непродолжительный срок фронтовой службы проверить себя на это еще не представилось случая. Всего два дня назад каждый визг мины над головой заставлял меня сжиматься, вдавливаться всем телом в снег; правда, потом я убедился, что мины все-таки идут мимо, и как-то незаметно для себя стал привыкать. Да и стеснялся своего помкомвзвода, сержанта Хозяинова, широколицего, неторопливого человека, который всякий раз, когда я, тщательно подавляя страх, все-таки вздрагивал, будто невзначай бросал:

— Ничего! Мимо...

Я и сам знал, что мимо, и, чтобы загладить неловкость, запоздало, без надобности высовывался из придорожной канавы, в ко-

торой мы лежали с утра в ожидании атаки. Но что я мог сделать, если мое тело само, независимо от воли, так бесстыже-предательски реагировало на каждый ожидаемый и все-таки совершенно внезапный разрыв. Даже не глядя в мою сторону, все это замечал всевидящий сержант Хозяинов.

— Ничего, лишь бы до ночи...

Он и теперь, кажется, угадывал мои мысли и, посасывая из рукава махорочную самокрутку, тоже прислушивался к громыханию боя сзади. На сержанте был новый, комсоставский полушубок с вырванным куском овчины на левой лопатке, валенки на ногах, рукавиц он, сдается, не носил, согревая руки цигаркой. Похоже, ему было тепло. Я же в своей «на рыбьем меху» шинельке уже начал стыть на снегу и, обернувшись, приглядывался к постройкам — вросшей в снег хате и покосившимся сараюшкам со снежными шапками на стрехах. Жителей там вроде не было — хутор выглядел давно покинутым, но там все же, казалось, теплее, чем здесь, на ветру. Хозяинов сразу среагировал на это мое любопытство, выглянул из-за кузова и, завидя бойца, что был ближе других в цепи, негромко окликнул:

— Маханьков! Слышь, посмотри-ка там...

Как ни странно, Маханьков все понял, с готовностью исправного солдата быстро развернулся и, усердно разгребая локтями снег и виляя задом, пополз через двор к крыльцу.

— Ночью обогреемся. Не может быть,— будто желая утешить меня да, наверное, и себя тоже, сказал Хозяинов и смачно засосал цигарку.

Да, ночь нам была нужна, я чувствовал это, ночью мы могли тут просидеть, а утром... Впрочем, мои помыслы не шли дальше ночи, утро было необыкновенно далеким и совершенно неопределенным — мало ли что может случиться утром.

Тем временем постепенно темнело, меркло низкое, серое, как вата из телогрейки, небо. За снежным полем вдали едва угадывались крыши домов, дым от пожара в той стороне совсем слился с мраком и не различался в небе. Только столбы у дороги на фоне снежной серости еще просматривались в сумерках почти до села. Мины над хутором, кажется, стали визжать чуть пореже. Судя по затихающей стрельбе сзади, можно было заключить, что бой к ночи кончался, так и не принеся нужного успеха полку. Пожалуй, действительно нам предстояло коротать ночь в полуокружении.

Но мне почему-то не было особенно боязно. Хотя мы и оказались в полукольце, зато ушли подальше от начальства, которое за три дня наступления прямо-таки загоняло мой взвод автомат-

чиков. Даже Хозяинов стал роптать. В общем, пока получалось по пословице: нет худа без добра.

Мы еще полежали некоторое время. Мороз к ночи стал заметно усиливаться. Бойцы, не дожидаясь команды, начали орудовать лопатками — рыли в снегу ячейки для укрытия, а больше, чтобы согреться. Думая о разном, я все ждал Маханькова, который должен приползти и что-то сообщить, как вдруг из хаты донесся его голос:

— Товарищ сержант!.. Товарищ сержант Хозяинов!

Голос был не совсем обычный — вроде встревоженный и обрадованный одновременно, мы враз обернулись и увидели высунувшееся из дверей улыбающееся лицо бойца.

— Идите сюда!

— Что такое?..

Хозяинов помедлил, бросил угрюмый взгляд в поле. Но Маханьков многозначительно ждал, и сержант, подхватив свой автомат, быстренько побежал, пригнувшись, сначала под изгородью, а потом вдоль стены дома и исчез в темном проеме дверей.

Опять потянулось время.

Впрочем, на этот раз они пропадали недолго, и в дверях опять показалось загадочно-оживленное лицо Маханькова.

— Товарищ младший лейтенант, помкомвзвода зовет.

Секунду я боролся с сознанием того, что не надо уползать отсюда, хотя и было тихо, но все-таки негоже оставлять взвод без присмотра. Но опять же, если звал Хозяинов, значит, причина была вполне уважительная.

Извозившись в снегу, я дополз до порога и вскочил в сени, из которых настежь раскрытая дверь вела в горницу. Хата имела нежилой вид — пол был застлан лежалой соломой, у порога валялось несколько зеленых ящиков из-под боеприпасов. Ни стола, ни кровати здесь не было, видно, на хуторе давно хозяйничали немцы. Посредине залы на коленях стоял Хозяинов, который, наклоняя к окну термос, старался что-то разглядеть в нем.

— Лейтенант, вот трофей обнаружили,— взглянув на меня, сообщил помкомвзвода.

— Термос?

— Не термос! В термосе...

С остывающим любопытством я тоже заглянул в луженое нутро термоса, где, отражая окно, колебалась до половины налитая жидкость.

— Шнапс?

— Водка. Наша, родимая. Русско-горькая.

Признаться, я разочаровался. Не то чтобы я не пил вовсе, но,

изредка выпивая, все же не чувствовал к выпивке большого пристрастия. С гораздо большей радостью я отнесся бы к находке чего-либо съестного. А то водка! Пить ее теперь у меня не было ни малейшего желания — я хотел есть.

— Давай погреемся,— сказал Хозяинов.— Пока суд да дело. Маханьков, у тебя была кружка.

Маханьков стащил со спины свой тощий вещевой мешок и вынул из него алюминиевую кружку с двойной ручкой на плоском боку.

— Та-ак! Сейчас мы тово... Только я первый. Мало ли что...

По правде, все это мне мало нравилось, но какая-то уважительная перешительность перед старшим, более опытным на войне человеком не позволяла настоять на своем. Хозяинов же явно радовался находке. Крупные черты его обветренного, не часто бритого и давно не молодого лица разгладились, глаза оживились и подобрели. Вытерев ладонью края кружки, он бережно зачерпнул ею из термоса, при скупом свете из выбитых окон еще раз вгляделся в жидкость и сделал глоток.

— Наша, наркомовская.

— Напрасно вы,— неуверенно начал я, но тотчас примолк под удивленным, почти негодующим взглядом помкомвзвода.

— Как напрасно? Вы что? Маханьков, давай флягу. Мы ее сейчас...

Маханьков торопливо отвязал от ремня стеклянную, в матерчатом чехле флягу, при виде которой Хозяинов недовольно хмыкнул.

— Лучшей не мог достать? Вояка...

Фляга действительно была не очень надежная, и помкомвзвода, прежде чем наполнить ее, повертел посудину в руках, заглянул внутрь, даже понюхал. Затем стал бережно, тоненькой струйкой переливать водку.

— Слетай-ка к хлопцам. Еще пару фляг надо.

Но только Маханьков вскочил на ноги, как в сумерках зимнего вечера раздался короткий оглушительный треск. От неожиданности мне показалось, что это Маханьков печаянно дал очередь из автомата. Но в следующее мгновение треск повторился, из окна со звоном вылетело единственное там стекло, где-то вблизи грохнул разрыв, и тотчас мелкой и частой дробью затрещали окрест автоматные очереди.

Сначала мы упали на солому, потом Хозяинов, выругавшись, метнулся к окну, я бросился к другому, но запнулся о термос и снова упал, выронив автомат. Когда я ухватил оружие, Хозяинов у окна вдруг неестественно выпрямился и с какой-то страшной медлительностью стал поворачиваться в мою сторону. Вскакивая

с пола, я взглянул в лицо помкомвзвода и не узнал его: нижняя челюсть сержанта мелко задергалась, глаза расширились, зрачки ушли вниз. Медленно распрямившись у окна и не сказав ни слова, он вдруг всем телом рухнул к моим ногам на солому.

В совершенной растерянности я не понимал, что происходит.

Где-то в подсознании мелькнула мысль, что помкомвзвода шутит, но, кажется, было не до шуток. Упав рядом, я схватил его за плечи и повернул на спину. Белый воротник полушубка был залит кровью. Кровь и пузыристая розовая пена били из двух пулевых ран на шее, как раз по обе стороны глотки. Я вырвал из кармана брюк перевязочный пакет и трясущимися руками начал обматывать бинтом его шею. Снаружи вовсю гремел бой, было отчетливо слышно, как пули с глухими шлепками вонзались в стены, кто-то пробежал рядом, кто-то кричал. Сумрачное небо за окном прорезал огненный сверк близких трасс. Всем своим существом почувствовав, что случилась беда, я, не завязав концы бинта, бросился к двери.

В это время кто-то вскочил на крыльцо.

В сенях было темно, и он, наверно, не сразу увидел меня. Это был немец в каске и длиннополой неподпоясанной шинели, с полуоторванным погоном на плече. Мои руки сами вскинули автомат и выпустили в упор длинную — слишком длинную — очередь. Немец подломился и осел на крыльцо, но за ним сразу же появились другие. Не зная, как спасаться, я вдоль стены отпрянул назад, в горницу, и там затаился в углу напротив печи. Тотчас из двери пахнуло дрожащее беловатое пламя, длинная очередь прошлась по соломе, по Хозяинову, осыпала пулями два угла. Не целясь, наугад, я такой же очередью ударил из-за косяка по белой вспышке, в сенях кто-то сдавленно замычал и затих. Я понимал, что остались последние мои секунды, и в короткую паузу между очередями боком подался к окну. Тут меня легко можно было расстрелять, но они не стреляли — через дверь они метнули гранату. Ударившись о голую стену, она отлетела к порогу, а я вскочил на ящик под окном и двумя ударами сапога высадил раму.

Выпрыгнул за секунду до взрыва, обсыпанный соломенной трухой, поднялся с колен у завалинки и что было сил припустил в поле, где врассыпную по снегу бежал мой взвод. Многие были уже далеко, а из-за сараев вслед нам стегали зеленые молнии трасс. На бегу я оглянулся — возле крайнего от леска сарая, изрыгая огонь, стояли два бронетранспортера, пехота с которых уже ворвалась в хутор.

3

Мы собрались в редкой молодой посадке у дороги, откуда несколько часов назад атаковали и где оставались в снегу вырытые утром окопчики. Немцы нас не преследовали, видно, целью их контратаки был хутор, который теперь, в наступившей почи, полыхал за полем неистовым на ветру пламенем. Где-то там же остались и бронетранспортеры. Их крупнокалиберные пулеметы время от времени сыпали в нашу сторону огненные светляки трассирующих очередей.

Автоматчики разбрелись по своим окопчикам, многие из которых теперь пустовали. Я послал Маханькова сосчитать, сколько нас уцелело, и тогда оказалось, что мы потеряли в этом злополучном бою восемь человек — ровно одну треть взвода. Четверо погибли на хуторе, двое остались в поле, двое легкораненых ушли по дороге в тыл. Самой тяжкой для меня потерей был, разумеется, сержант Хозяинов.

Ошеломленный случившимся, не в состоянии унять нервную дрожь в теле, я прислонился плечом к топкому деревцу над окопчиком и сидел так, поглядывая в поле. После всего что произошло, лезть в укрытие, прятаться было противно. Очереди с хутора теперь не пугали меня, кажется, я уже окончательно излечился от страха, но все еще чего-то не мог понять, в чем-то не мог разобраться. Я только чувствовал: надо немедленно что-то делать, чтобы исправить положение. В то же время было совершенно ясно, что против двух бронетранспортеров с пулеметами мы бессильны. В этот момент я не думал о собственной безопасности, та схватка на хуторе почему-то не казалась мне чересчур страшной, я просто плохо помнил ее, все происходившее было словно в тумане и вспоминалось будто спросонок. Я проклинал коварство фашистов, водку, сгубившую Хозяинова, свою столь непростительную беспечность. Маханьков, судя по его виду, не меньше меня переживал это несчастье и молча сидел рядом. Каким-то чудом ему удалось невредимым выскочить из переделки, и теперь он, словно чувствуя какую-то свою вину, старался держаться ко мне поближе.

— Вот полыхает!

Да, хутор полыхал, словно цистерна с бензином, и мы, будто завороженные, уныло глядели на огонь, из которого не всем посчастливилось унести ноги. Но что мы могли сделать?

— И откуда они прорвались? Из-за бугра, что ли? Их из села ждали, а они из-за бугра,— приглушенным голосом, все еще удивляясь, говорил Маханьков. Я рассеянно слушал его, терзаясь от собственных мыслей, когда в дальнем конце канавы послышался голос. Вскоре он раздался ближе, похоже, звали меня.

— Что такое?

— Товарищ лейтенант, там зовут.

— Кто зовет?

Боец в соседней ячейке, передавший мне это, замолчал, повернув голову к дороге. В ночных сумерках угадывалось движение нескольких теней, кажется, они направлялись сюда.

— Где командир взвода?

Молча я вскочил на ноги и выбежал на дорогу, во все глаза вглядываясь в серый полумрак ночи. Конечно, я уже догадывался, кто это, и сердце мое тоскливо сжалось в предчувствии и еще худшего.

Командир полка Воронин, завидя меня, остановился в некотором отдалении, и я, подбежав, молча стал напротив. Нетрудно было догадаться, какое дело привело майора во взвод автоматчиков, но слов для оправдания у меня не было, и я не старался найти их.

— Почему сдали хутор?

Судорожно сжимая ремень автомата на плече, я молчал. Что я мог сказать ему? Разве он сам не видел с НП, что происходило на этом хуторе.

— Я спрашиваю, почему сдан хутор?

— Бронетранспортеры, товарищ майор...

— Плевать мне на бронетранспортеры! Почему сдан хутор?

Конечно, мои объяснения ему ни к чему — ему нужен был хутор, а не мои оправдания. Я не отвечал, готовый принять любое наказание, которого заслуживал. Но он угрюмо молчал. Над полем с хутора взвилась ракета, в вышине она распалась на три, звездное небо вспыхнуло синевато-дымчатым отсветом. Нас могли обнаружить тут, но майор даже не пошевелился, уничтожая меня злым нахмуренным взглядом. Потом он вскинул руку и, тыча ею в поле, ледяным голосом объявил:

— Чтоб вы мне к утру его взяли!

Я смотрел на его сутулую, затянутую поверх полушубка ремнями фигуру, и в этот момент для меня не существовало в мире ничего, кроме его гневной власти.

— Вы поняли? — не услышав полагающегося ответа, повысил голос майор.

— Понял, товарищ майор.

— Не возьмете к восьми ноль-ноль, я вас расстреляю вот тут же, из этого вот пистолета.

Он легко выдернул из расстегнутой кобуры свой черный ТТ и потряс им у меня перед носом.

— Есть! — сказал я. Голос мой при этом дрогнул в совершенной растерянности.

— Вот так! В восемь ноль-ноль. Запомните.

Да, я запомнил. Я еще плохо понимал все последствия этого предупреждения, но названный срок я запомнил. Весьма невеселый его смысл медленно доходил до моего сознания, командир полка с двумя автоматчиками далековато уже отошел по дороге, а я все еще стоял на месте, изо всех сил стараясь сообразить, что делать.

Над полем опять взвилась ракета, затем, когда она догорела, засветилась вторая: в дрожащем ее свете под звездами ярко обозначился изогнутый, расползающийся на ветру след первой. Тотчас стремительные тени трасс засверкали от хутора, вонзаясь в насыпь дороги и рикошетом отлетая из-под моих ног в стороны — в тут же сомкнувшийся мрак ночи.

— Товарищ лейтенант!

Я словно в полусне опустился в окопчик под деревцем. Возле, не занимая его, лежал на боку Маханьков. Вскоре откуда-то из цепи подбежал и упал рядом Гринюк, единственный уцелевший во взводе командир отделения. Оба молчали, наверное, ожидая, что скажу я, но я тоже молчал. К тому красноречивому разговору с командиром полка, который они все слышали, добавить мне было нечего.

Тем временем тучи в небе редели, и в их рваных просветах показалась луна. Немцы еще выпустили длинную очередь трассирующих, на этот раз гораздо правее взвода, в направлении высоты, куда отправился командир полка.

— Колготится фриц,— сказал Гринюк.— Дрейфит, видно.

Маханьков промолчал, я тоже. Некоторое время все мы сидели молча, но я знал, оба они сочувствовали мне и, наверное, хотели как-то ободрить и утешить. Однако никакие утешения сейчас не имели смысла, и бойцы, пожалуй, отлично понимали это.

— Пока суд да дело, давайте перекусим,— сказал Гринюк. Достав из кармана, он протянул мне горсть чего-то съедобного.

— Что это? А-а-а...

— Галеты, товарищ лейтенант. Маханьков, дай-ка флягу.

Маханьков с готовностью подал флягу, и я, почти недоумевая (какая фляга, зачем фляга?), словно пробуждаясь от скверного сна, взял ее. Это была та, знакомая, недоброй памяти стеклянная фляжка, и в ней весомо, словно живое существо, с тихим плеском шевелилось пол-литра водки.

— Выпейте, лейтенант,— как-то просто, по-домашнему сказал Гринюк.— Для сугреву не помешает.

Я подержал флягу в руке, подумал и выдернул резиновую пробку. Водка была дьявольски холодная и горчила во рту, более

чем на три глотка у меня не хватило дыхания. Потом, пока я с внезапно пробудившимся аппетитом жевал скрипучую галету, глотнули понемногу Гринюк и Маханьков.

— Вот и хорошо! Потеплее стало. А то ночка — не мамочка.

Действительно, стало будто немного теплее, а главное, как-то бодрее, тягостная пелена с души спала, и моя большая беда вдруг стала понемногу убывать.

— Гринюк, как у вас с патронами?

— С патронами? А ничего. Есть патроны.

— Маханьков, передай по цепи флягу. Каждому — один глоток.

Маханьков поднял голову, будто чего-то не понимая, и я настоял:

— Передай, передай! И подготовиться к атаке!

— Сейчас? — удивился Гринюк.

— Да, сейчас.

Гринюк помолчал, дожевывая галету, посмотрел в поле. Пятно освещенного пространства возле хутора сузилось, пламя заметно поникло, и все пожарище распалось на несколько тусклых, беспрерывно искрящихся на ветру очагов.

— Не спешите, лейтенант. Не надо спешить. Зачем?

— Как зачем?

Гринюк завозился на снегу, высморкался, утерся рукавицей и с явным неодобрением шумно вздохнул. Меня же то ли от водки, то ли от того, что я только сейчас начал осознавать незавидную свою перспективу, начала разбирать неуемная жажда действия. Хотелось немедленно куда-то бежать, что-то делать, кажется, я начинал чувствовать в себе силу и решимость противостоять беде. Гринюк же, судя по всему, относился к этому иначе.

— Подождем. До утра целая ночь.

— Ну и что? За ночь хутор ближе не станет. Маханьков, беги узнай время.

Маханьков, пригнувшись, шмыгнул в канаву и побежал к бойцу Бабкину, у которого были часы. Гринюк, задрав подбородок, поглядел в небо, где время от времени выскальзывал из-за рваных облаков почти правильный диск луны.

— Хотя б это бельмо скрылось. А так...

— Наплевать. Сколько, Маханьков?

— Двадцать минут первого, товарищ лейтенант,— подходя, ответил Маханьков и опустился на одно колено.

Я поднялся из окопа.

— Так, приготовиться к атаке! Дозарядить магазины! Приготовить гранаты!..

4

Я с трудом набрался терпения, чтобы не поднять взвод немедленно, кое-как выждал полчаса и тогда с застучавшим сердцем вышел из окопчика. Рядом вскочил Маханьков, потом поднялись остальные, и едва различимая в сумерках цепь двинулась по снежному насту к хутору.

Хутор почти уже догорел, и только несколько огоньков слабо мерцали в сумраке на самом краю поля. Я во все глаза вглядывался в этот край, вполне сознавая, что от того, заметят нас или нет, прежде чем мы приблизимся для короткого броска, зависело для меня все. Мне казалось, что раньше, чем немцы спохватятся, взвод успеет одолеть хотя бы половину поля, остальное, разумеется, придется преодолевать под огнем. Конечно, это было не самое лучшее, но другого способа вернуть хутор я не находил. Впрочем, в одном нам как будто повезло — луна вроде надолго скрылась за густой наволочью облаков, стало заметно темнее.

Под сапогами и валенками тихо поскрипывал морозный наст, холодный несильный ветер обжигал лицо. Я очень спешил и то широким шагом, то бегом все дальше уводил взвод от дороги. Было темно и тихо. Конечно, в конце концов, немцы должны были повесить ракету, я ждал ее, чтобы, не медля ни секунды, залечь, пока она еще будет на взлете. Но ракет почему-то взлетело три сразу. Предчувствуя недоброе, я тут же распластался на снегу, невдалеке попадали бойцы, только на правом фланге кто-то непростительно зазевался, и длинная тройная тень его предательски заметалась по нещадно освещенному полю.

Ракеты не успели догореть, как из-за хутора стремительно взвились еще три, и тут же призрачное в их свете пространство над головами пропзили первые трассы. Очереди вылетели из одного места, немножко левее хутора, потом к ним присоединились другие, затрещали новые пулеметы, и в глухой до этого ночной тиши поднялся такой тарарам, которого, казалось, не было днем, когда наступал полк.

Я вслух выругался, вжался в снег, почти физически ощущая, как мое возбуждение и моя решимость уступают мстительной злой безысходности. Было ясно, что замысел мой разлетался вдребезги, наступать под таким огнем было сумасбродством.

Уткнувшись подбородком в снег, я мучительно соображал, что делать. В глубине души недолго пожила да и умерла робкая надежда, что немцы подняли такую стрельбу для острастки, что они нас не заметили. Сотни огненных светлячков, обгоняя друг

друга, скрещиваясь и расходясь, стремительно неслись в нашу сторону, ударялись в снег, изломав траекторию, взлетали снова В небо беспрерывно взмывали ракеты, и было видно, как ветер медленно раскручивает на небосклоне затейливую путаницу их дымных хвостов.

От такого уничтожающего огня нас спасало лишь расстояние — взвод находился не менее чем в километре от хутора, по сути, немцы сыпали очередями по всему полю.

Повернув голову, я посмотрел на свой взвод. Неровная его цепочка, будто замерев, лежала под сверкающей огненной пляской, казалось, ни одним движением не выдавая себя. Но теперь эта ее неподвижность уже не была преимуществом — нас наверняка обнаружили. Видимо, надо было подавать команду, чтобы возвращаться назад.

Однако я медлил: ждал, все еще надеясь на что-то неожиданное, как чудо. Вдоль цепи, грудью разрывая снег, полз Гринюк. Я видел его, но сержант, прежде чем заговорить, тронул меня за сапог и сквозь грохот и треск прокричал:

— Лейтенант! Почему лежим? Командуйте по-пластунски вперед!

«Спасибо, Гринюк»,— подумал я. А то мне показалось, что он приполз не за тем. Доведись воевать, взял бы его на место Хозяинова. А так... Впрочем, куда тут вперед?

— Раненых много?

— Да вроде не-ет! Давайте вперед. Замерзаем!

— Видишь, что делается?

— А! Была — не была. Все одно заметили.

Да, конечно, заметили, теперь спуску не будет. Теперь уж можно сближаться в открытую. Только что мы сделаем, сблизившись? Уложить пятнадцать человек при таком огне с близкого расстояния — дело пяти минут. Загублю взвод и сам лягу. Нет, так не годится.

Но тогда как же быть?

Ракеты над полем светили без перерыва. Только начинала угасать одна, немедленно в дымное от предыдущих ракет небо поднималась следующая. Ночь полнилась стоголосой россыпью выстрелов, в воздухе бесновался, плясал огонь, против которого у нас не было средств. Единственное спасение было там, сзади, где осталась наша канава в реденькой молодой посадке. Она, конечно, укроет, она спасет всех, кроме меня. Мне места там нет — там моя гибель.

Ну что ж, видать, такова судьба!

Глотая застрявший в горле комок, я скомандовал по цепи отход.

5

И вот мы снова в наших растоптанных неглубоких окопчиках и ждем теперь уже недалекого утра. Немцы молчат. Все вокруг замерло. С вызвездившегося неба ярко светит луна, окончательно хороня мою последнюю надежду как-нибудь выбраться из этой беды.

До рассвета остался час. Маханьков только что сбегал к Бабкину и, сообщив мне эту безрадостную весть, уныло опустился на край моего окопчика.

С тоской в душе я глядел в серебристое от лунного света поле, и мысли мои были далеки от этого злосчастного хутора, который слабо поблескивал вдали двумя затухающими огоньками, от канавы с пятнадцатью автоматчиками у дороги, на которой мне так скоро предстояло закончить жизнь. Думал я как раз об этой своей такой неудавшейся жизни.

Дурак, пентюх, неудачник!.. А еще столько мечтал о подвигах. Зубрил в училище уставы, тянулся по службе, получал отличные характеристики. Экзамены сдал на пятерки. Выпустили по первому разряду с правом досрочного присвоения очередного воинского звания. К чему теперь эти права и даже это первое, ставшее последним звание? Расстреляют, как собаку, за невыполнение боевого приказа, как нарушителя дисциплины и военной присяги. И поделом.

— Вот так, Маханьков!..

У меня это вырвалось вслух, и Маханьков зябко поежился под своею заиндевевшей шинелькой, трудно, продолжительно вздохнул.

Да, через час меня расстреляют, это уж определенно, но я совершенно не мог представить себя убитым. Чего-то во мне недоставало для этого — воображения, что ли? Или, может, достаточной уверенности в грозной решимости командира полка. Как будто застрелить человека на войне бог весть какое сложное дело. И тем не менее именно эта неспособность ощутить смерть, как ни странно, наполняла меня почти инстинктивным чувством бессмертия. Казалось, командир полка грозил не мне. И хутор сдавал не я. Расстрелян тоже будет кто-то другой, потому что просто немыслимо убить меня, ведь я же — вот он, живой!

Но нет, я понимал, что все это ерунда, конечно. Чуда ждать не приходится, время не остановишь. Да и Маханьков, наверно, отлично сознавал мою незавидную участь, всем своим скорбным видом свидетельствуя сочувствие, от которого, впрочем, мне не становилось легче.

А вот Гринюка, кажется, это мало заботило. Видно, тяготясь одиночеством на своем не таком уж далеком фланге, он пришел к нам по протоптанной над канавой тропинке и остановился за спиной Маханькова.

— Какой-то крик там. Слышали?

Я поднял голову, Маханьков тоже насторожился, минуту мы смотрели на Гринюка, вслушиваясь, но никаких криков не было.

— Там вон, возле пригорка. Или мне померещилось.

— Будто тихо все,— сказал Маханьков.

— Ну, померещилось, значит,— Гринюк зябко постучал каблуком о каблук.— Фляжечку бы для сугреву, а? Маханьков, у тебя там не осталось?

Маханьков удивленно посмотрел на него, не ответив, и тот, видно, понял, что́ заботило нас.

— Бросьте вы унывать, лейтенант!

— Да, бросишь! Вон час остался.

— Го! Целый час! Целый час — это ого!

Я смолчал. Он меня злил, этот непрошеный оптимист, который, пританцовывая от мороза, высказывал совершеннейшую, на мой взгляд, чепуху.

— Час — его пережить надо.

— Вы-то переживете.

— Может, да, а может, и нет. На войне оно по всякому бывает.

Гринюк потопал еще и опустился на колени у края окопчика. Затем, потирая руки, довольно бодро, с каким-то даже подъемом подался к Маханькову.

— Закурим, что ли, парнишка? Чтоб дома не журились.

Я отвернулся. Было почти противно смотреть на это его беспричинное бодрячество, которое коробило меня, издрожавшегося от холода и истерзанного муками этой роковой для меня ночи. А тут еще жутко мерзли ноги, но вставать и греть их нехитрым солдатским способом у меня недоставало сил. Сцепив озябшие руки в рукавах, я тоскливо смотрел в ночные сумерки, куда уходила дорога и где был наш полковой НП. И, наверное, поэтому я сразу услышал в той стороне одиночный винтовочный выстрел, звучно грохнувший в сторожкой предутренней тишине. Правда, мое внимание нисколько не задержалось на нем: мало ли ночью стреляют на передовой, да и в тылу. Но в тот же час торопливо бабахнуло еще и еще. И через секунду затрещало, зашипело, заохало, трассирующие, видно, с рикошета, веером разлетались над бугром.

Маханьков и Гринюк с несвернутыми цигарками недоуменно застыли возле окопа.

— Что такое?

— Обалдели они там, что ли?

— Часовой, может? С перепугу,— сказал кто-то в цепи.

Но нет, пожалуй, это не с перепугу. На случайный переполох это вообще было мало похоже — уж больно остервенело палили автоматы. Грохнул, должно быть, гранатный разрыв, и опять автоматы и редкое важное гроханье винтовок.

Что за холера!

Гринюк сунул неприкуренную цигарку за отворот шапки и вскочил на ноги.

— Кажись, нелады. Надо бы послать кого.

— Вот и давай! Бери отделение и — бегом!

Младший сержант бросился вдоль канавы, а Маханьков, тоже увлекаемый всем случившимся, перескочил окопчик.

— И я?

На секунду он задержался, ожидая моего согласия, но я медлил — что-то во мне вдруг воспротивилось его уходу. Наверно, события этой ночи чем-то сблизили нас, и теперь во мне заговорило естественное нежелание остаться здесь без него. Но я вспомнил о неуклонно убывавших минутах моего часа и махнул рукой. Семь человек Гринюка уже выбегали на дорогу, и Маханьков, закинув за плечо автомат, догнал их.

Стрельба тем временем все разгоралась, похоже, действительно в нашем тылу шел бой. Где-то за хутором заухали немецкие минометы, тяжелые мины, сотрясая землю, начали рваться в расположении батальонов. Небо завыло, зашуршало, задвигалось. Но я все не мог согласиться с мыслью, что сквозь боевые порядки полка прорывались немцы — ведь тогда мы оказывались в окружении, а это уже было похуже всех наших предыдущих бед. В канаве все насторожились, повернулись в окопчиках и, поглядывая по сторонам, вслушивались в загадочное буйство огня.

И тогда на дороге появился боец. В неподпоясанной гимнастерке, с автоматом в руках. Он был не наш, я сразу понял это и, что-то смекнув, поднялся ему навстречу. Боец, вдруг увидев цепь, закричал, почти завопил, как это возможно, только попав в беду:

— Автоматчики?.. Автоматчики — все бегом туда! Слышите! Немцы прорвались...

— Куда прорвались? Где прорвались? — уже явственно предчувствуя недоброе, сдавленным голосом спрашивал я.

— Командир, да? Начштаба приказал, бегом...

Боец вдруг замолчал, будто проглотил слова, и пошатнулся, хватаясь рукой за бок. Мы все молчали, а он стал клониться все ниже и ниже, чтобы не упасть, неуверенно переступил на дороге, проговорив тихо:

— Ребята, бинта...

Кто-то бросился к нему из канавы, а меня в этот миг будто встряхнуло что-то. Сознание враз озарила догадка-надежда, и я даже содрогнулся от мысли, что могу опоздать. Вскочив на полотно дороги, я крикнул взводу: «За мной, бегом!» — и ошалело побежал навстречу визгу, треску и тявканью боя. Он теперь не пугал меня, самое страшное — хутор и дорога — оставалось сзади, а смерть там, на НП, мне казалась наградой.

6

Но вот я не погиб, а только ранен, и довольно легко — в руку. То, что произошло на НП, заняло десять минут и видится мне до мелочей четко и ясно. Оказывается, немцы обошли мой взвод, чтобы ударить с тыла, да напоролись в ночи на полковой НП. К счастью, мы были рядом и прибежали на выручку вовремя. Автоматчики ворвались в траншею, когда в ней уже были немцы, в ход пошли гранаты, лопаты, ножи. Восемнадцать немецких трупов осталось на этом бугре. Но перепало и нам.

Когда все было кончено, в траншее на меня наскочил начштаба, он пожал мою здоровую руку и сразу же записал имя-отчество — для наградного листа. Сначала мне показалось, что он шутит, но капитан спросил еще и фамилию того младшего сержанта, отделение которого подбежало к пригорку первым и тем на минуту отвлекло немцев.

— Гринюк была его фамилия,— сказал я.

— Что — тоже?

— Тоже.

Капитан нахмурился, и его химический карандаш твердо хрустнул на полевой сумке. Начштаба выругался.

Я сам не понимаю себя. Где-то в глубине души я рад, почти счастлив и в то же время мне хочется плакать. Я едва сдерживаю слезы и не нахожу себе места. Я бегу от двора комендантского взвода, где на окровавленной соломе лежат под брезентом Гринюк, Дудченко, Усольцев и Бабкин. Я стараюсь больше не подходить к хате с раскиданной взрывом крышей, где застыл на скамье такой отчужденный теперь от всего майор Воронин. Не хочется мне идти и в санитарную роту. Сейчас там людно, накурено, раненые ждут завтрака, машин из медсанбата, а через сени напротив умирает с разорванным животом Маханьков. Говорят, везти его в медсанбат уже не имеет смысла.

К майору у меня, несмотря ни на что, только тихая жалость. К его гибели я не причастен, мы честно старались выручить его

на НП, но я все думаю: лучше бы он жил. Авось не расстрелял бы, как ночью грозился. Теперь никогда и не узнаешь, намеревался он исполнить свою угрозу или только хотел попугать. Это уже навсегда останется для меня загадкой.

Машины, судя по всему, будут не скоро. В небе над селом висит невысокое солнце, за лесом, наверное, все на тех же высотах, гремит бой. Неизвестно, как повезет сегодня нашим батальонам.

Я медленно бреду по улице к школе. Там на небольшой площадке под окнами четыре моих уцелевших автоматчика роют могилу. Одну, общую. Сначала командира полка хотели похоронить отдельно, но комиссар сказал: не стоит копать. Да и некому. Всего здоровых у меня осталось семеро — троих отдали на пополнение роты связи, четверо закопают убитых и пойдут в стрелковый батальон капитана Паршина.

По рыхлой, осыпающейся земле я взбираюсь на верх глинистой кучи и молча гляжу вниз. Ребята, повесив через плечо поясные ремни, работают в одних гимнастерках. Все молчат, слышно только, как стучат, скрежещут лопаты, устало, рывками дышат бойцы. Из ямы, то и дело осыпая мои сапоги, вылетает сырая земля. И я не сторонюсь ее — я чувствую к этой могиле какую-то неизъяснимую свою причастность. Наверное, потому, что среди тех, кто скоро ляжет сюда, очень даже возможно, мог бы лежать и я. Судьбе или случаю угодно было распорядиться иначе, и все же какая-то частица моего я будет вечно пребывать тут — с Гривюком, Дудченко, Усольцевым, Бабкиным. И с майором Ворониным тоже.

1966

В ГЛУХУЮ ПОЛНОЧЬ

За двадцать послевоенных лет мне этот хутор случалось видеть и весной, и летом, и осенью...

Весной, когда робкой зеленью подернутся давно не паханные пригорки, пестрые от хмурых валунов и редких кустиков можжевельника, когда в лощине перед старой хатой зацветут вишни, а клочок земли распахнет свою серую свежесть для нескольких грядок и полоски картофеля.

Летом, когда почти у самой дороги, по которой я иду или еду, ручьем журчит извилистая речушка, а в ней мужественно борется с течением местный пескарь, когда дорогу пешеходу или машине перебегает, простречивая пыль, мещански сытенький и мальчишески легкомысленный суслик, когда я, не впервые глядя на эти запустелые, выжженные солнцем холмы, такие неожиданные в наших, в общем-то, хлебных местах, снова и снова вспоминаю почему-то палестинские пейзажи Поленова. Не Христа, не людей, только печаль той дикой знойной природы.

Осенью, когда на растянувшихся верепицей возах спокойно и сыто, не подозревая о том, что они обречены, похрюкивают жирные кабаны, а в корзинах хозяек мелким цветом краснеют гребешки повобранцев-петушков, когда наш милый край насквозь пропахнет антоновкой, а молоденькая стройная рябина у стежки стоит, стыдливо клонясь под первыми, румяными от счастия гроздьями.

Но зимой, в белой студеной мгле, я помню его, этот хутор, только с войны. Словно никогда больше я не видел — ни из саней, ни из машины, ни с хрусткой стежки.

Не с дней войны помню, а с ночей, еще точнее, с одной глухой метельной ночи...

Теперь лишь этот упрямый бедолага-хутор доживает свой век в лощине меж холмов, которым, на хозяйский глаз, лучше бы снова, как прежде, зарасти сосняком. Все остальные хутора помаленьку вернулись в свой родной городок, откуда когда-то из тесноты улиц и переулков их выдворили комасаторы буржуазной Польши.

Во время войны в городке находились немецкий зондерфюрер и белорусский бургомистр, приезжие жандармы и местные полицаи. Опорный пункт фашизма, своеобразный маленький гарнизон. Под конец оккупации, как это делалось в таких гарнизонах, всем здоровым мужчинам, не спрашивая согласия, гитлеровцы роздали оружие, назвав их «самообороной». Из отборных извергов-полицаев был организован карательный эскадрон. На вышках, торчавших над проволочной оградой и бункерами гарнизона, стояли часовые с пулеметами.

Ближние хутора были, таким образом, всегда на глазах у власти, почти в орбите прицельного огня.

Разные это были хутора.

На одном из них кто-то выдал трех наших хлопцев, оставшихся у знакомого переночевать. Они отстреливались и сгорели вместе с гумном. А хуторянина с семьей почему-то не расстреляли, а только вывезли в Германию, откуда он и не вернулся.

На другом хуторе меня с товарищем накормила однажды ночью — не богато, но тепло — тихая, изможденная трудом женщина. Сама мать (в хате были ее муж, взрослая дочь и сын-подросток), она, понятное дело, и за своих боялась, и нас жалела — самой обыденной и самой святой жалостью, какой немало мы видели от наших людей.

На третьем хуторе, чуть ли не самом близком к гарнизону, у нас был связной. Этакий малоприметной наружности дядька Журавель, которому как раз больше подходило быть небогатым хуторянином, чем мещанином, потому что и в этом городке, по какой-то дурной местечковой традиции, горожанам полагалось считать деревенских хамами. Глаза и уши дядьки Журавля служили нам что-то с полгода, а потом он раз не явился на условное место, второй раз, третий... И мы поехали проверить.

Ночь выбрали для этого подходящую, когда, как говорится, добрый хозяин и собаку во двор не выгонит. Метель начала поскребывать да посвистывать с вечера.

С лошадьми, которых мы поставили в затишке за гумном, остался Ермаков. Туда Журавель послал сына подкинуть «бедной скотинке» сена. Самого дядьку Коля Щерба задержал для разговора в сенцах. А я зашел в хату.

Я был все-таки простужен, в чем окончательно убедился в пути. Тяжелая голова гудела, то в жар кидало, то в холод. Сегодня мне, дураку, не ехать надо было, а выпить чего-нибудь да пропотеть под кожухом.

Окна снаружи для тепла завешаны соломенными матами. В хате душно. Хозяйка, мы знали это из давних жалоб Журавля, была хворая: она лежала на печи и только время от времени шуршала чем-то за трубой — то ли из-за хвори своей, то ли от беспокойства. Тусклая, словно тоже испуганная, лампа примостилась на столике у широкой никелированной кровати. На кровати, прижавшись к стене, лежала чернявая молодичка, до самого рта натянув красное ватное одеяло. Вторая подушка пустовала — по нежданной тревоге встал недавно хозяйский сын.

Две мысли промелькнули у меня в голове, когда я первый раз глянул на эту кровать. Одна — молодая, ревнивая, о тех, что здесь впотьмах обнимаются себе да шепчутся в тепле, когда на свете стужа и война. Вторая мысль — неприятная — о кровати. Видно, этот никель двуспальный, такой шикарный в убогой тесноте, из приданого, видно, папаша невестки — мы знали уже, что она из городка,— приобрел кровать после ликвидации гетто...

Я стоял посреди хаты, довольно близко глядел на молодичку, даже любовался ею, хоть и сквозь гриппозную одурь, что видя, а что и воображая, и злился на ее совершенно нелепый, хотя в конце концов и понятный страх.

Она не просто была вся по самый рот укрыта одеялом, но и придерживала его за край по обе стороны пухлых кукольных щек обеими руками. Руки («Оголенные, точеные, теплые»,— подумал я) были скрыты, а наверху — лишь стиснутые пальчики, дважды по четыре, с каким-то детским и обидным отчаянием придерживали единственную защиту — принесенное в приданое одеяло.

— Что ж вы такая бледная? Почему?

Она наконец собралась с духом, проглотила слюну и тихо, едва не плача, спросила:

— А куда повели моего мужа?

Сюда, при таком близком соседстве с гарнизоном, наш брат заглядывал редко. Я был, пожалуй, первым партизаном, представшим воочию перед девчонкой, которая пришла в эту хату, как мы сегодня узнали, три недели назад. Там, где она жила раньше, гитлеровцы для многих мещан, которых, как и всю Западную Белоруссию, двадцатый век приучил к частым сменам власти, были просто немцами, страшными для «восточников», для «жидков» и для тех, кто не слушался. А они теперь, после расправы с коммунистами и советским активом, кого удалось поймать, после массо-

вого уничтожения евреев, жили далеко по деревням либо бежали в леса. Для этой, должно быть, веселой болтушки и попрыгуньи полицаи были не изменниками родины и ничтожными прислужниками врага, не убийцами и поджигателями, а прежде всего парнями, кавалерами, что увивались в клубе и за ней.

И вдруг здесь, в каком-нибудь километре от этого клуба, партизан!..

Впрочем, в той среде, где она росла, о нас не говорили «партизаны». Я не был для нее одним из тех, кто по радио, которое мы слушали из Москвы, и в газетах, которые нам доставляли самолетами с Большой земли, уже на весь мир были названы народными мстителями. Не считала она меня и солдатом многомиллионной не только советской, но и международной армии бойцов с самой страшной бедой человечества — фашизмом. Я был для нее... мало того что просто деревенский хам, но еще и бандит, один из тех, о которых она слышала и, возможно, читала уйму невероятных ужасов и гнусностей...

И вот я, бандит, стою над нею и уже, очевидно (так ей кажется), готов хорошо если только надругаться, а не то и замучить потом... А мужа увели! Куда?..

— Не бойтесь, он сейчас придет. Слышите, вот идет уже.

Мне и самому, пожалуй, было приятно, что он наконец воротился. Растерянный, не очень веря, что сможет опять очутиться под одеялом.

— Ваши просили, товарищ, чтоб вы уже шли...

Я попрощался и вышел из хаты не столько злой, сколько оскорбленный. Да, в моем возмущении таились боль и обида. Может быть, я немножко раскис от простуды? Да нет, не то! Ведь я был тоже молодой, немногим старше этого чуть ли не с душком от страха мужа, а не отсиживался, как он, под теплым крылом гарнизона, мне было чем гордиться и было горько, что о нас, обо мне... Да ну их к черту! В кривом глазу и прямое криво.

Обида и злость прорвались бранью лишь тогда, когда мы отъехали, погрузились в метельный мрак и Щерба рассказал, что Журавель наш Христом-богом молит, отказывается быть связным. Невестки, говорит, боится: «В хате, хлопцы, чужой человек». Может, и правда, боязно, а может быть, сдрейфил, виляет, нейтральным быть захотелось, чистеньким, как говорится, и перед немецкими, и перед советскими...

Кто ездил верхом в завируху, да еще ночью, когда ни лошадь, ни ты дороги не видишь, тот знает, что это за сласть. Ты поднят над землей, а тысячи тысяч ветров один за другим с неисчерпаемым запасом злого веселья пронизывают тебя, беззащитного,

насквозь. И снова, и опять, и без конца насквозь!.. Сечет лицо, колени прямо звенят. А мало тебе этого, мало вдобавок простуды, так получай еще и дурное настроение.

Нам надо было выбраться на большак значительно правее городка, чтоб проскочить до деревни Мокрое, а там уж повернуть домой, в лес. Дороги, собственно говоря, не было, было занесенное снегом, злобно взлохмаченное чистополье. Черти дерюгами дерутся. Но конь Щербы находил как-то путь. Коля пробирался первым, я за ним, а сзади Ермаков. Держались друг за другом, ближе, чем обычно, и, как всегда в пути, молчали. Сегодня даже и думать холодно.

Я думал об одном. Это уже и не дума была, не желание даже, а какая-то фата-моргана, виденье тепла, уюта — горячего внутрь и с головой под кожух! Я в это верил, не верил, снова, кажется, верил... Но это вело меня, и, ощущая опору — коня под собой, надеясь на товарищей, я плыл вперед в беспредельную стужу и шум метели.

Конь мой наткнулся на лошадь Щербы. Я дернул левый повод и, поравнявшись с товарищем, приблизил лицо к его лицу, хотел заглянуть, увидеть, чего он хочет.

— Ну, как ты? — крикнул мне Коля, словно из-под подушки.

— Хреново,— ответил я с телеграфной скупостью, прикрыв рот от ветра.

— Га-ла-ма-ла-ба-ла! — снова крикнул он.

— Что? Не слыхать ни...

— Хутор, говорю. Во, справа!..

Я понял: до Мокрого еще далеко, надо заехать сюда.

Правда, нам и Журавель намекнул, не перекусить ли, да там не захотелось: и настроения не было, и не рассиживаться же под самым носом у полицаев. Да и приглашал он... Именно только намекнул.

Так мы заехали тогда на этот теперь уже одинокий хутор в лощине.

Теперь одинокий... Тогда же, когда мы подъезжали к нему, он был единственный во всем мире. Как островок, к которому мы подплыли, чтоб взобраться наконец на скользкий обрывистый берег, почуять землю под ногами, вздохнуть, оглядеться, поразмыслить, что же дальше...

Так думал я. Хлопцам просто погреться хотелось, перекусить. Ну и меня им было жаль.

Я не настолько, однако, раскис. Слезши с коня, первый подошел к темному окну и постучал в стекло. Ни звука, ни шелеста. Может быть, не слышно? Постучал еще. Тут и Щерба мне помог, тряхнув всю раму своим кулачищем.

— Идет! — крикнул он, наклонившись ко мне. Крикнул слишком громко, потому что здесь, за хатой, было затишье.

Мы жили по законам своего времени, и мысль о том, вежливо ли вот так колотить среди ночи в чужое окно, не приходила. Мы даже разозлились и имели право на эту злость. Может, здесь тоже отлеживается какой-нибудь тепленький непуганый муж или нейтральный чистенький свекор... Подумаешь, нарушили его покой! Еще и прикидывается, байбак, что спит.

Я стоял у самой двери, слышал уже, что за нею кто-то шарит рукой по доскам, нащупывая засов. Я держал перед собой... да нет, не автомат, а фонарик, пока не включенный. Засов наконец отодвинулся, щелкнула щеколда, и дверь отворилась.

Вспыхнул фонарик.

Я заранее представил себе этот момент (в моем состоянии естественно было себе это представить), как увижу уже не заспанное, уже испуганное лицо хуторянина, который тут-то и отдаст свою дань, внесет свой великий вклад во всенародную борьбу — отпустит нам полчасика домашнего тепла, чего-нибудь поесть и одному чем-нибудь подлечиться. Уж вы извините, что мы полюбуемся вами, пан хозяин!..

Но в луче фонарика стояла за порогом светлая, в одной рубашонке девочка лет десяти. Ослепленная лучом, она закрылась левой рукой, прижав запястье ко лбу, и из-под руки, мигая, глядела на нас.

— Кто еще дома?

— Я и Толик. Мама к тетке Ганне пошла, а то она хворая.

— Почему не открывала?.. Батька где?

Девочка отняла ото лба левую руку, открыла лицо, а правой со странной для этого возраста, не то чтоб от бабуси перенятой, а какой-то старушечьей от себя, величайшей, может быть, последней в жизни серьезностью размашисто перекрестилась:

— Воимятца, и сына, и святого духа, аминь. Дядечки, ей-богу же, не слышала. А таты у нас давно нету. Еще с польской войны.

Это было так страшно... Нет, так необычно и неожиданно, и это так перевернуло всего меня, что я... чуть не всхлипнул.

— Ты запирайся. Ну! Беги на печь. К Толику.

Фонарик погас.

Дверь затворилась. Снова брякнул железом засов.

Мы молча сели и поехали.

...Уже не однажды за двадцать лет мог бы я свернуть с большака на этот хутор — поглядеть, что выросло из нее, той маленькой женщины. Неужто же она, став женой и хозяйкой, так прижилась здесь, что никак не хочет перебраться ни в городок, ни в Мокрое? А может быть, кто-нибудь давно уже завез ее в далекое

замужье, далекое по-нынешнему, не в третью деревню, а за три тысячи километров...

Я мог бы, разумеется, зайти, поглядеть, а не то и вспомнить вместе. Да не зашел. И не зайду. Не хочу.

Пускай она стоит в моей памяти такой, как была: в белой студеной мгле, в ярком кругу света, в короткой льняной рубашонке...

Только пускай не боится нас, тех, кто и в завируху не спит из-за нее, ради таких, как она.

Я не успел ей это сказать: ребенку было холодно.

1966

ПУСТЬ УХОДИТ ЛЕД

— Сегодня каждый из вас подумает и расскажет о своей заветной мечте,— объявила учительница и посмотрела в окно.

Авай проследил за ее взглядом. Стекло покрыто толстым слоем льда, и ничего не видно. Может быть, учительница смотрит на причудливые переплетения морозных узоров? Авай тоже любит это занятие. Еще недавно он верил, что эти оконные зимние узоры по ночам рисует дед мороз. Тот самый, который приносит подарки в новогоднюю ночь. Подарки он приносит раз в год, а в остальное время рисует на оконных стеклах. С каждым годом ему прибавляется работы. Возле больницы строят первый в поселке двухэтажный дом. Наверно, деду понадобится лестница — как же он иначе достанет до второго ряда окон?

Когда Авай узнал, что оконные узоры рисует мороз, он не разочаровался, ему даже стало интереснее: человек-то может нарисовать, а как это делает холод?

Эти стремительные линии — ледяные копья, стрелы, диковинные ветви, снежные деревья и заросли— обладают свойством вызывать самые сокровенные мысли. О том, как они делаются, уже не думаешь, а вспоминаешь о маме, о папе, о бабушке, о дяде Васе. Из ледяного леса вдруг возникает лицо дяди Васи, белое, продолговатое... Люди в ледяных зарослях разговаривают между собой, и голоса их, отделившись от студеного стекла, доходят до Авая.

— Вот приедут из Энурмина родственники, привезут пыжик, тогда и сошью Аваю кухлянку,— говорит бабушка.

— Зачем ему шить кухлянку, когда можно в магазине купить теплое пальто? — возражает мама.

— И купим! — веско добавляет дядя Вася.

— Лучше нашей чукотской кухлянки зимой для ребенка нет,— настаивает бабушка.— Пусть мальчик одевается по-человечески.

— Выходит, мы одеваемся не по-человечески? — вполголоса ворчит дядя Вася.— Нормальное пальто — не людская одежда?

Вечерами, когда мама и дядя Вася уходят в кино, бабушка берет Авая к себе на кровать и рассказывает ему сказки — чукотские, эскимосские, русские. И говорит она на языке, в котором дружно смешиваются русские и чукотские слова. Она часто вспоминает отца Авая — капитана Локэ.

— Вот уйдет лед с берегов, приплывет на красивом большом корабле твой папа, и пойдем мы с тобой к нему в гости. Папа даст тебе посмотреть в большой капитанский бинокль. Потопаешь своими ножками по железной палубе, а я буду сидеть в каюте и пить чай. Хорошо у папы на корабле.

Авай прижимается к большому, теплому бабушкиному телу, закрывает глаза и видит синий-синий, свободный ото льда залив, плещущие волны, далекие горы на противоположном берегу, черные, со снежными белыми заплатами острова и корабль Локэ. Конечно, он не такой большой, как пароходы, которые привозят грузы из Владивостока, из Магадана. Он намного меньше, и труба у него невысокая, мачты пониже. Зато «Заря» может близко подойти к берегу, так что папа берет большой черный мегафон и кричит с мостика:

— Здорово, Авай!

Авай стоит у самой прибойной черты. Волны лижут подошвы его торбасов, и хочется шагнуть навстречу кораблю, самому красивому кораблю, который когда-либо видел Авай. Много разных судов проплывает мимо. Иные из них бросают якоря на рейде залива, моряки сходят на берег, бродят по улицам, смотрят на жителей, стоят у прилавка в магазине, трогают пальцами плащи из моржовых кишок у охотников и удивляются: «Тоже синтетика!»

Но самый интересный, самый красивый корабль — «Заря»! Даже тогда, когда он просто проходит мимо, держа курс на Ледовитый океан, сердце Авая переполняется гордостью, и эта гордость сильнее горечи оттого, что не удалось повидаться с отцом.

И, конечно, было бы очень хорошо, если бы отец жил вместе с ними, если бы мама его любила так же, как его любит Авай.

Сначала Авай из разговоров догадался, что дядя Вася — просто дядя, а не папа. Кто-то сказал во дворе, что, пока отец учился на капитана, мать Авая вышла замуж за дядю Васю. После настойчивых упрашиваний бабушка показала отца на маленькой

фотокарточке, где Локэ был снят рядом с мамой. Оба они были совсем молодые и какие-то испуганные. Авай долго смотрел на отцовское лицо, и что-то странное и большое входило в его сердце.

Дядя Вася был спокойный, очень осторожный и вежливый. Он никогда не обижал своего пасынка, все позволял ему, и даже тайком от бабушки покупал конфеты и угощал Авая. Бабушка была решительно против конфет и утверждала, что, по мнению районного доктора по зубным болезням, порча зубов происходит только от сладостей.

— Это так! — говорила бабушка.— Все мои сородичи, пока ели одно мясо, были с хорошими зубами. Вон собаки. Они жрут только мясо и рыбу, и никто из них не жалуется на зубную боль.

— Не умеют говорить, вот и не жалуются,— пытался возражать дядя Вася.

Когда Авай узнал, что у него есть настоящий отец, тогда он понял, что лучше бы дядя Вася говорил ему «нельзя», никогда не покупал конфет, не пытался с ним ласково заговаривать, и вообще было бы лучше, если вместо него в доме жил бы папа — капитан Локэ.

Он об этом сказал прямо. Дядя Вася схватился за голову и выбежал в холодные сени, где хранился лед и уголь. Мама закричала на Авая и принялась выдергивать из дядиных брюк ремень. Бабушка закрыла мальчика своим телом и злым шепотом произнесла:

— Так тебе и надо! Такого парня променять!

Мама заплакала и тоже побежала в холодные сени, к дяде Васе.

В тот год все с нетерпением ждали весну. Ждали корабль, на котором должен приплыть Локэ.

Авай спускался на берег залива и смотрел на покрытый снегом простор.

Сначала стаял снег. Появились снежницы — лужи талой воды. Вода была пресная, холодная, вкусная. Ее брали в интернат, в больницу, пользовались ею и жители поселка. Авай сам ходил за водой с чайником.

Когда в поселке уже сошел весь снег, обнажилась земля и кое-где зазеленела трава, лед в заливе все стоял, только день ото дня становился синее и синее. Озера пресной воды исчезли. Они ушли в промоины, смешались с соленой водой залива. Старики говорили, что нужен северо-западный ветер — кэральгин, чтобы залив окончательно очистился ото льда. А дни стояли тихие, теплые. Сверкал подтаявший, истончившийся лед. И все-таки ветер пришел. Аваю показалось, что он спустился с гор только потому,

что его очень ждали люди. Лед вымело из залива в открытый океан. Когда утихло и волны успокоились, на гладкой поверхности залива плавали только отдельные льдины с изломанными краями.

Ждали корабль. Мама почти не спала, и по ночам Авай слышал, как она тяжело вздыхала и шепталась с дядей Васей.

— Может быть, уедем отсюда? — спросила она однажды.

— Тогда я перестану себя уважать,— ответил дядя Вася и отвернулся к стене.

«Заря» пришла рано утром, когда все еще спали. Корабль встал на якорь у самого берега. Сначала Авай увидел высокую мачту, потом белую надстройку капитанской рубки. Хотелось закричать от радости, но слова застряли в горле, и Авай, тихий, держась за бабушкину руку, шел к берегу, и люди смотрели им вслед.

Авай чувствовал, что люди ждали чего-то страшного, шумного, интересного.

Бабушка частенько вздыхала и шептала:

— Что-то будет, что-то будет... Что-то будет, когда приедет Локэ?

Но ничего такого не случилось. Авай увидел совсем незнакомого мужчину, лишь отдаленно похожего на того, на фотографии. Мужчина взял его на руки, поставил на палубу и сказал:

— Вот ты какой хороший и большой!

Локэ не пожелал видеть маму и ни словом не вспомнил о ней. Лишь раз, когда Локэ и Авай остались вдвоем и папа пил из толстой и красивой бутылки, он с горьким вздохом произнес:

— Что же она, мама-то наша, не дождалась меня?

Авай слышал об этом. О том, что мама не дождалась. Он с готовностью сказал чужие слова:

— Долго учился на капитана...

— Может быть,— глухо согласился Локэ.— Но жена моряка должна уметь ждать.

Ушла «Заря» на север, пробиваться к острову Врангеля. Авай теперь знал, что папа плавает на гидрографическом судне и что «Заря» не простой корабль, а научный. Он гордился этим и каждый раз напоминал об этом своим друзьям.

Папа присылал письма. Каждое его слово было дорого, приятно было даже просто смотреть на конверт с маркой, на крупные, специально для Авая написанные буквы. Почти в каждом письме говорилось о том, что вот уйдет лед с залива, отец приплывет на своем корабле и возьмет на палубу Авая.

А лед долго не уходил. Он крепко держался за скалистые берега, вползал на низкую песчаную косу, в устья рек и поднимался

в горные долины. Он разрушал, скрывал границу между морем и сушей, нагромождал гряды, словно скалистые хребты, и даже пробирался на оконные стекла и ложился замысловатыми узорами, закрывая вид на океан.

Зимой письма приходили авиапочтой. Самолет садился на замерзшее озеро и катился к поселку на лыжах, как мальчишка-озорник. Низкое солнце отражалось в крутящемся пропеллере, и Аваю казалось, что крылатая машина улыбается.

В эту зиму письма шли долго. Погода была неважная, самолет редко прилетал. И однажды Авай услышал грустную для него новость: будто отец женился. Он невольно подслушал разговор и вдруг понял, что это случилось уже давно и домашние попросту скрывают от него. Ему стало грустно и плохо. Он заболел и несколько дней пролежал в постели. Бабушка привела врача, большого толстого старика. Доктор снял тяжелую кухлянку из оленьего меха, послушал через трубочку грудь, постучал мягкими, как щенячьи лапки, пальцами по спине и шутливо-строго сказал:

— Не выбегай без шапки на мороз!

Авай никогда не выбегал на мороз без шапки. Разве только на перемене.

Во время болезни пришло письмо от папы. Бабушка села рядом на кровать и принялась читать. Вдруг она запнулась. Авай приподнялся на локте и выжидательно уставился на нее.

— Тут что-то неразборчиво написано,— пробормотала бабушка и принялась протирать очки.

— Я знаю,— устало откинувшись на подушку, сказал Авай.— Там написано, что папа женился.

Бабушка растерянно посмотрела на внука и всхлипнула.

Выздоровев, Авай пошел в школу. Он удивился яркости света и подумал, что вот, пока он болел, глаза отвыкли от снежной белизны. В те дни, когда он лежал, мела пурга. Она намела новые сугробы, навесила на дома снежную бахрому, приделала козырьки к крышам домов. Пурга изменила облик поселка, и Аваю показалось, будто он не болел, а был в дальней дороге, путешествовал, узнавал что-то новое, важное для жизни. Поэтому он смотрел на окружающее изменившимися глазами и видел и замечал то, что раньше ускользало от его взгляда. Даже школьное здание словно стало ниже, а класс поменьше, не такой просторный, как раньше.

Авай здоровался со своими друзьями-одноклассниками и чувствовал, что он старше их.

Вошла учительница, оглядела класс, увидела Авая и поздравила его с выздоровлением. А потом сказала:

— Сегодня каждый из вас подумает и расскажет о своей заветной мечте.

Учительница долго смотрела в окно. На снежные морозные узоры. В классе было тихо, слышалось только сопение и скрип парт — каждый думал о своей заветной мечте.

— Ну, кто готов? — спросила учительница, отведя глаза от замороженного окна.

Конечно же, первым поднял руку Петя Кротов — отличник. Он сказал, что хочет быть космонавтом. После него Маша Маюнна заявила, что и она будет космонавтом, как Валентина Терешкова.

— Я буду китобоем,— сказал Вася Пиура. Он был родом из Лорино. Тамошний народ издавна славится добычей китов.

Весь класс тянулся поднятыми руками, только Авай мешкал. Учительница пристально посмотрела на него и спросила:

— А ты, Авай, почему не поднимаешь руку? Разве нет у тебя заветной мечты?

— Есть,— ответил Авай.

— Ну, мы слушаем,— сказала учительница.— Тише, ребята, слушайте, что скажет Авай.

— Я бы хотел, чтобы лед из нашего залива уходил как можно раньше,— произнес Авай и почему-то покраснел.

1966

ВЕРА И ЗОЙКА

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят,— аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много,— и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закон: чуть понервничает — всегда за эту половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: вымести сор, помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно. Но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги были очень нужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифра-то гадостная, одни четверки,— подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы, Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так проверяла, и ничего не случалось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали старухе замену, она отказыва-

лась, требовала свое, и тут Вера вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Рапсе Васильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзительный, и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не греши, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кинуть, все легче. Куда там! А Евдокия, старшая упаковщица, еще насмехалась: ничего, мол, на два пол-литра Сережка пострадает, и все дела. Такая ехидная, зараза: ее это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет...

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Синицына).— А то я с другим буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая...

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала.— Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «жаготовки ташкала».— А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась. Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подруги — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили,— а просто соседки, обе безмужние: у Веры вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Синицына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщи-

цей в школе. В воскресенье она паверняка была свободна, а насчет субботы нужно было узнать, если нет — договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

«Бараками» жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять бараков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных бараков давно получили квартиры в новых домах,— а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто, в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу для ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, яичко туда кокнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорились. И верно, спросила. Вера

сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра,— буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера.— А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчался, что не застал Веру дома, и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбегать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не нужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, травиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Синицыной на квартиру, в восьмиэтажный дом напротив гастронома. Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад закончил ученье и сейчас без дела шатался во дворе в ожидании лагеря.

Синицына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, но заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере понравилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском,— у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так расположен, а вот так, так...— Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно,— сказала Зойка, заулыбавшись льстиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок.— Он у нас смирный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший,— подтвердила Вера.— Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рано, может, и к обеду вернетесь.

— А вот... ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — И Вера захохотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать,— сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться,— слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощницы, но я тебя завтра жду. Ты понял, Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом.— Сын подошел к ней, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался.— И я надеюсь...

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь...

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданьица! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улыбаться мужчинам,— поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки: одну с едой, другую большую клетчатую, в которую были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волоча тюк с одеялами, Мишка. Последней шла Синицына, несла еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Синицына сказала:

— А насчет цены я не знаю, право... В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нынешним не равняйте, Лида Александровна! — крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно,— сказала Зойка рассудительно.— Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка...

— А сын у вас черненький. В отца, наверно? — крикнула Вера.

— В отца,— сказала Синицына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черненький-черненький!

Возле гастронома на стоянке взяли такси. Синицына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень, народу повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика район заново, и сообщала:

— А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки... А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десять! Вон, вон, вон! — закричала она вдруг так азартно, что Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо.— Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем — вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает...

Выехали на Ленинградский проспект, Вера продолжала болтать. Настроение у нее было прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданьях из-за одеяла, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести,

а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне сносили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец,— сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня,— сказала Синицына.— И так их безжалостно жгут...

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? — с неожиданной злобой сказал шофер.— Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна им наша история! По крайности, жилье человеческое получат.

Синицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение,— сказала она.— Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта,— сказал шофер.— Народ рабочий, небалованный, мы и пешком походим.

— Конечно! — сказала Зойка.— Мы вон какой год пишем, чтоб наши бараки снесли...

— А чего? Мне наши бараки нравятся,— сказала Вера.— У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш? — Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой:

— Да ну, болтай...

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят.— И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой, не могу... Ой, верно, еще сто лет простоят!» Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой, не могу...» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом новостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечереющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам, спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Васильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, радостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татарином, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Старая-старая, а четыре года гуляли и на молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ой, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет...

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду не показывала и только ночью ревела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом,— говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было,— и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала,— потом еще направо и остановились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На террасе были выбиты стекла, дверь заколочена доской.

Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких сосен густо росли кусты бузины, мелкий ельник, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-хе-хе...— сам с собой разговаривал шофер. Он помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец,— верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавую и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на террасе. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на террасе — окна были закрыты от комаров, да и прохладно стало, хотя прохлада и комары сочились сквозь разбитые стекла,— и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна — хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбимая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая,— сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок террасы, на желтый, из вощеной бумаги абажур и на его отражение в черном стекле...— А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый...

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас характер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молча, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок,— сказала Лидия Александровна и засмеялась.— И, наверно, мужчинам нравитесь, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Она им, конечно, нравится, потому что она их на свои деньги кормит,— сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю?

— Ну, кого я кормлю? Кого, кого?

— Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

— Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать...

— Конечно, завистная, потому что меня навещают, а к ней — раз в год по обещанью. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очень даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, немного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до получки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка.— А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыться в ней, выкладывая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся на глянцевой бумаге фотографию.

— Прочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота.— Она еще раз икнула и прошептала: — Ой господи, спаси и помилуй...

Лидия Александровна взяла фотографию, прочитала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да,— сказала Лидия Александровна.— Ну что ж, очень хорошая надпись. Девушки, а что, если потушить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна,— сказала Вера, вставая, чтоб потушить свет.— Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой вливался чистый хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакана по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «хи́хом» да «ха́хом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой бы ни за что не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упросить. Одной-то жить, конечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успевает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас

замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей...

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко. И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, неумытая, с лицом серым, отекшим, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватит вам прохлаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито.— Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут...

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати приедут оба — муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разбирать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не приехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все кончили и теперь ждали приезда мужа; он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна

дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и вроде они брошены, как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти.

— Ну и спроси,— сказала Вера.— Спроси, спроси!

— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.

— А мне ни к чему.— Вера беспечно махнула рукой.— Таскаться...

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты, барыня дерьмовая, таскаться ей,— зашипела она.— Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси...

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка! — заговорил Мишка тихо, радостным голосом.— Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса! — Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку.— Отнесешь, где взял.

— Да ее ж выбросили...

— Значит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедем.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку нужно...— заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела,— сказала Вера.— Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедем! — крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала...— сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?

Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дожидайся... Полное воскресенье тут потеряли... А нету денег — не нанимай людей...»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — насчет посуды...

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на террасе, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить,— и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку найти, а они матерей очень слушаются, татары: он поперек матери ни за что не пойдет. Он и ночевать-то у Веры редко остается, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волновалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стиранное всегда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно...» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до получки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела, задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и, когда он кончился, очень скоро, Вера собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не на что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и никуда не хотелось ей торопиться.

1966

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

Памяти великого русского певца Александра Пирогова

И в городе падал лист. С тополей — зеленый, с лип — желтый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополиный лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой. И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

Непривычно распалясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче:

— Нога, говорю, не отросла еще?

За соседним столом обернулась медсестра, заполнявшая карточки, и подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и, если он, ранбольной, выпивший или просто так побуянить вздумал, она подни-

мет трубку телефона, наберет 02. Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Заметив, что инвалид сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть, она взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и ее заняли врачи, а пациенты складывали одежду на стулья и па пол.

— Можете одеваться,— сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу. Он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, расстеленной меж столами.

Так он и пропрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и, лишившись противовеса, Сергей Митрофанович боялся — не шатнуло бы его на какой-нибудь стол и не повалил бы он там чернильницу и не облил бы чей белый халат или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Комиссия занималась своим делом. Он понял, что этим людям все здесь привычно и никто ему в спину не смотрел. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и пошел к столу. Врач все еще писал. Он оторвался на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не хотелось. Он терпеливо ждал. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых — инвалидов, вымирают инвалиды, а распорядки все те же. И сколько отнято дней из без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях...

Врач поставил точку, промокнул ученической голубой промокашкой написанное и поднял глаза:

— Что же вы стоите? — и тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины!..

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город взятую кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделать? Такой закон.

Сергей Митрофанович вымученно улыбнулся ему в ответ, как бы сочувствуя, вздохнул протяжно и пошел, радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянул папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе: «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так ведь и горы сносят...»

До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, стакан киселя и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых полосок.

За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, пила чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел. Однако девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены голубые, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак был кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

— Приятно вам кушать, девушка.

Она оторвалась от книжки, рассеянно посмотрела на него:

— Ах, да-да, спасибо! — и прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — И тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по

пустой уже тарелке. «Так, под книжку, ты и вола съешь!» — улыбнулся Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых, светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило палый лист. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребятишки в еще не потрепанной форме шли с сумками из школы, распинывая листья и гомоня.

Устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил билет и устроился на тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами: «МПС» — и стал ждать поезд.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — сразу не разберешь. В корзинах у кого с десяток грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали рябины, и у всех от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает, а потом сердце, или почки, или печень — уж бог его знает, что болит.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит»,— повторяла его жена. Вспомнив о жене, Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман пиджака. Там, в целлофановом пакетике, персики с рыжими подпалинами. Жена его, Паня, любому подарку рада. А тут персики. Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет.— Из-за моря небось привезли?!» И спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Во главе с пожилым капитаном толпою ввалились стриженые парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Всем места не хватило, и Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, спортивную сумку со шнурком, сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца сумочка, только неукладистой и парядными картинками обклеенная.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один — высокий, как из кедра тесанный, в шерстяном спортивном костюме. Второй — будто вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее — чуба ему недоставало. Третий — небольшого роста, головастый, смир-

ный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась кучерявенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей. Он с гитарой был и верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер опускавшемся. У свитера воротник — что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки. Одна из них, судя по масти, сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «транзистором», должно быть, за болтливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в юбке, в розовой тонкой кофточке, под которой острились титчонки, не отпускалась от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила: «Славик!.. Славик!..»

Среди этих парней, видать, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. У него еще был малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, глаза цепкие, смышленые, руки суетливые. Сергей Митрофанович сразу определил: этот парень бродяга или блатняжка, без каких ну ни одна компания российских людей обойтись почему-то не может.

Капитан как привел свою команду, так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтобы можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивали слезы. Ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, независимо, а временем и вызывающе.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни и девчата грянули:

Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митрофанович.— И без того песня — погань, а они ее...»

Не пел только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводипы довоенных лет, мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

С «кота» ребята и девчонки перешли на какую-то уж вовсе несуразную песню-дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки и парни заперебирали ногами, запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча...

Слов уже не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой изверченной, какой-то первобытной по бессмысленности песни. Они смеялись, дергались, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку и, когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не встревал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, хватил водки приблудный парень в кепочке. Пить из горлышка умел только он один, а остальные больше дурачились, делали ужасные глаза, взбалтывая водку в поллитровке. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика покатились слезы, как только глотнул он водки. Славик разозлился и начал совать своей девушке бутылку:

— На! (Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.) На! — Славик слепо и настойчиво совал ей поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь...— залепетала девушка.— Я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица.— Будет стакан! А ну! — подал он команду приблудному.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея, выудил из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее походил кто-то. Сергей Митрофанович глянул и засек глазами Володину деваху — она!

— Сыр съесть! — отдал распоряжение Еська-Евсей.— Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стакана!..—

подхватили парни дружно. Этим ребятам, видать, все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-усна-а! — завопил блатняжка, обсасывая сыр с пальца, и, забывшись, добавил ядреное словцо.

— Ну, ты! — резко повернулся к нему Славик.

— Славик, Славик! — застучала кулаками в грудь Славика девушка, и он отвернулся, заметив, что капитан хмуро поглядывает в их сторону.

— Хохма! Братва, хохма! — повизгивал приблудный, будто и не слышал и не видел Славика.— Этот сыр, ха-ха...— начал рассказывать он и наперед всех смеяться.— Банку такую же, ха-ха... Передачку в родилку принесли... Жинки, новорожденные которые, ха-ха... глядят — на крышке красотка баская — нама-азалися-а-а!.. Крем, думали-и-и!..

Грохнули парни, взвизгнули девчонки, иные даже повалились на скамейки. На что уж Володина барышня стойко держалась, и та колыхнула ядрами грудей, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под накипевшим подбородком. Сергей Митрофанович отвернулся — неловко ему как-то сделалось, не по себе.

— А ты-то, ты-то чё в родилке делал? — продираясь сквозь смех, спросил Еська-Евсей.

— Знамо чё,— потупился блатняжка и начал крутить кисточку шарфа.— Аборт!

Девчата разом примолкли, краской залились, а Славик вскочил со скамейки и двинулся к приблудному. Но девушка уцепилась за полу его куртки:

— Славик! Ну, Славик! Он же шутит!..

Славик послушно оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил из стаканчика половину и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни.

— Тебе же известно, я не переношу водку,— жеманилась она.

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское...

Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя музыкальными пальцами.

— Какой ты! Мне же плохо будет...

Володя никак не отозвался на эти слова. Барышня сердито вылила водку в крашеный рот. Девчонки захлопали в ладоши. Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не розовые твои дела... Она небось на коньяках и кофиях выросла, а ты с водкой...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик.

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать.

«Ах, ты, птичка-трясогузка!» Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, стянул кепку с головы и сунул ее на лавку.

Володя прижал струны гитары, Еська-Евсей, совсем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но не основательно как-то. Придет время, схватит Еську-Евсея на лету какая-нибудь баба-жох и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутства и гибели.

— Что ж, ребята,— заговорил Сергей Митрофанович и прокашлялся.— Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали лохмотья сыра. Он даже крякнул, якобы от удовольствия, чем привел блатняжку в восхищение.

— Во дает! Это боец! — воскликнул тот и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войне, ребята, на войне,— ответил Сергей Митрофанович, не глядя на приблудного, и опять надел кепку.

Он не любил рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, когда объявили посадку,— разговор о ноге отпал сам собою.

Капитан поднялся с дальней скамьи, приказал новобранцам следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей.— Веселяя будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор.— Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету...

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться бы. Они б его одним юмором до припадков довели...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солдата-а-а-а, жди солда-а-ата-а-а...—

уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь Володина барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая спортивным мешком на шнурке, и, чувствовал Сергей Митрофанович, если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске купил две бутылки заграничного вермута, другого никакого вина тут, кроме шампанского, не оказалось, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил газету пальцами и опять просматривал весь вагон и никого собою не беспокоил.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженые парни, чокаясь гранеными стаканами, унесенными из перронных автоматов с газировкой.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а, цалу-ете-есь! Ночь коротка! Не хватило-о.

И тут же запели щемяще-родное:

Ночь коротка,
Спят облака...

«Никакой вы службы еще не знаете, соколики! — усмехнулся Сергей Митрофанович.— Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы».

Старая фронтовая песня стронула с места его душу, и он поспешил к ребятам, чтобы окончательно не впасть в уныние и грусть.

— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился и прислушался, будто в лесу.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полок, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тута? — спросил он, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет,— отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины...— с пристуком поставил бутылку на столик Сергей Митрофанович.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняжки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, и шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил приблудный паренек поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку: — Сейчас мы ее раскур-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да на кой штопор? Пережитки! — подмигнул ей блатняжка и, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, а затем просунул пальцем пробку в бутылку.— Вот и все! А ты, дура, боялась! — довольный собою, подмигнул он Еськиной сестре. Лип он к этой девчонке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же изловчился, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал. Однако значения ее словам не придал и, как бы ненароком, то на колено ее руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба к пассажирам...»

Сергея Митрофановича и парня в кепке оттеснили за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и подруг ее. Они плакали, смеялись, Еська тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика и повисла на нем и вроде бы отпускаться не собиралась. По ее и без того размытому лицу катились круглые, как у ребятенка, слезы, оставляя на кофточке серые полоски. Глаза у девчонки были излажены под японочку, и краску слезами разъедало.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и тряс девушку за плечо, желая привести в чувство.— Слово же давала! Не реветь буду...

— Ладно, не бу... лады-но-о-о...

— Во дают! — хохотнул блатняжка, чувствуя себя отторгнутым от компании.— Небось вплотную дружили... Мокнет теперь... засвербило...

Сергей Митрофанович не слушал его. Он смотрел на Володю с барышней, и жалко ему было Володю.

— Служи, Володя. Храни Родину...— приткнулась барышня крашеными губами к Володиной щеке и стояла, не зная, что дальше делать. Часто и нервно откидывала она белые, ухоженные волосы свои.

Бросив на вторую полку руки, Володя глядел в окно вагона и ничего не говорил, а лишь барабанил пальцами по полке.

— Ты пиши мне, Вова, если желание появится,— сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: — Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Всё! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо: — Всё, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова девчонка вдруг села на скамейку:

— Не пойду-у-у...

— Ты чё?! Ты чё?! — коршуном налетел на нее Славик.— Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняжка.— Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Доченька, доченька!.. Пойди, милая, пойди, попрощайся ладом... А то проревешь дорогие-то минутки, потом жалеть будешь...

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторялось одно и то же, одно и то же,— подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович.— Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы — в казарму, душу — в рамки военного устава. Слабая душа так и останется заформованной, что кирпич, закаменеет на всю жизнь...»

— Может, трахнем, пока нету стиляг? — предложил блатняжка, которого угнетало одиночество, и с готовностью потер руки.

— Выпьем, так все вместе.

Поезд тронулся. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сестра с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала на ходу. Володина барышня немножко прошлась рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою.

Даниил Гранин «Дом на Фонтанке».
Художник Г Филипповский.

Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась, она спрыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать. Она спотыкалась, пытаясь поймать руку Славика.

— Упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Руки его вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смирные, совсем не те, что на вокзале. Все молчали. Даже блатняжка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым, жужжала электровозная дуга. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Переехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землею с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

Не выдержал Еська-Евсей:

— Славка! Слав!..— и потянул товарища за штаны: — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли? На смерть, что ли, едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и сдернул куртку с уха Славика.— Ну ты чё? Володь! Ребята! Человек же предлагает. Пожилой вон, без ноги...

«Парень ты, парень,— глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович.— Ничего, все перегорит. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока,— сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с одного края стаканчик.— Пусть вам хороший старшина попадется.

— Постойте! — остановил его очнувшийся Володя.— У нас ведь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы на вокзале пофасонили,— он усмехнулся совсем трезво.— Давайте, как люди.

Выпивали и разговаривали теперь, как люди. Пережитое расставание сделало ребят проще, доступней. Не чуждались они больше людей, и заносчивости в них не осталось.

— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова натянул на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Сергей Митрофанович дорожил теперь дружелюбием и расположением ребят, не хотел отчуждаться от них, стал рассказывать о том, как застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою.

Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский. Сектор обстрела выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были толсты, пилы всего две и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону грозили, матерились и наконец завопили:

— Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Да на войне часто приходится переступать через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого взрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята.

— Скажи, как бывает! А мы думали...— начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали — я ногой амбразуру затыкал?

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя.— После ранения, я имею в виду.

— А как же? Конечно, нормально. Приехала за мной в госпиталь. Забрала. Все честь честью.— Сергей Митрофанович пристально посмотрел на Володю.

Ему и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале не слышал он о таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, таились? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие повествования о том, что такая-то стерва отказалась от такого-то мужа-калеки. Да не очень он вникал в бабьи рассказы. В книжках читал о том же, но бумага, как говорится, все стерпит.

— Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового может, сгульнуть, если невтерпеж, может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя,— обратился Сергей Митрофанович к Славику,— да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую! — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — повернулся он к Володе.— Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету,— загалдели новобранцы.— Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался: они его считают совсем захмелелым и ждут, как он сейчас затянет «Ой, рябина-рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!..».

Посмотрев сбоку на парней, он едва заметно улыбнулся и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку, на морозе и ветру, где он был ротным запевалой:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

Снисходительность, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, он повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и не откидываясь, а со сложенными в коленях руками сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на нутряной какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милой своей назовет?..

В голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без вышколенной лощености, угадывался весь его характер, вся душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть.

Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, с души его струпьями сходила скверна и накипь житейских будней, потребность в братстве ощущал человек, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиновою деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел сам себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, всеми уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушая Сергея Митрофановича, изумлялись: как это с таким голосом он затерялся в глуши? Бывали, и не раз, эти ребята в оперном театре своего города, слышали там перестарок женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Зарабатывать хлеб им следовало совсем в другом месте. Но в искусстве, как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то, вместо Сергея Митрофановича, тугой на ухо, пробойный человек. Он же все, что не трудом добыто, а богом дано, ценить не научен и к дару своему относится стыдливо, поет, когда сердце просит или когда людям край подходит, поет, не закабаляя дара своего, но и не забавляясь им.

Никто так не разбрасывается своими талантами, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет...

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу.

Сергей Митрофанович, кончив петь, все так же сидел, вытянув деревяшку под столик, и руки, совсем не похожие на его голос, в заусеницах, проколах и царапинах, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо, и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а,— протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить приблудный, и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в колонии один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь», Сергей Митрофанович посмотрел в окно и хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы, я ведь подъезжаю,— и застенчиво улыбнулся: — С песнями да с разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться.— Он поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, схватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу.

— Не надо,— придержал его руку Славик.— У нас есть. И деньги и вино. Лучше домой унесите, угостите жену.

— Дело ваше. Только я ведь...

— Нет-нет, спасибо,— поддержал Славика Володя.— Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим,— простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Я какой человек? Я вот пяту жену додёрживаю — и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем. В тамбуре все закурили. Поезд пискнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник. Даже возле колодца и в скверике росли пихты. К одной подсеченной пихте был привязан сонный губоватый конь.

Осторожно спустившись с подножки, Сергей Митрофанович утвердился на притоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник. Поезд словно бы того только и дожидался, почти незаметно для глаза двинулся. Сергей Митрофанович приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они тесно стояли за спиной проводника и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче за станцией, дробили на стрелке вагоны, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке и сделалось совсем тихо, Сергей Митрофанович повторил:

— Мирной вам службы! — и надел кепку.

В глазах ребят он таким и остался: на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка». Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником.

...Попутных не попалось, и все хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади, пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расползлись вширь, сцепились ветками. Прель и темень устоялась под ними.

Осенью сорок пятого по вырубкам лесок только-только еще поднимался, елани были всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. Раскаленными жестянками краснели на стогах листья, кинутые ветром.

Осень тогда ведренней нынешней была. Небо просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой. Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшись на койке с отшибленной памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил, заикаясь. Вел он себя так, что, не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяг, колючий, нахально цветущий,— не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду тоже не вспомнил. Все они, видать, в его нынешней памяти походили друг на дружку, потому как цвели желтенько.

— Кульбаба! Кульбаба! — заблажил он и ринулся на костылях в чащу, запутался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

— Кульбаба! Узнал? — подтвердила Паня и сняла с лица его паутину. Он еще не слышал паутины на лице.

Остановился возле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, а ягод нету?

— Птички, птички склевали.

— П-п-птички! — просиял он.— Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом. Врач долго, терпеливо объяснял, что требуется больному, чего ему можно пить, есть, какой ему нужен уход, и все время ровно бы оценивал Паню взглядом. Будто между прочим, врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да чего горевать? Дело молодое...» — «Очень жаль»,— сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки до поселка она все поняла: и слова врача, жестокое их значение тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Он уже показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с наглым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев:

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз,— послушно подтвердила она.— А это вот заячья ягодка — майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он напряженно сморщил лоб. На лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженная голова устала, и заторопила:

— Пойдем, пойдем!

В речке он напал на черемуху, хватал ее горстями.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Неведомо Пане, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, но уже не настойчиво показал он ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость надо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, было тихое, ясное, неназойливо голубело. Предчувствие заморозков угадывалось в этой призрачной тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выспрашивал, суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его подтаяло, на верхней губе выступил немощный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернились, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступал к домам. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину сгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей к Пане.

— Мама все гляденья, поди, проглядела. Давай я тебе помогу в гору. Давай, давай!..

Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать.— Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?! — и копной вальнулась на крыльцо. Зятя она любила не меньше, а показывала, любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича? Друг на дружку глядеть? — прикрикнула Паня.

Старуха расцеловала Сережку увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь...— И у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью заворчала Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, какой у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, насеянные сосны и лиственницы. Они уже давили пустырный чад — ивняк, бузину, малинник, осину и березник. Липы вперегонки с хвойняком тянулись ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лесишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. В озерины и лужи падала прихваченная черемуха и рябина, капелью решетила воду. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время здесь снова начнется заготовка леса, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Паня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Свернув с разъезжей дороги на тропу, Сергей Митрофанович пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус,

но лесозаготовители так захламили речку, а на стеклозаводе, что приник к Каравайке, столько дерьма пускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в речке бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых ужи плодятся — только им тут и способно.

Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней, тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но, когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал. Но сквозь его бесхитростные, детские думы просачивалась очень уж взрослая печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании была неподдельная искренность, детская доверчивость к его чистому, еще не захватанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович.— Ах ты, парнишечка! Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое с ним, накличет он на себя беду, и Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет ему помочь.

А тот все пел и пел. Про что хотелось, про то и пел, не скрытничая, не таясь от людей. Вот, мол, я, весь перед вами.

Осо... осо-о-о-ол-ле...—

донеслось до Сергея Митрофановича, и он встрепенулся обрадованно:

— Солнце, брат, солнце. Вон оно к закату катится, может, к вашей державе? Пой, брат, громче. Глядишь, одумаются люди, поймут, что солнце на всех одно...

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишку уже не докличешься и ничем ему не поможешь. Вырос мальчишка и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекучей памяти людей.

Радио на клубе заговорило что-то. А Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно

винился перед певуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорее всего получилось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не образумились.

Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил,— тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь!

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и неспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виновности. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего только не городил он! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел — чтоб они тоже голышом ходили! Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей да клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее детям дал ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая важного, но лукавого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его. Но память и совесть не выключишь.

«Корить и куражиться над молодняком — это проще простого. Они выкормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. А вот дорасти бы до того, чтобы дети уважали старших не только за хлеб... И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же внушаем и сами же притужальник устраиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, с мужиковатой походкой, с руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела гром-бабой. Но прошли годы, отцвели и

завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались. Время сняло с них блеск шалого, горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. Без надсадности делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятишек кучу да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что есть в ней и в нем хорошего, они перенялп друг от друга, а худое постарались изжить.

Старуха копалась в огороде, вырезала редьку, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Постоянно роясь в огороде, мать тем самым доказывает, что хлеб она ест не даром.

— Да ты, никак, выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько,— виновато отозвался он и впереди Пани вошел на кухню.— С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...

— Привет они тебе передавали. Все передавали,— сказал Сергей Митрофанович.— Это тебе,— сунул он пакетик с персиками Пане,— а это всем нам,— поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шероховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермяк солены уши! — с улыбкой отозвался Сергей Митрофанович.— Позови мать. Хотя постой, сам позову.— И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Митрофаны-ыч! Ты чего это? — быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза.— Разберединли тебя опять? Разберединли...— И заторопилась: — Я вот чего скажу, послушай ты меня — не ходи ты больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?..

— Не в этом дело,— вздохнул Сергей Митрофанович и приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — и громче повторил: — Мама!

— Чё тебе? — недовольно откликнулась старуха и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам, а теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи-те? Четыре редьки, десяток морковин! — сказала Паня.— Садись, приглашают дак.

Старуха побренчала рукомойником, подсела бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой.

— Эко налепили на бутылку-то! Дорого небось?

— Не дороже денег,— возразила Паня, давая укорот матери и как бы поддерживая мужа в вольных расходах.

— Ску-у-усна-а! — сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и Сергей Митрофанович вспомнил, как новобранец в кепке обсасывал сыр с пальца.— Ты чё жмешша, Паранька? — рассердилась старуха.— И где-то куружовник есть, огурчики. У нас все есть! — гордо стукнула она кулаком в грудь и метнулась в подполье.

После второй рюмки она сказала:

— На меня не напасешша,— и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а сердце все подмывало, подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав лишнее со стола, подсела к мужу Паня.— Спел бы хоть. Редко ты петь стал.

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их разглядела Паня боль.— Я ведь так вроде бы и не сказал тебе ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг.

— Что ты! Что ты! Бог с тобой!..

— Так вот и проживешь жизнь, а главное-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а!..

Он нашарил ее, притиснул к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она ласково провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шероховатые»,— он едва удержался, чтобы не погладить ладонь жены. Паня уютно припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе — чтоб все счастливые были, да как же это устроишь?

Он вспоминал ее молодую, подавленную. В родном селе подпутал ее старшина катера, с часами на руке, лишил девичества. Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только в долгой разлуке рассосалось все, и обида оказалась такой махонькой и незначительной! Видно, в отдалении от жены и полюбил он ее, да все открыться не смел.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться? Или затаскали слово до того, что и произносить его срамно?»

— Старенькие мы с тобой становимся,— чувствуя под рукой заострившиеся позвонки ее спины, чуть слышно прошептал Сергей Митрофанович.— К закату клонимся.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие,— настаивал он и, отстранив жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких.— И сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребятишек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями. Когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала старуха в сенях.— Все никак не намилуются. Ораву бы детишков — некогда челомкаться-то сделалось бы!..

У Сергея Митрофановича дрогнули веки; сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой,— ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? — хотела сказать Паня.— Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот, отколупывать от сердца надо...» Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.

— Наплевай ты на нее! Пой лучше. Может, на душе полегчает.

Сергей Митрофанович посидел, зажав в горсть лицо, и тихо, ровно бы для себя, запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

Паня слушала, слушала и заткнула рот платком. Она сама не понимала, почему плачет, и любила в эти минуты своего Сергея так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть, она пошла бы и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, Паня причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали окопы, хлебом зарóстили, а ты все тама, все тама...»

Она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его горестному лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что и вечно он будет с нею.

— Захмелел я что-то,— тихо молвил Сергей Митрофанович.— Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас. Ну, давай про нас:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженых ребят, нарядную, зареванную девчонку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, еще не умеющих защищаться от разлуки и горя.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать жалостливо рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, а он, простофиля, не дал согласия.

— Дак и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить всякий может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих...

— Талан у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.

— Мели.

— Чего мели? Чего мели? Талан — делать другим людям добро — все одно есть, да пользуются им не все. Ой, не все!

— У меня вот талан был — детей рожать...

— Этого у нас у всех излишек.

— Не скажи. Вон Панька-то...

— А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей? — взъелась Панина мать.

— Тиша, бабы, слухайте.

По просудачили песню старухи. Подождали они еще, позевали, которые крестясь, а которые просто так, и разошлись по домам.

На поселок опускалась ночь. Из низины, от речки Каравайки, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Пятнать начало огороды, отаву на покосах, крыши домов. Стояли недвижные леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с игластыми звездами. Такие вызревшие, еще не остывшие от лета звезды бывают лишь осенями.

Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизбывно. Он всегда слышал ее в себе.

1967

ДОМ НА ФОНТАНКЕ

Время от времени мне снился Вадим. Сон повторялся в течение многих лет, однообразный, явственный: я шел по Невскому и встречал Вадима. Он ахал: «Не может быть, неужели ты остался в живых?» Он недоверчиво радовался: «Значит, ты не погиб?» Слегка оправдываясь, я рассказывал про себя и почему-то стеснялся спросить его... После войны я долго еще не верил, что он погиб, во сне же все переворачивалось: он удивлялся, что я уцелел. Он оставался таким же топеньким, бледным. Глаза смотрели чисто и твердо, он слегка заикался, чуть-чуть, в начале фразы. О Кате мы избегали говорить. Катя вышла замуж в сорок седьмом. Выяснялось, что Вадим работал в институте, в таком секретном институте, что я и не мог ничего знать о нем. Но теперь, поскольку я нашелся, мы снова будем вместе.

Я любовался им, резким и прямодушным лицом его, я блаженствовал, молол какую-то восторженную чушь. Вадим подшучивал надо мной, все, что он говорил, было точно, неопровержимо, я, как всегда, чувствовал его превосходство, завидовал и корил себя за эту зависть. Где он был все эти годы, я не мог понять, я знал лишь, что если начну допытываться, то будет нехорошо, что-то случится. Мы шли по Невскому, я крепко держал его за руку. Проспект был нынешний, с метро, с подземными переходами, с незнакомой толпой. Когда-то мы обязательно встречали наших сверстников, ребят из соседних школ, студентов, когда-то Невский был полон знакомых.

...Я просыпался и долго не мог понять, куда все подевалось. Где Вадим? Может быть, я не проснулся, а заснул? Сон был явственней, чем эта темная тишина, где спали моя жена, дочь, соседи, весь дом. Они смотрели сейчас свои сны, они были далеко и ничем

не могли помочь. Пространство между тем мною, который только что шел по Невскому с Вадимом, и тем, кто лежал в кровати, было ничем не заполнено. Ничего не соединяло нас. Я пребывал где-то в промежутке и не хотел возвращаться к себе, седеющему, контуженному, в жизнь, источенную застарелыми чужими заботами. Разрыв был слишком велик.

Однажды я сказал Вене про свои сны. Он серьезно посмотрел мне в лицо:

— Ты знаешь, мне тоже... Мне иногда кажется, что он жив.

Больше мы не говорили об этом.

Из всей нашей компании после войны остались только мы с ним. Миша погиб, Борис умер в блокаду, Ира умерла от тифа, Люда умерла несколько лет назад, Инна уехала в Москву. Мы и не заметили, как остались с ним вдвоем.

Он пришел ко мне в воскресенье, часов в двенадцать. Шел мимо и зашел, без звонка, без причины. Обычно мы виделись в праздники, дни рождения. Мне не хотелось говорить, мы сели, сгоняли две партии в шахматы.

— Пойдем погуляем,— предложил он.

Падал редкий снег, небо, низкое, серое, висело, как сырое белье.

— Ладно,— сказал я без охоты,— я тебя провожу.

На улице мы поговорили с ним про Китай, про наши болезни, я довел его до остановки и вдруг сказал:

— Пойдем к Вадиму.

Он не удивился, только долго молчал, потом спросил:

— Зачем? Ты думаешь, Галине Осиповне это будет приятно?

Нет, я так не думал.

— А нам? Стоит ли?

— Как хочешь.

Подошел его трамвай. Веня отвернулся:

— Чушь собачья. Теперь уже нельзя не поехать. Получается, что мы боимся.

Мы сели на другой номер, доехали до цирка и пошли по Фонтанке. Всю дорогу мы обсуждали гибель американских космонавтов.

Шагов за сто до парадной Вадима я остановился:

— А что мы скажем?

— Что давно собирались, да все думали — неудобно.

— А теперь стало удобно? Находчивый ты парень.

— Ну не пойдем,— терпеливо согласился Веня.

— Лучше скажем, что случайно были поблизости.

Так мне казалось легче, может быть, потому, что это была неправда.

Обреченно мы переставляли ноги. Малодушие и страх томили нас. Сколько раз за эти годы мне случалось миновать этот серый гранитный дом. Я убыстрял шаг, отводил глаза, словно кто-то наблюдал за мной. Постепенно я привыкал. Почти машинально, лишь бы отделаться, я отмечал — вот дом Вадима. Все остальное спрессовалось в его имени, и чувства тоже спрессовались. В самом деле, почему мы не заходили к его матери, самые близкие друзья его? Впрочем, заходили. Я заходил, но я не хотел об этом рассказывать Вене. Он повернул бы обратно. Это было слишком тяжело.

Мы вошли в парадную. Тут на лавочке обычно сидела Фрося. Сохранилась эмалированная дощечка «Звонок к дворнику». В блокаду Фрося пошла работать дворником, и так и осталась дворником. Она не менялась. Она всегда казалась нам одного возраста. Когда мы были школьниками, она уже была старой. Она нянчила Вадима, вела их дом. В январе сорок второго года я пришел сюда с банкой сгущенки и мороженым ломтем хлеба. Фрося сидела на этой лавочке, с противогазом. Я бросился целовать ее. Она заплакала и повела меня к Галине Осиповне. И после войны, когда я зашел, она сидела на этой лавочке, в черном ватнике, такая же прямая, в железных очках, седые волосы коротко острижены. А потом я перестал ходить по этой стороне Фонтанки, я делал крюк, чтобы не встречаться с Фросей. Но и это, оказывается, было давно.

В просторной парадной сохранился камин, висело зеркало. Мы посмотрелись в него и поднялись на второй этаж. Я хотел позвонить, но Веня заспорил, показал на квартиру напротив. Я удивился: неужели он мог забыть? И он поразился тому, что я не помню. Мы топтались на площадке, пока не вспомнили, что у Вадима был балкон. Спустились вниз, оказалось, по обе стороны парадной имелось по балкону. Мы снова поднялись. Нам и в голову не приходило, что мы когда-либо можем забыть двери его квартиры. Нет, нет, его дверь была налево. Или направо? Обе двери были свежеокрашены.

— Послушай,— сказал я.— Ведь я был здесь после войны.

— Ты был? Почему ж ты мне не сказал?

Он не успел меня остановить, я повернул ручку звонка.

Светло-коричневая дверь была глухой, без надписей, почтовых ящиков, расписания звонков. И сам звонок, врезанный посредине, был не электрический, а ручной, таких почти не осталось.

Послышались шаги. Щелкнул замок, дверь открыл румяный парень лет двадцати. Он был слишком румяный, здоровый, в желтой клетчатой рубахе, в тапочках на босу ногу. Неужели ошибся

я? Худо было то, что я стоял первый, а Веня за мной. Мне пришлось спросить:

— Простите, Пушкаревы здесь живут?

Сама по себе фраза прозвучала для меня дико. Я вдруг сообразил, что прошло двадцать, нет, уже больше двадцати лет. Целая жизнь прошла. Вся жизнь этого парня. Какие Пушкаревы, он скажет, что за Пушкаревы? И мы начнем объяснять, что они когда-то здесь жили, и станем выяснять...

— Вам кого, Нину Ивановну?

— Нину Ивановну? Какую Нину Ивановну? — я оглянулся на Веню.

— Нет, Галину Осиповну,— сказал он.

Парень странно посмотрел на нас.

— Заходите.— И подошел к двери направо, постучал.— Нина Ивановна, к вам пришли.

Большая передняя медленно проступала в памяти — налево кабинет отца Вадима, Ильи Ивановича, полутемный, окнами во двор, с низким кожаным диваном, на котором мы листали огромную Библию с рисунками Доре. Там стояли шведские шкафы с книгами — механика, сопромат, мосты. Направо — столовая... Оттуда вышла маленькая старушка с желто-седыми стриженными волосами, с папиросой в зубах. Она вопросительно смотрела на нас. И парень стоял тут же, любопытно ожидая. Что-то удерживало нас спросить Галину Осиповну.

— Мы товарищи Вадима,— произнес Веня.

Она слегка отшатнулась, прищурилась.

— Веня,— нерешительно сказала она, взяла его за руку, и он просиял.

— А вы... — И она назвала меня так, как меня звали только в этом доме.

А мы не помнили ее. Вернее, я медленно начал вспоминать тетку Вадима, шумную, веселую, с высокими вьющимися волосами.

Кажется, вешалка в передней была та же. И я повесил свое пальто, как всегда, на крайний крючок.

Мы вошли в столовую. Она удивила сумрачностью и теснотой. В ней до сих пор держался дух блокадной зимы. Громоздилась старая мебель из других комнат, та, что не стопили и не проели. С закопченного потолка свешивался грязный шелковый абажур. На облупленных подоконниках выстроились посуда из-под лекарств, банки, молочные бутылки. Стеклянная дверь вела в соседнюю комнату, узкую, длинную, с балконом, там жил Вадим. Потом я узнал буфет. Он стоял во всю стену с колонками, пыльными сверху, украшенными медными колечками. Наверху, на буфете, блестела керосиновая лампа. В углу подпиралась железная печка.

Печку я не помнил. Кислые запахи бедной больной старости путали мою память.

Сели за стол, мы с Веней рядом, Нина Ивановна напротив, они о чем-то заговорили, я смотрел на керосиновую лампу, пытаясь понять, зачем она. Давно я не видел керосиновых ламп, может быть, это была единственная керосиновая лампа во всем городе.

— Вы почти не изменились,— сказала мне Нина Ивановна.— Вы просто повзрослели, стали большим мужчиной, совсем большим.

В каменной пепельнице лежали свежие окурки. Больше ничего не было на столе. Непонятно, чем занималась Нина Ивановна до нашего прихода. Можно подумать, что она сидела тут, курила и ждала нас.

— Веня, у вас глаза посинели. А были голубые. Ярко-голубые. Ну и лоб стал больше.— Она засмеялась и торопливо раскурила новую толстую папиросу.

Я покосился на Веню. Он был лысый, глаза его выцвели, но я вспомнил, какие они были небесно-голубые и как он нравился девчонкам. Он был самым добрым из нас и самым доверчивым. Он свято верил всему, что говорили, печатали, учили. Даже неинтересно было разыгрывать его.

— Галина Осиповна умерла, тринадцать лет назад...

Тринадцать лет... это была такая давность, я ощутил только смутную запоздалую жалость; еще бы немного — и мы никого уже не застали бы.

— ...Нет, она не болела. Просто жить не хотела. Когда умер Илья Иванович, все для нее сошлось на Вадиме. Она не могла представить, что он не вернется... Она ведь долго еще ждала, вы знаете, она все надеялась...

Странно, что из всех погибших ребят я не верил только в смерть Вадима. И Веня не мог согласиться с тем, что его нет. Все остальные сразу становились мертвыми, а Вадим до сих пор...

Затем я вспомнил стол, за которым мы сидели. Он раздвигался во всю столовую, мы играли на нем в пинг-понг, собирались за ним в праздники, справляли окончание университета. Профессор Вадима сидел вместе с Галиной Осиповной, они шептались и посматривали на Вадима. Профессор казался дряхлым. Сейчас он академик и кажется довольно крепким. Вадим был зачислен к нему на кафедру. Можно подумать, что Вадим предчувствовал, так он торопился. Он кончил университет раньше на год. На лето он остался в лаборатории. Последнее время мы редко встречались, он никуда не ходил. Иногда он вызывал Веню помочь справиться с каким-нибудь уравнением. Я обижался, ревновал. Дружба втроем — это всегда сложно.

— Теперь бы он поступал в аспирантуру,— сказала мне Галина Осиповна, когда я зашел после войны.

Я тоже тогда поступал в аспирантуру.

— Язык он сдал бы сразу,— сказала она.— Он обогнал бы вас, он хорошо знал немецкий.

Она высчитывала сроки защиты диссертации. Год за годом она представляла себе его жизнь. Кандидатскую, потом докторскую, рождения его детей, когда они должны были пойти в школу. Она расспрашивала меня про Веню, и про Люду, и про мою дочь и все высчитывала.

Тринадцать лет... я и понятия не имел. Выходит, она умерла через несколько лет после того, как я перестал заходить. Не обязательно было связывать эти события. По-видимому, я тогда уверял себя, что жестоко заставлять ее сравнивать, бередить раны. Я ничем не мог помочь ей,— для чего ж было приходить?.. Нужно ли навещать жен и матерей наших погибших товарищей? — вот вопрос... Всегда чувствуешь себя виноватым. А в чем? Что остался жив? Виноват, что здоров, что смеюсь? Нина Ивановна смотрела на меня, и я почувствовал себя уличенным. Даже сейчас, спустя столько лет, в этом доме все заставляло, чтобы начистоту...

Галина Осиповна, конечно, не понимала, почему мальчики не приходят, что же случилось. А случилось то... Впрочем, ничего не случилось, все обстояло весьма благополучно, в том-то и дело...

— Зачем у вас керосиновая лампа? — спросил я.

— Это Фрося ничего не позволяет выбросить.

— Фрося? Она жива?

— Да. Скоро она придет. Бедная, совсем плоха стала. Так-то физически ничего... — Нина Ивановна заметно расстроилась.

Мы помолчали.

— Можно, Нина Ивановна, посмотреть комнату Вадима? — попросил я.

— Пожалуйста. У меня беспорядок, вы простите.

Мне хотелось заглянуть туда до прихода Фроси. Может быть, я побаивался ее.

Книжных полок там не было. Высокие книжные полки, где стояло Собрание сочинений Джека Лондона в коричневых обложках, приложение к журналу «Всемирный следопыт», комплекты «Мира приключений», которые мы зачитывали, загоняли букинистам. Сохранился лишь его письменный стол. Тут мы готовились к экзаменам. Вернее, Вадим помогал мне готовиться. В школе он мне помогал, и когда я поступал в институт — он тоже помогал. С какой легкостью он решал любые мои сложные задачки. Он любил и выискивал головоломность. Он решал их вслух, волнуясь, заикаясь, и все становилось изящно, просто. Дверь на балкон рас-

крывалась, ветер с набережной выдувал занавеску. «Когда ты научишься логически мыслить?» — горячился Вадим.

В одном из портретов на столе я узнал Илью Ивановича — инженерная фуражка набекрень, полотняный китель, толстые усы; совсем забылось его лицо, а сейчас я вспомнил и то, как он читал и пел нам Фауста, объяснял, что Библия — это не страшно, ее надо читать как хорошую литературу; громадный, размашистый, резко непохожий на тогдашних взрослых. К тому времени редкостью стала фигура крупного инженера старой русской школы. Илья Иванович строил мосты на Волге, Оке... Знаменитые мосты, знаменитые изыскания, экспедиции, кольцо на руке, «прошу покорно», «стало быть, пожаловали»; были в нем независимость, гордость своей интеллигентностью,— теперь всего не вспомнить. Нас мало занимали взрослые, мы спохватываемся, когда их уже нет; ах, какие замечательные люди жили, оказывается, рядом, а нам и дела не было...

До сих пор не очень-то объяснишь, чем привлекал нас дом Вадима — интеллигентностью? добротой? еретичностью? Мы росли в коммунальных квартирах, в очередях, в каменных дворах; главным достоинством считалось наше соцпроисхождение, а в те годы для нас слово «интеллигент» звучало укором, примерно так же, как «белоручка», «спец», «мещанин», «бывший»,— в общем, нечто подозрительное. И тем не менее нас тянуло в этот дом — веселобезалаберный, благородный, тут мы все были равны и пользовались теми же правами, что и Вадим.

И стояла фотография Вадима: остролицый, петушисто-задиристый, в галстучке, уже студент. Узенький галстук, такой, как носят нынче, а пиджак с широкими плечами, обидно старомодный. Внезапно я отчетливо представил эту фотографию напечатанной в журнале рядом со студенческими фотографиями Иоффе, Жолио-Кюри, Курчатова. Погиб великий физик, и никто не знал этого.

Карточка его имела ценность лишь для Нины Ивановны и для нас двоих. Так же, как его шаткий, исцарапанный стол с мраморной чернильницей. Старые вещи всем посторонним кажутся рухлядью. Это было единственное уцелевшее место, где сохранялась наша юность. В столовой висел большой портрет Галины Осиповны с маленьким Вадимом в коротких штанишках. Типичный маменькин сынок. Мы без жалости дразнили его, пока портрет куда-то не убрали. Мы дразнили его за вежливое обращение со всеми девочками, за то, что он не умел соврать, не желал материться и писать ругательства на стенах. С трудом мы научили его играть в очко на деньги. Но все прощалось ему за храбрость. В той большой драке с соседней школой... их было больше, мы отступили во двор, потом побежали кто куда, один Вадим остался, он не умел

убегать. Он дрался в одиночку, пока его не повалили. Это и храбростью именовать нельзя, такой у него был характер. Бедный, заикающийся рыцарь в наилегчайшем весе.

— А вот и Фрося,— сказала Нина Ивановна.

Фрося не удивилась, увидев нас. Улыбнулась, как обычно, когда мы приходили, озабоченно, хмуровато. Конечно, она изменилась — сгорбилась, усохла, только руки остались такими же, и от этого они казались чересчур большими, с цепкими, кривыми пальцами. Мы кинулись к ней. Взгляд ее ничего не выразил.

— Гости у нас,— сказала она.

— Фрося, здравствуйте, Фрося,— громко сказал я.

Глаза ее были мутны, она кивнула мне и стала вынимать из сумки свертки.

— Раз гости, надо чайку поставить.

Мы называли ей свои имена, кричали все громче,— не могла ж она забыть нас. Только что я со страхом представлял, как она скажет: пожаловал наконец, где ж ты был, паршивец этакий, друзья Вадечкины называются, паршивцы вы,— а теперь мне больше всего нужно было, чтобы она узнала нас.

— Фросенька, они с Вадей учились,— на ухо сказала ей Нина Ивановна.

— Да, да, стара я стала,— виновато сказала Фрося.— Вот ватрушку принесла.

Нина Ивановна покраснела, взяла у нее пакет:

— Ватрушка — слабость ее. Если вы не торопитесь, мальчики, попейте чаю, она рада будет.

Она произнесла «мальчики» так же, как всегда говорили в этом доме.

— Там стоял рояль,— тихо сказал мне Веня.

Боря сидел за роялем. Мы чего-то сочиняли и пели. Что мы тогда пели? Нет, это вспомнить невозможно. Двадцать девятого июня. Спустя неделю после начала войны. Мы собрались последний раз. Я уходил в ополчение, Вадим тоже уходил в свою морскую пехоту. Веня ушел позже. То, что этот вечер последний, мы и думать не желали. Будущее было тревожным, но обязательно счастливым, победным, в маршах духовых оркестров, в подвигах, в орденах. Будущего тогда было много, о нем не стоило заботиться. Боря барабанил на рояле фокс, сделанный под Баха, мы пили хванчкару, темную, густую, заедали крабами. В магазинах было полно крабов. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».

Мы с Вадимом были в гимнастерках, обмотках и отчаянно гордились. О войне говорили мало, мы не знали, какая она. Ошеломленность и недоумение первых дней миновали. Возникало

оскорбленное сознание нашей правоты,— может быть, впервые в короткой нашей жизни у нас было такое ясное бесспорное чувство правоты. Кто-то читал стихи. Ира заканчивала филфак, и все принялись обсуждать, что такое литературоведение — наука или искусство. Хорошо, уточним, что такое наука?

«Наука — это то, что можно опровергнуть»,— сказал Вадим.

Он умел поворачивать привычное неожиданной стороной. Раз нельзя опровергнуть, следовательно, это уже перестает развиваться, перестает быть наукой.

Посреди нашего спора Галина Осиповна молча вышла. Вадим пошел за ней. И только тут тревожное предчувствие коснулось нас. Наверное, взрослым невыносима была наша беззаботность.

Погасили свет, открыли окно. Вода в Фонтанке отражала белое небо, свет без теней, слепые окна шереметьевского дворца. Мы стояли, обнявшись, ушастые, стриженные под бокс, чуть хмельные; жаль, что я себя не помню, себя никогда не представляешь, зато я помню пушок на щеках Вадима — он только начал бриться, позднее нас всех. Он вернулся и стал рядом со мной. До чего ж мы ни черта не понимали!.. Но я не испытывал сейчас никакого превосходства перед теми ребятами, перед тем собой. Скорее я завидовал им. То, во что мы верили, было прекрасно, и еще больше то, как мы верили.

— И с чего это вы решили пожаловать? — как можно мягче спросила Нина Ивановна. Она нарезала ватрушку, красиво раскладывала ее на вазочке.

Я молчал.

Фрося наливала чай, большие руки ее тряслись. Веня вздохнул, он привык, что во всех наших историях ему доставалось самое трудное.

— Мы давно собирались... случайно оказались...

Фрося пододвинула нам остатки ватрушки на бумаге.

— Что ты делаешь, Фросенька? — сказала Нина Ивановна.— Я ведь уже положила.

Та посмотрела на нее, не понимая. Нина Ивановна взглянула на нас и обняла Фросю, словно защищая.

— Ах, Фрося, Фросенька. Бесполезные мы стали. Соседи не дождутся.— Она криво усмехнулась.— Уплотнить нас нельзя, сугубо смежные комнаты. Да, так мы о чем?..

— Ничего больше не выяснилось про Вадима? — быстро спросил Веня.

— Откуда ж... Разбомбили их в сентябре под Ораниенбаумом. Никого не осталось, только и успел написать два письма.— Она деликатно подождала, но мы не просили показать этих писем. Передо мной сразу возник детский почерк Вадима, я почувствовал

сведенные мускулы своего лица, тупое, жесткое выражение, как маска, которую не было сил содрать.

— А как ваши успехи, Веня? — спросила Нина Ивановна.

Откуда-то издалека доносился его послушный голос, и я тоже издалека увидел его жизнь.

Конечно, повезло, что он, провоевав всю войну, остался жив, но отсюда, из этой квартиры, судьба его никак не совмещалась с тем голубоглазым мечтательным Веней. Казалось, что останься Вадим жить, все сложилось бы иначе, была б настоящая математика, а не чтение годами того же курса в техникуме. Может, и мне Вадим не позволил бы уйти из аспирантуры, не то что не позволил, а я сам не ушел бы. Во времена Вадима я соглашался, что самое великое событие — это открытие нейтрона. Вадина физика влекла меня больше, чем мои гидростанции.

Но вся штука в том, что он и не мог уцелеть. Такие, как он, не годились для отступления.

Начало войны, ее первые горькие месяцы, эта бомбежка под Танипой горой, с рассвета нескончаемые заходы самолетов в пустом июльском небе, когда мы, обмирая от потного страха, вжимались в стенки окопов, а потом пошли танки, и мы стреляли и стреляли по ним из винтовок, а танки неудержимо наползали, справа через фруктовый сад, ломая белые яблони, и слева по зеленому овсу. Не выдержав, мы выскочили из окопов и побежали. Мы бежали от танков, друг от друга, от самих себя. Задыхаясь, я перепрыгивал плетни, канавы, падал и снова бежал, пока не свалился, ломая кусты, в пробитый солнцем ивняк. Пальцы вцепились в землю, она судорожно вздрагивала от бомб, отталкивая, не в силах защитить меня. В этом гибнущем, распадающемся мире память моя ухватилась за Вадима — он не мог, не способен был так бежать, спасаться, он остался бы в окопах. Я лежал и плакал от стыда. До самой осени, пока мы отходили, эти минуты возникали передо мной, как заклинание.

Нина Ивановна рассказывала про свой давний спор с каким-то студентом:

— ...тогда он заявил, что если бы Пушкин убил Дантеса, то уже не смог бы быть Пушкиным. Он доказывал, что и сам Пушкин изменился бы, и наше восприятие. Я готова была растерзать его.

В углу стоял старый телефонный аппарат с кнопками. Группа «А» и группа «Б». «Ребята, позвоните мне в комитет комсомола».— «Барышня, барышня, дайте мне Мишу».— «Мишу? Он убит»,— сказала барышня. «Как убит, он же только что был здесь, он писал такие стихи!.. Барышня, а где ж тогда Люда, его невеста, черненькая Люда?» — «Она так и не вышла замуж,—

вздохнула барышня,— жизнь ее сломалась и погасла».— «Вызовите тогда Борю. Борю Абрамова, композитора, помните, как он сочинял? А Митя Павлов, что с ним случилось? А Толя, почему не отвечает Толя? А Сева Махоткин... кем бы они могли стать?» «Полгода мне не хватило,— сказал мне Вадим,— хотя бы месяца четыре». Он мог не идти, но он поступал по законам своего дома. Он до конца прожил по этим законам. «Барышня, подождите хотя бы четыре месяца, и вы увидите...» — «Алло, куда вы пропали?» — сказала барышня...

Куда мы пропали? И где та барышня?

Остались только эти две старухи. Когда они умрут, всю эту мебель, фотографии, портреты, все барахло выкинут, комнаты побелят, оклеят.

Что-то произошло со мной. Прошлое меня влекло больше, чем будущее. В стране будущего мы никого не знали и нас тоже. Здесь же нам, оказывается, рады хотя бы эти две старые женщины. Здесь нас ждали. Прожитые годы были полны загадок, мы жили наспех, не всегда понимая то, что творилось вокруг. Теперь же, когда мы стали кое в чем разбираться, прошлое было недоступно.

Мы смирно сидели под пытливыми взглядами старух. Секрет нашего появления все еще мучил их. Нина Ивановна начинала рассказывать про себя, про свою последнюю работу переводчиком в КБ, сконфуженно умолкала, чувствуя, что нам это неинтересно,— ей хотелось понять, что нам нужно. Маленькое личико ее наливалось краской, воспоминания набухали в ней, она стеснялась дать им волю. Волнение ее передалось Фросе, она все подсовывала нам ватрушку, смотрела то на Нину Ивановну, то на нас, мутные глаза ее метались, казалось, она вот-вот нас узнает.

— Вадим так и числится без вести пропавшим.— Нина Ивановна раскурила новую папироску.— Нельзя мне курить, ничего не могу поделать.

Может быть, она стеснялась расстраивать нас рассказами про Вадима? Слишком хорошо мы знали, что означало «без вести пропавший»...

А вдруг и у меня когда-то были опасения: не попал ли Вадим в плен? Взяли раненым, без сознания, отправили куда-то в лагерь. Были эти подозрения или нет? Разумеется, нет, но я знал, я не раз убеждался, что слишком плохо помнил того себя, послевоенного. Боюсь, что я тоже считал правильным не доверять всем, кто жил в оккупации, и всем, кто был в окружении, всем, кто был в плену. Однажды я спросил себя: а что, если он жив, в плену,— ты рад? И не мог ответить, испугался. Какой же я был... Но ведь это тоже был я. Обходить этот дом — так было удобней. Он слиш-

ком много требовал. Он мог уличить, сравнить. Без него было легче.

Мы допили чай, встали. Нина Ивановна растерялась, она не удерживала нас.

— Стекла-то у нас сохранились,— вдруг сказала Фрося.— Заложили окна кирпичом. Амбразура, что ли.

— Это во время блокады. Она сама кирпичом закладывала,— пояснила Нина Ивановна.

Веня ни с того ни с сего заулыбался:

— А что, абажур тот же самый?

Нет, он спутал, висел совсем другой абажур. Тот абажур, желтый с черными фигурками, я подпалил, устроил какие-то опыты и никак не хотел признаваться. Галина Осиповна делала вид, что ничего не произошло, виновата лампочка, слишком большая...

Забытый детский страх вернулся маленьким, нестрашным,— сейчас все выяснится.

Нина Ивановна помедлила, пожала плечами, запрятав смешок. Или мне показалось?

Фрося доедала ватрушку. Мы стояли, не зная, как уйти. Это было труднее, чем прийти сюда. Веня незаметно толкнул меня. Я и сам понимал, что мне надо что-то сказать.

В конце концов я затащил его сюда. Но я все смотрел на эту комнату и молчал.

— Вы простите, нам пора,— хрипло произнес Веня.

— Ну что вы, мальчики, я была рада.— Нина Ивановна церемонно наклонила голову.— Кто бы мог подумать...

Я смотрел вниз на давно не чищенный, почернелый паркет, словно разыскивая что-то. Рука Нины Ивановны вдруг легла на мою руку, пальцы ее дрожали. Мне захотелось наклониться и поцеловать ей руку, но я не умел, то есть вообще-то я умел, но сейчас я был из того времени, когда никто из нас не умел, не хотел уметь, слишком это было старомодно и смешно — целовать руки.

Она не сказала нам: заходите, приходите еще. Не решилась? Не надеялась? Не захотела?

Она взяла Фросю под руку, и они стояли в большой полутемной передней, обе маленькие, седые, и смотрели, как мы, пятясь и бормоча, уходили, так ничего не объяснив и не обещая.

Невский оглушил шумом воскресного многолюдья. Стучали каблуки, неслись машины, звуки сталкивались, разбегались, тревожные, как будто кого-то догоняли, кого-то искали. Глаза девушек из-под капюшонов быстро обегали нас и устремлялись дальше. Каждая из них напоминала мне Иру, Люду, Катю. И парни с поднятыми воротниками коротких пальто, высокие, нежнокожие, только начинающие бриться. Где-то среди них должен был идти

Вадим. Я вдруг подумал — будет ли он теперь сниться, увижу ли я его еще?

— Растревожили, разворошили,— сказал Веня.— И им тяжело, и нам. Странно, чего нас потянуло?

— Жалеешь?

— Нет,— сказал он.— Когда-нибудь же мы должны были прийти.

В том-то и дело, подумал я, рано или поздно мы должны были вернуться в этот дом. Не ради Вадима, ради себя. Вот опять этот дом на Фонтанке появился в нашей жизни, он уже не тот, мы не те, но все равно... Что-то, значит, оставалось все эти годы, нам-то казалось, что уже ничего нет, мы вроде и не нуждались, какого ж черта!.. Словно кто-то позвал нас, словно те годы — они продолжали существовать. Запах паленого абажура, обмотки, Фауст, книги, дом честных правил...

— А что, если и к нам когда-нибудь пожалуют? — сказал я.

— Кто? — спросил Веня.— Ко мне? Сомневаюсь. Не тот дом. Ты считаешь, кому-нибудь понадобится?..— Он покачал головой.— Пожалуйста, пусть приходят. В конце концов, мы честно воевали.

Потом он сказал:

— Надо было спросить Нину Ивановну, чем им помочь. Может, лекарства какие...

— Это верно,— сказал я.

«И кроме того... — подумалось мне,— и кроме того...», но что кроме того, никак было не вспомнить, никак было не пробиться сквозь ржавчину времени.

Веня взглянул на часы, его ждали с обедом. Мы распрощались. Я пошел один. Эти парни и девушки посматривали на меня, наверное, что-то произошло с моим лицом, может быть, я был слишком далеко, но мне было наплевать, мне было сейчас не до них, я думал про Вадима, и про то, что от него осталось, и про то — будет ли он мне сниться теперь?

1968

ПОД ИЗВОЗ

Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень — женился как раз перед войной. Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы на спине торчали даже через ватник и штаны висели на Сеньке, как на колу. А девку прибрал к рукам красавицу — Тайка, Таиска была у него дородная, волоокая и ходила всегда будто со сна, с тайной полуулыбкой и будто о чем задумавшись. Хотя работала она весело и с товарками щебетала не хуже других.

Сенька по простоте своей хвалил жену всем вместе и каждому в отдельности: «А вот у меня Тайка! А вот моя Таиска, нет лучше бабы!» И с восторженным откровением выкладывал ночные подробности. Может быть, зря хвалил, на свою шею выкладывал...

Да, Сенька Груздев был взаправду веселый, ходил он быстро, не ходил, а бегал. Про таких у нас говорят, что «вот эта мелея на месте не усидит». Называют торопыгой, вертуном либо удваивают собственное имя обязательной добавкой, и получается что-нибудь вроде Степы-суеты, либо Ромы-егозы, либо Егора-трясунчика.

Груздев почти всегда улыбался. А о себе говорил обычно в третьем лице: «Сеньку Груздева знаете? Сенька Груздев хороший парень! Ты Сеньку не обидь, а уж он тебя век не обидит».

Сенька был прав: до войны он никого не обижал, хотя самого его обижали сплошь да рядом. Кого в первую очередь посылать на сплав леса? Сеньку Груздева. Кто в разгар праздника должен сидеть в сельсовете и караулить у телефона? Сенька. Лошадь, пахать свой огород, кому в последнюю очередь? Опять же Груздеву в последнюю очередь. И так всю жизнь. Сенька же будто и не замечал этого. Он говорил со всеми громко, прибаутничал, и лишь мелькал его добрый, загнутый чуть вправо, вздернутый, но острокопечный нос. Любила ли Тайка своего Груздева — не поймешь.

Наверно, любила сколько-то, потому что перед самой мобилизацией родился у них первый ребенок. А когда началась отправка, Тайка, как и все бабы, ревела в голос и хрясталась на котомки, сложенные оптом на двуколой телеге. Другие повозки, негруженые, стояли запряженные, готовые. Сенька же плясал в это время у своего же дома, и гармонь едва успевала за частым, словно горох сыпался, стуком стоптанных Сенькиных каблуков. Плясал Сенька удивительно. Не глядя под ноги, а глядя куда-то в небо, шел-строчил, описывал большой круг, и все его естество ходило, как на шарнирах. Не увидишь ни одного ненужного движения, и все движения к месту, как тут и были. Нет, плясал Сенька хорошо, ничего не скажешь. Только частушки, как назло, вылетели из головы подчистую. Он не мог вспомнить частушку вовремя и мотал от этого головой, и приходилось петь одно и то же.

Уехали на войну со звоном гармони, многие поперек тараптасов. Уехал и веселый Сенька Груздев.

* * *

Прошло полтора года, и вдруг Сенька явился домой: его ранило в руку. Рука — правая, как на грех,— совсем не действовала и была похожа на какой-то корявый сучок: вместо пальцев торчали в разные стороны какие-то розовые соски и калачики, и между ними все время сочилась сукровица.

Однако Сенька не унывал. Хотя в его отсутствие в кособоком доме прибавилось ни много ни мало двое жильцов (Тайка гульнула слегка с одним из уполномоченных), он ничуть не обиделся на судьбу. Груздев сперва только удивился, но особо не расстроился и через неделю совсем привык. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила!»

Тайка отмалчивалась, притворяясь и делая вид, что у нее есть какое-то оправдание, только, мол, она, Тайка, никому об этом оправдании не рассказывает. Потом она и сама поверила в это несуществующее оправдание, а Сенька еще больше привык, когда зимой родился еще один, уже наверняка свой, кровный. Сенька бегал по деревне гоголем, и все встало на свое место. Лишь иногда пожилые мужики, не ушедшие на войну по возрасту, подначивали Сеньку: «Худо ты, Груздев, работаешь, не то что уполномоченной. Мужик один сенокос и в деревне-то пожил, а вишь, сразу оба-два! Тебя когда отпустили? Ведь два года скоро, а ты только одного смастерил».

Сенька не оставался в долгу. Он шумно, почти всерьез, оправдывался госпиталем и худыми теперешними харчами, смеялся

вместе с мужиками. Впрочем, Сенька зря оправдывался, потому что вскоре Тайка родила опять и, что всего удивительнее, опять двойню. Один ребенок из этой новой двойни сразу же умер, и Сенька в ящике из-под колхозных гвоздей отнес его к церкви и зарыл. Но все равно семья была большая. Сенька изворачивался, как только мог: пятерых ребятишек и в мирное время поднять на ноги не шутка. Но Груздев был по-прежнему весел и любил всех людей, не считая бригадира.

Бригадира же, двоюродного Илюху, Груздев не любил по многим причинам. Первая причина та, что он бригадир, вторая — что хоть и двоюродный, а прижимка, к нему, к Груздеву, словно бы к пленнику: то упряжь худую даст, то за овец оштрафует. Хотя его, Илюхины, овцы щипали озимь на паях с остальными. А однажды в сенокос Илюха кровно обидел Тайку. Илюха вместе с председателем и счетоводом объявили бесплатный воскресник в счет помощи фронту. Дело не в том, что бесплатный, все равно и другие они также бесплатные, да и Тайка пошла бы работать не позже других баб. Пришла установка, чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Сеньки дома не было, он уезжал под извоз.

Легко сказать — не топить, ежели и в топленую печь ставить нечего! Картошка еще только что отцвела, летом ни мяса, ни редьки, а ребятишки, они ведь не спрашивают, где взять, каждый есть просит. И жена — Тайка — печь затопила. Хотела она сварить крапивной похлебки, а после поставить к загнете ставец козьего молока. А уж потом и идти на воскресник. Утром, часов в пять, она затопила. Дрова были гнилые и не горели, а только шаяли: словно медведь сидел в Тайкиной печке. Тайка сбегала на поветь и разломала пустую кадушку. Подкинула на огонь сухую клепку, и в печи сразу стало весело, как на празднике. И вдруг Тайка в окно увидела председателя, счетовода и бригадира Илюху. Все они с Илюхиной бадьей ходили по деревне и заливали водой печи. Не успела Тайка опомниться, как Илюха с председателем были уже в избе. Они подняли крик, будто на пожаре, разбудили всех ребятишек. «Лей!» — крикнул председатель, и бригадир Илюха два раз плеснул из полной бадьи в Тайкину печь. У Тайки зашлось сердце при виде белого пара, повалившего из погашенной печи. Так хорошо, ясно топились дрова... Она, в слезах, схватила с лавки ведро своей воды и с ног до головы окатила Илюху. Хотела вторым ведром окатить и тех двоих, но они из избы выскочили. После этого зуб у Илюхи против Груздевых стал еще больше, бригадир обижал Сеньку на каждом шагу.

Как-то ночью Сенька назло Илюхе уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтобы пришел утром Илюха и увидел, что

снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал. Сенька уволок сноп на предбанник и забыл про него. Вспомнил только тогда, когда Тайка обмолотила сноп колотушкой, провеяла на ветру зерно, высушила в печи и велела Сеньке смолоть на ручных жерновах. Дней пять она кормила ребятишек ячменной кашей. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два... После этого у Груздева дело пошло быстро: он навострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина,— начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, ему везло, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик.

Его все время посылали под извоз. Он быстро научился одной рукой запрягать лошадь, помогая то зубом, то коленом, ловко накидывал гуж, засупонивал хомут и привязывал к удилам вожжи. С любым возом, в любую погоду он ехал на станцию, за семьдесят километров, ехал на три-четыре дня. И никогда не возвращался без добычи. Однажды привез для колхоза новехонький с гужами из лучшей сыромяти хомут, в другой раз перепряг мерина в чужие новые дровни. Сена он на своей конюшне никогда не брал, добывал кормежку для лошади в дороге, частенько привозил в колхоз то полдесятка пустых мешков, то новую дугу, а однажды стянул с возка райкомовский тулуп.

Илюха, хотя и держал на Сеньку зуб, помалкивал в таких случаях и домовито принимал добычу на бригадный баланс, председатель тоже лишь усмехался при виде новых дровней, а при сдаче хлеба по госпоставкам всегда назначал Сеньку старшим по обозу. Потому что Груздев привозил квитанций больше, чем положено. Делал он это просто: когда на складе взвешивали привезенный на сдачу хлеб, то Сенька весело трепался с приемщиком. Взвешенные и уже принятые мешки складывались отдельно, в сторонку. Стоило приемщику замешкаться, отвернуться по делу, Сенька хватал взвешенный и уже принятый мешок и опять клал на весы. Иногда, притащив мешок в склад и сдав приемщику, Груздев тащил мешок обратно в телегу...

Бабы теперь боялись ездить с ним под извоз, было опасно оказаться его соучастником. Зато он никогда никого в дороге не оставлял, всегда выручал и помогал. То ли завертка у бабенки лопнет, то ли испугается кобыла машины — Сенька всегда тут как тут, выручит, обнадежит. Может, за это и сходили ему с рук многие уж совсем бессовестные проделки.

Однажды он среди бела дня свистнул со склада сельпо полтуши замороженного поросенка. За Сенькой шесть километров гнался заместитель сельпо Гриша, по прозвищу «Шкурник», потому

Пауль Куусберг. «Ржавая лейка»
Художник Г. Филипповский.

что всю жизнь возился с овечьими, телячьими и прочими шкурами, заготовляя их и занижая сортность во имя блага государства. Гриша догнал-таки Сеньку и при всем народе начал стыдить вора:

— Ты, Семен, стыд потерял, тебя надо в тюрьму посадить, разве ладно ты делаешь?

— Жалко, так на, бери! — сказал Сенька. Он бросил поросенка в снег, хлестнул по лошади и уехал.

Таким мазуриком стал Груздев к началу последней военной зимы.

* * *

Холодное, темное и глухое утро. Мороз винтовочными выстрелами то и дело бухает в скрипучих постройках. Такой мороз, что Груздев еле отдирает губу от железа, когда зубами распутывал поводья узды и нечаянно прикоснулся к удилам.

— Дурак я, дурак! — ругает он сам себя.— Разве это дело?

Он и сам не знает, отчего так получилось. Забыл, мозгами вздремнул. А ведь еще в малолетстве учен был морозным железом. (Однажды на спор лизнул обух принесенного с мороза топора. Оставил пол-языка на том обухе.)

В темноте конюшни Груздев долго ищет седелку. Облизывает обожженную губу и тихонько ругает бригадира Илюху: опять одноглазый спрятал чужую седелку.

— У, сатана кривой! — без злобы рычит Сенька и вытаскивает из дальней кормушки спрятанную бригадиром седелку.

Так. Значит, подпруга, войлок, все в порядке. Сенька обрабатывает свою лошадь, всхрапнувшего вместо приветствия чалого Воробья.

По причуде судьбы мерин Воробей не мерин, а наполовину жеребец: ветеринар, холостивший Воробья, плохо спутал ему ноги, и животина, лежа, лягнула ветеринара в грудь копытом. Пока ветеринар отлеживался и собирался довести дело до конца, началась война, его вызвали на фронт в первый же день, а Воробей так и остался при своих испорченных интересах.

И вот Сенька Груздев еще затемно запрягает этого Воробья. Бригадир Илюха еще с вечера сделал наряд: надо везти государству тресту, а обратно ехать порожняком либо прихватить что придется.

Груздев запряг и поехал к гумну. Две бабы и подросток Борька, тоже намеченные под извоз, еще не запрягали, и Груздев колотит в их ворота кнутовищем:

— Эй, теплобрюхие, вставай, эй! Кому говорят, запрягай!

Но в окнах уже мерещится и так что-то красное: свет от лучины, а может, от затопленных печей.

«Теперь проволынятся до обеда,— думает Груздев.— От лешие-сатаны, беда мне с ними».

У своего дома он еще раз перевязывает лен, сильнее затягивает веревки. В избу ему не хочется. Тайка с ребятишками еще спит, делать в избе нечего. И Груздев идет помогать остальным возчикам.

Когда соберутся и выедут в путь, обычно уже светло. Заря розовеет на близком краю неба, тут и там белеют, торопятся вверх, умирать, печные дымы. Лошади тотчас же начинают седеть инеем, полозья тоскливо затянули скрипучую свою песню. Теперь трое суток, не меньше, только и дел что слушай эту морозную песню, и Воробей останавливается у околицы. «Может, еще ошибка какая, может, недалеко ехать?» — такой вопрос таится в глазах обернувшегося назад коня.

Нет, никакой ошибки нет, Груздев кричит Воробью: «Шагом марш!» — и запахивается в тот самый тулуп.

Всходит холодное солнце. Везде кругом розовые, будто кровяные, снега, везде мертвая тишина да белые ольховые кустики. По этим кустикам и стелется скрипом полозьев узкий бесконечный зимник, стелется семьдесят километров, до станции.

Сенька высовывает из тулупа нос:

— Эй, Марюта, а Марюта?

— Чево?

— А жива еще? Гляди у меня, не умирай раньше время.

— Не умру, Семен, не умру!

И Марюта замолкает, ободренная разговором. Она боится будущей неизвестности, дальней дороги, боится и другая баба — Ромпха. С Ромпхой Сенька перекликается тоже:

— Ромпха, ты вот что. Ты бы дома грамм сто пропустила, так и не мерзла!

— А надо бы дернуть! — бодро отзывается Ромпха, которая за всю жизнь ничего, кроме чаю, в рот не брала.

Тем временем Груздев пускает Воробья одного и перелезает на Борькин воз:

— Чево, Борька, ты не женился еще? Поди, ведь уже семь групп окончил.

— Не-е! — смущается Борька.— Я еще только на ту зиму.

— Жениться-то?

— Не, семь классов на ту зиму.

За разговором на сердце мальчишки тоже становится легче. У него каникулы, он едет на станцию всего второй или третий раз и боится дороги больше, чем бабы. Дорога и правда тяжкая, долгая, с двумя, а иногда и тремя ночлегами, с раскатами на горушках, ночными волками на долгих волоках, с машинами у станции,

с трудными разъездами по глубокому снегу. Если одному, то и пропасть можно, а тут еще голодный и в дорожной котомке только шесть вареных картошин. Да лепешка из льняных жмыхов.

У Сеньки Груздева и того нет. Чем питаться эти трое суток, он и сам не знает, просто надеется на какие-то случаи. Он без труда забывает про это неприятное обстоятельство, вытягивает ноги и, опершись на локоть, поет:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух агромных скал,
Абнисен большим забором...

Сенька поет довольно приятно и сам чувствует эту приятность, отчего петь ему еще приятнее:

...Подметалов там немало,
В каждой камере найдешь.

Почему-то он представляет этих «подметалов» в виде бригадиров Илюх, тоже кривыми, только в новых синих фуфайках, в серых подшитых валенках и с новыми же березовыми метлами в коротких руках. Они, эти подметалы, ходят по камерам и шумно метут полы: так видится поющему Груздеву.

Борька с вежливым интересом слушает песню про Александровский централ и шевелит в валенках замерзающими пальцами. Лошадь тоже слушает. Полозья под возами по-поросячьи визжат, мглистое солнце отстранилось от еловых верхов и висит, полозья визжат бесконечным, непрерывающимся визгом.

Сенька враз перестает петь и вытягивает сухую шею: Воробей впереди остановился. Груздев издали громко матюкает его, и Воробей не прекословит, топает дальше. Борьку же точит и точит тревожная тоска бездомности, и Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем белом свете.

* * *

Груздева знают в каждой придорожной деревне. Но деревни далеко друг от дружки, и он, проехав километров пять, промерзает обычно начисто. Особенно мерзнет раненая рука. Если до деревни еще далеко, а терпенья уже совсем нет, Сенька останавливает лошадь, снимает рукавицу и сует изуродованную руку Воробью под хвост. Греет минут пять. Воробей недовольно оглядывается, он никак не может привыкнуть к таким бесцеремонным вторжениям под его хвост и пытается сопротивляться.

— Но-но! — грозит Воробью Сенька.— Стой как положено. Ж... тебе жалко?

Если деревня близко, Сенька отогревается в избе. Мерин уже знает, в какой деревне и куда сворачивать. И вот Груздев развязывает воз, берет вязку тресты, кидает лен на поветь. Потом весело распахивает двери избы:

— Здорово, Федулиха! Суп-то есть?

— Супу-то, Семен, нету севодни. Вон штечки постные.

— Ну давай, штечки ежели.

Федулиха достает из печи постные щи и, пока Сенька громко хлебает, идет на поветь и убирает подальше вязку колхозного льна. Подросток Борька, Марюта с Ромихой обогреваются тем временем у печи. Потом обоз движется дальше. Опять визжат на морозе полозья, опять Сенька поет, каким забором обнесли Александровский централ, и голодный Воробей недовольно фыркает. Часа через два Сенька наконец решает и его судьбу.

В большой, уже от чужого колхоза, деревне стоит какой-то дальний обоз, подвод шесть. Ездовые кормят лошадей, сами греются в избе, и Сенька решительно машет Борьке и бабам:

— Езжайте пока без меня!

Те едут, а Груздев осторожно подъезжает к чужой стоянке. На улице нет ни души, мороз всех позагонял в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено. Сенька, не долго думая, хватает беремя сена с чужого воза и кладет на свой. Вроде маловато, мелькает у него в голове, и он хватает еще охапку, потом еще, прихватывает заодно и хороший плетеный кнут. В это время слышится звук открываемой двери, кто-то выходит из избы, вот-вот откроются ворота. Сенька изо всей мочи, молча бьет Воробья, Воробей дергается, и оба вместе они с возом заворачивают за угол, скрываются за летней избой. У того же дома, у которого остановился обоз.

— На, на, дурка, только тише, стой тише! — шипит Груздев и сует Воробью волоть чужого зеленого сена. Слышно, как выскакивают из избы и матерятся ездовые:

— Полвоза свистнули!

— Минька, распрягай, поедем вдогон!

— И кнута нет, мать его...

— Скорей, Минька, оне еще не должны далеко уехать!

— Догоним!

— Давай топор, догоню, обухом измолочу.

Сеньке слышно, как двое ездовых отпрягли лошадей и верхом бросились за ним вдогон. Он потихоньку выглянул из-за утла, подождал, справил небольшую нужду. Он знает, что ездовые догонят сейчас баб с Борькой, а те знать ничего не знают и никакого ворованного сена у них нет. Ездовые повернут обратно и поедут

догонять вора в другую сторону. Две же встречные подводы едут уже далеко, верст пять отмахали; пока ездовые их догонят да разберутся, что к чему, он, Груздев, будет уже, считай, на ночлеге.

Так оно все и случилось. Ездовые, ничего не обнаружив у баб и у Борьки, проскакали в другой конец. Сенька же, не торопясь и похваливая Воробья, выруливает из-за летней избы на дорогу и, довольный, заворачивается в тулуп. Теперь и самому есть что вспомнить, и мерин сыт будет.

* * *

Недолог зимний день, не успеешь опомниться, а звезды уже опять мерцают, мерцают и близко, и все дальше в фиолетовой глубине неба; холод пробирает ездовых, лошади устали и, часто останавливаясь, оглядываются, будто спрашивают: скоро ли?

Вот наконец и ночлег. На середине пути, в большой деревне, Воробей по своей инициативе свернул в заулок знакомого дома.

Распрягли все четверо. Груздев великодушно делит свое зеленое сено между всеми лошадьми. Коричневый багульник, взятый бабами из своей конюшни, остается нетронутым, и Сенька гордится:

— Вот, дурочки, молите здоровья Сеньке Груздеву!

— Ой, Семен,— охает Марюта,— гли-ко ты, мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой,— говорит Сенька и ступает в дом, заказывать у старухи Михайловны самовар. Минут через пять опять появляется, гремит ведрами. Однако поить лошадей сразу, с пылу нельзя, он перевязывает возы, проверяет завертки, подкидывает лошадям сенца и о чем-то объясняется с Воробьем.

В это время слышится голос Ромихи:

— Неси водяной рогатую блудню!

— Коза? — спрашивает Сенька.

— И не одна! Кыш, пустая рожа! — возмущается Ромиха.

Груздеву давно надоели эти козы. Здешние хозяйки нарочно, даже по ночам распускают коз по деревне, чтобы они кормились у проезжающих обозов.

— Чака-чака,— сидя на корточках, подманивает Сенька козу,— иди сюда, чака-чака.

Коза доверчиво глядит на Сеньку, а он вдруг ястребом кидается на нее. Хватает за рога и тащит козу в избу. Старуха Михайловна живет одна, кормится тем, что пускает на ночлег обозников. Она раздувает у шестка самовар. Сенька, чтобы угодить старухе и не платить за ночлег, громким шепотом окликает старуху:

— Михайловна! Чуешь, Михайловна!

— Чево?

— А па, дура, дой!

Сенька кряхтит, присел и за рога тащит козу в кухню, чтобы никто не увидел, если зайдут.

— Дой, дура! Вон ковшик бери да дой! Пока держу-то!

Старуха — она еще разворотливая — всплеснула руками: «Ой, Сенька, Сенька! Ну да ладно уж...» Взяла алюминиевое блюдо, со страхом оглянулась, но в избе никого не было.

— Давай, Михайловна! — громко шепчет Груздев и не отпускает козу. Коза брыкается, он гладит ее свободной рукой, уговаривает, а Михайловна уже приладилась доить.

— Не сказывай никому, ради Христа,— слышится ее шепот.

— Давай... Ну? Как умерло...

Сенька держит козу, Михайловна торопливо доит. Вдруг получается какая-то заминка.

— Сенька, лешой...

— Чево?

— А ведь коза-то моя.

— ?!

— Ей-богу, моя... и зовут Малькой.

Груздев на секунду теряет чувство уверенности, растерянно глядит на Михайловну:

— Малы а?

— Малька. Вот и веревочка...

Старуха ойкает, ругает Сеньку, как будто он один виноват, а Малька же домовито мелет хвостом. Сенька волокет ее обратно на мороз, она упирается.

— Иди, иди... хм... Ну ладно, ежели... это... откуда я знал, на ней не написано!

За дверью в сенях он втихомолку пинает животину в брюхо и матерится:

— У, дура душная! Рогатая! Так бы и говорила, что не чужая, вдешняя!

Сенька бежит поить лошадей. Коза блеет и от ворот не уходит. Из сеней слышится переменный голос Михайловны:

— Маля, Маля, иди-ко, матушка, домой, я тебя подою да застану, Маля!

* * *

Часа через два все в избе уже спят. Висячая лампа не погашена, а лишь увернута. В темноте на столе виден ведерный выпитый самовар. На лавке у шкапа, подложив под голову рукавицы, тревожно спит подросток Борька. На полу, у маленькой печки, не

сняв балахонов, приткнулись Марюта с Ромихой, Михайловна забралась на печь. Только Сеньки нет, он убежал на деревенское игрище. Может, и спляшет там, даже наверняка спляшет, благо плясать на игрищах стало совсем некому. Часа в три ночи он прибежит, поднимет своих спутников: надо ехать.

Звезды разгораются на фиолетовом небе, надо ехать. Вся дорога и все приключения еще впереди.

Запрягают, трогаются.

Никто не скажет, сколько матюков произвел за день груздевский щербатый рот, сколько страхов пережили, дум передумали Марюта с Ромихой. Борька же за один этот день становится взрослым.

Под вечер все четверо, голодные и замерзшие, въезжают в районный пристанционный поселок. Впереди — Сенька Груздев. Потому что Сенькин Воробей не боится ни поезда, ни встречных машин, так как ездит на станцию чаще других. А может, и оттого, что в нем есть хоть и половинное, но все же мужское достоинство.

Марюта с Ромихой, когда подъезжают к железной дороге, снимают с себя нижние платки и завешивают ими круглые кобыльи глаза. Гудит поезд. Лошади вострят уши, дрожат, как в лихорадке. Перепуганная Марюта гладит морду лошади, успокаивает, а сама тоже дрожит:

— Пронеси, господи...

Поезд грохочет где-то над самой головой, на высокой насыпи. На мелькающих платформах стоят затянутые в брезент пушки, солдат с ружьем и в тулупе кричит что-то, смеется и проносится дальше.

Сенька видит и других солдат, в приоткрытые ворота вагона валит пар, вылетают голоса и гармонные звуки. Сеньке завидно, он с горестным восторгом глядит на убегающий эшелон. «Эх, мать-перемать! — вздыхает он.— Я ведь тоже на часового выучен!» Ему хочется рассказать кому-нибудь, как он учился на часового, как два раза ездил вот в такой же теплушке. Правда, во второй раз и до места не доехал, разбомбили состав, а Сеньку припаяло осколочным...

Сегодня сдавать тресту уже поздно, учреждения прикрыты. Сенька правит прямиком на «квартеру» — к землякам, уехавшим из деревни накануне колхоза.

После того как распрягли коней и упряжь убрали в сени, Груздев кричит Марюте:

— Денег-то много с собой взяла? Давай пойдем в чайную, хоть супу похлебаем.

Чайная рядом, около райсоюза, но Марюта с Ромихой упираются, в чайную не идут. Сенька почти силой тащит их к чайной.

— Иди и ты, Борька!

Борька до того стеснителен, что набычился и остался на улице, а Сенька ругает баб, подталкивает их в двери:

— Идите, сотоны, не бойтесь! С Груздевым нигде не пропадешь, кто пообидится, что пропал с Груздевым?

И бежит покупать талоны. Денег у него всего на один суп и на десять стаканов чаю, Сенька на ходу прикидывает: «Ежели с Марюткиными лепешками, так ничего».

И вот на столе десять стаканов чаю и порция горохового без мяса супу. Бабы, озираясь, несмело развязывают платки, развязывают на коленях узелки с лепешками. Сенька быстро-быстро съедает половину супа. Незаметно ловит двух сонных по случаю зимы мух и украдкой опускает их в тарелку.

— Это, понимаешь, што такое! — на всю столовую кричит Сенька.— А ну, гражданочка, где диллектор? Диллектора, где диллектор?

Груздев с тарелкой идет на кухню, шумит и требует директора. Минут через десять возвращается, важно садится за стол.

— Семен...— У Марюты от испуга даже руки трясутся.— Семен Иванович, отпусти ты нас...

Ромиха тоже вся в беспокойстве, а Сенька дергает их за рукава, шипит:

— Дуры, сотоны, стойте! Кому говорят, на месте сиди...

Бабы сидят, словно на шильях. Вдруг дородная девка приносит и ставит на стол три тарелки супа. Бабы глядят на суп, на Сеньку, а Сенька как ни в чем не бывало начинает хлебать.

Марюта с Ромихой не знают, что делать. Во-первых, они никак не ожидали такой чести, во-вторых, им и есть до смерти хочется и есть боязно. А Сенька знай хлебает и кивает, чтобы ели и бабы. Ромиха глядела, глядела и вдруг говорит:

— Ежели только ложечки две...

— Уж хлебну маленько,— отзывается и Марюта.

На ночлеге бабы только охают от восторга. Первый раз в жизни наелись дарового супу — разве не диво?

* * *

Что верно, то верно, бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька. Лошадей поить, к примеру, как и где? Сенька и ведро найдет, и колодец. Как сдавать тресту, тоже никто, кроме Груздева, не знает. Не знают, где нужная контора и в какие двери идти сперва, в какие потом. Надо оформить какой-то пропуск, выписать какие-то бумаги. Найти приемщика, сдать груз, опять по-

лучить бумажки. Все это и делает Сенька, бегая по райцентру, как угорелый. И земля горит под его новыми валенками.

К полудню треста наконец сдана. Надо бы ехать домой, а Груздеву хочется выпить где-нибудь, он тянет время в надежде наткнуться на удачную компанию.

Бабы стоически ждут, сидят на подводах уже увязанные и про себя молят бога, чтобы Сенька не напился. Сеньке сегодня не везет. Прибежал сердитый, хлестнул Воробья. «Поехали!» Бабы облегченно вздыхают и нукают своих лошадей: слава богу, теперь домой.

Однако у железнодорожного переезда Сенькина неудовлетворенность взрывается и переходит в нестерпимую жажду деятельности. Он вдруг останавливается. Хватает с бровки какой-то небольшой, но очень тяжелый ящик, кидает на дровни и шпарит, не оглядываясь. Рабочие-путейцы бегут за Сенькой, кричат, но Воробей бежит в сторону дома намного охотнее, и преследование обрывается.

Отъехав километров пять, довольный Сенька нетерпеливо исследует ящик. Слышится ругань, Сенька плюется и ногой сковыривает ящик с дровней: в ящике одни железные костыли, которыми пришивают рельсы ко шпалам...

Сенька удручен и обижен, ему кажется, что с костылями его бессовестно надули. Он искренне и долго ругает обидчиков, сердито заворачивается в тулуп.

Однако осьминка табаку, добытая на складе райсоюза, вскоре возвращает ему веселое настроение.

— Марюта, чуешь, Марюта?

— Чево?

— А не умерла еще?

Начинается тот не поддающийся описанию и на первый взгляд совершенно пустой диалог, когда говорящие полны доверия, доброты и отрадного взаимоутешения.

— ...А я, Семен, на гумно-то ушла, трубу-то не закрыла. Прихожу, а в избе-то у меня все выдуло...

Сенька слушает.

— Гляжу, а петух-то сидит на кожухе и на меня не глядит, гребень опущенной.

— Ой ты. Омморозила? — восхищенно кричит Сенька.

— ...а курицы-то на шесток забилися...

— У тебя много ли куриц-то?

— Чево?

— Куриц-то, говорю, много ли?

— Да три.

Возы шумят, Марюта замолкает ненадолго.

— А с петухом-то четыре, нешто и толку от их. Одна дак все лето в крапиле и клалася.

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла.

* * *

Так Сенька Груздев ездит под извоз. Ездит всю зиму и все лето, ночуя дома раз или два в неделю. Летом Сеньке — раздолье. Не надо воровать сено для Воробья, отогревать раненую руку под лошадиным хвостом.

Однажды Груздев сбился об заклад с заготовителем Гришей. Спор получился из-за Воробья, Гриша-заготовитель не ставил мерина ни во что. Сенька обиделся, разошелся и прямо в поле случил Воробья с воронои сельсоветской кобыленкой, которая стреноженная ходила на клеверище. Воробей не ударил лицом в грязь, все сделал, как положено, и Сенька выспорил две пол-литры. Грише пришлось раскошелиться, но как раз это обстоятельство и сгубило Сеньку.

Переезжая вброд речку, он угодил спьяну на глубокое место и подмочил два ящика дорогих ленинградских папирос. Сельпо отнесло убытки на Сеньку, а чтоб рассчитаться, Груздев в том же сельпо стянул и продал мешок соли. Сеньку уличили и подали в суд, дело кончилось принудиловкой. Но принудиловка для Сеньки всего полбеды, хуже было то, что не стали больше посылать в извоз. Отлучили не только от Воробья, но и от всех других лошадей.

Но Сенька особо не тужит, да и война уже кончилась.

...У груздевского дома большая куча недавно наколотых еловых дров. Пахнет смолой, белой ядреной древесиной. Поленья ровные, звонкие, хотя еще и не очень сухие.

Сенька с женой Тайкой складывает дрова к стене, в поленницу. Ребятишки — не поймешь, где свои, где чужие,— бегают вокруг. Они везде, в траве и на пыльной дороге.

В концах поленницы Сенька выкладывает дрова клетками, чтобы не раскатилась вся поленница.

— Ой, ой, Семен, спинушка-то моя, спинушка.— Тайка охает и садится на крылечко неподалеку.

— А непошто и пришла,— говорит Сенька,— один, что ли, не складу?

— Все думаю, хоть поскорее-то...

Дело у Груздева идет быстро, поленница растет на глазах. Однако дров еще много, надо бы заложить другую поленницу, а Сенька кладет уже на уровень своей головы.

— Гляди, хватит уж,— замечает Тайка.

Он кладет и кладет.

— Хватит, лучше новую начни. Говорено было, чтобы сразу шире раскладывал.

— Никуда она не девается, крепко стоит,— говорит Сенька.

— Свалится ведь.

— Не первой раз. Учить нечего, как маленького. Ну-ко, вон туда еще, ну-ко...

— Ой, гляди, Семен!

— Чего мне глядеть? Стоит как церква. Давай вон эти еще... Да и все, пожалуй, уйдут.

— Да что тебя, лешой! — ругается Тайка.— До крыши класть будешь? Сейчас полетит все!

— У меня не полетит, сказано, домой иди. Первой раз, что ли? Складу все на одну. У меня да полетит... У Груздева сроду не летывало.

— Тьфу, дурак, прости господи!

— Полетит... У меня не полетит, у меня как припечатано, это уж точно.

— Семен!

— Во! Полетит. Да ее теперь и валить не свалить, как церк...

Поленница с грохотом разваливается.

Груздев еле успевает отскочить в сторону. Он восхищенно моргает, глядя на беспорядочную кучу поленьев, произносит:

— Хм... Ведь так и знал, что шарахнется!

1968

ПОЕДИНОК

1

Борца-молодца можно узнать за версту. Мало того что пахлаваны внушительны с виду, они, каждый на свой манер, к тому же еще и любят подчеркнуть богатырскую осанку. Если один, к примеру, отращивает длиннющие, словно сабли, усы, чтобы этим нагонять страх на соперников, то другой придумывает себе особую походку, и от его поступи земля издает тихий гул и легонько вздрагивает; третий же полагает, что большой колыхающийся живот, величиной с добрый казан, обескураживает противника, хотя известно, что во время борьбы такое брюхо доставляет хозяину больше неприятностей, чем пользы.

Ахмадбек разительно отличался от подобных сплачей. Человек, впервые увидевший его, не мог бы себе представить, что такой вот обычный с виду мужичонка в течение долгих лет бессменно носил звание сильнейшего борца довольно-таки большой округи. Однако из этого вовсе не следует, что Ахмадбек замухрышка. Вовсе нет. Фигура у него ладная, роста он выше среднего, широкогрудый, с хорошо развитыми мышцами рук и ног, с крупной головой и высоким открытым лбом. Но, сказать по правде, такая фигура еще не являет собой ничего богатырского. Осанка у Ахмадбека была скорее как у простого дехканина-землероба. Да и жиденькие усики из-за явного небрежения хозяина не знали даже, в какую сторону им закручиваться — то ли вверх, то ли вниз, то ли в сторону ушей. И походка у него, хотя и твердая и неторопливая, нисколько не напоминала величавого шествия прославленных борцов.

Одни утверждали, что Ахмадбек — хитрец и нарочно прикидывается эдаким невзрачненьким простачком, чтобы во время борьбы усыпить бдительность противника, а затем вдруг свалить

и припечатать его к земле. Другие спорили: если Ахмадбек побеждает хитростью, тогда почему же он осиливает и тех пахлавонов, которые знают его насквозь? Нет, хитрость тут ни при чем, дело в умении и силе, хитростью еще ни один пахлавон не обрел славы.

Да и впрямь таджикская национальная борьба очень своеобычна. Она требует и ловкости, и силы рук и ног, и развитых мышц поясницы, и могучей шеи. Если вы человек сильный, но неповоротливый, может случиться так, что какой-нибудь юнец, не обладающий и половиной вашей силы, но зато ловкий, возьмет да и уложит вас на обе лопатки, не успеете вы дойти и до середины майдана. Ну а если вы хоть в тысячу раз ловчее самого ловкого существа на свете, но в подходящий момент не воспользуетесь своей сноровкой, то и тогда победа может ускользнуть от вас.

Противники Ахмадбека не могли взять его ни силой, ни ловкостью. Бывало, стоит он посреди майдана, словно врос в землю, как старинная маслобойка, больше чем наполовину ушедшая в землю, а его соперник, освоивший, как говорится, все семьдесят семь приемов борьбы, недоумевает, когда же он умудрился оказаться поверженным на землю.

А состязаясь с гороподобным богатырем, Ахмадбек искусно вынуждал его кружиться по майдану и, доведя до полного изнеможения, молниеносным приемом валил с ног.

Однако и в победах Ахмадбека, и даже в его жизни люди видели нечто необыкновенное, и поэтому о нем ходили самые невероятные слухи. Говорили, например, что Ахмадбек человек не простой, а осененный знамением свыше. Да, да, утверждали они, какой-то святой, несомненно, покровительствует ему. Все пахлавоны на свете обязательно упражняются — либо периодически борются с равными себе силачами, либо занимаются гирями или еще чем-нибудь вроде этого. Но еще никто и никогда не видел, чтобы Ахмадбек тренировался. С тех пор как он стал помогать своему ныне покойному отцу и занялся ремеслом предков — земледелием, он не знал иного занятия, кроме пахоты, выращивания зерна и овощей, ухода за садом и рытья арыков... И все-таки, когда бы он ни выходил на майдан, его тренированный годами противник не мог устоять против него.

Правда, каждодневный труд дехканина — та же тренировка, а бригадир к тому же только Ахмадбеку поручал пахоту и посев на крутых склонах Белой горы. Там, где другой не сумел бы пройти и с вязанкой хвороста, Ахмадбек пахал на быках. И омач [1] Ахмадбек выстругал себе по руке сам. Приподнять и переставить этот омач из одной борозды в другую было под силу только ему.

---

[1] О м а ч — деревянная соха.

Однажды, как рассказывают, пахал он там землю, когда из райцентра прискакал гонец с известием, что после обеда назначено состязание, в котором Ахмадбек обязательно должен участвовать. Ахмадбек ответил отказом, так как обещал бригадиру до завтрашнего дня перепахать участок. Посыльный вернулся в райцентр ни с чем, но часом позже воротился вместе с дехканином из кишлака Дпхиболо и председателем районного комитета физкультуры и спорта. Как оказалось, председатель комитета попросил председателя колхоза послать кого-нибудь на замену Ахмадбека, пока тот будет на состязании.

Ахмадбеку не оставалось ничего иного, как отправиться в райцентр, но не прошло времени, за которое можно успеть выпить чайник чаю, как сменивший его дехканин сорвался с кручи и расшиб плечо.

То, что после четырех лет войны Ахмадбек вернулся целым и невредимым, тоже вызывало в свое время много разнотолков. Ведь во всем горном Дарвазе не было дома, в котором не оплакивали бы одного или двух мужчин, или кто-нибудь вернулся с фронта непокалеченным. А Ахмадбек каким пошел на войну, таким и воротился. Правда, однажды поблизости разорвался снаряд, и, хотя Ахмадбек успел броситься в окопчик, его засыпало землей. Однополчане откопали Ахмадбека, но после этого он целый месяц ничего не слышал. В голове гудело, словно осиная семья устроила там улей, и временами в ушах что-то сильно свистело. Когда доктора обращались к нему с вопросами, он видел только, как шевелятся их губы, и до него доносилось лишь: гум-гум-гум и бам-бам-бам.

Месяц спустя Ахмадбек вернулся в строй.

Когда он рассказывал землякам про свои военные приключения, его простые и бесхитростные истории, в которых он ничего не преувеличивал и не пытался выставить себя героем, выслушивали с величайшим вниманием и уважением. Однако односельчане, беседуя между собой, утверждали, что он все-таки человек не простой...

2

Настроение у Ахмадбека было паршивое. Тяжелые думы одолевали его. Уже в который раз этот выскочка Мухаммадмурад портил ему радостно начавшийся день!

Ахмадбек вышел на улицу, чтобы встретиться со своим другом Салимом и вместе пойти на туй, куда они были приглашены. Кто-то окликнул его. Ахмадбек обернулся. Мухаммадмурад легко, словно пушинку, нес, прижав к левому боку, большой, пятипудо-

вый мешок с мукой. Приблизившись и не опуская мешка на землю, он поклонился, приложив в знак уважения свободную руку к груди, и затем принялся жать протянутую ему Ахмадбеком руку.

— Здравствуйте. Здоровы ли вы? Радостны ли? Редко вас вижу. Устроитель туя просил принести муку. Вы тоже туда? Тогда нам по пути,— говорил Мухаммадмурад, словно попугай, выталкивая из себя слова, и в то же время, схватив железной рукой пальцы Ахмадбека, все крепче сжимал их.

Ахмадбек и не помышлял тягаться с ним. Он вежливо, хотя и с досадой, отвечал на приветствия и расспросы молодого пахлавона, пытаясь незаметно высвободить пальцы из руки парня.

Появись сейчас кто-нибудь на улице, увидя мирную беседу и рукопожатие двух пахлавонов, он наверняка счел бы, что молодой человек выражает почтение прославленному борцу. Но у юноши было другое на уме...

Ахмадбек потянул носом и почуял, что от Мухаммадмурада попахивает спиртным. Поняв, что молодой пахлавон может покалечить ему пальцы, он резким движением вырвал руку.

Уголки рта Мухаммадмурада судорожно дернулись, и в полуприкрытых глазах мелькнула злоба. Он попытался снова ухватить руку старого пахлавона, но Ахмадбек, тронув его за плечо, мягко произнес:

— Мешок хотя бы поставил на землю...

В словах Ахмадбека слышались укор и намек на то, что неприлично так пренебрежительно, с мешком под мышкой, здороваться со старшим.

Мухаммадмурад опустил на землю мешок, но мешок стал крениться и падать. Мухаммадмурад слегка пошевелил его, пытаясь установить более устойчиво, однако мешок начал валиться в другую сторону. Тогда Ахмадбек левой рукой легко поднял мешок за завязанную горловину и прислонил к дувалу.

— Сынок...— сказал он, глядя прямо в глаза Мухаммадмураду. Он хотел воспользоваться правом старшего и дать молодому пахлавону добрый совет — не брать в рот спиртного. Одни пьют для веселья, другие, чего греха таить, чтобы самим себе казаться умнее и сильнее. Мухаммадмурад, несомненно, настоящий пахлавон, и ему не нужно пить ни по первой, ни по второй причине. Именно это хотел сказать Ахмадбек, от всего сердца желая добра парню, но, когда увидел глаза Мухаммадмурада, слова застряли у него в горле. Во взгляде молодого пахлавона было выражение открытой ненависти, а на лице играла издевательская усмешка.

Ахмадбек и до этого подозревал, что юноша, хотя и выказывает ему внешние признаки уважения и при встрече кланяется чуть не до земли, почему-то питает к нему глубокую неприязнь. А теперь, выпив, он и не старался скрыть враждебности... Настроение Ахмадбека испортилось. Словно черная туча окутала его душу. Будто вот здесь сейчас, сию минуту случилось великое несчастье и опора его спокойствия вдруг рухнула...

3

Ахмадбек пришел на туй вместе с Салимом-муаллимом. Они дружили с детства, и хотя Салим, закончив педучилище в Гарме, стал учителем, а после заочного обучения в институте был назначен директором школы, а затем избран председателем кишлачного Совета, он никогда не порывал дружбы с Ахмадбеком. Он уже давно перестал учительствовать, но его по-прежнему звали Салим-муаллим — Салим-учитель.

Друзей провели на айван [1], усадили с самыми уважаемыми людьми и на подносах принесли всякие сладости, фрукты и прочие угощения.

Туй начался с утра, но гости, приглашенные на вечер, считались особенно почетными, и хозяин лез из кожи вон, чтобы они приятно провели у него время.

На суфе под большим раскидистым тутовником расположилась молодежь. На главном месте восседал агроном, по обе стороны от него учителя, ветврач, а дальше парни, которые обычно вертелись вокруг правления колхоза и считались молодежным активом кишлака. Среди них был и Мухаммадмурад. Он громко рассказывал о состязаниях в Душанбе и в других городах.

В кругу молодежи пили водку, которую из уважения к старшим приносили в чайниках и разливали в пиалы. Голоса молодых с каждой минутой становились все громче. Певцы-любители, выходя по очереди на середину двора, пели, аккомпанируя себе на дойре, рубобе или домбре. Подражая городским артистам, они во время пения ходили среди гостей.

Ахмадбеку было не до песен. «Видимо, узы управления своими чувствами с годами ослабевают»,— думал он. Лет десять или даже пять назад, если кто-нибудь наносил ему обиду, он умел успокоить самого себя. Ведь и пальцы одной руки несхожи друг с другом, думал он и вспоминал народную мудрость: «Если подлец

---

[1] А й в а н — терраса, веранда.

сидит выше порядочного человека — не беда, и на реке мусор плывет по поверхности, а жемчуг лежит на дне». Да, несколько лет назад он легко обуздывал свои чувства, а теперь, увы, стоит кому-нибудь испортить ему настроение, он целую неделю ходит расстроенным.

Интересно, что нужно этому Мухаммадмураду? Победил всех в округе, получил призы и благодарности, или, как теперь повелось говорить, почетные грамоты, во всех трех смежных районах, несколько раз ездил в Душанбе, один раз его посылали в соседнюю республику, кажется, во Фрунзе... Неужели ему мало этого? Обязательно хочет положить на лопатки Ахмадбека и сделать это публично, на глазах у всего честного народа!

А ведь Ахмадбек вот уже четыре года, как перестал бороться и считал нескромным снова принимать участие в состязаниях. Борьба — дело молодых. Пахлавоны, его сверстники, уже давно сошли с майдана. Ведь и борьба имеет свои неписаные законы.

А может быть, не стоит обращать внимания на всякие правила и проучить невоспитанного выскочку?.. В прошлом году дважды представлялись для этого благоприятные случаи. Правда, первый случай был не вполне подходящим. Ахмадбек возвращался из больницы, расстроенный болезнью жены. На спортивной площадке в райцентре проходило состязание борцов. Мухаммадмурад с воинственным видом скачками мерил майдан, вызывая охотников потягаться с ним. Трепировочные брюки были закатаны до колен, открывая мускулистые икры. Босой, он скакал по мягкой, словно ковер, поросшей травой площадке, и полы его короткой безрукавки развевались по ветру, делая его похожим на бойцового петуха перед схваткой. Время от времени он стаскивал с головы тюбетейку и обмахивал ею потное лицо, бросая при этом вызывающие взгляды по сторонам. Было очевидно, что до этого он уже победил нескольких соперников и теперь в ожидании нового противника кружил по майдану, готовый к поединку. Однако никто не осмеливался выйти против него.

Заметив Ахмадбека, Мухаммадмурад полупоклоном приветствовал его и, с нескрываемой гордостью задрав голову, вперил многозначительный взгляд в старого пахлавона.

— Молодец, сынок, не уставать тебе! — громко произнес Ахмадбек и отправился своим путем.

В другой раз на этот же самый майдан его привел Салимму-аллим. Главный судья соревнований — председатель комитета физкультуры — согнал ребят с единственной деревянной скамьи, которая стояла в тени платана, и усадил почетных посетителей. Это было незадолго до Октябрьских праздников. Состязалось около тридцати борцов, съехавшихся со всего района. Судьи награжда-

ли победителей транзисторными приемниками, часами, костюмами, халатами и разными другими призами.

Мухаммадмурад победил последнего противника. Положил на лопатки еще двух-трех парней из дальних горных кишлаков, рискнувших померяться с ним силой. Потом начал прыгать по майдану. Как конь, охмелевший от ячменя, скормленного ему перед скачками, нетерпеливо кружит вокруг кола, к которому он привязан, так же и Мухаммадмурад раздувал поздри, кружа по майдану. По привычке он обмахивался тюбетейкой. У молодого бойца была могучая шея, а бицепсы на руках можно было сравнить с дынями-скороспелками. Мышцы его рук, ног, шеи, волосатой груди переливались и играли при каждом движении. Капельки пота на теле блестели в лучах предзакатного солнца.

Соперник не выскакивался, и Мухаммадмурад подошел к столу, покрытому красной материей, наклонился к судьям и что-то прошептал. Председатель комитета физкультуры в ответ пожал плечами.

Ахмадбек ничего не ожидал, как вдруг над самым его ухом раздалось:

— Ахмадбек-ака! Ахмадбек-ака! — повторил главный судья, остановившись у скамьи, на которой сидели оба приятеля.— Мухаммадмурад спрашивает, правда ли, что вы решили никогда больше не бороться.

Ахмадбек покраснел. Ах вот что значат все эти перешептывания и пожимания плечами! Молодой борец кажется на вид не лишенным сообразительности, а на самом деле... Ну да ладно, как говорится в народе, все, что ни делается, все к лучшему... Теперь у него нет выхода, он примет вызов...

Но Салим-муаллим положил ему на плечо руку и, не дав подняться с места, обратился к судье.

— Ахмадбек не борется уже, ты же это прекрасно знаешь! Для чего еще спрашивать? О господи, или ты только сегодня свалился с неба?

Пробормотав слова извинения, главный судья вернулся на место и объявил, что состязание борцов окончено.

Зрители начали расходиться.

Окруженный толпой почитателей, Мухаммадмурад, проходя мимо Ахмадбека, даже не посмотрел в его сторону. Он получил в награду ручные часы и халат и нарочито громко сказал:

— Всякий раз дают часы, в пору открывать часовой магазин!

Салим-муаллим шагал рядом с задумавшимся Ахмадбеком и шутками и прибаутками старался развеселить приятеля.

— Ну что ты надулся? У самого уже внуки, а все еще тянешься к борьбе! Если уж так невтерпеж, давай поборись со мной.

— С тобой?

— А что? Разве забыл, как мы с тобой боролись в детстве? Помню, раза два-три я даже уложил тебя на обе лопатки...

Ахмадбек невольно рассмеялся и в тон шутливо ответил:

— Что правда, то правда. Но то было в детстве. Теперь ты у нас председатель кишлачного Совета, то есть сама советская власть. А судьба тех, кто пробовал бороться с советской властью, известна...

4

Шурпа давно была съедена. Молодые гафизы продолжали петь. Весельчаки состязались в острословии. Сидевшие на айване пожилые люди делились друг с другом воспоминаниями о прошлом. В кругу молодежи темы бесед менялись ежеминутно. Среди их голосов выделялся зычный голос Мухаммадмурада.

— Занятный парень,— указав в его сторону, сказал Салим-муаллим.— Вбил себе в башку потягаться с тобой.

— Да,— подтвердил Ахмадбек.

— Не нравится мне это, завтра обязательно поговорю с ним.

— И что ему скажешь?

— Не беспокойся, знаю, что сказать.

Вдруг Ахмадбек догадался, о чем думает его друг. Что ни говори, а Ахмадбек всю жизнь был дехканином, а дехкане народ простодушный. Он только теперь понял, что думает о нем Салим-муаллим: от Ахмада-пахлавона осталась одна былая слава! Вот почему в прошлом году накануне Октябрьских праздников он не допустил, чтобы Ахмадбек вышел на майдан, вот почему и сейчас намерен поговорить с Мухаммадмурадом и втемяшить ему в голову, чтобы тот перестал задирать Ахмадбека. Слава богу, Ахмадбек еще не успел рассказать своему другу, что случилось сегодня утром на улице, пока он ждал его, иначе Салим вызвал бы Мухаммадмурада в кишлачный Совет и надрал бы ему уши. Вот было бы позору!..

— Салим,— вполголоса, чтобы не слышали окружающие, обратился к другу Ахмадбек,— я хочу тебе кое-что сказать...

— Говори, я слушаю.

— Ты знаешь моего шурина? Да, да, мясника. Есть у него одна интересная способность... Если ты, к примеру, хочешь зарезать барана, корову или телку, он обязательно требует, чтобы ему сперва показали скотину. Барана он схватит за загривок, приподнимет, затем опустит на землю и ощупает. Корову или телку

потрогает за подгрудок, потом возьмет за холку, потрясет и скажет: вес вашей скотины такой-то, мяса столько-то, сала столько-то. А после убоя, если ты удосужишься взвесить мясо и сало, то убедишься, что он ни на килограмм не ошибся.

— Что ж, и я знаю такого человека. Нарзи-мельник только взглянет на мешок зерна и точнее весов назовет вес.

— Молодец! Значит, ты понял меня...

— Ну, а что ты все-таки хотел сказать?

— Когда я занимался борьбой, то с первого взгляда мог определить силу противника...

— А теперь?

Ахмадбек с минуту сидел молча, затем сказал:

— Теперь тоже.

— И можешь проучить его? — Салим-муаллим кивнул в сторону суфы, на которой сидела молодежь.— За чем же дело стало?

— Завистник он. До сих пор у меня язык не поворачивался это сказать. Завистник. Еще двадцати полных лет нет, а уже завистник. Только посмотрю на него, увижу, как он ненавидит меня, на душе становится муторно...

— Интересный ты человек, Ахмадбек!

— Ну, допустим, был бы завистником человек нашего возраста... Аллах с ним, сказал бы я. Горбатого могила исправит... Но что делать с двадцатилетним завистником? Глаза у него черные. Поверишь ли, черные глаза, которые великие поэты сравнивали с черносливом и еще с тысячью прекрасных вещей, у него жгут, как осы, как хвост скорпиона...

— Да, взгляд у него тяжелый,— согласился Салим-муаллим и помолчал, задумавшись.— Неприятный какой-то взгляд. Но и ты тоже чудак! Ведь люди бывают разные. Ты хочешь, чтобы все пахлавоны были бы такими же справедливыми и благородными, как Навруз?

— Не знаю... Не могу тебе объяснить, что у меня на душе...

Подали плов. Ахмадбек вынул нож и принялся разрезать мясо. В это время к нему подошел сын хозяина дома. На ладонях он держал тонкую лепешку с большой мясистой мозговой костью...

— Для дядюшки Ахмадбека,— смущенно сказал мальчик, по виду которого было ясно, что такое поручение он выполняет впервые.

— Кто прислал? — спросил Салим-муаллим, принимая у него лепешку.

— Мухаммадмурад,— ответил мальчик и быстро сбежал с айвана.

Друзья многозначительно переглянулись.

5

Удрученный ушел Ахмадбек с туя. Ему хотелось остаться одному, подумать...

Запоздалая луна посеребрила вершины гор. В лунном свете солома, разбросанная на току, поблескивала, словно отшлифованный янтарь. Мириады сверчков завели свою тоскливую песню, и на фоне их монотонного свиста доносящиеся из кишлака звуки домбры и рубоба казались Ахмадбеку далекими и чужими.

Старик сторож спал на узенькой железной койке возле молотилки. Последние две недели Ахмадбек целыми днями трудится на этом хирмане [1] и иногда вечером заворачивает сюда скоротать часок-другой со стариком.

Увидев спящего сторожа, он направился к развесистому карагачу, чья прохладная тень днем была прекраснейшим местом отдыха, и там присел. Доброе свойство есть у всех хирманов — как бы ни было тоскливо на сердце, посидишь здесь часок-другой, успокоишься и все позабудешь.

Но сегодня тяжелые мысли не оставляли Ахмадбека. Оскорбительное рукопожатие Мухаммадмурада, его полные неприязни взгляды и то, что на туе на глазах у всех он послал ему мозговую кость, грубо намекая на то, что силы у Ахмадбека иссякли и ему необходимо их восполнить,— все это никак не выходило из головы, сколько он ни старался.

«Парень совсем опьянел от славы... «Звездная болезнь» вскружила ему голову,— вздохнул Ахмадбек.— Правду говорит Салим, люди все разные, всяк на свой лад...»

В памяти Ахмадбека ожили некоторые картины его собственной молодости. Вспомнилась и встреча с Наврузом-пахлавоном.

В те годы Навруз-богатырь был очень знаменит. Слава о нем гремела по всему Дарвазу. Хотя Ахмадбек был тогда еще новичком, молва о его победах дошла до слуха борцов, пахлавонов соседних районов. Может быть, причина столь скорой известности Ахмадбека заключалась в том, что борьба проходила в самый разгар строительства Большого Памирского тракта и как раз на празднике дорожников он завоевал свою первую победу. А ведь то, что происходит на дороге, быстрее обычного становится общим достоянием. Ведь на строительство собрались тысячи людей со всех концов Таджикистана, и национальная борьба была одним из любимейших развлечений строителей.

Как-то Ахмадбек вел своего охромевшего жеребца в Верхний кишлак к ветеринару. Хотя конь с трудом ступал на больную

---

[1] Хирман — ток, гумно.

ногу, Ахмадбек все же перебрался с дороги на тропу, идущую по-над Ванчем, чтобы повстречать меньше людей. Ведь каждый встречный обязательно начнет расспрашивать, отчего и когда охромел скакун, набрал ли Ахмадбек такой-то травы на таком-то склоне, растолок ли ее и приложил ли к больной ноге жеребца, прибегал ли он к помощи целебной воды, которая вытекает из такого-то источника, и так далее и тому подобное.

На одном из поворотов тропы Ахмадбек вдруг остановился. Жеребец, бредущий сзади, ткнулся мягкой мордой ему в шею и обдал горячим дыханием, будто спрашивая о причине внезапной остановки.

Шагах в тридцати, под ореховым деревом возле родника, на расстеленном румоле [1] молился человек. Он стоял на коленях лицом к Ахмадбеку и, опустив голову, беззвучно шевелил губами. Обычаи запрещают мешать молитве. Ахмадбек накинул поводья на ближайший куст и присел на камень в ожидании, пока незнакомец кончит молиться.

Спустя некоторое время со стороны родничка послышался голос:

— Эй, сынок, иди сюда!

Незнакомец, перестелив платок на другое место, вынимал из своей дорожной торбы сдобные лепешки, сушеный урюк, изюм, вареные яйца и прочую снедь. Затем он выпрямился, и Ахмадбек сразу понял, что перед ним пахлавон.

Поздоровались. Поинтересовались здоровьем друг друга.

— Ты из этого кишлака? — указав в сторону, откуда шел Ахмадбек, спросил встречный.

— Да.

— Раздели со мной трапезу, сынок. Когда я один, кусок не лезет в горло.

Незнакомец говорил очень приветливо, с ласковой и доброй улыбкой, и Ахмадбек, хоть и спешил, не смог отказать ему.

Сели за дастархан и начали есть, макая сдобные и вкусные лепешки в воду ручья, который, перерезав пешеходную тропу, сбегал в Ванч.

Гнедой, поджав больную ногу, время от времени нетерпеливо фыркал и, мотая головой, жалобно глядел на хозяина.

Путник спросил Ахмадбека имя председателя колхоза, поинтересовался здоровьем аксакалов кишлака. Ахмадбек отвечал по возможности подробнее.

— Несколько лет назад я гостил у вас,— сказал незнакомец.— Хороший кишлак, и климат мягкий, и живут там добро-

[1] Румол — поясной платок.

сердечные и гостеприимные люди.— И, пожевав размоченную в воде лепешку, вдруг спросил: — Ахмадбека знаешь?

— Какого Ахмадбека? — Сердце у молодого человека усиленно забилось.

— А разве у вас много Ахмадбеков?

— Из взрослых один.

Поняв свою оплошность, Ахмадбек густо покраснел. К счастью, путник в это время рылся в торбе и не смотрел на собеседника.

— Именно его я и имею в виду. Пахлавона.

— Жив-здоров...

— Говорят, силен и ловок?

— Сила-то у него есть, но молодой еще...— пробормотал Ахмадбек, не зная, куда деваться от стыда: говорит о себе в третьем лице, как о постороннем человеке.

— Э, сынок, борьба и молодость сочетаются очень хорошо.

— Кто его знает...

— Ты ведь тоже, братец, занимаешься борьбой, я это сразу понял... Как тебя звать?

Вопреки желанию Ахмадбека беседа приняла такой оборот, что он и не соврал, но и правду не сказал, и если теперь откроет незнакомцу свое имя, тот будет вправе обидеться, а назовется другим именем, еще больше погрязнет в болоте лжи...

— Иногда выхожу на майдан,— смущенно произнес Ахмадбек, моля аллаха, чтобы незнакомец не повторил своего вопроса.

— А с Ахмадбеком боролся? Небось он тебя уложил?

— Мы были равны.

— Вот как?! — воскликнул незнакомец и поднялся с места.

Ахмадбек тоже встал. Незнакомец испытующе осмотрел его с ног до головы, на его лице засияла добрая улыбка, и он сказал:

— Поборемся, сынок?

— Как же?.. Ведь я...— проговорил Ахмадбек, оглядываясь на своего коня.

— Ничего, это не займет много времени,— с прежней улыбкой настаивал незнакомец. Наверное, он улыбался самому себе, потому что и в самом деле выдумал невиданную штуку — в пустынном месте первому встречному предложить померяться силой...

— Вот прямо здесь?.. Но как же?..

— От нечего делать и тыкву сажают, как говорится. Давай разомнемся немного.— И, присев на корточки перед дастарханом, он прочел благодарственную послеобеденную молитву.

Ахмадбек тоже провел руками по лицу и произнес «аминь».

— Вижу, у тебя нет поясного платка,— сказал незнакомец и, стряхнув в ручей крошки с румола, свернул его и подпоясался.

Затем достал из дорожной сумы новый желтый шелковый платок и, ловким движением скрутив его в жгут, протянул Ахмадбеку.— На, повяжись.

Ахмадбек все так же растерянно глядел на него.

— Э, да ты, вижу, скромник,— сказал тот, опоясывая его платком. Он хотел и узел завязать, но Ахмадбек со словами: «Спасибо, я сам»,— повязал платок.

Обходительные манеры и излучающий доброжелательство облик путника тронули Ахмадбека. Он еще никогда не встречал человека, который бы с первой минуты знакомства приветливостью и лаской заставил бы его подчиниться своей воле.

Начали бороться. Ахмадбек сразу увидел, что по силе и знанию разнообразных приемов его противник во много раз превосходит всех, с кем ему до сих пор приходилось тягаться. И незнакомец, видимо, понял, что внешняя простота парня обманчива и он еще не показал всего, на что способен. Ему стало ясно, что молодой борец соткан из стальных сухожилий.

— Обожди минутку,— сказал незнакомец и после того, как Ахмадбек отпустил его кушак, продолжал: — Давай разуемся и подымемся повыше. Я видел, там есть ровная площадка.

На новом месте схватка продолжалась минут десять. То ли оттого, что очень уж по душе пришелся ему незнакомец и он не хотел обидеть его, то ли оттого, что еще не успел опомниться от столь неожиданного вызова, но Ахмадбек боролся вполсилы. Он внимательно следил за тем, чтобы не быть захваченным врасплох искусными приемами противника, который — Ахмадбек был теперь убежден,— несомненно, являлся опытным пахлаваном. Только один лишь раз, когда тот, будто заскучав от затянувшегося поединка, сильно потянул Ахмадбека на себя, одновременно ударив его ногой под колено, чтобы свалить с ног, Ахмадбек зазевался. Стой он в этот момент прямо, наверняка рухнул бы на землю. К счастью, туловище у него было наклонено вперед, и он лишь качнулся вправо, но сумел удержаться на ногах. И тогда, покрепче схватив соперника за кушак, напрягшись, он поднял его над головой и тут же осторожно поставил на землю.

На лице пахлавана, помимо приветливой улыбки, появилось еще и выражение удивления.

6

Вернувшись вечером от ветеринара, Ахмадбек застал дома гостей. Кто-то взял у него из рук поводья и отвел коня в стойло. Отец протянул Ахмадбеку тяжелую, поблескивающую золотом монету.

— Что это? — удивился юноша.

— Подарок тебе от Навруза-пахлавона.

Отец и гости принялись рассказывать, перебивая друг друга, и Ахмадбек понял, что тот, кто встретился ему на безлюдной тропе, был знаменитый борец Навруз.

Оказывается, придя в кишлак, он зашел в правление колхоза и попросил привести Ахмадбека. Вернувшись, посланный доложил, что Ахмадбек повел охромевшего коня к ветеринару в Верхний кишлак. Услышав это, Навруз-богатырь отправился в дом к отцу Ахмадбека и, вручив ему золотую монету, сказал: «Молитесь за вашего сына. Я его встретил на дороге. Из него вырастет большой пахлавон».

...Год спустя Навруз-пахлавон ушел на войну и вскоре погиб. Монета, которую он оставил на память Ахмадбеку, как утверждали знатоки, была из чистого золота, а затейливая надпись на ней — на древнем кашмирском диалекте.

Жена Ахмадбека, после того как на войну отправился и ее муж, в течение двух лет сберегала монету как память о добром человеке, но, когда пионеры и комсомольцы кишлака устроили сбор шерсти, кож, теплой одежды и обуви для помощи фронту, она отдала им эту монету со словами: «Пусть вернется мой хозяин живым и здоровым, это будет для меня дороже любого золота».

Ни в тот день, ни после Ахмадбек никому не рассказывал о том, как он боролся с Наврузом-пахлавоном. Всякий раз, когда ему вспоминался этот случай, он краснел оттого, что скрыл свое имя и невольно обманул почитаемого и старше его годами человека. Об их поединке стало известно из уст самого Навруза-силача, который всякий раз заканчивал свой рассказ словами: «Никто из нас не был повергнут на землю, но я признаю молодого Ахмадбека победителем. Бог свидетель, он уважил меня как гостя и странника».

Потом люди стали прибавлять к этому рассказу разные домыслы, приукрашивать его, переиначивать по-своему до тех пор, пока достоверное происшествие не превратилось в легенду.

7

Вечерний ветерок доносил на хирман запахи мяты и рокот вод Ванча. Со двора, где происходил туй, теперь доносился голос только одного певца. Очевидно, остальные разошлись по домам, и последний, которому прежде приходилось петь в очередь с другими, почувствовав себя хозяином положения, изо всех сил показывал свое мастерство.

Ахмадбек-пахлавон все так же сидел, прислонясь к стволу карагача, как вдруг услышал шаги. Кто-то шел по тропинке, ведущей из кишлака, и прутиком яростно срубал рослую вдоль арыка высокую траву.

Хотя луна стояла уже высоко над горами, издали признать пешехода было трудно.

Внимательно присмотревшись, Ахмадбек узнал Мухаммадмурада, и у него неприятно засосало под ложечкой.

«Что ж, и место и время сейчас самые подходящие,— подумал он.— Парень, конечно, ищет меня. Что же делать? Неужели принять вызов? Но разве он достоин честной борьбы? Как же быть?»

Мухаммадмурад внимательно вгляделся в сгустившийся под карагачем мрак и спросил:

— Ахмадбек-ака, это вы?

Ахмадбек не отвечал. Он по-прежнему был погружен в свои думы. Видимо, на роду ему написано потягаться с этим зарвавшимся юнцом, проучить его, доказать, что он все еще прежний Ахмадбек, и угомонить парня. Но нет, все-таки он не должен с ним бороться... Где же выход?

— Ака-джон, по правде сказать, мы... мы прах у ваших ног,— бормотал полупьяный Мухаммадмурад, стоя над Ахмадбеком.— Простой прах у ваших ног... Но я подумал, раз вы в районе не вышли против меня и отказались сегодня на туе, значит, не хотите бороться на людях, а может быть, здесь согласитесь? Или я не прав, Ахмадбек-ака, извините меня?.. Мы прах у ваших ног, простите, пожалуйста...

Говоря все это, Мухаммадмурад развязывал и вновь повязывал поясной платок.

Вдруг Ахмадбека осенило. Как это он раньше не вспомнил! Лет этак двадцать — двадцать пять назад, когда некоторые наглецы, мнящие себя пахлавонами, понуждали его на борьбу, он таким способом отделывался от них.

— Ладно, ладно,— сказал Ахмадбек.— Нечего долго рассусоливать. Я давно догадываюсь о твоих домогательствах...

— Уж вы извините, ака,— оборвав его на полуслове, снова принялся бормотать Мухаммадмурад, но Ахмадбек не дал ему продолжать.

— Послушай, я готов бороться с тобой, раз уж ты пришел сюда за этим. Но у меня есть одно условие...

— Хоть тысячу условий, от души согласен, все выполню...

— Для начала выполни одно.

— С величайшим удовольствием. Назовите!

— Подними меня с места.

— Вас? С места? Это я мигом...

Мухаммадмурад шагнул вперед: Ахмадбек протянул ему правую руку и с силой прижался спиной к стволу карагача, упершись пятками в небольшой бугорок. «О покровитель всех пахлавонов, не допусти, чтобы я познал позор... Поддержи меня...» — молил он. В трудные минуты он всегда обращался к какому-то неведомому ему самому святому, который, как ему казалось, был его благодетелем и помощником во всем.

Мухаммадмурад потянул его за руку, но Ахмадбек даже не пошевелился.

— Вы же не встаете! — с удивлением произнес парень.

— А ты подними меня!

Мухаммадмурад пошире расставил ноги и, одной рукой сжав Ахмадбека за запястье, а второй ухватив за плечо, потянул изо всех сил. Правое плечо Ахмадбека чуть-чуть подалось вперед. И все. Он продолжал сидеть.

Это испытание было нелегким и для самого Ахмадбека. Когда Мухаммадмурад во второй раз рванул его на себя, Ахмадбеку показалось, что темный купол карагача покачнулся, поплыл в сторону, и перед глазами бешено заплясали красные и черные точки.

Не добившись успеха и во второй раз, Мухаммадмурад в бешенстве закричал:

— Фокусничаете! Это нечестно! А если я сяду?! Ну-ка, попробуйте вы стронуть меня с места, тогда я признаю...

Ахмадбек усмехнулся и встал. Разбуженный шумом, старик сторож направился к ним, взывая:

— Кто тут? Что случилось?

— Назар-бобо, это я,— успокоил старика пахлавон и, наклонившись к усевшемуся на его место Мухаммадмураду, сказал: — Потверже упрись ногами.

Мухаммадмурад устроился поудобнее, прокашлялся и только после этого сунул руку Ахмадбеку.

А тот, вспомнив сегодняшнее бахвальство Мухаммадмурада на улице, крепко сжал его пятерню, нарочито медленно, без рывков припялся тянуть на себя и поставил Мухаммадмурада на ноги.

— Ахмадбек?! А это кто? Что вы тут делаете? — встревоженно спрашивал старик, приближаясь.

Мухаммадмурад, видимо, совсем протрезвел.

— Еще один раз, ака, очень прошу,— сказал он, и в его голосе послышались просительные нотки.

И во второй раз Ахмадбек оторвал молодого борца от земли, словно мешок с соломой, и рывком дернул на себя с такой силой, что тот проскочил несколько шагов вперед. От кипевшего в нем гнева Мухаммадмурад громко сопел.

— О, чтоб ты свернул себе шею, шалопай! — узнав при свете луны парня, принялся честить его старик.— Как посмел ты, богоотступник, поднять руку на Ахмадбека?! Будь прокляты кости твоего деда! Чтобы черти плясали на твоей могиле, несчастный!..

И тут произошло такое, что старик ошарашенно умолк.

— Нет!..— во весь голос закричал Мухаммадмурад.

Его крик на какое-то мгновение заглушил все звуки долины и, отразившись от горных кряжей на той стороне Ванча, долго разносился эхом окрест.

— Нет! — еще раз вскричал молодой борец.— Ты будешь бороться со мной по-настоящему!

Подскочив к Ахмадбеку, он рванул его за поясной платок, но Ахмадбек, изловчившись, сам ухватил обеими руками Мухаммадмурада за кушак и, опустившись на одно колено, как это делают штангисты, беря последний и самый тяжелый вес, легко поднял молодого пахлавона на воздух и завертел над собой.

Не переставая кружить, Ахмадбек приближался к току. Мухаммадмурад беспомощно болтал руками и ногами в воздухе, словно ребенок, с которым забавляется отец. Старик сторож замер на месте, широко раскрыв рот. Наконец, стукнув палкой о землю, он воскликнул:

— Молодец, Ахмадбек! Чтобы твоя голова не ведала забот! Ты воздал этому наглецу по заслугам!

Приблизившись к вороху соломы, Ахмадбек швырнул в нее Мухаммадмурада...

Шагая назад к карагачу, он удивленно оглядывался по сторонам, будто в поисках чего-то. Ему казалось, что где-то поблизости громко свистят несколько человек. Он остановился, крепко зажал уши ладонями и только тогда понял, что свист этот раздается у него в голове точно так же, как двадцать четыре года назад, когда он был контужен разрывом дальнобойного снаряда.

Ахмадбек встревожился, что к нему ни за что ни про что вернется давно оставивший его недуг. Однако сердце постепенно стало биться ровнее, гул и звон в ушах проходили и четверть часа спустя и вовсе исчезли.

— На, выпей холодного чая,— протянул ему Назар-бобо черный от копоти кумган.

Прямо из горлышка Ахмадбек сделал несколько глотков и посмотрел в сторону тока.

— Где он?

— Пошел вниз, отряхиваясь от соломы, как пес. Хоть он и внук моего брата, но спасибо тебе, Ахмадбек. Молодец, ты хорошо проучил его. Ах, бродячий шакал,— обернувшись в сторону реки, выругался старик и, стуча посохом, удалился.

Запоздалые сверчки словно нехотя продолжали свою унылую песню. Со стороны двора, где происходил туй, не доносилось ни звука. Запахи мяты, обмолоченного зерна и соломы приятно щекотали поздри Ахмадбека.

Он обошел вдоль и поперек весь хирман, желая попрощаться с дедом, заглянул за молотилку, но того нигде не было. «Ладно, утром встретимся»,— сказал самому себе Ахмадбек и в задумчивости зашагал к кишлаку. Пройдя шагов сто, он вдруг повернул и направился вниз к реке.

Старик стоял на склоне под деревом.

— Где он? — спросил Ахмадбек.

— Вон, гляди.

Мухаммадмурад сидел на камне у самого берега Ванча.

— Плачет, шакал, чтоб ему шею свернуть! — выругался старик.— Шалопай!

1968

В ПОЛНОЧЬ

Рассказ с привидениями

Этот случай мне так запомнился, что даже сейчас, когда я его рассказываю, у меня перед глазами, словно живые, стоят люди, с которыми я тогда разговаривал. Вижу их лица, глаза, складки одежды, руки — каждую мелочь вижу так явственно, что невольно хочется дотронуться до них, убедиться, что это лишь воспоминание, игра воображения, а не действительность.

В конце ноября 1967 года я вернулся в Ригу из продолжительной поездки по Видземе. В дороге устал, промерз: подобные поездки утомительны, особенно когда возвращаться приходится вечером. Войдя в квартиру, я снял пальто, зажег настольную лампу и опустился в кресло отдохнуть. Я сидел в приятном теплом полумраке, слушал, как за окном воет ветер и метет метель. Все было привычно,— сколько позади таких вечеров,— и все-таки меня не покидало тягостное чувство, хотя не понимал, откуда оно и как от него избавиться.

Вскинул глаза на стенные часы — в мое отсутствие они остановились. Я поднялся, завел их, подкрутил стрелки, прослушав запоздалый бой. Потом опять устроился в кресле и как будто задремал, а когда очнулся, часы с хрипотцой и звоном отбивали удар за ударом. Посмотрел — двенадцать. Последний удар еще не успел отзвучать, как в прихожей резко прозвенел звонок. Кого принесла нелегкая в такой час? Ужасно не хотелось подниматься, идти открывать... Может, непрошеный гость позвонит, позвонит и уйдет? Но в общем-то неловко: с улицы в окнах виден свет, а дверь не отпирают. Снова позвонили, на этот раз настойчиво, длинно. Я пошел отворять.

Приоткрыв дверь, увидел в тусклом свете лестницы какую-то женщину. Я сразу отметил, что она мне не знакома, и потому так

про нее и подумал: «Какая-то женщина»,— не пытаясь вникать, кто она, откуда и зачем пришла. Но поскольку незнакомка продолжала молча стоять передо мной, я пригляделся к ней повнимательней. Была она в летах, одета бедно, на голове повязан платок, вид утомленный, сразу видно — с дороги. Я хотел уж было сказать ей, чтоб подпялась этажом выше. Там жил один парень, и к нему из деревни наезжала мать — вот я и подумал, что это она. Только женщина вдруг отворила дверь шире и вошла в прихожую. Вошла в мою квартиру, как в собственную, и получилось у нее это так естественно, непринужденно, что можно было только подивиться. Я в смущении посторонился. У меня даже язык не повернулся ей что-то сказать, возможно, оттого, что вместе с нею пришло и другое — этакое странное чувство, охватывающее человека, когда он смотрит на свою тень: ясно, что это не ты, но без тебя и ее бы не было. Да! Будто возвратилась утраченная частица меня самого, будто ко мне пожаловала тень моя — вот что я почувствовал, хотя, спроси в тот момент, я б и слов не нашел, чтобы выразить свои ощущения. Все это я уразумел только теперь, спустя некоторое время.

Обойдя меня,— я по-прежнему истуканом стоял на проходе,— женщина развязала платок, стряхнула снег. Волосы у нее были пепельно-серые, лежали в беспорядке. Сняв поношенное пальто, незнакомка сама повесила его на вешалку.

— Что, не узнал?! — спросила она с деланной улыбкой. В голосе было столько горечи, и горечь эта так не вязалась с улыбкой что я смутился еще больше.— Не узнаешь любовь своей юности? Ха-ха-ха!

Смех столь же внезапно оборвался, взгляд мой встретился с глазами женщины, и я невольно вздрогнул: они были жестокие, беспощадные и... даже затрудняюсь подобрать подходящее слово — правдивые, что ли. Они прямо-таки пригвоздили меня к стене. Не выдержав, я потупился, и только тут совершенно отчетливо осознал, что женщину эту знаю давным-давно.

— Я Вэстуре [1],— сказала она просто, словно подтверждая известную истину. Придя в себя, я молча отвесил неуклюжий поклон. Да, то была моя давнишняя любовь.

— Гостей обычно приглашают в комнату,— продолжала она, проходя дальше.— Но ты-то меня, конечно, не ждал. Впрочем, это и не важно, все равно тебе от меня не избавиться.

Не дожидаясь приглашения, Вэстуре уселась в кресло, с интересом оглядела комнату. Теперь уж я смотрел на нее во все глаза, и во мне просыпалась жалость о чем-то безвозвратно ушедшем.

---

[1] Вэстуре — история *(латыш.)*.

Смотрел и вспоминал восемнадцатилетнюю девочку, с которой когда-то встречался, вспоминал тонкий профиль, ясные голубые глаза, волосы цвета спелой пшеницы — и всю ее юную, лучезарную стать. Через какие же беды пришлось ей пройти, какие тяготы вынесла за долгие годы? И с чем теперь явилась ко мне? От этих мыслей сделалось грустно, и опять нахлынуло какое-то необъяснимое гнетущее чувство.

— Я не нравлюсь тебе? — спросила она вызывающе.— Говори правду, не стесняйся. Да, я совсем старуха, ничего не осталось от прежней, восемнадцатилетней... А почему бы тебе чуточку не подкрасить меня, не подновить? Отвел бы в парикмахерскую, к хорошему портному... Не хочешь? Согласен смотреть правде в глаза? Тогда не отворачивайся, взгляни на меня.

Я собирался так и сделать, но она сама отвернулась, о чем-то задумавшись. Потом продолжала:

— Я постарела ровно настолько, насколько постарел и ты. Что тут особенного? И в конце концов, не все ли равно, как я выгляжу? Дело-то не в этом! Я пришла, чтобы помочь тебе. Ты откуда-то вернулся?

— Да, я был в Видземе.

— Случилось что-нибудь неприятное? Отчего ты такой мрачный?

— Я был в Валке...

— В Валке? И что же?

— Мне не дает покоя одна услышанная там история. История про хозяина, который в первый год оккупации отвез в город своего пастуха, мальчишку-еврея, отвез его немцам. Конечно, осенью, когда тот прослужил у него лето.

Вэстуре разочарованно повела головой.

— И только? — протянула она.— До чего же ты скучный! Таких историй миллион, среди них можно было подобрать и позанятнее.

— Вполне возможно. Но меня как раз и потрясает кажущаяся простота этой истории, скрытая чудовищная обыденность. Отвез ребенка на расстрел. Просто так, ни за что...

Гостья, сощурив глаза, задумалась. Что-то решив про себя, сказала:

— «Просто так» ничего не бывает. Может, ты сядешь, будет удобней вести разговор. Ну вот. Итак, хозяин отвез пастуха. Хочешь узнать, почему он это сделал?

— Да.

— Разве тебе неизвестно, что такое фашизм? Наиболее агрессивная, реакционная диктатура империалистической буржуазии,

диктатура, которая опирается на террор. Ее идеология — расизм и шовинизм.

Я даже не знал, что ей ответить. Меня поразила легкость, с которой эта странная женщина отыскала готовую форму для объяснения услышанной в Валке истории.

— Чересчур широкое обобщение,— отозвался я хмуро.— Не всякий факт объяснишь. А меня интересуют два конкретных человека — хозяин и пастух.

— А почему они тебя интересуют? — живо спросила она.

— Потому что чувствую себя ответственным за все, что было и есть в этом мире,— почти выкрикнул я.— Не могу и не хочу мириться с тем, что где-то убивают людей!

Вэстуре усмехнулась. И столько превосходства было в этой усмешке, будто она говорила с ребенком, который случайно обнаружил крупицу истины и которому еще предстоит изрядно потрудиться, прежде чем он дойдет до всей истины. Я терпеливо дожидался, когда гостья перестанет улыбаться. Наконец она сказала:

— Допустим, ты прав. Во всяком случае, звучит это убедительно. Но, может, те двое из Валки вовсе не желают, чтобы ты за них брал на себя ответственность? С ними ты об этом посоветовался?

Я просто-напросто опешил и никак не мог собраться с мыслями, чтобы ответить.

— Так вот, слушай,— неожиданно заговорила Вэстуре.— Они оба — пастух и хозяин — сейчас будут здесь. Можешь расспросить их обо всем.

Она воздела руки, словно раздвигая невидимый занавес, и я с ужасом заметил, как на том месте возникли, все больше сгущаясь, две темные тени. Казалось, они шли ко мне из далеких далей через какие-то туманные завесы, с каждым мгновением становясь все более телесными, пока наконец по ту сторону стола не встали двое, облеченные в плоть и кровь: худенький мальчик и дородный мужчина, что называется, в соку. Моим первым неосознанным движением было вскочить со стула, но, как ни странно, я даже не шелохнулся. И тут, точно из подземелья, послышался голос Вэстуре, глухой и торжественный:

— Не бойся, они мертвые!

Я покосился в ту сторону, откуда донесся голос, и заметил, что Вэстуре отодвинулась в угол. Из полумрака на меня глядели ее горящие и очень серьезные глаза. Понемногу я успокоился и отважился посмотреть на странных созданий, явившихся из ниоткуда.

Прежде всего я обратил внимание на мальчика, хотя рядом с кряжистым хозяином он был так же неприметен, как лозинка

рядом с могучим дубом. Ему, надо думать, было лет десять — одиннадцать. На продолговатом, худеньком лице голубели большие глаза, нос и щеки усыпаны веснушками, а из-под кепки, низко сдвинутой на лоб, выбивались огненно-рыжие вихры. Серое потертое пальтецо с крупными коричневыми пуговицами стало тесным, коротким, наверное, парнишка за лето подрос, поправился. Словом, мальчик как мальчик, но было в нем что-то кроткое, беззащитное. Возможно, подобное впечатление производили его испуганный взгляд и щуплая фигура. Но так и казалось, что в компанию с этим угрюмым и грузным крестьянином он попал по недоразумению.

Мужчина положил руку на стол, точно ему понадобилась опора. Рука была увесистая, с толстыми пальцами, а под ногтями, искромсанными, жесткими, чернела грязь. Я пытался схватить его внешность в целом, но эта выставленная, словно напоказ, рука меня буквально гипнотизировала, и все прочее я уловил поверхностно. Помнится, на нем был изрядно поношенный полушубок с домотканым суконным верхом и воротником из бурой овчины. Мужчина, как видно, недавно побрился, на широких скулах краснели свежие порезы, к подбородку был приляпан клочок бумажки.

Неким шестым чувством я угадал, что эти люди именно так выглядели в тот роковой день, когда хозяин повез своего пастуха в город, с тем чтобы передать его оккупационным властям.

— Можешь спрашивать их, о чем хочешь,— раздался голос Вэстуре.— Тебя интересовал этот случай.

Нужно было говорить, но я не знал, с чего начать. Очень смущала вся обстановка, ведь мне еще не приходилось иметь дела с покойниками. Наконец, собравшись с мыслями, я спросил, сам удивляясь своему робкому голосу:

— Кто вы такие?

Первым ответил мальчик, вначале вскинув глаза на хозяина, точно испрашивая разрешения:

— Я Хаим Цимбал. Учился в четвертом классе средней школы и закончил его весной тысяча девятьсот сорок первого года. Отец меня отдал в пастухи на хутор «Леяспаукас» к хозяину Оскару Круклису. Первого сентября я бы опять пошел в школу, только... Уже началась война.

— Сколько ты пробыл у хозяина? — спросил я.

— До конца октября. Пока скотину перестали выгонять. И тогда мне пришлось уехать.

— Пожалуйста, расскажи о том дне подробнее.

— С утра было пасмурно, хозяин запряг в телегу лошадь, и мы поехали. Дорога была грязная. Хозяйка, перед тем как выехать, постригла меня: за лето я здорово зарос. Стригла ножница-

ми, которыми овец стригут, других в доме не было. В дорогу нажарила нам яиц и свинины. Когда выезжали со двора, она с маленьким Эдвином вышла на порог и утирала слезы. Смотрела на нас и плакала. Я тоже чуть не расплакался. Очень было грустно. Когда с проселка выбрались на шоссе, нас нагнал пес Кранцис,— наверное, удрал из сарая, куда его заперли,— и запрыгал вокруг телеги. Хозяин полоснул его кнутом и прикрикнул, чтобы шел дом сторожить. Кранцис домой не пошел, уселся на пригорке среди поля и глядел нам вслед. Хозяин еще поворчал, что я за лето собаку вконец разбаловал...

— Ты знал, куда тебя везут?

— Да. Хозяин сказал, что из Валки меня переправят в приют. В Ригу или еще куда-нибудь, он сам точно не знал куда.

— А вы? Вы-то понимали, куда и для чего везете мальчика? — спросил я, повернувшись к Оскару Круклису.

Тот глядел на меня исподлобья.

— Да, я знал, что везу его на смерть.

— И морочили голову приютом?

— А что ж тут такого? Зачем раньше времени парня расстраивать? Человек как-никак...

— С ума сойти можно! — закричал я, хватаясь за голову.

Оскар Круклис, не торопясь, убрал со стола руку и, приложив ее к груди, раз-другой сжал пальцы, попробовал распрямить, но пальцы не слушались.

— Кровопийца! — бросил я ему в лицо, вложив в это слово всю свою ненависть, на какую только был способен. И тогда в углу раздался голос Вэстуре, тихий, властный:

— Не кипятись понапрасну. Они умерли.

Сделав над собой усилие, я попытался привести в порядок мысли.

— У вас было большое хозяйство? — спросил я немного погодя.

— Да как вам сказать... Гектаров десять. Не вся землица, конечно, запашная. Лошадь, четыре коровы. Коровенки неважнецкие, длинноногие, животы втянутые — глядеть не на что. Да что поделаешь, держал из-за навоза. Иначе как землю удобришь?

Начал он несмело, запинаясь, но теперь, не дожидаясь моих вопросов, говорил непринужденно, видимо, сам предмет разговора был ему близок.

— После первой мировой отцу дали этот надел — хутор «Леяспаукас». Я те годы помню. Начинали с елового шалаша. И такое было, чего таить. Потом вспахали целину, дом стали ставить. Старик мой вбил себе в голову, что нужны нам хоромы. Женишься, говорил мне, дети пойдут, пусть у каждого будет по комнате. И отгрохали домину, что твоя церковь, на чердаке тоже комнаты,

а вела туда лестница. Веранда и то была. Только до конца не достроили, покрыли хоромы наши толем, на большее силенок не хватило. Сами ютились в одной половине. Отец потом все клял себя, что чересчур размахнулся. И, умирая, о том же плакался. Так вот и остался я один. Мать немощная, старая — пришлось женку подыскивать. Сосед мой Спалис присоветовал одну из своих работниц, Элзу. Девка, мол, скромная, работящая. Поглядел на нее украдкой, что ж, не красавица, не молода, но здоровая, бедра широченные, такой только и рожать. В общем, перебралась она ко мне. Какая же батрачка откажется хозяйкой стать, хоть и не всякой хозяйской доле позавидуешь. Потом мальчонка у нас народился, Эдвином назвали. Ну, думаю, порядок. Подрастет — помощник будет. Годочков пять стукнет — такой пацаненок и за скотиной может присмотреть, и грядки прополоть, и поросятам ботвы нарубить. А там, глядишь, на возу с вилами постоит, с бороной пройдется... Народилась еще девочка, а в то лето, когда войне начаться, третьего ребенка ждали.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят пять, уж немало. Потому-то вся надежда на детей. Покуда силы еще есть, на пятерых хватит, да надолго ли...

— Расскажите, как вы нанимали пастуха.

— Чего ж тут рассказывать. Летом сорок первого Эдвин был еще маленький. Элза брюхатая, ждала третьего, а мать уж свихнулась слегка, за самой присматривай, не то что к скотине ее приставить. И вот сторговались мы с жестянщиком Цимбалом — у того детей было шестеро,— чтоб одного мне на лето отдал. Договор в профсоюзе подписывали — все как полагается, время уж было советское, иначе б не разрешили.

— Как вы отнеслись к установлению советской власти?

— А чего мне к ней относиться... Я так рассудил: будет в волостной управе сидеть айзсарг или комиссар — мне один черт, без пахаря никому не обойтись, жрать-то все хотят, какие бы ни были времена. И крестьянин как землю пахал, так и будет пахать, и рабочий на фабрике будет вкалывать, потому что булки сами в рот не падают. Потом слух прошел, будто землю отымут, колхозы устроят. Опять я усомнился: какой же он крестьянин без земли? Но и сосед мой Спалис говаривал то же самое: от колхоза, мол, никому не отвертеться. А тут немцы пришли, и словно камень с плеч: земля-то за нами останется.

— Вы не раз упоминали Спалиса. Что он за человек?

— Крупный хозяин, богатый. Работников и батрачек держал, хотя свой трактор имел. Во времена Ульманиса был председателем волостного суда, а под немцами — старостой в волости. Хороший сосед, худого слова о нем не скажу. Осенью, бывало, пришлет

мне работника со жнейкой — в полдня всю пшеничку мою с рожью скашивал, раз-два — и готово. Кони, как бугры, здоровенные, тяжеловозы бельгийские, ходили, приплясывая.

— И в результате вы делались должником этого добряка Спалиса и с женой гнули спины на его полях? За так называемую помощь?

Круклис сначала даже не понял вопроса, и мне пришлось повторить. Когда же до него дошло, о чем спрашивал, он, криво усмехнувшись, ответил:

— Да на что мы нужны были Спалису? Батраков у него хватало, земли с излишком, и амбары до краев полные. Он меня как увидит, всегда говорит: «Сосед, не стесняйся, что нужно, проси, никогда не откажу». Да не всякий раз клянчить пойдешь, стыд и честь надо знать.

— А вам хотелось разбогатеть? Стать таким, как Спалис? Держать батраков?

Круклис пожал плечами. Подумав, облизал пересохшие губы и мирно ответил:

— Кому не хочется свою жизнь устроить? Кто ж от такого откажется? Скотина и та выбирает, где трава помягче. Только куда мне гоняться за Спалисом! У него батраки ели сытнее, чем я, хозяином будучи. Я летом на бойне свиные ноги да головы брал, чтоб маленько подкрепиться, поесть поплотнее, а у того работники каждый день мясо трескали. А чтоб самому людей нанимать, уж это мне было совсем не под силу, вся надежда на детей, скорей бы подрастали. Ну, а с Янкелем, тут другое дело, без пастуха никак нельзя. Про то я уже говорил.

Он замолчал, погрузившись, видимо, в невеселые мысли, которые пожелал оставить при себе. Но мысли эти, казалось, витали над нами плотным, душным облаком, и я бы охотно растворил окно, чтобы проветрить комнату, если бы на улице не завывала вьюга. Молчание затягивалось, становилось нестерпимым. Сделав над собой усилие, я спросил:

— Вы сказали Янкель. Это кто такой?

— Ну, Хаим иначе. У нас в доме его все так звали.

— Вы случайно не буржуазный националист?

Круклис тупо уставился на меня. Из своего угла подала голос Вэстуре:

— Ему этого не понять. Говори проще.

— Может, у вас неприязнь к инородцам, например, к евреям? — переспросил я.

— Да чего там — приязнь, неприязнь? Такие же люди, как все. Мне они ничего худого не сделали. В Валке было не то пять, не то четыре семьи еврейских. Мелкие лавчонки, зато товар все-

гда дешевле, чем в других местах. И в долг отпускали — дашь задаток, остальное по договоренности. Ну и Цимбал... Мастерил он чайники, тазики, посуду паял, крыши крыл — словом, мастер. Был еще один. Тот разъезжал по округе, кости собирал, тряпье разное. Иной раз получишь от него несколько монеток, и ему что-то перепадало, и все довольны. А Янкель что? Он у нас заместо сына родного был. Бывало, с женой дела побросаем и слушаем: темнеет, скотину пора пригонять, а он встанет на опушке и поет по-своему: лес так и звенит... Нет, мы его не обижали...

— Как тебе жилось у хозяина? — спросил я мальчика, избегая смотреть на него,— был он совсем близко, при желании я мог дотянуться до него рукой и погладить.

— Сначала тяжело было, все чужое. По дому скучал, по маме, братишкам и сестренкам. Пасти приходилось в кустарнике, и я все боялся, как бы коровы не разбрелись, не зашли в хлеба. Хотел даже в город сбежать, да одумался, все равно бы отец привел обратно. И хозяин бы рассердился. Вначале он со мной не разговаривал, не улыбнется даже, хмурый такой, сердитый. Только один раз отворил дверь, гляжу, хозяин в одной рубашке скачет по комнате, а на плечах у него Эдвин подпрыгивает, голенький, довольный. И хозяин смеялся. А меня увидел, покраснел. Покраснел, перестал смеяться. Я прикинулся, что ничего не заметил, затворил дверь и вышел. И никогда у нас об этом разговора не было.

Мальчик замолчал, как мне показалось, задумался. Провел по лицу ладонью, бросил взгляд на Круклиса, потом на меня и сказал:

— Нет, он еще один раз смеялся. Это было той осенью. В полдень я пригнал скотину, и хозяин позвал меня. Он овцу собирался резать, а мне велел подержать ее за ноги. Сначала хозяин точил нож, а я крутил точило. Потом он поймал овцу и приволок ее на лавку, где обычно сушились бидоны. Я повернулся спиной, держу изо всех сил. В глазах рябит да поташнивает, но я держу, боюсь, как бы овца не вырвалась, как бы хозяин не заругался. Он уже отрезал ей голову, а я все держал, пока совсем не перестала ногами дрыгать. И тут меня стошнило, ничего не мог с собой поделать. Хозяин смотрел на меня и смеялся. Он выдрал клок травы, стал вытирать окровавленный нож. Вытирал и смеялся. Я знал, так нужно, завтра у нас молотьба, молотильщиков будут кормить мясом, и все равно не мог ничего поделать. Мне было худо. Руки дрожали, как будто я еще держал овцу за ноги. Всю неделю мне было плохо, и, когда вспоминалось об этом на ночь, долго не мог заснуть. Но хозяин тогда не ругал меня. Только смеялся.

— Что изменилось у вас на хуторе с приходом немцев?

— Сначала вроде все всполошились, а так ничего не изменилось. Я по-прежнему пас коров, самих немцев в глаза не видел.

Как-то в воскресенье пришла ко мне мама. День был жаркий, она очень устала. Километров двадцать пешком отшагала... Глянул на опушку, смотрю — идет. Я страшно обрадовался, но и жаль ее было. Мама захватила с собой иголку с ниткой, починила мне одежду. Она старалась казаться веселой, но я понял, ей совсем невесело, прямо плакать хочется. Я это сразу почувствовал, хотя она вида не подавала, что ей плакать хочется. Наоборот, рассказала, что дома все хорошо, все живы, здоровы. На ужин хозяйка сварила молочный суп... Потом я пошел ее провожать. Отошли далеко от дома, и все никак не мог проститься. Странная была ночь, теплая, тихая и темная. Остановились на мосту через речку, и мама сказала: «Дальше, сынок, не ходи». Она обняла меня, и я почувствовал, как ее слезы падали мне за воротник и стекали по спине. Было горько... Мама сказала: «Ты не бойся, немцы народ культурный. Видит бог, мы никому худого не сделали». И еще она сказала: «Слушайся хозяина, не перечь ему — он хороший, в обиду тебя не даст, если что...» Она уходила, а я сидел на мосту и смотрел ей вслед, пока не перестал ее различать в темноте. И так стало тоскливо, хоть в голос кричи, только криком разве поможешь. И я дал себе слово, пока буду жив, не ослушаюсь маму и никогда не оставлю ее одну. Потом я пошел обратно, ночь была теплая-теплая, я шел босиком, и пыль на дороге была теплая, мягкая, и я подумал, уж не сон ли это и, может, я давно мертвый... А примерно через месяц я узнал, что родных моих расстреляли, и я остался сиротой. Мне об этом рассказал Юрка, пастух Спалиса. Иногда нам случалось в одно время пригонять стада к меже. И еще он сказал, что спасением я обязан своему хозяину, это он упросил Спалиса не отвозить меня в город. И я еще больше привязался к нему. Теперь, когда не было родителей, только он и заботился обо мне. Я ходил сам не свой от горя, а все-таки был доволен, что остался жив.

— Вы были у волостного старосты Спалиса? — крикнул я Круклису.

— Был. Вышло такое постановление, чтобы всех евреев выдали властям, за укрывательство грозили расстрелом. Вот тогда и пошел я к Спалису. Как же быть, говорю, в моем доме есть один такой парнишка, сам знаешь. Да, говорит, знаю, но помочь ничем не могу, так власти распорядились, а в военное время распоряжения строгие. Но я не сдаюсь: что ж мне, говорю, теперь делать? Лето в самом разгаре, время смутное — где найдешь другого пастуха? Пропаду, как пить дать пропаду. Элза на сносях, Эдвин еще маленький... Может, он военнопленного мне устроит, как-никак волостной староста. Нет, говорит, пленных дают только в крупные хозяйства, военного, вишь ты, значения. А я, дескать, сам себя с семьей едва прокормить могу. На пленных чтоб не рассчи-

тывал. Что ж, говорю, в петлю мне лезть, что ли? Без пастуха никак нельзя... Вот тут-то он и дозволил мне придержать Янкеля до осени, до холодов, пока скотину выгонять перестанут. А потом чтоб отвез его в Валку. И еще наказал, что головой за него отвечаю. Ну, говорю, и на том спасибо...

— И осенью вы отвезли его в Валку!

— Отвез. Что же мне оставалось?

— Но ведь мальчику что-то причиталось. Он что-то заработал за лето. Как с этим обстояло дело?

— Да уж, конечно, причиталось. Только куда ж все это везти? Немцам, что ли, отдать, полицаям? На какой рожон, спрашивается? Белый свет все равно не накормишь. Жена поближе к осени заикнулась, что надо бы Янкелю одежонку справить, а то парень вконец обносился... Да какой же, спрашивается, смысл, раз все равно ему вскорости в Валку ехать? Тут чем хуже одет, тем оно лучше. Хоть добро будет цело.

— Вам не приходила в голову мысль куда-нибудь спрятать мальчика, а Спалису сообщить, что он... сбежал, что ли?

— Нет, не приходила. Я обещался отвезти его в город, с тем его мне и оставили. А то б он и до осени не протянул. Хоть малость еще пожил. А так он мне на что? Лишний рот, да и только, за самим еще смотри, ухаживай. Другое дело, если б знал какое ремесло... Нет, у меня таких мыслей не было. Сам насилу концы с концами сводил.

— Что говорила ваша жена в тот осенний день, когда собирались в город?

— Ничего не говорила. Жарила на дорогу яичницу да слезы глотала. Я на нее даже прикрикнул: «Чего расхныкалась, гляди, как бы твоих детей не укокошили!» Тут она и притихла.

— О чем вы думали, когда везли мальчика в город?

— Много о чем. Дорога длинная, на все хватило времени.

— Например, в тот момент, когда выехали на шоссе?

— Тогда я подумал, что не мешало бы мешок муки припрятать. Время военное, всякое может случиться, и неплохо, если дома есть запасец, властями не учтенный. Мне отец рассказывал, еще в первую мировую хозяин его мешки с мукой хоронил в воде. Кому в голову придет их там разыскивать? Мука-то сверху набухнет, а внутрь влагу не пускает. Вот и кумекал я, какой же толщины будет такая корочка. Прудик наш, мочило, показался местом подходящим. Можно б и в колодец, да оттуда труднее вытаскивать.

Голос у Круклиса был какой-то бесцветный, неживой. И тон ничуть не менялся. Мне подумалось, что вот так и механический робот, если б только такой существовал, отмечал бы самые ничтож-

ные происшествия, истолкование их предоставив другим. Было трудно свыкнуться с его манерой рассказа, и я поерзывал на стуле. То меня злоба душила, то слезы на глаза навертывались, но приходилось себя сдерживать, и в самый последний момент, когда я уж готов был взорваться, меня своим взглядом отрезвляла Вэстуре, лишний раз напоминая: успокойся, они мертвые. В точности так же говорил и Хаим Цимбал. Он никого не порицал, ни на кого не жаловался, просто рассказывал. Жуткое родство объединяло этих двух таких разных людей, и я... нет, в ту пору я не способен был думать, правильней было б сказать, я почувствовал, что общим знаменателем тех двух разнозначных величин была смерть. И если бы меня тогда же заставили выразить словами свои смутные ощущения, я бы ответил так: мертвым все безразлично.

Я поднял глаза на щуплую фигурку мальчика. Нетрудно было представить раскисший от дождей проселок, осеннее небо, оголенные деревья, под ними облетевшие красные, желтые листья, по которым стрекотал дождь... И подводу посреди дороги: на доске, положенной поперек, расселся хозяин хутора «Леяспаукас» Оскар Круклис — одна нога в начищенном сапоге вперед вытянута, другая для удобства на весу болтается. А рядом, с краю, будто ласточкино гнездо к стропилу, прилепился Хаим Цимбал — за тучным хозяином не сразу и разглядишь. Мальчику неудобно сидеть, особенно на ухабах, когда телега подпрыгивает. Но он помалкивает, лишь иногда улыбнется застенчивой робкой улыбкой. Он едет в детский приют...

— Расскажи, пожалуйста, что-нибудь еще об этой поездке,— попросил я.

Хаим равнодушно посмотрел на меня и продолжал:

— Значит, мы поехали. Когда я оглянулся, Кранцис все еще сидел посреди поля, но я его не окликнул. И хозяину жилось несладко. Я же видел, как он каждый день за семерых работал. А я какой был помощник? Вот я и подумал, что лучше мне переехать в приют, хозяин и так для меня много сделал. Сиденье у меня было неудобное, и холод пробирал так, что я время от времени делал пробежки, чтобы согреться, особенно когда дорога шла в гору. Ближе к Валке места пошли знакомые. При въезде стоял столб, а на нем дощечка с надписью: «Валка». Черные буквы по коричневому полю. Все знакомое, столько раз виденное, но теперь вдруг такое... такое родное, что хотелось плакать. Гляжу, на том же столбе, чуть пониже, прибита другая дощечка. По белому полю черными буквами «Judenfrei» [1]. Я знал, что это значит. Уже знал... Около столба по другую сторону придорожной канавы стояло че-

[1] Свободно от евреев *(нем.)*.

ловек пять или шесть с винтовками в серовато-синих шинелях с черными воротами. О чем-то говорили, громко смеялись, но, завидев нашу телегу, примолкли. Они ничего не сказали, только смотрели. Хозяин стеганул лошадь, и мы поехали дальше. Въехали в город, начинались улицы... Я уж стал узнавать прохожих. Они тоже ничего не говорили, только смотрели. Навстречу попались ребята из нашего класса, в руках были книжки, портфели. И ребята стояли, смотрели и ничего не говорили. Потом-то я понял, почему они так смотрели. И мне стало совестно перед всеми за то, что родные мои погибли, а я один остался жив. И тогда я стал отворачиваться от людей, так мне было стыдно. Чтобы попасть в уездную управу, надо было проехать мимо нашего дома, но хозяин сделал крюк и поехал другой улицей. Я ему был благодарен: мне было бы тяжко видеть дом, в котором никто не живет. На заезжем дворе хозяин привязал к коновязи лошадь, и мы, прислонясь к телеге, перекусили свининой и яйцами, что хозяйка дала в дорогу. Потом пошли. На улице хозяин взял меня за руку. Я решил, для того чтоб ободрить меня. И в ответ пожал ему руку. Мне хотелось сказать, чтоб он обо мне не тревожился, что я не пропаду. Но он сжал мою руку крепко-крепко, и когда я попробовал высвободить, он еще сильнее стиснул ее. Мне было больно, я вырывался, а он не отпускал, и так мы шли. Я спотыкался, едва поспевал за ним, хозяин торопился, чуть ли не волоком меня тянул...

Мальчик замолчал, видимо, дожидаясь, когда задам следующий вопрос: что случилось потом? Но у меня не было сил, на плечи будто гора легла, пришлось голову подпереть руками.

— У тебя пропала охота расспрашивать? — необычно тихо проговорила Вэстуре. Я знал, это она, хотя не смотрел в ее сторону.— А почему? Что же ты оробел? Ведь собирался докопаться до самой сути! Или дальнейшие расспросы тебе кажутся неприличными? Дурным тоном, да? Ну, хорошо, тогда выслушай меня. Я доскажу за него то, чего он знать не может, потому что перешел сокровенную грань. Так вот, слушай.

Ночь была безветренная, тихая и такая темная, будто все на свете окна плотно занавесили, чтобы те, кто остался снаружи, бродили на ощупь, как слепцы, вытянув перед собой руки. В этой бескрайней тишине временами было слышно, как с голых ветвей срывались и падали капли. А то вдруг тяжко вздыхали дома, еще глубже погружаясь в землю. Посреди двора на хуторе «Леяспаукас» чернела телега, хозяин впервые в жизни не вкатил ее на ночь в сарай. В нее как попало был брошен хомут, сверху свалены спутанные вожжи, дуга стояла прислоненной к оглобле. Тут же у телеги темный комочек, еще чернее, чем ночь. Задрав морду, Кранцис чутко вслушивался в темноту и потягивал своим влажным

носом, принюхиваясь к бесчисленным запахам. Но так ничего не расслышав, ничего не учуяв, поскулил тихонько и еще усерднее стал обнюхивать брошенную упряжь, колеса, землю вокруг. И опять без толку... И тогда, поджав хвост, побежал к сараю, где одна доска в стене не доходила донизу, в эту лазейку можно было пробраться на сеновал. Припав брюхом к земле, обдирая спину, пес пролез внутрь. В странном смятении он вскарабкался на сеновал, где рядом с пролежанной ямкой валялись старый тулуп, одеяло. Кранцис потоптался и лег, свернувшись в клубок, прикрыв морду концом хвоста. Но какое-то беспокойство мешало ему заснуть, он все взвизгивал, потом вдруг вскочил, скатился с сеновала, выбрался во двор. Задрав морду к небу, он дрожал всем телом, а его собачья душа неслась по раскисшей дороге все дальше в темноту.

Наутро в молодом сосняке неподалеку от Валки работали двое мужчин. Третий, навалившись на руль, подремывая, дожидался их в кабине грузовика. Утро только-только занималось. Серое, промозглое, оно чуть брезжило, и скорее было похоже на вечер. В хмуром небе светлели слепые оконца, а на земле еще густел сумрак. Те двое в сосняке копали яму. Ноги их увязали в желтом сыпучем песке, земля под ними пружинила, как трясина, потому что недавно пески разбередили, а под ними пластами, один поверх другого, лежали те двести тридцать четыре, которых закопали здесь несколько раньше. Двое копали, кляня все на свете. Земля не успела отлежаться, края ямы то и дело осыпались. Когда рассвет пробрался и сюда, в сумрак бора, лопаты наткнулись на трупы, они были еще совсем твердые, глубже копать не имело смысла. «Хорош!» — сказал один из землекопов и отбросил лопату. Потом они вместе подняли с земли того, кто лежал под сосной, уткнувшись лицом в брусничник, и, швырнув его в яму, тут же ее засыпали, сверху притоптав ногами и забросав валежником. Один из них, дурачась, пропел: «Мужчины всегда впереди»,— когда, забрав стоявшие у сосны винтовки, лопаты, отводя в стороны мокрые колючие ветки, они возвращались к машине. Кинув лопаты в кузов, те двое, прислонившись к борту, закурили от нечего делать: шофер куда-то исчез. Покуривая, они чертыхались из-за этой проволочки — утро в самом деле было сырое и зябкое, а за работой они вспотели. Затягивая на ходу ремень, наконец появился шофер — оказывается, по нужде отходил. Землекопы заспорили, кому сидеть в кабине с шофером, а кому стоять в кузове. В конце концов оба втиснулись в кабину, винтовки зажав между коленей, придерживая руками стволы...

— Хаим Цимбал погиб,— перебил я Вэстуре.— Но Оскар Круклис тоже мертв. Почему? От чего он умер?

— Спроси об этом самого Круклиса, для того он и здесь,— с усмешкой ответила Вэстуре.

— От чего вы умерли? — спросил я его.— Расскажите, как сложилась ваша дальнейшая жизнь.

— Да кое-как перебивались,— неторопливо начал Круклис.— С голоду не подыхали, нагишом тоже не ходили. Народился третий ребенок, опять девочка. Эдвин маленько подрос, на другое лето за скотиной уже присматривал. Тут бы и вздохнуть посвободней. А покоя нет как нет, с каждым годом все тревожнее. Дело ясное, русские немца погонят,— пусть даже так, мне-то что! — только как с землей будет? Отымут, не отымут? Устроят колхозы или не устроят? И к работе как прежде душа не лежала. Иной раз вилы из рук выпадут, то лошадь в конце борозды встанет,— и стоишь с ней, думаешь, совсем не торопишься...

Летом сорок четвертого фронт до нас докатился. Стращали всякими ужасами, силком из домов выгоняли. А я про себя так решил: чего я в чужих местах потерял, чего мне искать там? Ничего не терял, и искать нечего. Здесь мой дом, моя земля... Запряг ночью кобылку, отвез пожитки в лесок, туда же скотину отогнал. Сидим и ждем, будь что будет. На третий день немцы на нас наткнулись. Немного, человек двадцать. Усталые, голодные, с ног валятся, были и раненые. Ихний офицер как увидел мою лошадь, перерезал поводья, прямо без седла — скок верхом, только его и видели. Конечно, кому шкура своя не дорога, а уж офицерская тем более. Я волком на все глядел, а что сделаешь? Против рожна не попрешь...

Слава богу, фронт через нас перевалил незаметно, да вот остался я без лошади. И не припомню даже, когда еще была такая сухая погожая осень — только б и работать, а я как без рук. Без лошади за что возьмешься? Увели б корову — еще куда ни шло. А тут поди выкрутись... Озимые сеять, хлеб убирать, картошку копать... Сижу на пороге и думаю, как теперь быть. Только что ж придумаешь?

Так и просидел всю ночь. Вдалеке, туда, к Риге, пушки бабахали, небо в зареве пожаров, самолеты без конца гудят... А утром взял уздечку, решил поискать себе лошадь. У меня отняли, я тоже у кого-нибудь отниму. Подойду поближе к фронту, где людей поменьше, уведу из конюшни или с поля, от подводы беженцев или еще откуда-нибудь. Время лихое, пускай поищут. А может, клячу какую у солдат выпрошу — что им лошадь, одной больше, одной меньше...

Так и пошел, помахивая уздечкой. Дорога шла через хутор «Калнапаукас». Дай-ка, думаю, загляну к соседу Спалису, давно о нем ни слуху ни духу. По всему видать, и его пощипали, такой

кругом разор, заборы повалены, окна повыбиты, дверь в коровнике настежь, внутри пустота... Самого Спалиса отыскал в комнате. Сидит, как сыч, один, исхудал, бородой оброс, всклокоченный такой весь — сразу не узнаешь. Покалякали о том о сем, и поделился с ним своим горем. Говорит, помог бы с охотой, только теперь у самого хоть шаром покати. Я знал, что оба его сына отпетые головорезы, и потому спросил, как же это он остался, почему с немцами не драпанул. А старик отвечает: «Ни твои, ни мои руки в крови не замараны, можем спокойно глядеть в глаза новым властям. Пускай за все отвечают убийцы и виновные». Не знаю, может, сыновей своих имел в виду, мое дело маленькое. Другая мысль сверлила в голове, другой вопрос на языке вертелся. И я спросил напрямик: «Землю за нами оставят или нет?» Он спокойно поглядел на меня и сказал: «Нет, не оставят». И еще сказал: «Не бывать тому, чтобы во всем огромном государстве жили по одним законам, а в какой-то крохотульке Латвии — по другим. От колхозов никуда не денешься».

Прямо как обухом по голове, я уж и не знал, о чем еще спрашивать. И что толку спрашивать? Спалис помахал перед глазами книжкой, которую взял со стола, потом снова бросил. «История ВКП(б). Краткий курс»,— прочел я на обложке. Эту книжку он-де всю войну прятал. «Тут все расписано, говорит. Я лучше их самих знаю, что они будут делать». Потом стал меня успокаивать, наверное, по глазам что-то заметил. «Тебе что горевать, говорит. Ты пойми, крупное хозяйство всегда доходнее мелкого, сравни хотя бы свой собственный клочок с моими владениями. Я тебе мог без труда подсобить, сам того не замечая, а ты никому не мог помощь оказывать».— «По мне и тот клочок хорошо,— выкрикнул я.— Ты-то с легкой душой от своего отказываешься, потому как ни одного поля сам не вспахал, ни одной подводы с навозом не вывез! У меня пальцы от работы скрючились, а ты и вилы-то в руках не держал! Ты кур жареных трескал, а я ржаную бурду, для поросят замешенную, из кадушки хлебал! Отгонишь тараканов да похлебаешь...»

Так мы с ним в первый и последний раз разругались насмерть. Уж и не помню, что сгоряча наговорил. Помню только, обозвал он меня неучем, всего-то, мол, две зимы в школе отбыл, а он, дескать, гимназию кончил и еще там какие-то заведения. Я, дескать, под стол пешком ходил, когда уж он в революции пятого года участвовал.

У меня отпала охота слушать его, и ушел я. На что эти споры? «Тогда бери винтовку, в лес подавайтся! — еще крикнул мне вдогонку Спалис.— Только знай: раз уж красные Гитлеру шею свернули, тебя как козявку раздавят, попробуй только пикни».

Вышел во двор, в глазах темно, не соображу никак, в какую сторону податься. Подошел к колодцу, лицо сполоснул, сам напился. Вроде полегчало. Смотрю, уздечка в руке. На что она теперь? Лошадь привести? А на что мне лошадь, коли землю все равно отымут? Понял я, не соврал мне Спалис...

Бросил уздечку посередь двора, еще ногою пнул: получай, сосед, за твою подмогу... Домой поплелся. Ступил на свою землю, еще тяжелее стало, едва ноги волочу. Иду себе, вдруг вижу: коровы в овсы забрели, потрошат копенки, копытами топчут, а Эдвин, озорник, забрался в канаву и над чем-то колдует. Такая меня злость взяла, все, что на сердце скопилось, прорвалось наружу, и закричал я не своим голосом: «Ты что там, паршивец, делаешь?»

С перепугу он встрепенулся и чудно как-то ничком повалился. И сразу как ухнет, мне от взрыва уши позаложило, я скорей туда... Да, подбежал к тому месту. Подбежал и вижу... Сын мой подобрал в лесу какую-то штуковину, притащил на пастбище. Подбежал к тому месту... Подбежал, взял на руки то, что осталось от сына, и понес домой. Принес домой, уложил в тележном сарае.

Монотонный до жути рассказ Оскара Круклиса оборвался. Но я знал, это еще не конец, и молча ждал продолжения. Вэстуре тоже помалкивала, бесстрастно уставясь себе под ноги, будто думала о чем-то постороннем. Хаим Цимбал стоял навытяжку рядом с хозяином и смотрел на меня, но в глазах была пустота — не чувствовалось за ними души. Выждав немного, Оскар Круклис продолжал:

— Жена голосила в сарае, а я не находил себе дома места. Ушел на опушку леса и присел на пень. Золотая осень, день такой ласковый, солнечный... Будто со стороны взглянул я оттуда на свою жизнь и, пораскинув умом, понял, что со мною все кончено. Старость свалилась как снег на голову. Руки ослабли — понадобись мешок на телегу завалить, с косой пройтись, где трава погуще,— навряд ли бы справился. Смотрел издали на свой дом, который раньше для меня был и отрадой и отравой, а теперь вдруг почувствовал к нему безразличие. По правде сказать, возненавидел его даже. Обшивка пожухла, порвалась местами, свисала лохмотьями... В одном конце завелся жучок-древоточец — видать, оставили под полом пень, его б тогда и выкорчевать, а мы с отцом торопились, скорей под крышу подвести... Настоящей жизни я не видел, только и знал, что вкалывал, как последний каторжник. А зачем? Раз землю отымут... Ради чего из сил выбивался? Эдвина нет... Конечно, дело поправимое, скотину может средняя дочь пасти, со временем, глядишь, зять объявился бы в доме, а теперь... какой во всем прок? Я бы и лошадь раздобыл, выкрутился. Да на что мне теперь лошадь?

Так я рассуждал про себя, никого не винил, не осуждал никого. Проклинал только землю, загубившую мне жизнь, по капле кровь из меня выпившую. Ну чего я заорал на Эдвина? Потравила бы малость скотина овсы, ну и что? Подошел бы к мальчику, тихо, мирно, он бы не испугался, не упал... И зачем Янкеля в город повез? Тогда, как вышли с ним с заезжего двора, схватил малого за руку, чтоб не вздумал бежать. Зачем грех такой на душу принял?

Так вот раздумывал я, старик, сидя на пеньке у опушки, и был момент, когда захотелось встать да пойти поджечь свой собственный дом, чтоб все сгорело дотла и чтоб ветром пепел развеяло. Моя песенка спета, ясно. Кому нужна такая развалина? Но тут вспомнил о детях, о дочерях, им-то кров еще понадобится. Раз помочь им ничем не могу, по крайней мере, сам не буду обузой. Может, повезет. Может, им выпадет лучшая доля, а со мною все кончено.

Пошел домой, взял новые вожжи, прокрался в сарай, чтоб жена не увидала. Хотел это сделать в сарае, да потом сообразил, легче будет решиться с того места, откуда дом и земля видны, чтоб напоследок-то распалить себя еще больше. Вернулся на опушку, подкатил под березу камень, накинул петлю, еще попробовал, выдержит ли...

Оскар Круклис закончил рассказ. Вэстуре встала, вышла на середину комнаты, взмахнула рукой. Недвижные фигуры пастуха и хозяина, сосредоточенно стоявшие у стола, бесшумно скользнули в сумрак и растворились.

— Остальное я доскажу,— проговорила Вэстуре.— Они больше не нужны, потому что сообщили все, что знали. Ты доволен? Сможешь теперь разобраться в этой истории? Слушай, что было дальше.

В тележном сарае хозяйка хутора «Леяспаукас» Элза прибирала сына-покойника. Мальчик лежал в телеге на свежей соломе, завернутый в белые простыни. Дверь была закрыта, чтобы ненароком не забрела старшая дочь. Свет проникал сквозь решетчатое оконце, потускневшее от паутины. К тому же окно выходило на север, был виден только отблеск солнечного дня, и все-таки света было достаточно, чтобы разглядеть заострившиеся, вроде совсем и не детские черты лица с синевой под глазами. Закусив губу, мать ворошила солому, чтобы ему мягче было лежать, гладила узкие плечики сына, не переставая тихо мычать, точно раненое животное.

Так она провела в одиночестве около часа, пока не услышала во дворе детский плач, тогда только вспомнила, что пора возвращаться к детям и мужу. За дверью ее дожидалась дочка. Ухватившись за материну юбку, та ревмя ревела и тянула к дому. Мать пошла, как слепая, но сил хватило на полдвора, там повалилась

на траву и, подняв к небу мокрые глаза, обеими руками вцепившись в траву, дала волю рыданиям. Девочка тоже чуть не задохнулась от плача и все-таки не отставала от нее, изо всех сил дергала за подол, пока мать не обратила на нее внимание: чумазое, искаженное страхом личико, растрепанная светлая головка — этой крохе она еще была нужна. Мать вспомнила и про вторую дочь, младшую, оставленную без присмотра, и тогда поднялась, поспешила в дом.

Ребенок кричал в подвешенной посреди комнаты люльке. Мать нажевала ржаного мякиша, посыпала его сахаром и, завязав эту кашицу в тряпку, дала самодельную соску ребенку.

— Побудь с сестричкой! — наказала мать старшей дочери, а сама выбежала на кухню. Огонь в плите потух, картошка поросятам не сварена, обед не приготовлен. Распахнула дверь: по двору, ожидая, когда их подоят, беспокойно бродили коровы. Громко прокричала с порога:

— Оскар! Оскар, где ты?!

Не дождавшись ответа, сама не понимая зачем, вернулась в комнату, взяла из люльки ребенка. Велев старшей дочери сидеть дома, выбежала во двор.

— Оскар, где ты?..

В тот ясный и тихий день крик разнесся далеко-далеко, однако на зов никто не откликнулся. Прижимая к груди младенца, спотыкаясь и падая, с разметавшимися волосами, она обежала все службы, поля, пока не добралась до опушки, где увидела среди колючего можжевельника белую березу, и тогда остановилась, дрожащими губами глотнула воздух и выпрямилась.

Из задранных вверх штанин торчали грязные босые ноги Оскара Круклиса...

Она стояла в глубокой задумчивости. Стояла, точно каменная, негромко твердя одно и то же:

— Что ты наделал? Что ты наделал?

Потом бережно положила ребенка в мох под можжевеловым кустом, схватила валявшийся трухлявый кол и принялась им дубасить того, кто был недавно ее мужем, с каждым ударом крича все громче, все злее:

— На кого ты нас бросил?.. Как теперь будем жить?.. Почему о нас не подумал?..

Кол переломился, она отшвырнула его, продолжая кулаками молотить безжизненное тело.

Девчушка где-то обронила соску, но лежать в мягких мхах было приятно, и она не плакала. Она загляделась на верхушку березы,— ветерок шелестел листвой, мелькали солнечные зайчики, и беззубый ротик раскрылся в улыбке...

— А Элза Круклис жива? — спросил я Вэстуре.— Или тоже... погибла?

— Нет, жива,— ответила Вэстуре.— Но после всех потрясений очень переменилась, стала набожной, ушла в добровольный затвор. Нянчит внучат, живет у старшей дочери,— та работает железнодорожным кассиром на тихой станции. Младшая закончила университет, занимается кибернетикой. Практику проходила в Новосибирске, там и замуж вышла. Летом с мужем и сыном, которому скоро в школу, навещают мать. А хутор «Леяспаукас» стоит заброшенный. Кто теперь в такой глуши согласится жить. Постройки обвалились, заросли бурьяном, кустарником... Что еще ты хотел бы узнать?

Я не ответил. Мне казалось, что в поисках правды я избороздил столько дорог океана жизни и вот теперь пристал к берегам, где плавал совсем близко. Я взглянул на Вэстуре. Подойдя к столу, где посветлее, она подкрашивала губы.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я.

— Зачем? Чтобы тебе понравиться.

— Не надо! Пожалуйста, пойди смой.

Она вышла. Я слышал, как в ванной плескалась вода. Вскоре Вэстуре вернулась и взглянула на меня как-то очень серьезно. Она выглядела постаревшей, на лице у нее было написано страдание.

С мягкой хрипотцой пробили стенные часы. Утро... У меня было такое чувство, будто кто-то стоит рядом, смотрит на меня пристальным взглядом, ждет ответа. Я открыл глаза, оглянулся, в комнате ни души. От долгого сидения затекли руки и ноги, и замерз я основательно. Метель за окном утихла, поскребывал совок дворника. Окна домов светились розоватыми, желтыми, зелеными огнями, беспорядочная громада города, расцвеченная зарей, подступала к самому горизонту. По улице прокатил первый троллейбус... Передо мною на столе лежала раскрытая записная книжка, а в ней запись: «Валка. Осень 1941 года. Хозяин отвез своего пастуха полицаям... Человек, каким ты будешь завтра, послезавтра, в недалеком будущем?»

1968

МЕТАМОРФОЗА

1

Предки оставили нам в наследство тысячи бессмертных пословиц. Рушатся дома и дворцы, желтеют и превращаются в прах страницы древних фолиантов, а пословицы вечно живут в устах народа, уча мудрости, добру и справедливости.

Пословицы бывают разные. Есть такие, что имеют только один смысл, и как бы ни старались любители демагогии, умудряющиеся по-своему толковать любое понятие, переиначить смысл этих пословиц им не удается. Но встречаются и другие пословицы — эти можно толковать по-разному, примерно так, как делают это некоторые политические деятели нашего времени, оперируя такими понятиями, как «гуманизм», «справедливость», «свобода». Они разглагольствуют с самых высоких трибун, бесстыдно искажая смысл этих великих понятий, и даже не краснеют при этом.

Одна из таких многозначных пословиц, смысл которых, словно форму восковой свечи, можно менять по собственному вкусу, гласит: «Лучше умереть, чем прославиться». Мы потому вспомнили эту пословицу, что герой нашего рассказа очень любил ее и часто употреблял, не особенно вдумываясь в ее смысл.

Однако пора познакомить вас с нашим героем. Вам, конечно, интересно знать, как он выглядит, какой у него характер. Высокий он или маленький, смуглый или белолицый, злой он человек или миролюбивый. Должен честно признаться: толком этого никто не знал; внешность нашего героя была настолько неопределенна и изменчива, что трудно было что-либо сказать наверняка. Лицо его мгновенно могло стать и белым, и смуглым, и красным, и серым.

Глаза, только что огромные, как пиалы, вдруг суживались и превращались в косые щелочки. Даже рост я не решился бы определить точно. Иногда он казался таким рослым, что среди сотен людей тотчас бросался в глаза, а то вдруг съеживался, горбился и совершенно исчезал в толпе. Единственно, что можно указать вполне достоверно,— это его имя: Кальби Кальбиевич Кальбиев.

Ну, а если попытаться определить его характер? Добрый он или злой? Честный или бессовестный? Старательный или ленивый? Тоже ведь не поймешь! Но вовсе не потому, что и натура его была столь же неопределенной, как лицо, рост или глаза. Просто Кальби Кальбиев был еще, как говорится, тем самым сундуком, от которого ключ потерян. Поди узнай, что внутри!..

У Кальбиева было только одно, но зато совершенно очевидное качество, и о нем упоминали каждый раз, когда речь заходила об этом человеке. Скромность. Скромный человек Кальбиев — с этим мнением были согласны все. Сам Кальбиев поначалу не возражал против такого определения, считая, что репутация скромного человека — надежный трамплин для рывка, который он рано или поздно намеревался осуществить.

Правда, терпеливо ожидая своего часа, Кальбиев иногда уставал от ожидания, терпение его истощалось, и он уже не мог без отвращения слышать это слово: «Скромный!»

Ну в самом деле! Почему обязательно скромный?! Пусть говорят: «способный», «энергичный», «старательный»!..

Очень может быть, что именно в этом смысле Кальбиев и повторял: «Лучше умереть, чем прославиться...» — и каждый раз произнося эту пословицу, давал себе слово во что бы то ни стало заслужить другую репутацию.

И вдруг Кальбиева осенило. К черту пословицу! Пословица эта — чушь, абсурд, придумали ее неудачники, те, кому ничего не удалось добиться в жизни.

И вот, с того самого дня, как мысль эта осенила Кальбиева, его словно подменили. Такой прежде скромный и незаметный, Кальбиев теперь все время лез вперед. На всех собраниях он непременно брал слово, причем, всякому его выступлению предшествовал зачин: «Товарищи! Я не имею громкого имени, не занимаю высоких постов, не отмечен наградами и орденами. Как говорится, немного дано, немного с меня и спросится. А потому, товарищи, я могу позволить себе говорить все, что думаю!» Однако говорил Кальбиев отнюдь не то, что думал, а то, что выгодно было в данный момент сказать. Но зато как говорил!.. С надрывом, со слезой! Сослуживцы его горячо аплодировали. «Молодец, Кальбиев! Какая энергия! Какая заинтересованность! И ведь абсолютно бескорыстно — Кальбиеву не нужна популярность!»

Все чаще раздавались такие слова за спиной нашего скромного Кальбиева, и он, окрыленный успехом, все больше и больше воодушевлялся — даже сквозь опущенные веки видно было, как сияют его глаза.

Случилось так, что в обеденный перерыв, во время чаепития, один из сотрудников стал горячо хвалить Кальбиева. «Удивительный человек Кальбиев,— говорил он,— скромный, мягкий, никому лично не желает зла, никаких личных целей не преследует — и такая безоглядная, беззаветная смелость!» Разумеется, Кальбиев просветлел от таких слов, однако тотчас же нахмурился.

— Перестань,— сказал он.— Ты знаешь,— я терпеть не могу подобных разговоров!

— А врешь, Кальби! — Окюма-хала, старый опытный инженер, женщина, известная независимостью характера, с усмешкой взглянула на Кальбиева.— Дурачишь людей! Говоришь, не по душе, когда хвалят, а сам из кожи вон лезешь, чтоб только тебя похвалили!

И что вы думаете, Кальбиев нимало не смутился.

— Брось, Окюма-хала! — Он устало махнул рукой.— Кто я такой, чтобы меня захваливать? Не начальник, не депутат, не орденоносец. Простой труженик, такой же, как ты. А что похвале радуюсь, это ты точно подметила — грешен! Каюсь. Радуюсь, а чего радуюсь, и сам не знаю. Такая уж это вещь — словно водка — в голову ударяет! — И Кальбиев с сокрушенным видом развел руками.

Вы прекрасно понимаете, что подобное чистосердечие не могло не разоружить даже скептически настроенную Окюму-халу. Она взглянула на Кальбиева, усмехнулась и шутливо погрозила ему пальцем.

— Эх, Окюма-ханум!..— Кальбиев укоризненно покачал головой.— Ну что ты мне пальцем грозишь? Ему погрози, если ты такая смелая! — Кальбиев показал рукой назад, за свою голову, туда, где темнела обитая дерматином дверь директорского кабинета.— Пригрози, а то его только и знают, что хвалить, который год в похвалах купается!.. Сгубили человека похвалами! — И Кальбиев сделал неопределенное движение, как бы указывая на виновников гибели директора.— Ты не хуже меня знаешь: пускай он не бог весть какой специалист, но хоть человечность в нем была! А как попал за этот стол — подменили! А почему? Потому что, куда ни повернется, кругом сладкие речи!

— Ладно, Кальбиев, кончай! Здесь тебе не собрание. Будет собрание, сунь его в воду, прополощи как следует, и пусть сохнет до следующего собрания.

— Нет! — Кальбиев покрутил головой.— Себе дороже стоит... Не буду я выступать.

— Ой, врешь, Кальбиев! Мыслимое ли дело — собрание будет, а критики твоей не будет? Да мы ж со скуки подохнем! Разве не замечал: пока ты не выступишь, никто даже с собрания не удирает — ждут, когда ты за директора примешься. Между нами говоря, ты его иногда зря...

— Зря? А это что? Что это, я вас спрашиваю! — Кальбиев подошел к умывальнику и выразительно постучал по крану.

Сослуживцы закивали, выражая Кальбиеву полное свое согласие и поддержку. Только бухгалтер Тахмазов, слывший доверенным человеком директора, никак не выразил своего отношения к сказанному.

Но в чем же дело: почему Кальбиев стучал по крану, почему сотрудники согласно кивали, а бухгалтер Тахмазов не кивал? Чтобы объяснить все это, мне придется сделать некоторое отступление, а вам, дорогой читатель, извинить мне его.

Учреждение, в котором трудился Кальбиев, находилось в той части Баку, где летом, особенно в нестерпимую июльскую жару, в водопровод перестает поступать вода. Вынужденные в любой зной отбывать из учреждения по различным делам, сотрудники возвращались разомлевшие, мокрые от пота и не имели возможности ни напиться, ни помыть руки, ни плеснуть в лицо водой. Обругав виновато молчавший кран, люди ни с чем возвращались на место. В такие дни воду можно было добыть только у уборщицы, тети Фатьмы. Но давала она ее отнюдь не всем. И не потому, что, подобно Шумру, хотела уморить несчастных жаждой, просто ей приходилось беречь воду. Воды было всего одно ведро, и женщина делила ее, как делят в пустыне: попить да чайку вскипятить.

Однажды в солнечный августовский день, когда небесное светило жгло так, словно решило испепелить Баку, Кальбиев, выполнив какое-то поручение директора, весь взмыленный, вернулся из города. Он бросился к крану, надеясь ополоснуть лицо, но, как ни вертел, как ни крутил его,— воды не было.

— Тетя Фатьма! — взмолился Кальбиев.— Дай, ради аллаха, хоть стаканчик!

Тетя Фатьма оглядела его мокрую от пота рубашку, красное вспухшее лицо и сжалилась. Привела Кальбиева в кухню, зачерпнула из стоявшего под столом ведра немножко воды и полила ему на руки.

— О-о-х!..— блаженно пропыхтел Кальбиев, платком вытирая лицо.— Словно родился заново! Я не я буду, если не превращу твое ведро в райский источник Земзем!..

— Да вон он, Земзем-то, глянь! — И тетя Фатьма показала в окно: посреди двора виднелся старый колодец.— Воды в нем полно. А какая вода — что твой нарзан!.. Почистишь немножко, цены ему не будет!

— Так чего ж ты нас не поишь вдоволь, тетя Фатьма?! — воскликнул Кальбиев и испугался — таким гневным стало вдруг лицо женщины.

— Спасибочки вам! — тетя Фатьма недобро поджала губы.— У меня сердце не купленное, чтоб с такой глубины ведра тянуть да на четвертый этаж таскать!.. Пускай мотор поставят, он и будет вам воду гнать!

— Да...— задумчиво произнес Кальбиев.— Идея хорошая. Боюсь только, что с нашим директором не сговоришься... Во всяком случае, я этот вопрос подниму!

Вот эту историю и имел в виду Кальбиев, когда в знойный августовский день, в ту пору, когда пересыхают источники и лишь джейраны способны отыскать воду, выразительно постучал по крану. Высохший кран наглядно свидетельствовал, что директор безразличен к насущным нуждам сотрудников и что Кальбиев отнюдь не напрасно критикует его на каждом собрании. Тут все были согласны с Кальбиевым, отмалчивался только бухгалтер.

— Что, не нравится про начальство такие слова слушать? — ехидно спросил его Кальбиев.— Еще бы тебе понравилось! Ты ведь у меня в списке бюрократов прежде директора значишься!

— А ты меня не запугивай! — бухгалтер с угрожающим видом повернулся к Кальбиеву.

Не переставая иронически улыбаться, что позволяло скрыть некоторый трепет, Кальбиев снизу вверх поглядывал на Тахмазова. Ну и чудище! Толстый, лицо словно топором рубленное, нос кривой, длинный... И как этот бегемот, этот кабан умеет подчинять себе людей! Чем он их берет? Глаза? Пожалуй... Глазищи у него огромные, черные-черные. Не только женщины, не всякий мужчина выдерживал взгляд бухгалтера Тахмазова — в дрожь бросало. И Кальбиев предусмотрительно не глядел бухгалтеру в глаза, он рассматривал его огромное, бесформенное, безобразное тело. Особенно нехороша была у бухгалтера шея. Собственно, у него вообще не было шеи, впечатление было такое, словно Тахмазова трахнули по макушке чем-то тяжелым, шея сплющилась, и голова оказалась сидящей прямо на плечах. Впечатление это усиливалось от того, что, разозлившись, Тахмазов, прежде чем заговорить, задирал подбородок и еще выше поднимал плечи. Вот и сейчас под насмешливым взглядом Кальбиева бухгалтер вздернул подбородок и поднял свои саженные плечи.

— Ты меня не пугай, Кальби. Не такие пугали, не тебе чета, и то цел остался. Ты ведь чушь несешь. Языком болтать любая баба может,— ты вот попробуй сделай! Подумаешь — вода не идет! Мы, что ли, одни без воды сидим?! Полгорода!

Но Кальбиева на мякине не проведешь, он свое дело знает.

— Допустим,— сказал он,— что наш глубокоуважаемый Ахмед Рагимович (Кальбиев нарочно назвал директора по имени-отчеству — всем известно, что бухгалтер иначе к нему не обращался) не в состоянии наладить водопровод — это от него не зависит. Но колодец! Неужели, имея во дворе прекрасный колодец, нельзя поставить мотор и решить вопрос с водой?!

Сидевший в стороне высокий худощавый инструктор Керем внимательно прислушивался к спору, не решаясь, однако, вставить слово. Он лишь поворачивал голову то к Кальбиеву, то к бухгалтеру. У Керема были золотые руки: моторист, столяр, слесарь. А потому, услышав слово «мотор», парень не выдержал:

— Послушайте,— сказал он бухгалтеру.— Дело-то ведь пустяковое! Достаньте какой-нибудь списанный мотор, насосик, пятьдесят метров труб! Мотор я переберу, налажу насос — и будем с водой!

Тахмазов недовольно взглянул на инструктора.

— А деньги где я возьму? Нет же этого в смете. Что может сделать Ахмед Рагимович, раз в смете нет?

— Что, говоришь, сделать может?! — На Кальбиева словно кипятком плеснули.— Побеспокоиться о людях может! Поставить вопрос перед вышестоящими инстанциями! Любое начинание губите, бюрократы! Что бы он ни сказал, ты сейчас: «Правильно, Ахмед Рагимович! Совершенно верно, Ахмед Рагимович!» Ты ляпнешь любую глупость, он с тобой соглашается! Простых вещей сделать не хотите! Больной женщине до сих пор путевку не предоставили! — Кальбиев обличительным жестом указал на сидевшую поодаль тетю Фатьму.— За столько лет нельзя было отправить рабочего человека на курорт?!

— Пусть обращается в местный комитет! Сметой расходы на путевки не предусмотрены!

— Прекрасно! Путевка — это местный комитет. Ну, а отремонтировать человеку домишко, пол перекрыть?.. Сырость такая стоит, а женщина еле ходит! У нее от ревматизма все суставы опухли!..

Тахмазов еще раз пробурчал: «Сметой не предусмотрено»,— выразительно взглянул на часы, напоминая, что обеденный перерыв кончился, и демонстративно вышел из комнаты.

Кальбиев проводил его насмешливым взглядом.

— И это называется человек!.. Смета ходячая!

2

Какой-то мудрец сказал однажды, что не будь случайностей, история оказалась бы невыносимо скучной. Причем, он вовсе не имел в виду одни только приятные случайности. Отнюдь нет. Так вот, через несколько месяцев после описанной нами беседы в учреждении, где работал Кальбиев, произошла случайность. Разумеется, совершенно неожиданная.

Совершенно неожиданно бухгалтер Тахмазов сообщил, что директор Ахмед Рагимович подал заявление об освобождении — он переходит на научную работу. Полгода тому назад Ахмед Рагимович защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук — все было законно.

Обстоятельство, неприятно поразившее Кальбиева, было не то, что, уйдя из их учреждения, Ахмед станет ученым. Это, разумеется, отнюдь не радовало Кальбиева, напротив, усиливало его ненависть к бывшему директору. Но мучило нашего героя другое — то, что директор ушел сам, по-хорошему, что никто его не выгнал с позором, и, стало быть, напрасно Кальбиев потратил на него столько сил.

Кальбиев не знал самого интересного — пройдет две недели, и на освободившееся место назначат его, Кальбиева. Дело, которому он посвятил чуть ли не десять лет жизни, решилось легко и вроде бы без всякого его участия.

«Подумать только...— размышлял потрясенный Кальбиев.— Поистине, неисповедимы пути господни. Ну что ж, пусть будет так! Стало быть, я родился под счастливой звездой!» Другого объяснения столь неожиданному выдвижению Кальбиев найти не мог. Родственников среди начальства у него не было, покровителей — тоже, следовательно, назначение его — чистая случайность. В конце концов, большие начальники — всего лишь люди, они тоже устают, надоедают им их бесконечные дела. «Видно, некогда было вникать, вот меня и назначили!» — шутил Кальбиев, шутил публично, при всех сотрудниках. Но, как говорится, шутки шутками, а дело делом — Кальбиев приступил к исполнению новых обязанностей.

Деятельность свою директор Кальбиев решил начать с того, чтобы исправить недочеты, за которые он в свое время так резко критиковал прежнего директора. Но для этого совершенно необходимо было очистить учреждение от бездельников, лентяев и подхалимов. Прежде всего, разумеется, от бухгалтера Тахмазова. Если его не убрать, ничего невозможно будет сделать, он, как цепной пес, всех за ноги хватает.

Кальбиев весело усмехнулся и нажал звонок. Вошла секретарша.

— Попросите ко мне бухгалтера Тахмазова!

— Сейчас,— сказала женщина.— Кальби Кальбиевич! Вас Ахмед Рагимович хотел видеть.

«Ахмед Рагимович? Любопытно... Ну что ж, посмотрим, какое у него будет выражение лица!»

— Просите, пожалуйста!

Как только секретарша закрыла дверь, она снова отворилась, и вошел Ахмед Рагимович. Особых изменений заметно в нем не было. Такой же элегантный костюм, белоснежная сорочка, яркий галстук... Лицо чисто выбрито, глаза ясные, доволен. «Видно, неплохое местечко отхватил! — мгновенно сообразил Кальбиев.— Работы мало, а оклад — дай бог всякому! А может, и мне тему взять? Чем черт не шутит...» Все эти мысли успели пронестись в голове Кальбиева за то недолгое время, пока он вылезал из-за стола, чтобы приветствовать бывшего директора.

— Прошу, прошу, заходите! — И он указал посетителю на кресло.

Ахмед Рагимович садиться не стал, только сказал просто и дружелюбно:

— Мне компенсацию нужно получить за отпуск. Прикажите Тахмазову, пусть оформит.

— А что? Не дает?

Ахмед Рагимович неопределенно пожал плечами.

— Ну, видите ли... Так или иначе ваша виза необходима...

— Хорошо, я распоряжусь. Скажите, чтоб позвали Тахмазова.

Бухгалтер появился в кабинете сразу же, как только ушел Ахмед Рагимович. Держа под мышкой большую папку, он почтительно остановился в дверях, всем своим видом показывая, что разногласия разногласиями, а деловые отношения — это деловые отношения.

— Разрешите, Кальби Кальбиевич?

Кальбиев вскинул голову, взглянул на бухгалтера и глазам не поверил. Насупленные брови, горящие ненавистью глаза — куда все это делось? Взгляд у бухгалтера был ласков до приторности. Однако Кальбиев, твердо решив проводить свою линию, коршуном набросился на Тахмазова:

— В чем дело?! Почему не выплачиваешь человеку отпускные?!

Тахмазов уже вздернул подбородок, но Кальбиев не дал ему ответить.

— Я говорю об уважаемом Ахмеде Рагимовиче...

Последние слова Кальбиев произнес с явной насмешкой, даже с издевкой. «Да, да, я говорю о бывшем твоем начальнике.

О том, перед которым ты на брюхе ползал!» Он ожидал, что Тахмазов взбеленится, выйдет из себя. Ничуть не бывало, бухгалтер, словно бы не заметив ехидного тона, ответил спокойно и учтиво:

— Как прикажете, Кальби Кальбиевич... Я хотел знать ваше мнение.

В том, как Тахмазов это сказал, было спокойное достоинство опытного, знающего свое дело человека и просто доброжелательность. В первый раз в жизни Кальбиев заметил, что это довольно приятно — когда тебя называют по имени-отчеству.

— А почему без меня не можешь? — уже тоном ниже спросил он.— Разве это незаконно?

— Незаконного тут ничего нет, Кальби Кальбиевич,— мягко сказал бухгалтер.— Но финансовые вопросы — вещь деликатная, точность любят, стало быть, вы, как руководитель, всегда должны быть в курсе.

Интересно! Кальбиев слушал бухгалтера и с удивлением отмечал, что от Тахмазова словно бы исходит какое-то тепло, и лед в его груди плавится, тает... И нет у него к этому человеку ни злобы, ни ненависти, напротив, растет уверенность, что он хочет тебе помочь, что он — твой искренний доброжелатель.

— Садись! — Кальбиев указал бухгалтеру на кресло и сам сел за стол.— Поговорим!

Тахмазов понял, что попал в точку.

— Понимаете, Кальби Кальбиевич,— доверительно начал он,— уж очень наше дело деликатное... Чуть где слабинку дашь, сейчас же ревизор акт настрочит, и доказывай, что ты не верблюд. И так и эдак пробуешь, бьешься, как рыба в сети, а акт проклятый, словно удавка на шее!..— И Тахмазов выразительно обхватил свое горло толстыми волосатыми пальцами.— Так иной раз прижмут, дыхнуть нечем!..

Кальбиев содрогнулся — на мгновение ему показалось, что короткие темные пальцы сжали его, а не Тахмазова, глотку. Он сглотнул слюну, повел головой и сказал неуверенно:

— Так не надо... Беззакония допускать не надо.

— Именно! — обрадовался Тахмазов.— Ведь и я о том, Кальби Кальбиевич! Все должно быть законно, мало ли кто чего просить будет!.. Люди ведь как: законно, незаконно — им это ни к чему. Он выпросил, получил свое и пошел!.. Ему что? Ему перед ревизорами не стоять! А иной раз ведь как бывает? Мало того что вытянет все, что ему нужно,— еще и посмеется, когда тебя ревизор прижмет! Да, да, бывали такие случаи...

Бухгалтер привел ряд убедительных примеров. Кальбиев узнал, что несколько директоров только в этом году были сняты с

работы за нарушение финансовой дисциплины, а один — и того хуже — попал на скамью подсудимых. Тахмазов говорил, а Кальбиев слушал и мотал на ус. И думал. Думал о том, как, в сущности, легко вылететь из кресла, в котором он столь неожиданно оказался. Тахмазов прав. Абсолютно прав. Именно так и следует поступать, как он говорит.

Кальбиев слушал бухгалтера, согласно кивал, время от времени задавал ему вопросы и сам приводил примеры, подтверждающие их общие мысли. Этот первый их разговор совершенно неожиданно для Кальбиева, готовившегося к жестокой — не на жизнь, а на смерть — борьбе с Тахмазовым, привел к их полному и абсолютному взаимопониманию.

— Хорошо, но как все-таки будем решать с колодцем? Надо же поставить насос и дать людям воду! Как ты считаешь?

Тахмазов ответил не вдруг, помолчал. Он прекрасно понимал, что насос — это для Кальбиева вопрос престижа, вопрос самолюбия. И проверка для него, Тахмазова. Если он после стольких лет ожесточенного сопротивления так вот сразу согласится, это будет выглядеть скверно, новый директор сочтет его самым примитивным подхалимом.

Пока Тахмазов размышлял, как лучше ответить, Кальбиев думал о том, что бухгалтер считает его злобным, мстительным человеком, а ему совсем не по душе такое о нем, Кальбиеве, мнение. И вдруг озадачил бухгалтера вопросом:

— Скажи, как ты думаешь, что такое счастье?

Тахмазов недоумевающе глядел на нового директора.

— Ну, что смотришь, скажи! Что ты называешь счастьем? Когда человек счастлив?

— Ну, ей-богу, не знаю... Счастье... Ну, чтоб жизнь хорошая... Чтоб все удачно было, жена, дети... Чтоб врагов поменьше...

— Жена, дети, врагов поменьше... Нет, Тахмазов, не то! Одно личное благополучие еще не делает человека счастливым. Гораздо важнее создавать благополучие для других. Приносить пользу людям! Это счастье. Великое счастье!

Кальбиев протянул бухгалтеру толстый журнал.

— Вот, возьми, тут очень убедительно про счастье написано. Вам, финансовым работникам, не вредно иногда поинтересоваться и философскими вопросами... Кругозор расширяет.

— Это конечно...— неуверенно пробормотал Тахмазов.— Кругозор — это да... Я вечерком почитаю...

— И вот теперь я тебя спрашиваю: хочешь ты, чтоб я, Кальби Кальбиев, хоть немножко почувствовал себя счастливым? Хочешь? Ну так давай займемся этим колодцем!

Тахмазов почувствовал, что больше тянуть нельзя.

— Так я разве против, Кальби Кальбиевич? Дайте указание, состряпаем смету, получим разрешение, включим в план, и все будет в ажуре!

— Очень тебя прошу, займись этим делом! — проникновенно сказал Кальбиев.— Некому ведь поручить-то, сам знаешь... Подготовишь смету, сразу давай на подпись!

— Понятно. Сейчас же и займусь. Других указаний не будет, Кальби Кальбиевич?

— Пока все, можете идти!

Кальбиев говорил главбуху то «ты», то «вы». И не случайно: Тахмазов то вырастал в его глазах, то вновь становился мелким и незначительным. То он располагал к себе начальника, то снова вызывал у него активную антипатию. Однако сейчас, после разговора с Тахмазовым, Кальбиев был настолько уверен, что это исключительно ценный и совершенно необходимый ему человек, что еле удерживался от смеха, вспоминая, с какими намерениями вызвал бухгалтера в кабинет.

3

В Управлении по поводу неожиданного назначения Кальбиева можно было услышать самые различные мнения. Одни одобряли такое решение начальства, другие недоумевали. Одни утверждали, что ничего тут нет удивительного, Кальбиев опытный, добросовестный работник, другие только пожимали плечами. Однако, когда стало известно, что Кальбиев решил всерьез приняться за сооружение насоса, число его сторонников резко возросло. Когда же и с тетей Фатьмой дело вроде сдвинулось с места, даже самые заядлые скептики умолкли: ясно было, что на пост директора назначен достойный человек — деловой, чуткий, внимательный к нуждам трудящихся. Еще больше повысился авторитет Кальбиева, когда стало очевидно, что он отнюдь не третирует Тахмазова, напротив, относится к своему бывшему неприятелю в высшей степени терпимо и уважительно. Вывод мог быть только один: Кальбиев — человек благородный, и чувство мести ему совершенно чуждо.

Популярность Кальбиева росла, и все больше и больше людей приходило к нему с различными просьбами. Только по поводу ремонта подано было одиннадцать заявлений. Сотрудники просили отпустить средства, выдать стройматериалы... Конца этому не было видно.

— Опять?! — взмолился Кальбиев, когда бухгалтер принес ему на подпись очередное заявление.— Опять эти доски!.. Да что ж это за напасть?!

Бухгалтер пожал плечами.

— Я вам говорил. Это такие люди... Вы думаете, он не понимает, что вы не имеете никакого права выписывать ему доски? Прекрасно понимает. Но он знает: сердце у вас доброе, одному дали, почему бы и ему не попросить?.. Вот вы мне как-то про счастье толковали. Ничего, мол, нет слаще, как чувствовать, что пользу людям приносишь... А они как же?.. Ведь ни один из них даже и в голову не берет, что вам-то все это боком может выйти! Гнать их всех надо!

Кальбиев внимательно слушал бухгалтера, но соглашаться с ним не спешил. Он не прогонял людей, приносивших заявления,— Кальбиев выработал свой особый способ отказывать. Одни заявления он передавал в местком, другие отсылал в райисполком, третьи просто откладывал в сторону. С легким сердцем избавлялся теперь Кальбиев от заявлений: и от вздорных, и от абсолютно правомерных, которые только сам и обязан был рассматривать. Если же ответ — как ни крути — оказывался положительный, Кальбиев создавал комиссию и мурыжил заявление до тех пор, пока проситель не терял к нему всякий интерес.

Шло время, затихали хвалебные голоса, и все громче слышно было теперь тех, кто при назначении Кальбиева отмалчивался и пожимал плечами. «К Кальбиеву попало — пиши пропало!», «У Кальбиева не стол, а яма: положил, как зарыл!» Эти и подобные им высказывания по временам достигали ушей директора. Первое время Кальбиев огорчался, морщился, потом привык. «Что мне — больше всех нужно?» — постепенно эта простая мысль стала для Кальбиева целой философской системой, удобной и спокойной. Ни одного из своих обещаний Кальбиев не выполнил. Мало того, он завел в учреждении такие порядки, при которых получить самую обычную справку или характеристику стало целым событием.

Месяца через два после первого их разговора о колодце Тахмазов положил перед директором смету и небольшой проект.

— Вот, Кальби Кальбиевич, подпишите. Но должен предупредить: в общей нашей смете эти расходы не предусмотрены. Придется проводить по другой статье.

— А мы имеем на это право?

— Ни у кого, Кальби Кальбиевич, нет права нарушать финансовую дисциплину! Ну да ничего, авось проскочит!

Кальбиев взял ручку, хотел было подписать, потом внимательно просмотрел смету, несколько раз вслух прочитал итоговую сумму и отложил перо.

— Ладно, возьми пока...

Что это значит, Тахмазов понял сразу. А значило это следующее: «Забери ты эти бумажки и никогда мне их больше не показывай!»

Тахмазову только этого и нужно было. Как ни мала была стоявшая в итоге сумма, чтобы получить ее, не предусмотренную общей сметой, надо было добиваться, хлопотать, ездить в министерство... Едва только Кальбиев произнес: «Ладно, возьми пока»,— он тотчас забрал смету и унес — не дай бог передумает!..

Итак, Тахмазов унес бумажки, связанные с судьбой колодца. Но он был слишком хитер, чтобы унести и на этом кончить. Зачем же — время от времени Тахмазов напоминал директору про насос и даже клал ему на стол смету и проект. Он знал: Кальбиев их уже никогда не подпишет, а поиграть у директора на нервах доставляло ему немалое удовольствие. Сначала Кальбиев лишь ворчал при виде ненавистных документов: «Потом, потом!..» — но один раз не выдержал и накричал на бухгалтера: «У тебя что, других дел нет?! Пристал с этим проклятым насосом, чтоб ему пусто было!..» Все. Больше Тахмазов не приносил ему «водяные» документы — с насосом было покончено раз и навсегда: смета и проект положены были в самый дальний угол шкафа, а оттуда перекочевали в архив.

Однако сотрудников Кальбиева такое решение вопроса не устраивало. Первыми к Кальбиеву явились Окюма-ханум и Керем.

— Как с насосом? — спросили они.— Будет у нас вода?

— Ничего не выходит! — Кальбиев развел руками.— Смету составили, проект сделали, а денег взять негде. Не предусмотрены эти расходы. Деньги изыскать невозможно!

— Невозможно?! — взвилась Окюма-ханум.— И это говоришь ты, Кальби Кальбиев, борец за правду и справедливость?! Когда у тебя не было ни прав, ни ответственности, ты на каждом собрании орал: «Сделать!», «Построить!», «Добиться!». Чего же теперь пошел на попятный?

Нечто подобное, не так, правда, категорично, высказал Кальбиеву и Керем. Но Кальбиева уже было не прошибить. И если в начале его директорской деятельности при упоминании воды и насоса сразу заходил разговор о человечности и верности слову, то теперь речь могла идти только о трусости, лицемерии и вероломстве.

Все это, разумеется, доходило до Кальбиева и очень его раздражало. Наконец он вызвал к себе Тахмазова, приказал секретарше никого к нему не пускать и плотно прикрыл дверь.

— Ну вот что, Тахмазов, этот насос уже в печенках у меня сидит? Что делать будем?

Тахмазов пожал плечами. Он, правда, не знал, что делать.

— Не знаешь?! Тогда я скажу. Колодец надо засыпать!

Тахмазов вытаращил на него глаза.

— Не понимаю!

— Чего тут не понимать? Кончать надо. Колодец должен пропасть, исчезнуть с лица земли! Раз и навсегда! Понятно?

— Понятно... Но...

— Как это сделать? Я кое-что придумал. Потому и вызвал тебя.

В прошлом году в управлении производили ремонт, и чуть не половина двора завалена была различным строительным мусором: щебнем, битым кирпичом, кусками окаменевшего цемента. Вот этот материал и надумал использовать Кальбиев для окончательного решения «водяного вопроса». Засыпать колодец и на его месте построить гараж. Директорская «Волга» не должна стоять под открытым небом...

Работа по засыпке колодца обошлась учреждению не дорого — всего двадцать рублей. Наняты были двое рабочих, в пятницу вечером они принялись за дело, в воскресенье к вечеру закончили.

Утром явились на работу сотрудники. Сначала было тихо — все вроде растерялись от неожиданности, потом начался скандал. Больше всех, как обычно, возмущались Окюма-ханум и Керем. Вне себя от ярости ворвались они к Кальбиеву.

— Ты уже знаешь?! — хриплым от волнения голосом выкрикнула Окюма-ханум.

— А что такое? — удивился Кальбиев.

— Колодец засыпали!

— Это преступление! Самое настоящее преступление,— стараясь казаться спокойным, дрожащими губами сказал Керем.— Преступник должен быть наказан!

— Да как у него, проклятого, рука поднялась! — чуть не плача, воскликнула тетя Фатьма.

— Ну вот что, товарищи.— Кальбиев с решительным видом поднялся из-за стола.— Довольно болтовни! Займитесь своими делами!

Может быть, вас интересует, чем кончилось дело с путевкой для тети Фатьмы и с ремонтом у нее в доме? Лучше не спрашивайте, потому что дело обернулось так, что тетя Фатьма и путевки никакой уже не хотела — она теперь хотела только одного — как-нибудь дотянуть до пенсии. Что касается Окюмы-ханум и Керема, они вынуждены были уйти по собственному желанию. Подписав приказ об освобождении их с работы, Кальбиев вызвал к себе Тахмазова и торжественно объявил:

— Вот что, дорогой: довольно ты поработал бухгалтером, с завтрашнего дня назначаю тебя своим заместителем! Нужно наконец научиться ценить добросовестных, знающих дело людей!..

Как мы видели, Кальбиев в свое время весьма произвольно истолковал прекрасную и мудрую пословицу — точно так же, как делают это некоторые господа, когда с высоких трибун произносят «гуманизм», «справедливость», «прогресс»... Но Кальбиев и ему подобные забывают другую не менее мудрую пословицу, которая гласит: человек предполагает, а бог располагает. Когда тетя Фатьма в присутствии Кальбиева сказала однажды эту пословицу, он долго отчитывал ее за отсталость и непросвещенность. Ему и в голову не пришло, что в наше время пословица эта имеет совсем другой смысл, и бог, судьба и прочие потусторонние силы тут решительно ни при чем. Человек правит миром, но умный, честный, сильный и добрый человек — Человек с большой буквы. Несколько таких вот людей взялись за дело, и случайность, в результате которой Кальбиев оказался за столом директора, довольно быстро сменилась закономерностью — Кальбиев вылетел из своего кресла. Вот так.

Через несколько дней в министерство вызвали Окюму-ханум и сообщили ей о назначении ее директором на место Кальбиева. Когда же потрясенный Кальбиев задал свой единственный вопрос: «Почему?!» — ему ответили: «Ты не честолюбив, чины тебе ни к чему. Иди и работай инженером!..» Кальбиев хотел сказать подходящую к случаю пословицу, но язык не послушался его. Сгорбленный, придавленный, незаметный, вышел он из министерства и пошел... Нет, не в управление — домой.

Кальбиев занемог. Он слег в постель и пролежал больше месяца. Когда через месяц он вышел на работу, это снова был тихий, незаметный человек — «скромный» Кальбиев...

1969

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Ни одного не осталось, все там... А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делал, а меня в дом взяли — засыпала ребятами.

Ну, о старших я уж не говорю — тех война съела. На одном году три похоронки получила — вот как по мне война-то прошлась. И Егор тоже через войну нарушился — в плену у германца был. А Степа-то! Мизинец-то мой желанный! Тот уж по моей совести, того я сама упустила... Вот и не просыхаю. Какой уж — двадцать семой пошел, а я все точу себя, все думаю: ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Офимья, не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем.

Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? В тридцать восьмом? Ну, дак Степу-то ты и не помнишь. Я его в тридцать четвертом на беду родила. Все дети у меня хорошие были — ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему — девяти годков не было — помер, а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет — самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами — не надо посылать, сам бежит...

Вот это-то его старанье и сбило меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев — не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась, так-то все и на работу и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь — вот как мы в войну-то робили, а тут не знаю чего — задержалась. Смотрю — па, господи, снег-то в отхо-

жем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла.

Я в избу:

— Ребята, кто сичас за хлев бегал?

Молчат. И девка молчит и парень.

— Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К дохтуру надо.

Тут Степанушко у меня и повинился: «Я, мама».

Я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени, небаской с лица. И день в школу сходит да три лежит. А раз прихожу домой — по сено ездила:

— Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на стволочек рамы да клювпком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо?

— То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, говорю, стужа-то какая — бревна рвет.

А птичка-то, оказывается, не простая — смертная. С предупреждением прилетала: готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу.

В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся устала, примерзла — до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлевом при белом свете увидела, тут я про птичку вспомнила.

Побежала к бригадиру.

— Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен — дай лошади в район к дохтурам съездить.

А бригадир, царство ему небесное — помнишь, наверно, Пахурожу,— нехороший человечишко был, через каждое слово матюк:

— В лес, в лес! мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!

— Нет, говорю, Павел Егорович, кричи — не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать.

Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть: «Я, что ли, войну выдумал?», а потом видит, война не помогает — бух мне в ноги:

— Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое,— решка...

Я пришла домой, плачу:

— Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит...

А ребята — что! Разве можно в таком деле ребят спрашивать?

— Поезжай, мама! Надо помогать братьям.

В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор.

Ну, поехала. Как не поедешь. Тогда ведь не просто робили — деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом вели. Так у нас про лесозаготовки в пушали — и взрослым и школьникам. Терпите! Поможем нашим сыновьям и братьям на фронте...

Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит. Как, говорят, можно целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видели в эту зиму хлебного — все до зернышка на войну загребли. Да и картошки-то было недосыта. Одного капустного листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на нем здоровье потерял.

В покров прибегает из школы — как раз в ту пору затайка исделалась, па полях снег водой взялся:

— Мама, говорит, люди па колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже надо.

— Надо бы, говорю, парень, да матерь-то у тебя из упряжки не вылезает.

А вечером-то с работы прихожу — на, изба-то у меня полпехонька листу. Авка сидит с лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать,— Степа. Лежит на печи — только стукоток стоит, зуб на зуб не попадет, начисто промерз. Сам знаешь, каково на осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обутке.

И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали — радуюсь. Ладно, думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня оттого и чахнет, что хлебного тело не получает... А вернулась из лесу — Степа-то у меня уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонька родимый! Ешь ты, бога ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь...

А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.

— Я, говорит, мама, в другой раз.

Ну, я и лошадь не отводила на конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте — повезу парня в больницу!

Не довезла... Одну версту не довезла... Спуск-то перед районом помнишь? Большущая лиственница стоит, комель обгорелый. Ну, дак у этой вот лиственницы Степина жизнь кончилась.

Стужа была, мороз, я все одежки, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы, немного приоткрыла.

— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степапушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-то у нас красивый...

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил.

Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму.

Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка, чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы, пособить, ничего сейчас у советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пропять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

— Сколько, говорит, еще реветь будешь? Сыновья на фронте, голодные, холодные, может,— рев им твой надо? Не забывай, говорит: ты матерь, да и над тобой мать есть. Всем матерям мати...

Ох, Таисья, Таисья Тихоновна... Сколько годов минуло! Самой уж, наверно, лет двадцать в живых нету. Скоро после войны сверпуло, надорвала, видно, на нашем горе сердце, а я все с ней разговариваю — вслух, по ночам. Разговариваю да спорю.

Анна, дочь, проснется:

— Что ты, старуха дикая! Сказано тебе: война Степу съела.

— Да, может, и не война, говорю. Над старшими, говорю, мати не вольна, а малой-то возле меня был. Я недосмотрела.

— Да когда тебе было досматривать-то? Ты в лесу была.

— А что бы, говорю, случилось, кабы я на день, на два позже в лес выехала?..

Анне сказать нечего, да и утром вставать рано (скотницей робит), заорет:

— Да дашь ли ты мне спокоя? Когда у нас это кончится?

Я замолчу — беда, нервенный народ стал, все в крик, все в горло, а про себя думаю: никогда не кончится. До скончания века не кончится. До той поры, покуда материнское сердце живо...

1969

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть.

Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался,— тогда-то Глеб Капустин приходил и *срезал* знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджи-

гателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб.— О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов,— скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо,— вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе.— Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно пообещал Глеб.— Кандидатов сейчас — как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!..— посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат.— Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примерпвался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь.— Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился.— Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи.— Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда,— сказал он с улыбкой.— Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался.— Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно.— Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату.— Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат.— Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы,— спокойно, при общем внимании продолжал Глеб.— А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте устаповим,— серьезно заговорил кандидат,— о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами...— Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать.— Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения.— Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел.— Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма.— Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего,— сказал Глеб.— Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче,— еще сказал Глеб.— Проблемы нету, а эти...— Глеб что-то показал руками замысловатое,— танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании...— Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат.— И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех.— Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так.— Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену.— Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало.— Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатам

датство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать.— Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него.— Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку»,— сказал кандидат.— Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю,— торопливо перебил его Глеб,— не знаю, как это называется — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут,— оглядел Глеб мужиков,— тоже никто не сидел — не поймут. А вот жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал.— И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «Трипадцать стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самопадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник,— сказал кандидат, обращаясь к жене.— Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал.— Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда.— Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя.— В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете.— Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов.— Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собраннее. Подготовленнее, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа.— Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его,— скажут Глебу.

— Ничего,— великодушно заметит Глеб.— Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

1970

РЖАВАЯ ЛЕЙКА

Так и есть, набит битком. День воскресный, все только и знают, что разъезжать. В будни еще хуже — одни туда, другие сюда, и так без конца. Была б еще цель какая или дело. Нет, просто мотаются, лишь бы время убить... В автобусе и то не умеют вести себя по-человечески. У двери собьются в кучу, вперед пройти и не догадаются. Все ноги тебе оттопчут, на спину навалятся, вежливости никакой. На такси тоже народу уйма, стой и жди, еще и ругайся в очереди. Ладно, двадцать минут в автобусе вытерпеть можно. Двадцать или двадцать пять. Свежего воздуха глотнуть хоть раз в неделю. Да разве на Пирите воздух чистый? Из города от заводов, от электростанции сажу несет. В городе и вовсе задохнуться можно — дым, чад от перегретых моторов. Для рака легких — самое милое дело. Автоинспекция проверяет тормоза да фары, а вонь от машин их не интересует. А должна бы.

Дальше Пириты ехать нет смысла. На Пирите сойти, маленький круг по лесу, аппетит нагулять. Через лес и до Мяхе недалеко, Кристьян, наверно, дома. Он-то времени зря не теряет. Давно уже звал посмотреть его парники, хвалился, что тысячи две в год дают свободно. Ранние огурчики, помидоры, а сейчас еще и цветы. Цветами торговать выгодно. Пенсионер, чего ему не возиться потихоньку. Пенсионеров так легко не трогают. Редко-редко кто попадется. Законов и правил издают кучу, а контроль слабый. Проверка исполнения, как сами твердят. Умный человек что захочет, то сделает, и собака не гавкнет...

Ну и мадам, навалилась, как гора. Пудов пять, не меньше. Гладкая, ничего не скажешь. Небось в корсет затянута, в постели все расползется. Щеки нарумянены, ресницы приклеены, волосы фальшивые. Самой не меньше пятидесяти. Официантка, или парикмахерша, или певица, или еще какая барыня. Барынь сейчас не

меньше, чем в старое время. Господ поменьше, а барынь столько же. Начальников тьма-тьмущая, и у каждого супруга. У генералов и полковников тоже... Ишь, глаза скосила, такая небось еще и за парнями гоняется...

А этот верзила едет, как барон. Какой там барон, просто дикарь. Космы до плеч, на воротнике перхоти полно. Ему наплевать, что женщины стоят. Культура! Воспитание! Культуры и воспитания хоть отбавляй, а вежливости ни на грош. А тот нализался, дышит тебе в лицо сивухой и глазом не моргнет. Скажешь слово, в ответ получишь десять. Где же еще злость сорвать, как не в трамвае или автобусе? Перед всякими деятелями держи язык на привязи... Ну да, с утра уже наклюкался. Деньги больше девать некуда, только пропивать. Куда их поместишь? Ни у кого цели нет в жизни, потому и лакают. Все заранее предписано — что ты такое, что тебе делать. Домишко, машина — а дальше стоп! А что эти нынешние дома, только что сам живешь. Кабы от жильцов доход иметь, тогда дело другое... Вот и не остается ничего, кроме бутылки. У кого деньги есть, хлещет, у кого денег нет, опять-таки пьет. Потому что всю жизнь из кулька в рогожку перебивается. Все тянут — и учителя, и врачи, и директора, и всякие важные шишки. Не говоря уже о художниках и актерах, те всегда зашибали...

Ох как швыряет! Водить не умеют. А кто и умеет, едет как попало. Машина казенная, что ее беречь. Рессора или ось — пополам, поставят другую. Рубли летят на ветер — государственные, не из своего кармана. Раньше в «Моторе» такого шофера не держали бы и дня. Хозяйского глаза нет, вот что. На автобусной базе гонятся за премиями, им на пассажира начхать. Давай жми! Улицы тоже точно свиньями изрыты. Один асфальтирует, другой вслед за ним ломает, а отцы города речи держат да гостей встречают. Гости — это все, гости — это боги, а свой гражданин живи как придется...

Опять остановка, на каждом углу остановка. Ну и давка, ну и толкотня! Еле душа в теле, совсем расплющили. И никто не выходит, только лезут и лезут. Ясное дело, билета не берет. Пятака жалко. С виду рабочий, может, даже передовик, на Доске почета красуется. А что тут мудреного: не щади ни себя, ни станок, на качество наплюй, гони только проценты — вот ты и передовик, тебе честь и хвала. В кабаке напился до чертиков, дома избил жену — это не в счет. Только по процентам смотрят, кто ты есть... Чего ж не проехаться на дармовщинку, контроля нет, воскресенье, кому охота на работе париться...

«Русалка» — красивый памятник, теперь таких не делают. Кристиана Рауда осрамили — взгромоздили две гранитные глыбы

одна на другую, испещрили со всех сторон всякой всячиной. Гляди и удивляйся. С Эдуардом Вильде то же самое — только голубям есть, где гадить. Крейцвальда в Кадриорге в кресло усадили, глупо просто. Ни красоты, ни торжественности.

Ну и толкается! Посмотришь, вроде нежная барышня, а плечи и локти твердые, как... Да что уж тут «извините», когда ребра чуть не трещат... Господи помилуй, даже здесь еще садятся. Надо было все же стать в очередь на такси.

А, ничего, вытерпим. Всю жизнь терпим, что уж эти пять минут. Хоть бы люди стояли спокойно, так нет же! Лезут, жмут, пробираются на лучшее место. Закон жизни, ничего не поделаешь...

Вообще глупо было ехать. Через неделю машина будет готова, тогда другое дело. Кристьяновы парники никуда не денутся. Да и что там за диковина, видел такие и раньше. Каркас и рамы со стеклами, от центрального отопления обогреваются. Во всех пригородах парников полно. Что с того, что он сам сделал. Теперь все делают сами. Халтурщики последнюю шкуру сдерут, да еще и литровку им ставь... Лучше бы остался дома крылья полировать. А теперь тебя тут каждый давит, толкает. Глупость какая...

На рейде кораблей полно, не удивительно, что на воде нефть. Насчет коллектора, который протянется за остров Найссаар, разговоры идут уже двадцать лет. Языком чего не построишь...

Только начало мая, а уже так много народу едет. А летом и не думай. В автобусах битком, на Пирите ступить некуда. У каждого киоска очередь в десять завитков. В Клооге не лучше. Тихого местечка нигде не найдешь. В Пярну и Нарва-Йыэсуу и не суйся, там заграница...

Следующая остановка за мостом, дальше ехать нет смысла. Это еще что? Разве так тормозят? Сапожник, а не шофер! А-а, старуха переходила дорогу? Эти старые бабы хуже всего, всегда поровят в последний момент. И куда таким спешить? Помереть все равно не удастся. Смерть косит людей в расцвете сил. Аугуст умер, а много ли ему было лет? Шестьдесят один, не больше, он на три года моложе меня. Да что мне до Аугуста, мне от его смерти ни холодно, ни жарко. В «Вечерке» было два извещения. Некролога не дали. Не тот масштаб.

Ну вот! Нечего на голову лезть! Конечно, выхожу, и так видно. Хоть рви пуговицы с мясом. Теперь чемодан под ногами, разве так полагается? Что за люди, каждый спешит, как на пожар. А после растянется где-нибудь под кустом, поллитровка рядом, тогда торопиться некуда, тогда не знают, куда время девать. Стадо баранов... Изволь теперь вылезать прямо в лужу, надо бы на такого шофера жалобу написать.

Слава богу, пуговицы на месте. Одна, две, три — все. Обратно лучше такси взять. У Лесного кладбища, может быть, и на автобус удастся сесть. У какого Лесного кладбища, чудак? На Мяхе! Против Кристьянова дома остановка автобуса, там всегда можно даже свободное место найти. А где на Мяхе возьмешь такси? Они вечером ни Пирите, около ресторана... Впрочем, рано еще о поездке думать, там будет видно. Может, зайти в бар? Нет, опять толпись у прилавка, да и место паршивое... С моря ветер дует, на берегу можно простудиться. Что сейчас на берегу увидишь хорошего, еще ничего не прибрано. Лучше к реке поближе... Уже мороженщица на месте. Теперь мороженое и зимой продают. Величайшая глупость. А какое мне дело, пусть едят, кто хочет застудить зубы или получить ревматизм сердца. От гланд ревматизм и начинается... За пивом очередь до самой монастырской стены. Вечная очередь. Обязательно очередь. Как это в свое время умели торговать без очередей? Город слишком разросся, или же на каждого продавца такой огромный план наложен? Пусть бы разрешили частную торговлю, очереди мигом исчезли бы. А впрочем, кто его знает...

Так, значит, поближе к реке. Да и там что хорошего? Может, подождать следующего автобуса и прямо на Мяхе? А черт их знает, какой идет в Мери-Лийа, какой в Мяхе. Всегда на своей машине ездил. Старенькая, уже триста тысяч километров прошла, а ходит лучше не надо. Никто не верит, что «Москвич» может столько пройти. Не ухаживают как полагается, да и ездить не умеют. Сразу на полные обороты, жмут на последнюю скорость, а потом тормозят так, что покрышки визжат. Газ — тормоз, газ — тормоз, долго ли цилиндры и мосты выдержат! А без машины — как без рук. Жди тут... Сразу на Мяхе было бы правильнее. Сейчас уже смотрел бы теплицы. А потом сели бы за шахматы. Кристьян готов целыми днями играть. Прямо как чокнутый. С Кересом сделал пичью. На сеансе одновременной игры. Если б один на один, Керес его мигом обставил бы. Керес самую малость не дотянул до чемпиона мира. Жалко...

Хватит сидеть, надо идти! От монастыря будет ближе. Песок, правда, но ничего... Мощные стены, силикальцит так долго не простоял бы. Ни силикальцит, ни блоки. Плитняк и известь, два-три года выдержанная в земле,— вот это прочнее всего. А что мы знаем хотя бы и про железобетон? Надо ждать несколько веков, тогда только будет видно... Здесь и не приходится по песку идти. Кругом, правда, песок, но есть утрамбованные дорожки. Гляди-ка, даже асфальтовая дорога на холм проложена! Денег убито немало. Кому нужны этот канал и стоянка для машин? Помешались на парках отдыха, больше ничего. В городе на улицах ноги полома-

ешь, зато здесь асфальт. Этого газеты не замечают. А стоит частному застройщику раздобыть малую толику, чтоб залить дорожку у себя в саду, так сразу... Черт побери, неужто будут сносить бульдозером домишки в Лиллекюла? «Индивидуалы», видите ли, встали поперек дороги этим здоровенным жилым казармам! От Мустамяэ пятиэтажные нажимают, девятиэтажные тоже. Ничего, что местность низкая. Кто мог двадцать пять лет назад это предвидеть! Надо было в Пяэскюла строиться. Да ничего, так скоро не доберутся. И домик должны будут купить. И дать квартиру... Квартира от государства — это уж последнее дело. Но зачем заранее нервничать. Кто знает, что еще может быть. На деле не все так гладко получается, как в планах. Городские власти сами виноваты. Зачем разрешили строиться? Даже кредит дали. Об этот орешек многие отцы города себе зубы поломают. Так и Аугуст, бывало, посмеивался. Мир его праху.

Уже двенадцать часов. Аугуста хоронят в час дня. А пусть хоть сейчас. Что мне до Аугуста...

Чуть выйдешь на открытое место, сразу ветер. У моря совсем продуло бы. По открытому идти недолго. У реки не должно быть ветрено, лес защищает. Хорошо, что сюда повернул.

На красивом месте был построен монастырь. Церкви и монастыри всегда стоят на красивых высоких местах. Попы толк знали. Наобум ничего не делали. Сперва все обдумывали основательно. Уж они бы не разрешили целый район города застроить, чтоб через двадцать лет снести. Что построено, стоит нерушимо. Монастырь сожгли в Ливонскую войну. Люди Ивана Грозного подожгли. А не мужики из Харьюмаа, как в кинофильме показано. «Князь Гавриил» — прекрасная повесть, а вот поди же... Порядка нет нигде...

Земля еще мокрая. На кустах почки. Южный склон уже зеленеет. Природа весной хороша. Как молодая женщина... Калужница. Кто называет калужницей, кто мать-и-мачехой. На сырой земле растет. Калужницу не цепят. Потому что ее много. Чего много, тем не дорожат. Людей тоже много. На земном шаре три миллиарда или даже больше. Поэтому и человека не ценят. Умрешь — и нет тебя, два извещения в газете, вот и все.

Смотри-ка, берег укрепили бетонными плитами. Когда? Наверно, уже несколько лет назад: бог знает, сколько времени здесь не был. Бетон и железо, только и видишь бетон и железо. Цивилизация... Даже реки портят. Прямо как искусственный канал. А красивая все-таки река... Вода размывает берег, наверное, поэтому укрепили. Ну и пусть бы размывала, земля казенная... Берег из бетона, а рыболовы все равно расселись. И откуда столько свободного времени берется? Пятидневная рабочая неделя. Дома лень

чем-нибудь заняться. Одно сплошное безделье. Что государство может сделать, если все лодырничают? Государство-то, конечно, могло бы, но...

Тут подъем порядочный. Когда был мальчишкой, взбежать на горку ничего не стоило. Да и сейчас сердце не колотится. С таким сердцем можно до ста лет прожить. Врач прямо удивился. Но ведь не только сердце важно. И печень, и желудок, и легкие, и почки. Август умер от рака печени. К водке привержен не был, редко когда выпьет чуть побольше. У пьяниц разрушается печень. Август не был пьяницей, а от рака и он не спасся. Бывает ли рак печени у непьющих? Или у таких, которые иногда лишь опрокинут рюмку? Как я, например?..

Что ты скажешь! Уже загорают! Берег от ветра загораживает, песок чистый, плохо ли тут на солнце жариться? Бутылка вина, разумеется, рядом. Современность! Кто это в прежнее время ходил загорать с бутылкой? Девчонка — как жеребеночек. Ну да, под деревом мотоцикл. На «Яве» прямо к самой воде. Чтоб от бензинной вони и тут спасения не было. Сами, может, еще и комсомольцы. Да что с того, теперь каждый парнишка и девчонка — комсомольцы, комсомол уже ничего не значит. Название одно. На заводе комсомольцы больше всех хнычут и больше всех требуют. Понял ли это Август? Едва ли. К концу жизни разве кто меняется. Для Августа комсомол так и остался: авангард, будущее революции...

Хе-хе, парочка совсем спряталась. Хорошо там посиживать, ветка — точно кресло. И шарманка, конечно, с собой. Нигде покоя нет. Звуки природы им ни к чему. А что будет дальше с певческими праздниками? Вместо людей на эстраде будут орать двадцать тысяч транзисторов. Ни тебе Эрнесакса не надо, никого. Техника. Передовая техника...

Эта просека ведет, кажется, к Мяхе? Или по следующей ближе? Третья к Кристьяну ближе всего. Спешить некуда...

Тискай, тискай девчонку, она согласна. Прямо у самой дороги, и не стесняются! А у кого в нынешнее время стыд есть? Даже по улицам ходят, друг друга за задницу обнявши. Детей нет. Дай всем парочкам квартиры, тогда приплод появится. Впрочем, поможет ли и квартира? Ребенок — обуза. А кто забот боится, у того нет будущего...

Чертов корень! Чуть из-за него не грохнулся. Человек может где угодно себе шею свернуть. Кристьянова теща упала со стула, бац — и готово. Кристьяну повезло. Теща вела все хозяйство. Оставила в наследство пять тысяч. Кристьян ждал трех, получили пять. Однако жена его вся в мамашу, держит мошну в своих руках. Теперь Кристьян сам на парниках прирабатывает. Боится, как бы

денежной реформы не было. Все равно будет. Рано или поздно. И сберкасса не спасет...

Повернуть сюда, что ли? Шагай себе напрямик. Да и тише тут, на реке полно молодежи... Воздух все-таки совсем другой, не то что в городе. Но бензином и тут несет. Ветер со стороны шоссе, поэтому. Что такси, что автобусы — разницы нет. Был бы еще высокооктановый бензин. На западе, например, только на девяностом и ездят... Моторы тоже изношенные. Вон там чихает такой, сзади синий хвост тянется. Только и годится на свалку. А где новый возьмешь? Деньги легче напечатать, чем хорошую машину сделать. Кто за границей станет растачивать цилиндры или затевать капитальный ремонт? Новых хоть завались. Конкуренция хорошая вещь. Конкуренция и хозяйский глаз. Плановое хозяйство имеет свои большие плюсы, но раз нет личного интереса, результат не тот. Американцы научились у Союза плановому делу, а Союз у них перенял только торговлю в кредит. Раньше и слышать не хотели — это, мол, грабиловка, а теперь, вишь, годится...

Слева идет «Волга», пропустить ее... Спешить некуда... Ну и шпарит! За рулем баба. Обычно женщины бывают осторожнее. А эта рано или поздно сыграет в кювет. Не место бабе за баранкой. Гнались женщины за равноправием, вот и взвалили себе на шею еще больший груз. И на работе вкалывай, и дома. Много ли таких мужей, что возятся с горшками да сковородками? Стиральную машину включить, это еще куда ни шло. Женское дело — держать в порядке дом. Пусть платят мужчинам столько, чтобы семья могла жить в достатке. Тогда и дети будут, и молодежь не станет сбиваться с пути. Браки были бы прочнее. А сейчас? Оба на работе, усталые, нервные, долго ли до ссоры. Но откуда взять рабочую силу, если замужние женщины останутся дома? Да и захотят ли они сами дома сидеть? Женская душа — потемки. Вечная загадка, как говорится. Революция тоже с женщин началась... Духовой оркестр? Печальный мотив. С кладбища слышится, откуда же еще. Вдруг это Аугуста с оркестром хоронят? А что за диво, в похоронной конторе можно заказать. Всего-навсего несколько десятков рублей.

Пойти, что ли? Поглядеть вроде. Это же не значит участвовать в похоронах. Кладбище близко, ограда уже видна. Разве мало людей бывает на кладбище? Некоторые любят даже просто так между могилами прогуливаться. Кто может сказать, вот, мол, на похороны пришел? Не пришел, просто так случилось. К Кристьяну идти рано, он любит до обеда в саду копаться. Придешь, помешаешь, еще рассердится. У всякого свои капризы и привычки...

Актеры себе красивый уголок устроили. А впрочем, что за красота — все в ряд, как солдаты. При жизни тоже — многое ли они

могут делать по-своему? Играй, что велят, кто тебе даст самому роль выбирать. Вечно в шеренгу — и при жизни и после смерти. Только хозяин, который ни от кого не зависит, делает что хочет. И не всякий хозяин. Тот, кто силу имеет. В Америке даже крупные фирмы разоряются, один пожирает другого. Сперва люди один другого жрут, а потом их самих жрут черви... Жизнь чертовски коротка...

Оркестра больше не слышно, наверно, речь говорят. Пастора, конечно, пет. Товарищи выступают. Или же платный оратор. Их теперь хоть пруд пруди. И в похоронном бюро, и со стороны. Пять или десять рублей — и речь журчит. Служба есть служба...

Далеко идти и не надо — вон там стоят люди вокруг могилы. Толпа порядочная, человек сто. Друзья и знакомые, значит, все-таки были. Прямо туда идти не стоит, кто их знает, что еще подумают. Потихоньку, как будто невзначай. Попал сюда случайно. Да так ведь оно и вышло. Не сюда собирался, а к Кристьяну в гости. Странно иной раз получается...

Лейка. Ей-богу, лейка! Кто ее у колодца оставил? И в самом деле без хозяина. Номер на ней. Кладбищенский инвентарь. Мусор, а не вещь. Ситечка нет, дно проржавело, потому и валяется. Взять с собой, что ли? Лейка в руке — кто посмеет сказать, что Сээдри Арвет пришел на похороны. Никто не разглядит, какое у нее дно. Прямо-таки повезло. Не то пришлось бы к часовне идти доставать. Теперь можно смело... Люди злы, они бы...

Уже расходятся? Похороны кончились? Да оно и лучше. За кустами никто не заметит. Анете сейчас и не до этого. Дочери тоже, наверное. У женщин сердце нежное. Сын — дело другое. Сына десять лет не видел и не хотел бы видеть. Весь в отца... Сейчас хорошо бы закурить. Всего вторая сигарета. Потом у Кристьяна еще одну и вечером — последнюю. Присесть на скамью, что ли. Ничего, что чужая могила, хозяин из-под земли не выйдет, не прогонит. Теперь живая изгородь еще лучше закрывает. Где же зажигалка? Удивительное дело, в кармане брюк. Зажигалка что надо. Аугусту бы на нее посмотреть. У него их было немало, чуть ли не десять, разных фасонов. Собирал их. У каждого свой конек.

Уже и последние собираются уходить, из-за кустов хорошо видно. Анете как сгорбилась... или это не Анете? А что мне до нее, сама знала, кого выбирала. Сын идет впереди, на Аугуста похож. Никакой докторской солидности. И какие теперь врачи! Бумагомаратели. Отцу не помог!

Спешить некуда, докурить спокойно...

Альберт Рахунийт, Мария Рахунийт. Дожили до старости, одному семьдесят девять, другой восемьдесят пять. Жена на шесть лет старше. Наверно, с хорошим приданым была, иначе

молодой не женился бы. Бывает, что и любовь в голову ударит. Но если одна только любовь, то с женщиной, которая годами старше, долго не живут. Во всяком случае, не до самой смерти...

Ну вот, теперь все разошлись. Свечей не зажгли. Наверно, Аугуст не велел. Принципиальный. Иногда прямо до чудачества доходил. На свой день рождения не позволил затянуть «Веселого пивовара», это, мол, немецкая пьяная песня. Такая принципиальность — сущая беда. Она его и свела в могилу...

Пора подниматься. Окурок хорошенько затоптать в песок. Каблуком сделать ямку, потом подошвой заровнять. Супруги Рахунийт пусть не беспокоятся, у могилы прибрано. Во всем должен быть порядок. Порядок — основа жизни. Чем больше порядка, тем лучше жизнь. Лейка больше не нужна, комедия кончилась. Это барахло надо отнести обратно, как полагается. Руку испачкала, зараза! Ржавая, потому и мажет... История прямо-таки комичная. Вот бы Аугуст поиздевался. Над Сээдри Арветом... Местечко хорошее досталось. Сосны, желтый песок. Венков целая копна. Невероятно. От завода тоже? На лентах можно прочесть, это никому не запрещается. «От со...труд...ни...ков...» От завода венок! «Викто-ру Ууэ-мый-за». Что это значит? Черт побери. Это, оказывается, не Аугуст. Совсем чужой. Вот ведь оплошал! Ну да, часа еще нет. Похороны Аугуста в час. Хорошо, что Аугуст этого не видел...

Где же его хоронят? Да стоит ли теперь?.. Где тут будешь искать, кладбище огромное. Хватит дурака валять. А может, все-таки? Раз уж пришел. Где-то же он должен быть. Так что... Наверно, там, подальше. Кто его знает... Памятник жертвам Клоога. От него под горку... А этот ржавый хлам куда девать? Оставить у первого попавшегося колодца, ведь у колодца и взят. Чего это барахло таскать! Барахло-то барахло, однако... Не подумавши, ничего решать не следует. Аугуст вечно лез на рожон, а что от этого выиграл? Потешная история: ждешь, покуриваешь, а похороны, оказывается, не те! Вообще глупо было сюда ехать. Парься в автобусе, а потом... И все эти Кристьяновы парники, будь они неладны. Путают только.

Блуждай тут, как в лабиринте, дорожки и так, и сяк, и вкруговую. Надо, наверно, держаться правее. Бредешь, бредешь. Ну ничего, свежий воздух полезен. Упарился. Тише стало, или же лес защищает от ветра... И лейку неси как дурак. Надо бросить. Тяжести-то в ней никакой, может, еще пригодится...

Там под горкой вроде бы кучка людей. Да, как будто какие-то похороны. Время совпадает. Поближе, поближе... Второй раз глупо было бы попасть впросак. Оркестра нет, народу поменьше. Наверно, так и есть. Все стоят спиною, кто меня заметит? Может, это и впрямь Аугуст?

— Аугуст Хаабвески, которого мы сегодня здесь под сенью вековых сосен...

Правильно, на этот раз правильно. Получше спрятаться за куст. Хорошо все же, что лейка... Что он говорит? Что Аугуст Хаабвески ушел от нас, но остался его большой и честный труд? Трудяга был, это верно, но что он сам за это имел? Умер в наемной конуре, была бы хоть своя крыша над головой. Большой и честный труд забудут завтра же. Сам виноват, мог бы... После войны многое бы мог.

Зря все-таки пришел сюда, еще подумают... И пускай думают, что с того. Аугуст уже не узнает. Он уже, можно сказать, только пища для червей...

Иной человек совсем жить не умеет. Толчет воду в ступе. Упрямый, неуступчивый. На одном упрямстве далеко не уедешь. Говорил ему еще в тридцатых годах: зачем соваться в профсоюз? Политикой пусть политики занимаются, а простой человек, коли начнет возиться с политикой, только по загривку получит. Он на хорошем месте работал, надежном, не то что нынче тут, завтра там. Пусть бы те бунтовали, кому нечего терять... Ну и показали от ворот поворот, а через два года и вовсе волчий паспорт получил. Дурак дураком. Работать умел, новый котельщик по сравнению с ним портач был. Потом еще задним числом начали дознаваться, что за человек Хаабвески, подстрекал ли против властей... Еще бы, конечно, подстрекал, но об этом приходилось помалкивать, зачем впутываться в такие дела. К тому же приятель, вместе выросли, вместе спортом занимались. Отличный был левый крайний, удар сильный, на тридцать метров, [illegible]вало, как двинет! С углового бил крученым. Даже тренер удивлялся. Таллинский футбольный клуб звал в свою команду, но Аугуст остался в рабочем спорте. В то время разумный человек от рабочего спорта держался подальше. Упрямец, что он выиграл? Такого, как он, только могила исправит.

Венки все же есть. Штук пять-шесть, даже семь. От жены и детей, от соседей, знакомых. А завод о нем вспомнил? Едва ли. Будь это бывший директор, или парторг, или начальник цеха, или хотя бы мастер... Простой котельщик. Он, чудак, пожалуй, и в самом деле верил, что рабочий...

— Уже с самой ранней юности Аугуст Хаабвески посвятил себя борьбе за дело трудящихся...

Хватил через край. Как и положено в надгробной речи. Аугусту было двадцать девять лет, когда вступил в профсоюз. Я как раз в то время начал дом строить. Куда он тратил свой заработок? Котельщикам платили хорошо... Что он сказал? А-а, что Аугуст Хаабвески участвовал в работе какого-то общества учащихся. Детская забава. Вообще эти восхваления задним числом ничего не

стоят. Только, может, Анете не так тяжело слушать... Да они, должно быть, все сами заранее рассказали. Оратор из похоронного всегда спрашивает все сведения, иначе откуда ему знать. Да, это из бюро, он же хоронил и Виллема. Говорит складно, не хуже пастора. Голос бы погромче... А завод даже никого не прислал сказать надгробное слово. Этого надо было ожидать. Или кто-нибудь уже выступал? Из-за тех, чужих похорон сюда опоздал. Вообще глупо было ехать. Отполировал бы крыло, вместо того чтобы...

Кто-то вроде всхлипывает. От той сосны было бы видно кто. Наверно, Анете или дочка, слышно, что женщина. Конечно, грустно, столько лет прожили вместе. Большого счастья Анете не знала. Со мной... Может быть, даже жалела потом. Нет, едва ли, гордая, как и Аугуст. Хорошо, что я надел нейлоновую куртку. Пускай видит... Мальчишка! Что ей твоя нейлоновая куртка? Пожилая женщина, лет пятьдесят пять — пятьдесят шесть. Тоже была красная. Вступила в союз молодых социалистов. Позже-то их не уважали. Звала и меня, но я на удочку не попался. Ходил на танцульки в рабочий спортивный клуб, а больше ничего. Человек не должен кидаться куда попало. Осторожность — мать мудрости. Анете голодала в концлагере, нужно ей это было? Если бы не состояла у молодых соцев и не работала в народном комиссариате финансов, не пришлось бы голодать. Разве за сидение в концлагере ее потом больше ценили? Пенсия небольшая, кажется, семьдесят. В сберкассе ставки низкие, из гордости не пошла просить должность, где зарплата побольше. Аугуст получал девяносто, ему еще не было шестидесяти лет, когда отправили на пенсию. Если бы еще персональная, так нет: либо считался мелкой сошкой, либо сам не стал хлопотать. Оба гордецы. И директорский пост его из-за гордости лопнул — собирались назначить, однако не назначили. Сам будто бы рассказывал, что разругался в министерстве. Очень может быть, на Аугуста это похоже. Дурак и есть дурак. Дураков и в церкви бьют.

За туйкой лучше стоять, не так тебя видно. А если кто и заметит, лейка выручит. Человек пришел полить цветы на могиле, случайно попал на похороны... Даже милиционер поверил бы... Та, стройненькая, наверно, дочка. Дочка, да. Какая худая. А вдруг и у нее... На отца похожа, от отца могло по наследству передаться. Рак, говорят, передается. В нашем роду рака не было. Живи Аугуст более разумно, тогда... Предупреждал его летом сорокового года: будь осторожен, так это все не останется. Засмеялся в ответ. А самому уже за тридцать перевалило. Кто в тридцать лет не образумился, тот уже никогда за ум не возьмется. Выбрали его в профсоюзный комитет, он не возражал. Заделался великим стахановцем. Сейчас о Стаханове уже и не вспоминают. Хотел из меня

ударника сделать. Бери, мол, повышенные обязательства и вызывай других. Как будто завод — это футбольное поле! Сказал ему, пусть ищет дураков. А вообще-то с малых лет были друзьями. В школе меня слушался как старшего. Книжки, которые Анете давала ему читать, взбудоражили парня. Книги всегда сбивают с толку. Разве по книгам можно жить! А он, видно, книгам верил. Но драться не бросил. И читал и дрался. Чуть что, сразу даст сдачи. Силы на двоих хватило бы. Однажды его хлыщи ножом пырнули. Очень нужно было вмешиваться в чужую драку! Какое тебе дело, что трое бьют одного? Впутался, ему и всадили нож в спину. Из-за ерунды чуть ли не отдавай богу душу. Но урок ему впрок не пошел. Он, видите ли, стоит за правду и справедливость! Правды и справедливости вообще нет на свете. Не было раньше, нет сейчас и не будет никогда. Каждый сам себе правда и справедливость, а всеобщей печего искать...

Если бы гроб стоял открытый, подошел бы поближе. Говорят, так исхудал, что... Рак — жестокая болезнь, наверно, и не узнал бы его. Несколько лет не видались, лет пять, не меньше. Он ко мне дорогу забыл, почему я должен был идти первый? Случайно встречались — здравствуй и прощай... Что на него надели? Выходной костюм, что же еще. Он щеголять не любил. Да и как будешь щеголять, когда только концы с концами сводишь. Получал сто сорок в месяц, а вместе с премией, может, набиралось полторы сотни. На стороне не подрабатывал. Каждый, у кого котелок варит, подхалтуривает на стороне. Он вечно торчал на собраниях. Ходил в театр и читать любил. Это, кажется, Анете помешана на театрах. Собрания и театр доходов не дают, а книги время отнимают. Таким, как он, никто мозгов не вправит. Аугуст не стал бы, как я, менять место работы, не пошел бы на ремонт автомашин. А много ли сейчас котельщик зарабатывает! Глупец, не сумел. На авторемонте совсем другое дело. Запчасти и... Даже домой ходят, клянчат — будьте добры, выручите. Было бы с запчастями полегче, не приходилось бы так много комбинировать, хоть открывай ремонтную мастерскую! В ГДР, говорят, разрешено. Там еще и частные лавки... Там понимают, все-таки почти что западный мир. Сто тридцать — сто сорок рублей в месяц, наемная квартира! Вот тебе и революция. Аугусту, может, и хватало, в чужую душу не заглянешь...

Гроб начинают опускать... Грустно, хотя и... Жизнь ужасно короткая. Только начнешь, как уже... Ветер несет пыль в глаза. Хорошо, что спрятался, никто не заметит, а то бы подумали бог знает что... Три горсти земли. Пойти тоже, что ли... Нет, пусть близкие... Никогда бы не поверил... Анете и детям тяжело, а чужим что...

Вот так — был человек и нет... Не хотел и он умирать, разве кто-нибудь спешит покинуть этот мир. Но если сильные боли и страдания... Смерть от рака — это долгие муки. Боялся ли он смерти? В сорок первом жизнью не дорожил. Вступил в рабочий полк. Осколком снаряда ранило, уже тогда чуть на тот свет не отправился. Говорят, без сознания доставлен был на корабль. Анете осталась. На третий день после прихода немцев увели под конвоем: жена коммуниста и сама красная. Из-за любви не захотела эвакуироваться, тоже дурочка. Какая там любовь, просто привязаны были друг к другу. Любовь — это выдумка. За любовь получила три года концлагеря. Хельмут умер, второй мальчик все-таки выжил, сестра Анете его кормила. Позже у них родилась еще дочка. Разве со мной у Анете не было бы детей...

После войны Август мог бы жить припеваючи. Для такого человека, как он, должностей было великое множество. Кадров не хватало, а у него орден и партбилет. Но Август, как одержимый, пошел опять на завод! Хотя б еще каким-нибудь начальником. Нет, опять в цех. Одно время казалось, что поставят директором или освобожденным парторгом, однако дальше разговоров дело не пошло. Сам виноват, зачем вечно критиковал. Ему бы помалкивать. А он никому спуску не давал. У меня спросил, почему я уклонился от мобилизации. Я ответил, что мне дали бронь. Черт знает из-за чего пришлось соврать. Брони у меня в сорок первом не было, в сорок четвертом была. В сорок первом не знал даже, как ее просить. Не посмел ему признаться, что действительно уклонился. Только дурак полезет в огонь... Я боялся Августа. Август тогда был способен на все. Не считался ни со старой дружбой, ни с чем. Разодрал весь мир пополам: на одной стороне свои, на другой враги. Прямо сумасшедший. А разве мне при немцах было легко? На жизнь кое-как хватало, но они начали, в свой черед, нажимать насчет легиона. Хорошо, что был уже не такой молодой. Весной и летом сорок четвертого прятался у брата в деревне. Слава богу, брат был человек с весом, как-никак бывший волостной старшина, издавна имел свою усадьбу, вот «омакайтсе» и смотрела сквозь пальцы. К тому же самогон давал приличный доход. Если б сразу после прихода Красной Армии не раздобыл бронь, попал бы в конце концов под ружье. У брата нельзя было больше оставаться, на потомственных хозяев начали посматривать косо. Еще до того, как стали в кулаки записывать и в Сибирь высылать, он успел переехать в город. Сообразил... В городе рабочих мало осталось, это и спасло мою душу осенью сорок четвертого. Когда Август возвратился из Курляндии, я имел уже бумагу, которую мог ему показать. Но для него бронь ничего не значила, мы крепко поругались. Обозвал меня шкурником. Каждый толковый че-

ловек бережет свою шкуру! Человеку и нечего больше беречь, кроме своей шкуры. Зря он меня обвинял, разве мало я пострадал в войну? Дом сгорел во время мартовской бомбежки! Малая потеря? Для него-то, конечно, а у меня полжизни на этот дом ушло. Август таких вещей не понимал, может, даже злорадствовал. У коммунистов тогда ничего за душой не было. Теперь сами строят индивидуальные дома, дачи. Но какой-нибудь чудак, вроде Августа, и сейчас обзывает владельцев домов новыми богачами, советскими буржуями, нэпманами, толстяками и еще по-всякому. Август ухмыльнулся, когда узнал, что я начал строить новый дом. После войны человеку оборотистому было легко соорудить себе жилье — государство давало кредит, завод помогал привезти материалы, газеты расхваливали. «Рахва Хяэль» и мою фотографию поместила. Возражать было трудно, хотя я даже ходил к редактору на прием. Сказали, я слишком скромный человек, ведь каждый квадратный метр новой жилой площади в разрушенном городе — государственно важное дело, прямо-таки патриотическое. Разве можно было им объяснить, что осмотрительный человек всегда предпочитает остаться в тени. Неизвестно, какие еще повороты могут быть в будущем. Этот номер газеты, наверно, уже забыт. А впрочем, кто знает. Когда они в пятидесятом году выкапывали все старые дела, Анете за то, что была у молодых соцев, уволили из министерства. Ни концлагерь, ни орден и партбилет Августа ничего не значили. Может, и значили бы, но Анете была гордая, не пошла ни объясняться, ни просить. В этом они с Августом подходящая пара.

Со мной Анете жилось бы спокойнее. Но ее тянуло к Августу. Август приносил ей цветы. А я разве не мог бы подарить ей гвоздики, если б знал? Принес бы даже пионов, крупнее и цветов нет. Что она, бедняжка, плачет, слезы не помогут. Женщинам, может, и помогают, на сердце легче. Опять ветер несет пыль... Или песок летит из-под лопат... Прямо в гл[illegible]. Странно... Да будет ему земля легка. Кто знает, найдет ли Август покой хоть теперь. Тело сожрут черви, а душа? Как с душой будет? Нет ни души, ничего, что на земле получишь, то и все. Тут ты жив, тут тебя уже нет. Несправедливо, страшно несправедливо. Все останется. Анете оставил бы охотно...

Августу нужен покой, в жизни покоя не было. Ездил на коллективизацию. Мог бы заартачиться — человек насквозь городской, дети маленькие, жена больная. Анете после лагеря болела ревматизмом, дети учились в школе. Август поехал. Как подумаешь, до чего неистовый, неразумный был человек. Мог бы и пулю заработать, тогда активистов и уполномоченных убивали почем зря. Август еще хвастался, что ночевал у кулаков, там безопаснее.

Досадовал только, что пистолета с собой не дали, с голыми руками в темном лесу жутковато. Потом ругал меня — я, мол, зажиточный середняк, который все время чего-то выжидает, потихоньку поругивает власть и копит жирок. А чего всюду совать свой нос и с какой радости ликовать? И кто не копит? Одни только «преобразователи мира», да и из них те, что поглупее. Муж внучки моей тетушки более важный деятель, чем Аугуст, работник какого-то высшего комитета, а гораздо смекалистее. На работе суровый, требовательный, лозунгами так и сыплет, делает, что велят, ни себе ни другим поблажки не дает. А после работы такой же человек, как все. Не толкует ни о политике, ни об очередных задачах. Копается в тетушкином саду, добывает откуда-то всякие кусты и розы, знает, что сад потом достанется ему. Ездит на казенной машине на рыбалку. Из универмага ему звонят, когда на склад поступают меховые шапки, или чешские ботики, или нейлоновые гардины. Деловой, практичный человек... Образования у Аугуста не хватало, что ли, только ума так и не прибавилось. Уже болен был, а на уборку картофеля потащился — шефство, видите ли. Самого же с завода выкинули, а он все-таки поехал... Да будет ему земля пухом...

Еще кто-то речь говорит. Да это старик Воодла! Завод, значит, вспомнил, прислал. Наверно, и венок. «Дорогие товарищи и друзья!» Так Воодла всегда начинает, будь то на производственном совещании, на юбилее или похоронах. Уже пятнадцать лет не работает, только речи держит. Он-то знает что к чему, куда башковитее, чем Аугуст. После войны выжидал десять лет, смотрел, что дальше будет. Останется все как есть или... Только потом начал. Да так, чтобы и себя не обидеть. Машина, садовый участок... Завком устроил толоку — поможем, мол, старой гвардии... Квартира в новом доме, три комнаты, кухня, коридор, ванна, горячая вода, газ, центральное отопление. Выхлопотал персональную пенсию, год отдыхал дома, сейчас опять на зарплате. Персональным пенсионерам разрешается прирабатывать. Этак можно и политикой заниматься, и общественные дела вести. А что выгадал Аугуст? Начальника цеха критиковал, завком критиковал, директора критиковал, министерство критиковал. До тех пор шумел, пока не сказали: милый человек, здоровье у тебя никудышное, иди-ка ты на заслуженный отдых. А Воодла все хвалит, он-то соображает. Если уж критикует, так в меру, в дозволенных границах... Гладко говорит, научился, без складной речи не выдвинешься. «Наш коллектив никогда не забудет Аугуста Хаабвески, который...» Врет. Кто это может всех помнить, на заводе полторы тысячи рабочих да еще сотни служащих. Анете и дети будут помнить и оплакивать, а другие... Может, я... Да что я, долго ли и мне... Кое-какие вещи

Август, правда, точно насквозь видел. Подтрунивал: теперь строишь дом на окраине, думаешь, если опять будет война, туда бомбы не полетят. Новая война — новые бомбы, от них свою хибару никуда не спрячешь. Надо бы ему ответить: а ты, стало быть, не веришь в победу сил мира и прогресса? Такая мысль сразу пришла в голову, однако... Поди знай, чего ждать от такого психа, для него дружба детских лет не в счет. В то время мы уже друзьями не были. У него для меня не отыскалось доброго слова, с какой стати я...

А показать ему нашлось бы что. Такое жилье не у всякого министра есть. Уже одна баня на пять с плюсом. На полке́ шестьдесят градусов. В доме у камина кресла, крытые лосиной кожей. Брат достал, у них там, в охране природы, свои возможности. Теперь жалеет, что в город переехал, в колхозах живут хорошо. Самый умный человек и тот всего не предусмотрит... От медной настенной лампы тени, подсвечник такой, что даст сто очков вперед изделиям «Уку», пуда полтора кованого металла... Да как знать, поразился бы Август всему этому? Он таких вещей не умел замечать. Еще высмеял бы...

Каждый живет по-своему. Август жить не умел. Неугомонный был, быстро сжег свою свечу... Кто-нибудь должен гореть. Без таких людей мир стоять не может. Господи боже мой, это же мысли Августа!.. Видно, и у меня нервы начинают сдавать...

Рак — это игра нервов. Рак и сердце, и то и другое. У Анете сердце и ревматизм, скоро уйдет и она. Ей принесу от Кристьяна цветов...

Больше речей, видно, не будет. Некролога в газете не дали. Только два извещения. Чего же он достиг: два извещения, венок от завода и речь старого Воодлы. Август его терпеть не мог...

Сын и дочь остались.

Анете будет скорбеть до гроба... Аминь...

Пора, чего еще ждать. Потихоньку смыться, никто и знать не будет, что Сээдри Арвет... Вдруг заметят! Так и есть, дочка видела. Теперь не годится уходить. Влип! Шепчет что-то матери. Надо было хоть горшок цветов принести, два-три рубля всего, если бы у Кристьяна гортензий не нашлось. Меня не приглашали, значит, никто упрекнуть не может. Наверно, Август запретил. Если бы даже пригласили, я бы и тогда не пришел. Самолюбие тоже кое-что значит. Анете надо выразить сочувствие, раз уж...

— Здравствуй, здравствуй, детка... Осталась без отца... Жаль, очень жаль... Случайно, случайно, поливал тут цветы на могилке родственника... Нет, газета не попалась на глаза, разве простому человеку есть время читать... Жаль, да, жаль... Хорошо, что оказался случайно здесь... С детства дружили... Нет, нет, мне еще тут

полить нужно, на поминки никак не могу... Знать бы хоть с утра... И Кристьян ждет, шурин, обещал ему прийти... А-а, говоришь, этой лейкой поливать нельзя, вся проржавела? Она и правда протекала, дрянь... Нет, нет, премного благодарен... До свидания, Анете, мужайтесь, как-то надо пережить...

Ух, черт, дьявол!

Словно сам Аугуст из могилы через свою дочку осмеял: этой лейкой поливать нельзя...

Проклятое ржавое барахло.

Притащился из города дурака разыгрывать.

Черт, дьявол.

1970

САННЫЙ ПУТЬ

Речки были разные: с узкими и широкими долинами, с открытыми и залесенными берегами, каждая со своим рисунком правого и левого берега, каждая со своим ледяным покровом — то ровным и гладким, то покрытым зубчатыми торосами... Вся местность вокруг, на юг и север, на восток и запад, была рассечена речками и ручьями, все речки и ручьи, поблуждав по местности, находили путь только на восток, к огромной реке, называемой Енисеем, впадали в нее, и та, подхватив их воды, тоже скрытно, тоже под толщей льда, неслышно несла громадную и общую ношу в океан.

В пространствах между реками, то больше, то меньше возвышенных, стоял повсюду лес, в один ярус, без подроста, без кустарника и без бурелома, ровный, как будто возникший в одно мгновение.

Каждое дерево этого безмолвного и удивительного леса и весь он в целом были исполнены в трех разных красках: в комлях и на высоту два-три метра — землисто-серой, затем — красной и красно-желтой, причем с высотою желтизна становилась преобладающей, она была легкой, луковой, трогательно-нежной. В суровом и холодном воздухе устойчивой зимы она была похожей на яичный желток, на хрупкую скорлупу пасхального яичка, а кроны густо были окутаны ворсистой хвойной шерстью, почти непроницаемой в своей зелени, сквозь которую только очень слабо проступал узор причудливых древесных ветвей все той же легкой желтизны.

Изредка лес прерывался открытыми полянами с блестящим, чистым и, казалось, чуть влажным снегом, только по опушкам запорошенным опавшей с деревьев хвоей, потом лес продолжался и продолжался снова всеми тремя неизменными красками — землисто-серой, желтой и зеленой.

Над лесом колыхалось обесцвеченное небо, туманное и зыбкое, а где-то в глубине его бродило почти невидимое солнце.

Если бы все это, весь пейзаж в целом, показать в кино,— наверное, ничего бы не показалось, не хватило бы глубины и перспективы самого современного и широкого экрана. Пейзаж этот недостаточно было видеть — в нем надо было чувствовать себя, себя, окруженного им повсюду, со всех сторон...

Удивляясь своей поездке, Иванов, запорошенный инеем, плотно завернутый в тулуп, в шарф и в шапку, ехал третий день через этот лес, через эти речки и, кажется даже, через это небо, путь его приближался к концу, ему это было уже все равно — в памяти один за другим возникали другие, давно и недавно минувшие санные пути...

Самым давним, самым детским, но вовсе не самым отдаленным было воспоминание о том, как ему хотелось обнять, прижать к себе и надолго оставить при себе почти такой же, как и сейчас, морозный воздух, который просачивался под воротник его тулупа из огромной зимней степи... Он был сладким и сытным, этот воздух, крохотному Иванову хотелось облизать его и закапать своими слезами, нужно было это сделать, но уже тогда какое-то «нельзя» мешало ему, и в недоумении от этих «нужно» и «нельзя» он лежал в санях неподвижно и как бы скрытно от всего на свете, а сани скрипели и везли его по степи от одного черного окаменевшего под снежной шапкой стога сена к другому, тоже черному и окаменевшему.

Когда он выглядывал из тулупа в степь, и стога тоже сейчас же выглядывали из-под своих огромных снежных, степных шапок-малахаев, как будто зная о многом очень многое, желая что-то объяснить маленькому Иванову, но ни о чем не умея подать ни одного знака...

Еще Иванов почти все время видел сильный, блестящий лошадиный круп, а иногда — крутую, высокую и узорную дугу... Он думал о том, что на лошадиных ногах, на каждой из четырех, тоже есть почти такая же, но только маленькая и железная дуга. И вот ему начинало казаться, что лошадь запряжена не в дугу, а в большую серебряную подкову, а потом, что эта подкова уже не подкова, а серебряная арка — ворота, и лошади обязательно нужно промчаться сквозь них, но они ведь, эти ворота, мчатся вместе с лошадью, и вот лошадиный бег превращается в бесконечность.

Подковы — дуги; дуги — подковы — серебряные ворота — что-то он думал об этом напряженно и очень глубоко, как об открытии, но теперь уже не знал, что же все-таки он тогда думал...

Откуда и куда была поездка, он тоже хотел вспомнить за свою жизнь не один раз, но так и не вспомнил ни разу, теперь же был счастлив, что не вспомнил этого. Откуда, куда, зачем, почему, когда, кто — совершенно отсутствовали в этом воспоминании, просто

это было детство, завернутое в теплый бараний тулуп, уложенное в сани на охапку сена и движимое туда, где он должен был родиться еще раз повзрослевшим человеком.

Теперь же он вспоминал себя тогдашнего, еще не рожденного окончательно, ощущая небольшую боль от ударов не этих, а тех саней, слушая не этот, а тот скрип санных полозьев, вглядываясь не в это, а в то небо...

Как будто бы сразу вслед за тем наступало для него другое время; ночь и лес, только совсем не такой, как нынешний,— редкий, неровный, в котором причудливые тени деревьев с трудом можно было отличить от самих деревьев.

Луна была тогда красной, высокой, освещая землю, она делала небо черным и тоже высоким, дорогой был один-единственный санный след, по большей части запорошенный снегом и даже затянутый снежным настом; когда луна все-таки показывала этот след, возница подтверждал, что они едут правильно и что, бог даст, правильно доедут, нисколько не заблудившись, и они действительно достигли тогда небольшой, без подворья, избушки на окраине села, в которой жил уже немолодой, заросший волосами и глуховатый человек,— он строил в окрестных селах колодцы и простейшие, в одну нитку, тупиковые водопроводы.

Он был тронут своим занятием, этот человек, тронут и как бы даже подавлен им на всю жизнь, так что мир состоял для него прежде всего в этих колодцах и водопроводах, а все остальное на свете имело смысл лишь постольку, поскольку или содействовало, или противодействовало его строительству.

В течение всей оставшейся ночи этот человек не дал Иванову сомкнуть глаз, объясняя все о колодцах и водопроводах.

И хотя Иванов был тогда техником, хотя он приехал к этому человеку по его делу и по его просьбе, он готов был просить его о пощаде, молить, чтобы тот замолчал хотя бы на час-другой.

Колодезник не замолчал, а Иванов пытался не слушать его, восстанавливая перед глазами только что минувшую дорогу: деревья и тени деревьев, ярко-красную луну, санный след, еще что-нибудь, какие-то подробности пути.

Многочисленная семья, населявшая избу, спала крепким, беспокойным сном, детишки храпели на полу и на полатях, на печи без конца бормотал старческий голос, жена колодезника, полуодетая, несколько раз вставала с кровати и, не просыпаясь, не замечая приезжих, ничего не замечая и не слыша, что-то делала с глиняной квашней, из одной посуды в другую переливала воду, а потом ложилась, почти падала в кровать снова.

Так настал рассвет, и только что настал, хозяин вышел из своей избы, запряг игреневую лошадку в разбитый коробок, уса-

дил в него тоже разбитого бессонной ночью Иванова, и они поехали по окрестным селам, чтобы заглядывать в темные отверстия колодцев, подниматься по жиденьким и тоже темным лестницам на водонапорные башни и говорить о том, как будут счастливы люди, когда земля вокруг них покроется колодцами и водопроводами.

Уже на памяти Иванова жилая земля в основном покрылась ими, но что-то незаметно было, чтобы люди стали счастливее, однако же всякий раз, когда кто-нибудь говорил при нем о мечте, об одержимости мечтою, в сознании его снова и снова возникал глуховатый колодезник и дорога — зимняя и лунная,— которая привела его к нему.

Еще вспомнилась одна дорога — длинная-длинная, на почтовых лошадях, из небольшого заполярного городка в большой, тоже северный город областного значения. Это была даже не дорога, а совершенно обособленное от всей остальной его жизни пространство, в котором он когда-то существовал. Не имело никакого значения, когда это было — давно или недавно, каким он был тогда человеком — юношей или уже пожилым отцом семейства, какими событиями был в ту пору наполнен мир — тоже не имело значения, ведь все, что проистекало тогда, проистекало из времени, он же находился только в пространстве. Когда в последний раз в жизни он станет вспоминать свою жизнь, он опять не вспомнит времени ее дороги, а только ее километровые столбы и ее протяжение, рассекаемое на части буранами и все-таки целое, с редкими пунктами почтовых отделений, в которые он входил на оцепеневших ногах с задних дверей, со стороны захламленных дворов и не убранных от снега деревянных крылечек, входил, как чей-то груз, прописанный в почтовой накладной, в тесной компании серых почтовых мешков под сургучными печатями...

Он и совсем не смог бы восстановить в памяти эту жизнь, понять ее и как-то — плохо ли, хорошо ли — к ней отнестись, если бы она сама по себе не позаботилась об этом: когда в один прекрасный и весенний день человек улетел в космос, Иванов долго думал, откуда ему известно состояние первого в мире космонавта, известна и та протяженность, в которой космонавт существовал, и наконец понял: санный путь на почтовых дал ему это понятие.

Тогда это было для Иванова случайным движением, которое возникло только потому, что начинал таять снег и самолеты не могли приземлиться на летное поле небольшого полярного городка ни на лыжах, ни на колесах, а тягостный перерыв между гулкими воздушными рейсами заполнили скрипучие санные перегоны.

Со временем случайность этого пути исчезла, и тогда Иванов стал воспринимать его как что-то совершенно необходимое

для себя и своей биографии, как что-то незаменимое ничем другим.

Был, однако же, у него и еще один, пожалуй, самый короткий и самый пронзительный санный путь...

Тоже весной и тоже начинал уже таять и еще больше темнеть снег на улицах районного городка, когда Иванов выскочил не то из третьего, не то из четвертого класса деревянной школы — в точности он теперь не помнил, из какого именно,— и, волоча за собою ранец, в неизъяснимом восторге и желании бросился догонять порожний обоз.

Это был мальчишеский почти что закон: уцепиться за чьи-нибудь сани и хотя бы несколько шагов, хотя бы волочась по снегу на животе, податься по дороге вперед... Возвращаться домой без этого, своим обычным и собственным ходом было для мальчишек немыслимо, позорно, невероятно скучно, и вот они подолгу простаивали на перекрестках улиц в ожидании благоприятного случая, либо уезжали с горя в любую сторону, лишь бы только подсесть и ехать куда-нибудь, а потом долго и медленно, уже в темноте и в хандре, плелись обратно к дому.

И было непонятно, почему взрослые вступали по этому поводу в жестокую войну с мальчишками, заметив противника на перекрестке улиц, начинали хлестать лошадей, чтобы скрыться как можно скорее и без потерь; если же мальчишкам и тут удавалось подсесть, взрослые старались их поймать, побить, отнять у них шапки и книжки.

Только редкий какой-нибудь старик, перед концом жизни снова приблизившийся к ее началу, к детству, относился к мальчишкам с понятием, делал рукавицей знак мира и солидарности, и тогда мальчишки, пьяные от счастья, подсаживались на порожнюю и ехали куда-нибудь, все равно куда, молча и сосредоточенно разглядывая знакомые улицы своего городка с высоты ездового положения.

В этот раз мира не было...

Бесконечно длинный обоз шел порожним: лошадь, привязанная к саням, сани, снова лошадь, снова порожние сани, и так покуда хватало глаз, и только в каждых третьих или четвертых санях виднелся какой-нибудь тулуп — черный, то есть совсем еще новый, порыжевший или уже позеленевший от времени. Людей в тулупах трудно было заметить — тулупы ехали и погоняли лошадей как будто сами по себе.

Обоз двигался по пути Иванова — в сторону его дома, и тот прямо из школьных дверей бросился наперерез, а возница в зеленом тулупе, заметив этот откровенный маневр, вскочил в рост и, дико взревев, стегнул свою лошадь.

Лошадь рванулась вперед, и три следующих и связанных с нею в одну цепочку рванулись тоже, и мальчишка, только что кинувшийся в средние сани, от внезапного толчка вылетел из них на дорогу, под ноги следующей лошади...

В тот же миг он увидел прямо над собою, над своими глазами, блестящий полукруг подковы с двумя шипами по краям, между лошадиными ногами ему мелькнуло небо, он успел понять, что все это — в последний раз, что больше никогда и ничего уже не промелькнет перед ним, но тут же он услышал не свой, а чей-то чужой треск, что-то ломалось рядом с ним, но только не он сам, что-то хрипело, билось о землю и стонало.

Когда он вскочил на ноги, лошадь, с порванной привязью, с окровавленной губой, лежала на сломанной оглобле, другая оглобля, целая, была у нее на брюхе, два ее копыта, вздернутые вверх, блестели подковами, а голова была откинута назад, и откуда-то не из себя, а со стороны, взглядом помутневшим, скорбным и виноватым она глядела на возницу, который, волоча за собою зеленый тулуп и тоже задыхаясь, бежал к ней, чтобы бить ее.

С неимоверной быстротой мальчишка бежал прочь от места, на котором он должен был умереть, прочь от страшного непонимания, которое преследовало его.

Он плакал, не понимая, почему лошадь сделала все, чтобы не убить его, а человек тоже сделал все, чтобы его убить, и теперь жестоко мстит лошади за свою неудачу.

Он понял, что не поймет этого никогда, даже если станет бессмертным и самым умным на свете человеком, и бежал все быстрее, пока не опрокинулся в твердый сугроб, умереть в котором было почему-то еще ужаснее, чем под копытами лошади.

Он хотел плакать долго-долго и жалобно, как девчонка, но слезы вдруг кончились, потому что он спросил себя: «А зачем же мальчишки становятся мужчинами? Дети — взрослыми людьми?»

Самый короткий санный путь — всего несколько шагов — был самым трудным и ужасным, однако же опыт этого пути остался с ним и однажды спас его...

Под Новгородом, в ночном сумраке, его батальон погрузился в санный обоз и двинулся в объезд какой-то вражеской позиции, негустым лесом, не то хвойным, не то лиственным — он почему-то не запомнил.

Не очень глубокий, да и не очень ответственный рейд подходил к концу, стало уже светло, как вдруг огонь сразу же, без пристрелки, накрыл растянувшийся обоз. Или это была прямая наводка, или противник заранее пристрелялся, но только подводы, одна за другой, стали рваться на мелкие части — на деревянные обрубки саней, на копыта, на хомуты, на руки в зеленых рукавицах и

на ноги в белых валенках, забрызганных красным, на вещмешки и осколки винтовок.

Иванову показалось, будто таким образом обоз, в котором он ехал, стреляет по невидимому врагу...

Не сразу он понял тогда, что это и есть война, что это не лошади и не сани выстреливают собою во врага, а враг стреляет по лошадям, саням и людям, чтобы убить их навсегда.

Впереди по дороге был небольшой лес, то, что в Сибири называют «колком», и в этот «колок» устремился весь обоз.

В санях, на которых ехал Иванов — младший лейтенант, только накануне прибывший в маршевой роте на фронт, кроме него, были еще пожилой сержант и трое солдат, сержант правил лошадью, и когда огонь накрыл обоз, он стал бить ее прикладом винтовки, Иванов же ударил сержанта и, свалив его в сани рядом с собой, вырвал у него вожжи... Лошадь в это время круто стояла на дыбах, из последних сил сопротивляясь тому рывку вперед, в который толкали ее страшные удары прикладом, но, почувствовав, что ее никто больше не толкает, она прыгнула в сторону и поволокла сани по глубокому снегу в кусты, а через кусты в неглубокий, но крутой овражек, в который она сразу же упала и, кажется, задохнулась там.

Они же, пятеро, кинулись по овражку вниз и остались живы... Живы были люди еще с двух или трех подвод, которые замыкали обоз далеко позади, и это было все, что осталось тогда от батальона...

Вспомнив наконец все свои санные пути, Иванов стал чувствовать и тот путь, которым он ехал нынче.

Вокруг все было так, как должно было быть.

Сани покачивались под ним, в борта саней неторопливыми волнами ударял снег, лошадь бежала рысцой, чуть покачиваясь в стороны, и бег ее был тем самым бегом, с которого, заранее подсмотрев ответ, изобретатели списали свои задачи, создавая велосипеды и паровозы, автомобили, тракторы и танки...

Все было, как и должно быть в пейзаже с ровным красноствольным лесом без подроста, который лесники не совсем естественно называют «естественным парковым насаждением»; все было, как и должно быть, в тех четких рисунках понижений, на дне которых, подо льдом и снегом, скрытно протекали ручьи и речки и которые топографы и геоморфологи именуют «поперечными профилями речных долин»; все было, как должно быть в свежем и сиреватом воздухе, о котором прогнозисты-синоптики и метеорологи сказали бы, что это «приземный слой атмосферы», который «выхолаживается в результате устойчивого антициклона».

И все было так, как и должно было быть, в том, что на дороге появился охотник с рюкзаком и ружьем за плечами, с собакой,

которая стояла, почти вплотную прислонившись к его ногам, и первая приветственно помахала черным и лохматым хвостом.

Охотник тоже поднял руку с лыжной палкой, остановил подводу и спросил, кто, куда и зачем едет.

Возница ответил, что в деревню Савватеевку он везет человека из кино, а назад этот человек уже не поедет санным путем, потому что полетит на вертолете.

Охотник и возница еще поговорили об этом человеке — почему ему не сидится на месте рядом с собственной женой в городе Москве и почему он так нерасчетливо тратит не свои, а казенные проездные деньги; почему, если уж он заехал в дальние края, не позаботился о местном населении и не захватил с собою новую картину, чтобы в ней было все, как настоящее, и в то же время очень интересно.

Собака с рыжими подпалинами по черному знакомилась тем временем с лошадью, не очень откровенно, но последовательно обнюхивая ее со всех сторон, от потной лошади в морозный воздух исходил пар, лошадь фыркала, вздыхала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу.

Голоса людей и вздохи лошади, которой почему-то не нравилось собачье принюхивание, слышались Иванову как бы издалека, с расстояния в несколько десятков шагов — ему не хотелось развязывать уши меховой шапки, чтобы слышать лучше.

Он сидел неподвижно, слушая союз и братство незнакомства между тремя людьми, одной лошадью и одной собакой, которое не так уже редко бывает очевиднее самых близких отношений, и мог бы сидеть так сколько угодно, хотя бы до конца жизни.

Он мог бы объяснить им всем кое-что о себе: кто он, зачем едет, что вспоминает дорогой, но это было ни к чему сейчас, никто из них не нуждался в этом, даже он сам, хотя давно уже в его правилах и привычках было рассказывать и объяснять о себе все, все, что касалось его, его прошлого и особенно его будущего, включая будущее его взрослых, женатых и замужних детей и всего человечества.

В нынешней поездке у него вдруг потерялся интерес к своим собственным словам.

По замыслу его нового фильма, санным путем, через тайгу, должны были ехать молодой геолог, женщина-врач с дочерью-студенткой, охотник и, может быть, еще кто-нибудь, а на этом пути стало бы развиваться все содержание фильма — любовное, социальное, научно-познавательное.

Вот он и поехал, чтобы увидеть этот путь глазами своих героев, но их глазами не увидел ничего, а все — своими собственными.

У него был такой творческий навык — размышлять о прошлом своих героев: кем и чем они были до того, как стали его героями, какую прожили жизнь? Почти по Станиславскому...

Нынче и это оказалось ни к чему — свое прошлое возникало перед ним все время и неотступно, чужого не было.

Был он сам, и только. Сам по себе, даже без своих слов, зато со своими бескопечными воспоминаниями.

С ним этого давно не случалось, разве только в юности, когда он еще не умел строить отдельные творческие замыслы и говорить о них вслух, потому что вся его собственная и даже вся окружающая жизнь казались тогда ему одним-единственным и огромным, безусловно необходимым, но вовсе не его собственным замыслом...

Наконец охотник взял в обе руки лыжные палки, а собака подняла кверху свой лохматый хвост и повертела им в воздухе.

Собака — все ее туловище и голова — была покрыта инеем, поэтому она казалась тусклой, невыразительной, а хвост оставался натурально-черным, и, как будто зная об этом, собака энергично действовала им.

Лошадь громко и облегченно вздохнула, она, в общем-то, неплохо отнеслась к знакомству с собакой, но где-то в глубине души была не прочь расстаться с ней, она торопилась туда, где ей за ее серьезную и добросовестную работу полагался хороший отдых, сытный овес и пахучее сено.

Беседа закончилась.

Охотник все-таки подошел на минуту к Иванову и непосредственно ему объяснил, когда можно ждать вертолет, чтобы улететь из Савватеевки, после этого он толкнулся палками.

Лыжи, набирая скорость, понесли охотника под уклон, его фигура стала мелькать меж землисто-серых стволов высоких сосен и как будто даже сквозь них.

Это был точь-в-точь тот охотник, который мог бы сопровождать по санному пути молодого геолога, женщину-врача, ее дочь-студентку и еще кого-нибудь из героев Иванова в его новом фильме. Если бы этот фильм состоялся...

От кончика носа до кончика хвоста вытянувшись в одну прямую линию, собака скользила по лыжному следу за охотником.

Лошадь не быстро, но торопливо побежала своей дорогой — ей оставалось бежать три-четыре километра, недалеко, и она догадывалась об этом.

Иванов же думал, почему он так мало замечает свой нынешний путь и только вспоминает и вспоминает?

Видит вокруг себя пейзажи, а свою дорогу заметил только в каких-то отрывках — в цвете леса и неба.

Масть лошади, на которой он ехал, он увидел только что, вот сейчас — лошадь оказалась гнедой, запах ее пота ударил ему в лицо лишь сию минуту — он был острым и гармонировал с запахом нынешнего, тоже острого мороза. Скрип санных полозьев, который сопровождал его нынче, был тоже не нынешним и доносился откуда-то издалека.

Вот и с замыслом происходило что-то: он рвался в клочки и уходил от него.

Он пришел к Иванову, как всегда, нежданно-негаданно, в нестерпимо жаркие дни и на берегу моря, а теперь исчезал вместе с охотником и его собакой, тоже мелькая где-то между серых, землистых стволов огромных сосен.

— Почему? — спрашивал себя Иванов.— Почему исчезает интересный и многообещающий замысел?! — недоумевал он.

* * *

Потому что это был последний санный путь Иванова, только он не знал об этом, не догадывался.

Он был еще нестарым человеком, он проживет еще немало лет, поставит довольно много фильмов, в том числе один или два хороших, у него сохранится интерес к жизни, причем — взаимный, жизнь по-своему тоже будет интересоваться Ивановым, но на санях он больше не будет ездить уже никогда: у него не будет такой необходимости.

Ни у него самого, ни у его детей и внуков. Все они, в соответствии с расписаниями, будут и дальше двигаться по земле на поездах и автомобилях, будут плавать на водных ракетах и летать на воздушных лайнерах, но разве только один какой-нибудь внучонок Иванова однажды, в дни зимних каникул, прокатится три круга по центральной площади города на разукрашенной лошадке, в разукрашенных саночках.

Ни лошадки, ни саночки ничего не подскажут веселой детворе о санных путях, и дети никогда и ничего не узнают о них сами по себе, непосредственно, разве только с помощью книг, картин и кино.

Вот и в жизни Иванова было много путей, иногда он выбирал их, иногда — они его, он предчувствовал появление и еще каких-то неизвестных путей, но когда какой-нибудь путь становился прошлым для него — он не умел об этом догадаться.

1972

ФИАЛКА

Худой старик вышел из вагона электрички, нерешительно постоял на новой высокой бетонной платформе, осматривая незнакомую ему дачную местность, а потом медленным шагом, с видимым усилием шаркая ботинками, побрел к переезду, где возле будки путевого сторожа, у автоматического шлагбаума, стояло маршрутное такси — маленький автобус, сплошь покрытый засохшей грязью, а рядом с ним белая санитарная машина с красным крестом на матовом стекле, видимо, присланная на станцию из местного санатория.

Водитель маршрутного такси и водитель санитарной «Волги» стояли возле своих машин, обмениваясь мнениями по поводу нескольких крепких, широкоплечих, коротконогих девчат в просторных ярко-оранжевых сигнальных жилетах, как бы озаряющих солнечным светом этот гнилой, холодный день поздней осени с лужами на дорогах, в которых отражались облетевшие кусты желтой акации, столь обычные для подмосковных пригородов.

Девчата в больших, как лопаты, брезентовых варежках под наблюдением прораба с желтым сигнальным флажком под мышкой только что приступили к замене старых, деревянных шпал новыми, бетонными и торопились, желая воспользоваться перерывом между двумя поездами.

Иные из этих девчат были на редкость хорошенькие, разрумянившиеся от работы.

— Вы мне, часом, не подскажете, как добраться до интерната? — спросил старик, прикладывая в знак приветствия руку к своей облезшей пыжиковой шапке.

— Пройдете вверх по этой аллее, упретесь в ворота патриаршей резиденции. Налево будет кладбище, так вы туда не

сворачивайте, а идите направо, и там вам уже каждый покажет.

— Может, подбросите? — заискивающе сказал старик.— Я вас поблагодарю.

— Да тут совсем рядом. Двести метров — не больше.

Старик поправил на голове шапку, немного постоял на месте как бы в нерешительности, а потом пошел вверх по аллее, обсаженной древними соснами.

Шоферы некоторое время смотрели ему вслед. Во всем его облике было нечто останавливающее внимание, но что именно — не вполне улавливалось: какая-то смесь прежнего благополучия, сановности с теперешним жалким положением на грани нищеты.

Пальто с крупными костяными пуговицами, перешитое из военной шинели, слишком широкие брюки, болтающиеся вокруг худых ног, желтые, не раз чиненные ботинки на шнурках с узелками, а главное, все его некогда массивное, а теперь заметно уменьшившееся в объеме тело и похудевшее, высохшее лицо с хрящеватым носиком, который был довольно красивым, мясистым носом, и серой нездоровой кожей, висящей складками вокруг бритого, почти беззубого рта.

Словом, вид его возбуждал жалость, даже некоторую брезгливость и не соответствовал рангу того интерната, куда он направлялся, неся через плечо веревочную авоську с двумя маленькими высохшими апельсинами.

Примерно таким образом подумали водители маршрутного такси и санитарной «Волги», некоторое время глядя вослед старику, а затем снова стали с большим интересом наблюдать за девчатами-ремонтницами.

...Издавая рычащие звуки сигнала, автоматический шлагбаум стал медленно опускаться...

С одышкой старик добрался до глухих железных ворот патриаршей резиденции и там немного передохнул возле двух каменных столбов с острыми высокими кровельками. Налево за деревьями виднелось кладбище, перед оградой которого прямо на шоссе была вывалена большая куча всякого погребального вздора, сослужившего свою службу: куски кумачовых лент, засохшие цветы, заржавленные проволочные остовы старых венков...

Неприятное чувство охватило старика, и он отвернулся, пропуская мимо себя черных церковных старух — не то монашек, не то богомолок — в белых или черных головных платках. Осторожно, гуськом, след в след они лепились вдоль глухого кирпичного забора, выбирая, где посуше. Они несли перед собой узелки с просфорками. Доходя до патриарших ворот, старухи оборачивались лицом к золотым луковичкам видневшейся за забором старинной церкви, на прощанье крестились и кланялись, а затем, подобрав юбки, уже быстро шли, бежали на станцию, боясь опоздать на электричку...

Старик повернул направо и вскоре, минуя несколько новых пятиэтажных корпусов, потеснивших три или четыре старинных бревенчатых домика, как бы укрывшихся от нашествия новой жизни в зарослях сиреневых кустов и желтых акаций, очутился перед длинным желтым двухэтажным зданием с белыми гипсовыми колоннами главного входа в том ложноклассическом, провинциальном стиле, который одно время считался непременной принадлежностью парадной архитектуры. Однако окна этого дома, вопреки общему стилю, были громадные, трехстворчатые, так называемые итальянские, за которыми виднелись горшки с геранью, папоротником, алоэ, висели на деревянных кольцах цветные занавески, отсвечивала позолота бронзовых светильников, а в одном окне старик заметил шведскую стенку, из чего заключил, что там помещается гимнастический зал.

Он ожидал увидеть захудалую богадельню, дом для престарелых, а перед ним оказался почти дворец с массивной дверью и медными громадными ручками в каком-то древнеримском вкусе, вроде ликторских пучков.

Чувствуя уважени ко всему этому, старик счистил о скребок грязь с подошв своих неуместно желтых туфель, долго топтался на вздувшейся проволочной сетке, шаркал ногами и, лишь убедившись, что его обувь хорошо вытерта, не без усилия открыл дверь на очень тугой пружине.

— Могу ли я видеть больную по фамилии Новоселова, Екатерину Герасимовну? — спросил он дежурную нянечку, пухлую пожилую женщину в рабочем халате, сидевшую рядом с гардеробом за маленьким столиком.

— У нас тут нет больных, а есть престарелые,— назидательно сказала нянечка,— а что касается товарища Новоселовой, Катерины Герасимовны, то она у нас действительно числится.

— Как бы мне ее повидать?

— А она вам что? Назначила на сегодня?

Старик смутился.

— Нет. Я просто так. Навестить.

— У нас без приглашения посторонним посетителям проходить не полагается.

— Я не посторонний,— сказал старик.

— А кто же вы?

— Родственник.

Нянечка пожевала губами, подозрительно осматривая его.

— Нету у Катерины Герасимовны родствепников. Она у нас самый старый контингент. Живет здесь с самого основания. За все это время к ней не приезжало ни одного посетителя-родственника. Если бы были у нее родственники, мы бы знали. Она у нас среди всех самая одинокая.

— Я не постороннпй,— сказал старик, и вдруг его лицо помертвело, лоб покрылся потом, он повел затуманившимися глазами, как бы ища вокруг себя точку опоры.— Извините, я присяду,— произнес он, с трудом ворочая языком, и тяжело опустился на стул.

...стул зашатался, старик стал сползать на пол...

Тут только нянечка поняла, что он смертельно болен. Она ловко, но мягко подхватила его под мышки, приподняла, усадила, налила из стеклянного высокого кувшина с дребезжащей крышкой кипяченой воды с запахом хлора, и старик, схватив стакан дрожащими руками, стал так жадно пить, что временами захлебывался, как ребенок, и вода текла по серой коже; повисшей по сторонам его бритого рта.

— Что случилось? — строго спросила, проходя мимо, сестра-хозяйка, бодрая седеющая женщина со взбитой прической, придерживая на высокой груди пальто внакидку: видимо, только что вернулась со двора, где размещалось все ее подсобное хозяйство.

— Да вот пришедший гражданин почувствовал себя дурно.

Сестра-хозяйка взяла старика за руку и посчитала пульс.

— Уже проходит,— с извинением в голосе проговорил старик, поднимая с пола авоську с апельсинами, упавшую во время обморока.— Это у меня иногда бывает.

— Вы, собственно, к кому? — спросила сестра-хозяйка, продолжая посматривать на маленькие золотые часики, блестевшие на запястье пухлой, гляпцевитой ручки, тесно схваченной кружевным рукавчиком.

— Они к Катерине Герасимовне,— сказала нянечка.— Говорят, родственник.

Сестра-хозяйка пожала плечами.

— Не слышала, чтобы у Екатерины Герасимовны были какие-нибудь родственники. Кем вы ей приходитесь?

Старик смутился, замялся, но все же не без усилия выдавил:

— Я ее муж. Фамилия моя та же, как и Екатерины Герасимовны,— Новоселов. Бывший муж,— прибавил он, желая быть вполне правдивым.— Мы уже давным-давно развелись.

Сестра-хозяйка с интересом посмотрела на человека, который, оказывается, был когда-то мужем Новоселовой, одной из самых уважаемых обитательниц интерната, секретаря партийной организации.

— Вы, товарищ, пришли не совсем вовремя,— сказала сестра-хозяйка, смягчаясь.— Екатерина Герасимовна человек организованный, у нее расписан каждый час, так что уж и не знаю, как нам с вами быть. В данный момент Екатерина Герасимовна как раз проводит консультацию по истории партии с активом пединститута. К ней специально приехали из Москвы двенадцать человек выпускников. Тетя Маша, где они занимаются?

— Во втором корпусе, в читальном зале,— ответила дежурная нянечка с оттенком гордости оттого, что в их интернате имеется читальный зал.

— Вот видите,— сказала сестра-хозяйка,— и когда они кончат, трудно предсказать. А во второй половине дня Екатерина Герасимовна еще будет проводить партбюро. Может быть, вы приедете в другое, более удобное время?

— Трудно мне будет в другой раз подняться. Да и случится ли этот другой раз? Уж вы мне лучше разрешите ее подождать.

— У нас сегодня день не приемный... Да и вообще посторонним здесь находиться не положено...

— Не посторонний я,— сказал старик.— Не посторонний. Могу показать документ.

Он полез во внутренний боковой карман и вытащил оттуда пачку обтрепанных бумажек из числа тех, какие обычно всегда носят при себе люди, привыкшие к сутяжничеству. Он суетливо порылся в бумажках и вытащил пенсионную книжку.

Сестра-хозяйка повертела ее в руках, полистала и увидела, что пенсия самая мизерная, но пенсионера действительно зовут Новоселов, Иван Николаевич.

— Ну что ж, Иван Николаевич, в таком случае подождите, пока Екатерина Герасимовна освободится. Конечно, разденьтесь, так как в верхней одежде у нас находиться не принято. А это что

за фрукты? — спросила она, заметив авоську, лежащую на полу у ног старика.

— Для Екатерины Герасимовны... витамины...

— Нет, нет! — испуганно вскрикнула сестра-хозяйка.— Этого совсем не надо. Наш контингент получает достаточное количество свежих фруктов. А эти ваши апельсины спрячьте куда-нибудь.

Дежурная няпечка проводила Новоселова за загородку, где на никелированных вешалках с пластмассовыми номерками, как в театре, висели дамские и мужские пальто, по виду которых можно было заключить, что они принадлежат людям, хорошо устроенным.

Новоселов повесил на рожок свое пальто и веревочную авоську, имеющую здесь особенно жалкий вид. Он вынул из наружного кармапчика своего потерявшего первоначальный цвет пиджака со слишком длинными рукавами и маленькой засаленной орденской планкой розовый гребешочек, забитый перхотью, и провел им несколько раз по сильно облысевшей голове с глубокими впадинами над глазами, как у старой лошади. Няпечка отвела его в уголок, где было оборудовано нечто вроде гостиной, и усадила в страшно тяжелое — с места не сдвинешь! — громадное кресло перед таким же тяжелым круглым столиком, покрытым красной плюшевой скатертью.

...Он стал дожидаться...

В одну и другую сторону тянулся длиннейший, устланный линолеумом коридор с рядом белых дверей, на которых виднелись маленькие таблички с фамилиями обитателей этих компат. Если бы не обилие цветов на подоконниках и не портьеры на дверях, то это было бы скорее похоже на хорошую поликлинику, чем на интернат.

...Время тянулось медленно...

Новоселов снова почувствовал тошноту, поднимающуюся от сердца к горлу, сводящую челюсти; и привычным движением бросил в рот две крупинки нитроглицерина. Тошнота понемногу улеглась. До обморока дело не дошло. Но в боку продолжалась ноющая боль.

Вокруг него шла будничная жизнь интерната: проходили нянечки, придерживая подбородками кипы выглаженных простынь, распространявших хлористый запах; в отдаленном конце коридора перед дверью врачебного кабинета на стульях вдоль стены сидели благообразные старухи и старики, терпеливо дожидавшиеся своей очереди; сверху, со второго этажа, куда вела широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой на медных прутьях, долетали голоса гуляющих по верхнему коридору людей и мурлыкало радио; откуда-то несло теплыми кухонными запахами, и Новоселов с чувством зависти размышлял о том, как хорошо и сытно живется здесь персональным пенсионерам союзного значения.

...Санитар провез по коридору в кресле на колесах парализованного старика с пледом на коленях; у него было наполовину неподвижное лицо, на котором непостижимо играли карие, как бы веселые глаза, полные иронии и юмора...

Новоселову показалось, что он уже когда-то видел их, много лет тому назад, когда он давал против Екатерины Герасимовны свои лживые показания, а следователь все время смотрел на него темно-карими пронзительными глазами, полными скрытой иронии и недоверия.

Вполне возможно, что это был именно *тот* следователь. А почему бы и нет? Новоселов почувствовал такую же точно душевную неловкость, которую испытывал *тогда,*— жгучий стыд, смешанный со страхом и подавленным сознанием подлости, которую он совершает.

Живые карие глаза посмотрели на него, и санитар провез слегка повизгивающее по линолеуму кресло дальше, за портьеру.

Был ли Новоселов узнан? Если и был, то что из этого? Он просто любыми средствами хотел тогда устранить со своего пути женщину, которая, как ему казалось, может помешать жениться на другой. Впрочем, он напрасно пошел на подлость. Она устранилась сама.

...Но ведь это было так давно...

В ту пору он был, как говорится, мужчина в самом соку, уже начинающий полнеть, большой, видный, с хорошим служебным положением, с большими перспективами, со всеми повадками ра-

стущего администратора, почти уже сановника,— вальяжной походкой, негромким голосом, многозначительным взглядом красивых крестьянских глаз с холодной поволокой из-под золотых колосистых бровей, которые так нравились женщинам.

Екатерина Герасимовна была на десять лет старше Новоселова. Она никогда не отличалась красотой, но у нее была та живость лица, та открытая улыбка, та женственность и миловидность, которые заменяли ей красоту. Однако разница лет в конце концов сказалась, и в семье Новоселовых произошла драма, весьма обычная в подобных обстоятельствах.

Он увлекся молодой девушкой — обольстительно красивой и доступной, что еще больше разожгло его страсть.

Впрочем, она уже давно была не девушкой и принадлежала к тому типу маленьких хищниц, для которых любовь была единственным и самым верным средством добиться наилучшего положения в обществе и богатства, которых она была лишена с детства.

Легко и просто сделавшись любовницей Новоселова, получив от него все, что можно было получить любовнице от немолодого женатого человека, она с неукротимой энергией, пользуясь всеми средствами своей молодости, красоты и полным отсутствием порядочности, во что бы то ни стало решила сделаться его законной женой. Он слабо сопротивлялся, но в конце концов потерял голову и женился, сделав ее бесконтрольной хозяйкой своего дома и познакомив со всеми своими друзьями.

Войдя в общество и осмотревшись, новая, молодая жена быстро сообразила, что Новоселов вовсе не является вершиной, а есть еще много мужчин, занимающих куда более высокое положение, чем он. Хотя все эти мужчины были давно женаты, имели детей и даже внуков, но молодая Новоселова, которая уже испробовала свою женскую власть над мужчиной, поняла, что надо ковать железо, пока горячо.

В девятнадцать лет она необыкновенно расцвела, у нее появилась накидка из черно-бурых лисиц, а в ушах бриллианты, впрочем, еще не очень крупные, и когда она в нарядном длинном платье из черного тончайшего панбархата, тисненного цветами, с обнаженными руками и маленькими, как бы не вполне глубоко прорезанными пальчиками с малиново налакированными ногтями сидела рядом с Новоселовым в партере Большого театра на каком-нибудь парадном спектакле — прекрасная, со скользящей улыбкой полуоткрытых телесно-розовых губ, с ямочками на локтях, с блестящими, фаянсовыми, как бы всегда мокрыми веками серо-голубых, веселых, бесстыдных глаз,— она притягивала к себе взгляды мужчин. Ее окружало как бы магнитное поле вожделения мужчин и ненависти женщин, чуявших в ней опасную соперницу.

Она сознавала свое могущество, в то время как ее муж — Новоселов — испытывал глупое чувство гордости, что он владеет таким лакомым кусочком, и в то же время терзался жгучей ревностью, так как в глубине души понимал, что эта молоденькая, соблазнительная, доступная потаскушка в любой миг готова его променять на более выгодного мужчину, для того чтобы подняться на еще более высокую ступень общества. Скоро бывать с нею на людях сделалось для него пыткой. А она, как назло, стремилась показываться в наиболее людных местах — в театрах, на концертах, на стадионах, в гостях, на вечеринках,— вернее, не показываться, а показывать себя,— жадно высматривая следующего мужа.

Жизнь Новоселова превратилась в смесь ада и рая.

Он не сомневался, что в отсутствие его — когда он бывал на работе, на заседании или уезжал в командировку — она ведет какую-то свою тайную, порочную жизнь, что у нее есть любовники.

Она была осторожна, как маленькое хитрое животное, однако не настолько умна, чтобы не оставлять никаких следов. Впрочем, она и не стремилась к этому. Она была слишком ленива и разнуздана, чтобы заниматься этим скучным делом, требующим много стараний. Чем хуже, тем лучше! Иногда она нарочно вызывала его подозрения.

Теряя голову от ревности, он становился беспомощным, и тогда она могла делать с ним что угодно.

Однако найти нового мужа рангом повыше оказалось не так-то легко.

Их совместная жизнь затянулась на несколько лет, о которых он не мог вспоминать без ярости. Страдало не только его самолюбие, начало страдать также и служебное положение. Она его компрометировала. Он стал посмешищем. О ней рассказывали анекдоты. Он стал устраивать ей публичные скандалы. Однажды они подрались в Большом театре на возобновленной опере «Иван Сусанин».

...Он исподтишка, чтобы не заметили соседи, больно стукнул ее каблуком по ноге в лакированной туфельке; она завизжала и укусила его за палец, а потом нарочно громко хохотала и плакала, и бешеные, злые слезы текли из прелестных глаз по неподвижно улыбающемуся лицу, по пушистым, как персики, щекам, по

маленькому безукоризненному носику, в то время как на сцене под звуки оркестра звенела колокольчиком колоратурная ария Антониды, а из-за алой шелковой занавески боковой ложи кто-то на них возмущенно шикнул...

Несмотря на то что она давным-давно бросила его и с тех пор дважды выходила замуж, пока наконец не нашла себе мужа, который вполне удовлетворил ее самые честолюбивые мечты, Новоселов все еще переживал былые страсти и унижения, доведшие его в конце концов до того жалкого положения, в котором он находился.

Смертельно больной, чувствуя ни на минуту не прекращающуюся зловещую боль в кишечнике, где недавно ему сделали бесполезную операцию, он смотрел теперь в громадное интернатское окно, против которого сидел, и видел голые серые яблони фруктового сада, несколько голубых елей, решетчатую беседку, покрытую полупрозрачными пластиковыми рифлеными плитами солнечно-желтого цвета, где летом жители интерната могли почитать или поиграть в шахматы, несколько клумб роз, уже завернутых на зиму в солому.

Обнаженные деревья казались особенно печальными под темным небом, а над хвойным лесом, синевшим вдалеке, над головатой верхушкой кирпичной водонапорной башни то и дело взлетали и кружились стаи галок, и где-то шумела дачная электричка.

...Вокруг было сумрачно, как вечером...

Мимо окна по мокрой асфальтовой дорожке быстро прошла маленькая согнутая старушка в вязаной шапочке и вязаных перчатках, держа в руке ореховую самодельную тросточку, на которую не опиралась, а лишь помахивала в такт своим шагам. Несколько юношей и девушек окружали старушку, приноравливаясь к ее стремительной, легкой походке. Мимо окна промелькнул старческий, несколько вороний профиль, очки, узел седых волос с черными нитями, высунувшийся из-под шапочки.

Новоселову и в голову не пришло, что это Екатерина Герасимовна. Он равнодушно смотрел, как она попрощалась с молодыми людьми и, уже взявшись за ручку двери, крикнула им на прощание что-то, по-видимому, очень веселое, потому что они дружно

засмеялись. Затем старушка появилась уже внутри здания, и Новоселов видел, как она, аккуратно прислонив свою палочку к стене, сняла с себя пальто с узким куньим воротником и, став на носки, повесила его на рожок никелированной вешалки недалеко от пальто и веревочной кошелки с апельсинами Новоселова. Она протерла опрятным платочком запотевшие очки с увеличительными стеклами, высморкалась в другой платочек и довольно легко, хотя время от времени и останавливаясь на ступеньках, стала подниматься по лестнице на второй этаж.

Внезапно по какой-то особенности походки, по еле заметному прихрамыванию Новоселов узнал в этой старушке свою бывшую жену.

...Она дошла до верха лестницы, отдышалась и затем исчезла с глаз...

— Что же вы? — сказала нянечка, подбегая к Новоселову.— Ай не узнали? — и бросилась вверх по лестнице следом за Екатериной Герасимовной.

— Екатерина Герасимовна,— запыхавшись, сказала нянечка, входя следом за Новоселовой в ее комнату,— вас там внизу дожидаются.

Новоселова сразу не расслышала, так как была уже туговата на ухо.

— А? — спросила она.

— Вас дожидаются внизу! — крикнула нянечка.

— Кто? Я никого не жду.

— Мужчина. Говорит, что ваш бывший супруг.

На лице Екатерины Герасимовны сперва выразилось недоумение, но тотчас же на ее старчески бесцветных щеках появилась как бы тень румянца. Не говоря ни слова, она стала прятать в комод шапочку и перчатки, в то же время механически поправляя узел волос на затылке.

— Так же, как и вы, по фамилии Новоселов,— сказала нянечка.

Обычно живое и доброе лицо Екатерины Герасимовны сделалось отчужденным, недоброжелательным, как бы одеревенело.

— Мне нет надобности его видеть,— сказала она, сдвигая свои черные, почти не тронутые сединой брови, сросшиеся над переносицей.

Было бы неверно думать, что она совсем забыла о его существовании. Иногда во время бессонницы, перед рассветом, когда черные мысли одолевают стариков, она вспоминала свою жизнь с Новоселовым, всю историю их отношений, начиная с того дня, когда на занятия кружка, который она вела, впервые явился простецкий деревенский парень, и кончая той страшной ночью, когда она, взяв с собой только хозяйственную сумку с переменой белья, зубной щеткой и розовой пластмассовой мыльницей, навсегда уходила из дому, а он — уже располневший, большой, с залысинами, в домашних туфлях и байковой полосатой пижаме с брандербурами — стоял, облокотясь о косяк двери, и на его крупном гладком лице с сонными глазами она видела лишь плохо скрытое нетерпение.

Они тогда не сказали друг другу ни слова и с тех пор больше никогда не виделись.

Конечно, до нее доходили кой-какие слухи о его несчастливой жизни с новой, молоденькой женой, но она была слишком горда, чтобы расспрашивать о подробностях. Она была непреклонна. Она не желала знать о его существовании. Даже когда ей осторожно намекнули на ту неблаговидную роль, которую сыграл в ее деле бывший супруг, она пропустила это мимо ушей, как бы вовсе не слышала.

Доходившие до нее слухи о том, что новая жена бросила Новоселова, что он запутался в делах, с трудом избежал суда, стал сильно пить, изо дня в день катясь по наклонной плоскости, не доставили ей никакой радости, никакого удовлетворения: он и вправду перестал для нее существовать.

Любила ли она его? Было ли задето ее самолюбие? Была ли ранена ее душа? Несомненно. Она испытала все муки оскорбленной, обманутой и оклеветанной женщины. Но еще больше причиняло страданий сознание, что она не сумела своевременно понять Новоселова, разгадать в нем самого обыкновенного пройдоху, примазавшегося, сделавшего карьеру при помощи полюбившей его женщины, не подозревавшей, какую роль она при этом играет.

В сущности, она была по-детски простодушна и, несмотря на суровую школу революционерки-подпольщицы, а может быть, благодаря ей, привыкла видеть в людях гораздо больше хорошего, чем плохого. Перед ней всегда стоял образ простого человека из народа, труженика и героя.

Молодой Новоселов — крестьянский сын — как нельзя больше соответствовал ее, быть может, несколько народническому, представлению о простом человеке, которому революция открыла дорогу к знанию и сделала многогранно образованным, полноценным членом социалистического общества. С тем же энтузиазмом, с которым она в первые годы советской власти боролась с неграмотностью, беспризорностью, религиозным дурманом, угнетением женщины, она впоследствии руководила разными кружками по подготовке молодежи к поступлению на рабфак. Она читала лекции на заводах и фабриках по истории классических трудов Ленина, Маркса, Энгельса, Плеханова. Она всю себя без остатка посвятила этой деятельности и была счастлива, когда замечала, что ее усилия не пропадают даром, начинают приносить плоды. Среди ее кружковцев Новоселов выделялся добросовестностью и упорством. Ей казалось, что он учится с вдохновением, с глубокой верой в то, что без знания невозможно стать настоящим коммунистом-революционером. Она видела в нем представителя того нового поколения, которое со славой завершит дело, начатое его отцами и дедами. Она полюбила в нем человека будущего. Она дала ему рекомендацию в партию.

Он стал приходить к ней заниматься на дом. Она любовалась его русыми волосами, постриженными под гребенку, его сатиновой рубахой с косым воротом, охватывающим крепкую шею. Ей нравились его голубые ярославские глаза.

Она не могла не заметить, что знания даются ему с большим трудом, но по интеллигентской привычке приписывала это «наследию проклятого прошлого». Она подготовила его и протащила в институт, который Новоселов хотя и с трудом, но все же кончил.

...Теперь перед ним открылось широкое поле служебной деятельности.

К тому времени Екатерина Герасимовна уже стала женой Новоселова. Это произошло как-то совсем незаметно, естественно.

Насколько он был туп в науках, настолько он оказался энергичным и умелым администратором. Он всюду обзавелся полезными связями. Требовались новые люди, и скоро Новоселов сделался директором того самого института, который некогда с таким тру-

дом окончил. Это была должность скорее хозяйственная, чем ученая, и здесь Новоселов оказался вполне на месте как администратор со связями. Однако у него хватило ума, чтобы придать себе также некоторый чисто академический блеск. Он часто выступал на собраниях по научным и политическим вопросам, делал доклады, которые ему помогала писать Екатерина Герасимовна. Впрочем, он никогда не полагался слепо на то, что советовала и писала для него она. Нередко он вносил в них свои поправки. Недостаточно глубоко проникнув в самую суть вопроса, он зато в совершенстве овладел научной и общественно-политической фразеологией, почерпнутой из энциклопедического словаря и газетных передовиц, что придавало его выступлениям наукообразный вид и политическую зрелость. Иногда он спорил с Екатериной Герасимовной по поводу каких-либо формулировок, если они входили в противоречие с общепринятыми положениями.

Однажды, перечитывая доклад, приготовленный для него женой, он сказал ей с мягким укором:

— Вот ты пишешь тут, Катя: «опричники самодержавия». А я с этой твоей формулировкой не совсем согласен, так как она не соответствует историческому значению явления опричнины. Ведь кто такие были опричники? Они были опорой централизованной государственной власти в лице царя Ивана Грозного, боровшегося с реакционным боярством. Стало быть, опричнина была явлением для своего времени прогрессивным и нам нет никакой необходимости дискредитировать ее в глазах нашего народа.

Она с изумлением посмотрела на Новоселова, а он продолжал, не замечая ее взгляда:

— И вообще скажу тебе, Катерина, нам следует пересмотреть свое чисто интеллигентское отношение к личности Ивана Грозного. Кстати: почему мы называем его грозным? Для кого он грозный? Для удельных князей, для реакционного боярства. А для простого трудового народа, стремящегося к созданию единой, великой России, он вовсе не грозный. Лично для меня, например, он не грозный.

Он стал все чаще и чаще вносить в написанные ею доклады кое-что от себя. Иногда это получалось довольно забавно. Однажды там, где говорилось о какой-то международной конференции, он выразился так: «Этот представительный колизей...» И повторил это странное выражение несколько раз. Видимо, оно ему очень понравилось. Когда Екатерина Герасимовна высказала свое недоумение, Новоселов сказал:

— А что? Разве ты не знаешь, что сейчас принято говорить «представительный колизей»?

Она засмеялась.

— Может быть, ты имеешь в виду не колизей, а форум?

— Ну да, форум,— подумав, согласился Новоселов.— А я что сказал?

— Ты сказал: «колизей».

— Ну так я просто оговорился.

Екатерина Герасимовна невесело улыбнулась. Дело заключалось в том, что в Москве недалеко друг от друга имелось два кинематографа, куда Новоселов любил ходить, еще будучи студентом, смотреть американские картины с Гарри Пилем: один назывался «Колизей», другой — «Форум».

Эта ошибка не получила общественной огласки, и, читая свой доклад с трибуны, Новоселов строго, торжественно и внушительно произнес, оглядывая аудиторию через очки:

— Представительный форум лучшей части мировой прогрессивной интеллигенции.

... Он быстро пошел в ход...

Теперь, сидя на стуле возле своей кровати с хорошим пружинным матрацем и меняя резиновые прогулочные ботики на домашние туфли, Екатерина Герасимовна вспоминала разные случаи из своей совместной жизни с Новоселовым.

Между тем толстая нянечка не уходила из комнаты, надеясь, что Екатерина Герасимовна сменит гнев на милость и согласится принять своего бывшего мужа. Нянечка жалела этого старика, выглядевшего гораздо старше своих семидесяти лет, судя по болтавшейся одежде, страшно исхудавшего, дурно одетого и даже, может быть, голодного. Хорошо бы сейчас старичка приласкать, напоить сладким горячим чайком.

— Ей-богу, Катерина Герасимовна, я удивляюсь, чего вы такая принципиальная. Посочувствуйте старому больному человеку. Все-таки ваш бывший муж...

Новоселова очнулась и посмотрела на нянечку, лицо которой выражало такое любопытство, а главное, такую душевную доброту, что Новоселова заколебалась. А может быть, в самом деле повидаться с бывшим мужем?

Она никак не смогла представить его себе больным стариком. В ее памяти он был тем Новоселовым, каким она видела его в последние годы их совместной жизни.

...вот он высокий, плотный, с заметно выросшим животом, в новом костюме сановно протискивается к столу президиума и занимает в нем свое привычное место, несколько сбоку; поворачиваясь туда и сюда плотным туловищем, он как бы опрастывает плечами вокруг себя место, чтобы просторнее было сидеть; особым, хорошо им усвоенным, профессорским движением выдергивает из нагрудного карманчика заграничные очки с двойными стеклами, в которых, как молния, проносится отражение всего зала с его лепным потолком и сверкающей люстрой, и несколько рассеянным — тоже весьма профессорским — жестом надевает на свой красивый, толстоватый в переносице нос; он прочитывает листок с повесткой дня, с глубокомысленным видом делает на полях несколько пометок карандашом, а затем таким же хорошо отработанным движением, зацепив указательным пальцем за ухом дужку очков, сдергивает их с носа и, как фокусник, опускает в нагрудный карманчик, откуда выглядывает конец носового платка; и все это так внушительно, с такой ученой солидностью, что никому из сидящих в зале и в голову не придет, что этот человек с профессорски строгим лицом, в сущности, ловкий администратор, который держит в своих цепких руках все институтское хозяйство — не больше.

Он сидит рядом с известными учеными как равный среди равных, и никого это не удивляет, и никто понятия не имеет о том, что до сих пор Новоселов даже не совсем грамотно пишет и недавно машинистке, перепечатывавшей его статью, пришлось исправить две орфографические ошибки, так как вместо слова «майор» он написал «маеор», а вместо «сметана» — «смитана».

...Он сидит в президиуме. Все к этому привыкли. Никого это не удивляет...

Первое время не удивляло это и Екатерину Герасимовну. Но вот в один прекрасный день она вдруг как бы очнулась после глубокого сна и посмотрела на Новоселова трезвыми глазами.

Посмотрела и пришла в смятение.

— Так как же будет, Катерина Герасимовна? — жалобно спросила нянечка, не трогаясь с места.

В это время в комнату вошла сестра-хозяйка, держа в одной руке вазу с яблоками и печеньем, а в другой — стеклянный кувшин с шиповниковым настоем.

— Я думаю,— сказала она Новоселовой,— вам будет удобнее пригласить товарища Новоселова к себе в комнату.

— Ах, нет, только не сюда! — воскликнула Екатерина Герасимовна.

Она так привыкла к этой своей комнате, так сжилась с нею. Здесь провела она наедине сама с собой столько лет, среди тех немногих личных вещей, которые стали как бы частью ее самой. Здесь в зеркальном шкафу висели ее платья, кофточки, внизу стояло несколько пар обуви, всегда починенной и хорошо вычищенной, предназначенной для разной погоды. Она привыкла беречь свои вещи, сама за ними ухаживала, проветривала, штопала. В комоде хранилось ее белье, а также те немногие дорогие ее сердцу вещи и бумаги, без которых она не мыслила своего существования: выпись из метрической книги — бумага, сложенная вчетверо, истлевшая на сгибах, с двуглавым орлом над церковнославянскими буквами и подписью настоятеля иваново-вознесенской церкви, где ее крестили; в графе родившихся было выведено писарской прописью, порыжевшими чернилами — Екатерина. Как явствовало из метрической выписки, она была единственной девочкой, родившейся в этот день в Иваново-Вознесенске; остальные четырнадцать были мальчики. Почему-то это особенно умиляло Екатерину Герасимовну. Тут же в шкатулке, оклеенной ракушками,— сувенир из Ялты,— хранились аттестат об окончании гимназии, свидетельство о том, что она в течение трех лет обучалась в Москве на Высших женских курсах, но не окончила их, так как была исключена и привлекалась по делу о восстании на Красной Пресне, и партбилет. Было здесь несколько семейных фотографий и одна-единственная сохранившаяся фотография времен гражданской войны — группа работников политотдела Западного фронта, где на какой-то польской станции, на фоне пакгауза, среди прочих политотдельцев можно было найти в третьем ряду сверху очень молоденькую чернобровую девушку в мужской толстовке, с наганом за поясом и в смешной летней шляпке с бантом. Это была Екатерина Герасимовна, тогда еще носившая свою девичью фамилию — Скворцова, но более известная товарищам под своей подпольной кличкой «Фиалка». Лежали еще в шкатулке красные коробочки с орденами и медалями Советского Союза. Их Екатерина Герасимовна по скромности никогда не носила, делая исключение лишь для большой красивой медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», которую она с детской гордостью надевала на кофточку в дни революционных праздников и в Женский день.

Это было почти все ее имущество; постельные принадлежности, полотенце, подушки, пижамы, посуда — все казенное, но как бы принадлежащее ей пожизненно.

В этой комнате она могла оставаться наедине сама с собой, когда временами ей надоедало общество товарищей по интернату.

Нет, ей ни за что не хотелось пускать сюда человека, давно уже ставшего для нее совершенно посторонним!

— Уж лучше я сама спущусь к нему вниз,— поколебавшись, сказала она сестре-хозяйке.— Незачем ему сюда подниматься.

Она подошла к раковине с горячей и холодной водой, вымыла руки, вытерла лицо, надела зеленую вязаную кофту и поправила волосы. Затем она взяла из угла свою вечную палочку и отправилась на свидание с бывшим мужем — маленькая, сильно согнутая, но еще бодрая для своих восьмидесяти лет. На палочку она не опиралась, а лишь изредка прикасалась к полу ее концом не по нужде, а по привычке.

В тощем, плохо одетом старике, сидевшем в так называемом «гостевом уголке», она сперва совсем не узнала Новоселова — так он изменился,— и лишь по тому, как он посмотрел на нее, как засуетился, вставая с кресла, Екатерина Герасимовна поняла, что это он.

— Катя, это я,— сказал он, глядя на нее слезящимися глазами, выражавшими страх.— Видишь, что со мной сделала жизнь?

Она была смущена не меньше его.

Молча они уселись друг против друга в кубические кресла.

Она хмурила брови, силясь понять, что его заставило к ней прийти.

«Я вас слушаю»,— хотела она сказать, но успела сообразить, что это будет фальшиво, и не сказала ничего.

Ей показалось, что он всхлипнул. Помня его низменный характер, его расчетливость и хитрость, она никак не могла предположить, что он пришел для того, чтобы просто, по-человечески перед смертью попросить у нее прощения.

Однако это было именно так.

Умирающий, одинокий, всеми брошенный старик, мучимый во время бессонницы угрызениями совести и в то же время терзаясь сожалениями о том, что так бесславно прервалась его карьера, он приплелся к Екатерине Герасимовне как к последнему прибежищу. Перед ней он чувствовал себя виноватым больше всего, и последние месяцы, особенно после операции, его беспрерывно мучила мысль, что он может умереть, не получив от нее прощения.

Она смотрела на него с любопытством сквозь очки с толстыми увеличительными стеклами и ждала, что́ он ей скажет еще. В минуты душевного напряжения у нее резко ухудшался слух, и тогда ей приходилось пользоваться слуховым аппаратом. Теперь она воткнула в ухо белую пуговичку и поставила перед собой, поближе к Новоселову, аппаратик величиной со спичечную коробку.

Новоселов сначала подумал, что это магнитофон и она хочет записать его слова. Он вздрогнул и отшатнулся. Но потом сообразил, что это всего лишь невинный слуховой аппарат, и успокоился. Однако испуг, который он почувствовал, сбил его с толку, и вместо того, чтобы просто, по-человечески сказать: «Прости меня, Катя»,— он стал беспорядочно, пятое через десятое, описывать свою неудачную жизнь, свои несчастья, бедность, наконец, свою болезнь, обвиняя врачей, что они его плохо лечат: сделали ему операцию в полости желудка и тут же зашили, что ничего опасного не обнаружили, разрешили ходить, а он с каждым днем теряет в весе, испытывает адские боли, не может принимать пищу и чувствует, что ему приходит конец, а «эти коновалы, черт бы их побрал», ничего не могут для него сделать.

Потом он начинал говорить о погубившей его женщине, о том, как она его подло обманывала с каждым мужиком, как она вытянула все его деньги, имевшиеся на сберкнижке, потом распродала потихоньку все его вещи, мебель, собрания сочинений классиков,— словом, обобрала как липку и безжалостно бросила, предварительно написав на него «телегу» о том, что он брал взятки с поступающих в институт, а также что он, вступая в партию, скрыл свое происхождение. Он не хочет себя оправдывать. Действительно, некоторые факты подтвердились. И он потерял свой партийный билет, хотя, слава богу, до суда дело не дошло. И жаль. Он бы на суде никого не пощадил. Но суда не было, и они его просто выбросили из института. «Даже не приняли во внимание мои заслуги, мой стаж».

— Ты только подумай, Катя,— с жаром говорил он,— из-за кого я пострадал?.. Из-за ничтожества, из-за известной... Польстился, дурак, на красоту. Ну, действительно, слов нет, она была красавица на всю Москву. Верно я говорю? Ты не станешь этого отрицать? Ведь против факта не попрешь! Но какая оказалась гадина. Не так ли?

Он уже забыл, зачем пришел, и с таким увлечением стал описывать красоту «этой бабы», как будто одно это должно было не только обелить его в глазах Екатерины Герасимовны, но даже как бы придать ему особую ценность как человеку таких больших страстей. Потом он снова возвратился к своему увольнению из института, к гибели карьеры. Он быстро, заученными словами заго-

ворил, что какой-то Мишаков давно под него подкапывался, оборвал на полуслове, а затем незаметно стал восхвалять себя. Лицо его сделалось высокомерным. В нем как бы просквозил прежний Новоселов.

Екатерина Герасимовна смотрела на него в упор, блестя очками, слушала его мусорную болтовню, и он становился в ее глазах все более и более омерзительным. Она ждала, когда же он наконец расскажет ей всю правду о своем доносе, но он ловко обходил этот случай из своей жизни и лишь один раз вскользь глухо сказал:

— ...я, конечно, Катя, поступил тогда по отношению к тебе довольно подло, но войди в мое положение: она меня околдовала... от страсти я потерял голову. Она была так прекрасна! — прибавил он со слезами на глазах.

Екатерина Герасимовна резко выдернула из уха белую пуговку, намотала на приемничек шнурок и спрятала в карман кофты.

Теперь она окаменела. Она перестала его слушать. Его болтовня больше ее не интересовала. А он, ничего не замечая, продолжал говорить и говорить, и казалось — конца не будет его болтовне. Но вдруг он как бы очнулся, замолчал, уронил голову на круглый столик и заплакал.

— Катя,— сказал он глухим голосом, поднимая к ней мокрое лицо,— прости меня.

Она не расслышала и приложила ладонь к уху.

— Как ты говоришь?

— Прости меня, Катя! — закричал он, желая быть услышанным.

Но так как она ничего не отвечала, он вытер серым несвежим платочком щеки и со слабой улыбкой повторил:

— Прости меня, Катя. Ведь Христос велел прощать своих врагов.

Кровь прилила к ее лицу, щеки стали багровыми, глаза, увеличенные стеклами очков, сверкнули.

«Ступай прочь, поганец!» — чуть не крикнула она, но сумела во время сдержаться.

Она поспешно встала с кресла и скороговоркой произнесла:

— Иван Николаевич, я не хочу вас видеть, вы мне неприятны, и, пожалуйста, окажите божескую милость, не утруждайте меня больше своими посещениями. Между нами не может... не может быть ничего общего... Уходи... ступай...

Она схватила свою палочку, прислоненную к кадке с фикусом, и пошла — почти побежала — прочь от Новоселова, малень-

кая, сгорбленная в три погибели восьмидесятилетняя старушка с серебряным узлом волос, где отчетливо чернели головки шпилек. Она пошла по ковровой лестнице вверх мимо большой картины в золоченой раме, на которой был изображен русский пейзаж с березовой рощей и дощатыми мостками через маленькую речку, где так тепло и грустно отражались румяные облака...

Весь интернат уже облетела весть, что к Екатерине Герасимовне приехал просить прощения бывший муж, и всем было интересно узнать: простит она его или нет?

Ловя на себе вопросительные взгляды, Екатерина Герасимовна не торопясь прошла в комнату и закрыла за собой дверь.

Нянечка проводила Новоселова в гардеробную, помогла ему всунуть руки в рукава пальто, отдала веревочную кошелку с двумя высохшими, маленькими, как орехи, апельсинами, выпустила из интерната и некоторое время смотрела в окно, как он, тощий и унылый, шел по обочине грязного шоссе по направлению к станции, где все еще ярко желтели сигнальные спецовки девчат, укладывающих новые, бетонные шпалы.

Затем нянечка поднялась на второй этаж, где пенсионеры гуляли по коридору в ожидании обеда, и сказала громким шепотом, чтобы все слышали:

— Так и не простила. Вот какая принципиальная.

И трудно было понять: осуждает она Екатерину Герасимовну или одобряет.

После этого дня прошло несколько глухих зимних месяцев: ноябрь, декабрь, январь, февраль...

...«свежеют с каждым днем и молодеют сосны, чернеет лес, синеет мягче даль,— сдается наконец сырым ветрам февраль, и потемнел в лощинах снег наносный...»

Кончалась длинная среднерусская зима, было начало марта. Стояла дивная солнечная погода, и Екатерина Герасимовна, позавтракав в общей столовой, собиралась на свою ежедневную прогулку. Она уже натянула на ноги две пары шерстяных чулок и надела резиновые ботики, как вдруг ее позвали к телефону.

Телефон находился внизу, в гардеробной. Она торопливо пошла — почти побежала — по лестнице, уверенная, что ей звонят из газеты с просьбой дать небольшую статейку воспоминаний старой коммунистки-подпольщицы к Женскому дню. Каждый год в ожидании этого приятного звонка Екатерина Герасимовна заранее обдумывала тему и старалась не повторяться. В прошлом году она рассказала читателям о том, как на заре советской власти женщины, и она в частности, работали в комиссии Дзержинского по ликвидации детской беспризорности. В этой статейке она постаралась дать портрет несгибаемого большевика-ленинца, «железного Феликса». Теперь же она решила описать, как она при царизме сидела в Бутырках, в сырой одиночной камере, где навсегда у нее испортился слух, и как в один прекрасный весенний день семнадцатого года ее освободил восставший народ.

Она взяла телефонную трубку, но оказалось, что звонят вовсе не из газеты, а из какого-то московского жэка. Незнакомый, неприятный мужской голос от имени группы товарищей извещал ее о кончине жильца дома, пенсионера Ивана Николаевича Новоселова и о том, что гражданская панихида состоится завтра в двенадцать часов дня в красном уголке домоуправления; просит прибыть без опоздания.

— Хорошо,— сказала она,— учту.— И положила трубку.

Известие о смерти Новоселова не произвело на нее особенного впечатления, как будто бы умер не бывший ее муж, а какой-то совсем чужой старик где-то на незнакомой московской улице, в комнате коммунальной квартиры, доставшейся ему после неоднократного размена жилплощади.

Новоселов уже давно не существовал для нее как личность, так что его смерть как бы совсем не коснулась души, лишь оставила маленький неприятный осадок.

Надев свое короткое драповое пальто с узеньким купьим воротником, натянув вязаную шапку, она вышла из интерната на воздух, опьянивший ее предвесенней свежестью, и сразу же была ослеплена бриллиантовым блеском сосулек, яркостью солнца и той особенной, густой, почти сицилианской синевой неба, какая бывает только в марте, в средней полосе России, над бесконечно раскинувшимися, сияющими, еще зимними снегами.

Екатерина Герасимовна была неутомимый ходок и ежедневно в любую погоду совершала свои трехчасовые прогулки по окрест-

ностям. У нее было множество маршрутов, хорошо ею изученных, несмотря на это, всегда интересных.

Она никогда не скучала во время прогулок, которые как бы соединяли в себе не только пространство и время, но были также поводом для размышлений о прошлом, настоящем и будущем. Мысли ее, освобожденные от мелочных забот и низменных интересов, свободно и музыкально текли, как те тропинки, по которым она без устали двигалась своим на удивление легким шагом, несмотря на чуть заметную хромоту — следствие пулевого ранения в октябрьские дни в Москве при взятии Александровского училища.

Никто из ее товарищей по интернату не решался с ней гулять — она слишком быстро ходила, за ней трудно было поспеть. Правда, за последние годы у нее уже поубавилось прыти, но на прогулки она выходила регулярно, не давая себе поблажки.

В этот день она выбрала маршрут, наиболее соответствующий прелестному утру,— разнообразный, запутанный, по окрестностям вокруг интерната, часа на два.

Интернат находился в близком соседстве с летней резиденцией патриарха. Как бы далеко ни заходила Екатерина Герасимовна, отовсюду нет-нет да и выглянут в отдалении над верхушками мглистого хвойного леса золоченые маковки церкви, построенной еще при Иване Грозном в вотчине бояр Колычевых, мятежный род которых грозный царь вырвал с корнем.

До сих пор сохранился на маленьком церковном погосте, где можно было еще найти каменные, изъеденные улитками надгробья времен Отечественной войны двенадцатого года, обелиск с именами шестнадцати Колычевых, казненных Иваном Грозным.

...Никого не щадил царь Иван...

Каждый раз во время прогулки, когда над окрестностями, как маленькие золоченые солнышки, вдруг возникали луковки патриаршей церкви, Екатерина Герасимовна со свойственной ей живостью воображения представляла себе зимнюю лесную дорогу и едущего верхом, в меховой шапочке Ивана Грозного со своими удалыми опричниками, у которых к седлу были приторочены собачья голова и метла — символы опричнины.

...А вокруг вековые ели, древние сосны, по грудь утонувшие в сугробах, пронизанных уже почти весенним, ярким светом мартовского утра... И скрип крестьянского обоза, везущего в Москву на торг мороженых судаков, рябчиков, клюкву в лубяных коробах, по стеклянно накатанной дороге, пересеченной лазурными тенями деревьев...

Она местами шла по старой лыжне и видела отпечатки чьих-то лыжных палок — кружочки с дырочкой посередине. Эти кружочки отстояли друг от друга на довольно большом расстоянии, из чего можно было заключить, что лыжник шел размашистым, быстрым ходом, и это придавало Екатерине Герасимовне еще больше энергии; она как бы вступала в поединок с неизвестным лыжником. Иногда она неожиданно проваливалась по колено и, слыша крахмальный звук оседающего под подошвой еще крепкого зимнего наста, глядя по сторонам и наслаждаясь красотой, разнообразием подмосковных пейзажей, полной грудью вдыхала ни с чем не сравнимый, тонкий и вместе с тем остро опьяняющий запах зимнего леса — канифоли и скипидара — и начинающего незаметно подтаивать снега.

Она постояла в березовой роще, со всех сторон окруженная лайково-белыми стволами, сливающимися вдалеке непроницаемым сплошняком все того же нежного, молочного цвета, белое на белом.

...Волнистая пелена нетронутого лесного снега, чуть почерневшие у корней березовые стволы и как бы развешанные вверху над головой сети ветвей, сквозь которые безоблачное небо казалось еще более синим, даже мутно-сизым, на вид знойным, так что если бы вокруг не сияли мартовские снега, то можно было бы подумать, что это небо над раскаленной пустыней...

Она воткнула свою палочку в снег и наслаждалась тишиной. Тишина казалась ей полной, совершенной, мертвой. Но она знала, что такой тишины в природе не бывает. Наверное, это следствие развивающейся глухоты.

Прикусив зубами кончик варежки, она стащила ее с руки, достала слуховой аппарат, приладила его к уху и подняла над головой. Тишина стояла вокруг нее по-прежнему глубокая, полная, но уже не мертвая, как прежде. Теперь в этой тишине слышалось множество самых разнообразных звуков:

...где-то постукивал дятел; хрустнул и упал на наст под тяжестью снега сучок; раздался короткий, отрывистый — как бы треск сломанного дерева — звук какой-то лесной птицы, повторявшийся с равными промежутками; со стуком и грохотом, по новым рельсам на бетонных шпалах, промчался будапештский экспресс — среди стволов замелькали длинные цельнометаллические вагоны, отбрасывая на снег отражение запыленных зеркальных стекол; над головой несколько боком пролетел неуклюжий вертолет, как бы с усилием гребя своими крутящимися веслами; подобный острию копья, слегка накренившись над лесом, мелькнул и круто ушел ввысь пассажирский самолет, и лишь после того, как он исчез из глаз, по верхушкам деревьев шарахнул, как помелом, шум его реактивных двигателей; издали доносились пушечные выстрелы. Во Внукове на аэродроме происходила встреча какого-нибудь высокого гостя: президента, императора или короля.

А ведь Екатерине Герасимовне были знакомы эти места еще до революции. Возможно, что именно где-то здесь или, во всяком случае, где-то рядом, в так называемом Самаринском лесу, была та маевка, когда ее, молоденькую курсистку, арестовали и бросили в сырую одиночку Бутырок. Именно в память этого события она и получила партийную кличку.

...В ту пору в лесу росли фиалки...

По насыпи изредка проходил дачный поезд со смешным паровичком-кукушкой. Из черной головатой трубы валил вонючий дым, покрывая сажей деревья в лесу и осыпая мелкими угольками белые кителя городовых.

Екатерина Герасимовна стояла, прислушиваясь к звукам автомобилей, мчавшихся по невидимому за лесом Минскому шоссе. Некогда вместо него вилась дорога, кое-где покрытая щебенкой, и по ней в клубах пыли проезжали господские экипажи и гремели мужицкие телеги, и в воздухе стоял запах лошадиного пота, навоза, и над лошадиными гривами плавали тускло-оловянные мухи — слепни.

Откуда-то доносился скрежет бульдозеров и экскаваторов; в одном месте, высоко поднявшись над окрестностями, ворочался решетчатый кран. Екатерина Герасимовна знала, что это строится новый рабочий поселок.

Она так давно здесь жила, что прекрасно знала, где что строится, где что ремонтируется, где что проводится. На ее глазах глухая дачная местность превращалась в жилой массив с электрическим освещением, водопроводом, канализацией, телефоном, строительными конторами, поликлиникой, магазинами, парикмахерской, рестораном при станции. Сейчас здесь всюду рыли траншеи; прокладывались трубы газопровода. Здесь уже жили в пятиэтажных панельных домах тысячи людей, и это в основном для них ходили быстроходные электрички, маршрутные такси.

Она уже так привыкла к этому вечному изменению форм общественной жизни вокруг нее и на ее глазах, что временами переставала его замечать, но иногда вдруг как бы останавливалась среди этого вечного движения и, осмотревшись, видела, как много уже сделала для народа та новая власть, за которую она всю жизнь боролась. И тогда ее старость, ее черные старческие думы во время бессонницы, ее усиливающаяся глухота, ухудшение зрения, ее неудавшаяся личная жизнь, одиночество, сознание неотвратимости скорой смерти отходили от нее прочь, и она испытывала такой душевный подъем, такую радость жизни — уже не столько своей личной, сколько жизни общей, всенародной,— что, казалось, счастливее ее нет человека на земле.

Надышавшись лесным воздухом, находившись, насмотревшись, наслушавшись разных звуков, заканчивая свою прогулку, Екатерина Герасимовна вышла на дорогу, которая уже местами пропотела до асфальта, слегка дымясь, как это часто бывает на масленой. По дороге, огибающей высокий косогор, сплошь занятый разросшимся кладбищем, от рабочего поселка к станции целыми семьями — с детьми и бабушками — шли рабочие и колхозники. Многих из них Екатерина Герасимовна знала в лицо.

Тепло и добротно, по-праздничному одетые, они здоровались с Екатериной Герасимовной: мужчины снимали меховые шапки, женщины улыбались, поздравляли с наступающим Женским днем, а дети в новых калошках на валенках махали ей варежками. Они привыкли встречать на дороге эту бабушку из интерната, которая иногда оделяла их ирисками и пряниками.

...Она уже была местной достопримечательностью...

За кладбищем с крестами, штакетниками, скамеечками, чтобы можно было посидеть у родной могилки, с фотографиями под стеклом, со всем его беспорядком и уютной теснотой, с его старинны-

ми соснами, кустарниками, бумажными иконками, с очень старыми и совсем новыми, едва начинающими оседать могильными холмиками, рассыпавшимися по всему крутосклону с тремя особенно высокими столетними развилистыми соснами, возле которых виднелась острая глыба мрамора над могилой знаменитого поэта, находилось еще одно кладбище, где хоронили персональных пенсионеров из интерната. Оно было расположено на голой стороне косогора, лишенной растительности и соседствующей с патриаршим яблоневым садом, отделенным от интернатского кладбища глухим дощатым забором. Отсюда, с возвышенности, открывался красивый вид на речку, огибающую громадное колхозное поле и уходящую куда-то вдаль, в заросли вербы и черемухи. Некогда она была большой судоходной рекой, о ней упоминалось в летописях, по ней плыли торговые корабли на веслах или под крутогрудыми парусами, бурлаки тащили глубоко осевшие баржи с рожью, пенькой, сырыми кожами; с течением времени река обмелела, осела и теперь бежала, еле заметная, извиваясь, как ручей,— курица перейдет вброд.

Через эту речку теперь прокладывался газопровод, и громадные трубы, обмотанные просмоленными лентами бумажной изоляции, во множестве были накиданы вдоль берега, среди железных бочек с битумом, под которыми тлели и дымились костры.

Посредине колхозного поля, еще сплошь занесенного снегом, виднелся дощатый сарай, где хранилась тара для клубники: поле было засажено клубникой.

Несколько лыжников в ярких свитерах прошли наискось через поле, блестя алюминиевыми палками, и за ними, все удлиняясь, по ослепительному снегу тянулась лыжня фиалкового цвета.

Отдохнула, полюбовалась широким пейзажем, где были как бы нарочно собраны все образцы среднерусской природы: поле, лес хвойный, лес смешанный, отдельные семейства древних берез, болотно-зеленые стволы осин, кораллово-красные тальники, прозрачное мелколесье, село с бревенчатыми избами, с рябинами в палисадниках, плотина, обсаженная вековыми головастыми ветлами, и за нею замерзший пруд, на котором виднелись крошечные фигурки деревенских ребят, гонявших самодельными клюшками шайбу, а еще дальше, на той стороне пруда, блестели стекла парников, и над ними возвышалась новая кирпичная труба центрального отопления, морковно-красная на зимнем солнце, и на горизонте розовато-синее, еще пока морозное, марево.

Она обошла интернатское кладбище с рядами одинаковых каменных надгробий в виде низеньких пюпитров, где на косо положенных мраморных досках были выбиты имена старых коммунистов. Их почти всех хорошо знала Екатерина Герасимовна.

В облике этого кладбища было что-то аскетическое, лишенное погребальной мишуры, очень строгое, почти протестантское.

Люди, похороненные здесь, кончили свою жизнь в глубокой старости, полжизни проведя в царских тюрьмах, в ссылках, на каторге.

Екатерина Герасимовна разыскала могилку своей самой близкой подруги, товарища по подполью и по Бутыркам, Сони Соколовой, которая умерла три года назад, смахнула с мраморной плитки снег и положила несколько прутиков вербы, наломанных во время прогулки. На прутиках уже обозначились почки и даже едва виднелся серебристый пушок.

Соня Соколова была тем человеком, товарищем, к которому Екатерина Герасимовна, оставив все Новоселову, побежала в ту страшную ночь, чтобы начать новую, одинокую жизнь.

Она вспомнила, что вчера умер Новоселов, и представила его в гробу, в красном уголке домоуправления: лысая голова на подушке, набитой стружками, обесцвеченные худые руки, выпуклые веки навсегда закрытых глаз, медали на бархатных подушечках, разложенных возле гроба на канцелярских стульях, и ящик с шахматами на пыльном подоконнике.

По-человечески ей, конечно, было его жалко, но это была жалость какая-то не настоящая, поверхностная. В глубине души она оставалась холодной и равнодушной к смерти этого человека, некогда ей близкого, а теперь такого чужого, даже больше чем чужого: врага.

Да, врага. Но не ее личного, а врага того святого дела, которому отдала она всю свою жизнь. Как могла она сразу не раскусить этого человека? Он был хитер. Раскусить его было не так-то легко. Но ведь Ленин еще в самом начале революции неоднократно предупреждал, что партии, ставшей у власти, партии государственной, нужно всячески опасаться примазавшихся.

То, что Новоселов был примазавшийся, не подлежало сомнению; надо было видеть, как жадно он пользовался всеми благами, доступными в его положении. Надо было видеть, как он постепенно достигал этого положения, не брезгуя никакими средствами. Надо было видеть, как он по-хамски держал себя с подчиненными,

со студентами, машинистками, курьерами и как подобострастно, в какой скромной, заискивающей позе стоял перед начальством, полуоткрыв рот и как бы боясь пропустить малейшее драгоценное слово.

...Однажды она видела, как Новоселов нес за приехавшим в институт знаменитым академиком довольно тяжелое бархатное кресло, как он сладко, преданно при этом улыбался...

Екатерина Гераспмовна вспыхнула и пошла домой мимо усадьбы бояр Колычевых, мимо древней церкви, где только что кончилась обедня и на паперть выносили причащенных младенцев, завернутых в праздничные одеяльца, перевязанные поперек шелковыми лентами, в то время как сверху, с колокольни, звонко падали последние удары колоколов.

...и открылись железные ворота, и оттуда выехала большая машина, за стеклами которой между занавесок мелькнуло несколько князей церкви в клобуках с ниспадающими по сторонам черными шелковыми вуалями, а бородатые лица князей церкви были темные, оливковые, с густыми бровями и коричневыми кругами вокруг глаз, влажных, как маслины, из чего Екатерина Гераспмовна заключила, что это, вероятно, возвращается после официального визита к патриарху делегация какой-нибудь восточноправославной церкви...

Подходя к интернату, она увидела множество своих товарищей, которые с палочками в руках ползли после прогулки домой к обеду — раскрасневшиеся, проголодавшиеся.

В гардеробе Екатерину Гераспмовну встретила старшая сестра. Она сообщила, что звонили из жэка и напоминали о похоронах Новоселова, интересовались: приедет ли она хотя бы к выносу тела?

— Не поеду,— сказала Екатерина Гераспмовна.

— А если будут еще звонить? — спросила старшая сестра.

— Скажите, что не приеду.— Она хотела прибавить: «не смогу», но вместо этого сказала то, что думала: — Не хочу!

И с этими словами пошла к лестнице, мимо столика, где на красной плюшевой скатерти стоял небольшой гипсовый бюст

Ленина, который рядом с интернатскими стариками и старухами выглядел совсем молодым человеком.

После обеда к Екатерине Герасимовне пришли школьники местной десятилетки: три мальчика и две девочки — следопыты. Они приходили раз в месяц, надеясь выведать у Екатерины Герасимовны что-нибудь из ее революционного прошлого или из времен гражданской войны.

Кое-что они уже выведали, например, о той дореволюционной маевке в Самаринском лесу, где росли фиалки и где Екатерину Герасимовну арестовали жандармы.

Школьники были в шелковых пионерских галстуках. Они долго молчали, сидя вокруг Екатерины Герасимовны. Стеснялись. Наконец одна наиболее бойкая девочка, разгладив на коленях батистовый фартук, спросила:

— Бабушка Фиалка, скажите, а вы были знакомы с дедушкой Лениным?

— Нет, не была знакома,— виновато вздохнула Екатерина Герасимовна.— Видеть видела, а познакомиться не пришлось.

Помолчали.

— А кого вы знали из вождей? — ломающимся детским баском спросил один из мальчиков.

Она замялась.

— Ну, например, знала товарища Фрунзе.

— Расскажите нам о товарище Фрунзе! — хором попросили пионеры, вынимая блокноты.

...И Екатерина Герасимовна стала рассказывать им о взятии Перекопа...

1973

ПРИМЕЧАНИЯ

Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — русский советский писатель. Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР.

Печники (стр. 5).— Печатается по изд.: А. Т. Твардовский. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. М., «Художественная литература», 1967.

Троепольский Гавриил Николаевич (р. 1905) — русский советский писатель.

Никишка Болтушок (стр. 30).

Стр. 34. *Козьма Прутков* — коллективный псевдоним писателей А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых, под которым они опубликовали в 50—60-е годы XIX века множество басен, литературных пародий, афоризмов, стихов, комедий. *«Смотри в корень»* — из «Мыслей и афоризмов» Козьмы Пруткова.

Нагибин Юрий Маркович (р. 1920) — русский советский писатель.

Волынский Леонид Наумович (1912—1969) — русский советский писатель.

Первый комбат (стр. 50).— Печатается по изд.: Леонид Волынский. Рассказы, повести, очерки. М., «Советский писатель», 1974.

Стр. 51. *Мисс Гарриет* — героиня одноименного рассказа Мопассана.

Шолохов Михаил Александрович (р. 1905) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Лауреат Нобелевской премии.

Судьба человека (стр. 67).

Стр. 70. *Киквидзе* Василий Исидорович (1894—1919) — герой гражданской войны, командовал дивизией. Проявил себя как талантливый командир. Погиб в бою под Царицыном.

Тендряков Владимир Федорович (р. 1923) — русский советский писатель.

Антонов Сергей Петрович (р. 1915) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

Мусрепов Габит Махмудович (р. 1902) — казахский советский писатель. Герой Социалистического Труда.

Этнографический рассказ (стр. 148).

Стр. 151. *Кзыл-Жар* — казахское название города Петропавловска.

Стр. 153. *Ууки* — изогнутые жерди, упирающиеся в купол юрты и соединяющие его с деревянными стенными решетками.

Стр. 154. *Торе* — знатный род, происхождением от монголов; занимали в степи привилегированное положение; *теленгиты* — жили у торе и обслуживали их, могли принадлежать к разным родам.

Друцэ Ион Пантелеевич (р. 1928) — молдавский советский писатель.

Сани (стр. 161).

Стр. 163. *Магала* — окраина, округа.

Туглас Фридеберт Юрьевич (1886—1971) — эстонский советский писатель. Народный писатель Эстонской ССР.

Царский повар (стр. 169).— Печатается по изд.: Фридеберт Туглас. Золотой обруч. Новеллы. М., «Художественная литература», 1968.

Стр. 172. *Тутанхамон* — египетский фараон (начало XIV в. до н. э.). Гробница Тутанхамона была обнаружена близ Древних Фив в 1922 году.

Стр. 174. *Оптант* (от лат. optans — желающий) — лицо, имеющее право выбора гражданства; такое право предоставляется обычно населению территории, переходящей от одного государства к другому.

Стр. 175. *Иуустаку, Каркси-Иуйа* — названия местностей в Эстонии.

Богомолов Владимир Осипович (р. 1926) — русский советский писатель.

Иван (стр. 177).

Стр. 195. *Поденное дело* — дело, куда в батальоне подшиваются все приказы и распоряжения штаба полка.

Стр. 198. *...в ротах опять «форма двадцать»...* — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Стр. 204. *Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла.*— На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового (тактического) тыла, а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

Ганина Майя Анатольевна (р. 1927) — русская советская писательница.

Никитин Сергей Константинович (1926—1973) — русский советский писатель.

Огуречный агроном (стр. 254).— Печатается по изд.: Сергей Никитин. Живая вода. Повести и рассказы. М., «Современник», 1973.

Казаков Юрий Павлович (р. 1927) — русский советский писатель.

Субботин Василий Ефимович (р. 1921) — русский советский писатель.

Высота (стр. 274).— Из цикла «Рассказы 60 года».

Казакевич Эммануил Генрихович (1913—1962) — русский советский писатель. Лауреат Государственных премий СССР.

При свете дня (стр. 276).— Печатается по изд.: Эм. Казакевич. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1974.

Каверин Вениамин Александрович (р. 1902) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

Кусок стекла (стр. 315).

Стр. 334. *...университет. Он же — Двенадцать коллегий.*— Ленинградский университет расположен в здании, построенном в 1722—1742 гг. для Сената и Двенадцати коллегий — высших органов государственного управления России, учрежденных Петром I.

Лидин Владимир Германович (р. 1892) — русский советский писатель.

Бакланов Григорий Яковлевич (р. 1923) — русский советский писатель.

Айтматов Чингиз (р. 1928) — киргизский советский писатель. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Народный писатель Киргизской ССР.

Битов Андрей Георгиевич (р. 1937) — русский советский писатель.

Пенелопа (стр. 386).

Стр. 396. *Кэтч* или *китч* (от нем. verkitschen — удешевлять) — понятие, связанное с современной буржуазной массовой культурой. Означает использование примитивных, псевдо-эстетических средств выразительности для воздействия на сознание аудитории.

Семенов Георгий Витальевич (р. 1931) — русский советский писатель.

Тельпугов Виктор Петрович (р. 1917) — русский советский писатель.

Аксенов Василий Павлович (р. 1932) — русский советский писатель.

«Победа». Рассказ с преувеличениями (стр. 411).

Стр. 412. *«Дом Диора»* — крупнейшая французская торговая фирма.

Искандер Фазиль Абдулович (р. 1929) — абхазский советский писатель.

Лошадь дяди Кязыма (стр. 417).

Стр. 420. *Камча* — длинная плеть из конского волоса.

Яшин Александр Яковлевич (1913—1968) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

Угощаю рябиной (стр. 428).— Печатается по изд.: Александр Яшин. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1972.

Эпиграф — из стихотворения Марины Цветаевой «Красною кистью...», 1916 г. (цикл «Стихи о Москве»).

Стр. 435. *«Но если по дороге куст...»*— Из стихотворения Марины Цветаевой «Тоска по родине! Давно...», 1934 г.

Носов Евгений Иванович (р. 1925) — русский советский писатель.

В чистом поле за проселком (стр. 438).— Из цикла «Храм Афродиты (Деревенские повести)».

Лихоносов Виктор Иванович (р. 1936) — русский советский писатель.

Матевосян Грант Игнатович (р. 1935) — армянский советский писатель.

Алхо (стр. 466).— Из цикла «Оранжевый табун».

Стр. 474. *Мацун* — род простокваши.

Быков Василий Владимирович (р. 1924) — белорусский советский писатель.

Брыль Иван Антонович (р. 1917) — белорусский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

В глухую полночь (стр. 506).

Стр. 506. *...палестинские пейзажи Поленова.*— Имеются в виду полотна на евангельские сюжеты выдающегося русского художника Василия Дмит-

риевича Поленова (1844—1927): «Христос и грешница», «На Тивериадском озере», «Среди учителей» и др., написанные под впечатлением поездок в Палестину. Пейзажный фон этих картин отмечен высоким совершенством и художественным мастерством.

Стр. 507. *Комасаторы* — от «комасация» — ликвидация чересполосицы, расселение на хутора.

Рытхэу Юрий Сергеевич (р. 1930) — чукотский советский писатель.

Трифонов Юрий Валентинович (р. 1925) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

Астафьев Виктор Петрович (р. 1924) — русский советский писатель.

Гранин Даниил Александрович (р. 1918) — русский советский писатель.

Дом на Фонтанке (стр. 560).

Стр. 563. *Доре* Гюстав (1832 или 1833 — 1883) — французский рисовальщик, автор всемирно известных иллюстраций к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Ф. Рабле, «Дон-Кихоту» М. Сервантеса и др. Иллюстрировал Библию.

Белов Василий Иванович (р. 1933) — русский советский писатель.

Мухаммадиев Фазлиддин Аминович (р. 1928) — таджикский советский писатель.

Поединок (стр. 588).

Стр. 592. *Суфа* — глинобитное возвышение, сделанное во дворе или в саду; служит для отдыха или застолья.

Вилкс Эвалд (р. 1933) — латышский советский писатель.

В полночь. Рассказ с привидениями (стр. 606).

Стр. 612. *Айзсарги* — военизированная организация в буржуазной Латвии.

Ульманис — глава правительства в буржуазной Латвии.

Ибрагимов Мирза Аждар-оглы (р. 1911) — азербайджанский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР. Народный писатель Азербайджана.

Метаморфоза (стр. 626).

Стр. 629. *Шумр* — персонаж народных легенд и преданий, полководец. Известен тем, что подвергал своих пленников мучительной смерти — от жажды.

Абрамов Федор Александрович (р. 1920) — русский советский писатель.

Шукшин Василий Макарович (1929—1974) — русский советский писатель.

Срезал (стр. 645).— Печатается по изд.: Василий Шукшин. Беседы при ясной луне. Рассказы. М., «Советская Россия», 1974.

Куусберг Пауль (р. 1916) — эстонский советский писатель. Народный писатель Эстонской ССР.

Ржавая лейка (стр. 652).

Стр. 653. *Рауд Кристиан* (1865—1943) — эстонский живописец и график, собиратель предметов народного творчества.

Стр. 654. *Вильде Эдуард* (1865—1933) — эстонский писатель, крупнейший представитель критического реализма в эстонской литературе.

Крейцвальд Фридрих Рейнхольд (1803—1882) — эстонский писатель, просветитель, фольклорист. Зачинатель национальной литературы.

Кадриорг — парк в Таллине.

Стр. 656. *«Князь Гавриил» — прекрасная повесть...*— Имеется в виду историческая повесть «Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Пирита» известного эстонского писателя Эдуарда Борнхёэ (1862—1923). В наши дни эстонскими кинематографистами снят фильм по этой повести — «Последняя реликвия».

Стр. 657. *Эрнесакс* Густав Густавович (р. 1908) — эстонский композитор и хоровой дирижер. Народный артист СССР.

Стр. 660. *Памятник жертвам Клоога.*— Памятник погибшим в гитлеровском концлагере в Клооге, неподалеку от Таллина.

Стр. 664. *«Омакайтсе»* (букв. самооборона) — военизированная организация в буржуазной Эстонии.

Залыгин Сергей Павлович (р. 1913) — русский советский писатель.

Катаев Валентин Петрович (р. 1897) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.

Фиалка (стр. 679).

Стр. 699. *...«свежеют с каждым днем и молодеют сосны...»* — Из стихотворения И. А. Бунина «Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...», 1892 г.

И. Алатырцева

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Твардовский. Печники 5
Гавриил Троепольский. Никишка Болтушок 30
Юрий Нагибин. Зимний дуб 41
Леонид Волынский. Первый комбат 50
Михаил Шолохов. Судьба человека 67
Владимир Тендряков. Ухабы 94
Сергей Антонов. Тетя Луша 137
Габит Мусрепов. Этнографический рассказ. *Перевод с казахского А. Белянинова* 148
Ион Друцэ. Сани. *Перевод с молдавского автора* 161
Фридеберт Туглас. Царский повар. *Перевод с эстонского Л. Тоом* 169
Владимир Богомолов. Иван 177
Майя Ганина. Настины дети 230
Сергей Никитин. Огуречный агроном 254
Юрий Казаков. Трали-вали 263
Василий Субботин. Высота 274
Эммануил Казакевич. При свете дня 276
Вениамин Каверин. Кусок стекла 315
Владимир Лидин. Прилет птиц 337
Григорий Бакланов. Почем фунт лиха 345
Чингиз Айтматов. Верблюжий глаз. *Перевод с киргизского автора и А. Дмитриевой* 358
Андрей Битов. Пенелопа 386
Георгий Семенов. Люди с того берега 401
Виктор Тельпугов. Конь 409
Василий Аксенов. «Победа». *Рассказ с преувеличениями* 411
Фазиль Искандер. Лошадь дяди Кязыма 417
Александр Яшин. Угощаю рябиной 428

Евгений Носов. В чистом поле за проселком 438
Виктор Лихоносов. Что-то будет 451
Грант Матевосян. Алхо. *Перевод с армянского А. Баяндур* 466
Василь Быков. Утро вечера мудренее. *Перевод с белорусского автора* 488
Янка Брыль. В глухую полночь. *Перевод с белорусского А. Островского* 506
Юрий Рытхэу. Пусть уходит лед 513
Юрий Трифонов. Вера и Зойка 519
Виктор Астафьев. Ясным ли днем 534
Даниил Гранин. Дом на Фонтанке 560
Василий Белов. Под извоз 573
Фазлиддин Мухаммадиев. Поединок. *Авторизованный перевод с таджикского Ю. Смирнова* 588
Эвалд Вилкс. В полночь. *Рассказ с привидениями. Перевод с латышского С. Цебаковского* 606
Мирза Ибрагимов. Метаморфоза. *Авторизованный перевод с азербайджанского Т. Калякиной* 626
Федор Абрамов. Материнское сердце 641
Василий Шукшин. Срезал 645
Пауль Куусберг. Ржавая лейка. *Перевод с эстонского М. Кулешовой* 652
Сергей Залыгин. Санный путь 669
Валентин Катаев. Фиалка 679

Примечания *И. Алатырцевой* 711

На суперобложке: *А. Дейнека* Оборона Севастополя. 1942 г.
Ю. Пименов. Свадьба на завтрашней улице. 1962 г.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 182

СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ
том второй

*

Редактор И. Чеховская
Оформление библиотеки
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор В. Широкова

*

Сдано в набор 11/II 1975 г. Подписано к печати 4/VII 1975 г. Бумага типограф. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 45 печ. л. 41,99 усл. печ. л. 44,81+6 накид. =45,59 уч.-изд. л. Заказ № 2424. Тираж 303 000 экз. Цена 2 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.

2 р. 20 к.